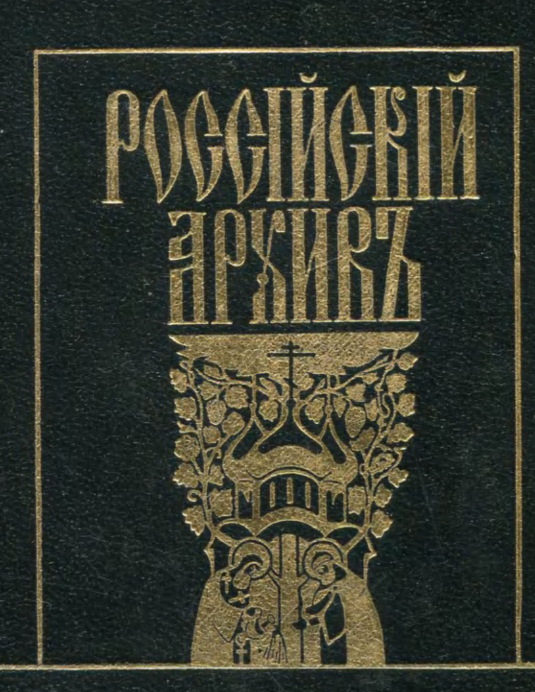
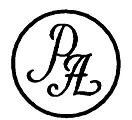
Д.А.Милютин

ВОСПОМИНАНИЯ



Д. А. Милютин

ВОСПОМИНАНИЯ



ГЛАВН. ШТАБА
Imp. Lith. A. Munster (Editeur) St Pbg
Изданіе А. Мюнстера С. П Бург.

ВОСПОМИНАНИЯ

генерал-фельдмаршала
графа
Дмитрия Алексеевича
Милютина

1816—1843

Под редакцией
доктора исторических наук,
профессора
Л.Г. ЗАХАРОВОЙ

Студия
«ТРИТЭ»
НИКИТЫ МИХАЛКОВА
«РОССИЙСКИЙ АВХИВ»
Москва
1997

ББК 63.3(2) 47
М 60

Предисловие доктора исторических наук, профессора *Л. Г. Захаровой*
Подготовка текста и комментарии *Л. Г. Захаровой, Т. А. Медовичевой*
и кандидата исторических наук *Л. И. Тютюнник*
Указатели и подбор иллюстраций *Т. А. Медовичевой*

Художественное оформление
Е. Н. Волкова и *В.А.Гозака-Хозака*

Компьютерчая верстка
К. В. Москалева

В подготовке издания принимали участие
А. Н. Дорошенко, А. Н. Козлов, А. Н. Кузнецова,
И. В. Пискарев

ISSN 5-86566-014-4

Памяти моего учителя
профессора Петра Андреевича
Зайончковского

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МИЛЮТИН, ЕГО ВРЕМЯ И ЕГО МЕМУАРЫ

И друзья и враги согласны в том что *в лице графа Д.А.Милютина Россия имела просвещенного военного министра разностороннего государственного человека выдающегося дарования, опытности, изумительного трудолюбия, редкой чистоты и идеального бескорыстия.*

Гр. Джаншиев.
Эпоха Великих реформ

Дмитрий Алексеевич Милютин и его мемуары одинаково значительны и уникальны. Военный историк, профессор, генерал, военный министр Александра II, один из представителей либеральной бюрократии, ставшей во главе Великих реформ 1860—1870-х гг. в России, Милютин оставил в истории неизгладимый след. Прожив долгую и деятельную жизнь (1816—1912), полную неустанных самоотверженных трудов на административном, военном, научном, общественном поприще, он запечатлел свое время в мемуарах и дневниках, охватывающих почти весь XIX в. (1816—1899). Высокая компетентность и профессионализм, незыблемые нравственные устои, внутренняя уравновешенность и терпимость, широчайшая образованность и талант государственного деятеля, общение с выдающимися людьми своего времени делают перо мемуариста ярким, неповторимым, умным и тонким.

В мемуарах Милютина отразилась в лицах и событиях история России прошлого века, внутренняя и внешняя, но особенно ярко и многогранно показана эпоха медленного мирного переворота, так и не завершившегося перехода от просвещенного деспотизма и крепостничества к относительной личной свободе и основанному на законах гражданскому обществу, эпоха, от которой тянется тонкая, невидимая, но ощутимая нить в сегодняшний день.

Публикация обширного мемуарного наследия Милютина была начата вскоре после его смерти: в 1919 году в Томске маленьким тиражом вышел первый том "Воспоминаний" (1816 – начало 1840-х гг.), сразу ставший библиографической редкостью*.

* Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. Т. I, кн. 1,2,3. Под редакцией заслуженного ординарного профессора Военной Академии Генерального Штаба генерал-лейтенанта Г.Г.Христиани. Томск, 1919; этот том переиздан в США (на русском языке) в серии "Russian Memoir" № 28 с предисловием Брюса Линкольна, одного из американских учеников П.А.Зайончковского: *Miliutin D.A.* Vospominania. Newtonville (Mass.) 1979. T.I. Kn. 1,2,3.

Гражданская война и утверждение нового государственного строя в России прервали выпуск этого многотомного издания. Спустя 30 лет к наследию мемуариста обратился выдающийся русский историк П.А.Зайончковский, который в 1947—1950 гг. подготовил и опубликовал четырехтомный "Дневник" Милютина за 1873—1882 гг.* Но большая часть мемуаров Милютина так и осталась неопубликованной. Настоящее издание является продолжением этой важной работы.

* * *

Дмитрий Алексеевич Милютин родился 28 июня 1816 г. в Москве, в небогатой дворянской семье. Не только он сам, но и два его брата были выдающимися людьми — Николай Алексеевич, известный государственный деятель, "кузнец-гражданин", подготовивший отмену крепостного права и земскую реформу, и Владимир Алексеевич, талантливый юрист и писатель, профессор Петербургского университета.

Большое влияние на воспитание детей имела мать Елизавета Дмитриевна, урожденная Киселева, родная сестра графа Павла Дмитриевича Киселева, одного из самых просвещенных государственных людей Николаевского царствования, сторонника освобождения крестьян. В 11 лет Дмитрий Милютин, вместе с братом Николаем, прочел всего Н.М.Карамзина. По окончании Благородного пансиона при Московском университете (с серебряной медалью) он определился на военную службу и в 1833 г. получил первый офицерский чин того времени – прапорщика. Еще в годы учения Дмитрий начал писать статьи в различные военные, литературно-общественные, научные издания, и в дальнейшем эта способность к творческому исследовательскому труду ярко проявится в его жизни.

В 1835 г. Милютин поступил в Императорскую Военную Академию, которую окончил спустя два года с малой серебряной медалью (с внесением имени его на Мраморную доску) и чином штабс-капитана. Академия направила Милютина в Генеральный Штаб. В 1839—1840 гг. он уже участвовал в боевых действиях против горцев на Кавказе и за отличие получил чин капитана. Тогда же за сочинение о системе фортификации, примененной к Кавказскому краю, удостоен "высочайшего благоволения"**.

В 1840—1841 гг. Милютин совершил тринадцатимесячное путешествие за границу для "первого знакомства с Европой", побывал в Германии, Италии, Франции, Англии, Бельгии, Голландии, Швейцарии, придунайских странах, о чем интересно и красочно рассказал в мемуарах и Дневнике.

"С первого шага" путешествия "понял я, насколько наша бедная Россия еще отстала от Западной Европы", – подытожил свои впечатления Милютин. Любопытно, что "в числе наиболее интересовавших" его "предметов" Милютин называет Палаты (депутатов и пэров) Франции. Посещение Палат поразило его и красноречием депутатов (Ламартина, Гизо, Тьера и др.) и самим содержанием законопроектов: о литературной собственности, о дополнительных

---

* См. о Милютине: *Зайончковский П.А.* Д.А.Милютин. Биографический очерк // *Милютин Д.А.* Дневник. М. 1947. Т. 1; *Miller F.* Dmitrii Miliutin and the Reform Era in Russia. Nashville. 1968.

** Здесь и далее сведения о чинах и должностях и ряд биографических фактов даны по "Формулярному списку о службе и достоинстве Военного Министра генерал-лейтенанта, генерал-адъютанта Милютина 1862 года". Отдел Рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). Ф.169. Карт. 84. Ед. хр. 30. Л. 1—8.

кредитах на 1841 г. И это в то время, когда в самодержавной России не могло упоминаться слово "конституция", когда государственный бюджет был тайной для общества, как, впрочем, и деятельность многочисленных секретных комитетов и комиссий и различных государственных учреждений. Из посещения заседаний французских судебных учреждений Милютин "вынес полное убеждение в превосходстве гласного и устного суда над нашим письменным закрытым судопроизводством". Впечатления о европейском правопорядке, судоустройстве, организации производства сыграли свою роль в формировании мировоззрения Д.Милютина, как и многих его сверстников – будущих реформаторов 60-х годов.

В 1843 г. Милютин уже подполковник, обер-квартирмейстер войск Кавказской линии и Черномории, снова участвовал в войне на Кавказе. Но в 1845 г., накануне своего 30-летия, он вернулся в Петербург и начал педагогическую деятельность как профессор Военной Академии. Заняв кафедру военной географии, он многое сделал для развития военной статистики как науки, ввел ее в академический курс, издал книгу "Опыты военной статистики", занялся военной историей. В 1847 г. Милютин получил чин полковника.

В годы научных занятий и профессорства (1845—нач. 1850-х гг.) Милютин близко сошелся с образованными и просвещенными людьми петербургского общества, "горячо желавшими избавления русского народа от позорного рабства". Он регулярно бывал у брата Николая, служившего тогда в Министерстве внутренних дел и уже известного реформаторскими взглядами и планами, у которого собирался "интимный кружок" единомышленников и друзей. Среди них И.П.Арапетов, А.П.Заблоцкий-Десятовский, Н.И.Надеждин, К.Д.Кавелин, К.С.Веселовский, В.И.Даль, И.И.Панаев, В.Ф.Одоевский, А.А.Краевский и др.

Братья Милютины, как и многие деятели кружка, принимали тогда участие в только что образовавшемся Русском Географическом Обществе, председателем которого стал Великий Князь Константин Николаевич, второй сын Николая I. Широкая программа Общества, далеко выходящая за рамки собственно географии, позволяла заниматься изучением социально-экономического быта народа, статистикой (так как официальная не внушала доверия), окраинами Империи. Здесь приобретались научные и практические знания, навыки общественной деятельности, все, что так понадобится будущим реформаторам, многие из которых прошли школу Русского Географического Общества, сплотились на этом поприще в организованную группу единомышленников, готовых к предстоящим преобразованиям.

В знаменательном европейскими революциями 1848 г. М.А. Корф охарактеризовал Русское Географическое Общество как "зародыш тех политических клубов, которых теперь так много в Западной Европе"*. Нельзя отрицать, что Географическое Общество стало общественной организацией, составило своего рода либеральную оппозицию тогдашнему режиму, при котором, как вспоминал позднее Милютин, "все, что делалось, писалось, говорилось, должно было более или менее носить на себе отпечаток лицемерия и фальши"**.

Был и еще один центр притяжения прогрессивно мысливших и просвещенных государственных и общественных деятелей, в кругу которых враща-

* Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 728 (Зимнего дворца). Оп.1. Ед.хр. 1817. Т. 11. Л. 185об.—186.

** ОР РГБ. Ф. 169 Карт. 12. Ед. хр. 4. Л 166.

лись братья Милютины, — салон Великой Княгини Елены Павловны и Мраморный дворец Великого Князя Константина Николаевича, которые содействовали и покровительствовали зарождавшемуся в правящих сферах и в обществе реформаторскому движению. В дальнейшем из этой сферы выйдут главные деятели эпохи Великих реформ.

В 1848 г. по Высочайшему повелению Милютину было поручено продолжить едва начатое исследование умершего военного историка генерал-лейтенанта А.И.Михайловского-Данилевского об Итальянском походе А.В.Суворова. И уже в 1852—1853 гг. увидел свет главный научный труд Д.А.Милютина, пятитомное классическое исследование "История войны 1799 года между Россией и Францией в царствование Императора Павла I." Известный профессор-медиевист Т.Н.Грановский, рецензировавший этот труд, писал, что он "займет, без сомнения, весьма почетное место в общеевропейской исторической литературе". Интересно мнение историка о научном методе и стиле исследования Милютина: изложение событий "отличается необыкновенною ясностью и спокойствием взгляда, не отуманенного никакими предубеждениями, и тою благородною простотою, которая составляет принадлежность всякого значительного исторического творения"*. Милютину-мемуаристу присущи те же качества, что придает особую ценность его Воспоминаниям.

За эту книгу (при втором ее издании) в 1857 г. Милютин был удостоен Императорской Академией Наук полной Демидовской премии и избран членом-корреспондентом, а в 1866 г. Петербургский университет присвоил ему степень доктора русской истории honoris causa. "История войны 1799 г." тогда же была переведена на французский и немецкий языки.

Летом 1853 г., видя неизбежность войны с Турцией, военный министр князь В.А.Долгоруков привлек Милютина к работе в Военном министерстве. В сентябре он сопровождал Николая I в путешествии за границу, в Ольмюце и Потсдаме, будучи причислен к Военно-походной канцелярии императора. В 1854 г. Милютин произведен в генерал-майоры, а в 1855 г. назначен в Свиту Его Величества. С октября 1854 г. он стал производителем дел Особого Комитета о мерах защиты берегов Балтийского моря, учрежденного под председательством Цесаревича Александра Николаевича, которому как Главнокомандующему подчинялась тогда переведенная на военное положение Петербургская губерния. Так начались их знакомство и служба Милютина при будущем Императоре, рядом с которым пройдут наиболее зрелые и плодотворные годы его жизни и государственной деятельности.

Хотя деятельность Милютина в годы Крымской войны (1853—1856) носила, как он сам считал, "военно-административный, канцелярский" характер, однако это не помешало ему подняться над рутиной повседневной чиновничьей работы, осознать масштабно и всесторонне причины бедствий и поражений России, выработать государственный поход к неизбежным в ближайшем будущем преобразованиям.

Близко наблюдая механизм государственного и военного управления, Милютин давал мрачные прогнозы. "Можно было опасаться, – писал он, – не только падения Севастополя, но и других не менее грозных катастроф, от которых могло поколебаться самое значение политическое России. Такие черные мысли преследовали меня и днем и ночью. Поставленный так близко к главному

*Цит. по кн: *Жервэ Ник.* Граф Д.А. Милютин (к 90-летию его рождения). СПб. 1906. С. 10.

центру, из которого истекали все общие распоряжения, военные и политические, я имел возможность видеть, так сказать, закулисную сторону ведения войны с нашей стороны и потому более всего имел основание страшиться за будущее... Военный министр строго держался роли ближайшего при Государе секретаря по военным делам; все Министерство Военное только приводило в исполнение передаваемые министром в подлежащие департаменты высочайшие повеления. В департаментах главною заботою было составление всеподданнейших докладов, гладко редактированных, красиво и крупно переписанных набело, с наглядными ведомостями и справками. На самые маловажные подробности испрашивалось высочайшее разрешение и утверждение. Едва ли возможно довести военное управление до более абсолютной централизации. В описываемую эпоху более, чем когда-либо, Император Николай принимал на себя лично инициативу всех военных распоряжений"*. Эти наблюдения впоследствии помогут Милютину-министру разработать и провести в жизнь радикальную реформу русской армии и военного управления.

Записки Милютина ставили самые общие вопросы предстоящего обновления России – необходимости отмены крепостного права, постепенного отказа от связанной с крепостничеством системы рекрутской повинности.

В августе 1855 г. в связи с тяжелыми поражениями русских войск в Крымской войне была создана комиссия "для улучшения по военной части" под председательством генерала Ф.В.Ридигера. В ее состав вошел в феврале 1856 г. Милютин. Уже через месяц он составил и подал обширную записку "Мысли о невыгодах существующей в России военной системы и о средствах к устранению оных".

39-летний генерал проявил подлинно государственный подход к задачам комиссии. В отличие от авторов других проектов, ставивших вопрос об отдельных недостатках и отдельных изменениях армейских порядков, он предлагал коренную реорганизацию всей военной системы. Милютин доказывал нецелесообразность существования в мирное время миллионной армии, состоящей из солдат-рекрут, служивших по 20—25 лет. Он предлагал радикально сократить ее. Такая реформа требовала изменений рекрутского набора, неразрывно связанного с крепостным правом, то есть с основой социально-экономического уклада и государственного строя России. Милютин прямо говорил об этой первопричине военной отсталости страны: "Крепостное право не позволяет у нас ни сократить срок службы, ни увеличить числа бессрочно-отпускных для уменьшения наличного числа войск"**. В записке поднимались и другие важные вопросы – реорганизация всего военного управления, интендантских служб, распределения войск на территории Империи и т.д. Интересно отметить, что сравнительно-исторический подход к изучению военного дела в России и европейских странах специально интересовал Милютина. Среди его лекций, прочитанных в Николаевской Академии Генерального Штаба, сохранилась и такая: "Общий сравнительный взгляд на военные системы Англии, Швеции, Пруссии, Австрии и Франции"***.

Записка Милютина не получила тогда хода, более того, ее автор вскоре был вынужден покинуть Военное министерство. Сменивший в апреле 1856 г.

---

*ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 13. Ед. хр. 1. Л. 154—155.

**ОР РГБ. Ф.169. Карт. 22. Ед. хр. 29. Л. 7. Записка датирована 29 марта 1856 г.

***ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 17. Ед. хр. 17.

(сразу после заключения Парижского мира) В.А.Долгорукова на посту министра невежественный, безграмотный, инертный Н.О.Сухозанет не утвердил Милютина в должности директора канцелярии, как это предлагалось, и воспротивился назначению его на какой-либо другой ответственный пост. В мае 1856 г. просьба Милютина об отчислении его от всех должностей была удовлетворена. Он решил посвятить себя научной деятельности.

"С полной искренностью могу сказать, – пишет он в своих Воспоминаниях, – что я был доволен этой перемене в моей жизни и нимало не сожалел о несбывшихся видах на занятие значительного поста в военном управлении. Не честолюбие влекло меня на этот путь, а чистосердечное желание работать с пользой для общего дела... Я с чистой совестью удалился от бюрократической суеты и возвратился к той тихой, скромной деятельности писателя, в которой так счастливо прожил восемь лет перед войной"*. Тогда же Милютин начал подготовку первых глав обширного труда по истории Кавказской войны, который так и остался незавершенным.

Не чужд был Милютин и общественных интересов. В пору пробуждавшейся в России "оттепели" (термин тех лет) и надежд на обновление, в пору небывалого до того распространения бесцензурной рукописной ("подземной", как говорили современники) и за границей напечатанной литературы, он написал Записку о неотложной необходимости отмены крепостного права. Не решив крестьянского вопроса, "Россия далее жить не может, – писал Милютин, – не может даже быть уверенною в удовлетворении двух первых государственных потребностей — спокойствия государства и защиты от внешних врагов". Опять крепостное право ("ключ ко всему") тесно переплеталось с военными нуждами. Опираясь на примеры Австрии и Пруссии, Милютин, как и его единомышленники, последовательно отстаивал освобождение крестьян с выкупом земельных наделов в их собственность**. Записка его, видимо, была известна Великому Князю Константину Николаевичу, в архиве которого сохранилась ее копия.

Интересная характеристика Милютина этой поры содержится в мемуарах академика А.В.Никитенко: "Меня совсем пленил генерал Д.А.Милютин. Это человек с благородным образом мыслей, светлым умом и широким образованием. Он отлично понимает настоящее положение и необходимость лучшего"***.

Отстранение Милютина от службы и научные его занятия длились недолго. По предложению вновь назначенного наместником Кавказа князя А.И.Барятинского Милютин получил пост начальника Главного Штаба Кавказских войск и уже в октябре 1856 г. отправился вместе с семьей в Тифлис. Для Милютина открывалось новое поприще деятельности, значительное и увлекательное. Четыре года, проведенные на Кавказе в период решающего этапа Кавказской войны и покорения края, были яркими, насыщенными и оставили в его памяти неизгладимый след, о чем свидетельствуют Воспоминания. Кавказ, особенно Закавказье и Тифлис, он называет "обетованной землей" и пишет об этом крае с большим чувством.

На Кавказе Милютину удалось реализовать многие идеи своей Записки 1856 г. "О невыгодах военной системы". Как ближаший помощник Барятин-

---

*ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 13. Ед. хр. 1. Л. 428.

**ГАРФ. Ф.722 (Мраморного дворца). Оп. 1. Д. 316. Л. 1—12.

****Никитенко А.В.* Дневник. Т. 1. М. 1955. С. 401.

ского он провел реорганизацию управления войсками и военными учреждениями края, создал новую, четкую структуру, представляющую собою по сути штаб военного округа. При непосредственном участии Милютина был разработан план покорения горцев Дагестана и Чечни. В 1858 г. он получил чин генерал-лейтенанта, а в 1859 г. уже в звании генерал-адъютанта участвовал в штурме укрепленного аула Гуниб и пленении Шамиля 25 августа. Барятинский, увидев Шамиля, спускавшегося с горы к своим победителям, сказал Милютину: "Я вообразил себе, как со временем, лет через 50, через 100, будет представляться то, что произошло сегодня; какой это богатый сюжет для исторического романа, для драмы, даже для оперы"*. Наместник Кавказа явно чувствовал себя вместе со своим начальником Главного Штаба – Милютиным на исторической сцене в героической роли, но никак не предвидел трагических событий нашего времени.

Прав оказался А.В.Головнин, который в октябре 1856 г. писал Милютину по поводу его назначения на Кавказ: "Как ни жаль, что придется оставить ученые исторические труды, но теперь Вам предстоит такое поприще полезной свободной деятельности, что нельзя не порадоваться. Вам следует теперь уже не описывать подвиги других, а самому подвизаться, предоставляя другим со временем описывать и изучать Ваши деяния"**. А позже, после пленения Шамиля, сдержанный Головнин с восторгом писал Милютину 19 декабря 1859 г. из Петербурга: "Надобно сказать правду, что у Вас исторические события быстро следуют одно за другим и что только Кавказ доставляет Государю радостные вести и утешения во многих огорчениях, которые ему приходится терпеть. Вы прежде писали историю, теперь Vous faites de l'histoire (Вы делаете историю - *фр.*) Я понимаю, что Вы предпочитаете последнее, и понимаю, как я был не прав, когда при отъезде Вашем из Петербурга горевал, что Россия лишается лучшего военного историка своего"***.

А.В.Головнин не ошибался, считая, что деятельная служба на Кавказе была желанным для Милютина занятием. И как военный, и как государственный деятель Милютин всегда отстаивал активную имперскую политику самодержавия. Его убеждения в необходимости широких радикальных преобразований во всех сферах жизни сочетались с думами о дальнейшем расширении и укреплении Империи. Не удивительно, что в письмах Головнина, несмотря на признание высоких достоинств Милютина, иногда явно слышится упрек в адрес руководителей края.

Под впечатлением встречи с Милютиным, приехавшим на короткое время с Кавказа в Петербург, Головнин писал Барятинскому 10/22 декабря 1857 г.: "... мы имеем причины жаловаться на генерала. Он приехал сюда очарованный Кавказом, как двадцатилетний юноша, увлекающийся своей любовницей и требующий от своей больной матери, центральной России, больной, разоренной, пользуемой несведущими и неспособными врачами, невозможных трат на пожертвования в пользу этой прекрасной незнакомки, которая его <Милютина> околдовала и которая наверное не раз ему изменит"****.

---

*ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 13. Ед.хр. 3. Л. 201. (Присутствовавший при этом художник Горшельт написал картину, где среди русских генералов, принимавших капитуляцию Шамиля, изображен и Милютин. См.: Родина. 1994. № 3-4 С. 44—45).

** Родина. 1994. № 3—4. С. 126.

***Там же. С. 127.

**** Русский Архив. 1889. Кн. 1. С. 138.

Игривость тона вовсе не скрывает серьезной озабоченности Головнина. Тревога, обеспокоенность начавшимся оскудением центра и огромными расходами на имперскую политику почти постоянно присутствуют в письмах Головнина, особенно, когда приводится цифра этих расходов на Кавказ, составившая в конце 1850-х гг. 1/6 часть общего государственного бюджета Империи. 20 января 1860 г. Головнин уже без всякой дипломатии и игривости пишет Милютину: "Петербург не может долее смотреть на Кавказ как на бочку Данаид, поглощающую деньги, собираемые с России с большим трудом"*.

Отрезанный от столиц Кавказскими горами (Барятинский умышленно оттягивал проведение телеграфной линии, чтобы сохранить большую независимость от центра, а Закавказская железная дорога только планировалась), Милютин благодаря дружеским связям и обширной переписке был в курсе всех основных событий – переломного и стремительно меняющегося времени, которое переживала Россия накануне отмены крепостного права. Среди его корреспондентов – такие компетентные и прекрасно понимающие обстановку люди, как П.Д.Киселев, К.Д.Кавелин, Н.А.Милютин, А.В.Головнин и множество других, сообщавшие генералу о подготовке крестьянской реформы, финансовом и банковском кризисе, университетском вопросе и настроениях студенчества, международном положении России, расстановке сил в "верхах" и в обществе.

В пору блистательных успехов на Кавказе Милютин получил Высочайший указ от 30 августа 1860 г.: Александр II повелевал "нашему генерал-адъютанту" быть товарищем военного министра с сохранением звания генерал-адъютанта. Не без грусти покидал Милютин полюбившийся ему горный край. Он уезжал с Кавказа, оставляя искренних друзей, добрую память о себе среди сослуживцев. Сам Барятинский писал Милютину в декабре 1863 г. по получении его очередного письма: "Трудно выразить удовольствие, доставленное мне видом Вашего почерка: сколько прекрасных воспоминаний возбудила во мне знакомая рука!"**. Вспоминая времена наместничества Барятинского, один из мемуаристов, В.А.Инсарский, писал: "Разумеется, на первом плане в ряду военных деятелей стоял Д.А.Милютин. Его семейство держалось патриархальной простоты, которой оно не изменило и впоследствии, в другом, несравненно высшем положении. Можно без преувеличения сказать, что из всех страстей человеческих Д.А.Милютин имел одну страсть – трудиться"***. Милютину приписывали слова: "Вовсе не надо отдыхать, ничего не делая, нужно только менять работу, и этого довольно". Один из современников (И.Бартенев) назвал Милютина "великим трудолюбцем"****.

* * *

После четырехлетней службы на Кавказе Милютин вернулся в Петербург и приступил к работе в Военном министерстве в исторический момент жизни страны. Конец 1860 – начало 1861 гг. – последние месяцы существования

*ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 61. Ед. хр. 25. Л. 32—33; Ед. хр. 26. Л. 18 об. См. также Бочка Данаид // Родина. 1994. № 3—4. С. 125—129.

**Русский Архив. 1889. Кн. 6. С. 290.

***Русская Старина. 1897. Кн. 9. С. 586.

****Цит. по: *Бородкин М.* Граф Д.А.Милютин в отзывах его современников // Военный сборник. 1912. Кн. 5. С. 9—10.

крепостного права, время всеобщего ожидания, надежд на обновление и одновременно отчаянных усилий реакции изменить взятый правительством курс на освобождение крестьян, время напряженной государственной деятельности по подготовке реформ, среди которых крестьянская проходила последние стадии, другие – начинались. Этот рубеж между старой и новой Россией, этот "перевал", "поворотный пункт" в жизни народа и государства застал Милютин, став товарищем военного министра, а через год возглавив Военное министерство.

Своей предшествовавшей деятельностью, своими принципами и мировоззрением, характером и личными качествами Милютин вполне соответствовал и месту, и времени. Ему не надо было готовиться к предназначенной высокой роли, он был к ней готов благодаря обширным знаниям, просвещенному взгляду на необходимость радикальных и всесторонних преобразований в армии, отвечавших потребностям свободной от крепостного ига страны.

Характеризуя своего подчиненного, князь Барятинский писал 17 сентября 1860 г. Александру II как Императору и другу: "Раньше, чем генерал Милютин представится Вашему Величеству, я исполню свое обещание, данное Вам, Государь, ничего не скрывая, вполне откровенно поговорить с Вами, насколько я мог узнать в продолжении четырех лет, проведенных им со мною, о наклонностях, характере и способностях этого генерала. Вы найдете в нем человека, искренно преданного Вашей Особе, склонного к всему доброму; это человек честный, неуемного рвения, усидчивости ни с чем несравнимой, и чрезвычайно чувствительный к доверию и к хорошему обхождению, всегда осторожный, деловитый, благородно-нравственный, безо всякого педантства, далекий от всяких личных видов, совершенно бескорыстный и чуждый всякой зависти.

Высказавшись таким образом о прекрасных качествах, которыми он обладает и за которые я считаю поручиться, я открою его слабые стороны: его характер недоверчив, он мало знаком с людьми вообще, и бесчестные люди всегда могут вкрасться в его доверие; он имеет особенную склонность к офицерам Генерального Штаба, к литераторам и вообще ко всем окончившим высшие учебные заведения, настолько, что он становится несправедлив к тем, которые не из их числа. Он враждебно относится ко всему аристократическому и в особенности ко всему титулованному, и вот почему я полагаю, что со временем, может быть, полезно будет дать титул ему самому. К несчастью, он разделяет почти общий недостаток всех русских – ненавидит все, что не *Великорусского происхождения*, к тому же он со страстью предается своим симпатиям и антипатиям, последняя по отношению к туземцам Кавказа мне часто портила кровь и иногда вредила делам. Его здоровье в общем не хорошо и весьма слабо, больше всего сожалею об нем по поводу придворных и светских обязанностей, предстоящих ему в Петербурге; он их будет выполнять весьма добросовестно, и потребуется Ваше формальное вмешательство, чтобы устранить его от этого, насколько Вы найдете возможным, иначе он тотчас же будет сломлен физически и это ему воспрепятствует принести ожидаемую от него пользу. Я заметил, что кабинетная работа его не так утомляет, как беспрестанная сутолока людей, иногда сопряженная с его должностью: его силы тогда расшатываются, что мгновенно вызывает лихорадку, которую он с некоторого времени носит в своем организме, раза два я уже опасался за его жизнь. Передавая Вам с рук на руки Милютина, я предсказываю, что Вы им будете довольны, и позволяю себе про-

сить позволения вверить заботам Вашего Величества ёго здоровье и его состояние, о котором он сам никогда не подумает"*.

Это письмо А.Л.Зиссерман прислал Милютину 26 января 1889 г., перед изданием своего трехтомного труда "Фельдмаршал кн. Александр Иванович Барятинский", испрашивая его согласия на публикацию. Милютин такого согласия не дал. Этот неизвестный в литературе факт, как и в целом характеристика Барятинского, рисует Милютина не всегда безупречным в своих поступках и отношениях с людьми, но вместе с тем личность его предстает перед нами не стерильно безжизненной, а более человечной, противоречивой, сложной.

Обстоятельства назначения Милютина товарищем министра интересны и заслуживают внимания. Военный министр Сухозанет, как уже было сказано, еще при своем вступлении в должность в 1856 г. выразил нерасположение к Милютину и нежелание видеть его в составе Министерства. В 1860 г., назначая Милютина товарищем военного министра, Александр II не спрашивал мнения Сухозанета. Кандидатура Милютина была предложена ему князем Барятинским летом 1859 г. в доверительной беседе о положении дел в Военном министерстве.

Называя Милютина, Барятинский имел в виду не только государственные интересы, но и преследовал свои цели. Являясь сторонником прусской военной системы, он предполагал, что реорганизация русской армии будет проведена по прусскому образцу, когда руководство армией формально принадлежит Императору, фактически же начальнику Генерального Штаба, а Военное министерство ведает лишь административно-хозяйственными вопросами. Барятинский рассчитывал получить ключевой пост начальника Генерального Штаба, Милютина же хотел видеть в должности военного министра как помощника.

Рекомендацию Барятинского Александр II принял, однако начальником Генерального Штаба князь не стал, а Милютин, будучи министром, проявил полную независимость от бывшего своего начальника. Барятинский оказался в дальнейшем в стане противников Милютина. Но это будет позже, а тогда Барятинский приветствовал назначение Милютина министром из Испании, где он находился на лечении: "Несмотря на мое молчание, вы, однако ж, уверены, что день, в который я узнал, что Государь имеет вас своим министром, был для меня торжественным. Я знаю вашу привязанность к его особе, знаю ваши правила и все то, чем щедро Бог вас наградил, и что вы посвятите свою жизнь на славу его армии и царствования, мог ли я не быть в восторге? Ведь так мало честных людей в Петербурге"**.

Положение Милютина в первые полгода было тягостным, "ненормальным", как он сам считал. Сухозанет не допускал его ни к каким важным делам, обрекая быть "безучастным свидетелем" рутины и застоя, в котором пребывало ведомство. Стремясь выйти из этого неприятного положения, Милютин подал весной 1861 г. рапорт о предоставлении ему длительного отпуска. Однако в мае этого же года Сухозанет был назначен исполняющим обязанности наместника Царства Польского, Милютин вступил в управление Военным министерством, а 9 ноября был утвержден в должности военного министра.

*ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 64. Ед. хр. 22. Л. 10.

**Русский Архив. 1889. Кн. 9. С. 340; *Барсуков Н.* Жизнь и труды М.П.Погодина. СПб. 1905. Т. 19. С. 205.

И с этого момента Министерство, стоявшее до того в стороне от реформаторской деятельности в "верхах", включилось в нее, пришло в движение, преобразилось. Бездеятельность сменилась энергичной работой, рутина – инициативой и новаторством, медлительность – динамичностью. Сорокапятилетний, подтянутый, стремительный, полный замыслов и идей новый министр ничем не напоминал предшественника, одряхлевшего и неспособного к сколько-нибудь серьезному делу. Отмечая трудолюбие, скромность, напористую энергичность Милютина-министра, один из его сотрудников писал в своих воспоминаниях: «Недаром наш старый швейцар (в Военном министерстве – *Л.З.*) оставался совершенно недоволен Милютиным. "Что это за Военный министр, – говорил он, – влетит в переднюю как прапорщик, сбросит шинель на руки кому попало, и не успеешь оглянуться, как он очутится уже наверху лестницы"»*.

Став министром, Милютин без промедления приступил к разработке широкой программы военных преобразований и привлек к этому делу все Министерство. Почти ежедневно проходили совещания, работали различные комиссии, каждый желающий мог представить свои замечания и проекты, "во всем министерстве, — по признанию Милютина, – закипела необыкновенная деятельность". В результате большой, напряженной работы (сам министр спал не более пяти часов в сутки) общая программа преобразований всех частей военного управления и организации армии была готова в предельно сжатый срок, в течение двух месяцев, и уже 15 января 1862 г. представлена Александру II в форме всеподданнейшего доклада. Этот доклад, утвержденный Императором в конце января (с резолюцией: "Все изложенное в этой записке совершенно согласно с моими давнишними желаниями и видами"), стал программой действий Милютина и Министерства.

Главная задача программы Милютина заключалась в создании массовой армии европейского типа, что означало сокращение непомерно высокой численности войск в мирное время и способность к быстрой мобилизации в случае войны. Общая численность войск всех родов к концу 1861 г. составляла 1 034 603 нижних чинов при 38 000 генералов и офицеров, "цифра громадная для мирного времени", как отмечалось в докладе. По штатам военного времени соответственно предусматривалась цифра 1 534 340 нижних чинов, однако наличный запас был в три раза меньше планового и армия могла увеличиться всего на 25 %.

Эффективность существовавшей в России рекрутской системы была очень низкой, несопоставимой с европейскими образцами, гораздо более экономичными и одновременно боеспособными. Так, Пруссия могла увеличить свой контингент в военное время в 3,4 раза (от 200 000 в мирное время до 695 000 при мобилизации), Австрия в 2,2 раза (от 280 000 до 625 000), Франция в 2 раза (от 400 000 до 800 000)**. Рекрутская система давала громоздкую, дорогостоющую армию и вместе с тем истощала производительные силы деревни. Усиленные наборы во время Крымской войны "в конец разоряли население и под-

---

* *Крыжановский П.* Воспоминания о Петре Семеновиче Войновском // Исторический Вестник. 1910. Кн. 5. С. 469.

** Всеподданнейший доклад по Военному Министерству 15 января 1862 г. // Столетие Военного Министерства 1802—1902. Приложение к историческому очерку развития военного управления в России. I. СПб. 1902. Приложение 11. С. 73.

рывали его жизненные силы на долгое время" (например, в 1853—1855 гг. взяли с западной полосы 51, а с восточной 42 рекрута с 1000 душ).

Такая отжившая система не могла обеспечить России былую военную мощь, неизбежность реорганизации армии была очевидна, тем более, что крепостное право уже отменено. В докладе ставился вопрос о привлечении к воинской повинности "большей части населения", то есть об ограничении существующих многочисленных льгот и изъятий для разных классов и групп населения, одновременно планировалось фактическое сокращение срока службы рекрут, намечались меры, которые должны были подготовить и облегчить отказ в перспективе от рекрутской системы вообще, на данном же этапе предусматривался пересмотр рекрутского устава. Намеченные в докладе меры комплектования войск хотя и не могли обеспечить создание массовой армии европейского типа, но все же принесли ощутимые результаты: к 1870 г. запас вырос до 553 000 человек вместо 210 000 в 1862 г.*. Программа Милютина исподволь готовила переход к всесословной воинской повинности.

Существенной частью программы Милютина была реорганизация системы центрального военного управления и создание местных территориальных органов в виде военных округов. "Общая мысль этого преобразования, – писал позже Милютин, — состояла в том, чтобы привести все здание в стройный вид и упростить весь сложный механизм его, а для этого признано было полезным прежде всего слить вместе части однородные по кругу действий и уничтожить лишние наросты, которые в течение времени образовались более или менее случайно, без общего плана"**. Вся система управления страдала отсутствием единообразия, что очень затрудняло работу. Крепостнические порядки пронизывали разные сферы управления.

В итоге реформы 1867 г. была создана стройная система центрального военного управления, упразднены дублирующие структуры, аппарат Военного министерства сократился почти на тысячу человек, канцелярская переписка уменьшилась на 45%. Вместе с тем по Положению 1864 г. территория России была разделена на 15 военных округов, каждый из них являлся одновременно органом строевого управления войск и военно-административного устройства, представляя собой как бы Военное министерство в местном масштабе. Управления округа (артиллерийское, инженерное, интендантское, военно-медицинское) имели двойное подчинение – командующему войсками и соответствующим главным управлениям Военного министерства.

Военно-окружная система реформировала и оперативное руководство войсками в целях обеспечения их быстрой мобилизации в случае необходимости. В связи с военно-окружной реформой было упразднено старое деление войск на корпуса и высшей тактической единицей стала дивизия, однако через несколько лет корпуса были восстановлены. В соответствии с реорганизацией центрального военного управления, введением военно-окружной системы было принято "Положение о полевом управлении войск в военное время" 1868 г., которое уточняло функции главнокомандующего и его штаба, координацию их действий с окружными управлениями. Барятинский тогда же подверг резкой критике это преобразование Милютина.

---

* *Зайончковский П.А.* Д.А.Милютин. Биографический очерк. С. 26; *Зайончковский П.А.* Военные реформы 1860—1870 годов в России. М. 1952.

** <*Милютин Д.А.*> Военные реформы Императора Александра II // Вестник Европы. 1882. Кн. 1. С: 13.

П.А.Зайончковский пришел к выводу, что Положение 1868 г. "содержало в себе серьезные недостатки", что оно было "из всех преобразований в области военного управления наименее удачным"* . Еще более категоричную оценку дает А.А.Керсновский, который считает, что своими реформами "Милютин бюрократизировал всю русскую армию сверху – донизу"** .

Программа преобразований Милютина в соответствии с "духом времени" и общим реформаторским процессом той эпохи имела в виду общечеловеческие ценности, гуманистические идеи, была обращена к личности человека. При содействии Великого Князя Константина Николаевича Милютину удалось добиться отмены наиболее жестоких видов телесных наказаний, применявшихся до того в армии (кошки, шпицрутены, плети, клеймение), параллельно и одновременно с принятием гражданского закона об отмене телесных наказаний 17 апреля 1863 г. Военное ведомство незамедлительно отреагировало на судебную реформу 1864 г., создавшую в России новый, буржуазный суд, и приняло в 1867 г. военно-судный устав, основанный на началах гласности, состязательности.

Особенно большое внимание уделил Милютин подготовке офицерских кадров, а также обучению солдат. В середине 60-х гг., когда военно-учебные заведения были подчинены Военному министерству, Милютин проводит реформу системы военного образования. Считая раннюю военную специализацию вредной для формирования независимой личности молодого человека, министр упразднил кадетские корпуса и создал военные гимназии, представляющие собой средние учебные заведения с программой, близкой к курсу реальной гимназии. Цель его – повысить общеобразовательный уровень будущих офицеров.

Вместе с тем на основе специальных классов бывших кадетских корпусов (за исключением сохранившегося Пажеского корпуса) создавались военные училища, в которые принимались лица, получившие среднее образование. В результате качество преподавания и воспитания в военных гимназиях значительно повысилось, контингент поступавших в военные училища улучшился. Офицерский корпус стал пополняться более образованными и квалифицированными кадрами ежегодно в количестве 600 человек. Однако профессиональное военное обучение и воспитание оказались на втором плане по сравнению с общеобразовательной подготовкой.

Перестройка системы военного образования создала еще один тип военно-учебных заведений – юнкерские училища с двухгодичным сроком обучения. Для поступления в юнкерские училища требовались знания в объеме примерно четырех классов среднего учебного заведения. Юнкерские училища выпускали ежегодно около полутора тысяч офицеров. Одновременно пересматривались и обновлялись в соответствии с научными достижениями программы и учебные планы академий. Была открыта новая Военно-юридическая академия, помимо имевшихся уже трех – Генерального Штаба, Артиллерийской и Инженерной.

Не меньше занимало Милютина и обучение солдат. В докладе 15 января 1862 г. он писал: "Совершенствование армии основано преимущественно на образовании единиц, ее составляющих, на развитии их природных способ-

---

* *Зайончковский П.А.* Военные реформы 1860—1870 годов в России. С. 119.

** *Керсновский А.А.* История русской армии в четырех томах. М. 1993. Т. 2. С. 193.

ностей не только физических, но и умственных..."[*]. Изменилось строевое обучение войск, много было сделано для здорового физического воспитания солдат, для распространения грамотности среди нижних чинов, стали регулярными и были по-новому поставлены специальные издания "Солдатские беседы" и "Чтение для солдат", организованы полковые и ротные библиотеки.

Д.А.Милютин всеми силами стремился отойти от изнуряющей солдат формальной муштры и "придать обучению войск новый характер, более соответственный истинной пользе и условиям войны". Вместе с тем надо было покончить с практикой использования войск не по их прямому предназначению, укоренившейся в некоторых регионах (например, в Сибири), особенно на строительных работах, когда на солдат смотрели не как на силу боевую, а как на рабочие руки, без которых не было возможности обойтись не только для производства казенных построек военного, морского и гражданского ведомств, но и для первоначального устройства станиц и селений, для почтовой гоньбы и для всех других разнообразных надобностей администрации.

Многое делал Милютин и для перевооружения русской армии, понимая, что без нового технического оснащения нельзя создать современные вооруженные силы, боеспособные и достойные престижа России. Решение этой задачи он связывал с развитием отечественной военной промышленности, считая, что Россия не может ограничиться покупкой ружей за границей на всю армию.

Обширная программа всесторонних военных преобразований, разработанная и представленная Александру II Милютиным 15 января 1862 г., начала таким образом незамедлительно, но постепенно претворяться в жизнь в результате принятых в 60-х гг. законодательных актов. Важные и значительные сами по себе, они вместе с тем подготавливали почву для основной военной реформы – введения всесословной воинской повинности, которая будет принята позже, в 1874 г.

Несмотря на крайнюю занятость, Милютин не ограничивал свою деятельность исключительно военным ведомством, его преобразованием и нуждами армии. Человек образованный, европейски просвещенный, обладавший широтой взгляда и государственным умом, чуждый кастовости, он интересовался всеми сферами государственной жизни и оказывал всемерную поддержку либеральным реформам, следовавшим за отменой крепостного права.

В сложной расстановке правительственных сил Милютин всегда решительно противостоял реакции и крепостничеству. Он был последователен в отстаивании основных принципов либеральных реформ – гласности, всесословности, равенства всех перед законом. Он сочувствовал и содействовал министру народного просвещения, своему другу Головнину в осуществлении либеральных реформ общеобразовательной школы всех ступеней, а когда в 1866 г. этот пост занял консерватор Д.А.Толстой, стал его оппонентом и противником. Свои либеральные реформы военного образования Милютин проводил, преодолевая противодействие Толстого. В обществе в то время было распространено мнение, что "истинным Министерством народного просвещения должно считаться не то официальное ведомство, во главе которого стоял гр. Д.А.Толстой, а Военное министерство"[**].

---

[*] Столетие Военного Министерства. Приложение к историческому очерку развития военного управления в России. I. Приложение 11. С. 92.

[**] *Жервэ Ник.* Указ.соч. С. 31.

Д.А.Милютин поддерживал основные начала земской реформы, разработанные его братом Николаем Алексеевичем накануне отмены крепостного права и в прямой связи с освобождением крестьян (до отставки Н.Милютина, последовавшей в апреле 1861 г.). Поэтому ему пришлось столкнуться с преемником Н.А.Милютина по Министерству внутренних дел и прямым его антиподом П.А.Валуевым. При первой их встрече Валуев записал в дневнике 15 января 1861 г.: "Был у Милютина, товарища военного министра, с которым дотоле не был знаком. Приятная личность, но в крестьянском вопросе он, очевидно, под влиянием брата". Совпадение взглядов отмечено верно, но объяснялось оно не "влиянием", а общностью мировоззрения братьев. Через несколько дней Валуев продолжал запись о Милютине опять по поводу освобождения крестьян: "Он почти "краснее" или желчнее брата"*.

При первом обсуждении проекта земской реформы в Особом Присутствии Государственного совета Валуев встретил противодействие Милютина своим стремлениям ограничить права крестьян. В дневнике 1 июля 1862 г. он записал: "Милютин наиболее озабочен демократическою нивелировкою представительства"**. Вместе с тем Милютин защищал расширение компетенции и самостоятельности земского самоуправления, ограждение его от "усмотрения" администрации. Милютин серьезно столкнулся с Валуевым и при принятии Закона о печати 1865 г., считая крайне вредным для развития гласности в обществе сосредоточение власти над печатью в руках министра внутренних дел.

Сам Милютин придавал большое значение печати в жизни обновляющейся после отмены крепостного права России. Именно благодаря его вниманию и усилиям "Русский Инвалид" – орган Военного министерства – превратился в серьезную политическую газету, имевшую свое лицо, свою позицию, причем не только по вопросам специально-военным, но и по общеполитическим. "Русский Инвалид" последовательно поддерживал проведение либеральных реформ, особенно земской, судебной, университетского устава и др. Милютин уделял газете много внимания, следил за подготовкой номеров. Один из вполне компетентных мемуаристов, Е.М.Феоктистов, бывший в начале 60-х гг. сотрудником газеты "Русский Инвалид", свидетельствует: "...редактор должен был неуклонно каждый день к 9 часам вечера приезжать к нему и представлять на его усмотрение все сколько-нибудь выдающиеся статьи; как бы ни был занят Милютин, у него всегда хватало времени весьма внимательно заняться ими; он дорожил "Русским Инвалидом", как самым удобным средством распространять известного рода идеи не только в военном сословии, но и вообще в публике"***.

Будучи убежденным и последовательным сторонником и защитником либеральных преобразований, связанных с отменой крепостного права, Милютин, как и большинство реформаторов, продолжал верить в монархию, ее творческие силы, в ее способность возглавлять процесс обновления страны, проявлять и дальше инициативу в начатой ею же масштабной государственной перестройке. Так было, во всяком случае, в 60-е годы. Александра II он воспринимал как Царя-освободителя, Царя-реформатора, был ему абсолютно предан, видел в нем основной оплот происходящих в стране прогрессивных перемен.

---

* *Валуев П.А.* Дневник. М., 1961. Т. 1. С. 60—61.

** Там же. С. 233.

*** *Феоктистов Е.М.* За кулисами политики и литературы. 1848—1896. М. 1991. С. 312—313.

Общеполитические взгляды Милютина очень определенно выражены в сохранившемся собственноручном наброске записки, датированной Зайончковским серединой 60-х гг. Милютин писал: "Реформа у нас может быть произведена только властью. У нас слишком велико еще брожение, слишком разрознены интересы, чтобы ожидать чего-нибудь хорошего и прочного от инициативы этих разрозненных интересов... (стало быть, мысли о конституционных проектах должны быть отложены на многие лета). Затем реформа наша должна быть общая для всей империи; всякое исключительное применение к той или другой местности вредит единству государства, возрождает сепаратизм и соперничество.

Наконец, сохранение сословных привилегий сделало бы невозможным какой-либо прогресс"*.

Категоричное отрицание Милютиным возможности конституционных преобразований в России, видимо, отчасти объясняется и тактическими соображениями. С середины 60-х гг., особенно после покушения Д.Каракозова на Александра II 4 апреля 1866 г., в правительственных верхах стало преобладать влияние консервативно-реакционных сил, особенно усилилась власть шефа жандармов и главного начальника III Отделения С.Е.И.В. Канцелярии П.А.Шувалова. Идея конституции в олигархическом варианте соединялась с планами наступления на либеральные реформы сразу после отмены крепостного права в проектах Валуева, а затем Шувалова. Это не могло не настораживать Милютина и его единомышленников. Во всяком случае в конце 70-х гг. Милютин не только признает, но и будет настаивать на необходимости хотя бы ограниченных конституционных преобразований. Да и вся логика либеральных реформ в перспективе вела к конституции, что предвидели и сами реформаторы.

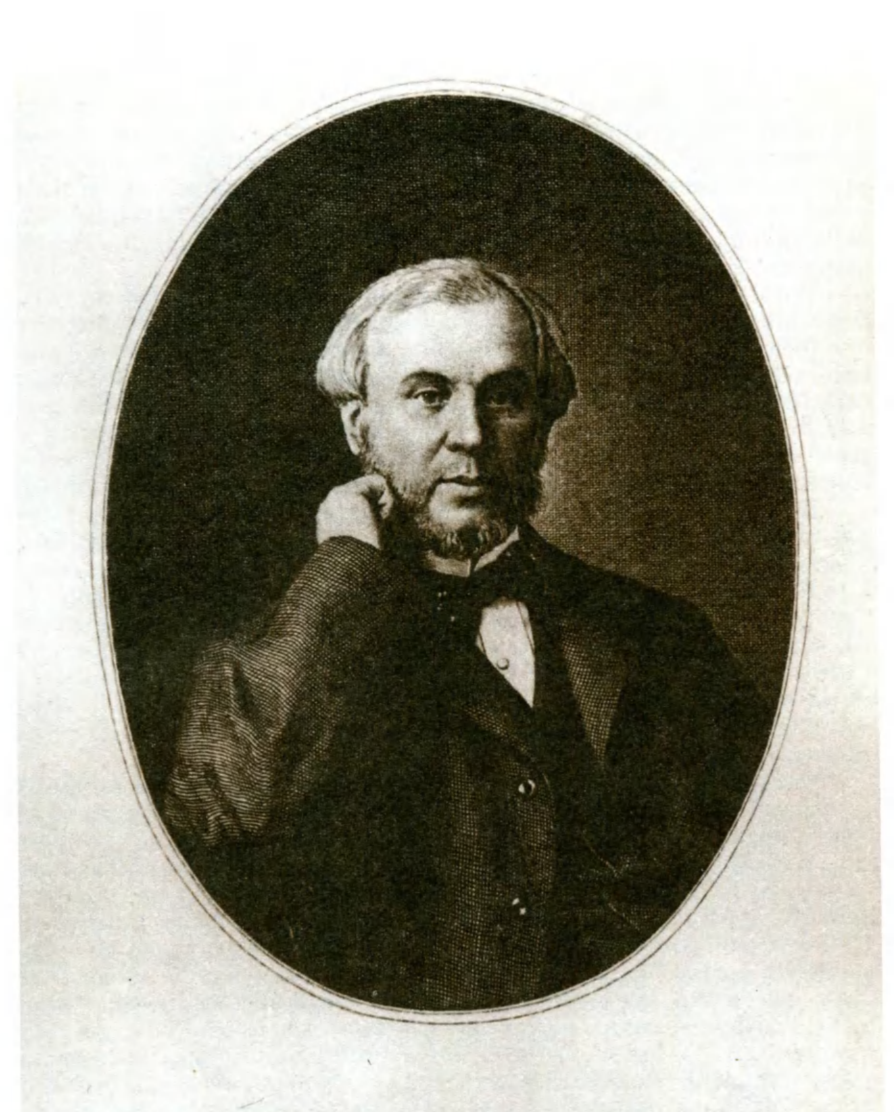
Подытоживая свою политическую позицию, Милютин заключает в той же Записке: "По-нашему, есть два условия главные, существенные. Sine quo non (непременное условие – *лат.*) – без которых всякая политическая теория в применении к России должна считаться несостоятельной. 1-ое – единство и целость государства, 2-ое – равноправность членов его. Для первого условия нужно: *сильная власть и решительное преобладание русских элементов* (мы говорим об Империи – о Царстве Польском или о Княжестве Финляндском речь особая). Для второго условия необходимо откинуть все устаревшие, отжившие *привилегии*, проститься навсегда с правами одной касты над другой. Но *сильная власть* не исключает ни личной свободы граждан, ни самоуправления; но *преобладание русского элемента* не означает угнетения и истребления других народностей; но *устранение старинных привилегий* – далеко от нивелирства и социализма.

Тот, кто хочет истинного блага России и русского народа, кто думает более о будущности их, чем о настоящих эгоистических интересах, тот должен отвергать решительно все, что может или колебать власть единую и нераздельную или подстрекать и потворствовать сепаратизму некоторых частей или поддерживать дух властвования одного сословия над другими"**.

Если в вопросе о необходимости и своевременности для России конституции можно говорить об эволюции взглядов Милютина, то признание России единой и неделимой, с преобладанием русского элемента, признание активной

***Зайончковский П.А.* Д.А.Милютин. Биографический очерк. С. 31—32.

**Там же С. 32.



Н. А. Милютинъ.

Грав. Ив Пожалостинъ 1883.

имперской политики, дальнейшего расширения границ и наращивания мощи и величия Империи наряду с последовательным проведением либеральных реформ были неизменны на протяжении его долгой жизни и деятельности. Либерализм и просвещенность его взглядов как-то органично уживались с крайней жесткостью и даже нетерпимостью в реализации имперской политики самодержавия в пору либеральных реформ Александра II, почитаемого и любимого монарха.

Это особенно очевидно на примере отношения Милютина к Царству Польскому. Милютин был сторонником беспощадного подавления польского восстания 1863—1864 гг., одобрял решительные карательные действия прославившегося своей жестокостью в Северо-Западном крае М.Н.Муравьева (Вешателя). Он не разделял возобладавшую в правительстве в конце 1861 г. установку на компромисс за счет предоставления Польше широкой автономии, настаивая на усилении и распространении православия в этом католическом крае. Жесткой линии он придерживался и по отношению к Остзейскому краю и Финляндии.

Для имперского мышления и политической позиции Милютина очень характерно его отношение к дальнейшему продвижению в Среднюю Азию и завоеванию этого края. Вопреки мнению министра иностранных дел А.М.Горчакова и его ведомства, опасавшихся осложнений в отношениях с Англией, Милютин настоял на активном продвижении в Средней Азии, которое заключалось первоначально, в 1864 г., в соединении Оренбургской и Сибирской линий. В 1867 г. по предложению Милютина туркестанским генерал-губернатором и командующим войсками округа был назначен генерал К.П.Кауфман, который и стал претворять в жизнь наступательные планы военного министра.

Однако основные трудности подстерегали Милютина совсем не в этой сфере политики – имперские амбиции и имперские притязания были характерны для абсолютного большинства правительственных лиц. Опасность для Милютина заключалась в другом. С конца 60-х гг. нападки на "царство Милютина" со стороны Шувалова и группировавшихся около него сил стали носить открытый, угрожающий характер. В 1868 г. Шувалов, всесильный начальник III Отделения, и министр внутренних дел А.Е.Тимашев устроили яростную кампанию против "Русского Инвалида", который обвиняли "во вредном направлении", и орган Военного министерства, успевший завоевать почетное место в общественном мнении и в журналистике, был закрыт*. В то же время военный писатель Р.А.Фадеев, вдохновляемый князем Барятинским, своими статьями открыл поход против военных реформ Милютина. Казалось, противники Милютина были совсем близки к цели. Но обстоятельства непредвиденные и неподвластные их воле и влиянию позволили Милютину продолжить начатые преобразования.

Франко-прусская война 1870 г. и молниеносный разгром Франции произвели сильное впечатление и на Россию, заставив ее правителей задуматься о состоянии вооруженных сил и их боеспособности. Воспользовавшись этим, Милютин поставил вопрос об увеличении численности войск и о введении все-

*О борьбе Д.А.Милютина и его единомышленников с фракцией П.А.Шувалова и другими группировками в правительстве см.: *Рибер А.Дж.* Групповые интересы в борьбе вокруг Великих реформ // Великие реформы в России. 1856—1874. Под ред. Л.Г.Захаровой, В.Эклофа, Дж.Бушнелла. М. 1992. С. 44—72.

сословной воинской повинности. Но сделал это не прямо, а прибегнув к помощи Валуева.

Находясь летом 1870 г. за границей, Валуев наблюдал стремительный разгром Франции и под впечатлением увиденного пришел к заключению о своевременности перехода в России к всесословной воинской повинности. Это мнение он высказал Милютину по возвращении. "Я отвечал ему, – пишет Милютин, – что без сомнения такое решение вопроса было бы самым рациональным, но что едва ли можно рассчитывать на успех, если инициативу подобного предложения приму я на себя: достаточно моего имени в этом предложении, чтобы оно было признано новой революционной мерой. Я убедил Валуева изложить письменно его мысли и представить их государю от своего имени"*.

Валуев незамедлительно отреагировал на предложение Милютина и за несколько дней составил записку "Мысли невоенного о наших военных силах", в которой, ссылаясь на опыт франко-прусской войны, доказывал необходимость увеличения вооруженных сил России на основе всеобщей воинской повинности. Эта записка, переданная Александру II, была возвращена Милютину с собственноручной одобрительной резолюцией. Перед Милютиным открывалась возможность подготовить и осуществить главную из военных реформ, идея которой обозначена была еще в программном докладе 15 января 1862 г.

Оппозиция, возглавляемая Шуваловым, при активном участии Барятинского, Толстого, Великих Князей Михаила и Николая Николаевичей и их сторонников предприняла последнюю отчаянную попытку помешать планам Милютина, устранить его лично от управления Министерством, отменить уже проведенные в 60-х гг. реформы. На секретных совещаниях под председательством Александра II, проходивших в течение 1873 г., развернулась неприкрытая борьба и жестокая полемика. Чаши весов колебались.

Был момент, когда оппозиция, сумев склонить на свою сторону царя, казалось, брала верх. Милютин проявил непреклонность и готов был уйти в отставку. И все же конфронтация противостоящих сил закончилась победой Милютина и его программы, хотя в некоторых вопросах были приняты компромиссные решения. Александр II побоялся лишиться испытанного и надежного министра. Разработанный под руководством Милютина устав о воинской повинности был издан 1 января 1874 г., главная из военных реформ принята вопреки усилиям оппозиции, отстаивавшей привилегии дворянства.

По этому закону воинскую повинность должно было отбывать все мужское население, достигшее 21 года, без различия сословий. Срок действительной военной службы ограничивался шестью годами для сухопутных войск и семью для флота. Устанавливались льготы по семейному положению: для единственного сына; для старшего сына, при наличии братьев моложе 18 лет; для лица, непосредственно следующего по возрасту за братом, находящимся на действительной военной службе. Значительные льготы предоставлялись по образованию: срок действительной военной службы для лиц с высшим образованием составлял всего шесть месяцев, для окончивших гимназии – полтора года, прогимназии и городские училища – три года, для получивших начальное образование – четыре года.

---

*ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 16. Ед. хр. 3. Л. 94–95.

Введение всесословной воинской повинности уничтожило одну из основных привилегий дворянства, в соответствии с общей направленностью реформ Александра II. Однако, и эта реформа не была последовательной, всесословность не обеспечивала всеобщей воинской повинности. Значительная часть "инородческого" населения устранялась от службы в армии, освобождались от призыва лица духовных званий, допускались отступления от закона для господствующих классов. И все же реформа 1874 г. создала условия для образования обученных резервов и перехода к массовой армии в России.

Победа Милютина, добившегося принятия устава о воинской повинности, совпала с падением всесильного Шувалова. С середины 70-х гг. Милютин стал самым влиятельным лицом в правительственных сферах, к его содействию часто обращались в самых важных случаях, его мнения спрашивали при решении всех серьезных государственных вопросов, особенно внешней политики, борьбы с революционным движением, присоединения новых территорий и управления окраинами и др.

С уходом Шувалова германофильская группировка в "верхах", которую он возглавлял, ослабла. И все же Милютину, бывшему всегда убежденным противником этого направления, не удалось добиться решительного пересмотра внешнеполитической ориентации, несмотря на окрепшие позиции и успехи в проведении реформ. Почитание и любовь Александра II к своему родному дяде (по матери), германскому императору Вильгельму I были серьезным препятствием на этом пути. Власть самодержавного монарха с проведением освободительных реформ не убавилась. Милютин с тревогой наблюдал за происками Бисмарка, стремившегося отвлечь Россию от европейских дел.

По-прежнему настаивая на наступательной политике в Средней Азии (вопрос о занятии Кокандского ханства был решен Александром II в 1873 г. под давлением Милютина и его ставленника Кауфмана), Милютин с напряженным вниманием следил за развитием отношений России с Турцией. За два месяца до русско-турецкой войны, 7 февраля 1877 г. он представил записку "Наше политическое положение (в настоящее время)", в которой определенно выразил позицию военного ведомства в решении восточного вопроса. В составлении записки большая роль принадлежала ближайшему сотруднику Милютина Н.Н.Обручеву, который разработал в 1876 г. стратегический план войны с Турцией.

Записка начиналась миролюбиво, с признания пагубности войны и ее последствий для России в сложившейся внутри- и внешнеполитической ситуации. Однако главный пафос ее воинственный, требовавший решительных действий, вплоть до военных, России в восточном вопросе, продолжения традиционной политики Империи. Центральная идея Записки выражена определенно и немногословно: "Напрасно скрывать от себя, что восточный вопрос в том виде, как он стоит, — преимущественно *Русский* и что формула *общей за него европейской безопасности* мало к нам приложима"*.

"Русский" характер "восточного вопроса" раскрывается как "исключительные права" России покровительствовать балканским христианам, права, завоеванные русско-турецкими войнами Екатерины II, Александра I, Николая I, существенно ограниченные исходом Крымской войны и Парижским миром

*ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 38. Ед. хр. 41. Л. 7.

1856 г. Цель Записки очевидна – укрепить позицию единомышленников и самого Александра II в решающий момент кризиса.

Цель эта вполне оправдывалась обстоятельствами. Хотя в "верхах", в правительстве и при Дворе, сторонников у Военного министерства было больше, чем противников, но все-таки инакомыслие имело место. Еще в октябре 1876 г. министр финансов М.Х.Рейтерн решительно и убедительно поднял голос против традиционной имперской политики и отверг всякую целесообразность для России войны с Турцией, даже возможность воспользоваться ее плодами в случае победы*.

Александр II не внял доводам здравого смысла, не учел социально-экономических интересов страны, находящейся в процессе крупномасштабных внутренних преобразований. После долгих колебаний, под натиском сторонников войны, под влиянием общественного настроения, охваченного идеей освободительной миссии России по отношению к единоверным славянским народам, Александр II решился на мобилизацию. Записка Рейтерна осталась без последствий, если не считать раздражения самодержца. Милютин, олицетворявший позицию военных, победил. Спустя три года после принятия устава о воинской повинности Милютин провел первую в истории русской армии мобилизацию, а затем 62-летний военный министр оказался на театре военных действий рядом с 60-летним Александром II, который сам называл себя, отправляясь на войну, "братом милосердия".

Война 1877—1878 гг. оказалась проверкой силы и слабости военных реформ Милютина. Мобилизация прошла организованно и оправдала действенность нового устава о воинской повинности. Однако, перевооружение армии к началу войны было еще далеко до завершения, что неблагоприятно отразилось на боеспособности войск. Но главная причина многих неудач и больших человеческих жертв в ходе военных действий заключалась не в недостатках реформ или их незавершенности, а в самой природе самодержавной монархии. В войну особенно наглядно проявились бездарность и некомпетентность открыто враждовавшего с Милютиным главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича и его окружения. Опасность представляло и постоянное вмешательство в дела Александра II, горевшего желанием "принять участие в бою", как с горечью отмечает Милютин, обреченный на безучастное присутствие при монархе. Сама государственная система самодержавной монархии была грозным препятствием на пути реализации ею же принятых реформ**.

И все же в критические моменты, после третьего неудачного штурма Плевны, когда командование и Александр II склонялись к отступлению, именно по настоянию военного министра было принято решение о четвертом штурме, завершившемся победой и предопределившем окончание войны. Милютин был награжден орденом Св.Георгия 2-й степени, а после Берлинского конгресса, рассмотревшего и утвердившего условия мира между Россией и Турцией, возведен в графское достоинство.

---

* См.: *Рейтерн М.Х.* Биографический очерк. Составлен А.Н.Куломзиным и гр. В.Г.Рейтерн — бар. Нолькен. С приложением из посмертных записок М.Х.Рейтерна. СПб. 1910. С. 160—167, 177—188.

** См.: *Бушнелл Дж.* Д.Милютин и Балканская война: испытание военной реформы // Великие реформы в России. С. 239—259.

С этого времени роль Милютина в правительстве стала особенно значительна. Фактически он направлял внешнюю политику государства после ухода в длительный отпуск постаревшего канцлера Горчакова. Это вызвало большую тревогу Бисмарка и других государственных деятелей Германии, рассматривавших Милютина как принципиального врага проводимой ими на международной арене политики, в первую очередь по отношению к России. Настороженность Бисмарка имела основание. Милютин действительно оказался дальновиднее многих своих современников и особенно Александра II, своевременно осознав опасность для России усиленной милитаризации и стремительного возвышения западного соседа.

Не только внешнеполитические вопросы занимали Милютина помимо специальной военной сферы. В последние годы своей государственной деятельности, достигнув наивысших почестей, влияния и успехов в карьере, Милютин с особенным, обостренным, пристальным вниманием следит за развитием внутриполитических событий в стране и общим направлением правительственного курса. Размах революционного движения, увлекшего молодежь на путь терроризма, настораживал и не мог оставить безучастным такого просвещенного и по-государственному мыслившего человека.

В черновиках дневника Милютина за 1879 г. обнаружена интересная и характерная запись, которая была опущена по желанию самого автора при переписке чистового варианта. "Нельзя не признать, – подводил итог своим многолетним наблюдениям Милютин, – что все наше государственное устройство требует коренной реформы снизу доверху. Как устройство сельского самоуправления, земства, местной администрации, уездной и губернской, так и центральных и высших учреждений – все отжило свой век, все должно б получить новые формы, согласованные с великими реформами, совершенными в 60-х годах. К крайнему прискорбию, такая колоссальная работа не по плечам теперешним нашим государственным деятелям, которые не в состоянии подняться выше точки зрения полицмейстера или даже городового. Высшее правительство запугано дерзкими проявлениями социалистической пропаганды за последние годы и думает только об охранительных полицейских мерах, вместо того, чтобы действовать против самого корня зла. Появилась зараза – и правительство устраивает карантинное оцепление, не предпринимая ничего для самого лечения болезни. Высказывая эти грустные мысли, невольно задаешь себе самому вопрос: честно ли ты поступаешь, храня про себя эти убеждения, находясь в самом составе высшего правительства? Часто, почти постоянно гнетет меня этот вопрос, но что же делать? – Плетью обуха не перешибешь; я был бы Дон-Кихотом, если бы вздумал проводить взгляды, совершенно противоположные существующим в той сфере, среди которой вращаюсь; взгляды эти сделали бы невозможным мое официальное положение и не принесли б ровно никакой пользы делу; я убежден, что теперешние люди не в силах не только разрешить предстоящую задачу, но даже и понять ее"*.

Тревожные мысли о судьбе начатых реформ и будущем России не оставляли Милютина и нашли выход в составленной им осенью 1879 г. обширной записке-проекте: "Мысли о необходимых преобразованиях в управлении, в учебной части и в духовенстве". Эти "мысли" Милютина близки конституци-

* *Зайончковский П.А.* Д.А. Милютин. Биографический очерк. С. 56.

онным идеям. Он считал, что "без всякого опасения какого-либо переворота или ослабления власти" можно реформировать Государственный совет – ввести в его состав выборных от губернских земств в равном числе с членами по назначению. Это явилось бы логическим продолжением земской реформы и одновременно соединением высших структур власти с новыми институтами, возникшими вследствие отмены крепостного права. Другая задача этой общегосударственной реформы касалась центральной исполнительной власти – создания единого правительства во главе с первым министром, Совета министров, имеющего программу и общее направление, способного к единству действий и несущего коллективную ответственность за проводимую политику*.

Бездеятельность высшего правительства, утрата им инициативы, полицейские меры борьбы с усиливающимся революционным террором подводят Милютина к неутешительным прогнозам. В июле 1879 г. он записывает в своем дневнике: "Во внутренней политике застой. Будущее видится в мрачном свете"**. Ум и интуиция не обманули автора дневника. Но прежде, чем сойти с политической сцены, он заявит о своей позиции и, поставив интересы дела выше карьеры и личного положения, попытается предупредить роковой для страны поворот к реакции. Эти последние дни государственной деятельности Милютина связаны с трагическими событиями 1 марта 1881 г. – убийством Александра II народовольцами и развернувшейся в "верхах" отчаянной борьбой вокруг проекта "Конституции" М.Т.Лорис-Меликова.

После долгих колебаний, попыток пресечь рост революционного движения полицейскими мерами Александр II в последний год царствования склонился к признанию либеральной программы Лорис-Меликова, министра внутренних дел, фактически же главного лица в правительстве. Эта программа, поддержанная Милютиным, означала продолжение начатых в 60-е гг. реформ, учитывала опыт учреждения и деятельности Редакционных комиссий по крестьянскому делу 1859–1860 гг. Она предусматривала понижение выкупных платежей за землю бывших помещичьих крестьян, ограничение административного и цензурного произвола, упразднение III Отделения, расширение компетенции земского и городского самоуправления и учреждение общего (как говорилось в докладе – "народного") представительства в высших органах власти. Несмотря на ограниченность этого представительства, созыв его мог послужить шагом к конституции, к логическому завершению реформ, к обновлению самой государственной системы.

1 марта 1881 г., за два часа до трагических событий, Александр II вернул Лорис-Меликову одобренный проект "правительственного сообщения" о созыве "Общей Комиссии", с тем, однако, чтоб он был предварительно, до опубликования, заслушан в Совете министров 4 марта. Как передает Милютин, Александр II сказал при этом своим сыновьям Александру (будущему Императору) и Владимиру: "Я не скрываю от себя, что мы идем по пути к конституции"***.

Убийство Александра II оказалось непреодолимым рубежом для либеральных реформ, для мирного, начатого отменой крепостного права, процесса государственной перестройки. Совет министров, собравшийся 8 марта 1881 г.

---

* *Зайончковский П.А.* Д.А. Милютин. Биографический очерк. С. 57—58.

** *Милютин Д.А.* Дневник. Т. 3. С. 187.

*** *Милютин Д.А.* Дневник. Т. 4. С. 62.

под председательством Александра III, похоронил проект "Конституции" Лорис-Меликова, а вместе с ним и перспективу мирного, реформистского пути развития России. На этом историческом заседании среди тех, кто отстаивал проект Лорис-Меликова (Великий Князь Константин Николаевич, Валуев, министр финансов и родственник Милютиных А.А.Абаза и др.), был и Милютин.

Обращая внимание Александра III на необходимость определить общее направление политики правительства, Милютин сказал: "Покойный Государь по вступлении на престол предпринял целый ряд великих дел. Начатые им преобразования должны были обновить весь строй нашего отечества. К несчастью, выстрел Каракозова остановил исполнение многих благих предначертаний великодушного монарха. Кроме святого дела освобождения крестьян, которому покойный Государь был предан всей душой, все остальные преобразования исполнялись вяло, с недоверием в пользе их, причем нередко принимались даже меры, несогласные с основною мыслью изданных новых законов.

Понятно, что при таком образе действий нельзя было ожидать добрых плодов от наилучших даже предначертаний.

И действительно, в России все затормозилось, почти замерло, повсюду стало развиваться глухое недовольство... В самое последнее только время общество ожило, всем стало легче дышать, действия правительства стали напоминать первые, лучшие годы минувшего царствования. Перед самой кончиной Императора Александра Николаевича возникли предположения, рассматриваемые нами теперь. Слух о них проник в общество, и все благонамеренные люди им от души сочувствовали. Весть о предполагаемых новых мерах проникла и за границу...". Здесь речь Милютина была прервана резкой репликой недовольного монарха. И хотя Милютин сумел договорить и произнести заключительные слова: "Я позволю себе горячо поддержать предложение графа Лорис-Меликова"*, но это ничего не решало в исходе заседания. Громовые речи обер-прокурора Св.Синода К.П.Победоносцева и других защитников незыблемости самодержавия укрепили непреклонность Александра III. Путь конституции, путь реформ, создания правового государства был отвергнут.

Этот роковой для России выбор отодвинул в прошлое и деятелей реформ 60—70-х гг. Не согласные с новым курсом, они подали в отставку, покинув не только государственные посты, но даже и Петербург. "Реакция под маскою народности и православия – это верный путь к гибели для государства", – записал Милютин в мартовские дни 1881 г. в своем Дневнике**. К этому пути он и его единомышленники не хотели быть причастными.

22 мая 1881 г. Милютин покинул свой пост, а вскоре в Военном министерстве сменился весь руководящий состав. В память 20-летнего управления Милютина Министерством чинами всех военных управлений по добровольной подписке был собран особый капитал для учреждения премии графа Д.А.Милютина, которой награждались отличившиеся в учебе юнкера. Так выразили свою оценку деловых заслуг и человеческих качеств Милютина его многочисленные сотрудники. Так закончилась государственная деятельность Милютина, но жизнь и труд продолжались еще полных 30 лет.

---

* *Перетц Е.А.* **Дневник** (1880—1883). М—Л. 1927. С.34—35.

** *Милютин Д.А.* **Дневник**. Т. 4. С. 41.

* * *

Переселившись с семьей навсегда в Крым, Милютин за редчайшим исключением не покидал больше своего имения Симеиз, далекий и чуждый суете петербургской жизни. Здесь, в тиши уединения, "крымского скита", как он сам говорил, в кругу дружной семьи, близких и любящих людей, Милютин писал мемуары и приводил в порядок архив, который он начал собирать с молодых лет. Архив этот пополнялся. В Симеиз приходила многочисленная корреспонденция от друзей и бывших коллег из Петербурга, Москвы, из разных концов России. Поступали и документальные материалы, например, всеподданнейшие доклады военных министров П.С.Ванновского и А.Н.Куропаткина за 1882—1901 гг.

Правительство изредка вспоминало о заслугах Милютина. В 1898 г. в связи с открытием памятника Александру II в Москве присутствовавший на торжестве и приехавший ради него из Крыма 82-летний Милютин был произведен 16 августа в генерал-фельдмаршалы. 11 апреля 1904 г. в день 50-летия состояния Милютина в генеральских чинах ему были пожалованы бриллиантами осыпанные портреты Николая I и царствующего Императора. Такие же портреты Александра II и Александра III были пожалованы ему еще в 1881 г. при оставлении Министерства. За долголетнюю службу Милютин получил все русские ордена, включая и бриллиантовые знаки ордена Св.Андрея Первозванного, кроме того имел много иностранных орденов.

Д.А.Милютина, своего питомца, а позже профессора, вспомнила Военная академия. Ее депутация прибыла в Симеиз 30 ноября 1911 г., чтобы приветствовать почетного президента Академии с необычайным юбилеем, 75-летием со дня окончания академического курса. Один из членов депутации, ординарный профессор Военной академии генерал-лейтенант Г.Г.Христиани воссоздает портрет Милютина того времени: "Не успела депутация войти в небольшую гостиную, как из двери кабинета бодрою, быстрою походкою без палки, немного лишь согнувшись, вышел граф. С замечательно приветливою улыбкою, с редким радушием пожал он руки членам депутации... Депутация была поражена его внешним видом: бодрый, веселый, с быстрыми движениями, с светлым, ясным взглядом своих необыкновенно добрых глаз, он казался стариком лет 70—75, не более, т.е. лет на 20 моложе своего возраста". Членов депутации поразила "ясность ума графа, его правильные взгляды как на давно прошедшее, так и на настоящие события, его интерес положительно ко всем явлениям современной жизни, его необыкновенная память... По всем вопросам Дмитрий Алексеевич составил свое мнение, высказанное им ясно, точно, кратко, определенно" (см. Приложение).

Вскоре после этой знаменательной встречи с профессорами Военной академии, 25 января 1912 г. Милютин скончался, пережив на три дня свою жену. Похоронен он, как и брат Николай Алексеевич, в Москве, на кладбище Новодевичьего монастыря.

Д.А.Милютин оставил богатое рукописное наследие, тщательно разобранный и систематизированный архив. В предисловии профессора Христиани дано описание обстановки, в которой работал Милютин, создавая воспоминания. Окна его кабинета выходили на террасу, с которой открывался вид на Черное море, на весь Симеиз, на причудливые скалы "Диву" и "Монаха". В простенках между двух окон витрина с "величайшей святыней графа Дмитрия Алексеевича, с артиллерийским мундиром Александра II", над витриной портрет Александ-

ра II и под ним вид его кабинета в Зимнем дворце. Стены кабинета сплошь были заставлены книгами, которых насчитывалось в библиотеке Милютина до 15 тысяч томов. Под большим письменным столом, за которым создавались мемуары, стояли два ящика, в одном из которых был уложен черновой, собственноручный экземпляр воспоминаний и дневников, а в другом – экземпляр чистовой, переписанный под его непосредственным наблюдением, и самим исправленный и подготовленный к печати. Всего 32 книги: кн. 1–20 – воспоминания с 1816 до 1873 г.; кн. 21–32 – дневники с апреля 1873 до 1899 г.

Спустя столетие, те, к кому обращался мемуарист, могут прочесть первый том (1816–1843) его воспоминаний. И не только историки и военные, но и все интересующиеся прошлым своей страны. Хочется надеяться, что увидят свет и все остальные тома этих воспоминаний, самых обширных из известного нам мемуарного наследия России XIX в.

Публикуемый том охватывает время с 1816 до 1843 г. и включает первые три книги воспоминаний Милютина. Эта часть его мемуарного наследия написана в 1887–1888 гг., когда автору было семьдесят с небольшим лет, написана человеком умудренным жизнью, сохранившим прекрасную память, здравый и светлый взгляд на жизнь.

Спокойное, насыщенное разносторонней информацией, одухотворенное повествование автора властно притягивает к страницам, близким по литературным достоинствам к художественной прозе.

Следуя за мемуаристом, из уютного и скромного мира семьи Милютиных читатель попадает в большой мир столичной жизни – московского студенчества и петербургской военной среды, по дорогам и бездорожью России на юг, в Ставропольский край, на Северный Кавказ, где шла борьба с Шамилем.

Проникновенно пишет Милютин о Кавказе, его природе, его людях, о трудностях борьбы с горцами в Чечне, о войне. С особой теплотой и любовью пишет он о Грузии, о Тифлисе, сравнивая его по оживленности с Неаполем, о столичном грузинском светском обществе, его нравах, развлечениях, о грузинских красавицах, среди которых и вдова Грибоедова Нина Чавчавадзе. Описывает Милютин и устройство местной администрации, что, несомненно, представляет интерес для характеристики политики самодержавия на окраинах Империи.

Последняя часть публикуемого тома дает возможность одновременно с николаевской Россией увидеть европейские страны. Германия, Италия, Франция, Англия, Бельгия, Голландия, Швейцария и Северная Италия, придунайские страны с их историческими памятниками, музеями, театрами, картинными галереями, парками и красотами природы, государственные и общественные деятели, короли и простые люди, фермеры, рабочие, городские обыватели предстают в обстоятельном рассказе мемуариста, совершившего тринадцатимесячное путешествие в 1840–1841 гг. В рассказе очень живом, образном, ярком, так как мемуарист, хотя и писал в конце 1880-х годов, но основывался на своих ежедневных записях, которые вел во время долгого путешествия, преодолевая усталость, отсутствие времени, дорожные неудобства*. Вот почему страницы эти хранят остроту и свежесть сиюминутного восприятия, кстати сказать, во многом и в главном схожего с нашим сегодняшним при первом знакомстве с европейским миром.

*ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 1. Ед. хр. 14—17; Карт. 2. Ед. хр. 1—3.

В воспоминаниях много интересных сюжетов, дорогих и близких сердцу сегодняшнего читателя, созвучных его настроениям и переживаниям: об открытии 26 августа 1839 г., в Бородинскую годовщину, памятника Отечественной войны в виде стилизованной колокольни, о закладке вскоре (10 сентября) храма во имя Христа Спасителя в память Отечественной войны, что, оказывается, непосредственно связано с фамилией Милютиных.

Можно многое узнать о личности императора Николая I и о том, как праздновались в Англии именины королевы Виктории, встретить Гоголя, читающего "Ревизора" в доме князя Волконского в Риме. И, конечно же, увидеть самого Дмитрия Алексеевича Милютина как живого человека, узнать, например, что со своей будущей женой Натальей Михайловной Понсэ, с которой прожита будет долгая счастливая семейная жизнь и даже умрут они почти одновременно, он познакомился в 1840 г. на вершине Везувия, и это было его первое серьезное увлечение. История эта романтична и многое объясняет в цельной личности Милютина. Но пора, наверное, обратиться к страницам его Воспоминаний...

Л.Захарова

ОТ РЕДАКТОРА

Мемуарное наследие Д.А.Милютина, как и весь его архив, хранится в отделе рукописей Российской государственной библиотеки (фонд 169). Незадолго до смерти, в ноябре 1911 г. Милютин завещал свой богатый архив Николаевской Военной Академии, в которой учился, а потом преподавал. Подробное описание этой истории читатель найдет в предисловии профессора, генерал-лейтенанта Г.Г.Христиани к первому изданию этого тома (Приложение).

Обращаясь вновь к делу, начатому Христиани восемь десятилетий назад и тут же оборвавшемуся, мы считаем целесообразным переиздать первый том. Не только потому, что хронологически им открываются воспоминания Милютина, также не только потому, что он является библиографической редкостью. То первое издание, подготовленное и увидевшее свет в период гражданской войны, не имеет комментариев, указателей, не сверено с автографом, не иллюстрированно. Восполнить этот пробел необходимо.

Оригинал воспоминаний Милютина "Мои старческие воспоминания" подготовлен к печати им самим, затем переписан под его личным наблюдением в 1900-х гг. (большая часть А.М.Перцовой). Этот список с автографа и положен в основу нашей публикации.

Сравнение обоих текстов обнаруживает, что при редактировании Милютин вносил в оригинал главным образом литературно-стилистическую правку отдельных слов, реже предложений. Эта правка автора, которой немного и которая не несет смысловой нагрузки, специально в издании не оговаривается. Напротив, те редкие случаи, когда Милютин вычеркивал в автографе при подготовке к печати отдельные абзацы, содержащие дополнительные сведения о людях или событиях, специально отмечены и воспроизведены в подстрочных примечаниях. Список выполнен очень качественно, полностью соответствует отредактированному Милютиным автографу, описки единичны.

Список, с которого сделана эта публикация, составляет три объемные тетради-книги (28 см х 22 см) под № 1, 2, 3, в переплете из материи болотно-зеленого цвета с кожаным черным корешком, на корешке 1-й и 2-й книг наклейка темно-вишневого цвета с надписью названия золотыми буквами. Оглавление к книгам написано рукой Милютина. В фонде Милютина (169) это три единицы хранения – картон 12, ед. хр. 1—3. Соответствующий им текст автографа заключается в 18 тетрадях с самодельными обложками из плотной бумаги. Почерк Милютина аккуратен и разборчив, но чернила потускнели. В том же фонде это – картон 8, ед. хр. 1—18.

Воспоминания Милютина публикуются без каких-либо сокращений. Текст приведен в соответствие с современными правилами правописания, однако сохранены стилистические и языковые особенности написания некоторых слов (например, фешионабельный, противуположный и др.). Сохранена авторская транскрипция имен собственных и географических названий. Авторские подчеркивания отдельных мест или слов выделены курсивом. Пропущенные и недописанные слова, за исключением общепринятых сокращений, воспроизведены в квадратных скобках. Абзацы даются по оригиналу.

В подстрочных сносках приводятся: авторские примечания, перевод иностранного текста, смысловые расхождения выправленного автором текста с первоначальным вариантом, смысловые неисправности текста. Авторская правка стилистического и грамматического характера в подстрочных примечаниях не оговорена. Орфографические ошибки и описки исправлены без оговорок. Цифровые сноски отсылают к комментариям в конце книги.

Фамилии всех лиц, упоминаемых в воспоминаниях, не поясняются в комментариях, а аннотируются в указателе имен. Помимо указателя имен дается и указатель географических названий.

Часть изобразительного материала, помещенного в этом издании, воспроизводит рисунки Милютина из его кавказского альбома и заграничных дневников, хранящихся в его фонде. К сожалению, в фонде Милютина сохранилось мало изобразительного материала, что при его аккуратности и вниманию к своему архиву кажется несколько странным. Причина этого раскрывается в записке дочери Ольги Дмитриевны Милютиной: "В мае 1914 года мною посланы генералу Янушкевичу 33 портрета, старинных и современных, самого графа Д.А.Милютина, его родственников, друзей, сослуживцев, знакомых"*. Обнаружить их пока не удалось. Тем не менее в книге помещены портреты современников Милютина (в Указателе имен страницы, на которых находятся эти портреты, выделены полужирным шрифтом).

В приложении приводятся предисловия Христиани и профессора Б.Линкольна, одного из американских учеников П.А.Зайончковского, переиздавшего "Воспоминания" в США в 1979 г. Перевод с английского языка выполнен кандидатом исторических наук А.В.Павловской.

Составители приносят глубокую благодарность всем, кто оказал содействие и помощь в подготовке публикации: коллегам-историкам – В.И.Вельбель, кандидату исторических наук М.А.Чепелкину, доктору исторических наук К.М.Ячменихину; ученикам Л.Г.Захаровой – Е.Е.Дашковой, А.В.Кухаруку, О.А.Потапенко, кандидатам исторических наук Т.А.Тарабановой, М.М.Шевченко. Особую благодарность составители приносят сотрудникам ОР РГБ, содействовавшим в подготовке издания.

This work was supported by the Research Support Scheme of the Higher Education Support Programme, grant № 772/1995.

* * *

В ящике, в котором был уложен чистовой экземпляр "Воспоминаний" и "Дневника" оказался большой пакет, заключавший в себе две записки, с общим заголовком "Предварительное объяснение для читателя, в руки которого когда-нибудь попадут мои записки".

Обе записки, писанные собственною рукою графа Милютина, опубликованы Христиани в первом издании "Воспоминаний".

---

*ГА РФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 380. Л. 1.

Предварительное объяснение для читателя, в руки которого когда-нибудь попадут мои записки

Не раз в течение своей жизни замышлял я вести дневник, для сохранения в памяти всего сколько-нибудь замечательного, чему приходилось мне быть свидетелем, или в чем я сам был участником. Но затею эту мне удавалось осуществлять только по временам, урывками, при некоторых особых обстоятельствах, как например, во время первого моего путешествия за границу в молодые лета (в 1840 и 1841 гг.); также во время военных экспедиций на Кавказ. После непродолжительного опыта я бросал работу за недосугом, так как большая часть моей жизни прошла в напряженных занятиях, то учебных, то служебных, а вместе с тем мне всегда казалось, что скромное мое существование не могло доставлять довольно интересного материала для постоянного ведения дневника.

Служебное мое положение начало представлять несколько более такого материала только со времени Крымской войны и назначения меня вслед за тем на должность начальника Главного Штаба Кавказской армии (в 1856 г.). Еще более расширился мой кругозор с назначением товарищем военного министра и потом министром в 1860 и 1861 годах. Но именно эти стадии моего служебного пути и совпадали с наибольшим напряжением обязательной работы. Как во время Крымской войны, когда я неотлучно находился при военном министре и при самом Императоре Николае I для ведения переписки по военным действиям, так и на Кавказе, при начатом преобразовании тамошнего местного военного управления, а в особенности в начале управления Военным министерством, не было у меня ни минуты свободной, чтобы подумать о дневнике, хотя в эти эпохи мой дневник уже мог бы иметь некоторое значение, как материал для истории.

Только на тринадцатом году моего управления военною частью, в начале 1873 года, решился я приняться за ведение дневника, несмотря на то, что и в это время не было у меня более досуга, чем прежде. Вызвали меня на такое решение особые обстоятельства, сложившиеся весьма невыгодно для дальнейшего ведения дела, которому я всецело посвятил себя, С каждым днем я все более убеждался, что буду неправ пред будущими поколениями, если останусь безгласным свидетелем происходившего на моих глазах, отчасти при моем участии. Я счел себя обязанным сохранить для будущего историка те данные, которые могут пригодиться ему, чтобы разъяснить современные обстоятельства и обрисовать точнее действующих лиц.

Решающим для меня побуждением к ведению дневника послужили происходившие в начале 1873 года, в Зимнем Дворце, под председательством самого Императора, секретные совещания по весьма важным военным вопросам. По поводу этих совещаний открыто разыгралась враждебная против меня интрига, имевшая значение не столько потому, что чуть не заставила

меня тогда же покинуть пост военного министра, сколько потому, что благодаря ей мои планы новых серьезных мер относительно наших военных сил остались без последствий и предлежавшие совещанию задачи не были разрешены. Эта именно сторона дела и показалась мне заслуживающей внимания будущего историка для характеристики тогдашнего состава и образа действий нашего высшего правительства. Негласная обстановка дела, обыкновенно остающаяся скрытою для будущих поколений, часто обрисовывает эпоху яснее, чем общеизвестные факты, сохраненные в официальных документах.

Вот почему непосредственно по окончании означенных прискорбных совещаний, именно с 11 апреля 1873 года, начал я вести свой дневник.

Как уже замечено выше, не следует полагать, что с этого времени оказалось у меня более свободного времени, чем прежде; нисколько: я был и после того весь поглощен служебными делами и заботами. Но я принудил себя исполнять по мере возможности принятую на себя новую обязанность. Дневник мой писался урывками второпях, чаще всего по ночам, когда утомленный дневною работою и суетою, я урывал несколько минут от сна. Во время Турецкой войны приходилось записывать карандашом на биваке, в палатке или в полуразрушенной болгарской хате. Привожу это объяснение в оправдание свое пред тем, кто даст себе труд когда-нибудь заглянуть в мой дневник. Прошу его не смотреть на эти летучие заметки, как на литературную работу, не искать в них ни полноты, ни стройного рассказа. Я не имел возможности перечитывать написанное*, и потому опасаюсь, что дневник мой испещрен описками, нескладными фразами и промахами.

В позднейшее время, когда оставил я пост военного министра и, удалившись вовсе от служебной деятельности, поселился в полном уединении в Крыму, у меня уже не было недостатка времени; но с другой стороны, не было и материала для продолжения дневника. С первых же дней жизни в своем Крымском ските, хотел было совсем прекратить ведение дневника; однако ж по привычке продолжал по временам записывать кое-какие обстоятельства своей домашней жизни, или мысли о современных событиях, хотя и сознавал, что мой дневник утратил все прежнее свое значение: это было уже не показание свидетеля и участника событий пред судом истории, а лишь старческая болтовня досужего отшельника.

С другой стороны, мне казалось, что, оставаясь на старости лет в полном бездействии после полувека напряженной работы, я должен еще воспользоваться досугом последних лет жизни, чтобы возместить, насколько окажется возможным, слишком поздний приступ к ведению дневника. Выше я уже сказал, что он начат только на 13-м году моего управления Военным министерством и обнимает лишь последние 8 лет этого периода моей службы.

* Пересмотрено в позднейшее время, в конце 1889 и начале 1890-х годов.

Мне пришла мысль изложить мои *воспоминания* за предшествующие годы, насколько хватить памяти, умения и терпения.

Опасаясь взяться за слишком обширную задачу, я принял за начало своей работы конец 1860 года, то есть возвращение мое с Кавказа в Петербург, и вступление в должность товарища военного министра, и предложил довести рассказ до 1873 года, то есть до того времени, с которого начат мой дневник.

Излагая свои воспоминания за эти 12 лет, я имел в виду представить по возможности общую картину эпохи в тех рамках, в которых вращалась моя личная деятельность. Конечно, я мог говорить отчетливее о том, в чем был сам участником или свидетелем; но вместе с тем не обходил и тех фактов, которые более или менее касались вообще тогдашней правительственной деятельности и настроения общества. Сознаюсь, что во многих случаях память мне изменяла; я должен был пополнять личные воспоминания, пользуясь своим домашним архивом, то есть некоторыми сохранившимися у меня служебными бумагами и письмами разных лиц (своих черновых я не имел привычки сохранять за редкими только исключениями). Отчасти я прибегал к справкам в книгах и газетах; но имевшиеся у меня под рукою источники были крайне скудны, и я заранее прошу извинения у того, кому попадут мои "воспоминания", в том, что в них наверное окажутся и пропуски, и промахи. В одном только могу пред ним поручиться, что я всеми силами старался устранять всякое пристрастие или преднамеренное искажение фактов; всегда становился на объективную точку зрения, не увлекался личными своими отношениями к людям и событиям. О себе самом и своей семье я говорил мало, только мимоходом. Напротив того, во всем своем рассказе старался представить верные характеристики тех личностей, которые приходилось мне встречать на пути служебном, или общественном. Я выставлял закулисные пружины событий; высказывал всю правду как о покойниках, так и о живых, не стесняясь никакими побочными соображениями, ни древнею поговоркою: de mortuis aut bene, aut nihil *; напротив того, я держался сколько умел другого известного изречения: amicus Plato, sed magis amica — veritas **.

Весьма естественно, что воспоминания мои преимущественно заключаются в том круге, в котором я сам вращался в течение описываемых 12 лет. Поэтому читатель не удивится, что в моем рассказе, быть может, отведено слишком много места тому, что происходило при Дворе и в нашем петербургском официальном мире. В продолжение 20 лет я был почти неотлучно при Императоре Александре II; понятно, что и в моих воспоминаниях эта высокая историческая личность почти не сходит со сцены. Кругом нее группируются все остальные упоминаемые лица. Читателю, быть может, покажутся банальными многие подробности, как например описания разных при-

---

*О мертвых следует говорить или хорошо, или ничего (*пер. с лат.*).

**Платон мне друг, но истина еще больший друг (*пер. с лат.*).

дворных и военных церемоний, лагерных занятий и т.п. В этом отношении я имел в виду, что подобные подробности, как ни кажутся маловажными для современников, становятся в позднейшие времена любопытными характеристическими чертами давно минувшей эпохи. Знаю по собственному опыту, что при разработке исторических материалов бывает иногда драгоценно самое мелочное указание современника; случается, что сохранившийся клочок бумаги получает для историка высокую цену.

Не мало места отведено в моих воспоминаниях делам Военного министерства. В статьях, относящихся к этому предмету, я имел в виду отдать отчет в произведенных по военной части преобразованиях за время моего управления Министерством, в той надежде, что простой мой рассказ разъяснит те несправедливые нарекания, те враждебные нападки, которые встречали все нововведения, быстро следовавшие одни за другими в устройстве нашей армии и военного управления. Во все 20 лет моей деятельности во главе Военного министерства, я выдерживал непрерывную упорную борьбу с противниками нового направления в военных делах, с ретроградами, заподозрившими в моем образе действий какие-то тайные, зловредные, даже революционные цели. Естественно, что в записках своих я не упускал случая выставлять эти нападки в истинном свете и по возможности указывал откуда исходили интриги и гнусные изветы.

Как в "дневнике" своем, так и "воспоминаниях", повторяю, я вовсе не задавался литературною обработкою. В моих глазах это не что иное, как сырой материал, которым может воспользоваться будущий историк, когда наступит время писать правдивую картину пережитой мною эпохи. А писать такую историю, по моему мнению, можно лишь тогда, когда все действующие лица сойдут со сцены и когда нечего уже бояться раздразнить гусей.

20 сентября 1886 г.
Симеиз

Употребив 5 лет досужей жизни в Крыму (с 1881-го по 1886-ой) на обработку своих воспоминаний за первые 12 лет министерской деятельности (1861—1873), я не смел рассчитывать, что в мои старческие годы хватит у меня сил, чтобы составить столь же полный и последовательный рассказ о предшествовавшей моей жизни и служебной деятельности. Притом мне казалось, что для подобной работы не окажется у меня и достаточно материалов. Поэтому первоначально я полагал ограничиться лишь краткими автобиографическими заметками. Однако ж, начав рыться в своих картонах со старым хламом бумаг и писем, я нашел в них столько следов отдаленного прошлого, начиная с самого детства моего, что незаметно увлекся работою, и в течение

последних двух лет успел довести довольно обстоятельный рассказ до конца 1856 года, т.е. до назначения моего начальником Главного штаба на Кавказе. Таким образом теперь остается необработанным лишь четырехлетний период последней моей службы на Кавказе, для которого впрочем подготовлены некоторые материалы*.

Прерывая ныне свою работу на этой стадии, по случаю предпринимаемого продолжительного путешествия за границу, считаю нужным дополнить написанную мною 20 сентября 1886 года объяснительную записку некоторыми указаниями на характер нового моего труда.

Обработанный ныне отдел моих воспоминаний, долженствующий предшествовать составленному прежде, значительно отличается от последнего своим содержанием. Само собою разумеется, что рассказ о временах детства, юности и первых годах службы не мог быть иным, как беглым биографическим очерком, в котором сгруппированы исключительно мелкие факты семейной и домашней жизни, мало интересные для лица, постороннего описываемому кружку. Из этой узкой рамки несколько выступают только рассказы о военных действиях на Кавказе в 1839, 1843 и 1844 годах: но и тут главное место занимают личные впечатления. Затем период с 1845-го по 1853 год может иметь значение для характеристики общественной и служебной жизни в Петербурге, хотя и в этом отделе преобладают подробности личные, биографические. Только с 1853-го года, т.е. с начала Восточной (Крымской) войны воспоминания мои уже переходят в более обширный круг, соприкасаясь с общими вопросами государственными и событиями политическими. Главы, относящиеся ко времени Крымской войны и потом к службе моей на Кавказе, уже близко подходят по своему характеру к составленному прежде второму отделу моих воспоминаний. К ним применяется и все сказанное мною в упомянутой объяснительной записке 20 сентября 1886-го года.

15 апреля 1889 г.
Симеиз

* * *

В архиве Д.А.Милютина сохранилась еще одна записка более позднего времени (от 5 июня 1903 года), дополняющая опубликованные в 1-м издании этого тома "Предварительные объяснения для читателя..." 1886 и 1889 г. Ограничиваемся публикацией фрагмента этой записки 1903 г., чтобы избежать повторов**.

"Как Дневник, так и Воспоминания писаны мною не для печати и оставались многие годы даже без прочтения. Только в последнее время, когда

* Пробел этот пополнен в позднейшее время, в 1889—1892 годах. (*Ред. Л.Г.Захарова*).

** ОР РГБ. Ф.169. Карт. 87. Ед.хр. 15. Л. 7—9; копия этой записки сохранилась в фонде А.Ф.Кони, которому особенно доверял Милютин — ГАРФ. Ф. 564. Д. 380. Л. 4—6

приступлено было в 1900 году к переписыванию набело, сделаны мною некоторые редакционные исправления. Но исправления эти не считаю я достаточными на тот случай, если после моей смерти возникла бы мысль об издании моих Воспоминаний и Дневника ради могущих заключаться в них некоторых исторических материалов для будущего историка.

Поэтому для решения вопроса об издании в свет я ставлю непременным условием предварительный пересмотр рукописи каким-либо лицом компетентным, которое приняло бы на себя двойственную роль цензора и литературного критика.

С точки зрения *цензурной* — могут показаться *неудобными* в печати некоторые слишком откровенные и нескромные разоблачения, особенно со стороны автора, занимавшего высокий служебный пост и близко стоявшего ко Двору. Такие места встречаются преимущественно в Дневнике и в позднейшие годы Воспоминаний.

Со стороны же *литературной* критики — некоторые места могут быть признаны *неинтересными* для публики, банальными, каковы например иные слишком подробные описания официальных и придворных торжеств. Замечу впрочем, что иные подробности, совсем неинтересные для современников, приобретают цену по прошествии сотни, или даже десятков лет, для будущих поколений.

Лицу, которое приняло бы на себя пересмотр рукописи с обеих указанных точек зрения, следует предоставить право вычеркивать все, что признает нужным, но без изменения смысла и без добавления чего-либо своего. Верной оценки в таком щекотливом деле можно ожидать только от лица уже достигшего известного авторитета в исторической литературе и при том обладающего, так сказать, нравственною чуткостью.

Найти такое лицо, конечно, будет не легко. Из числа немногих личностей, заслуживающих доверия, не всякий согласится принять на себя требуемую продолжительную работу. Указывать вперед на кого-либо из живущих ныне известных лиц было бы совершенно бесцельно. Только разве в виде наглядного примера могу назвать некоторых, наиболее внушающих мне доверие. Таковы Анатолий Федорович Кони, Н.Ф. Дубровин, П.О. Бобровский. Такое лицо хотя бы и не приняло на себя всю работу по изданию, не отказалось бы однако дать советы и высказать свой взгляд по отдельным сомнительным вопросам".

Мои старческія

ВОСПОМИНАНІЯ

1816–1873 гг.

Д.А.Милютин

ВОСПОМИНАНИЯ

Книга 1

Книга 2

Книга 3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книга 1

Книга 2

Книга 3

---

* В автографе: Детство и юность (*прим. публ.*)

** В автографе: Мои родители и родня (*прим. публ.*)

*** В автографе: Год за границей (*прим. публ.*)

Книга 1

1816–1839

В ДОМЕ РОДИТЕЛЬСКОМ
1816—1832

Родители и родня

Годы детства

1816—1827

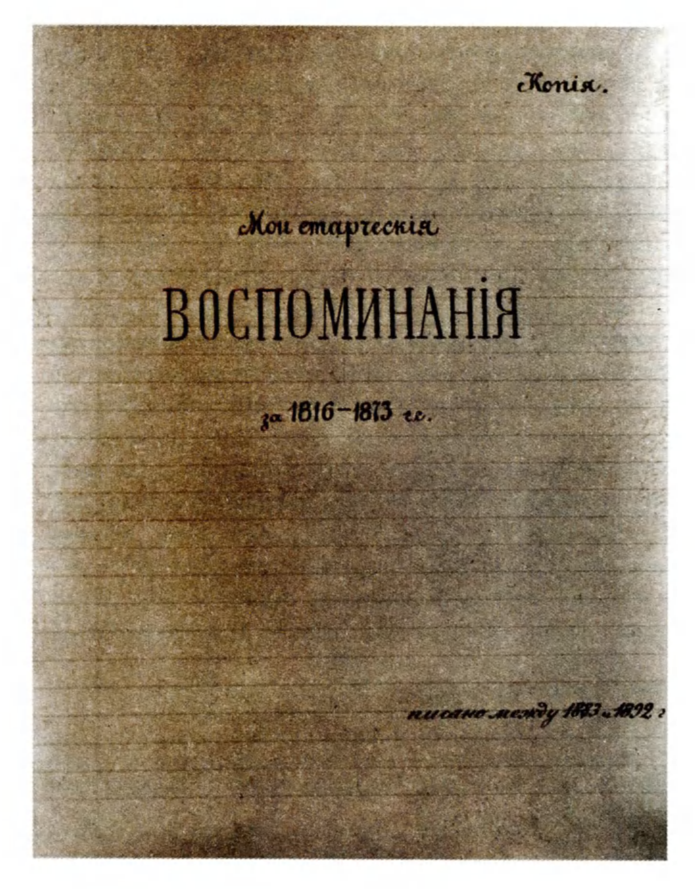
Годы юности

1827—1832

РОДИТЕЛИ И РОДНЯ

Следуя общепринятому обычаю, я должен прежде, чем приступить к своей биографии, сказать что-нибудь о своей генеалогии. К сожалению, сохранившиеся у меня по этому предмету данные крайне скудны; я сам почти ничего не знаю не только о своих предках, но даже о ближайшем отцовском родстве.

Сколько припомню, со слов моего брата Николая (более, чем я, удержавшего в памяти московские предания нашей семьи), род Милютиных происхождения сербского: но думаю, что это одно только предположение, основанное на том, что в сербском народе существует собственное имя



Копія.

Мои старческія

ВОСПОМИНАНІЯ

за 1816–1873 гг.

писано между 1873 и 1892 г

Титульный лист списка Воспоминаний

"Милютин" или "Милутин"*. Документов же, подтверждающих такое предположение, сколько мне известно, не имеется.

В старинных русских актах впервые встречается имя Милютин в XVII столетии: при царе Михаиле Федоровиче служили три брата: Яков, Григорий и Иван Милютины, сыновья некоего Дементия. Старший, Яков Дементьевич (умерший в 1688 году), состоял при государевых рыбных промыслах в Астрахани и Нижнем, откуда снабжал рыбой царский двор. Другие два брата были военные: Григорий упоминается в чине ротмистра, а Иван, гусар, убитый под Смоленском в 1656 году**. Еще упоминается Михаил Иванович Милютин, служивший при царе Алексее Михайловиче с 1667 года в звании живописца и иконописца. Наиболее же сведений имеется о сыновьях Якова Дементьевича, Алексее и Андрее.

Алексей Яковлевич Милютин, состоявший с 1690 года при Петре I в звании "комнатного истопника" и пользовавшийся особенными милостями царя, известен тем, что по непосредственному царскому указанию, завел в 1714 году первую в России фабрику, шелковую, позументную и парчевую, а в 1735 году выстроил в Петербурге торговые бани на Невском проспекте, на том самом месте, где находятся ныне так называемые "Милютины лавки"[1]. Сохранилась у меня подлинная грамота, данная в 1720 году Петром Великим, за царскою подписью и печатью, Алексею Милютину на учреждение означенной фабрики и, кроме того, еще черновой экземпляр той же грамоты с собственноручными помарками и добавлениями самого царя[2], что дает этому историческому документу двойную цену. Из него видно как царь входил лично во все подробности устроения громадного хозяйства России, как горячо заботился о водворении мануфактурной промышленности. Учредителю фабрики не только предоставлялась беспошлинная продажа своих изделий (шелковых лент, атласа, позументов, парчи) и беспошлинная же покупка материалов внутри государства, не только ограждались его права относительно нанимаемых по вольному договору мастеров, учеников и рабочих,но что особенно замечательно, высказывалось желание царя, чтобы употреблялись на фабрике краски внутреннего приготовления, а не заграничные, чтобы изыскивались новые красильные вещества и чтобы изделия фабрики со своим качеством не уступали иностранным. Второй официальный документ относительно нашего рода — есть пожалование

---

* Имя это встречается и числе "кралей" Сербских. В конце XIII и начале XIV столетия краль Милутин (он же Стефан Урош) вел удачные войны с Византией, грозившие империи окончательным распадением; стойко противился всем попыткам Папы привлечь сербский народ к унии; в особенности же прославился своим благочестием, делами благочестивыми и даже причислен церковью православною к лику Святых. Жизнеописанию его посвящена обширная статья в "Житии Святых" Филарета (1885. Октябрь, стр. 247).

** Сведения эти приведены в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона, но, к сожалению, без указания источников.

императрицею Анной Ивановной потомственного дворянства и герба, который изображает на голубом щите золотое стропило и три серебряные “вьюшки”[3]. Значение этих последних возбуждало в нашей семье недоумение: были ли это вьюшки печные, намекая на звание “комнатного при высочайшем дворе истопника”, или же — вьюшки фабричные, т.е. катушки, служащие на станках для наматывания пряжи, — остается невыясненным.

Как бы то ни было, но в конце 18 столетия дед мой, Михаил Андреевич Милютин, был уже одним из богатых московских дворян, имел в Москве два каменных дома близ Мясницких ворот в переулке, носившем его имя (переулок этот и до сих пор называется Милютинским)[4], и прекрасное благоприобретенное имение с 1000 душами в Лихвинском уезде

Родители и родня.

Слѣдуя общепринятому обычаю, я долженъ, прежде чѣмъ приступить къ своей біографіи, сказать что-нибудь о своей генеалогіи. Къ сожалѣнію, сохранившіяся у меня по этому предмету данныя крайне скудны; я самъ почти ничего не знаю не только о своихъ предкахъ, но даже о ближайшемъ отцовскомъ родствѣ. Сколько припомню, со словъ моего брата Николая (болѣе чѣмъ я сохранявшаго въ памяти Московскія преданія нашей семьи), — родъ Милютиныхъ происхожденія Сербскаго; но думаю, что это одно только предположеніе, основанное на томъ, что въ Сербскомъ народѣ существуетъ собственное имя, Милютинъ или Милутинъ.(x) Документовъ же, подтверждающихъ такое предположеніе, сколько мнѣ извѣстно, не имѣется.

(x) Имя это встрѣчается и въ числѣ Кралей Сербскихъ. Въ концѣ XIII и началѣ XIV столѣтій Краль Милутинъ (онъ же Стефанъ Урошъ) велъ удачныя войны съ Византіей, грозившія Имперіи окончательнымъ распаденіемъ, стойко противился всѣмъ попыткамъ Папы привлечь Сербскій народъ къ уніи; въ особенности же прославился сво-

Страница из списка Воспоминаний

Калужской губернии, частью — в Алексинском уезде Тульской губернии. Он был женат на Марии Ивановне Струговщиковой и имел трех сыновей: Александра, Николая и Алексея и двух дочерей: Екатерину и Елизавету. О старшем — Александре, ничего не знаю. Кажется, он был человек больной и жил постоянно в деревне, в уединении. Второй — Николай служил в Петербурге, достиг чина статского советника и был владельцем того самого дома, у Казанского моста, о котором упомянуто выше, известного до ныне под названием "Милютиных лавок". Дом этот был в 1814 году подарен им своей любовнице, купеческой жене, Наталье Михайловне Калмаковой, а впоследствии достался купцу Глазунову. Третий же сын, Алексей Михайлович, родившийся 29 октября 1780 года, и был моим отцом.

Как большая часть баричей в прошедшем столетии, отец мой воспитывался дома и, при тогдашнем состоянии педагогики, обучался весьма немногому; но, при замечательном уме и врожденном самолюбии, он сам в течение всей жизни пополнял свое образование. Молодость свою он провел в московской светской среде; по примеру других своих сверстников поступил в 1801 году в гражданскую службу — в тогдашнюю "Кремлевскую экспедицию" (собственно — "экспедицию Кремлевского строения"); в том же году получил первый чин и потом, почти не неся никакой службы, постепенно повышался в чинах в установленные сроки, так что в 1812 году уже был надворным советником. В 1807 году он был записан в состав формировавшейся тогда милиции и в числе всех других "чиновников, служивших в подвижном земском войске", получил установленную (указом 28 сентября 1807 г.) золотую медаль для ношения в петлице на Владимирской ленте.

В первое время молодости отец мой в своем образе жизни и привычках не отставал от сверстников и приятелей того круга богатой московской молодежи, среди которой он вращался. Он считал себя вполне обеспеченным в средствах жизни значительным состоянием своего отца, который жил на широкую ногу и, как человек весьма самолюбивый, тщательно скрывал расстройство своих дел. По собственному показанию моего отца*, дед мой держал себя в семье эгоистом и деспотом. Ни жена, ни дети не допускались до малейшего участия в делах. Хотя сыновья и начинали догадываться, что дела идут плохо, но судя по образу жизни отца и его речам, приписывали его затруднения случайным, временным обстоятельствам. Однако же, иллюзии их продолжались недолго: в 1803 году дед мой подвергся параличу: у него отнялись руки, ноги и даже умственные

*В записке, составленной им в виде посмертного наставления своим детям и писанной в марте 1846 года, незадолго до его кончины[5].

силы*. Тут по необходимости пришлось детям войти в дела отцовские. Но из них старший брат, Александр, живший, как сказано, в деревне, по стечению разных несчастных обстоятельств не мог принести пользы делам; второй, Николай, живя постоянно в Петербурге, также уклонился от всякого участия в них; оставался третий, младший брат, отец мой, который и должен был волей-неволей принять на себя всю тягость устройства опеки на помощь матери, умной, доброй, почтенной женщине, но вовсе не сведущей в делах.

Продолжаю рассказ со слов моего отца, по той же записке, о которой упомянуто выше.

При открытии действий опеки оказалось, что все доходы как с московских домов (в которых, сверх занимаемого самим владельцем помещения, отдавались квартиры в наем), так и с имений и фабрики составляли всего от 14 до 16 тысяч рублей (по тогдашнему счету на ассигнации), тогда как долги частные, уже поданные ко взысканию, простирались до 300 тысяч рублей ассигнациями, а казенный, — образовавшийся от недоимки по содержанию в Москве питейного откупа, — до 200 тысяч рублей; всего же долгу было до 500 тысяч рублей, а с наросшими процентами он доходил до миллиона рублей ассигнациями. Дело по взысканию означенной казенной недоимки велось уже десятки лет; фабрика же в селе Титове была в полном упадке.

Когда обнаружилось такое печальное положение дел, первою мыслью молодого Алексея Михайловича было уговорить мать и братьев отказаться от опеки и предоставить все имение в пользу кредиторов. Но такое предположение было неисполнимо по следующим соображениям: во-первых, отец еще был жив и мог прожить долго; во-вторых, в семье были еще две несовершеннолетние сестры и больной брат, а главное то, что в числе отцовских долгов некоторые были обеспечены поручительством матери и небольшим ее родовым имением в Скопинском уезде Рязанской губернии (сельцо Измайлово). С потерею этого имения она лишилась бы в старости всякого пристанища и все-таки на ней осталась бы личная ответственность в значительной сумме долга. Соображения эти заставили моего отца во цвете молодости (ему было в то время всего 23 года) отказаться от всяких видов на служебную карьеру** и посвятить всю свою деятельность делам опеки. Хотя он и не обольщал себя надеждою на полный успех, однако же, поставил себе целью — попытаться по возможности усилить доходы для уплаты хоть части долгов и по крайней мере — выиграть время.

* По другим данным, это случилось в июле 1800 года, а в мае 1801 года подано было Марией Ивановной Милютиной прошение об учреждении над имением ее мужа опеки по случаю расслабления его телесных и умственных сил.

** Ему покровительствовал президент Кремлевской экспедиции действительный тайный советник Петр Степанович Валуев, который хлопотал об определении молодого Милютина на службу в Петербурге у М.М.Сперанского или у Д.П.Трощинского.

Автограф
Д.А. Милютина

Но с первого же приступа к делам он встретил непреодолимые затруднения; не располагая ни запасным, ни оборотным капиталом, он не имел возможности не только поднять производительность фабрики, но и поддержать ее действие; рассчитывать на кредит опекунскому правлению также не было возможности; кредиторы становились требовательнее, и задушевное желание моего отца — выручить свою мать оказывалось неосуществимым. При таких обстоятельствах он решился, по совету расположенных к нему дельцов, войти в личные соглашения с кредиторами не в качестве наследника и не от имени опеки, а как лицо постороннее, желавшее приобрести на свое имя покупкою калужское и тульское имения* с принятием на себя и всего

*Имения эти были не родовые, а благоприобретенные, купленные Михаилом Андреевичем.

отцовского долга. Большая часть охотно согласилась на такую выгодную для них сделку; по рассмотрению дела в Дворянской опеке и в Сенате отцу моему выдана была в 1811 году купчая крепость со взысканием с него установленных пошлин, и, таким образом, он сделался лично владельцем имения уже не по наследству, а покупкою; за то и вся масса долгов легла на него одного. Став на новую и твердую почву, он, конечно, поспешил прежде всего очистить долги матери, и в этом отношении ему вполне удалось достигнуть цели — обеспечить на всю жизнь мать и сестер. Но во всем дальнейшем ведении дела ему не посчастливилось: неумолимая судьба преследовала его беспрерывно: все, что он потом ни предпринимал, чтобы поправить дела и погасить долги, встречало одни лишь неудачи и разочарования, так что вся его жизнь до самой смерти была непрерывною и тяжкою борьбой с несчастным роком. В этом отношении биография его полна драматизма.

Привыкнув в молодости к беззаботной светской жизни, отец мой нашел в себе довольно энергии и силы воли, чтобы вдруг обратиться к усиленной деловой работе. В первое время недостаток деловой опытности возмещал он своею деятельностью, своим умом и предприимчивостью. Имея по-прежнему главное местопребывание в московском доме, вместе с матерью и сестрами, он часто и подолгу живал в своем селе Титове, изучал сельское хозяйство, фабричное дело и пополнял свое научное образование чтением. Положение его было весьма не легкое. Хотя, по-видимому, им приобретено было прекрасное имение на выгодных условиях, так как кредиторы согласились на сделку с уступкою процентов и рассрочкою на 7 лет уплаты всего долга в 275 тысяч рублей, что составляло по 40 тысяч в год, однако же, в сущности положение дела было иное: к означенному основному долгу прибавилось до 200 тысяч новых долгов; требовалось не менее такой же суммы положить на фабрику для того, чтобы переустроить ее и сделать доходной; а вдобавок еще грозило в будущем казенное взыскание по прежним откупным делам.

Нужно было много твердости, сообразительности и знания дела, чтобы извернуться при таком положении. Отец мой должен был не только поддерживать соглашение с кредиторами, но завести связи с людьми промышленного и торгового мира, сближаться с личностями, которых он в душе не мог уважать. Между тем, вступил он в первый брак с красивою, но болезненною девушкой, Лукерией Петровной Бланк, с которою прожил не долго: она скончалась в чахотке, и доставшийся от нее отцу моему капитал, в 140 тысяч рублей, был употреблен на расходы по устройству фабрики, исправлению строений, покупке инструментов и станков. К маю 1812 года фабрика была пущена в ход в довольно больших размерах. Но тут на первых же порах начатое дело было поколеблено страшною катастрофою, постигшею наше отечество в 1812 году. Вторжение неприятеля, пожар Москвы и общее бегство из окрестных губерний нанесли

громадный ущерб новоустроенной фабрике; последствием же этих бедствий был полный упадок торговли; в особенности сбыт шелковых изделий совсем приостановился. Отец мой поставлен был в необходимость совершенно закрыть шелковую фабрику, просуществовавшую сто лет, и затем приспособить ее к изготовлению нанки и ситца, на которые в то время оказался наибольший спрос. Ситцевая фабрика была устроена в сотовариществе с купцом Гусятниковым и притом в размерах, довольно скромных. Изыскивая всякие средства для увеличения доходов с имения, отец мой, по совету одного приятеля (Толбухина), предпринял в 1815 г. устройство винокуренного завода: при тогдашних ценах на хлеб и требования вина в казенную поставку, операция эта казалась весьма выгодною и обещала крупные барыши. Но и тут встретился целый ряд неудач: озабоченный в то время вступлением во вторичный брак, отец мой не мог лично заняться постройкой завода и доверился одному рекомендованному ему специалисту-еврею; постройка вышла не совсем удачна и обошлась гораздо дороже предварительного расчета. Когда же завод был пущен в ход, то оказалось, что вместо обещанного выхода вина 6,5 ведер в сдачу, в действительности выгонялось не более 5 ведер; а между тем, вследствие неурожая в том году, цены на хлеб поднялись чрезвычайно — с 8 рублей до 12 рублей 50 копеек, а в следующем году — до 22 рублей.

Отец мой, видя, что так дело продолжать невозможно и что оно угрожало ему окончательным разорением, счел необходимым в 1816 году совсем переселиться из Москвы в деревню и лично взять дело в свои руки. Он должен был прибегнуть к новому займу, чтобы исправить недостатки завода и ввести паровой двигатель, уже входивший в то время в общее употребление.

Тут уже начал он, по собственному его сознанию, подобно утопающему, хвататься за каждый сучок дерева и, между прочим, решился устроить вновь суконную фабрику. Для этого опять пришлось прибегнуть к займу капитала из банка, а пока длилась целых два года процедура займа и самое устройство фабрики, время было уже упущено: под Москвой было открыто несколько колоссальных суконных фабрик крупными капиталистами из купцов*, с которыми трудно было конкурировать безденежному разоренному помещику.

Так и далее продолжались беспрерывною серией одни за другими неудачи и разочарования. К тому же по смерти старшего брата, Александра Михайловича, сын его, т. е. племянник моего отца, вздумал (в 1816 г.) предъявить свои мнимые права на наследственную часть в имении, купленном моим отцом на вполне законном основании. Возникший по этому делу процесс, несмотря на явную неосновательность иска, восходил по всем инстанциям до Государственного Совета и длился несколько лет. Конечно, он кончился благополучно для моего отца, однако же, причинял ему немало забот, отвлекал от дела и все-таки имел невыгодное влияние на его кредит.

---

* Между ними главной была фабрика Кожевникова.

Здесь я прерву на время печальный рассказ о тяжком положении дел моего бедного отца, который на всем дальнейшем пути своей жизни продолжал неустанно борьбу с преследовавшими его неудачами и несчастьями. Он не жалел своих сил и терзался душевно — все в надежде спасти для своих детей какие-либо обломки жалкого отцовского наследия. Вести неустанно такую тяжелую борьбу в продолжение нескольких десятков лет, сохраняя всю чистоту своих честных правил, мог только человек, одаренный выходящими из ряда достоинствами, умом, твердым характером, силою воли.

По смерти первой своей жены Алексей Михайлович Милютин, несколько лет (кажется, 3 года) оставаясь вдовцом, тяготился своим одиночеством; сердце его искало себе иного счастья, которое одно могло усладить жизнь, полную забот, хлопот и огорчений.

Москва после погрома 1812 года возникла, как феникс из пепла; покинувшие ее жители начали возвращаться и вновь устраиваться на старых своих пепелищах. В числе их водворился снова и Алексей Михайлович в родительском доме, в Милютинском переулке, с матерью и сестрами. В летнее время он хозяйничал в деревне, а зиму обыкновенно проводил в Москве, где имел обширный круг знакомств и был радушно принят в лучшем обществе. В числе

Павел Дмитриевич Киселев

посещаемых им фешионабельных и гостеприимных домов было семейство Киселевых. Глава семьи, отставной бригадир Дмитрий Иванович Киселев, был уже в преклонных летах*; и часто страдал подагрою. Жена его, Прасковья Петровна**, урожденная княжна Урусова, была женщина необыкновенно добрая, кроткая и радушная. Вместе с ними жила сестра Дмитрия Ивановича, Татьяна Ивановна, уже пожилая девица, так же отличавшаяся добротою и благодушием. Из детей Дмитрия Ивановича и Прасковьи Петровны старший сын — Павел Дмитриевич***; начавший службу в Кавалергардском полку и потом бывший адъютантом Милорадовича, имел случай выказаться в кампании 1807, 1812—1815 годов и занимал уже блестящее положение любимого флигель-адъютанта Императора Александра I. Второй сын****; Сергей Дмитриевич, был еще молодым офицером в л-гв. Егерском полку; дома же при родителях жили малолетний сын Николай (р. 1802 г.) и три дочери: Александра, Елизавета и Варвара (р. 1799 г.).

Семейство Киселевых имело обширные связи в высшем обществе Москвы и Петербурга; одно родство их уже составляло многочисленный и тесно сплоченный кружок. Самыми близкими из них были семьи князей Урусовых и Грузинских*****. Но затем было еще множество старых и верных приятелей и хороших близких знакомых, для которых дом Киселевых был всегда открыт. Это был один из самых симпатичных, любезных и гостеприимных домов московской аристократии.

В первое время после 1812 года, когда большая часть города Москвы стояла еще в развалинах, семейству Киселевых отведено было, по Высочайшему повелению, помещение в так называемом "запасном дворце" у Красных ворот.

В начале 1815 года Алексей Михайлович Милютин (которому в то время уже было 35 лет от роду), очарованный второю дочерью Киселевых, Елизаветой Дмитриевной, решился просить ее руки. По свидетельству всех, знавших ее в молодости, это было восхитительное создание: она привлекала к себе своею милой, симпатичной наружностью, обходительностью, веселой любезностью. Алексей Михайлович влюбился всем сердцем; она также была к нему неравнодушна, но родители ее сначала воспротивились этому браку, почему-то находя представившуюся "партию"—"неравной". Отказ их привел в отчаяние обоих влюбленных. Бедная девушка, убитая горем, обратилась к

---

* Родился 30 июня 1761 года; следовательно в 1815 году ему было 54 года.

** Ей было 52 года.

*** Родился в 1788 году; в 1815 году ему было 27 лет.

**** За Павлом следовал сын Александр, но он умер в юных летах.

***** Семьи — родного брата Прасковьи Петровны Киселевой — князя Александра Петровича Урусова и двоюродного брата — князя Александра Михайловича Урусова. Сестра Прасковьи Петровны была замужем за князем Яковом Леонтьевичем Грузинским; у них было много детей (сыновья: Яков, Николай, Сергей, дочь — Вера). Другая сестра княжна Варвара Петровна, оставалась девушкой и жила отдельно, окруженная приживалками и воспитанницами.

своим братьям с трогательными письмами, в которых умоляла принять участие в ее горестном положении. Старший из братьев, Павел Дмитриевич, пользовавшийся в семье большою авторитетностью и относившийся к сестрам несколько свысока*, находился в то время при Императоре Александре в Париже. На письмо сестры (от 20 апреля) он отвечал строгими наставлениями, советуя ей приклониться пред волею родителей. По-видимому, он сам не сочувствовал суженому сестры. Второй же брат, Сергей Дмитриевич, находившийся на службе в Петербурге, поспешил взять отпуск и приехал в Москву, чтобы уладить семейную драму. Тронутый отчаянием и слезами сестры, страшно изменившейся и заболевшей от горя, он употребил все старания, чтобы урезонить родителей и добиться их согласия на брак. Старики и сами увидели до чего довело бедную девушку их безотчетное упорство. После долгих колебаний они наконец согласились, и 30 июня 1815 года, в день рождения Дмитрия Ивановича, совершилась помолвка.

В письме от 4 июля обрученная невеста, извещая о своем счастье старшего брата, Павла Дмитриевича, отнеслась к нему с прежнею сердечною почтительностью, хотя и не скрыла от него своего глубокого огорчения несправедливым осуждением и холодностью, с которыми он отозвался на ее обращение к нему в дни скорби и отчаяния. Со своей стороны и жених, в письме к Павлу Дмитриевичу от того же числа отрекомендовался будущему своему шурину и просил его родственного расположения. Павел Дмитриевич, при своей братской любви к сестре, хотя и оказывал не раз свое покровительство в критические минуты ее тяжелой жизни, относился все-таки к нашей семье как-то сдержанно и сухо. Напротив того, отношения Сергея Дмитриевича Киселева к моей матери и к отцу были всегда самые дружеские.

22 августа 1815 года совершилась свадьба в Москве. Молодая чета водворилась в родительском доме в Милютинском переулке лишь на несколько дней. 2-го же сентября они уже переселились в деревню, в село Титово, находившееся в 160 верстах от Москвы, в 20 верстах от города Алексина, в 40 — от Тулы и почти в таком же расстоянии — от Калуги. Там молодые решили провести не только медовый месяц, но и всю зиму. Как уже было сказано, дела хозяйственные Алексея Михайловича в то время находились в самом незавидном положении: необходимо было ему взять в свои руки распоряжение и лично руководить затеянными разными предприятиями. Женитьба его не доставила ему ни малейшей вещественной подмоги (за матерью моей дано было приданого на 10 тысяч рублей и капитала 20 тысяч рублей, разумеется, ассигнациями); напротив того, с этого времени еще более, чем прежде, он считал себя обязанным поддерживать домашнюю обстановку на приличной ноге и вести образ жизни, соответствующий общепринятым

*Отношения Павла Дмитриевича к братьям и сестрам были таковы, что он им говорил "ты", а они обращались к нему на "вы".

порядкам в том кругу, в который теперь поставила его судьба. Хлебосольство, общительность и те привычки, которые принято называть широкою натурой, как увидим далее, завлекали его часто за те пределы, которые при строгой расчетливости допускались бы его материальными средствами. Несмотря на тогдашнюю сравнительную дешевизну жизни при крепостных порядках, все-таки не легко было поддерживать дом и в Москве и в деревне. В селе Титове хозяйство было заведено в широких размерах со всеми барскими прихотями. Со всех окрестностей, близких и дальних, съезжались в Титово соседи и живали по нескольку дней среди разливанного моря угощений и развлечений. Конский завод, псовая охота, всякого рода мастерские, в том числе даже каретная, — все это содержалось на славу и все это считалось совершенно необходимым для приличия, для поддержания достоинства и в особенности — кредита. Чем хуже шли дела денежные, тем более нужно было прикрывать это наружным блеском обыденной жизни.

В первые же дни водворения своего в деревню Елизавета Дмитриевна писала (17 сентября) своему старшему брату: "...Les affaires de mon mari l'obligent à rester quelque temps à la campagne; je ne pourrai pas retourner en ville jusqu'au mois de janvier"*. В это время ожидали возвращения Павла Дмитриевича Киселева из-за границы; но вскоре узнали в семье, что он из Берлина послан Государем на юг России с разными поручениями, частью гласными, частью конфиденциальными. В Титове надеялись, что на возвратном пути своем с юга в Петербург он заедет навестить молодых. Однако ж это посещение не состоялось, а из Москвы в октябре месяце наехало в Титово многочисленное общество: Сергей Дмитриевич Киселев с юным братом "Николашей", князь Яков Яковлевич Грузинский, вернейший и преданнейший друг семьи Киселевых, добродушнейший старик, князь Дмитрий Васильевич Голицын, Александр Петрович Лачинов, Толбухин и другие близкие приятели. Все они были в восхищении от Титова, от обстановки и образа жизни молодых. "Они рассказывают des merveilles de la campagne"**, — писала 10 октября старушка Прасковья Петровна Киселева своему старшему сыну Павлу Дмитриевичу. "Лиза во всяком письме подтверждает, как она счастлива и всякую минуту благодарит Бога"[7].

В начале 1816 года молодые супруги переселились в Москву в ожидании родов Елизаветы Дмитриевны. 28 июня она разрешилась от бремени сыном, которого и нарекли в честь деда — Дмитрием.

* "Дела моего мужа обязывают его оставаться некоторое время в деревне; я не смогу вернуться в город до января"[6] (*пер. с фр.*).

** о прелестях деревенской жизни (*пер. с фр.*).

ГОДЫ ДЕТСТВА
1816 – 1827

Когда моя мать оправилась от родов, а новорожденный первенец настолько окреп, что можно было без опасений подняться в дорогу, маленькая семья снова переселилась в Титово, где жизнь текла так привольно и где хозяйский глаз моего отца был крайне необходим. В сентября месяце туда опять съехались некоторые из ближайших родственников: тетка моей матери Татьяна Ивановна Киселева, брат Сергей Дмитриевич Киселев, находившийся в Москве в отпуску, и сестра Александра Дмитриевна. Родственные эти посещения повторялись потом довольно часто: в 1817 году вторично приезжал Сергей Дмитриевич, который в это время только что покинул строевую службу в полку и, числясь еще "по гвардии" капитаном, переселился в Москву в родительский дом.

В мае того же 1817 года почти все семейство Киселевых, по совету врачей, предприняло путешествие к Кавказским минеральным водам, а именно: Дмитрий Иванович, Прасковья Петровна, Александра и Варвара Дмитриевны, в сопровождении князя Дмитрия Васильевича Голицына и князя Якова Яковлевича Грузинского; при них также ехали две малолетние барышни Бакаревы, взятые Киселевыми на воспитание*, и многочисленная прислуга. Остались в Москве только Сергей Дмитриевич с теткою Татьяной Ивановной, которая почему-то не захотела участвовать в предпринятом далеком и трудном путешествии. В те времена поездка на Кавказ целою семьей была действительно предприятием серьезным. Пускаясь в такой путь, путешественники заехали в Титово, где провели дня три. Их проводил туда и Сергей Дмитриевич, возвратившийся немедленно в Москву.

Титовская молодая хозяйка не скучала в тихой деревенской жизни: она всецело посвятила себя уходу за своим птенцом, которого лелеяла с увлечением. Однако ж, это не мешало ей усердно вести внутреннее в доме хозяйство, которое отец мой вполне предоставил на ее попечение. Сам же он имел и без того слишком много забот, распоряжаясь на суконной и ситцевой фабриках, на винокуренном заводе, наблюдая за конским заводом, за сельским хозяйством и ведя обширную деловую переписку с кредиторами, с торговыми людьми и разными дельцами. Все эти разнородные дела вел он сам непосредственно, только при пособии нескольких писцов из крепостных, обученных грамоте**. Главным из них, несколько более грамотным и смышленым был уп-

---

* Старшая из этих барышень, Анна Алексеевна, была потом помещена в Московский Екатерининский институт и по выходе оттуда опять была принята в дом Киселевых. Уже в зрелых летах она вышла замуж за Мельникова, а младшая — Мария Алексеевна, вышла за Медведева.

** В первое время состоял в роли управляющего имением некто Борегар, полуиностранец, полурусский, человек очень приличный. Куда девался он потом, — не припомню.

равляющий — Егор Федорович Лыков, по прозванию "Зыбка", потому что имел привычку качаться с боку на бок во время продолжительных докладов отцу. Был еще "конторщик", а затем уже безграмотный "бурмистр". Вот и все министерство, с помощью которого двигалось дело. Правда, были еще на фабрике некоторые наемные мастеровые.

Предприятия моего отца по-прежнему встречали беспрестанные затруднения и заставляли его вести непрерывно процессы. В 1817 году он хлопотал о получении от правительства пособия для поддержания фабрики, о чем поданы были прошения министрам, Трощинскому и Козодавлеву. По этому делу он был вынужден прибегнуть к содействию Павла Дмитриевича Киселева, прося его помочь успеху дела своими связями с петербургскими влиятельными лицами. В письмах моей матери к ее брату от 10 апреля и 2 июня высказывалось, что без испрашиваемого пособия расстройство дел угрожает полному разорению. В начале же следующего, 1818 года, (2 и 29 января) она выражала Павлу Дмитриевичу свое сожаление о том, что лишена возможности приехать повидаться с ним в Москве, куда он прибыл в то время по окончании своего поручения во 2-ю армию и где находился сам Император Александр. В этих письмах прямо высказывалось, что приезд ее в Москву невозможен по неимению денежных средств для удовлетворения кредиторов[8].

Однако ж, несколько времени спустя, молодые супруги переехали в Москву по случаю предстоявших родов моей матери. 6 июня родился мой брат Николай, когда мне истекал второй год от роду. В то время первопрестольная столица была в полном чаду от пребывания Царской фамилии, приезда Короля и наследного Принца Прусских и крестин Наследника, Великого Князя Александра Николаевича. Беспрерывные торжества при Дворе, приемы, празднества вскружили голову москвичам. Павел Дмитриевич Киселев, произведенный в генерал-майоры, еще более прежнего был в милости после удачных царских смотров войскам 2-ой армии*. Знаком этой милости было назначение младшей сестры его, Варвары Дмитриевны, фрейлиной; старик же отец, Дмитрий Иванович, был украшен Анненскою лентой. По отъезде Императора (19 июня) и во все время пребывания его за границей на Ахенском конгрессе (почти до конца декабря) Павел Дмитриевич отдыхал в Москве в семейном и дружеском кругу.

В начале следующего 1819 года П.Д.Киселев был назначен начальником Главного Штаба 2-ой армии. Проездом из Петербурга на юг он опять

---

*В январе 1818 года Павел Дмитриевич Киселев прямо из Москвы был вторично командирован Государем на юг для подготовки войск 2-ой армии к предстоявшим царским смотрам. Император же выехал из Москвы 21 февраля в Варшаву и после открытия Польского Сейма[9] производил в апреле смотры означенным войскам, остался ими весьма доволен и возвратился в Москву 1 июня. Между тем, Павел Дмитриевич Киселев послан был в Пруссию навстречу Королю Фридриху Вильгельму III, сопровождал его в путешествии в Москву и там состоял при нем во все время его пребывания.

прожил некоторое время в Москве (в марте и апреле). Приезды его в белокаменную были всегда радостным событием для стариков родителей его и для всей семьи.

В этом году мои родители опять провели лето в Москве, так как в начале сентября родился третий сын — Алексей. По этому случаю семейство Киселевых, проводившее лето в своем имении Любимовке на берегу Клязьмы, возвратилось в Москву раньше обычного времени, и в ожидании отделки своего дома на Никитской, близ церкви Вознесения, должно было поместиться в тесной квартире соседнего дома (Саковнина). Киселевы переселились в свой дом в октябре.

С этого только времени начинаются первые мои детские воспоминания. В памяти моей живо сохранилось впечатление нашей тогдашней обстановки в Москве. Дом отцовский находился близ Мясницкой, в переулке, сохранившем

и до сих пор наименование "Милютинского". На углу этого переулка и Большой Мясницкой улицы была наша приходская церковь оригинальной постройки, во имя архидиакона Евпла; а в самом переулке — католическая церковь. Дом наш, двухэтажный, старинной барской архитектуры, находился между садом и обширным двором и стоял боком к улице, вдоль которой шел высокий забор с каменными столбами и железною решеткой. Насупротив главного дома, параллельно ему и также боком к улице, стоял двухэтажный же каменный флигель, неоштукатуренный; в нем жила бабушка Мария Ивановна Милютина с обеими своими дочерьми; а в глубине двора, против въездных ворот, расположены были службы: конюшни, сараи, жилье прислуги и т.д. Сад был старый, тенистый; двор — немощеный, отчасти поросший травой. Каждый день водили нас, детей, через этот двор во флигель к бабушке поздороваться с ней. Наш дом состоял, по обыкновению, из целой анфилады зал, гостиных; вся мебель и украшения были в тогдашнем вкусе, известном под названием style Empire.

Ныне, проезжая по Милютинскому переулку, я уже не нахожу ничего мне знакомого из времен моего детства. Там, где тянулась тогда решетчатая ограда нашего сада и двора, — теперь построены новые сплошные дома, так что с улицы глаз проезжего уже не может проникнуть туда, где хотел бы я отыскать место старого нашего обиталища.

Возвращусь к своей семейной хронике.

В октябре, после родов моей матери, лишь только она оправилась, родители мои с тремя птенцами снова переехали в свое Титово. В это время отец мой был произведен в коллежские советники, со старшинством с 5 апреля 1818 года. Между тем, семья Киселевых была озабочена решением вопроса о младшем из моих дядей, Николае Дмитриевиче, который, по настоянию старшего брата, Павла Дмитриевича, уже два года был помещен в один петербургский пансион, под ближайшим попечением француза m-r Dubois. Учение, кажется, шло не очень успешно; а в начале 1819 года, когда юноше было уже 17 лет, воспитатель его m-r Dubois должен был покинуть Петербург и возвратиться за границу. Возник вопрос — как пристроить молодого Киселева для окончания его образования. Родители его, узнав, что m-r Dubois взялся везти с собою за границу для определения в Иенский университет двух петербургских юношей, Вилламова и князя Голицына, товарищей Николая Дмитриевича, согласились было на просьбу последнего отправить и его туда же, в Иену. Но Павел Дмитриевич Киселев, принявший младшего брата под особенное свое попечение, сильно восстал против такого предположения. Любопытно письмо его по этому случаю к своему отцу от 7 июля 1819 г.: выразив удивление и сожаление по поводу решения отправить Николая Дмитриевича с m-r Dubois, "который для своих дел и для здоровья возвращается на Рейн, в свой край, в значительном отдалении от университета, в который

отдаете брата", Павел Дмитриевич писал: "Признаюсь вам, что не понимаю, что побудило вас решиться на отдачу его в буйственный университет, в коем правила якобинизма известны, в то сословие поместить молодого мальчика, из коего убийства и своеволия проистекают, теми заразить правилами, которые подняли руку на убийство Коцебу, и поручить вашего сына — кому? — слепой судьбе, под чей надзор? товарищам студентам, безбожникам и бунтовщикам! — по чьему совету? — молодого, неопытного мальчика, которому хотелось видеть море, чужую землю и жить в независимости!"*. В заключение Павел Дмитриевич с прискорбием упрекал родителей в недоверии к его совету — определить Николая Киселева в Одесский лицей, под руководство славившегося тогда педагога-иезуита аббата Николь[10].

Прежде еще получения в Москве этого письма родители молодого Киселева узнали, что самое предположение об отправлении m-r Dubois двух его воспитанников не состоялось. Император Александр I смотрел неблагосклонно на воспитание русских юношей за границей. Вдовствующая императрица Мария Федоровна, благоволившая к статс-секретарю Вилламову, отговорила его отправлять своего сына в иностранный университет; а потому решено было обоих молодых товарищей Николая Киселева отправить в Дерптский университет. О нем же самом решение вопроса было предоставлено вполне Павлу Дмитриевичу. В сентябре молодой Киселев был вызван в Москву и оттуда отправлен (в ноябре) в Тульчин, штаб-квартиру 2-ой армии, в распоряжение старшего брата. В то время аббат Николь уехал в Петербург, и, как кажется, авторитет его пошатнулся. Павел Дмитриевич, продержав у себя младшего брата около трех месяцев, решил, наконец, чтобы он, по примеру названных двух товарищей его, Вилламова и князя Голицына, поступил также в Дерптский университет. В конце февраля 1820 года Николай Киселев выехал из Тульчина прямым путем в Петербург, не заезжая в Москву, а в начале марта уже прибыл в Дерпт и поступил в университет.

В это время мои родители должны были снова переехать из деревни в Москву как по делам отцовским, так и по болезни матери, которая в этот раз долго страдала последствиями родов. Ей необходима была врачебная помощь, и с приездом в Москву она начала поправляться. Старик Дмитрий Иванович Киселев, всегда почти больной, часто страдавший подагрой, писал в начале мая своему старшему сыну, Павлу Дмитриевичу, что "на этот раз в семье все здоровы". Семья Киселевых собиралась переехать в свою Любимовку. Хотя в это время уже замечалось в старике большое ослабление, и врачи, опасаясь апоплексического удара, признавали нужным пустить ему кровь, однако ж еще 17 мая больной опять успокаивал Павла Дмитриевича на счет своей бо-

*О том, какою репутацией пользовался в Петербурге Иенский университет, свидетельствует Указ Императора Павла 3 сентября 1799 года, приведенный в "Русской Старине" 1898 года, в апрельской книжке, стр.156.

лезни, признавая ее "незначещею". Но вдруг 28 числа он был поражен нервным ударом: отнялись язык и правая рука; все врачебные средства оказались бесполезными, и 30 мая он кончил жизнь на руках старушки Прасковьи Петровны и трех дочерей. Сергей Дмитриевич Киселев был тогда в Петербурге, куда был вызван генералом Закревским (дежурным генералом Главного Штаба Его Императорского Величества), для объяснений о дальнейшем его служебном положении по предстоявшем производстве в полковники. Таким образом, отец мой должен был принять на себя печальную обязанность известить Павла Дмитриевича о постигшем семью несчастье.

Павел Дмитриевич Киселев счел необходимым лично побывать в Москве для устройства семейных дел. В июле месяце он взял отпуск и приехал в Москву в то самое время, когда там находился Император Александр. Молодой начальник Главного Штаба 2-ой армии был принят Царем с прежнею благосклонностью; по ходатайству Павла Дмитриевича назначена овдовевшей его матери усиленная пенсия (4.800 рублей ассигнациями). Павел Дмитриевич во всю жизнь свою питал самые нежные чувства к матери и внушал своим братьям и сестрам обязанность их заботиться о ее спокойствии и удобствах жизни. Это же чувство было главною исходною точкой при обсуждении положения семейных дел после смерти отца. Дела оказались довольно расстроенными, и необходимо было условиться относительно приведения их в порядок. Все, что было постановлено с общего согласия братьев и сестер* относительно раздела наследства, уплаты долгов и взаимных обязательств всех членов семьи, было изложено собственноручно Павлом Дмитриевичем в записке от 15 июля 1820 года, оставленной им матери перед выездом из Москвы. Записка эта заканчивалась следующими строками: "Я живу в отдаленности, на службе и службою, почему свидания зависеть будут от обстоятельств, коими располагать не могу. Брат Сергей посвящает вам себя и будет, конечно, служить лучшим способом успокоения вашего. Я же до последней минуты существования моего сохраню все чувства любви, преданности и послушания, с коими не переставал быть вам, милостивая государыня матушка, покорным сыном"[11].

Порешив все вопросы по наследству и уладив кое-какие личные недоразумения в семье, Павел Дмитриевич уехал из Москвы и на обратном пути в Тульчин заехал в родовое киселевское имение Богучарово (недалеко от Тулы, по дороге в Серпухов). Сюда выехали на свидание с ним мои родители, жившие уже в то время в своей деревне. Отобедав вместе, 20 июля они возвратились в Титово, а на другой день (21 числа) Павел Дмитриевич приехал туда же к обеду, переночевал там и 22 числа продолжал путь.

В сентябре того же года родители мои должны были снова приехать в Москву по делам, оставив детей в деревне. На этот раз они поместились в

* Младший брат, Николай Дмитриевич, также приехал в то время из Дерпта, пользуясь каникулами.

доме Киселевых в верхнем этаже (мезонине), в комнатах, сохранивших за собою название "детских". В Москве оставались они с 24 сентября по 11 октября. Возвратившись в Титово, они были встревожены болезнью детей; а вслед за тем и здоровье матери моей опять расстроилось. Испуганная ее болезнью, старушка Прасковья Петровна Киселева, едва оправившаяся от своего тяжкого горя, вдруг решилась в декабре съездить в Титово с младшею дочерью Варварою Дмитриевной. В письме от 29 декабря она писала Павлу Дмитриевичу: "Сверх чаяния, я ездила к Лизе. Сергей в два часа меня снарядил, сыскав прекрасную кибитку у Хрущевых, снабдил дорожными шубами, и мы с Варенькой доехали в 17 часов 180 верст по прекрасной дороге... Лизу нашли больною; при нас ей пустили кровь, но оставили ее лучше, а ребенок в очень дурном положении; не знаю будет ли жив...". На это Павел Дмитриевич отвечал (15 января 1821 г.): "Весьма рад, что вы съездили к Лизе; прогулки и развлечения вам нужны; а потому, чем чаще то будете делать, тем лучше"[12].

В 1821 году так же, как и в предшествовавшие годы, родители мои приехали в конце января в Москву для предстоявших опять родов моей матери. 24 марта родился четвертый сын — Владимир. Крестным отцом его был Сергей Дмитриевич Киселев. Матери моей хотелось самой вскормить новорожденного, но после трех месяцев должна была прекратить по болезни; у нее сделалась грудница, причинявшая ей страшные страдания. Лишь только она поправилась, семья наша возвратилась в Титово.

В этом году решился вопрос о женитьбе Павла Дмитриевича Киселева на прекрасной княжне Потоцкой, Софии Станиславовне. Об этой свадьбе говорили уже давно, но по разным причинам она откладывалась, и брак состоялся лишь в сентябре 1821 года. Это было радостным событием в семье. Сергей Дмитриевич Киселев в это лето ездил на Кавказские минеральные воды (с мая по август) лечиться от усиливавшегося ревматизма. Состоя "по армии" в чине полковника и принужденный жить в Москве при матери, чтобы вести семейные дела, Сергей Дмитриевич начинал тяготиться своим бездействием и решился оставить военную службу, чтобы приискать себе должность гражданскую. По ходатайству старшего брата он скоро был определен в Министерство юстиции и получил место в Московских департаментах Сената "за оберпрокурорским столом".

Младший из членов семьи, Николай Дмитриевич Киселев, продолжал курс в Дерпте. По-видимому, и в это время учением занимался он не очень прилежно. В письме от 10 сентября 1821 года к матери своей Павел Дмитриевич писал: "Касательно Николая, то хотя мне желалось взять его из университета по получении студенческого аттестата, который не только для начальной службы полезен, но и для продолжения оной; но как, по-видимому, аттестата ему не иметь, то я полагаю в конце года записать его в службу здесь в армии"[13]. Однако ж, дело не дошло до такого

печального исхода. Юный Киселев остался еще на год в университете и благодаря своим врожденным способностям, наверстал упущенное время с большим успехом.

Дела отца моего по-прежнему причиняли ему много забот и огорчений; он нашел необходимым ехать в Петербург, чтобы лично привести к концу процесс с племянником о правах наследства и вместе с тем выхлопотать ссуду из вновь учрежденного банка, имевшего назначение — поддерживать мануфактурную промышленность. По этому случаю родители мои опять просили ходатайства Павла Дмитриевича, который не раз пользовался своими приятельскими связями с петербургскими влиятельными лицами для оказания возможной "протекции" своему зятю. Он писал о деле моего отца министру юстиции князю Лобанову и полученный от него ответ препроводил к моей матери. Зная, в какое грустное положение ставили ее неудачи отцовских дел, Павел Дмитриевич писал к Прасковье Петровне Киселевой: "Жаль мне, весьма жаль милую Лизу; но Бог милостив; может быть, все кончится хорошо. Нужно только действовать обстоятельно и не мечтать невозможное" (письмо от 28 декабря 1821 г.)[14].

Моя мать была несколько огорчена тем, что Павел Дмитриевич не известил ее о своей женитьбе, и дала слегка почувствовать свое неудовольствие в поздравительном письме к брату. По этому поводу Павел Дмитриевич писал своей матери Прасковье Петровне: "Чтобы любить кого, не нужны обычаи 15-го столетия и вздорные письма, которые ничего не доказывают и отнимают лишь время... Прошу вас, матушка, уверить Лизу, что с ее умом стыдно заключения свои основывать на формах и терять доверие к ближним, которые на то нам право не подали..." Далее: "Если я на что-либо могу быть нужен по ее делу, то прошу вас и ее, без всяких церемоний, приказать мне — и я готов с удовольствием все сделать или все стараться сделать"[15].

С отъездом отца моего в Петербург матери моей пришлось оставаться несколько месяцев в деревне с четырьмя малолетними детьми. Продолжительное отсутствие отца, по крайней мере, не прошло бесплодно: ему удалось выиграть процесс с племянником по наследству; но вопрос о ссуде из банка затянулся, и отец возвратился в Титово, не добившись решения. Тем не менее, в 1822 году положение дел, казалось, приняло несколько более благоприятный оборот; родители мои как-то были спокойны. В этом году родилась 17 сентября дочь Мария. Несколько ранее (7 июня) родился также у Павла Дмитриевича сын Владимир к великой радости молодой четы. Но вслед затем получено было тревожное известие из Берлина о тяжкой болезни находившейся там графини Потоцкой, матери Софии Станиславовны Киселевой. Молодые супруги поспешили отправиться за границу, но уже не застали больную в живых: она скончалась 12 ноября. В проезд свой через Варшаву Павел Дмитриевич представился находившемуся там Императору Александру, от

которого получил потом весьма любезное письмо с выражением соболезнования.

С наступлением 1823 года отец мой опять предпринял поездку в Петербург, чтобы возобновить свое ходатайство о ссуде из банка для поддержания Титовской суконной фабрики. Снова просил он у Павла Дмитриевича Киселева рекомендательного письма к С.С.Уварову, директору Департамента мануфактур (впоследствии сделавшемуся министром народного просвещения). На этот раз хлопоты моего отца увенчались успехом: он получил в ссуду от казны по 200 рублей ассигнациями на душу, то есть всего 200 тысяч рублей. Возвратившись в Титово, он принялся с новою энергией за устройство и расширение фабрики и, чтобы лично руководить ходом его, решился совсем поселиться в деревне. С этого времени прекратились ежегодные наши перемещения из Титово в Москву и обратно из Москвы в Титово. Мы прожили в деревне уже безвыездно до 1827 года.

Здесь я должен несколько отступить от хронологической последовательности рассказа о нашем семейном кружке, чтобы припомнить по возможности первые мои личные впечатления детства за время деревенской нашей жизни в Титове.

В первые годы моего детства я рос на руках моей матери в буквальном смысле слова. Она лелеяла меня как первенца, баловала более, чем младших детей, которые зато были любимцами нашей общей няни ("мамушки"), старушки Прасковьи Терентьевны. Отец был всегда так занят делами и часто в отсутствии, что занимался нами мало. Находясь неотлучно при матери и слыша постоянно разговоры на французском языке, почти исключительно употреблявшемся в тогдашнем русском обществе, я рано начал лепетать на этом языке. Даже азбуке французской выучился прежде русской. Сколько помнится, уже в пятилетнем возрасте я читал довольно свободно французские детские книжки. Русской же грамоте первоначально обучал меня в Титове наш "конторщик", крепостной человек; он же давал первые уроки письма, а сельский наш священник — уроки веры.

Когда мы с братом Николаем подросли настолько, что нельзя уже было оставлять нас на попечение матушки и нянек, дали нам гувернера — швейцарца m-r Валэ. Как писалось его имя по-французски — оставалось в сомнении: m-r Valliee или Valet или еще иначе? Это был добрый старик, почти без образования, говоривший по-французски с обычным швейцарским акцентом. У него была жена и малолетняя дочь, которым отведено было жилье во флигеле над оранжереей. M-r Валэ заменил няньку нам двоим старшим братьям. С ним ходили мы гулять и проводили большую часть дня; учились же с ним мало. Преимущественно продолжала обучать нас сама мать, посвящая

ежедневно нашим урокам несколько часов своего утра: с нею читали мы французские книжки: "Lectures graduées de l'abbé Gaultier, Robinson-Crusoé" (Par D. de Foé) * и другие; переводили устно на русский, писали под диктовку, а позже читали вслух некоторые исторические и другие книги. Припоминаю, что, между прочим, мы долго занимались какою-то старою толстою книгой о мифологии с картинками. К матери я относился с большою нежностью и учился старательно, чтобы не причинять ей неудовольствие, видя, как она принимала горячо к сердцу за уроками брата Николая всякое с его стороны невнимание, леность или детский каприз. При ее чрезмерной нервности иногда доходило до того, что расплачутся оба — и ученик, и учительница.

С рождением четвертого сына Владимира (в марте 1821 года), вся нежность матери обратилась на этого новорожденного; он сделался ее фаворитом, ее Веньямином; впрочем, она продолжала заниматься со всеми детьми с прежнею любовью и заботливостью. Трое старшие (с присоединением Алексея) росли неразлучно вместе и были всегда очень дружны между собой, несмотря на большую разницу в летах и характерах. Родители и гувернеры отличали меня как старшего и ставили младшим в пример прилежания и благонравия. Брат Николай будучи двумя годами моложе меня, имел вид болезненный: он был худощав, с бледным лицом, светлыми белокурыми волосами. С раннего возраста выказывалась его натура, нервная, впечатлительная; характер его был несколько своенравный, что давало повод к частым на него жалобам нянек и гувернеров, и последствиями были беспрестанные слезы и наказания. Третий брат Алексей, который был тремя годами моложе меня и годом моложе Николая, был мальчик здоровый, красивый, но крайне живой, большой шалун и проказник, а потому доставались и ему частые кары. Естественно, что между двумя младшими братьями было более близости; я же в годы детства шел несколько особняком, впереди них. Бедному нашему старику m-r Валэ приходилось смотреть зорко за обоими младшими: того и гляди, что они вдвоем выкинут какую-нибудь проказу. Припоминаю, например, такой случай: раз на прогулке в Титове шли мы вдоль берега пруда; младшие двое впереди, а в нескольких шагах за ними — я с гувернером. Завязался между нашими передовыми какой-то горячий спор: младший, Алексей, прихвастнул, что он переплывет пруд не хуже полоскавшихся в нем гусей; другой, Николай, недолго думая, сталкивает брата в воду приговаривая: "Ну, так и покажи!". M-r Валэ, конечно, в страшном испуге бросается сам в воду и вытаскивает маленького хвастуна всего мокрого. Подобные проделки повторялись чуть не ежедневно.

Родители мои вели в деревне такой же образ жизни, как и другие крупные помещики тех времен. Многочисленная "дворня" состояла из крепостных людей обоего пола и всех возрастов, в самых разнообразных должностях и зва-

* "Книга для детского чтения аббата Готье, Робинзон Крузо" (Д. Дефо) (*пер.с фр.*).

ниях. Люди эти большею частью оставались в доме или при доме с рождения до смерти, составляя как бы особую касту в сельском населении. Некоторые личности до того свыкались с положением своим, что сами на себя смотрели, как на неотъемлемую принадлежность "барской" семьи. Во главе нашей домашней прислуги стояли: упомянутая уже старая мамушка Прасковья Терентьевна и старшая горничная Мария Петровна. Первая, по своей многолетней опытности, пользовалась полным авторитетом в детской, особенно в первые годы при молодой, еще неопытной "барыне". В помощь старушке взята была молодая нянька Полагея Мосевна (т.е. Пелагея Моисеевна), которая позже сама сделалась главною нянькой и баловала нас, детей, не менее, чем ее предшественница. Обе няньки были совершенно безграмотные, полные предрассудков и суеверий, свойственных русскому простонародью, но по своей доброте и заботливости о детях приобрели нашу любовь и привязанность. Вторая личность, Мария Петровна, очень полная женщина зрелых лет, умная и с характером, кроме прямых обязанностей главной горничной, помогала "барыне" и в домашнем хозяйстве, в роли экономки; пользовалась полным доверием моей матери. Муж ее Семен Иванович, "дворецкий", был человек серьезный, очень набожный, с признаками некоторого психического расстройства. В помощь Марии Петровне, второю горничною состояла очень некрасивая Глафира Евграфовна; она потом вышла замуж за выездного лакея Ивана Попова, который был вместе с тем и переплетчиком. Из мужского персонала первым лицом был упомянутый уже прежде управляющий Егор Федорович Лыков, по прозванию "Зыбка", маленький толстенький человечек, грамотный, начитавшийся кое-какой мудрости, несколько плутоватый и отец многочисленной семьи. Затем шли: конторщик, также из крепостных, два камердинера "барина", несколько лакеев, поваров, поваренков, кучеров, форейторов, конюхов, скотников, скотниц, водовозов, множество мастеровых всех возможных специальностей, и т.д. и т.д. Разделение труда было доведено до такой степени, что существовала даже женщина, обязанность которой состояла исключительно в печении блинов на масленице.

Несмотря на постоянные затруднения финансовые и на плохое положение дел, вся домашняя обстановка была у нас на широкую ногу. Отец любил жить открыто и даже считал это нужным для поддержания кредита. Притом он пользовался большим уважением всех соседей, и нередко съезжалось к нам многочисленное общество. Некоторые из соседей гостили по несколько дней. Отец мой был страстный охотник: у него была лучшая во всей окрестности псарня (борзых и гончих); целый штат псарей, ловчих, доезжачих и прочих, обмундированных и обученных; конский завод Титовский пользовался также известностью. Иногда охота предпринималась в больших размерах с участием приезжих соседей, приводивших и свои своры; приглашалось многочисленное общество; дамы выезжали в экипажах

смотреть травлю зайцев, лисиц, волков. В детстве своем слыхал я рассказ, будто незадолго до моего рождения, во время беременности моей матери случилось на охоте в зимнее время, что молодой волчонок спасся от погони у ног ее под полостью саней, причем она не выказала ни малейшего испуга и приняла волчонка под свое покровительство.

Кроме охоты, остались в моей детской памяти летние поездки в нескольких экипажах в более или менее отдаленные окрестности Титова или на сенокос, или на деревенский праздник; иногда же на сукновальню, которая почему-то была устроена довольно далеко от села и приводилась в движение водою речки. Мы, дети, страстно любили эти поездки в сопровождении фургона с самоваром и буфетом. Впрочем, мы находили большое удовольствие и в наших обыкновенных ежедневных прогулках пешком с нашим гувернером, который, несмотря на свои почтенные лета, был хороший ходок, как настоящий швейцарский поселянин. С ним часто мы пускались вдаль, в соседние деревни или в леса. Благодаря этим пешеходным прогулкам, мы привыкли замечать подробности местности и так изучили окрестности, что черты ее до сих пор живо сохранились в моей памяти.

Имение моего отца заключало в себе, кроме самого села Титова, еще несколько маленьких деревень, отстоявших от села верст на 5, на 7. Местность вообще равнинная, пересеченная многими оврагами, большею частью поросшими орешником. Село и деревни окружены обширными пашнями, за которыми чернеют местами леса и рощи, еще охранявшиеся в те времена от позднейшего варварского истребления.

Самое село Титово, имевшее более 900 ревизских душ, состояло из двух слобод, простиравшихся длинными рядами изб от севера к югу и разделенных между собой довольно широким оврагом, в котором речка была запружена и образовала три порядочных пруда. Но в то время, с которого начинаются мои воспоминания, верхняя плотина была уже прорвана и один из прудов был спущен. У других же двух плотин, служивших сообщением между обеими слободами, устроены были водяные мукомольные мельницы, а под главною плотиной самого большого, нижнего пруда находился винокуренный завод, — обширная деревянная постройка, несколько изолированная, на дне оврага.

Крестьяне села Титова, как кажется, были вообще довольно зажиточны; избы были прочные, чистые; к ним примыкали разные надворные постройки, сараи, за которыми тянулись огороды, гумна, а позади — овины и далее необозримые поля. Господская усадьба находилась с восточной стороны большого продольного оврага, к северу от крестьянской слободы, так что для приезжающего из Алексино (т.е. с севера) прежде всего открывались направо и налево от дороги обширные господские гумна с сараями, овинами, скирдами, позади которых вправо, за небольшим овражком, виднелись сараи

и обжигательные печи кирпичного завода. Далее дорога, оставляя влево слободу церковного причта, огибала справа ограду церкви, каменной, с красивою колокольней, а насупротив ее, слева дороги тянулась решетчатая ограда господского двора, так что ворота, ведущие к церкви, и те, которыми въезжали на господский двор, находились совершенно одни против других. В глубине двора возвышался двухэтажный каменный дом, по сторонам которого боковые фасы двора замыкались флигелями, также каменными, двухэтажными. В них-то помещались фабрики, суконная и ситцевая, контора, разные хозяйственные заведения и склады. С заднего фасада господского дома (обращенного к югу) с балкона открывался обширный вид на село и окружавшие поля. С этой стороны обширное пространство, длиной более 80 сажен и шириной около 40, обставлено было разными хозяйственными постройками: справа и слева — мастерские всякого рода: слесарная, столярная, даже каретная, а в глубине — обширные, расположенные квадратом конюшни, сараи и скотный двор. Ближайшая к дому часть означенного пространства была в позднейшее время присоединена к саду, примыкавшему к описанным постройкам с восточной стороны. Сад этот составлял правильный прямоугольник, длиною в 200 сажен и шириной в 125. Всего замечательнее в нем была длинная и широкая аллея из старых развесистых лип; под тенью их в летнее время иногда накрывался обеденный стол, когда наезжало столько гостей, что в доме большая столовая оказывалась тесною. В некоторых частях сада разбиты были уже в новейшие времена дорожки на английский манер; ближе к дому находилась обширная оранжерея, в которой культивировались превосходные персики, абрикосы, сливы, груши; также были особые сараи с вишневыми деревьями; много разводилось ягод; главное же богатство сада составляли яблоки самых разнообразных сортов. Громадное количество яблок ежегодно отправлялось в Москву и покупалось приезжими торговцами оптом. Один из сортов, пользовавшийся особенною славой, даже получил название "титовок".

Сад доставлял нам, детям, невыразимое наслаждение не столько по обилию фруктов и ягод, до которых так падки ребятишки, сколько по своим тенистым дорожкам и особенно по раздолью, которое доставляли для наших детских игр некоторые глухие места в отдаленных окраинах сада. В одном из таких мест даже отведено было небольшое пространство собственно в наше распоряжение для устройства наших огородиков и садиков. Руководимые нашим добродушным гувернером, мы проводили целые часы в свободное от уроков время, копая своеручно грядки, сажая овощи, устраивая плетни вокруг своих участков. Это было бесспорно забавою полезною. Но обращусь опять к недоконченному топографическому описанию.

Дорога из Алексина, которую я довел до церкви и господского дома, обогнув постройки, вела далее вдоль восточной слободы и через плотину мимо

винокуренного завода, потом мимо еще одной небольшой слободки, к югу от прудов, выходила на большой тракт, составлявший кратчайшее сообщение между Тулой и Калугой. Здесь на пересечении дорог находился постоялый двор и неизбежное заведение с государственным гербом и елкою. Большая дорога имела 30 сажен ширины; по обеим сторонам ее насажено было по два ряда деревьев, между которыми образовались боковые дорожки для пешеходов. В самом селе Титове дорога была также усажена деревьями в виде аллеи. Как жаль, что заведенный в те времена порядок устройства дорог удержался так недолго: на всех устроенных в царствование Императора Александра I дорогах теперь не осталось ни одного деревца.

В самом селе из множества разных построек особенно занимал наше детское внимание один каменный дом, стоявший особняком близ верхнего пруда, двухэтажный, неоштукатуренный, имевший какой-то мрачный вид и носивший странное название "Парижа". Строение это, принадлежавшее к фабрике, получило свое название от того, что в нем жил один француз, попавший в плен в 1812 году и с тех пор добровольно оставшийся в нашем селе при фабрике. Он уже почти позабыл свой язык, а русскому не выучился и, как кажется, не имел никаких определенных обязанностей. Он представлялся нам каким-то существом загадочным.

В детском возрасте деревенская жизнь представляет многие хорошие стороны в воспитательном отношении. Она развивает любовь к природе, привычку к простоте и простору, сближает с народом и знакомит с его бытом. Но с известным возрастом возникают такие требования, которых деревня удовлетворить не может. Родители наши не могли не осознавать, что для нашего образования не достаточно было уроков матери и едва грамотного гувернера. Одно время отец начал было сам заниматься со мною; устранив конторщика, он по временам учил меня русскому языку и арифметике. Я очень любил эти уроки в прекрасном отцовском кабинете титовского дома. Эта была очень обширная комната в нижнем этаже, вся кругом обставленная шкафами с книгами. Даже двери были обделаны в виде шкафных дверец с фальшивыми (картонными) корешками мнимых книг, что нередко давало повод к комическим сценам, когда вошедший в кабинет потом не находил выхода из него сквозь сплошные стены книжных шкафов. В соседней с кабинетом комнате находился физический кабинет, коллекции некоторых механизмов, станки, токарные, слесарные и другие. Отец занимался основательно фабричными и заводскими делами, делал сам разные технические опыты, изучал физику, механику и любил работать собственными руками. С 1821 года он был членом Императорского Московского общества сельского хозяйства, а впоследствии (в 1828 году) издал небольшую книжку "Руководство к построению водяных мельничных колес", посвященную означенному Обществу.

Случалось и мне заглядывать в эту святая-святых отцовского кабинета: с невыразимым любопытством смотрел я на его работы и на производимые опыты. Разумеется, я не мог еще ничего понимать из того, что показывал мне отец то на электрической машине, то на каком-нибудь механическом аппарате; тем не менее все это казалось мне чрезвычайно заманчивым, интересным; и я с наслаждением проводил целые часы внизу у отца.

В 1824 году, когда мне минуло 8 лет, отец счел необходимым уже более серьезно приняться за мое образование. Он приискал в Москве нового гувернера, поляка, Николая Матвеевича (собственно Казимира) Заржицкого. Старик m-r Валэ оставался еще некоторое время для младших братьев Николая и Алексея, а новый молодой гувернер занялся мною. Это был человек образованный, лет около тридцати, преимущественно сведующий в науках математических и естественных, но хорошо знавший и русский язык. Он держал себя с большим тактом и умел скоро привязать меня к себе. Я начал учиться у него с особенною охотой, и, должен сказать, что этот человек чрезвычайно много повлиял на все мое дальнейшее воспитание. Он заставил меня полюбить математические науки, даже пристраститься к ним; в короткое время я успел пройти значительную часть элементарной математики, а в свободные часы — приохотиться к некоторым простым техническим работам: слесарным, токарным, переплетным и другим. Рядом с занятиями по математике и технике мы оба, брат Николай и я, начали учиться истории, всеобщей и русской. Поочередно читали мы вслух Историю Карамзина и по прочтении каждой главы должны были пересказать сущность ее содержания. Таким образом мы прочли почти все 12 томов Карамзина, когда мне было всего 10 лет, а брату Николаю — 8. Мне кажется, что занятие это принесло нам громадную пользу не столько потому, что с детского возраста мы ознакомились с историей нашего отечества до XVII столетия, сколько в отношении к языку и слогу. В то время Карамзин был самым авторитетным, образцовым писателем; прислушиваясь с самого раннего возраста к его благозвучной прозе, мы незаметно и без тяжелого труда учились русской грамматике и стилистике.

Николай Матвеевич Заржицкий, как я сказал, обладал особенным умением приохотить ученика к математическим наукам: не ограничиваясь одним сухим теоретическим преподаванием, он старался занимать практическими приложениями приобретаемых знаний. Так, с первых же уроков геометрии (конечно, в самой элементарной, пропедевтической форме) он начал показывать мне применение этой науки к землемерству, к съемке планов, к определению высоты предметов и т.п., а в 1826 году, прежде еще, чем минуло мне 10 лет, я уже производил под его руководством съемку всего нашего села Титова, в масштабе 50 саженей в дюйме. Работа эта способствовала тому, что вся топография нашего села совершенно отчетливо врезалась в моей детской памяти. По окончании работ в поле всю осень и зиму с 1826 на 1827 год

пришлось мне вычерчивать снятый план тушью самым тщательным образом, по образцу тогдашних гравированных планов. Можно, пожалуй, заметить, что в такой кропотливой, продолжительной и скучной работе не было надобности; однако ж, я не думаю нисколько упрекать в том моего наставника. Такая работа, хотя чисто механическая, представляла, может быть, и свою полезную сторону в педагогическом отношении, приучая ребенка к терпеливому усидчивому труду и к тщательности в работе.

Первым оставшимся в моей памяти впечатлением, выходившем из тесного кружка нашей семейной и домашней жизни, была кончина Императора Александра I. Известие об этом важном событии поразило всю Россию своею неожиданностью; затем бесконечные разговоры и толки о недоразумениях, возникших относительно престолонаследия, о бунте 14 декабря[16] — все это возбуждало смутное понятие в моей детской голове. Родители, желая доставить нам развлечение, а может быть, и с целью закрепить воспоминание о таком событии, которое тогда занимало всеобщее внимание, решили отправить нас двоих с братом Николаем, в сопровождении гувернера, в Тулу к тому времени, когда провозили через этот город тело усопшего Императора. Это было в конце января 1826 года. Поездка наша, всего за 45 верст, продолжалась дня четыре; она глубоко врезалась в моей памяти. В Туле мы остановились в доме одного знакомого отцу нашему купца, на главной улице, по которой следовала печальная процессия. Нас усадили у открытого окна, несмотря на зимнее время, и мы с напряженным вниманием глядели на торжественное шествие. Это было для нас зрелище совершенно необычайное. До сих пор помню безмолвную, благоговейную скорбь в массе народа, толпившейся на улице. Когда процессия проследовала в собор, где гроб был выставлен под балдахином, толпа устремилась туда, чтобы поклониться праху Царя "Благословенного". Нас, детей, также водили в собор на другой день утром, и затем мы благополучно возвратились восвояси, преисполненные самых пестрых и живых впечатлений. Рассказам нашим не было конца.

Семейная хроника моя была прервана на 1823 году, когда родители мои решились водвориться на постоянное житье в деревню. С прекращением ежегодных переездов в Москву и обратно наша семейная жизнь несколько обособилась от остального родственного кружка. Московский наш дом был продан; бабушка Мария Ивановна Милютина переселилась в свою деревню Измайлово в Скопинском уезде (Рязанской губернии), и мне уже не довелось видеть ее в живых, также как и старшую тетку Екатерину Михайловну Милютину, давно болевшую и телесно, и душевно*. Младшая же ее сестра

*Мария Ивановна скончалась в декабре 1828 года, а Екатерина Михайловна — 28 июня 1841 года.

Елизавета Михайловна, оставшись владелицею Измайлова, впоследствии, уже в немолодых летах, вышла замуж за соседнего помещика, вдовца Якимова и прожила в деревне до глубокой старости (свыше 100 лет).

В семействе Киселевых, тесно связанном с нашим, произошли в течение нашей жизни в Титове многие перемены. Собственный дом Киселевых на Никитской после смерти Дмитрия Ивановича был продан для уплаты оставленных им долгов; Прасковья Петровна с Татьяной Ивановной, двумя дочерьми и Сергеем Дмитриевичем жили в наемной квартире на Арбате. В начале 1823 года младшая из моих теток Киселевых Варвара Дмитриевна вышла замуж за Алексея Марковича Полторацкого, человека уже немолодого и вдовца. Свадьба совершилась 30 апреля, и в тот же день новобрачные отправились в деревню. Многие жалели, что такая красавица, 24-х лет от роду, вышла за человека пожилого; однако ж, последствия показали, что неравенство в летах не помешало их семейному счастью. Алексей Маркович был человек образованный, добрый, принадлежавший к высшему кругу как один из состоятельных помещиков Тверской губернии. Уже в продолжение нескольких трехлетий занимал он должность губернского предводителя дворянства; зимой жил в своем доме в Твери, а лето проводил в прекрасном имении "Вельможье", близ Торжка. В июле 1823 года молодых навестили Киселевы: Прасковья Петровна с Татьяной Ивановной и Александрой Дмитриевной.

В этом же 1823 году произошла дуэль Павла Дмитриевича Киселева с генерал-майором Мордвиновым (24 июня). Хотя столкновение это и кончилось благополучно для Киселева, однако ж, вся семья была очень встревожена, опасаясь дурных последствий для его службы. Но дело это не имело никакого влияния на его блестящее поприще: Император оправдал образ действий его и вскоре за тем (в начале сентября), когда Киселев, с Высочайшего разрешения, представился государю в Орле, Его Величество обошелся с ним чрезвычайно благосклонно, а потом, оставшись вполне довольным войсками 2-ой армии на смотрах, происходивших с 30 сентября по 5 октября, поздравил Павла Дмитриевича генерал-адъютантом. Это было великим семейным торжеством.

В это же время младший из Киселевых, Николай Дмитриевич, успешно окончил курс в Дерптском университете, и при содействии старшего брата, а также и друзей его, Алексея Федоровича Орлова и графа Несельроде, определен на службу по Министерству иностранных дел.

Павел Дмитриевич Киселев давно уже собирался съездить за границу для лечения своего и жены. После успешных Царских смотров 1823 года он решился взять отпуск и в конце января 1824 года выехал из Тульчина. Приехав в Москву 4 февраля, он был поражен горестным известием из Тульчина о болезни и смерти сына его Владимира, который прожил всего

1 год и 8 месяцев. Из Москвы Павел Дмитриевич с женою выехали 27 февраля в Петербург, где они были приняты при Дворе чрезвычайно милостиво, а 15 мая отправились за границу. Выдержав полный курс лечения в Эмсе, они провели потом некоторое время в Париже и возвратились через Франкфурт и Вену в Тульчин только в половине декабря.

В начале того же 1824 года у Полторацких родилась дочь Ольга. В конце апреля приезжал в Москву Николай Дмитриевич Киселев для свидания с матерью и сестрами. По этому случаю моя мать приезжала дня на три в Москву. В этом же году скончалась Татьяна Ивановна Киселева, добрая старушка, любимая всею семьей. Она питала особенную нежность к Павлу Дмитриевичу и к моей матери. Черты ее мне остались весьма памятны: в самое первое детство, каждый раз, когда привозили меня к бабушке на Никитскую, я спешил в комнату Татьяны Ивановны, где так было уютно, так много растений, цветов и всегда много лакомства, чтобы побаловать внучков. Кончина Татьяны Ивановны оставила в доме Киселевых заметную пустоту.

Осенью, по случаю предстоявших родов моей матери, приехали в Титово Прасковья Петровна с Александрой Дмитриевной в сопровождении почтенного старика князя Дмитрия Васильевича Голицына. 22 октября родилась дочь София. Отец мой, извещая Павла Дмитриевича Киселева об этом новом приращении семьи, писал при этом: "Дела мои идут изрядно, хотя черепашьим ходом; суконная фабрика действует не худо и, если доселе не вознаграждает труды, то дает надежду на будущее". (Письмо от 25 октября 1824 года)[17].

Однако ж, действительный ход дел не оправдывал надежд, которыми отец мой постоянно тешил себя. Его беспрерывно преследовали всякие неудачи и разочарования. В январе 1825 года дела заставили его приехать на короткое время в Москву вместе с моей матерью. Она должна была опять прибегнуть к Павлу Дмитриевичу с просьбой о ссуде 5 тысяч рублей, в которых встретилась крайняя надобность по отцовским делам. Павел Дмитриевич, удовлетворив эту просьбу, писал (15 февраля) своей матери Прасковье Петровне: "Очень рад, что могу быть полезен сестре. Где тонко, там и рвется — говорит пословица, которая беспрерывно прилагаться к ней может...". В то же время в своем ответе моей матери он давал ей совет относительно воспитания детей. Она благодарила его (в письме от 9 марта из Титова) и за оказанную помощь в трудных обстоятельствах, и за добрые советы, а вместе с тем выражала свои заботы о детях, из которых пятеро были в то время больны коклюшем. По этому случаю Павел Дмитриевич в письме к своей матери (от 18 марта) писал: "В горестях сестры Елизаветы Дмитриевны принимаю живейшее участие; но со всем тем утешительнее горевать о болезни детей, чем вовсе их не иметь..."[18]. В этой фразе высказывалось невольно глубокое огорчение, которое он испытал, лишившись единственного своего сына и не имея надежды снова

Граф Алексей Федорович Орлов

сделаться отцом вследствие болезненного состояния жены. Прошлогоднее лечение в Эмсе не принесло ей никакой пользы, а потому решено было еще испробовать кавказские воды. Летом 1825 года София Станиславовна ездила в Пятигорск, но возникший в то время мятеж в Чечне и беспокойное положение края[19] заставили ускорить возвращение ее в Тульчин. Пятигорские воды оказались столь же бесполезными, как и заграничные.

Между тем, нашу семью постигло большое горе, в особенности чувствительное для бедной моей матери: в течение четырех месяцев она лишилась двух детей. В начале мая скончалась от зубов самая младшая — Софья, прожившая всего полгода; а в августе — Владимир, которому шел уже пятый год и который был любимцем матери. По поводу этой тяжелой потери она писала своему старшему брату: "... C'était l'enfant le plus intéressant que l'on puisse voir, et que j'aimais à la passion..."*. Бабушка Прасковья Петровна Киселева опять в сопровождении князя Дмитрия Васильевича Голицына приехала в

* "...Это был самый интересный ребенок, которого можно увидеть и которого я страстно любила..."[20] (*пер. с фр.*).

начале сентября в Титово и оттуда писала (20-го числа) Павлу Дмитриевичу: "Лиза очень грустит о своих детях, особенно о Владимире, которого она любила паче всего в мире"[21].

В том же письме старушка расхваливала всех четырех оставшихся в живых детей; в особенности восхищалась девочкой Машенькой, которой минуло тогда три года и которая своею живостью и смышленостью забавляла бабушку.

По случаю прискорбных событий, последовавших в конце 1825 года вслед за кончиной Императора Александра I, Павел Дмитриевич Киселев в начале января 1826 года приехал в Петербург по делам службы. Можно было опасаться, что положение его поколеблется с переменою царствования и вследствие тех нареканий, которые могло навлечь на штаб 2-ой армии участие в преступном заговоре стольких личностей из числа самых близких к П.Д.Киселеву. Пробыв целый месяц в Петербурге, он выехал оттуда 11 февраля, не вполне успокоенный относительно расположения к нему нового Государя. На возвратном пути в Тульчин Павел Дмитриевич провел четыре дня в Москве. Вслед за тем приехал туда же и Николай Дмитриевич Киселев по пути в Персию, в составе посольства князя А.С.Меншикова. Старушка Прасковья Петровна имела радость в этом году увидеть вторично обоих своих сыновей; Павел Дмитриевич опять приехал в Москву 1 августа на коронацию Императора Николая Павловича[22] и пробыл там до 10 октября; на этот раз благосклонное обращение с ним Государя вполне изгладило прежние его сомнения и снова утвердило служебное его положение. На возвратном пути в Тульчин он провел два дня в Туле вместе с Великим Князем Михаилом Павловичем, приезжавшим туда для осмотра оружейного завода.

Николай Дмитриевич Киселев уже в ноябре возвращался из Тегерана вместе с князем Меншиковым и членами его посольства. На пути заехал он в Титово повидаться с моею матерью и провел у нас несколько дней. В первый раз удалось мне видеть своего младшего дядю. В то время он еще имел вид юноши, веселого, забавного, остроумного. В Москве он пробыл недолго; вторичный его приезд доставил большое удовольствие старушке-матери тем более, что посетивший ее князь А.С.Меншиков расхвалил ей своего молодого подчиненного.

Во время своего пребывания в Москве Павел Дмитриевич сделал от имени своей жены ценный подарок матери: купил для нее дом на Поварской, чтобы успокоить ее в старости, избавить от всех неприятностей и хлопот перемен наемных квартир. Почтенная старушка была глубоко признательна и сыну, и невестке; к последней она всегда относилась с самою сердечною нежностью. Купленный дом на Поварской весьма напоминал прежний киселевский дом на Никитской: такой же одноэтажный, белый, с мезонином, с зонтиком над крыльцом; одна разница была в том, что последнее находилось

Князь Александр Сергеевич Меншиков

с правой стороны нового дома, тогда как в прежнем — было с левой. В октябре (16 числа) Прасковья Петровна с Александрой Дмитриевной водворились в новом своем жилье и вполне были довольны им. Одно только тревожило старушку — что приходилось жить врозь с сыном Сергеем Дмитриевичем, который вел все домашнее ее хозяйство. Он приискал себе квартиру в той же Поварской, в близком соседстве с матерью и навещал ее по несколько раз в день. Павел Дмитриевич, поздравляя нежно любимую мать с новосельем, в письме от 26 октября писал: "Душевно рад, что вы успокоены насчет вашего жилья, и уверен, что вскоре привыкнете сами управлять вашим домом". Но прошло довольно много времени, прежде чем новое жилье было приведено в полный порядок. Предприняты были разные переделки и, между прочим, пристройка к дому отдельного помещения для Александры Дмитриевны, которая пожелала иметь просторную и светлую комнату для своих занятий: рукоделия ее славились в Москве своим изяществом и вкусом. Строительные работы заставили Прасковью Петровну

даже переселиться на время в наемную квартиру в соседнем доме (Кокошкина), так что она водворилась окончательно в своем доме только в конце июля следующего года.

В декабре 1826 года опять ожидались роды моей матери. Поэтому случаю приехали снова в Титово Прасковья Петровна с Александрой Дмитриевной и Анной Алексеевной Бакаревой. Родившийся 16 декабря ребенок опять назван Владимиром как бы для того, чтобы он занял в сердце матери опустевшее место умершего в прошлом году любимца ее. Киселевы возвратились в Москву к новому году, к приезду туда Варвары Дмитриевны Полторацкой, которая также должна была родить. Она разрешилась 31 января 1827 года дочерью Софьей.

Зима с 1826 года на 1827 год была последнею в нашей деревенской жизни; ею закончилось наше привольное пребывание в Титове. Все усилия моего отца поправить свои дела развитием фабрики и завода, все меры, принимаемые для поддержания кредита, — оказались безуспешными. Фабрика и винокуренный завод работали в убыток; кредиторы сделались несговорчивыми; банковский долг не допускал просрочек — и вот дело дошло до продажи имения с публичного торга. Произведена была опись и назначен срок продажи. Не было уже возможности оставаться на житье в Титове; родители мои решились в начале 1827 года переселиться в Москву. Отец все еще обольщался надеждами на спасение хотя бы остатков своего состояния. Живя в Москве, ему было удобнее вести дела, а вместе с тем приискать какие-либо средства для жизни. Наконец, пребывание в Москве облегчало и воспитание детей, уже достигавших того возраста, когда домашние и особенно деревенские средства становятся совершенно недостаточными тем более, что в это время, к великому прискорбию, мы должны были расстаться с нашим наставником Н.М.Заржицким. Он нашел себе место в Смоленской губернии, в семействе Скюдери, и уехал еще до нашего переселения в Москву. Но мы расстались друзьями, и переписка с ним продолжалась до 1833 года.

В половине мая 1827 года мы покинули Титово и водворились в Москве.

ГОДЫ ЮНОСТИ
1827 – 1832

По переезде в Москву первоначально поселились мы на Поварской улице, в близком соседстве с Киселевыми. Отец мой вскоре уехал в Петербург хлопотать о приостановке продажи имения, а вместе с тем, чтобы поразведать, не представится ли ему случая поступить снова на службу. Мать моя осталась одна с пятью детьми в самом затруднительном положении, лишенная средств не только для продолжения нашего учения, но даже для поддержания домашнего хозяйства.

В то время (в мае месяце) семейство Полторацких только что уехало из Москвы в деревню, а Николай Дмитриевич Киселев приехал опять проездом на персидскую границу. По случаю войны с Персией[23] ему назначено было состоять при главнокомандующем генерале Паскевиче в качестве чиновника Министерства иностранных дел. Молодой Киселев приехал в Москву больной, простуженный и должен был пробыть там около десяти дней, чтобы поправиться. В конце мая он уже был под Эриванью в главной квартире действующего корпуса.

В том же мае месяце Сергей Дмитриевич Киселев опять отправился на кавказские минеральные воды; он возвратился оттуда в августе, не совсем довольный результатами поездки и продолжал по-прежнему часто хворать.

Также и Софья Станиславовна Киселева провела лето на водах в Карлсбаде и Эгере и возвратилась в Тульчин в октябре без заметного улучшения здоровья. Павел Дмитриевич Киселев в это время был погружен в свои служебные занятия по случаю предварительных приготовлений к ожидавшейся войне с Турцией[24].

Прасковья Петровна Киселева с дочерью Александрой Дмитриевной, как уже сказано, водворилась окончательно в своем новом доме 23 июля, в день именин Александры Дмитриевны. Пристроенная для нее комната вышла прекрасная.

Полторацкие, прожившие все лето в своей тверской деревне, отправились в половине декабря в Петербург, где прожили почти полгода по случаю устройства своих дел.

Наша жизнь в Москве, после деревенского приволья, казалась нам незавидной. Да и в действительности, она была крайне трудная: доходы с имения совсем прекратились; приходилось жить почти в долг. Между тем для детей необходимы были учителя и гувернеры. Поневоле надо было довольствоваться личностями низшего разбора и часто менять их. Поэтому учение наше шло плохо, без системы. Воспитание наше поддерживалось исключительно забо-

тами матери, которая продолжала давать нам уроки французского языка, насколько позволяло ее здоровье. Перенося мужественно и безропотно все невзгоды судьбы и несмотря на частые болезни, она сама нянчила младшего грудного ребенка, не спускала глаз с пятилетней крайне живой девочки и лично занималась тремя старшими мальчиками, не полагаясь на гувернеров или нянек. Тогда мне было 11 лет, Николаю — 9, Алексею — 8. Павел Дмитриевич Киселев, узнав из писем Прасковьи Петровны о затруднительном положении нашей семьи, прислал в пособие тысячу рублей. При всей незначительности суммы все-таки это пособие было некоторым облегчением и принято с признательностью.

Квартира наша на Поварской была тесна и неудобна для нашей многочисленной семьи, особенно ввиду новой беременности матери. Поэтому в начале 1828 года мы переселились на Пресню, в отдаленную часть города, более похожую на предместье, где можно было за умеренную плату иметь

Князь Иван Федорович Паскевич

помещение, просторное и удобное. Дом, в котором мы поселились, деревянный, с мезонином, совершенно московского типа, стоял особняком на открытом со всех сторон возвышении: спереди его был сад, спускавшийся до самой улицы, отделявший его от верхнего Пресненского пруда; сзади — обширный двор, вроде пустыря. Стоило только выйти из ворот, чтобы попасть в тенистые дорожки, огибающие пруды*. Еще немного далее за прудом в части города, носившей название "Грузины", жили наши близкие родственники князья Грузинские, о которых я уже упоминал. В ту сторону часто направлялись наши пешеходные прогулки.

Отец мой, при всех своих заботах и огорчениях, не падал духом и выказывал постоянно необыкновенную твердость характера. Вознамерившись снова поступить на службу, он поставлен был в необходимость подвергнуться обязательному в то время экзамену для приобретения права на производство в статские советники. Несмотря на свои лета (ему было уже 47 лет), он принялся с неутолимым прилежанием за изучение тех предметов, которыми до того времени вовсе не занимался или которые успел давно позабыть. В курьезную программу этого экзамена входили:

"1. Грамматика русская, сочинение и перевод с французского.

2. История всеобщая и русская, с географией, хронологией и статистикой.

3. Право естественное, римское, частное гражданское с приложением к российскому законодательству, законы уголовные и политическая экономия.

4. Арифметика, геометрия и физика".

Во всех этих предметах отец мой держал экзамен в учрежденном при Московском университете особом комитете, который в выданном ему аттестате признал его сведения "хорошими"**.

Выше уже упоминалось, что именно летом 1828 года отец мой был избран в члены состоящего при Московском университете Общества естественных знаний и в то же время издал книжку "Руководство к построению водяных мельничных колес, основанное на законах гидродинамики".

Приведу здесь и другой пример, рисующий характер моего отца. Несколько позже, когда ему было уже под 50 лет, поставил он себе задачу — исправить свой почерк, который от чрезмерно-поспешного писания массы деловых бумаг сделался до крайности неразборчивым. Для этого в продолжение нескольких месяцев он не позволял себе написать ни одной строки иначе, как медленно и старательно, выводя каждую букву, чтобы приучить руку к четкому письму.

В июне 1828 года моя мать снова родила сына, названного Константином. В течение лета поступил к нам гувернер, пожилой, необразованный и

---

* Впоследствии в этом доме жил многие годы генерал Перфильев, начальник жандармского округа.

** Аттестат выдан позже, 12 декабря 1828 года, и подписан ректором университета Двигубским, деканами: Фишером, Мудровым и Болдыревым и "бессменным заседателем" Мухиным.

грубый венгерец Яничек, которого мы терпеть не могли; давал нам уроки русского и латинского языков, истории, географии и математики Петропавловский, человек знающий, но типичный попович. Родители наши убедились в невозможности продолжать домашнее воспитание* и решились с наступлением нового учебного года определить двух старших, т.е. меня и брата Николая, в губернскую гимназию, единственную в то время в Москве. Она находилась на Пречистенке, где и ныне находится 1-я Московская гимназия. Ежедневно нас отвозили туда (с Пресни) в 9-м часу утра, а возвращались мы домой под вечер большею частью пешком, несмотря на дальнее расстояние. Мы не поспевали домой к домашнему обеду, т.е. к 3 часам, а потому устроено было так, что во время продолжительного промежутка между уроками мы получали довольно плохой обед в квартире смотрителя дома гимназии. Нас всегда сопровождал гувернер Яничек, который даже во время уроков иногда оставался в классе, к великому неудовольствию учителей, особенно священника, выходившего иногда из себя, видя пред собою расхаживающего по классу постороннего человека. Случалось, что между ними происходили комические сцены, доходившие чуть не до ругательств. В те времена гимназии вообще, не исключая и Московской, были из рук вон плохи как в учебном и педагогическом отношении, так и еще более в материальной обстановке. Везде грязь, в окнах разбитые стекла, так что в зимнее время и ученики и учителя сидели в шубах или тулупах. Состав учеников был самый пестрый, но главную массу составляли люди бедного и низшего сословия, большею частью не получившие никакого воспитания. Между ними были парни зрелых лет; в старших классах некоторые брили бороду, а рядом с такими приходилось сидеть мальчишкам, которые неизбежно заимствовали от старших грубость в обращении, дурные привычки, сквернословие. Со стороны учителей и начальства также мало было назидательных примеров для молодежи: они относились к учащимся неимоверно грубо и сурово; в классах не только слышались самые грубые ругательства, но доходило нередко и до телесной расправы: за одно незнание заданного урока, за невнимание в классе учителя били линейкой по пальцам, драли за уши, а некоторые призывали в класс сторожей с пучками розог и тут же, без дальнейших формальностей, раздевали провинившегося и пороли не на шутку. Отвратительная эта операция производилась не в низших только классах, не с одними малолетними; подвергались ей и здоровенные, уже зрелые молодцы старших классов. Начальство гимназии показывалось редко; почти никогда не видели мы директора Окулова, который, впрочем, был, как говорили, человек порядочный.

Такая безобразная обстановка чрезвычайно поразила и меня, и брата. Привыкшие к домашним нашим мягким нравам и обращению, мы смотрели с

*В письме матери к Павлу Дмитриевичу Киселеву от 16 сентября она писала: "Обстоятельства наши так изменились к худшему, что самое существование наше ничем не обеспечено. Имение должно быть продано за 183 тысячи рублей... У нас шесть человек детей малолетних..." [25].

негодованием и омерзением на все, происходившее кругом нас в гимназии. На основании произведенного нам вступительного экзамена, мы поступили в 3-й и во 2-й классы, но по некоторым предметам я посещал уроки 4-го класса. Учение, как я сказал, шло очень плохо. Для меня более всего требовалось труда на латинский язык, которому начал я учиться незадолго до поступления в гимназию. Преподавателем этого языка был старичок Лейбрехт, который половину классного времени занимался молча чинкою перьев на всех учеников. Учитель математики Терюхин был человек желчный и с наружностью отталкивающей, отличался особенной суровостью и привычкой к физической расправе. К счастью для меня, из всех предметов учения лучше всего я был подготовлен в математике, и потому уроки Терюхина сходили мне весьма легко. Историю преподавал Добровольский, которого все ученики особенно боялись: он по общепринятой в те времена методе, ограничивался тем, что задавал уроки по книжке или по писанным тетрадям, от такой-то строки до такой, и в классе проверял твердо ли выучен урок каждым учеником. Остальные учителя не оставили даже никакого впечатления в моей памяти.

Обстановка в гимназии, как я уже сказал, показалось нам, детям, крайне неприглядной. Мы не скрывали от матери нашего отвращения и домогались прекращения ежедневных наших поездок с Пресни на Пречистенку. Однако ж наши заявления остались без внимания, вероятно, потому, что родители наши, с одной стороны, считали наши жалобы преувеличенными и не хотели потворствовать детским прихотям, а с другой — не находили возможным возвратиться к домашнему воспитанию; уроки на дому нескольких преподавателей обходились слишком дорого.

Происходившие в 1828 году важные события, военные и политические, мало занимали нас. Мы знали только, что дядя наш Павел Дмитриевич Киселев, приезжавший в марте месяце в Петербург (с 19 числа по 30), отправился вслед за тем на Дунай и отличался в военных действиях против турок; что другой дядя Николай Дмитриевич, только что возвратившийся (в марте) с Кавказа, также находился в Турции в действующей армии, при министре иностранных дел графе Несельроде. И тот и другой не заезжали в Москву, потому что в то время прямым сообщением Петербурга с Одессой и Кишиневом служил так называемый "Белорусский" тракт.

В ближайшем нашем родственном кругу произошли в этом году некоторые перемены: семья Полторацких увеличилась родившимся в сентябре сыном Владимиром: по этому случаю Прасковья Петровна Киселева ездила в тверскую деревню Полторацких и прожила там до октября. В конце года Полторацкие опять ездили в Петербург для окончания своих дел. В октябре скончался внезапно старый и почтенный друг дома Киселевых князь Дмитрий Васильевич Голицын. Смерть его глубоко огорчила мою мать, к которой он, с самого ее детства, всегда относился с особенной нежностью. Он не раз

помогал ей в трудных обстоятельствах. В конце же года отец мой имел огорчение лишиться матери своей Марии Ивановны, скончавшейся в своей деревне Измайлове.

Бесконечные дела отца требовали снова присутствия его в Петербурге. Он уехал туда в конце декабря. Бедная мать опять осталась в одиночестве, в стесненном положении, имея на руках уже шестеро детей. В то время гувернером при нас, трех старших мальчиках, поступил на место неотесанного венгерца Яничека более приличный поляк Гивартовский, который давал нам также уроки немецкого языка. В январе месяце мать была страшно встревожена тяжелою болезнью любимого ее ребенка Владимира, но, к счастью, опасения за его жизнь скоро миновали, а вслед за тем получила она успокоительное известие из Петербурга от своей давнишней приятельницы Авдотьи Дмитриевны Лачиновой (урожденной графини Толстой), что, благодаря ее связям и хлопотам, удалось пристроить мою сестру Машу в Петербургский Екатерининский институт пансионеркою Императрицы. Девочке тогда было всего 6 лет. Грустно было матери отречься от воспитания единственной своей дочери с такого раннего возраста и обречь ее на 9-летнее заточение в казенном заведении; но она была вынуждена принести в жертву свои нежные материнские чувства, сознавая, что сама она не в силах, при своей нервной натуре и частых болезнях, вести, как следовало, воспитание крайне живой и резвой девочки. В письме к П.Д.Киселеву от 4 января 1829 года моя мать писала: "Je n'ai pas l'espéranse d'assurer l'existense de mes enfants; je borne donè mes souhaits è leur donner une èducation qui leur tiendra lieu de fortune..."*.

Дела отцовские в Петербурге не шли на лад, несмотря на рекомендательные письма Павла Дмитриевича Киселева к генералу Закревскому и другим влиятельным друзьям. Поданное на Высочайшее имя прошение по приостановке продажи имения за банковский долг было передано на рассмотрение министру финансов Канкрину с тем, "чтобы он доложил Его Величеству, есть ли возможность удовлетворить это прошение; причем было выражено, что Государь принимает в Милютине участие по родству его с Киселевым"**. Однако ж, прошение не имело успеха. Отец мой, уведомляя об этой неудаче П.Д.Киселева письмами от 4 и 12 февраля и 11 марта, писал: "Я знаю, теперь Вам не до меня; но у нас шесть человек детей; будущность их меня ужасает...". Несколько дней спустя в письме к нему же, П.Д.Киселеву, от 4 апреля, упоминая о нерасположении генерала Закревского и приписывая это каким-нибудь сплетням или клеветам врагов, отец мой выразился, что переносит хладнокровно такие несправедливости, не имея на душе ни единого поступка, которым кто-либо мог его попрекнуть: "Каждому известно, что я ничего не

* "Я не надеюсь обеспечить существование моих детей; я только хочу дать им образование, которое заменит им состояние..."[26].

** Письмо флигель-адъютанта К.В.Чевкина к П.Д.Киселеву 7 января 1829 года[27].

Граф Арсений Андреевич Закревский

сделал ни черного, ни бесчестного; что я не проиграл, не промотал имения, дошедшего ко мне не даром, не по наследству; но, будучи жертвою, быть может, планов, предпринятых не вовремя и не под силу, я заплатил за то настоящим моим положением, тогда как стоило бы только отклониться на одну черту от пути чести, чтобы сделаться богачом. В сей уверенности я всякому смотрю в глаза прямо, имея достаточно характера, чтобы быть равнодушным к мнению толпы!..".

В другом письме, от 23 апреля, отец мой сообщал Павлу Дмитриевичу о личном своем свидании с генералом Закревским, который на этот раз обошелся с ним любезно и даже обещал помочь ему в приискании служебного места[28]. Однако ж и "протекция" Закревского не помогала. К кому ни обращался мой отец, — ни от кого не услышал он утешительного слова. При всей своей твердости характера он начинал терять всякие надежды.

Чтобы поддержать его бодрость, моя мать решилась в марте месяце ехать также в Петербург и вместе с тем повезла с собой малютку Машеньку определить ее в институт. Сопровождала ее младшая из барышень Бакаревых (Мария Алексеевна). Вот что писала моя мать своему брату Павлу Дмитриевичу перед выездом из Москвы 26 марта: "Les autres enfants me préparent beaucoup de chagrin et d'embarras; je perds tout espoir deles plaser... Je laisse mes cinq malheureux garçons à Moscou sous la protection de maman. Mes parents en apprenant la triste situation de mon mari, m'ont conseillé de la rejoindre au plutôt et m'ont donné tous les moyens d'entreprendre ce voyage. Les 50 ducats que vous avez eu la bonté de m'envoyer, étant une nouvelle preuve de votre amitié, sont venus fort à propos et m'ont été d'un trés grand secours... Nous n'avons pas plus d'autre projet que d'obtenir un emploi à mon mari, qui puisse nous faire exister; car il n'y a plus d'autres moyens de subsister. Combien la Providence est injuste envers nous..."*.

После пятидневного утомительного путешествия в самую распутицу моя мать остановилась в Петербурге у Полторацких и немедленно же отвезла маленькую свою дочь в Екатерининский институт, лично передав ее на попечение начальнице m-me Crempine и инспектрисы Левицкой. Малютка скоро освоилась с новой для нее обстановкой и сделалась любимицей всех воспитанниц и классных дам, несмотря на то, что последним досталось немало хлопот с этим резвым ребенком.

Пристроив маленькую дочь, моя мать воспользовалась своим пребыванием в Петербурге, чтобы выхлопотать что-нибудь для облегчения воспитания и старших сыновей. Учение наше в губернской гимназии не могло удовлетворять самым невзыскательным требованиям. Я не переставал упрашивать отца, чтобы он взял нас из гимназии; писал ему об этом в Петербург. В своих ответах (20 и 24 января и последующих) отец укорял меня в легкомысленном уклонении от гимназического учения, которое невозможно заменить домашними уроками; вместе с тем давал совет заниматься усердно математикой, русским и иностранными языками. На необходимость знания иностранных языков он указывал во всех своих письмах[30]. Вместе с тем он имел терпение, среди всех его деловых занятий, среди всех забот и неприятностей, прочитывать присылаемые мной детские сочинения и сообщать мне свои замечания. При этом он предостерегал меня от излишней самонадеянности в выборе

---

* "Другие дети готовят мне множество огорчений и затруднений; я теряю всякую надежду их пристроить... Я оставляю пятерых моих несчастных мальчиков в Москве на попечение матушки. Узнав о грустном положении моего мужа, родители мне посоветовали как можно скорее присоединиться к нему и дали мне средства на это путешествие. 50 дукатов, которые Вы любезно нам прислали, — новое доказательство Вашей дружбы, пришлись очень кстати и стали для меня очень большим подспорьем... У нас нет больше иного намерения, кроме как добиваться для моего мужа места, которое дало бы нам возможность жить, поскольку у нас нет других средств к существованию. Как несправедливо к нам Провидение...". [29] (*пер. с фр.*).

тем, недоступных детским силам; не одобрял моих стихотворных опытов и давал предпочтение работам на исторические темы. Советы отцовские не остались без влияния на мои дальнейшие внеклассные занятия.

По-видимому, приезд матери в Петербург произвел некоторую перемену во взгляде отца на воспитание наше в гимназии. Родители наши начали хлопотать о помещении нас троих (меня, Николая и Алексея) в пансион, состоявший при Московском университете. Матери удалось, с помощью друзей Павла Дмитриевича Киселева (Закревского, князя Александра Николаевича Голицына и других), выхлопотать определение двух младших на казенный счет; меня же решено было определить "полупансионером", т.е. приходящим (экстерном), и плату за меня (в течение двух лет с половиной) принял на себя дядя Павел Дмитриевич. Это был единственный успех, которого достигли мои родители своим продолжительным пребыванием в Петербурге; во всем прочем они испытали полную неудачу.

Полторацкие также вынуждены были прожить в Петербурге до самого мая; но им удалось устроить свои дела с полным успехом. Продав выгодно свой дом и дачу в Твери, они решили поселиться совсем в деревне, чтобы заняться сельским хозяйством. Добродушный Алексей Маркович, пользуясь своими старыми связями и знакомствами в Петербурге, хлопотал, сколько мог, и по делам моего отца, особенно относительно приискания для него службы и определения детей. Полторацкие выехали из Петербурга одновременно с моими родителями, которые возвратились в Москву 13 мая.

Тяжело было матери оставить малолетнюю дочь в Петербурге, на чужие руки и на весьма долгое время. Впрочем, некоторые из давнишних приятельниц (Авд<отья> Дм<итриевна> Лачинова, графиня Моден и другие) обещали свое покровительство малютке, так рано оторванной от материнского попечения. Зато какую радость принесло нам, оставшимся в Москве мальчикам, возвращение родителей с известием о давно желанной перемене в нашей судьбе: мы покидаем ненавистную гимназию и поступаем в университетский пансион!..

Заведение это пользовалось в то время прекрасной репутацией и особыми преимуществами. Оно помещалось на Тверской и занимало все пространство между двумя Газетными переулками (Старым и Новым, ныне Долгоруковским), в виде большого карэ, с внутренним двором и садом*. Пансион назывался университетским только потому, что в двух старших его классах, в V и VI, преподавали большей частью университетские профессора; но заведение это имело отдельный, законченный курс и выпускало воспитанников с правами на 14-й, 12-й и 10-й классы по чинопроизводству. Учебный курс был общеобразовательный, но значительно превышал уровень гимназичес-

* Ныне это здание перестроено и принадлежит частному лицу.

кого. Так, в него входили некоторые части высшей математики (аналитическая геометрия, начало дифференциального и интегрального исчисления, механика), естественная история, римское право, русские государственные и гражданские законы, римские древности, эстетика. Из древних языков преподавался один, латинский; но несколько позже, уже в бытность мою в пансионе, по настоянию министра Уварова, введен был и греческий. Наконец, в учебный план пансиона входил даже курс "военных наук"! Это был весьма странный, уродливый набор отрывочных сведений из всех военных наук, проходимый в пределах одного часа в неделю, в течение одного учебного года. Такой энциклопедический характер курса, конечно, не выдерживает строгой критики с нынешней точки зрения педагогики; но в те времена, когда гимназии у нас были в самом жалком положении, Московский университетский пансион вполне удовлетворял требования общества и стоял наравне с Царскосельским лицеем. При бывшем директоре Прокоповиче-Антонском и инспекторе профессоре Павлове он был в самом блестящем состоянии. В мое время директором был Курбатов, а инспектором — Иван Аркадьевич Светлов — личности довольно бесцветные, но добродушные и поддерживавшие, насколько могли, старые традиции заведения.

Вскоре по возвращении моих родителей из Петербурга, нас троих братьев представили (29 мая) начальству пансиона и, как уже сказано, братья мои поступили полными пансионерами (т.е. в интернат), я же — полупансионером, т.е. живя дома, ежедневно являлся на уроки, утренние и вечерние, и пользовался казенным обедом. На основании вступительного экзамена, я был принят в 4-й класс, братья — в 3-й и 2-й. Немедленно облекли нас в форменную одежду, которая состояла из синего мундира или сюртука с малиновым воротником и золоченым прибором, сходная с формой университетских студентов, от которой отличалась лишь тем, что у них полагались на воротнике мундира две золоченые петлицы; у нас же одна. Притом форма одежды у нас была обязательна и соблюдалась довольно исправно, тогда как в университете немногие лишь из студентов носили форменную одежду. Профессора, преподаватели, надзиратели (т.е. воспитатели) носили синие фраки с малиновыми суконными воротниками.

Хотя мы поступили в пансион в середине учебного года*, однако ж учение наше пошло успешно, и после того, что нам довелось видеть и испытать в гимназии, университетский пансион показался нам весьма симпатичным. Преподавание хороших учителей, приличное отношение их к воспитанникам, благовоспитанность большей части товарищей составляли резкую противоположность с порядками и нравами, присущими гимназии. Как в классное время так и вне классов воспитанники были под наблюдением особых лиц, назы-

*Выпуск и перевод из класса в класс происходили в конце общепринятого года, т.е. в декабре.

вавшихся "надзирателями" и дежуривших поочередно. Это были люди весьма порядочные, хотя, конечно, и не без слабых сторон. В числе их было четверо русских: Ив<ан> Ник<олаевич> Данилевский (впоследствии служивший в Синоде, а в старости пристроенный мною в библиотеке Генерального Штаба), Зиновьев, Победоносцев и Попов, и трое иностранцев: француз Фэ (Fay), немец Мец и англичанин Соважо. Из них менее всех пользовались любовью воспитанников последние двое.

В продолжение летних каникул я не оставался праздным. Кроме уроков немецкого языка у нашего гувернера Гивартовского, я любил по-прежнему рыться в отцовской библиотеке, где, разумеется, попадались мне в руки самые разнообразные книги, не всегда подходившие к моему возрасту. С увлечением принимался я за разные работы: выписки, переводы, сочинения — и также не всегда соответствовавшие моим летам и степени развития. Так, например, вздумалось мне составить словарь, заключавший в себе толкование разных терминов грамматики, риторики, и вообще относящихся к теории словесности. Составленный мною "Литературный словарь", разумеется, был произведение весьма слабое, простая ребяческая компиляция из учебников; да и можно ли было ожидать чего-нибудь от 13-летнего мальчика. К сожалению, отец мой смотрел слишком снисходительными глазами на мои непосильные произведения. Он имел терпение прочитывать их, давал советы, а впоследствии допустил даже печатание этих детских опытов.

Развлечением моим в это лето были уроки верховой езды в манеже и прогулки верхом. Отец мой, несмотря на крайне затруднительное положение, обремененный долгами, все еще не мог совершенно отрешиться от прежних барских привычек и прежнего образа жизни. Он держал на конюшне несколько верховых лошадей и любил, в виде отдыха от своих вечных забот, выезжать за город верхом; большею частью он брал меня с собой; иногда же отпускал меня одного. Одиночные эти прогулки составляли самое большое мое удовольствие. Припоминаю, между прочим, что мы с отцом присутствовали верхом на некоторых из торжеств, происходивших в Москве в это лето в честь персидского принца Хозрев-Мирзы, ехавшего в Петербург чрезвычайным послом по случаю восстановления дружественных отношений между Персией и Россией. Москва, по своему обыкновению, нянчилась со своим азиатским гостем, чествовала его разными празднествами, военными смотрами, народными гуляньями.

В августе наш дом обратился, можно сказать, в больницу: появилась корь на всех детях и даже у гостившей у нас Марии Алексеевны Бакаревой. Моя мать, находясь в последнем периоде беременности, выбивалась из сил, переходя от одного больного к другому. Самый младший из детей, Константин, — ребенок слабый, не вынес болезни и скончался, прожив всего один год; прочие все поправились. В сентябре мать разрешилась вновь сыном, по-

лучившим имя Леонида. Роды эти были тяжелее всех прежних; мы едва было не лишились нашей дорогой матери. "Но Богу угодно было, чтобы я еще осталась в живых для испытания моего терпения..." — так выразилась она в письме к своему брату Павлу Дмитриевичу (от 10 декабря)[31].

В то время П.Д.Киселев получил новое видное назначение: оставив еще в начале года место начальника Главного Штаба 2-ой армии (которое занимал ровно десять лет), он во все продолжение кампании 1829 года командовал войсками на левой стороне Дуная, а когда уже заключен был Андрианопольский мир (в сентябре)[32], он находился на Балканах, во главе войск, выдвинутых для прикрытия правого фланга и тыла главной армии; по прекращении же всех военных действий он получил звание "Полномочного Председателя Диванов Княжеств Валахии и Молдавии". В ноябре, возвратившись в Бухарест, он вступил в управление Княжествами и в командование оставленными в них русскими войсками. Жена Павла Дмитриевича Софья Станиславовна была за границей со своей сестрой Нарышкиной, то в Вене, то в Карлсбаде или Дрездене. Николай Дмитриевич Киселев также пользовался в течение лета карлсбадскими водами. В Петербурге он скучал своим бездействием и с нетерпением ожидал какого-либо назначения за границей.

В начале декабря отец мой должен был опять ехать в Петербург в надежде дать движение делам, заглохшим во время летнего затишья. Несколько времени спустя, пред Рождеством отправилась в Петербург и мать, едва только оправившись от болезни. Она взяла с собой своего Володю; так же, как и в прежнюю поездку, сопровождала ее Мария Алексеевна Бакарева. Братья мои Николай и Алексей были поручены специальному попечению одного из наших пансионских воспитателей — m-r Fay. Новорожденный Леонид — ребенок слабый и болезненный, подавший мало надежды на долголетие, остался на руках нянек, кормилицы и под надзором бабушки Прасковьи Петровны и тетушки Александры Дмитриевны, которые ежедневно навещали нас. В праздники Рождества мы, старшие, проводили большую часть дня у Киселевых; они забавляли нас катанием "под качели", театрами и другими развлечениями.

Пред Рождеством в пансионе произведены были экзамены выпускные и переводные. Я перешел в 5-й класс, братья мои — в 4-й и 3-й. На торжественном "акте", происходившем в январе, я получил два приза. Отец мой, в награду за успешный результат моего экзамена, сделал мне очень приятный подарок — верховую лошадь, небольшую, серенькую, которую я очень любил. По этому случаю он писал мне из Петербурга (25 декабря): "Поведением своим ты заставляешь меня обращаться с тобой выше твоих лет и сделать тебе подарок не детский."[33].

Несмотря на свои дела и заботы, отец продолжал и заочно входить в наши учебные занятия; требовал, чтобы мы присылали ему еженедельно жур-

нал наших уроков; почти в каждом письме повторял совет прилежно заниматься иностранными языками. Иногда же в этих письмах высказывалось неудовольствие по поводу доходивших до него жалоб начальства пансиона (т.е. m-r Fay) то на резкие выходки вспыльчивого брата Николая, то на шалости Алексея, которого зачастую не отпускали домой по воскресеньям. В письмах матери также встречались сетования на поведение резвого и живого мальчика.

Родители мои прожили в Петербурге до конца февраля. Благодаря поддержке некоторых друзей П.Д.Киселева, дело отцовское пошло было на лад; явилась надежда, что продажа имения будет приостановлена, и с этими утешительными результатами возвратились они в Москву. Но с другой стороны на бедную нашу мать обрушились новые тяжкие удары: она уже не застала в живых младшего из детей, Леонида, умершего на пятом месяце от рождения, а приехав в Москву, она узнала, что и другой сын, десятилетний Алексей, вдруг тяжко заболел в пансионе. Через двое суток он уже кончил жизнь на ее руках. Причина болезни осталась невыясненной. Таким образом, в течение каких-нибудь шести месяцев бедная мать лишилась троих детей. Из десяти рожденных ею остались в живых мы двое с Николаем, Владимир и дочь Мария.

Учебные занятия мои и брата Николая в пансионе продолжались своим порядком. В 5-м классе, в который я перешел с начала года, преподавателями были уже все профессора университета. Математику, механику и физику преподавал Дм<итрий> Матв<еевич> Перевощиков, который был вместе с тем директором Астрономической обсерватории (впоследствии был академиком); Мих<аил> Александрович Максимович — естественную историю; Лев Алекс<еевич> Цветаев — римское право; русское же законоведение в 5-м классе преподавал Кольчугин, а в 6-м — профессор Сандунов; латинскую словесность и римские древности — профессор Кубарев; русскую словесность — поэт Раич, а в 6-м классе — профессор Мих<аил> Троф<имович> Каченовский, который читал и курс эстетики. Священник Тарновский преподавал как Закон Божий, так и греческий язык.

Из всех преподавателей наиболее выдавались: Перевощиков, Сандунов, Цветаев и Каченовский. Первый отличался своей строгой требовательностью от учеников, он имел обыкновение каждый год, при начатии курса в 5-м классе, в первые же уроки проэкзаменовать всех вновь поступивших учеников и сразу отбирать овец от козлищ. Из всего класса обыкновенно лишь весьма немногие попадали в число избранных, т.е. таких, которые признавались достаточно подготовленными и способными к продолжению курса математики в высших двух классах; этими только избранными профессор и занимался; вся же остальная масса составляла брак; профессор игнорировал их, никогда не спрашивал и заранее обрекал на самую низшую аттестацию — нулем. Так, из 60 учеников, перешедших вместе со мной из 4-го класса в 5-й,

Перевощиков отобрал всего четверых, с которыми и занимался исключительно во все продолжение двухгодичного курса. В число этих счастливцев попал и я; только мы четверо и выходили поочередно к доске, так как Перевощиков следовал своей совершенно оригинальной методе преподавания: он заставлял учеников доходить последовательно до выводов собственной работой мысли; сам же только помогал им, руководил этой гимнастикой мозга, не сходя со своего седалища на кафедре. Таким путем успевал он, занимаясь только немногими учениками, пройти в два года весь курс математики от первых начал арифметики до дифференциального исчисления. Правда, такой путь был весьма не легкий; он требовал большого напряжения внимания и силы мышления; понятно, что таким путем не могли следовать юноши, худо подготовленные в младших классах, так что большинство учеников должно было сидеть в классах, хлопая ушами и не принимая вовсе участия в уроке. Зато путь этот был несомненно самый твердый и надежный; знание, приобретенное самостоятельной работой, врезывается глубоко и неизгладимо. Те немногие ученики, с которыми занимался Дмитрий Матвеевич, привязывались к нему лично и к науке. В числе моих товарищей были такие, с которыми случалось мне просиживать по нескольку часов в праздники и в каникулярное время над решением какого-нибудь нового вопроса или придумывая доказательство какой-нибудь теоремы. С одним из них (Ив<ан> Петр<ович> Шенгелидзев) даже после выхода из пансиона я был долго в переписке по занимавшим нас вопросам такого рода. В свободное время мы с ним хаживали к профессору Перевощикову на обсерваторию (близ Трехгорной заставы), чтобы посоветоваться с ним или просить разрешения какого-нибудь нашего сомнения и т.п. Перевощикову считаю себя обязанным столько же, сколько в детстве был обязан влиянию Заржицкого.

Другая личность глубоко врезавшаяся в моей памяти, был профессор Сандунов — маленький старичок, ходивший по-старинному в ботфортах, а в холодное время надевавший сверх форменного вицмундира синюю суконную куртку. Сандунов в прежнее время служил в Сенате обер-секретарем и славился как опытный и ловкий делец; достигнув чина действительного статского советника, он держал себя гордо, с достоинством относительно начальства и товарищей по университету; с учащимися обращался с некоторой саркастической взыскательностью, почему все, и ученики, и преподаватели, и начальство относились к нему с каким-то особенным "решпектом". У нас в пансионе, он преимущественно занимался практическим судопроизводством и делопроизводством, т.е. заставлял нас знакомиться с сенатскими делами, писать деловые бумаги и т.п. Занятия эти могли бы приносить пользу в применении на службе и в жизни, если бы на них уделялось несколько больше времени, что было совершенно невозможно при многопредметности и разнообразии нашего учебного курса.

Профессор Цветаев в молодости своей считался одним из передовых ученых; он был из числа тех профессоров, которые в начале царствования Императора Александра I прошли через германские университеты и первые внесли в русский учебный мир новейшие приобретения европейской науки. Но мне довелось слушать лекции Цветаева только на склоне его жизни, когда уже не оставалось никаких следов бывшего некогда блестящего профессора: он обрюзг до безобразия, одевался (как и Сандунов) по-старинному, говорил невнятно, захлебываясь, и в своих лекциях держался буквально изданного им весьма поверхностного учебника.

Также и знаменитый Каченовский в описываемое время был уже на своем склоне. Затрудняюсь объяснить, почему Михаил Трофимович, специально подвизавшийся на поле русской истории, взял на себя читать в университетском пансионе эстетику, в виде дополнения к курсу словесности, читанному в 5-м классе сладким и нежным поэтом Раичем. Мы слушали с уважением лекции старого профессора, пользовавшегося авторитетом в ученом мире; но в сущности мало извлекали пользы из его толкований о красоте, грации, изящном и прочем, столь же мало поддающемся догматическому определению и законам теории.

Из прочих преподавателей наиболее симпатичным был М.А.Максимович, бывший впоследствии профессором в Киевском университете Св.Владимира; он читал нам естественную историю, хотя этот предмет не был главной его специальностью и проходился у нас поверхностно по краткости времени. Прочие преподаватели (в том числе Ал<ексей> Мих<айлович> Кубарев, заставлявший нас переводить Корнелия Непота и Цицерона и объяснявший нам жизнь древнего Рима, преподаватель статистики Изм<аил> Ал<ексеевич> Щедритский и др.) оставили мало впечатлений у молодежи. Упомяну в виде курьеза об отставном майоре Мягкове, преподававшем все военные науки в совокупности. По краткости уделяемого на этот предмет времени он довольствовался тем, что каждый из учеников должен был к экзамену заучить один вопрос программы по выданной ему тетрадке. Такому курсу, конечно, никто не придавал серьезного значения.

Преобладающей стороной наших учебных занятий была русская словесность. Московский университетский пансион сохранил с прежних времен направление, так сказать, литературное. Начальство поощряло занятия воспитанников сочинениями и переводами вне обязательных классных работ. В высших классах ученики много читали и были довольно знакомы с тогдашней русской литературой, тогда еще очень необширной. Мы зачитывались переводами исторических романов Вальтера Скотта, новыми романами Загоскина, бредили романтической школой того времени, знали наизусть многие из лучших произведений наших поэтов. Например, я знал твердо целые поэмы Пушкина, Жуковского, Козлова, Рылеева (Войнаровский). В известные сро-

ки происходили по вечерам литературные собрания, на которых читались сочинения воспитанников в присутствии начальства и преподавателей. Некоторыми из учеников старших классов составлялись, с ведома начальства, рукописные сборники статей, в виде альманахов (бывших в большом ходу в ту эпоху) или даже ежемесячных журналов, ходивших по рукам между товарищами, родителями и знакомыми. Так и я был одно время "редактором" рукописного журнала "Улей", в котором помещались некоторые из первых стихотворений Лермонтова (вышедшего из пансиона годом раньше меня); один из моих товарищей издавал другой журнал "Маяк" и т.д. Мы щеголяли изящной внешностью рукописного издания. Некоторые из товарищей, отличавшиеся своим искусством в каллиграфии (Шенгелидзев, Семенюта и др.), мастерски отделывали заглавные листы, обложки и т.д. Кроме этих литературных занятий, в зимние каникулы устраивались в зале пансиона театральные представления. По этой части одним из главных участников сделался впоследствии мой брат Николай — страстный любитель театра.

Все эти внеклассные занятия, конечно, отнимали много времени от уроков, зато чрезвычайно способствовали общему умственному развитию, любви к науке, литературе, чтению; а такой результат едва ли даже не плодотворнее одного формального школьного заучивания учебников особенно при том уровне, на котором в то время стояла вообще педагогия при тогдашних жалких руководствах и поверхностном преподавании большей части предметов. Тогда учащееся юношество вообще не подвергалось мономании "классицизма", не притуплялось пыткой греческой и латинской грамматики; тогда не было "вопроса о школьном переутомлении".

Из товарищей моих по классу сблизился я в особенности с Сергеем Строевым (родным братом известного тогда своими трудами по русской истории Павла Строева), Арапетовым, двумя братьями Вырубовыми, Гордеевым, Марковым, Зверевым, Перовским (Борис Алексеевич) и другими. Из них успешнее всех занимался Строев — примерный во всех отношениях юноша; некоторые же, как, например, Перовский, оставили пансион до окончания курса и перешли в школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. Выше я уже упоминал о Шенгелидзеве (Иване), отличавшемся своими успехами в математике и отличной каллиграфией (впоследствии он служил в Петербурге и кончил жизнь сумасшествием). В середине курса к числу наших товарищей присоединился Константин Булгаков, сын московского почт-директора, переведенный в наш пансион из Царскосельского лицейского пансиона, по случаю закрытия этого заведения. Это был бойкий и даровитый юноша, впоследствии получивший в Петербурге известность в числе гвардейских офицеров, остроумный шалун, остряк, карикатурист и забавный собеседник.

1830 год памятен мне во многих отношениях. В семейном нашем кругу отпраздновали две свадьбы: дядя мой Сергей Дмитриевич Киселев женился на Елизавете Николаевне Ушаковой, а двоюродная тетка княжна Вера Яковлевна Грузинская вышла замуж за Дмитрия Павловича Левшина. Невеста дяди Сергея Дмитриевича, к которой он уже несколько лет был неравнодушен, была замечательно красива; другая сестра ее Екатерина Николаевна была некоторое время предметом поклонения знаменитого нашего поэта Пушкина и фигурировала не раз в его стихотворениях. Пушкин был дружен с Сергеем Дмитриевичем Киселевым, и мне случалось видеть его у дяди. Однако ж, вскоре потом наш поэт увлекся другой московской красавицей — Гончаровой, а Екатерина Николаевна Ушакова вышла за офицера Измайловского полка Наумова.

В течение лета Москва была встревожена появлением холеры. В первый раз приходилось России испытать это бедствие; а потому везде, где появлялась непрошенная гостья, она производила страшную панику во всех слоях населения. Никто не имел понятия ни о предохранительных мерах против болезни, ни о средствах врачевания ее. Признавалось нужным прибегать к строгим карантинным мерам, как против чумы; число смертных случаев было так велико в соразмерности с числом заболевших, что один страх заразы наводил ужас. Угнетенное состояние духа неизбежно усиливало бедствие. В начале появления эпидемии жертвами ее были большей частью люди низшего класса, особенно из пришлого на заработки народа, живущего в самых антигигиенических условиях. Понятно, что среди этого населения зародились самые нелепые подозрения в умышленном отравлении. Как всегда в подобных случаях злонамеренные личности пользовались встревоженным настроением легковерной толпы для возбуждения ропота и неудовольствия. Народ, несмотря на запрещение и противодействие полиции, начал толпами уходить из города и разносить болезни повсеместно.

Такое тревожное состояние города не мешало мне пользоваться летними каникулами и по-прежнему делать часто прогулки верхом то с отцом, то в одиночестве. Так же, как в прошлом году, я принялся за некоторые новые работы: составлял краткое "Руководство к съемке планов", перечень главных событий русской истории в форме синхронистических таблиц, перевел один плохонький французский роман, данный мне дядей Сергеем Дмитриевичем и т.д. В доме у нас пока все шло обычным порядком. В начале сентября возобновилось учение в пансионе. Но вот вдруг вся Москва встрепенулась: 29 сентября неожиданно приехал сам Император Николай Павлович. Появление его среди зараженного города ободрило всех: Государь, со свойственным ему мужеством, показывался в народе, посещал больницы, объезжал разные заведения. В числе их вздумалось ему заехать и в наш университетский пансион.

Это было первое Царское посещение. Оно было до того неожиданно, непредвиденно, что начальство наше совершенно потеряло голову. На беду Государь попал в пансион во время "перемены" между двумя уроками, когда обыкновенно учителя уходят отдохнуть в особую комнату, а ученики всех возрастов пользуются несколькими минутами свободы, чтобы размять свои члены после полуторачасового сидения в классе. В эти минуты вся масса ребятишек обыкновенно устремлялась из классных комнат в широкий коридор, на который выходили двери всех классов. Коридор наполнялся густой толпой жаждущих движения и обращался в арену гимнастических упражнений всякого рода. В эти моменты нашей школьной жизни предоставлялась полная свобода жизненным силам детской натуры; "надзиратели" если и появлялись в шумной толпе, то разве только для того, чтобы в случае надобности обуздать слишком уж неудобные проявления молодечества.

В такой-то момент Император, встреченный в сенях только старым сторожем, пройдя через большую актовую залу, вдруг предстал в коридоре среди

Въезд Императора Николая I в Москву во время холеры

бушевавшей толпы ребятишек. Можно представить себе, какое впечатление произвела эта вольница на Самодержца, привыкшего к чинному натянутому строю петербургских военно-учебных заведений. Со своей же стороны, толпа не обратила никакого внимания на появление величественной фигуры Императора, который прошел вдоль всего коридора среди бушующей массы, никем не узнанный, и, наконец, вошел в наш класс, где многие из учеников уже сидели на своих местах в ожидании начала урока. Тут произошла весьма комическая сцена: единственный из всех воспитанников пансиона, видавший Государя в Царском Селе, Булгаков, узнал его и, встав с места, громко приветствовал: "Здравия желаю Вашему Величеству!". Все другие крайне изумились такой выходке товарища; сидевшие рядом с ним даже выразили вслух негодование на такое неуместное приветствие вошедшему "генералу". Озадаченный, разгневанный Государь, не сказав ни слова, прошел далее в 6-й класс и только здесь наткнулся на одного из надзирателей, которому грозно приказал немедленно собрать всех воспитанников в актовый зал. Тут, наконец, прибежали, запыхавшись, и директор и инспектор, перепуганные, бледные, дрожащие. Как встретил их Государь — мы не были уже свидетелями; нас всех гурьбой погнали в актовый зал, где с трудом, кое-как установили по классам. Император, возвратившись в зал, излил весь свой гнев и на начальство наше и на нас с такой грозной энергией, какой нам никогда и не снилось. Пригрозив нам, он вышел и уехал, а мы все, изумленные, с опущенными головами, разошлись по своим классам. Еще больше нас опустило головы наше бедное начальство.

На другой же день уже заговорили об ожидающей нас участи; пророчили упразднение нашего пансиона. И, действительно, вскоре после того последовало решение преобразовать его в "Дворянский Институт" с низведением на уровень гимназии; а между тем последовала перемена начальства: директором, вместо добродушного Курбатова, назначен действительный статский советник Иван Александрович Старынкевич; инспектором классов вместо Светлова — Запольский. Впрочем, перемена была только в именах; по существу же все осталось по-прежнему. Новые начальники мало отличались своими качествами от прежних; только показались нам менее симпатичными, менее добродушными. Самое же преобразование заведения совершилось гораздо позже, уже по выходе моем из пансиона.

Таков был печальный инцидент, внезапно взбаламутивший мирное существование нашего университетского пансиона. А вскоре по отъезде Государя из Москвы прерваны были наши уроки так же, как и во всех вообще учебных заведениях в Москве, по случаю все усиливавшейся холеры. Число больных и умиравших возросло в ужасных размерах, а вместе с тем усилились уныние и паника. Признано было нужным принять энергичные меры: город был разделен на 20 частей; в каждой части

назначен особый попечитель с помощниками; открыты временные больницы; каждая часть оцеплена кордоном, так что сообщение между частями города было почти прервано или, по крайней мере, ограничено: проезд разрешался только врачам и некоторым лицам по билетам. Учрежден был карантин и вокруг всей Москвы, также заставы между Москвой и Петербургом. На улицах, площадях и в домах производилось окуривание хлором, дегтем и другими дезинфекционными снадобьями. Город принял самую мрачную физиономию; на улицах почти не видно было ни экипажей, ни пешеходов; торговля почти прекратилась; большая часть лавок и мастерских была закрыта, так что иногда с трудом доставали белый хлеб и другие припасы. Само собой разумеется, что театры и другие места общественных сборищ были закрыты. Тут и там для успокоения народа духовенство служило молебны. Поднимались образа, совершались крестные ходы.

Отец мой был в числе лиц, избранных для заведывания той частью города, где мы жили, т.е. окрестностью Пресненских прудов. Он принялся за дело с обычной деятельностью и энергией, не жалея трудов для добросовестного исполнения своей обязанности. Он даже занялся научным изучением эпидемии, впервые постигшей Россию, и по этому предмету издал брошюру с картой, изображавшей последовательный ход холеры от Персии до Москвы. Карта эта наглядно показывала, что эпидемия большей частью следовала по направлению больших речных и сухопутных сообщений, что, по-видимому, доказывало, что болезнь заносилась приезжими, а может быть, — и грузами. В брошюре указывались и средства, испытанные с пользой для предохранения от холеры и лечения ее с первых приступов болезни. Указанные тогда средства, конечно, были впоследствии большей частью признаны недействительными. За оказанные моим отцом заслуги во время холеры ему потом был пожалован орден Св.Владимира 4 степени.

Разобщение между частями города побудило бабушку Прасковью Петровну Киселеву с тетушкой Александрой Дмитриевной и обеими барышнями Бакаревыми переселиться на некоторое время в наш дом на Пресне, чтобы не оставаться разрозненными и совместно переживать тяжелое время, когда ежедневно получались горестные известия о смерти людей близких и когда каждый мог ожидать своей очереди. Решению бабушки содействовало и то обстоятельство, что прямо напротив ее дома на Поварской открыта была временная больница для холерных. Бабушка переехала к нам 15 октября и оставалась до 21 ноября, когда означенная больница перед окнами ее дома была закрыта и когда холера в городе начала заметно ослабевать. Эти пять недель самого сильного разгара эпидемии в Москве протекли в нашей домашней жизни не только без скорби и уныния, царствовавших вообще в городе, но даже с особенным оживлением. Хотя холера продержалась в

Москве всю зиму, но с декабря число ежедневных смертных случаев до того уменьшилось, что город начал уже принимать обычную свою физиономию, а с нового года общественная жизнь пошла своим нормальным ходом. Оставались и в следующем году карантины только по трактам, ведущим в Москву; отдельные случаи холеры в самой Москве бывали и летом 1831 года.

В исходе 1830 года и начале следующего общее внимание обратилось на новые прискорбные обстоятельства — восстание Польши и начавшиеся военные действия[34]. Впрочем, в нашей тогдашней жизни политикой почти вовсе не занимались; газет мы не видели, а потому до нас доходили только случайно смутные отголоски слухов, привозимых ежедневно отцом из Английского клуба. Между тем, в нашей семье опять последовало приращение: 3 декабря у матери родился еще сын, получивший имя Бориса. Это были последние ее роды.

После Рождественских праздников возобновились прерванные холерой уроки наши в пансионе. Перерыв этот имел последствием перемену срока ежегодных экзаменов, выпускных и переводных. Те и другие были перенесены с декабря на май месяц. Перемена эта, в связи с ожиданиями закрытия или преобразования нашего университетского пансиона, побудила некоторых из моих товарищей по классу покинуть пансион и избрать себе другую дорогу. Так, Перовский и Булгаков отправились в Петербург и поступили в Школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров.

В марте отец мой должен был опять отправиться в Петербург все по тому же делу, которое озабочивало его уже несколько лет. Несмотря на хлопотливую свою жизнь в Петербурге, он находил время вести со мной переписку, входил в подробности наших учебных занятий, давал советы, причем настаивал по-прежнему на необходимости изучения иностранных языков, вызывал с моей стороны суждения о появлявшихся новых литературных произведениях и т.д. Между прочим, в этой переписке высказано было мной мнение о необходимости заблаговременного избрания специального поприща, к которому я полагал нужным уже начать готовиться заранее. Вопрос этот был возбужден по особому случайному обстоятельству.

Один из питомцев нашего пансиона, Малыгин, отлично кончивший курс в предшествовавшем году, поступил прямо в старший класс Института инженеров путей сообщения, успел уже выдержать офицерский экзамен, и в начале 1831 года, приехав в Москву офицером, посетил наш пансион, чтобы повидаться с прежними товарищами, позже его кончавшими курс. Появление его в эполетах, с перьями на шляпе возбудило в нас такую зависть, что некоторые соблазнились было его примером и возгорели желанием пойти по его следам. В то время Институт путей сообщения, состоя под главным начальством Герцога Александра Виртембергского, пользовался весьма хорошей репутацией под руководством французских инженеров, приглашенных на русскую службу

Императором Александром I: генералов Дестрема, Базена, Потье и других. Увлекся и я, грешный, соблазнительным примером быстрого достижения офицерских эполет; задумал я начать еще до окончания курса в университетском пансионе готовиться к поступлению в старший класс означенного Института и счел нужным поведать этот план своему отцу, который приучил меня к полной с ним откровенности. Отец ответил мне разумным советом не увлекаться преждевременными мечтами о выборе какого-либо специального поприща, а заботиться прежде о приобретении основательного общего образования; он даже высказывал желание, чтобы по выходе из пансиона я продолжал занятия в университете, и затем уже в более зрелых летах выбрал себе специальную дорогу. На этом пока прервались мои юношеские мечтания, однако ж, не рассеялись совсем. Дела задержали моего отца в Петербурге дольше, чем он рассчитывал. В июне окончились в нашем пансионе экзамены, вследствие которых я перешел в 6-й, т.е. последний класс. Отец в своих письмах выражал удовольствие по поводу полученных мной баллов, и, напротив того, строго отозвался о неудачных экзаменах бедного моего брата Николая, который, при замечательной своей даровитости, несколько пренебрегал учением и вместе с тем несдержанным отношением своим к преподавателям возбуждал против себя озлобление с их стороны. Строптивость его характера с раннего возраста навлекала на него неудовольствие родителей и частые взыскания. Отец в одном из своих писем, в виде угрозы брату, писал, что будет вынужден отдать его в кадетский корпус, "где он, в отчуждении от родителей и родственников, будет готовиться не к жизни общественной, а к казарме".

Продолжительное пребывание отца в Петербурге тревожило мою мать, тем более, что там свирепствовала в то время холера. Бывший при отце "конторщик" из крепостных, человек преданный и любимый, умер от эпидемии накануне дня, назначенного для выезда отца из Петербурга, к большому огорчению моих родителей. Отец возвратился в Москву лишь в начале июля, когда в Петербурге обыкновенно наступает полное затишье в делах, а потому оставаться там становилось вовсе бесполезным. Эпидемия, прекратившаяся в Москве, распространилась по северным губерниям. Находившаяся в то время в деревне у Полторацких бабушка Прасковья Петровна Киселева с Александрой Дмитриевной должны были выждать там снятия карантина, учрежденного на пути из Твери в Москву. Дядя мой Сергей Дмитриевич Киселев с женой и новорожденным первенцем Павлом проводил это лето в подмосковной, Останкине.

Во время каникул я был занят печатанием своих скороспелых произведений: "Опыт литературного словаря", "Руководство к съемке планов" и переведенного романа "Якарей Уасу". Хлопоты по изданию этих книжек, разумеется, были для меня забавой; мне только что минуло тогда 15 лет, и впоследствии, в зрелые лета, я сожалел о том, что отец поощрял мою ребя-

ческую самонадеянность, помогая мне своими советами в хлопотах по изданию вместо того, чтобы напомнить мне жесткий приговор поэта:

"Пятнадцать лет? не более того?
— Так розгами его!"

Но что еще удивительнее — о моих ребяческих творениях появились в тогдашних газетах и журналах весьма снисходительные отзывы. В них указывались только кое-какие частные промахи. Так, например, "Северная Пчела" (1831 г. № 198) дала моей съемке планов такую лестную аттестацию: "Автору сей небольшой книжки 15 лет от роду; сие замечание сделано нами не для того, чтобы извинить могущие встретиться в ней недостатки, а для того, чтобы обратить внимание любителей наук на труды молодого человека, обещающего со временем своими талантами, образованием и любовью к наукам сделаться полезным гражданином отечеству, отличным слугой Государю".

Книжка о съемке планов была посвящена Павлу Дмитриевичу Киселеву, который, по получении экземпляра, ответил мне очень любезным письмом: "C'est avec infiniment de plaisir que j'ai reçu, mon cher neveu, votre lettre et le livre qui l'accompagne. Le resumé que vous avez fait d'une science que vous étudiez encore (imprimé ou non), donne toujours une bonne idée de l'attitudeé que vous avez pour le travail. Je vous en fais mon sincère compliment et et vous engage beaucoup à continuer vos etudes avec tout le zèle possible. Votre avenir en dépend*" и т.д.

В течение лета 1831 года я познакомился с Аксаковыми. Бывал в доме у почтенного Сергея Тимофеевича и сблизился с сыном Константином, который был мне ровесником и уже в то время выдавался своими дарованиями, любознательностью и серьезными занятиями. Другие братья его были тогда еще слишком молоды и не принимали участия в наших беседах.

Отец мой не переставал заботиться о том, чтобы мы с братом Николаем усовершенствовались в иностранных языках. Независимо от учения в пансионе, мы брали уроки у приходивших к нам на дом, в каникулярное время, учителей: французского — m-r Delaveau и немецкого — Trautmann. Однако ж, несмотря на все старания родителей, немецкий язык почему-то нам не давался; так и не выучились мы говорить по-немецки. Не следует ли приписать это лишь тому, что все наши учителя этого языка были нам антипатичны. С приближением осени, в начале сентября, отец снова должен был ехать в Петербург. В пансионе уроки начались почему-то позже обыкновенного — в конце сентября. В ожидании преобразования и при новом начальстве замечалась в нашей школьной жизни некоторая шероховатость. Отец, по-преж-

---

* "Я был бесконечно рад мой дорогой племянник, получить Ваше письмо и приложенную к нему книгу. Ваше изложение науки, которую Вы еще не закончили изучать (напечатанное или нет), дает хорошее представление о Ваших способностях к труду. Поэтому я выражаю Вам свою искреннюю похвалу и призываю продолжать Ваши занятия со всевозможным рвением. От этого зависит Ваше будущее" (*пер. с фр.*)[35].

нему, писал мне длинные письма, иногда на французском языке, вероятно, с той целью, чтобы доставить мне случай практиковаться на том же языке. Нельзя не подивиться, как мог он, при своих делах и заботах в Петербурге, уделять время на такую переписку, давая себе труд входить в подробный разбор моих ребяческих умствований и незрелых мнений. Отец возвратился в Москву только перед Рождеством.

В течение осени 1831 года Москва опять оживилась пребыванием Царской фамилии. По этому случаю, как обыкновенно, старушка принарядилась; только и занималась торжествами, балами и рассказами об Августейших гостях и сопровождавших их петербургских сановниках. И наш скромный пансион удостоился Высочайшего внимания: после предварительного осмотра министром народного просвещения Уваровым вместе с попечителем князем Сергеем Михайловичем Голицыным, посетил и сам Император. На этот раз все обошлось благополучно; Государь остался доволен найденным порядком и как будто хотел своей благосклонностью изгладить тяжелое воспоминание о прошлогоднем своем гневе. Министр и попечитель, при своем посещении пансиона, почтили меня лично любезным приветом по поводу только что изданных перед тем моих сочинений, а затем мы с братом Николаем были приглашены на бал, данный князем Сергеем Михайловичем Голицыным в честь Августейших гостей. Однако ж, у нас не хватило смелости, чтобы решиться на первый шаг в большой свет в таком блестящем собрании; мы не были на бале, к неудовольствию отца, который по этому случаю в письме из Петербурга (от 9 ноября) укорял меня в застенчивости и убеждал в необходимости усвоения светских привычек[36]. Годом позже (22 декабря 1832 г.) моя мать писала обо мне Павлу Дмитриевичу Киселеву: "Il est extrémement timide et n'a pas assez l'usage du monde"*.

Дело отца по имению не пришло и в этом году к окончанию; но, по крайней мере, ему удалось поступить на службу чиновником особых поручений при московском военном генерал-губернаторе. Князь Дмитрий Владимирович Голицын всегда благоволил к нему и обещал предоставить ему впоследствии место управляющего делами в учреждавшейся тогда новой комиссии по сооружению храма, так давно уже проектированного в воспоминание Отечественной войны 1812 года. Поступление отца на службу, хотя и с небольшим на первое время содержанием, все-таки имело на него успокоительное влияние. С другой стороны, его крайне огорчало расстройство здоровья моей матери, у которой в последнее время заметно усиливалась болезненная полнота, возбуждавшая опасение водяной.

Мое учение в пансионе приближалось к окончанию; прилежно готовился я к выпускному экзамену, ожидаемому в июне месяце. Однако ж, вместе с тем все больше занимал меня вопрос о выборе дальнейшего пути в жизни. Считая весьма недостаточным полученное в пансионе энциклопедическое

*"Он крайне робок и не слишком привык вращаться в свете" (*пер. с фр.*).

Князь
Дмитрий Владимирович
Голицын

образование, я перебирал в своих мыслях разные подходящие к моим наклонностям специальности и более всего останавливался на Корпусе инженеров путей сообщения или на Генеральном Штабе. Но мы, московские юноши, имели самые смутные представления вообще о делах служебных и в особенности о службе военной. Поэтому я обратился опять к тому же Малыгину, о котором упомянуто выше, с просьбой сообщить мне сведения и собственные его мнения о занимавшем меня вопросе. Малыгин в письме от 3 мая (из Петербурга), нарисовал мне самую заманчивую перспективу всех выгод, которые представляют избранный им путь, т.е. поступление в Институт путей сообщения и служба эта не закрывает пути и в Генеральный Штаб, если б впоследствии я предпочел этот род службы, — чего, впрочем, он не допускал. В письме Малыгина замечательное сочувствие, с которым выражался бывший питомец нашего университетского пансиона о месте своего воспитания: "Оно священно для меня во многих отношениях, — писал он, — я обязан ему всем моим образованием; ничто не может в жизни заменить те незабвенные минуты, которые доставлял мне пансион, — и вот почему каждый из наших сотоварищей столь же дорог для меня, как ближайший родственник..."[38] и т.д.

Полученные от Малыгина сведения, конечно, укрепили во мне намерение избрать, после выпуска из пансиона, службу в Корпусе инженеров путей

сообщения. Все это не было тайной для моих родителей, которые не противились моим стремлениям, но желали только несколько отсрочить решение, чтобы удержать меня в семье еще на некоторое время, так как мне только к концу выпускного экзамена должно было минуть 16 лет. Притом они считали нужным в решении вопроса о моей будущей службе сообразоваться с советами дяди П.Д.Киселева, который платил за мое обучение в пансионе. В двух письмах моей матери (2 июля и 22 декабря 1832 года) выражалась признательность Павлу Дмитриевичу за доставленные им средства докончить мое воспитание и испрашивалось его дальнейшее покровительство для определения меня на службу, причем упоминалось и о предположении моем поступить в Корпус инженеров путей сообщения[39].

К исходу июня экзамены мои окончились вполне успешно; я стал первым по выпуску учеником, удостоен награждения чином X-го класса и серебряной медалью. В данном мне аттестате* было прямо констатировано, что, в случае поступления в военную службу, мне предоставляется "право на производство в офицеры по прослужении 6-месячного срока в низших званиях, хотя бы и не было вакансии в том полку, куда буду определен"[40].

Такой удачный результат произвел большую радость в семье и доставил утешение родителям. В течение лета я не опочил на лаврах: брал уроки языков, французского, немецкого, английского, а также музыки; вел переписку с бывшим своим товарищем Шенгелидзевым по разным вопросам, встречавшимся в моих занятиях математикой; посещал по временам профессора Перевощикова на Трехгорной обсерватории его. По истечении же каникулярного времени начал я ходить на его лекции в университете по астрономии и механике. Лекции эти доставляли мне большое удовольствие; но я посещал их частным образом и, к сожалению, не долго. В течение осени снова посетил Москву министр народного просвещения Уваров; несколько дней подряд приезжал он в университет и выслушивал лекции, которые читали в его присутствии сами студенты на заданные им заблаговременно темы. Слышанные мной лекции некоторых из студентов старших курсов по астрономии, механике, высшей математике были замечательно хороши.

Хотя выпускной аттестат из университетского пансиона был мне выдан уже в октябре, однако ж, счеты мои с этим заведением не были еще покончены до того дня, когда назначен был торжественный "акт", на котором выпускные воспитанники должны были в последний раз предстать перед публикой, произносить речи, читать стихи своего сочинения, получать награды и т.д. Это происходило 2 ноября. Мне как первому по выпуску выпало на долю произнести речь на русском языке, мной уже сочиненную и просмотренную профессором Коченовским. Тема, на которую она была написана, заключалась

* Аттестат был выдан только 31 октября 1832 года; за подписью помощника попечителя Голохвастова, директора Старынкевича и инспектора Запольского.

в том, что воспитание человека не заканчивается в стенах учебного заведения в лета юности; что умственные и душевные его силы развиваются и укрепляются опытом самой жизни и т.д. Само собой разумеется, что мысль эта была облечена в самые цветистые риторические формы тогдашнего напыщенного витийства с оттенком сентиментальности и завершалась выражением признательности месту воспитания, родителям, наставникам, начальству, восходя до "десницы Великого Монарха-Покровителя, осеняющей нас и указывающей путь к служению Престолу и Отечеству!"... Речь эта, конечно, была приветствована сочувственным рукоплесканием снисходительной публики.

Это был последний день, когда мне довелось облечься в мундир с малиновым воротником. Расставшись с пансионом, я сохранил приятельские отношения со многими из моих прежних товарищей, преимущественно же с теми, с которыми впоследствии встречался в Петербурге: Арапетовым, Марковым, Зверевым, Гордеевым, братьями Вырубовыми и другими. С первым из названных, Иваном Павловичем Арапетовым, установились самые дружеские отношения на всю жизнь. С Ив<аном> Петр<овичем> Шенгелидзевым, как уже упомянуто, я вел в первые годы по выходе из пансиона довольно оригинальную переписку.

Шенгелидзев был сам большой оригинал. Как человек бедный он поступил немедленно по окончании курса в пансионе учителем в дом Засецких, живших в деревне близ Вязьмы. Оттуда и писал он мне:

8 августа: "Открыл ли ты способ чертить параболу? Счастливый ты человек!.. ты можешь заниматься и никто тебе не мешает; а я по сию пору не принимался за математику..."

17 августа: "Как счастлив ты, что будешь слушать у Перевощикова механику. Пожалуйста, в письмах своих помещай его лекции..."

В том же письме он упрекает меня в том, что я "изложил ход своего открытия о черчении гиперболы совсем не по его системе"[41].

В конце 1832 года бедный Шенгелидзев должен был оставить свое место учителя в частном доме; оказалось,что его отец, служивший по комиссариатской части в Вильне, не был в такой нужде, как до сих пор полагал его сын. По требованию отца, мой товарищ должен был отправиться в Вильну, куда он тащился целый месяц с каким-то транспортом комиссариатских вещей за неимением денежных средств для переезда на почтовых. В Вильне он поступил на службу в канцелярию военного губернатора, домогался места учителя в гимназии, чтобы только иметь возможность снова обратиться к излюбленным занятиям математикой. В 1833 году переписка наша прекратилась, но впоследствии я встречался с ним не раз в Петербурге. Одно время он служил чиновником в ведомстве путей сообщения; но кончил весьма печально — сумасшествием.

В течение 1832 года в нашем родственном кружке произошли следующие перемены: у Полторацких родился 25 мая второй сын Алексей, а у Сергея Дмитриевича и Елизаветы Николаевны Киселевых в конце июня — второй сын Николай. Так же, как и в прошлом году, бабушка Прасковья Петровна ездила летом к Полторацким в тверскую деревню и вторично посетила их в декабре на короткое время, по случаю болезни детей. Дядя Сергей Дмитриевич, давно уже страдавший каменной болезнью, выдержал осенью весьма серьезную операцию.

К концу года дела моего отца снова потребовали присутствия его в Петербурге. Он собрался в путь перед самым Рождеством и предложил мне съездить вместе с ним, чтобы развлечься в течение Рождественских праздников. Охотно принял я это предложение, хотя до того времени никогда еще не покидал ни на один день родительского крова. Меня манило любопытство — взглянуть на столицу, а вместе с тем представлялся случай лично переговорить с Малыгиным и собрать более определенные справки относительно разных родов службы. Поездки отца в Петербург всегда огорчали мою бедную больную мать; на этот же раз ей было еще грустнее отпустить и меня хотя бы на короткое время.

Переезд из Москвы в Петербург составлял в те времена значительное путешествие. Хотя на большей части пути уже было сооружено великолепное шоссе, однако ж, в средней части, на протяжении нескольких станций, между Торжком и Крестцами, приходилось еще ездить по старой дороге и во многих болотистых местах, на многие десятки верст, по бревенчатой гребле. Проезд по такой дороге был настоящей пыткой. Мы с отцом ехали в возке безостановочно почти четверо суток. В Петербург приехали вечером и остановились в гостинице "Лондон", на углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади (где теперь магазины Дациаро и Рихтера). Перед самыми окнами нашего номера происходил с утра до ночи неумолкаемый гам балаганов, занимавших почти всю Адмиралтейскую площадь на время Рождественских праздников, так же, как на маслянице и на Святой неделе.

В первое же утро пребывания в Петербурге, пока отец делал свои официальные и деловые визиты, я пошел бродить одиноко по городу и отыскивать немногих своих знакомых. До сих пор сохранилось в моей памяти тягостное впечатление, с первого же раза произведенное на меня Петербургом. Странствуя пешком наобум, с планом в руках, и отыскивая одного знакомого офицера Лейб-гренадерского полка (Каверина), я очутился на ледяной поверхности Невы, как среди степи. Знакомый мой жил в казармах на Петербургской стороне; я застал его в обществе товарищей — за карточным столом. В комнате едва можно было разглядеть что-либо сквозь густое облако табачного дыма. Картина эта в раннее утро произвела на меня неприятное впечатление и дала невыгодное понятие о казарменной жизни гвардейских офицеров.

Таково было первое мое знакомство с Петербургом, о котором москвичи слыхали столько чудес. Несмотря на праздничное движение на улицах, на блестящий Невский проспект, на неумолкавшие звуки балаганной музыки, мне было скучно и грустно. Я чувствовал себя чужим в этом большом городе. Отец начал возить меня к некоторым из своих знакомых; по настоянию его, я посещал театры, маскарады; был даже в Зимнем дворце на большом бале, который давался ежегодно в начале января и на который открывался вход всему городу. Здесь, протискиваясь с трудом в разношерстной толпе, я увидел в первый раз Царские чертоги и блеск Двора. Но и здесь, так же, как в маскараде (в зале Дворянского собрания, в доме Энгельгардта на Невском проспекте, против Милютиных лавок) и даже в театре, меня преследовали скука и тоска.

Одно, что могло в Петербурге доставить мне отрадные минуты, было свидание с маленькой сестрой, которая уже четыре года была оторвана от семьи. В первое же воскресенье по приезде в Петербург мы с отцом отправились утром в Екатерининский институт не в общую залу, где происходили обыкновенно свидания воспитанниц с посещающими их родственниками, а в комнаты самой директрисы. Почтенная старушка, как всегда, приняла нас радушно и послала за нашей Машей, которая скоро прибежала и с радостью увидела отца; меня же не узнала и в первую минуту дичилась. Первое наше свидание, происходившее в присутствии отца и начальницы, было несколько холодное; но в следующие воскресенья я уже являлся один в общей зале института и в короткое время между нами установились самые дружественные отношения. Если я пропускал которое-либо из воскресений, то она грустила и плакала. Но случалось и наоборот, что я напрасно ждал ее появления в зале: обыкновенно это означало, что бедняжка под наказанием, лишена передника, без которого показаться в зале признавалось невозможным. Она была по-прежнему резвым и шаловливым ребенком; но училась хорошо и продолжала быть предметом "обожания" своих подруг.

В числе домов, с которыми познакомил меня отец, был известный богач Алексей Иванович Яковлев, у которого было два взрослых сына (один — Иван — в гражданской службе, другой — Савва — кавалергардский офицер) и дочь (которая позже вышла за графа Штейнбок-Фермора). Яковлев жил в своем огромном доме на Васильевском острове, соблюдал старинные нравы и держал себя с большой важностью. По воскресеньям съезжались к нему к обеду родственники и близкие знакомые. Отец мой, с молодых лет имевший связи со всей семьей Яковлевых и даже считавшийся как-то в родстве с ними, также обедал каждое воскресенье у старика Алексея Ивановича и возил меня с собой. Но, признаться, эти обязательные воскресные обеды чрезвычайно тяготили меня. Кроме того, чаще других навещал я родственников отца Секретаревых (сына московского Секретарева, Федора Ермолаевича и

милую жену его); бывал также с отцом у Лачиновых (московских наших приятелей), в семействе Николая Петровича Новосильцева — статс-секретаря, заведывавшего учреждениями Императрицы Марии Федоровны, и еще у некоторых других. Но из всех новых знакомств в Петербурге более всего радушный прием нашел я в семье Авдулиных, с которыми отец мой познакомился в прежние свои приезды в Петербург, по родственным отношениям их к Яковлевым. Старик Алексей Николаевич Авдулин был отставной генерал-майор, вдовец, человек старого покроя, державший себя с некоторой важностью, но в душе добрый и обходительный. У него был сын Сергей Алексеевич и две малолетние дочери, Варвара и Мария, воспитанием которых занималась тетка их, Дарья Николаевна, незамужняя сестра Алексея Николаевича. Молодой Авдулин был только немногими годами старше меня, наружности крайне не привлекательной, домашнего воспитания; принадлежал к петербургскому большому свету и считался на службе в Министерстве иностранных дел. Не получив основательного образования, он, однако ж, был человек начитанный и продолжал много читать. В свете имел он репутацию остряка и злоязычника, но в приятельском кружке был весьма забавный собеседник. Тетка его, Дарья Николаевна, добрая женщина, почти безвыездно сидела дома, занимаясь своими племянницами, из которых старшая, девочка лет 12-ти, была болезненная, а другая, еще малолетняя, лет 9-ти, смышленая и вышколенная тетушкою. При девочках была еще гувернантка, молодая некрасивая девушка, m-elle Marie, а при молодом Авдулине проживал в виде приемыша сверстник его по летам Николай Александрович Бибиков, молодой человек, простоватый, с весьма ограниченным образованием, но чрезвычайно добродушный.

В этой-то семье я был принят с таким радушием, с такой добротой, что в короткое время уже чувствовал себя у них, как дома. Все, от старика отца до малолетних девочек и простодушного "Николеньки", обходились со мной, как бы с давнишним другом дома или близким родственником. У молодого Авдулина часто собирался кружок приятных молодых людей, в обществе которых проводил я время с удовольствием. В числе их бывали товарищи Авдулина по Министерству иностранных дел: Балабин (бывший впоследствии послом в Вене), Калержи и другие. Были тут собеседники и другого сорта: вечный полковник Данзас, сохранивший и в почтенных летах привычки молодого шалуна, сделавшийся впоследствии известным в роли секунданта знаменитого Пушкина; двоюродный брат Авдулина — Пасхалов, — отставной саперный офицер, отличавшийся крайним цинизмом в речах и поведении; и еще много таких личностей, о которых в памяти моей не осталось и следа.

Старик Авдулин был женат на одной из семи дочерей богача Сергея Яковлева, Екатерине Сергеевне, умершей уже несколько лет назад. Поэтому

семейство Авдулиных имело многочисленное родство: отставные генералы Манзе и Альбрехт, откупщик Абаза, старик Сабир (побочный сын известного Рибаса) и двое Шишмаревых, — все это были свояки Алексея Николаевича Авдулина. Из числа их жен оставались в живых только Манзе, Сабир и одна из Шишмаревых. У всех семи сестер были дети и, таким образом, родство было очень многочисленное. Сделавшись близким человеком в доме Авдулиных, я должен был, разумеется, познакомиться и с большей частью названных родственников, которые принимали меня любезно. Понятно, что в этом именно кругу проводил я большую часть времени в Петербурге.

С первых же дней моего там пребывания я имел свидание с Малыгиным и вдоволь выцедил из него все, что было мне нужно узнать относительно ведомства путей сообщения. Хотя я еще и не отступал от прежних своих предположений, однако ж, после подробнейших личных разъяснений Малыгина, а в особенности после всего, что случайно пришлось мне слышать и видеть в Петербурге, служба в Корпусе путей сообщения уже далеко не казалась мне такой привлекательной, как прежде.

Пребывание мое в Петербурге затянулось долее предположенного; дела задерживали моего отца. В письмах матери все больше выражались грусть и нетерпеливое ожидание нашего возвращения. В одном из писем она выражалась так: "Для жизни моей нужно быть с близкими сердцу, как для существования нужен воздух"... Наступил февраль месяц; я уже несколько обжился в Петербурге, благодаря радушному дому Авдулиных. Петербургская атмосфера укрепила мое желание скорее покончить с вопросом о выборе предстоящего служебного пути. И вот, совершенно случайно вопрос этот решился скорее, чем мог я предвидеть.

Между многочисленными своими знакомыми отец посетил полковника Майкова Михаила Аполлоновича, командира 1-й гвардейской артиллерийской бригады, приезжавшего не раз в Москву и бывавшего у нас в доме. Отец взял меня с собой и в разговоре с полковником упомянул о моем намерении поступить на службу в Корпус инженеров путей сообщения. Полковник горячо восстал против такого предположения: "Как это возможно, — говорил он, — что вам за охота? Ступайте лучше к нам, в гвардейскую артиллерию; мы примем вас с распростертыми объятиями"... и так далее. Слово за слово — и в какие-нибудь четверть часа совершенно перевернулись все мои планы. На все расспросы отца и мои полковник Майков доказал, как дважды два — четыре, что для меня несравненно выгоднее поступить юнкером в гвардейскую артиллерию, и обнадежил, что по выслуге юнкером узаконенного 6-месячного срока и по выдержании экзамена я могу и в этом роде службы достигнуть офицерского чина и открыть себе дорогу, гораздо более блестящую, чем в ведомстве путей сообщения. Отец мой убедился его доводами и дал свое согласие на вступление мое в гвардейскую артиллерию; я же был в полном

восторге. Так обыкновенно бывает отрадно, когда после долгого и томительного колебания в решении своей участи вдруг вопрос решается как бы сам собой и тяготившие бремя забот и сомнений вдруг спадают с плеч; но в настоящем случае мое удовольствие усугублялось тем, что передо мной неожиданно открывалась такая блестящая дорога, о какой не смел я прежде и грезить. Служба в гвардейской артиллерии не только сама по себе представилась мне более привлекательной, чем в ведомстве путей сообщения, но вместе с тем могла прямее и легче вести меня к службе Генерального Штаба, составлявшей конечную цель моих вожделений. Недолго думая, мы с отцом приняли с благодарностью предложение любезного командира бригады, который дал нам все указания относительно процедуры поступления молодых людей юнкерами в военную службу, взялся помочь нам в этом деле и посоветовал не терять напрасно времени, дабы я успел до вступления в лагерь ознакомиться с первоначальными требованиями строевой службы.

Таким образом судьба моя решилась совершенно внезапно, неожиданно. Но каково было изумление моей матери, когда она вдруг узнала об этом решении. Еще прежде того по поводу предварительных моих соображений о выборе рода службы она писала мне (1 февраля): "Неужели так скоро уже и решитесь?". В это время она еще и не допускала мысли, чтобы я мог остаться в Петербурге и поступить неотлагательно в военную службу; она полагала, что вопрос окончательно решится только по моему возвращении в Москву и по получении от Павла Дмитриевича Киселева ответа относительно будущей моей службы. Когда же она узнала из писем отцовских и моих, что вопрос решился и что я остаюсь в Петербурге, бедная мать была совершенно поражена. В письмах от 12 и 15 февраля она изливала упреки в моей непростительной торопливости и легкомыслии: "Что с тобой сделалось? Ты совсем переродился", — писала она, представляя себе с ужасом, как буду я, 16-летний юноша, жить в одиночестве, в незнакомом городе, в новой обстановке; как выдержу "солдатское учение" и казарменную жизнь, "так несвойственную моему характеру и воспитанию"... "Кто же придет к тебе с советом? Кто облегчит твое положение, покажет тебе дружбу? "

Все мои объяснения и оправдания (в письме от 13 февраля), даже ссылка на отцовский авторитет не успокоили огорченной матери. Она тревожилась о моей участи, не доверяя моим надеждам, ни обещаниям будущего моего начальства. В порыве огорчения она чуть было не полетела сама в Петербург, несмотря на свое болезненное состояние. Однако ж, видя, что дело уже решено бесповоротно, она возложила упование на Провидение и в письме от 19 февраля писала мне, что теперь остается ей только молить Бога, чтобы я не имел причины раскаяться в моем необдуманном поступке. Следующие письма (22 и 26 февраля и 1 марта) уже дышат одной материнской нежностью; она заботится о снабжении меня всеми нужными вещами, требует

от меня откровенных мнений о моих нуждах, скорбит о том, что не может выслать мне денег, сама терпя крайнюю нужду для поддержания домашнего хозяйства[42].

Между тем, с помощью любезного и услужливого полковника Майкова все формальности, необходимые для моего определения на службу, были исполнены. 16 февраля я был представлен начальнику гвардейской артиллерии генерал-адъютанту Сумарокову, а на другой день, 17 числа, Великому Князю Михаилу Павловичу; 20 числа подано мной формальное прошение; 27-го сдал установленный весьма поверхностный экзамен и, наконец, 1 марта последовало зачисление меня во 2-ю роту лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады званием фейерверкера 4-го класса*.

* Название батарей введено в нашей полевой артиллерии несколько позже, в том же 1833 году. Из фейерверкеров я был переименован в юнкера только в июне месяце. Такова была формальность.

ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ ЛЕТ СЛУЖБЫ В ПЕТЕРБУРГЕ
1833—1839

В гвардейской артиллерии

1833—1835

В Военной Академии

1835—1836

В Гвардейском генеральном штабе

1836—1839

В ГВАРДЕЙСКОЙ АРТИЛЛЕРИИ
1833 – 1835

Участь моя решена: с 1 марта 1833 года я уже на службе в звании фейерверкера гвардейской артиллерии. На 17-м году от роду приходится начать жизнь самостоятельно, вдали от семьи, с которой ни разу еще не расставался и с которой свыкся всей душой. Для облегчения этого перехода из "детской" в "свет", от обстановки семейной к жизни одиночной, а в особенности для успокоения матери, которая не могла представить себе, как буду я в мои годы при моем характере существовать без ее непосредственного попечения, отец мой счел нужным на первое время, до производства моего в офицеры, пристроить меня к чужой семье, на попечение человека, специально занимающегося подготовлением юношей к поступлению на службу или в военно-учебные заведения. По рекомендации полковника Майкова, отец мой обратился к полковнику гвардейской конной артиллерии Якову Федоровичу Ортенбергу — человеку семейному, преподавателю артиллерии в Михайловском артиллерийском училище и некоторых других заведениях. Ортенберг взялся за условную плату, по 250 рублей в месяц, приготовить меня к офицерскому экзамену с доставлением помещения и продовольствия.

14 марта, еще до отъезда отца из Петербурга, я переселился из гостиницы "Лондон" к полковнику Ортенбергу на Гагаринскую набережную, в дом Таля. Яков Федорович, человек еще молодой (между 30 и 40 годами) был женат на бывшей красавице и моднице, Екатерине Алексеевне Горяиновой, сестре Алексея Алексеевича Горяинова, одного из московских знакомых моей семьи. С ним жила и старушка мать Якова Федоровича, которую молодые супруги держали несколько в черном теле, предоставляя на ее заботы кухонную часть. Квартира их занимала весь второй этаж дома на набережною*; две комнаты, имевшие отдельный вход с общей лестницы, были назначены для молодых людей, частью помещавшихся на жительстве, частью приходивших только на уроки. В то время, как я поступил к полковнику Ортенбергу, у него жил только один юнкер гвардейской конной артиллерии, князь Голицын, с которым и поместились мы вдвоем в одной из комнат, выходившей на двор; в другой же, окнами на набережную, мы обедали и занимались учением вместе с юнкерами, приходившими на уроки в известные часы. Таких юношей было четверо: юнкера гвардейской артиллерии Голохвастов, Либау, Закревский и Ридигер.

Товарищ мой по комнате был юноша красивый, статный, но разбитной кутила, часто возвращавшийся домой поздно ночью, во всех отношениях противоположного со мной направления. Из приходивших юнкеров пришелся

*Так в тексте (*прим. публ.*).

мне более по сердцу Голохвастов, благовоспитанный и занимавшийся лучше остальных трех, малоспособных и неразвитых. Либау был типичный немчик, довольно комичной наружности, а Ридигер — маленький уродец, признававшийся чистосердечно, что ничего не понимает в математике.

Новая обстановка моей жизни с первого же дня крайне мне не понравилась. Помещение наше было над банями; столом нашим распоряжалась старушка, мать Якова Федоровича, и кормила нас плохо; самого Якова Федоровича видели мы редко: он был занят все утро преподаванием в учебных заведениях, а вечера проводил в клубе за карточной игрой. Уроков мне он вовсе не давал и ограничивал свои заботы о предстоявшем мне экзамене только доставлением программ испытания и указанием учебных руководств. Прочим моим товарищам он также давал уроки только изредка; большей же частью приходили к ним другие учителя; но занятия их шли так плохо, что некоторые из этих юношей прибегали к моей помощи для объяснения им непонятного на уроках. Бедный Ридигер пришел в совершенное отчаяние, так что я сжалился над ним и взялся приготовить его по математике к экзамену, установленному для производства в офицеры армии. Для этого я должен был составить собственно для него особые записки по алгебре в самом упрощенном изложении. Впоследствии отец этого юноши приезжал благодарить меня за оказанную ему товарищескую услугу.

20 марта в первый раз облекся я в военную форму и явился во 2-ю батарейную роту, куда я был зачислен. Командиром ее был полковник Штаден, хороший человек, дельный начальник, обходившийся с подчиненными по-человечески, без обычных в те времена грубостей и суровости. Полковник передал меня на ближайшее попечение фельдфебеля Семенова — старого служаки, с внушительной наружностью, державшего роту в ежовых рукавицах. Семенов благосклонно принял меня под свою опеку; озаботился прежде всего приведением в безукоризненный порядок моей обмундировки и амуниции; занялся вразумлением меня относительно обязанностей моих, обращения с начальством, с офицерством, порядка отдания чести, даже походки и военной осанки; одним словом, он был для меня тем, что "дядька" для новобранца. Что же касается строевого обучения, то все юнкера бригады состояли в этом отношении под общим руководством капитана Иеронима Михайловича Симборского — типичного фронтовика тех времен. Ежедневно юнкера собирались в утренние часы в казармы (на Литейной) на уроки стойки, маршировки, приемов при орудиях и приемов с тесаками (тогдашним ручным оружием пеших артиллеристов). Непосредственно обучал нас один фейерверкер, под надзором капитана Симборского, который относился к своим ученикам строго и сухо. Тогдашнее фронтовое обучение было дело нешуточное: чего стоила одна маршировка "тихим учебным шагом", в три приема по команде (т.е. по голосу обучавшего, протяжно возглашавшего: раз — два —

*Великий Князь
Михаил Павлович*

три!). Сколько приходилось биться с приемами при орудиях, по темпам, "по команде" и "без команды". Кроме утренних учений юнкера несли службу на дежурстве по роте и по конюшне и назначались в состав караула во дворец Великого Князя Михаила Павловича.

Все эти занятия с первого же приступа произвели на меня весьма неприятное впечатление. Пошлые приемы тогдашнего строевого обучения, преобладание внешнего, педантичного формализма над смыслом и сущностью военного дела, натянутость и жестокость в личных отношениях между военнослужащими — все это шло совершенно вразрез с прежними моими понятиями, привычками, занятиями. И в самом деле, нелегок был крутой переход от семейной жизни к казарме, от занятий научных к рекрутской школе. Нужно было время, чтобы свыкнуться с этой новой обстановкой, даже с новой одеждой, которую нельзя было в то время признать удобной и практичной. Голову ломил громадный жесткий кивер с металлической чешуей на щеках,

"кутасами", огромным медным гербом и высоким султаном, торчавшим в виде толстой палки, в аршин длиной; высокий твердый воротник подпирал подбородок; мундир пригонялся в обтяжку, без малейшей складки, с бархатными лацканами, кургузыми фалдочками; на ногах штиблеты застегивались пуговками (в конце кожаные краги до колен стягивались ремешками в виде шнуровки). Мундир, шаровары, даже галстук, а в особенности шинель строились ротными закройщиками из толстейшего, грубейшего сукна, более похожего на войлок. Малейшее отступление от установленных форм и образцов преследовалось строго.

Припоминаю, как в первый раз в военной форме пошел я повидаться с отцом; встретив его на Невском проспекте, я остановился у дверец его кареты и вдруг увидел в нескольких шагах шедшего по тротуару Великого Князя Михаила Павловича — грозу всей гвардии, а в особенности — юнкеров. Минута была страшная для новичка; но обошлось на этот раз благополучно, и я почувствовал то же, что испытывает спасшийся от какой-нибудь грозившей опасности. Надобно заметить, что в то время строжайше запрещалось всем нижним чинам, а следовательно и юнкерам, ездить в каких-либо экипажах; для них допускалось передвижение исключительно пешеходное. Особенная заботливость начальства обращалась на точное соблюдение подчиненными их правил отдачи чести при встрече на улице со старшими, в особенности же, конечно, перед Особами Императорской фамилии. Зазевавшийся, не заметивший проходящего генерала или офицера, не успевший вовремя остановиться, повернуться отрывисто к стороне проходящего и стать "руки по швам" неминуемо отправлялся под арест. Солдат должен был при этом быстро снять шапку, одновременно с остановкой и поворотом; юнкера же не иначе выходили на улицу, как в кивере на голове и в амуниции (т.е. с тесаком на широкой ременной портупее через плечо).

Отец видел меня не более трех дней в моем новом воинском наряде. Покончив свои дела в Петербурге, он уехал 23 марта в Москву. Отъезд его окончательно оторвал меня от семьи; еще более прежнего почувствовал я свое одиночество. Только в доме Авдулиных мог я хотя несколько отводить душу и сбрасывать с себя на короткое время солдатское ярмо. У Авдулиных я всегда находил радушие и чувствовал себя, как среди родных. Но посещать их я мог лишь изредка; все время, остававшееся от строевого учения и обязанностей службы, я должен был употреблять на приготовление к офицерскому экзамену. Для этого мало извлек я пользы из пройденного в университетском пансионе комичного курса военных наук; нужно было работать усидчиво, заучивая объемистый курс артиллерии Весселя, учебник полевой фортификации Половцева, старые руководства Бусмара и Эльснера по долговременной фортификации и прочее. Требовалось также черчение, артиллерийское и топографическое, которыми я упражнялся в виде отдыха

от книжных занятий. Что касается до других предметов и экзаменов, то я был уже настолько подготовлен, что мне достаточно было только перед самым сроком испытания прорепетировать давно пройденное.

Большой для меня отрадой были известия из Москвы. Частые письма родителей и брата Николая поддерживали тесную связь с семьей. Отец, после возвращения своего в Москву, почти в каждом письме ободрял меня, внушал терпение, твердость в перенесении мелких неприятностей жизни. "Сознание исполненного долга, — писал он 3 апреля, — доставляет нам удовлетворение и придает твердость даже в невзгодах..." В другом письме выражал он мысль, что "терпение и надежда — два друга человеку..." В этом отношении ставил он себя самого в пример: все тяжелые обстоятельства жизни переносил он безропотно и не падал духом. В одном письме он сравнивал жизнь с путешествием: "теперь ты едешь на долгих по пустынным местам, где нет и постоялых дворов; позже начнется путешествие по местам населенным с некоторыми удобствами; но и тут не одно приятное будет встречаться, а чаще скучное. Только со временем приедешь в свой дом, устроенный, как Бог велит, где можешь отдохнуть; но это еще не близко; путь твой только что начался"[43]. По поводу моих сетований на пошлость фронтовых занятий отец (хотя и не служивший никогда в военной службе), объяснял мне необходимость этих элементарных, машинальных занятий, как изучение азбуки и складов для того, кто хочет читать и писать. Не раз отец сообщал мне, какое утешение доставляли ему и матери доходившие до них сведения о том, что начальники мои отзываются обо мне с похвалами и относятся ко мне благосклонно.

Что касается матери, то она вполне примирилась с моим поступлением на службу и даже радовалась счастливому началу моего поприща. Она не переставала заботиться о моих материальных потребностях: хлопотала о снабжении меня бельем и другими вещами, нужными на предстоявшее лагерное время; скорбела о том, что не имела возможности доставлять мне денежные средства, в которых сама часто терпела недостаток; но по этому поводу в одном из своих задушевных писем она писала: "Лишь бы совесть была спокойна, да были бы истинные друзья, а бедность и нужда — еще не несчастье. Главное — не иметь упрека себе самому, и тогда все неудачи не тягостны..." Ввиду предстоявшего выхода в лагерь родители мои сочли дать мне надежную прислугу и для этого прислали ко мне одного из титовских крепостных, служившего в доме с самого детства нашего. Он прибыл ко мне в конце апреля с целым грузом собранных матерью разных вещей для моего лагерного хозяйства. Приехавшего ко мне человека, Федора, встретил я с большой радостью; лицо его напоминало мне дорогую семью, дом, мое детство.

От брата Николая письма приходили не так часто, как от родителей, но были для меня дороги и интересны. Мы с ним провели неразлучно все детство и так свыклись друг с другом, что разлука в первое время наводила грусть и

на него и на меня. Чувства эти ко мне высказывал он в своих письмах и вместе с тем, по прежней привычке, поверял мне все свои задушевные мысли, юношеские стремления; иногда же развивал целые теории своих литературных воззрений. В это время он был весь поглощен драматургией: часто посещал театры, сам участвовал в домашних спектаклях, сочинял пьесы. На Рождественских праздниках (1832—1833 гг.) в университетском пансионе разыгрывалась сочиненная им драма "Амалат-бек", переделанная из повести Марлинского (Ал<ександра> Бестужева). Начальство пансиона поощряло этого рода развлечения воспитанников; в письмах же матери, напротив того, высказывались сетования на то, что "Николаша из-за театра пренебрегает учением", что "теряет время на пустяки и не слушает благоразумных советов"; что "театр совсем вскружил ему голову" и т.д... В этом году брату Николаю приходилось перейти в последний, 8-й класс*. Несмотря на свою страсть к театру и склонность к светской жизни, он, благодаря своим врожденным способностям, все-таки выдержал успешно переводной экзамен и даже приготовил несколько сочинений на русском и французском языках, в том числе — девять сочинений за своих товарищей. Помимо этих классных работ, он испытывал свои силы в разнообразных родах литературы: писал стихи, повести, излагал свои воззрения на теорию драматических произведений и затевал написать новую драму "Манфред". Рассуждения по этому предмету в его письмах показывали немалую его начитанность и самостоятельность мысли, конечно, в той мере, насколько то и другое возможно в юношеском возрасте.

Что касается до другого брата моего, Владимира, которому в то время было 7 лет, то во всех письмах матери повторялось, что он постоянно доставлял ей утешение своим характером и успехами в учении. Бывшего при нем гувернера, молодого балтийского немца Липпе, пришлось удалить из дома, и потому мальчик оставался некоторое время исключительно на попечении страстно любившей его матери; но одна из двух воспитанниц бабушки Киселевой, Анна Алексеевна Бакарева, взялась бескорыстно, из одной преданности к моей матери, давать уроки брату Владимиру и проводила с ним большую часть дня; она отзывалась с большими похвалами о прилежании, способностях и успехах своего ученика, отличавшегося притом благонравием и мягким характером.

---

15 мая гвардейская артиллерия переместилась из петербургских казарм в Красное Село для занятий практической стрельбой. В первый раз пришлось мне совершить "поход" в строевом составе батареи. 30-верстный этот переход

* В то время уже введено было преобразование университетского пансиона в "Дворянский институт", в составе 8-ми классов.

показался мне, с непривычки, довольно утомительным; но с другой стороны, он был для меня интересной новинкой после скучных строевых учений в петербургских казармах и однообразной, замкнутой жизни у полковника Ортенберга. В Красном Селе поместили меня в одной избе с товарищем моим Голохвастовым; вдвоем устроили мы наше общее хозяйство, с помощью моего расторопного Федора, который был у нас и дворецким и поваром. Несмотря на весьма неприхотливую нашу обстановку, при скудных денежных средствах*, нам жилось гораздо лучше, чем на хлебах у почтенного Якова Федоровича. Строевые занятия также интересовали меня, особенно практическая стрельба в мишени. С самодовольствием входил я в свою роль "орудийного фейерверкера".

В Красном Селе навестили меня раза два петербургские приятели С.А.Авдулин и Н.А.Бибиков. В конце мая отпросился я на один день в Петербург, чтобы повидаться с дядей Сергеем Дмитриевичем Киселевым, который собрался за границу лечиться в Карлсбаде. В те времена удобнейшим способом поездки за границу считался морской путь на пароходе из Петербурга в Любек. Впоследствии я узнал, что путешествие это обошлось для дяди не совсем удачно: по случаю бури пароход сильно пострадал и едва дошел до Травемюнде. Минута свидания с дядей доставила мне истинную отраду; он был всегда со мной весьма любезен и ласков.

Не меньшее удовольствие доставило мне вслед за тем и посещение приехавшего также из Москвы Порфирия Павловича Коробьина, который привез мне от матери письмо и 100 рублей денег. Это был истинный друг нашей семьи; каждый день непременно он проводил часть вечера у моих родителей.

В Красном Селе я прожил ровно месяц; служба была не слишком обременительна; я успевал уделять некоторое время на учебные мои занятия. 15 же июня всем войскам гвардии назначено было выступать со своих квартир на маневры, предшествовавшие обыкновенно вступлению в лагерь. Наша артиллерия также выступила из Красного Села на сборные пункты отрядов. Маневр продолжался только один день, и к вечеру все войска вступили в лагерь, в том числе и пешая артиллерия. Для меня этот день богат был новыми впечатлениями; тут впервые увидел я разные рода войск в поле, и получил некоторое наглядное понятие о тактических действиях. После крайне утомительного дня крепко заснул я на соломе в простой солдатской палатке.

С этого времени начались ежедневные учения, смотры, маневры. Наша 2-я батарейная батарея занимала в большом лагере место рядом с 3-й батарейной (лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады), в промежутке между двумя пехотными дивизиями (1-й и 2-й), то есть между полками лейб-гвардии Егерским и Московским. Служба лагерная была тогда не легкая, особенно

---

*В письме от 28 мая мать радовалась, что "мое маленькое хозяйство идет хорошо и притом, невероятно, как дешево".

для юноши еще неокрепшего и непривычного, в пешей артиллерии фейерверкерам тогда не полагалось быть верхом, а, между тем, требовалась большая быстрота в передвижениях; поэтому приходилось орудийной прислуге большей частью двигаться бегом, с ранцем на спине, в тяжелом кивере на голове и бившем по икрам тесаком. На учениях, так называемых "линейных", и даже на маневрах соблюдались и педантичные правила: равнение, стройность, как на плац-параде. Редкое учение или смотр обходились без бури, без "распеканий", арестов и даже розог для солдат. К смотрам Государя и Великого Князя Михаила Павловича готовились, как на страшный суд; все храброе воинство, от простого рядового до высшего начальника, находилось постоянно в напряженном состоянии духа, ожидая день и ночь со страхом и трепетом грозы. Малейшее отступление от формальностей устава лагерной службы в лагерных караулах, при лагерном разводе, церковном параде, на "заре с церемонией" и т.д. могло иметь печальные последствия для офицера, для начальника, даже для целой части войска. Каждый должен был держать ухо востро, потому что высшие начальники, начиная от самого Великого Князя Михаила Павловича, считали своей обязанностью "ловить" подчиненных неожиданным появлением там, где наименее можно было ожидать их. Исправность лагерной службы проверял сам Государь, приезжая в лагерь внезапно, в ночное время и поднимая войска по "тревоге".

Несмотря на все эти строгие и тяжелые требования, лагерная служба далеко не возбуждала во мне того отвращения, какое испытывал я при казарменных занятиях, под ферулою капитана Симборского. Правда, что во все почти время лагеря я должен был прервать свои учебные занятия для экзамена; но рассчитывая наверстать пропущенное время впоследствии, я обратил все свои старания к тому, чтобы всегда быть исправным на службе и не подвергнуться ни малейшему упреку в отправлении своих строевых обязанностей. В ночь "тревоги" я был в числе первых, выскочивших из палатки, и находился уже при своем орудии в тот момент, когда Государь, сев верхом у своей ставки, проезжал перед нашей батареей. К счастью, здоровье мое хорошо выдерживало все испытания. Ближайшие начальники благоволили ко мне; к великому моему удовольствию, одобрительные отзывы обо мне доходили до моих родителей и доставляли им большое утешение. В это время полковник Майков не был уже командиром нашей бригады: он только что женился и оставил строевую службу, а на место его назначен был полковник Григорий Федорович Козлянинов, произведенный вслед за тем в генерал-майоры. Новый командир бригады, вероятно, вследствие рекомендации своего предшественника, обошелся со мной весьма благосклонно.

С 18 июля начались большие маневры в окрестностях Гатчины и на речке Пудости. В продолжение шести дней батарее только раз пришлось ночевать под крышей — в Гатчинских казармах; все прочие ночи провели мы на

биваках. Я был единственный юнкер в батарее и часто чувствовал неудобство одинокого своего положения. 23 числа маневры закончились общим сражением под Красным Селом. По возвращении в лагерь и после нескольких дней отдыха происходил на "военном поле" заключительный акт лагерного сбора — общий парад, а 30 числа все войска возвратились на свои зимние квартиры.

Пользуясь данным войскам отдыхом, я поселился на некоторое время, по приглашению Авдулиных, на даче их в Новой Деревне. Большая, прекрасная эта дача находилась на берегу Большой Невки, против Елагина острова, рядом с Новодеревенской церковью. Некогда вся Новая Деревня принадлежала Яковлеву, а потому тут имели свои дачи, кроме Авдулиных, и родственные с ними семейства: Манзе, Шишмаревы и другие. В семье Авдулиных я отдохнул в полной мере физически и нравственно. Юнкерское мое звание не позволяло мне искать никаких развлечений общественных; я проводил время исключительно в семейном кругу моих любезных хозяев и потому имел полную возможность возобновить прерванные в лагере учебные занятия для экзамена. Мне крайне не хотелось возвратиться на житье к Я.Ф.Ортенбергу; да и нерасчетливо было тратить довольно крупную сумму за каждый месяц пребывания моего у него, тогда как я убедился на опыте, что с гораздо меньшими средствами можно было устроить свое собственное маленькое хозяйство. В приготовлении же к офицерскому экзамену, как я уже говорил, полковник Ортенберг никакого участия не принимал и никакой помощи от него я не ожидал. Во время пребывания моего на даче у Авдулиных я начал уже приискивать по близости артиллерийских казарм скромную квартиру и предполагал переселиться в нее прямо с дачи. Однако ж отец советовал не торопиться с исполнением этого намерения и до сдачи предстоявшего экзамена не покидать полковника Ортенберга. Согласно с отцовской волей, я переселился 19 августа опять к Я.Ф.Ортенбергу с тем, чтобы прожить у него до истечения условленного 6-месячного срока юнкерства (из которого срока в действительности пришлось мне прожить ровно половину — три месяца).

Означенный 6-месячный срок истекал 1 сентября, и тогда я подал начальнику рапорт о допущении меня к офицерскому экзамену. По заведенному порядку, нужно было предварительно получить аттестацию от начальства в надлежащем строевом образовании, а для этого следовало пройти через целый ряд смотров и испытаний, гораздо более пугавших меня, чем экзамен из наук в Военно-ученом комитете. После представления начальникам всех степеней в восходящей последовательности, от батарейного командира до начальника гвардейской артиллерии, наконец предстал я 19 сентября перед грозным нашим корпусным командиром и генерал-фельдцейхмейстером Великим Князем Михаилом Павловичем. Представление это (так же, как и первое, 17 февраля) происходило в так называемой "штыковой комнате",

находившейся перед входом в манеж Михайловского дворца. Здесь Его Высочество принимал ежедневно ординарцев и вообще нижних чинов, представляемых ему по разным случаям на смотр. Великий Князь строгим, испытующим взглядом пронизал меня с головы до ног, справа и слева — и благосклонно разрешил допустить меня к экзамену.

Экзамен этот был назначен в Военно-ученом комитете на 5 октября; но еще до этого, 21 сентября, расстался я с полковником Ортенбергом и водворился в собственной квартире, близ Сергиевской улицы (в Косом Дементьевском переулке, в доме Слатвинского). Небольшой двухэтажный дом стоял одиноко среди дворика за каменной стеной; квартирка моя, во втором этаже, состояла всего из двух маленьких комнат, с тремя окнами в обеих, и прихожей, которая была вместе с тем и кухней. С помощью распорядительного моего Федора устроилось маленькое мое хозяйство самым скромным образом. На первое время обед приносили мне из ближайшего русского трактира за 15 коп. в день. Я должен был всячески уменьшать свои расходы, зная, в каких стесненных обстоятельствах находились мои родители. Меня только озабочивали предстоявшие неизбежные расходы на офицерское обмундирование и приобретение строевой верховой лошади.

5 октября предстал я пред ученое судилище, состоявшее из трех старых артиллерийских генералов: Эйлера, Зварыкина* и Эб<ер>гардта. Экзамен был довольно снисходительный и окончился в одно утро. Испытывали меня в математике, начальной механике, артиллерии, фортификации; относительно же черчения удовольствовались представленным мною чертежом полевой пушки и топографическим планом, скопированным мною ad hoc** с детской моей съемки села Титова. Результат испытания оказался вполне благоприятный; Военно-ученый комитет постановил заключение одобрительное; но тем еще не окончились мытарства: пришлось еще раз явиться на смотр Великому Князю Михаилу Павловичу, и после того еще в течение целого месяца представление о моем производстве в офицеры переходило через разные инстанции, так что приказ вышел только 8 ноября, в день именин Великого Князя Михаила Павловича.

Известия об успешном моем экзамене, а затем о производстве в офицеры, разумеется, произвели большую радость в моей семье. Не только родители, братья, но и все близкие родственники приняли теплое участие в моем успехе; от всех получил я поздравления и разные приношения для моего офицерского снаряжения. Сверх присланной отцом небольшой суммы, мне открыт

* Правильно: Зварковского (*прим. публ.*).
** сверх этого (*пер. с лат.*).

был кредит для займа недостававших денежных средств у нашего родственника Секретарева. Таким образом, мне удалось обзавестись всем необходимым на первое время моего офицерства, за исключением лишь верховой лошади, которую отец обещал прислать мне из уцелевших еще остатков его конского завода.

14 ноября облекся я первый раз в офицерскую форму и представился в ней Великому Князю Михаилу Павловичу. С производством в офицеры я был первоначально зачислен в 1-ю легкую батарею, под начальство полковника графа Толстого; но вслед за тем на меня было возложено обучение нижних чинов в фейерверкерской школе гвардейской артиллерии арифметике и элементарным сведениям по артиллерии. Школа эта, имевшая назначение приготовлять рядовых в фейерверкеры, помещалась в так называемых Аракчеевских казармах за Таврическим садом, в одной из глухих окраин города. Каждый день приходилось мне отправляться туда пешком рано утром и возвращаться домой часу в пятом пополудни. Устройство школы и заведенные в ней порядки были крайне несимпатичны; учение велось машинально, как го-

Иван Онуфриевич Сухозанет

вориться, в долбежку. Бедные солдаты, полуграмотные, малоразвитые, заучивали ответы на вопросы по тетрадкам. Такой образ занятий мог притупить и самих учителей. Пробыв в школе часов восемь в день, я возвращался утомленный и, кое-как пообедав в одиночестве, во весь вечер уже не выходил из дома.

Таким образом, невесело проводил я первое время моего офицерства; я не пользовался ни удовольствиями столичной жизни (для чего не имел и средств), ни развлечениями в кружке товарищей и приятелей и даже редко мог посещать гостеприимный дом Авдулиных. Тем менее мог я следовать советам отца, который во всех своих письмах убеждал меня в необходимости поддерживать знакомства и связи, чаще посещать некоторые дома и в том числе указывал на генерала Сухозанета (Ивана Онуфриевича), бывшего прежде начальником гвардейской артиллерии, и удостоившего меня своим вниманием, конечно, в угоду дяди моему, Павлу Дмитриевичу Киселеву. Сухозанет был женат на княжне Белосельской, жил на широкую ногу, вел большую игру, а по средам давал великолепные балы, на которые стекалось самое блестящее общество петербургское. Отец мой желал, чтобы я не уклонялся от приглашений генерала Сухозанета; но мне было вовсе не до того как по моей природной застенчивости и непривычке к большому свету, так и по скудным моим средствам, заставлявшим меня вести самую скромную жизнь, отказывая себе даже во многом необходимом. Назначение меня в фейерверкерскую школу еще более оправдывало мой затворнический образ жизни.

Зато я находил в этой жизни удовольствие, более соответствовавшее моим склонностям и привычкам; я принялся снова за научные занятия, стараясь пополнить свои знания в математике, механике, физике, артиллерии и т.д. Между прочим, заинтересовали меня вышедшие в это время в Москве два курса физики профессоров Перевощикова и Павлова, о которых взялся я написать разбор для журнала "Сын Отечества". Как искренний почитатель бывшего моего учителя, я выставил в своей статье преимущества позитивизма Перевощикова перед метафизикой Павлова. У первого наука излагалась на точном основании опытов и вычислений; у второго — вся книга состояла почти из одних отвлеченных, туманных гипотез. В этом отношении моя статья вполне совпала с мнением, высказанным отцом моим в одном из его писем ко мне: что физика Павлова "есть поэзия, а не учебник и не ученая книга". Статья моя, как потом я узнал, доставила Дмитрию Матвеевичу Перевощикову большое удовольствие, а я был искренне рад тому, что представился случай хотя в малой степени отплатить своему бывшему учителю за ту пользу, которую принесло мне в юности его преподавание.

После упомянутой работы принялся я за изучение геодезии и топографии с намерением составить по этой части руководство взамен прежнего моего ребяческого опыта о съемке планов. К великой радости моей, перед Рождеством я был освобожден от скучных обязанностей в фейерверкерской школе

и с этого времени нес уже исключительно службу строевую: присутствовал по утрам в казармах на одиночном учении своего взвода, отбывал дежурства по бригаде, ходил в караул во дворец Великого Князя Михаила Павловича. Служба эта хотя и была мало назидательна, по крайней мере, уже не поглощала ежедневно всего моего существования, как до сих пор занятия в школе. Я имел возможность, продолжая свои научные занятия дома, уделять время и приятельскому кружку и посещению небольшого числа знакомых. Зачастую проводил вечера или обедал у Авдулиных; иногда же собиралась небольшая группа молодежи в моей крошечной квартире. По воскресеньям навещал я свою маленькую сестру в институте.

Строевая служба с самого начала как-то мне не повезла*. В первый же наряд в караул дело не обошлось благополучно: Великий Князь Михаил Павлович, под окнами которого находилась платформа караула, вздумал произвести испытание твердости моих знаний в строевой мудрости. Утром, в обычный час своей прогулки, он намеренно стал ходить взад и вперед мимо караула то за решеткой, то войдя во двор, то опять выходя и останавливаясь в воротах, так что вызванному на платформу караулу приходилось попеременно то отдавать честь обнаженным тесаком ("на-караул"), то брать "на плечо", то вкладывать тесаки в ножны, — и при каждом разе следовало командовать то "глаза-на-право", то "глаза-на-лево" и т. д. и т. д. Совершенно смутившись и растерявшись перед таким неожиданным и утонченным испытанием моей находчивости, я в две-три минуты наделал целый ряд промахов. Великий Князь насчитал их до десяти и потому присудил в наказание мне отбыть не в очередь десять караулов сряду, так что мне пришлось почти целый месяц ходить в караул через день. Это было в полной мере наказание телесное.

В другой раз, опять в карауле в Михайловском дворце, досталось мне от коменданта Мартынова. Генерал этот, прославленный бесчисленными анекдотами насчет его простоты, приехав по обыкновению утром к Великому Князю с дневным рапортом и увидев, что часовой на платформе имел на ногах "кеньги" (войлочные) в такое время, когда на дворе была оттепель и везде капало с крыш, грозно обратился ко мне: "Это что? Сколько теперь градусов мороза?" На мой ответ, что в карауле нет термометра, приговорил меня к аресту на гауптвахте. Я просидел ровно сутки на "Петровской гауптвахте" (при здании Сената).

Несколько позже со мной случилась неприятность: на одном смотру 1-й легкой батареи в пешем строю генералу Сумарокову вздумалось приказать мне назвать по именам всех солдат моего взвода. По недавнему вступлению в должность взводного командира, я не мог исполнить это приказание, и за то был лишен на некоторое время командованием взводом.

*Так в тексте (*прим. публ.*).

Михайловский дворец. Начало XIX в.

Приведенные случаи в те времена бывали так часто в быту молодых офицеров, что им и не придавалось серьезного значения. Ко мне начальство продолжало относиться весьма благосклонно. Командир батареи полковник граф Толстой (брат Ав<дотьи> Дми<триевны> Лачиновой, о которой уже упоминалось) обращался вообще с офицерами весьма любезно и ко мне благоволил; бригадный генерал-майор Козлянинов и сам начальник артиллерии генерал-адъютант Сумароков также показывали мне внимание. Несмотря на то, я все более укреплялся в своем намерении искать при первой возможности пути в Генеральный Штаб.

В первое время офицерства заветной моей мечтой было — съездить в Москву для свидания с матерью; но мечта эта не могла осуществиться в первый же год; даже и отец советовал не пробовать просить отпуска, тем более, что сам предполагал вскоре приехать в Петербург по своим делам. В течение минувшего лета он был часто в разъездах по служебным поручениям московского военного генерал-губернатора. Частые отсутствия его и заботы по собственным делам усиливали грусть моей матери, которая вела жизнь совершенно уединенную и почти не выходила из дома. В летнее время ближайшие родные почти все разъехались: бабушка П.П.Киселева с теткой моей Александрой Дмитриевной проводили большую часть лета в тверской деревне у Полторацких; дядя Сергей Дмитриевич Киселев, как уже сказано, был на водах в Карлсбаде, откуда возвратился только в конце августа; жена его Елизавета Николаевна с детьми жила в деревне у своих родителей Ушаковых. Болезнь моей матери беспокоила отца; врачи присоветовали ей пить минеральные воды; но ранние поездки в заведение минеральных вод (устроенное во дворце Великого Князя Михаила Павловича, у Крымского брода) слишком утомляли ее, тем более, что воды эти были тогда модным местом сбора фешьонабельного общества московского. Сам Великий Князь и Великая Княгиня Елена Павловна пользовались водами и присутствием своим привлекали москвичей. Ранние ежедневные прогулки по залам дворца, среди многочисленной светской публики, были совсем не по сердцу моей матери, и скоро она прекратила эти поездки.

От брата Николая я продолжал получать длинные письма, в которых он сообщал мне свои юношеские размышления о литературе и свои предположения о задуманных новых литературных работах. Несмотря на эти занятия, на его страсть к театру и на общественные развлечения, он успешно выдержал переводной экзамен в последний (8-й) класс и с началом нового учебного курса, в сентябре, писал мне, что в восхищении от уроков профессора Перевощикова по математике, которой прежде брат занимался очень неохотно, находя науку слишком сухой. Теперь же, наоборот, занявшись с увлечением математикой, он считал напрасной потерей времени уроки по другим предметам (Цветаева, Каченовского, Щуровского, заменившего Максимовича). В

свободное от учения время он заканчивал свою драму "Манфред" и приготовлял к публичному акту французскую речь и русские стихи.

Учебные занятия брата Владимира, доставлявшие столько удовольствия матери, были временно прерваны вследствие каких-то недоразумений с Анной Алексеевной Бакаревой. Только в конце года удалось найти гувернера-француза, уже пожилого, и с малолетним сыном, почти ровесником моего брата; а позже приглашен был в дом еще молодой гимназист, чтобы давать уроки русского языка и истории.

В начале октября наш родственный круг был опечален смертью родной тетки моей матери княгини Веры Петровны Грузинской, дорогой старушки, любимой во всей семье. Из сыновей ее князь Николай Яковлевич Грузинский переселился в Петербург, где получил место начальника казенного стеклянного завода. В старом доме князей Грузинских на Пресне остались только два брата: Яков и Сергей Яковлевичи.

В начале декабря отец мой в последний раз посетил свое село Титово. Уже несколько лет не получалось с имения никаких доходов; они обращались сполна на уплату банковского долга; но и для того оказывались недостаточными. Долг, вместо погашения, с каждым годом все возрастал. Отец убедился, наконец (к сожалению, слишком поздно), что без свободного капитала нет возможности поддерживать фабрики и заводы; а без этого доходы с имения не могли покрывать долгов. В первый раз решился он откровенно высказать мне свое безвыходное положение в письме от 17 декабря 1833 года. "Удерживая за собой Титово, — писал он, — я все больше и больше разоряюсь, а в случае моей смерти оставляю детям только долги и хлопоты"[44]. Он скорбел о том, что "доведен обстоятельствами до невозможности удовлетворить всех своих кредиторов, а потому желаю лучше остаться без имения, нежели без чести и с нареканием".

Решившись окончательно развязаться с имением, отец приехал на Рождество в Петербург и остановился в моей тесной квартире, вероятно, не составив себе предварительно точного понятия о размерах ее. Матери очень желалось также приехать повидаться со мной и с дочерью; но к большому ее огорчению, ни состояние здоровья, ни денежные средства не позволили предпринять такую поездку.

Отец мой оставался в Петербурге до марта; по-прежнему много хлопотал по своим делам и большую часть был в разъездах. Во время его пребывания я должен был, в угоду ему, возобновить посещение некоторых домов, где давно уже не бывал, и завести многие новые знакомства. В это же время начал приглашать меня к обеду генерал Сухозанет. Первоначально я не понимал, с какой целью был он так любезен со мной; но потом оказалось, что он почему-то задумал завербовать меня в офицерские классы Артиллерийского училища, состоявшего под главным его начальством. Он стал меня убеждать

в том, что много выиграю в мнении начальства, если, будучи уже офицером гвардейской артиллерии, все-таки покажу желание усовершенствовать и дополнить специальные познания. Иван Онуфриевич Сухозанет принадлежал к разряду тех людей, которые не делают ничего без какого-либо расчета или, как говорят — задней мысли. Думал ли он, что добровольное поступление офицера гвардейской артиллерии в офицерские классы училища может поднять престиж этого учреждения, или была какая иная цель — не знаю; но как бы то ни было, я решительно уклонился от его обольщений, объявив прямо о своем намерении по истечении установленного двухлетнего срока офицерской службы в строю поступить в Военную академию[45], состоявшую также под его начальством.

Отец мой, по возвращении в Москву (13 марта), немедленно же отправил ко мне, с молодым кучером, приготовленную им верховую лошадь, вороную, с седлом и сбруей. К крайнему нашему огорчению, лошадь оказалась испорченной в дороге, благодаря оплошности проводника и слишком поспешному ходу в самую распутицу. К тому же, еще до прибытия лошади, я был переведен во 2-ю батарейную батарею (в которой служил юнкером), и потому нужна была лошадь гнедая. С пособием от отца, частью от тетки Елизаветы Михайловны Милютиной мне удалось приобрести порядочную лошадь, так что я был обеспечен в этом отношении к предстоящему "майскому" параду на Марсовом поле (Царицыном Лугу), первому, в котором мне пришлось участвовать в строю верхом. Вслед за тем, в половине мая артиллерия выступила в Красное Село. Но тут меня постигла новая беда: и вторая лошадь захромала; я должен был большую часть лета выезжать в строй на казенной лошади, данной мне по доброте батарейного командира.

Незадолго до выступления артиллерии в Красное Село, 8 мая, прибыл в Петербург мой дядя Павел Дмитриевич Киселев. Давно уже домогался он освобождения от управления княжествами Валахии и Молдавии; но его не отпускали до окончательного устройства управления в них на новых началах и до назначения в оба княжества господарей. Звания эти были наконец возложены на Александра Гику — в Валахии и на Михаила Стурдзу — в Молдавии. После официального прощания с валахскими властями и жителями, 8 января 1834 года, бывший полномочный председатель Диванов выехал из Бухареста в Яссы, где оставался еще около трех месяцев. Оттуда выехал он 11 апреля, торжественно провожаемый властями и народом; останавливался в Одессе и Тульчине и прибыл Белорусским трактом в Петербург. Как слышно было, Государь принял П.Д.Киселева чрезвычайно милостиво.

Спустя несколько дней по приезде дяди решился я к нему явиться, но попал весьма неудачно, в час общего большого приема. Он принял меня второпях, стоя и, ограничиваясь несколькими вопросами, отпустил довольно сухо. Первое это знакомство произвело на меня не очень приятное впечатление; я вышел от него с

намерением не повторять посещений к нему без особого приглашения. Со своей же стороны, как я вскоре узнал, Павел Дмитриевич тогда же писал моей матери, что видел меня, что я произвел на него выгодное впечатление и что начальники мои отзываются обо мне с похвалами. После первого свидания, находясь все лето в Красном Селе и лагере, я уже и не имел случая бывать у дяди, а потом, в сентябре месяце, он сам уехал в свите Государя в Москву, где пробыл 11 дней, сопровождал Его Величество в Орел, на маневры и затем оставался до конца февраля следующего года на юге в имениях жены для устройства обоюдных дел, так как с 1829 года они уже не жили вместе.

Лагерное время в 1834 году провел я уже совсем иначе, чем прошлогоднее. Не приходилось уже выносить такого физического утомления, как в жалкой доле юнкера; среди приятного товарищеского кружка жилось хорошо. Хозяйство велось у нас артелями. В продолжение первого месяца, т.е. во время "практической стрельбы", 2-я батарейная батарея стояла не в самом Красном Селе, а в окрестностях его, в двух чухонских деревушках: Варекселове и Перекюле, на Кавелахстских высотах (под самой горой Дудергофской). Спокойствие и тишина этой стоянки только раз были нарушены несчастным случаем с одним рядовым нашей батареи, который имел глупость разбивать о камень найденную им где-то снаряженную гранату. Случилось это в огороде, на виду из окна моей избы, во время нашей трапезы. Услышав и увидев взрыв, мы немедленно кинулись на место происшествия и нашли несчастного солдата еще живым с оторванными ногами и кистями рук. К прискорбию, такие случаи повторялись нередко: несмотря на все принимаемые меры, и солдаты и крестьяне подвергались явной опасности для того только, чтобы добыть ничтожное количество пороха.

По заведенному порядку, после практической стрельбы артиллерия перешла в лагерь вместе с пехотой; началась обычная серия смотров, учений, разводов, церковных парадов. Вся установленная программа лагерных занятий была выполнена без малейшего отступления, с включением, конечно, и парадной "зори" и "тревоги" и, кончая большими маневрами, продолжавшимися дней шесть. Во все продолжение лагерного сбора я побывал в Петербурге только два раза и то по нескольку часов. На отлучки офицеров из лагеря начальство смотрело тогда неодобрительно; имена приезжавших в Петербург прописывались на заставах и ежедневно представлялись Великому Князю Михаилу Павловичу. Отлучавшиеся без позволения из лагеря прибегали к разным уловкам и подлогам, чтобы не попасть в список на заставе.

По окончании лагерного периода и в этом году я прожил несколько недель в Новой Деревне, на даче у Авдулиных, и провел это время очень приятно. С молодой приятельской компанией участвовал я в поездке в Кронштадт — любопытной и поучительной для москвича, не видавшего море. 30 августа происходило торжественное открытие Александровской колонны.

К этому торжеству прибыла депутация от прусской армии, состоявшая из ветеранов 1813 и 1814 годов и во главе ее — второй сын прусского Короля Принц Вильгельм (будущий регент, потом Король Прусский и, наконец Император Германский). Обычный крестный ход в Александро-Невскую лавру и богослужение в лавре совершены были на этот раз ранее обыкновенного; Император с огромной и блестящей свитой проехал из Зимнего дворца в лавру и обратно, а в 11 часов утра началось само торжество открытия памятника, воздвигнутого Императору Александру I. На обширных площадях, Дворцовой, Адмиралтейской, Петровской, в окрестных улицах, на набережных — везде густо стояли войска Гвардейского и Гренадерского корпусов. Всего было в строю 86 батальонов, 106 эскадронов с 248 орудиями. Погода, после разразившейся накануне страшной бури с ливнем, вдруг прояснилась и сделалась превосходной, даже слишком жаркой. Очевидцы, находившиеся на самой площади перед Зимним дворцом, рассказывали, что церемония, сопровождавшая открытие памятника, была великолепна и трогательна. Нашей артиллерии пришлось стоять далеко оттуда, на набережных и содействовать эффекту торжества гулом выстрелов из всех орудий совместно с артиллерией Петропавловской крепости и стоявших на Неве военных судов. В заключение же мы прошли за пехотой церемониальным маршем мимо колонны.

В исходе августа я имел опять радость видеться с отцом; он приехал в Петербург только на несколько дней по тем же делам, которые так давно его заботили. Остановился он по-прежнему в моей тесной квартирке. В начале сентября он возвратился в Москву, но в исходе того же месяца опять приехал в Петербург уже на более продолжительное время. Грустно было бедной матери так часто оставаться в одиночестве и так долго не видеть меня. Еще летом предполагала она приехать в Петербург с нашим добрым родственником Секретаревым, который приезжал в июле месяце по делам винного откупа; но должна была отказаться от этого намерения и утешилась надеждой вскоре увидеть меня в Москве. В каждом письме своем выражала она нетерпеливое желание, чтобы я, по истечении годичного срока офицерства, взял продолжительный отпуск.

Письма матери по-прежнему были крайне грустны. В одном из них (в сентябре) она писала: "Обстоятельства наши так тягостны, что с трудом перебиваемся". В другом, писанном в отсутствии отца (в декабре), она выразилась еще сильнее: "Все дни мои проходят или в хлопотах, или в слезах"[46]. Вела она жизнь совершенно уединенную; почти никуда не выезжала. Минеральные воды, которыми она пользовалась уже второе лето, не принесли заметной пользы ее здоровью.

В числе постоянных и самых близких сердцу забот страдалицы-матери было воспитание детей. Из троих, остававшихся дома сыновей, более всех теперь беспокоил ее младший — Борис, которому минуло уже четыре года, а

между тем, он все еще не говорил ни слова; опасались, что он будет нем. Во всех письмах матери выражалась скорбь о том, что ребенок не развивается соответственно возрасту. Зато большое утешение доставлял матери Владимир — 8-летний красивый мальчик, способный, прилежный, благонравный. К сожалению, приходилось часто менять его гувернеров и учителей*. В конце 1834 года поступил к нему наставником один чиновник Казенной палаты, Ходкевич — человек, не готовившийся вовсе в педагоги, но скромный и нравственный, надзор которого мог, по крайней мере, облегчить заботы больной матери.

Что касается брата Николая, то родители не очень полагались на успешное окончание им курса в пансионе (или институте) и желали, чтобы он по примеру некоторых других товарищей, остался на год в последнем (8-м) классе для получения прав на выпуск с высшим чином. Он и сам не торопился расстаться со школьной скамьей, хотя и выдержал экзамен удовлетворительно. Но по какому-то недоразумению, изъявление желания его остаться на второй год запоздало и не попало в общее представление. Быть может, произошло это отчасти и по недоброжелательству начальства пансиона к моему брату за случавшиеся с ним по временам вспышки раздражения и строптивости. Оказалось нужным обратиться с особым прошением прямо в Министерство народного просвещения, и пока решение вопроса оставалось под сомнением, брат сообщал мне разные планы свои: то помышлял о военной службе, именно в артиллерии; то, согласно желанию отца, предполагал довершить свое образование в университете, но колебался в выборе факультета. Наиболее соответствующим его наклонностям находил он "словесный" факультет; но не чувствовал расположения к древним языкам. А в факультете физико-математическом (который тогда не подразделялся на два отделения) пугали его науки естественные. Наконец, факультет юридический (по тогдашнему "нравственно-политический") мало привлекал его, так как он "не готовил себя в юристы".

В ожидании решения своей участи брат продолжал занятия литературные, проводя часть лета в Останкине у дяди Сергея Дмитриевича Киселева. Он много читал, и чтение его было самое разнообразное, "не исключая и романов Поль-де-Кока", как он сам писал мне, с оговоркою, что "очень любит их за их простоту и наивность". В конце августа пришло решение министра: брат оставлен на второй год в 8-м классе; и с открытием учебного курса стал снова посещать уроки в пансионе.

Раннее и своеобразное развитие моего брата Николая в умственном и нравственном отношениях стоит проследить хотя бы только по его юношеским письмам[47]. Я уже говорил о настроении его в прошлом году, когда ему было всего 15 лет. В начале 1834 года он опять пишет о большой перемене,

* Занимавшаяся им одно время Анна Алексеевна Бакарева в это лето вышла замуж за А.С.Мельникова, честного, скромного чиновника.

которая произошла в его мыслях, чувствах и характере. В апреле, сообщая мне о своих литературных занятиях, признается, что любит более писать в стихах, чем в прозе; а в мае присылает мне на просмотр целую тетрадь стихотворений под заглавием "Думы" и при этом делает приписку, что, если письмо его покажется мне странным, то происходит это от того, что он "находится в меланхолическом и самом раздражительном состоянии"*. Сделанные мной замечания на некоторые из его стихотворений он сам признает справедливыми; но горячо восстал против проскользнувшего в моем письме неуважительного мнения вообще о стихотворной форме поэзии. На четырех мелко исписанных страницах он страстно защищал силу поэтического вдохновения, легко преодолевающего путы метрики и рифмы. Он ссылался на собственный свой опыт, на испытанные им нередко мгновения поэтического настроения, переносящего его в другой невидимый мир**. В то время он искал вдохновения в истории, в легендах и летописях. Продолжая с любовью работать над своей драмой "Манфред", он писал мне в августе 1834 года, что это будет труд обширный, "роман драматический в стихах"; что для основательного изучения духа и нравов той эпохи он читает в подлиннике старинные легенды, писанные на провансальском наречии, и рассказы Маливуара, озаглавленные "Cy commencent quatre belles chroniques récitées par C.Malivoir le jongleur"... etc.***. Брат прислал мне еще одно свое стихотворение под названием "Камоэнс", выразившись при этом, что "это маленькое сочиненьице есть минутный плод вдохновения, и ничего более".

Прежнюю свою драму "Амалат-бек" он переделывал несколько раз для постановки ее на сцене Московского театра по указаниям дирекции и некоторых актеров, которым он предварительно давал прочесть это юношеское произведение (Мочалов, Ленский, Львова-Синецкая, Репина). Из этих известных артистов более всех принял участие Ленский, который, по словам брата Николая, "указал откровенно все недостатки драмы, между тем, как другие только хвалили безусловно". Но эти неоднократные переделки и разные хлопоты с дирекцией надоели, наконец, юному автору. "Если нужно будет, — писал он, — еще делать какие-нибудь переделки, то я совсем откажусь от пьесы и уничтожу ее, подобно прочим". Несколько спустя (2 сентября) он писал по этому же предмету: "Ты помнишь, что советовал старый Гораций всем авторам: он уверял, что всякое сочинение должно быть отложено без чтения на десять лет. Добрый человек ошибся в расчете: для меня слишком много и двух недель, да и всякое авторское терпение лопнет при роковом слове — десять лет. Итак, не послушав Горация, я стал перечитывать своего

* Письмо от 7 мая.

** Письмо от 17 июня 1834 г.

*** "Здесь начинаются четыре занимательные хроники, рассказанные С.Маливуаром, жонглером" (*пер. с фр.*).

Амалат-бека через две недели и нашел в нем пропасть недостатков, которых не замечал прежде". Прочитав снова свою пьесу, автор вдруг заметил, что он в этом произведении сам нарушил собственную свою теорию драмы. Такое сознание, как он выразился, "взяло верх над суетным желанием видеть какую-нибудь свою пьесу на сцене"; он предпочел "выступить не иначе, как с таким трудом, которым сам был бы совершенно доволен и который удовлетворял бы всем правилам, мною уже самим признаваемым"[48]. Вследствие таких размышлений он решился отказаться от заманчивой мечты увидеть свою пьесу на сцене и взял ее назад.

Страсть брата к театру так увлекла его, что даже в самое горячее время экзаменов он не пропускал сколько-нибудь интересного спектакля. Он писал мне о представлениях приезжавшего из Петербурга Каратыгина, которыми волновалась вся Москва в продолжение нескольких недель. В зиму с 1834-го на 1835 год в пансионе (институте) опять устроились спектакли из воспитанников; между прочим, разыгрывались сцены из "Торквато Тасса" Нестора Кукольника в присутствии самого автора, с которым брат мой (исполнявший роль самого Тасса) рад был познакомиться как со знаменитостью того времени. Брат сознавался, что устройство этих театральных представлений отвлекало его от учебных занятий, а вместе с тем, причиняло ему много хлопот, забот и даже вовлекало в денежные траты. Упрекая сам себя в излишнем увлечении, он, однако ж, высказывал, что "эти хлопоты по театру доставляют ему нравственное удовлетворение, дают пищу его душевным движениям и хоть чем-нибудь отсвечивают его однообразную жизнь". "Я понимаю чувство игрока, беспрестанно проигрывающего и не оставляющего игры, которую он любит и проклинает".

Почти всю зиму с 1834 на 1835 год, так же, как и предшествовавшую, отец мой прожил со мной в Петербурге, и я опять, в угождение ему, должен был вести светскую жизнь, разъезжать по знакомым, часто бывать на балах, участвовать в танцах, хотя все это нимало не доставляло мне удовольствия и даже тяготило меня. Притом, этот образ жизни сопряжен был с материальными затруднениями; необходимо было мне по-прежнему строго соразмерять свои издержки со скудными финансовыми средствами*. Разорительные прихоти "золотой молодежи" петербургского большого света вовсе и не согласовались с моими вкусами и наклонностями. Вовлеченный временно и почти против воли в омут мнимых удовольствий петербургского зимнего сезона, я чувствовал какую-то пустоту в голове и рад был, когда мог

* Весь бюджет мой за 1834 год составлял всего 3 тысячи рублей ассигнациями, т.е. около 850 рублей серебром, со включением всех единовременных расходов и при всех испытанных неудачах с верховыми лошадьми.

отвести душу в своем дружеском или товарищеском кругу. Как и прежде, я часто посещал Авдулиных, где чувствовал себя как дома.

Офицерское общество в нашей бригаде могло похвалиться дружеским товариществом. Из старших офицеров-дивизионеров более всех пользовался любовью молодежи добродушный капитан Николай Герасимович Попов (дослуживший впоследствии до чина полного генерала); другой капитан, Петр Петрович Корнилов, оживлял товарищеский кружок своим юмором и шутками. Напротив того, Симборский, о котором я уже упоминал, был несимпатичен и не сближался с молодыми офицерами. Бригадный штаб составляли: адъютант-поручик Алопеус и казначей Палицын; оба были любезные и услужливые товарищи. Из молодых офицеров, командовавших взводами, сошелся ближе я с Александром Алексеевичем Баранцовым, с Андреем Ивановичем Чарыковым, с князем Рудольфом Кантакузеном. Большим счастьем для меня было — найти в своих товарищах хороших, верных и честных друзей. В маленьком кругу офицеров нашей бригады меня баловали как младшего, еще очень юного и во многих отношениях весьма наивного. Но вместе с тем, почему-то считали меня "ученым" даже в среде товарищей, прошедших офицерские классы Артиллерийского училища и, следовательно, имевших гораздо более права на такую репутацию.

По-видимому, таков же был взгляд и самого начальства*. В первый же год офицерства на меня возлагались поручения, требовавшие некоторых специальных сведений. Так, на меня выпал выбор генерала Сумарокова для разработки занимавшего его лично вопроса о "регулировании снарядов". Дело это заключалось в следующем: в то время возникла мысль, что для большей верности артиллерийского выстрела с тогдашним сферическим снарядом следует давать ему такое положение в дуле орудия, чтобы он вылетал своим центром тяжести вперед. С этой целью придумывались разные способы для определения центра тяжести снарядов, особенно гранат и бомб, и для отметки на поверхности их той точки, которая должна быть головной при изготовлении зарядов. Изыскания и опыты в этом смысле продолжались большую часть 1834 года и в начале следующего; но не привели ни к какому практическому результату и были оставлены без последствий.

В половине января 1835 года получил я давно желанный отпуск на 2 1/2 месяца и отправился (в дилижансе) в свою родимую Москву. Трудно выразить те чувства, которые испытал я при въезде в Белокаменную после двух лет разлуки со всем, что было мне близко к сердцу. Каждая улица, каждый дом, как будто живые свидетели, говорили мне о детстве и юности моих, как будто приветствовали мое возвращение восвояси. Не говорю уже о

* В исходе 1834 года наш бригадный командир генерал-майор Козлянинов получил новое назначение — начальником артиллерии на Кавказе; место его занял полковник Стахович — чистокровный хохол.

радости моей дорогой матери, о горячих объятиях, которыми она встретила меня; об удовольствии братьев и всех домочадцев. В первые дни я был в каком-то чаду, в опьянении счастья. Вся многочисленная родня, масса приятелей и близких знакомых спешили взглянуть на своего прежнего "Митеньку" в наряде гвардейского офицера; осыпали меня ласками, любезностями.

Немало времени потребовалось мне, чтобы объехать всех родных и знакомых. Все утра проходили в этих разъездах, благодаря чрезмерным расстояниям. По вечерам же почти каждый день приходилось быть на балах, даже иногда на двух в один вечер. Тогда Москва еще жила на широкую ногу; зимний сезон был непрерывным рядом пиров и веселий; а приезжих из Петербурга, особенно гвардейских офицеров, как говориться, носили на руках. Светская эта жизнь и бесчисленные обязанности родственных отношений отрывали меня от дома более, чем я желал, и лишали возможности более времени оставаться с матерью, так дорожившею моим присутствием в Москве. Проведенные там два месяца с половиной пролетели незаметно.

27 марта, с стесненным сердцем, простился я с родителями и домашними и выехал из Москвы. Это было время самой распутицы: ехал я то в санях, то в телеге и, как ни торопился, доехал до Петербурга только на четвертые сутки, 30 марта. В письме моем к родителям от 1 апреля высказывалось, как различны были ощущения мои при въезде в Москву за 2 $^{1}/_{2}$ месяца ранее, и теперь, при въезде в Петербург, наводивший на меня угрюмое настроение. К Москве же, напротив того, питал я родственную нежность и в письме своем выражал сердечную признательность за все ласки, оказанные мне в продолжение моего там пребывания.

На другой день по приезде в Петербург явился я к начальству и к дяде Павлу Дмитриевичу Киселеву, который в конце февраля возвратился с юга России. На этот раз он обошелся со мной гораздо ласковее, чем в первое мое посещение, и счел нужным сделать мне денежный подарок, — что было для меня весьма неприятно, так как я вовсе не желал, чтобы моим посещениям приписывалось какое-нибудь корыстное побуждение. По этому поводу получил я от матери упрек в неуместной щекотливости, потому, во-первых, что Павел Дмитриевич Киселев — не чужой мне человек, а во-вторых, что он уже привык к тому, что не гнушались его подарками и пособиями даже лица чиновные и знатные.

Первой заботой для меня в Петербурге было опять обеспечить себя на лето верховой лошадью. Лишь перед самым выступлением артиллерии в Красное Село удалось мне достать годного для службы коня, сбыв в то же время за бесценок обе прежние лошади, остававшиеся у меня почти целый год на корму без употребления. Между тем, наступила пора заняться вопросом о предположенном мной поступлении в Военную академию. Установленный двухлетний срок предварительной строевой службы истекал в ноябре, и к тому времени нужно

было приготовиться. Познакомившись с некоторыми из офицеров первого (теоретического) класса Академии, я достал от них учебные программы, получил все нужные справки и по их указаниям нашел возможным приготовиться прямо к переводному экзамену из теоретического класса в практический, то есть сократить пребывание в Академии на целый год. Поручики Гвардейского Московского полка Ник<олай> Гр<игорьевич> Глинка и артиллерии Ник<олай> Григ<орьевич> Богаевский оказали мне большую услугу доставлением литографированных записок, по которым они сами готовились к экзамену. С мая месяца я принялся усердно за новую работу.

По заведенному порядку, после майского парада артиллерия перешла в Красное Село и его окрестности для практической стрельбы. В этом году наша батарея занимала деревеньку Наголово. Эта уединенная и спокойная стоянка доставляла все удобства для моих учебных занятий, и в продолжение месяца, т.е. до перехода в лагерь, работа моя подвинулась значительно. Из всех учебных предметов предстоящего мне экзамена наиболее затрудняли меня строевые уставы пехоты и кавалерии, так как я должен был заучивать их книжным способом, не видав никогда строевого учения в натуре. Затем главным предметом изучения была тактика, которая проходилась вся в первый год академического курса. Прочие предметы были сравнительно не трудны, кроме разве военной истории, которой значительная половина проходилась в теоретическом классе и требовала весьма напряженной работы памяти. Что же касается курса геодезии, составлявшего камень преткновения для большинства учащихся, то я был уже настолько к нему подготовлен, что для меня он был даже не трудом, а скорее отдохновением и развлечением от массы тактических сведений, которые приходилось заучивать на память, по наукам военным.

Лагерное время несколько затормозило мои учебные занятия; зато по возвращении в город, с конца июля, я старался наверстать пропущенное время напряженной работой, оставаясь почти безвыходно дома и отказавшись даже от удовольствия приятельских сходок.

Известия из Москвы были по-прежнему неутешительны. Здоровье матери все более возбуждало опасений; уже подозревали у нее рак в груди. Затруднительное денежное положение тревожило ее нравственно; на руках ее было все хозяйство домашнее и приходилось ей "перебиваться изо дня в день, не зная что будет завтра." Беспокоило ее и то, что не имела возможности доставлять мне денежные средства, хотя я, со своей стороны, постоянно успокаивал ее в этом отношении. Бедная страдалица вела жизнь крайне грустную. Отец мой был редко дома, большую часть дня проводил в хлопотах по делам своим и служебным. По поручению военного генерал-губернатора он

занят был в это время устройством архива в одной из кремлевских башен (Никольской). В июне отец получил наконец давно обещанное место советника и управляющего делами в Комиссии по постройке храма Христа Спасителя с жалованием в 3 тысячи рублей (конечно, ассигнационных) и с казенной квартирой в доме, находившимся близ самого места постройки храма (на Пречистенке). Это было первое, сколько-нибудь благоприятное обстоятельство, которое облегчило тяжелое материальное положение семьи, хотя все-таки далеко не обеспечивало ее в средствах жизни.

Главный фасад храма Христа Спасителя
Рисунок К.Тона. 1832 г.

В новую должность отец вступил в начале августа; перемещение же на казенную квартиру замедлилось необходимыми в ней ремонтными работами, так что родители мои переселились только 4 ноября. Прожив на Пресне около восьми лет, они оставили не без грусти прежнее свое гнездо, несмотря на все вынесенные в нем невзгоды. Новое жилье было наряднее прежнего, но менее удобно для домашней жизни.

Между тем бесконечное дело по имению продолжало своим чередом переходить через разные фазы из одной инстанции в другую. Имение было уже запродано с публичного торга и осталось за некоим Евдокимовым; но отец начал хлопотать о том, чтобы продажа эта не была утверждена и чтобы имение было предоставлено некоторым из крупных кредиторов, с которыми он вошел в особое соглашение. Кроме того, возник новый процесс по тому поводу, что покупщик Евдокимов предъявил свои права на некоторые "души" и земли (пустоши), не включенные в опись, по которой производился публичный торг. Не помещено было в эту опись 17 дворовых людей, которых отец мой желал удержать в доме; большей частью это были старые слуги с их семействами. Покупщик же доказывал свои права на все, принадлежавшее к отцовскому имению, хотя бы и не включенное почему-либо в опись; требовал к себе означенных людей и даже позволял себе отбирать их насильственно.

В таком положении дело дошло в мае 1835 года до Сената, и опять отец обратился к помощи П.Д.Киселева, который объяснялся по этому делу с министром юстиции Дашковым. Несмотря на данное этим последним заключение в благоприятном смысле, в общем собрании Сената произошло разногласие, и дело перешло в Государственный Совет. Присутствие отца моего в Петербурге снова становилось необходимым; но обязанности его по службе, а еще более совершенное безденежье не позволили на этот раз предпринять новую поездку. Он ограничился присылкою объяснительных по делу записок некоторым из влиятельных членов Государственного Совета.

Каждое получаемое мной письмо от матери выражало заботливость ее о моих братьях. Младший из них, Борис, остававшийся до того времени почти немым, вдруг заговорил; даже начал учиться азбуке. Обучением его занялась молодая девушка, дочь недавно умершей приятельницы матери моей, Алексеевой; она уже давала уроки английского языка брату Владимиру. Что же касается до брата Николая, то для него наступила критическая пора последних выпускных экзаменов. Он готовился к ним старательно, писал сочинения и за себя и за некоторых товарищей, помогал преподавателям в составлении вопросных билетов. Экзамены окончились в половине июня совершенно успешно; по собственному сознанию брата, — лучше даже, чем он сам ожидал, и несмотря на то, он все-таки не был удостоен при выпуске высшей награды, а получил только 12-й класс. Этой явной несправедливостью завершилось постоянное на него гонение со стороны инспектора классов Запольского.

Сам отец, всегда относившийся строго к учебным занятиям брата Николая и лично следивший за испытаниями, признавал несправедливость решения пансионского начальства и даже вошел по этому предмету в переписку с помощником попечителя Д.П.Голохвастовым. В письме от 15 июня брат высказывал, что даже товарищи его сначала не верили такому несправедливому решению. В особенности огорчало его и возбуждало в нем негодование то, что при этом случае обнаружились неблаговидные происки некоторых из товарищей, и тех именно, которых он преимущественно считал своими друзьями. "Скажу тебе откровенно, — писал он в том же письме, — что с самого отъезда твоего всякий день я получал новые неприятности во всех родах. Все неудачи, какие только могли быть в моем положении, были испытаны мной... Теперь я уверился, что такой будет вся жизнь моя, и, признаюсь, в последнее время перестал дорожить ею"[49].

Такое пессимистическое настроение 17-летнего юноши, к счастью, было только кратковременным впечатлением; оно нисколько не соответствовало его характеру и направлению. Скоро позабыл он испытанную неудачу и претерпенную несправедливость. В письме от 13 июля он уже пишет мне, что, сделавшись совершенно свободным и еще не остановившись ни на каком решении насчет своей будущей дороги, он проводил время в чтении и размышлении; что после долгих колебаний вознамерился заняться историей средних веков, при чем высказывал мнение о неосновательности обычного разделения всеобщей истории на три части: древнюю, среднюю и новую. По его взгляду, следовало бы отделять только новый мир от древнего, так как "средние века" составляют начало, зародыш современной цивилизации. Подробно развив эту тему, он заканчивал так: "Вот, почему я менее занимаюсь изучением древнего мира, что он не наш, и стараюсь узнать средние века, на которые смотрю, как на младенчество наших*, как на колыбель нашей истории, как на основание всего современного"[50].

Однако ж, намерение заняться историей, по-видимому, не осуществилось. Месяцем позже получил я от брата длинное послание, начавшееся в стихах на 2 $^1/_2$ страницах; затем объяснял он в прозе, что скучает своим бездействием и, читая много всякой всячины, находит в том мало проку. "Беспрестанно более и более убеждаюсь, — писал он, — как мало я еще приобрел познаний и как много остается мне получить. Я слишком нетерпеливо желаю узнать еще более и потому почти бросаюсь на все новые предметы, представляющиеся моим глазам"[51]. Питая горячее желание посвятить себя литературе, он считал себя недостаточно подготовленным для такой деятельности и потому признавал нужным еще многому учиться, даже русской грамматике. Он принимался за все разом и сам был недоволен таким образом занятий, "оставлявшим в голове полный хаос".

*Так в тексте (*прим публ.*).

В подобные моменты молодого, даровитого человека случайное какое-нибудь обстоятельство, влияние какой-нибудь личности могут дать толчок в ту или другую сторону, определить более или менее удачно все будущее его направление. Такого удачного толчка не доставало моему брату для выбора определенной дороги. Родители сетовали на его беспечность относительно выбора рода службы и упрекали его в том, что теряет время в праздности. "Боюсь, чтобы не кончилось московской службой и чтобы не остался московским франтом", — писала мать в исходе июля. Родители осуждали также его страсть к театру. Им было неприятно, что в это лето брат Николай согласился принять участие в домашнем спектакле у Пашковых, в Петровском парке, в кругу едва знакомых, и притом в роли Митрофанушки в комедии Фонвизина "Недоросль". Как кажется, он не имел успеха в этой роли и сам досадовал на себя, что поддался обольщению.

Относительно выбора рода службы появлялась у брата по временам наклонность к военному поприщу. В ответе на одно мое письмо, в котором, по видимому, я коснулся невыгодных сторон военной службы, он упрекнул мне, что я "смотрю на эту службу сквозь тусклое стекло" и, сравнивая оба рода службы, признал полное преимущество военной, в которой находил он "привлекательную, поэтическую сторону", тогда как в работе канцелярской, по его словам, "нет ровно ничего для ума и воображения". Мысли свои в таком смысле развивал он довольно обширно и в заключение указывал на ту выгоду военной службы, что она открывает путь и к разнообразным высшим должностям. Впрочем, сам он оговаривался, что все эти размышления не имели никакого применения практического к личному вопросу о собственных его планах; относительно же выбора пути для своей службы он просил у меня советов и указаний.

В одном из писем своих в августе месяце (от 22 числа) после длинных излияний касательно своего образа жизни, настроения и предположений брат писал: "В письмах к тебе я исповедуюсь как бы пред самим собой; вспоминаю все, что думал и чувствовал в последнее время, открываю всю душу своему брату, который, может быть, один поймет меня в подобном разговоре". Он выражал сильное желание лично переговорить со мной. "Если б можно было, — писал он, — то я пошел бы пешком в Петербург, чтобы только поговорить с тобой хоть одну неделю, хоть один день..."[52]. Еще ранее сами родители помышляли о том, чтобы отправить брата в Петербург "погостить" у меня* с тем, чтобы "он сам пригляделся к разным родам службы и мог сознательно сделать выбор"**. Но предположение это признавалось несбыточным, за неимением денежных средств. Отец уже склонялся к определению брата Николая в канцелярию московского генерал-губернатора. В письме матери от 6 августа

* Письмо матери от 20 июля.

** Письмо отца от 14 июля.

упоминалось: "Николай, кажется, начинает склоняться к штатской службе..."[53]. Но брат, со своей стороны, писал мне, что предполагаемая для него служба представлялась ему мало привлекательной. "Я должен похоронить всю свою будущность", — писал он, скорбя вместе с тем, что лишается надежды на поездку в Петербург.

Однако ж, поездка эта осуществилась вскоре совершенно неожиданно как для брата, так и для родителей.

Для поступления в старший класс Военной Академии мне пришлось работать очень усидчиво, с крайним напряжением усилий памяти и внимательности. Отец мой еще в письме от 12 августа предостерегал меня от чрезмерного утомления, могущего иметь вредное влияние на здоровье. Затем вторично высказывал он свои опасения в письме от 30 августа, когда узнал о намерении моем поступить прямо в старший класс Академии. Предостережения эти не были напрасны: я заболел сильнейшей горячкой (тифом), так что лежал несколько дней совершенно в бессознательном состоянии. Лечил меня бригадный наш лекарь, Псешмыцкий — врач опытный и человек хороший, уважаемый в кругу офицеров. В помощь ему приезжал доктор Персон — домашний врач Авдулиных, которые приняли в моей болезни самое теплое участие.

Родители мои получили первые известия о моей болезни около 10 сентября через возвратившегося из Петербурга кондуктора дилижанса, бывшего нашего крепостного человека. Сначала они не придали особенного значения этому известию; но неделю спустя отец получил более определенные сведения от нашего друга, Авдулина, и хотел было сам ехать в Петербург; но в то время ему не было возможности отлучиться из Москвы даже на самое короткое время. Скрыв от матери полученные тревожные сведения, он решился неотлагательно снарядить в путь брата Николая. Денежные средства на эту поездку предложил дядя, Сергей Дмитриевич Киселев, и 20 сентября брат выехал из Москвы, не подозревая, что найдет меня в опасном, почти безнадежном состоянии.

Но вскоре по приезде его произошел в болезни моей благоприятный кризис. Придя, наконец, в сознание и увидев возле себя брата, я был, ко́нечно, крайне удивлен и обрадован. Он привез мне письмо матери, которая выражала удивление свое, что более трех недель не было известий от меня; пользуясь отъездом брата, она прислала мне несколько денег (250 рублей ассигнациями) и серебряный стакан, за который, по ее расчету, можно было выручить еще сотню рублей. Лишь только я в состоянии был держать карандаш, поспешил набросать на бумагу дрожащей рукой несколько слов для успокоения родителей. Таким образом, моя мать тогда только узнала, какую выдержал я болезнь, когда опасность уже миновала. Она писала мне потом, что никакие

препятствия не удержали бы ее от поездки в Петербург, если б она прежде знала всю правду. Родители в последующих своих письмах убеждали меня не приниматься снова за усиленные занятия, дабы не подвергнуться рецидиву болезни.

Глубоко я был тронут тем сердечным участием, которое было мне оказано во время болезни не только близкими приятелями и товарищами, но даже многими лицами, совсем чужими. Но меня крайне огорчало и тревожило то, что под влиянием этой злополучной болезни из моей памяти улетучилось почти все, что было добыто таким усиленным трудом для предстоявшего экзамена. Приходилось работать заново, вторично приготовляться к экзамену, а, между тем, врачи и друзья не позволяли мне скоро приняться за дело. Болезнь оставила на мне глубокие следы: я страшно исхудал, должен был обрить себе голову и довольно долго оправлялся, не выходя из дома.

Однако ж, раз что я снова принялся за свои тетради и книги, все, что казалось невозвратно изглаженным из памяти, начало быстро и живо восстанавливаться, подобно тому, как на фотографической пластинке невидимое сначала изображение проявляется вдруг с полной отчетливостью. Довольно было одного месяца работы для повторения всего пройденного. Начальство Академии, во внимание к моей болезни, согласилось несколько отсрочить мой экзамен и предоставило мне держать его отдельно, уже по окончании общих испытаний и начала лекций.

В последние дни октября и в начале ноября я последовательно сдал сперва вступительный экзамен, а потом переводной (из младшего в старший класс) и по всем предметам испытания получил аттестацию, вполне одобрительную. Вслед за тем начал я посещать лекции, хотя формальное зачисление в Академию последовало только 7 декабря. С этого только дня навесил я себе аксельбант, служивший тогда отличительным внешним знаком офицеров, перешедших в практическое отделение Академии. Знак этот сохранялся и по выходе из Академии в течение годичного срока, на который кончившие курс офицеры прикомандировывались к Генеральному Штабу до перевода их в этот корпус.

Брат Николай, с первых же дней пребывания в Петербурге познакомился с домом Авдулиных и был принят в этой семье с тем же радушием, которое всегда оказывалось мне. Кроме Авдулинского кружка, нашел он в Петербурге некоторых из прежних товарищей по Московскому пансиону. С его общительным характером, брату нетрудно было в короткое время расширить круг знакомства. Он начал приглядываться к петербургской жизни и наводить справки относительно выбора рода службы.

Уже в письме, привезенным мне братом, отец сообщал мне свое решение, чтобы брат Николай поступил в гражданскую службу. В том же смысле и в

письмах к нему самому отец давал советы и наставления, указывал на лиц, к которым он мог обратиться, и в особенности убеждал искать сближения с дядей П.Д.Киселевым. Было предположение о поступлении брата в Департамент внешней торговли, директором которого был известный писатель князь Петр Андреевич Вяземский, старый друг нашего дома. О военной же службе уже не было и речи.

28 октября возвратился в Петербург дядя П.Д.Киселев, проведший все лето за границей. Через несколько дней мы с братом явились к нему. Он принял нас любезно и показал участие в устройстве служебного положения брата Николая, препоручив его особому покровительству директора Хозяйственного департамента Министерства внутренних дел тайного советника Василия Ивановича Карнеева, служившего прежде под начальством П.Д.Киселева в Княжествах Дунайских управляющим его канцелярии. Карнеев, в угождение бывшему своему начальнику, немедленно определил брата Николая в свой департамент с небольшим жалованием и, приняв его под личное свое попечение, начал с первых же дней занимать его служебными делами, так что скоро мог оценить способности новобранца. Брат был вполне доволен любезным обхождением своего начальника.

Родители были, конечно, очень обрадованы столь удачным первым шагом брата Николая и в письме от 23 ноября выразили сердечную признательность П.Д.Киселеву за оказанное им покровительство. С определением брата на службу и поступлением моим в Военную Академию родители вполне успокоились насчет нас обоих.

С приездом брата и окончательным поступлением его на службу в Петербурге становилось невозможным оставаться нам вместе в прежней тесной квартире. Притом она была слишком удалена от Военной Академии. Надобно было приискать новое жилье, несколько более просторное и в более центральной части города. Брат, пользуясь своим свободным временем, усердно принялся за поиски. Один из прежних товарищей брата по Московскому пансиону, Николай Иванович Свечин, изъявил желание поселиться вместе с нами. Это был добрый и честный малый, благовоспитанный и весьма услужливый. Предложение его облегчило нам и приискание квартиры, и устройство общего хозяйства. С его же помощью, после долгих поисков, удалось нам, наконец, найти подходящее жилье — на Мойке, между Красным и Синим мостами, во флигеле дома Демидова, где тогда помещался Английский клуб. Квартира была неприхотливая, но не дорогая и удобная. Каждый из нас троих жильцов имел свою комнату, окнами на улицу (на Мойку); имелась и кухня, в которой готовилась наша скромная трапеза. Обзавелись мы всем необходимым, не выходя за рамки наших денежных средств, так что и в этом году мой бюджет остался почти в том же размере, как и в предшествовавшем.

В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ
1835 – 1836

Поступив прямо в практическое (т.е. высшее) отделение Военной Академии, я должен был работать усиленно, чтобы не отстать от своих товарищей, пробывших уже год в Академии и постепенно освоившихся со всеми ее порядками и обстановкой. Почти по всем учебным предметам, пройденным в теоретическом отделении, я приготовился к экзамену исключительно только по литографированным запискам, составленным большею частью слушателями не совсем удовлетворительно. Тогда Академия была еще очень бедна учебными пособиями: печатных руководств не существовало ни по одному предмету*; для практических занятий пользовались старыми картами и планами, на которых рельеф местности был выражен крайне неудовлетворительно.

В практическом отделении, как показывает само наименование, учащиеся офицеры заняты были преимущественно работами письменными и чертежными: тактическими, фортификационными, геодезическими и по специальной службе Генерального Штаба, также упражнениями в русском и иностранных языках. Лекции же слушались только по военной истории, стратегии, военной географии и обязанностям Генерального Штаба.

По тактике — главному учебному предмету Академии каждый офицер должен был последовательно проделать ряд задач из всех частей пройденного (в теоретическом отделении) курса, начиная с самых элементарных, до самых сложных, с различным составом войск, от одного батальона до целого корпуса. Работы эти задавались большей частью на старой топографической карте Саксонии или на русской одноверстной карте окрестностей Петербурга. Тактическими занятиями руководили: профессор тактики флигель-адъютант полковник Веймарн (Иван Федорович), занимавший должность обер-квартирмейстера Гвардейского корпуса и адъюнкт-профессор капитан Гвардейского генерального штаба[54] Фролов Илья Степанович. Полковник Веймарн считался одним из самых дельных офицеров Генерального Штаба, но вовсе не принадлежал к разряду "ученых" офицеров; все сведения по военному делу были приобретены им исключительно служебной практикой. Служа во время Турецкой войны 1828—1829 годов и после нее под начальством Павла Дм<итриеви>ча Киселева, он пользовался особенным его расположением и доверием, как офицер, примерно исправный и вполне надежный в нравственном отношении. Ив<ан> Фед<орович> Веймарн внушал уважение своим серьезным и твердым характером, прямотой и приобрел авторитетное поло-

*Только в исходе 1836 года вышли первые печатные руководства: "Геодезия" профессора Болотова и "Обозрение известнейших систем стратегии" профессора генерала барона Медема. "Тактика" профессора Веймарна вышла лишь в 1840 году.

жение как в Гвардейском корпусе, так и в Академии. Сам Император Николай Павлович благоволил к нему и ценил его военные способности, насколько могли они выказываться на гвардейских маневрах и в военной игре, которая была тогда в большом ходу в Зимнем дворце.

Совсем иного рода человек был адъюнкт Веймарна — капитан Фролов. Хотя он слыл знающим свое дело офицером Генерального Штаба и также призывался к участию в военной игре в Зимнем дворце, однако ж, не пользовался в среде товарищей ни авторитетом, ни уважением. Получив образование в Царскосельском лицее, он не был одарен ни умом, ни добрым сердцем; держал себя с какой-то напускной оригинальностью, любил говорить сентенциями, употреблять иносказательные выражения, грубоватые слова. Оригинальничанье это придавало его речам и обращению неестественность и натянутость. Молодежь относилась к нему несколько иронически.

После тактики важнейшее место в академическом курсе занимали военная история и стратегия. Как уже прежде сказано, военная история проходилась частью в теоретическом отделении, частью в практическом, где преподавалась и стратегия. Преподавателем обоих этих предметов был артиллерийский генерал-майор барон Николай Васильевич Медем; адъюнктом его был подполковник Генерального Штаба князь Николай Сергеевич Голицын. Барон Медем уже в то время был человек пожилой, с сильной глухотой и постоянным легким кашлем. При этих физических недостатках он не обладал особенным даром слова. И, несмотря на все это, лекции его были чрезвычайно занимательны. Он говорил с одушевлением, с любовью к предмету. Рассказывая какую-либо из классических кампаний Наполеона, он умел заинтересовать слушателей, осмыслить каждый факт; наводил самих слушателей на обсуждение значения его и на вывод поучительного заключения. Еще более интересовали нас лекции по стратегии, хотя надобно сказать, что под этим именем барон Медем излагал не столько теорию, сколько историю и литературу стратегии. Исходным его пунктом было, что никакая теория не может выучить искусству вести войну; что все попытки изложить такую теорию ограничивались только указанием значения или влияния на ход войны которого-либо из многих "элементов", обусловливающих успех на войне. С этой точки зрения разбирал он известные сочинения о стратегии, начиная с Лойда и Бюлова, писавших еще в прошлом столетии, и постепенно переходя к сочинениям эрцгерцога Карла, генералов Ронья, барона Жомини, Наполеона I, Деккера, Вагнера, и кончая недавно появившимся большим сочинением генерала Клаузевица (Vom Kriege), которое рассматривалось обстоятельнее все других. Лекции барона Медема по стратегии, несмотря на кажущуюся сухость предмета, несмотря на недостатки голоса и кашель лектора, до того были занимательны, можно сказать, увлекательны, что мы, слушатели, приходили иногда в восторг и с трудом удерживались от гласного выражения его. Сущность этих лекций

Барон
Генрих Жомини

была изложена бароном Медемом в особом сочинении, вышедшем в конце 1836 года, под заглавием "Обозрение известнейших систем стратегии".

Адъюнкт барона Медема князь Николай Сергеевич Голицын, получил воспитание так же, как и Фролов, в Царскосельском лицее; так же, как И.Ф.Веймарн, начал службу под начальством Павла Дмитриевича Киселева. Это был человек строгих нравов, набожный, серьезный, никогда не улыбавшийся, но добрый, сердечный. Не одаренный блестящими способностями, он возмещал их усидчивым трудолюбием и добросовестностью в ученой работе. Подполковник князь Голицын читал лекции только в теоретическом отделении.

Геодезию высшую и низшую (или топографию) преподавал полковник Алексей Павлович Болотов, воспитанник Муравьевской "Школы колонновожатых"[55], посвятивший себя исключительно математике, — человек симпатичный по своей прямоте и простоте в обращении, по любви к своей специальности. Преподавал он в теоретическом отделении; мы же, в практическом отделении, занимались под его руководством только практически геодезичес-

Густав Федорович Стефан

кими вычислениями и картографическими работами; на эти занятия назначено было два часа в неделю. Больше времени употреблялось на топографическое черчение под руководством офицера Корпуса топографов Баструева, который был исключительно мастер по части черчения и столь же мало образованный, как все почти тогдашние офицеры Корпуса топографов.

Военная география преподавалась в обоих отделениях Академии: в теоретическом — подполковник инженеров путей сообщения Михаил Александрович Языков читал обзор некоторых пограничных пространств Европейской России и Кавказа; в практическом же — подполковник Генерального Штаба Густав Федорович Стефан — обзор соседних с Россией европейских государств: Швеции, Пруссии, Австрии и Турции. Лекции обоих профессоров были весьма неудовлетворительны, скучны и бессвязны. Составленные самими профессорами и налитографированные записки составляли как бы отдельные клочки, без общей связи, без всякой системы. Стефан, как финляндец, даже плохо говорил по-русски; он славился преимущественно своим искус-

ством в топографической съемке; а потому и в лекциях его по географии преобладали топографические подробности; в летнее же время он руководил учебными работами офицеров по съемке. На лекциях подполковника Языкова не пришлось мне присутствовать; но достаточно хоть раз поговорить с ним, чтобы составить себе понятие о преподавании такого профессора.

"Обязанности офицеров Генерального Штаба" преподавал полковник Генерального Штаба Аполлос Алексеевич Иванов. Это был человек немолодой, имевший репутацию опытного офицера, знатока канцелярской работы по части Генерального Штаба. Он мог бы приносить большую пользу обучающимся офицерам, если бы ограничился практическими занятиями, письменными и чертежными; но полковник Иванов считал нужным (а может быть, и обязательным) читать нам "лекции", придать своему преподаванию научную форму; вместо того вышел какой-то бессвязный набор узаконений, форм, отрывочных правил, замечаний и т.д. К тому же, он был не мастер говорить с кафедры, тянул, повторял слова и подавал молодежи повод к насмешкам. Тем не менее, полковник Иванов пользовался некоторым авторитетом по занимаемой им в Академии должности "штаб-офицера для начальствования над обучающимися офицерами". В такой же должности состояли и подполковник Стефан и саперный полковник Василий Иванович Блау. Последний, впрочем, занимался почти исключительно литографированием и раздачей офицерам записок и других учебных пособий.

О преподавании остальных второстепенных предметов академического курса я мог бы и не упоминать, так как оно заканчивалось в теоретическом отделении. Назову только преподавателей: полковника Егора Христиановича Весселя — старого, почтенного артиллериста, издавшего объемистый учебник по своему предмету; инженер-капитана Федора Федоровича Ласковского, преподававшего фортификацию, полевую и долговременную; действительного статского советника Ивана Петровича Шульгина, читавшего историю трех последних веков, слово-в-слово по тем же запискам, по которым читал во многих других учебных заведениях (лицее, Пажеском корпусе и проч.); титулярного советника Палибина, преподававшего законоведение. Все эти предметы преподавались крайне элементарно, отрывочно и сжато. Но самым пустым и бесполезным было преподавание русской словесности профессором Никитой Ивановичем Бутырским; этот чудак, давно отживший, убивал свои часы самой разнообразной болтовней. Правда, мы практиковались в письменных работах; некоторые из подаваемых нами сочинений Бутырский разбирал в классе; но и в этом приносил он мало пользы, а только раздражал иных авторов своими неуместными шуточками и насмешками. У старика были две зрелые дочери, и потому он любил, чтобы учащиеся офицеры посещали его вечеринки; раз пришлось и мне быть в числе приглашенных. Трудно придумать что-нибудь более комичное этих вечеров.

*Граф
Алексей Андреевич
Аракчеев*

Остается еще назвать преподавателей иностранных языков: французского — m-r Cournand и немецкого — Эртеля. В часы, назначенные на этот предмет, мы кое-что писали, переводили, но успехов было мало по чрезмерной ограниченности уделяемого на это времени. Мы были так обременены занятиями по главным предметам курса, что занятиям по иностранным языкам вовсе не придавали значения. Однако ж, некоторые из моих товарищей находили время брать на дому еще уроки восточных языков.

В заключение я должен очертить наших прямых начальников: директора Академии генерал-адъютанта Ивана Онуфриевича Сухозанета и вице-директора генерал-майора Карла Павловича Ренненкампфа. Нельзя подобрать двух типов, более противоположных. Насколько Ренненкампф был добродушен и мягок, настолько же Сухозанет был крут, взыскателен, придирчив. С обучающимися офицерами первый обходился учтиво, гуманно; второй считал нужным держать их в строгой дисциплине, как будто искал

случаев, чтобы показать свою власть. Ренненкампфа мы любили и уважали, а Сухозанета — боялись и ненавидели.

В те времена господствовала в военной службе, можно сказать, система террора: только тот начальник считался исполнительным, надежным, который держал подчиненных, по тогдашнему выражению, "в ежовых рукавицах". Сухозанет был достойный ученик Аракчеева и Яшвиля: не ограничиваясь строгостью в служебных требованиях, он допекал подчиненных всякими мелочными стеснениями и готов был из-за каких-нибудь пустяков погубить всю будущность офицера. Самой неприятной и тяжелой обязанностью обучавшихся офицеров были установленные дежурства у директора: каждый день один из офицеров поочередно должен был по окончании лекций, вместо отдыха и обеда, отправляться в мундире и шарфе к генералу Сухозанету (за Аничковский мост, на Невском проспекте) и ждать в его приемной часа, когда угодно будет его высокопревосходительству потребовать к себе дежурного. Случалось, что до самого вечера не был он дома; иногда же и был дома, но умышленно заставлял дежурного офицера сидеть без дела несколько часов в приемной и по временам высматривал через щель двери — сидит ли он с подобающей месту почтительностью. Обыкновенно же он, перед своим обедом, призывал дежурного к себе в кабинет и задавал ему какой-нибудь вопрос из программы пройденного курса с тем, чтобы офицер подготовился к "докладу" на заданную тему. Отобедав, его высокопревосходительство располагался в своем кабинете на покойном диване (оттоманке), а дежурного офицера сажал перед собой на стул и приказывал ему рассказывать; сам же дремал под монотонный говор своей жертвы. Если офицер, видя своего начальника погруженным в сон, остановится, умолкнет, то грозный начальник, открыв глаза, с неудовольствием приказывает продолжать. Случалось даже, по словам некоторых из моих товарищей, что генерал Сухозанет принимал описанные "доклады", сидя в ванне. Отбыв благополучно дежурство, офицер крестился, выходя из дома начальника.

Лично мне генерал Сухозанет ни разу не причинил никакой неприятности; напротив того, обыкновенно обращался со мной, насколько мог, любезно. Этим я был обязан, может быть, отчасти родству моему с П.Д.Киселевым. Но генерал Сухозанет наводил страх и трепет на всю Академию in corpore*. Приведу один пример его начальственных приемов: однажды, в какой-то торжественный день, на большом выходе в Зимнем дворце, заметив, что некоторые из служащих и обучающихся в Академии приезжали не довольно заблаговременно, генерал Сухозанет счел нужным "проучить" нас и приказал всем отправиться прямо из дворца в Академию, где и ожидать его прибытия. Заставив всех нас, с генералом Ренненкампфом во главе, прождать несколько часов в полной форме, он прислал, наконец, адъютанта с объявле-

*в целом (*пер. с лат.*).

нием, что сегодня его высокопревосходительство не изволит приехать, и приказал собраться всем на другой день в определенный час также в полной форме. На другой день опять вся Академия прождала прибытие начальника до захождения солнца и опять напрасно; вторично было приказано собраться на следующий день; но и в этот третий раз Сухозанет не явился, а приказал просто разойтись. Академия получила достаточный урок.

Таковы были тогда нравы в военной службе. Подобные выходки самодура никого не поражали; все, не исключая старых заслуженных генералов, безропотно покорялись произволу старшего начальства. В этом только и выражалась тогдашняя военная дисциплина. Можно ли удивляться, что в позднейшие времена, когда наступили требования законности и гуманности в служебных отношениях, старики долго не могли усвоить новые взгляды и скорбели о потере прежней дисциплины.

В первый день нового 1836 года мы с братом, как разумеется, явились с поздравлением к дядюшке Павлу Дмитриевичу Киселеву и получили от него обычные подарки. Неохотно принимали мы эти подарки, чувствуя в обращении дяди какую-то натянутость и холодность, хотя он в то же время, в письмах к родным, отзывался о нас с похвалами. Так, в письме к своей матери от 24 декабря 1835 года, выражая прискорбие о неудачном исходе отцовского дела в Государственном Совете, Павел Дмитриевич писал: "Для сестры утешение должно быть в детях: ее старший сын на счету отличных офицеров и, вероятно, службой сделает свою карьеру; младший помещен выгодно, и мне будет приятно ходатайствовать о нем у его начальства"[56].

Такие отзывы дяди, не щедрого на любезность к родным, доставляли, конечно, утешение нашим родителям в незавидном их положении. Письма из Москвы, особенно от матери, были по-прежнему крайне грустны. Она вела жизнь уединенную, виделась только с немногими навещавшими ее близкими лицами*. К тому же, семья Киселевых была встревожена серьезной болезнью старушки Прасковьи Петровны, у которой сделалось воспаление в боку. Такая болезнь в преклонных летах была небезопасна, тем более, что у больной замечались признаки водяной. Однако ж, к концу января она почувствовала облегчение и вскоре совсем поправилась**.

---

* Далее в автографе зачеркнуто: (Елизавета Николаевна Киселева, Порфирий Павлович Коробьин, Деменьков) (*прим. публ.*).

** Незадолго перед этой болезнью Прасковья Петровна Киселева испытала большое огорчение, лишившись родного брата князя Александра Петр<овича> Урусова; он умер 19 октября 1835 года, оставив двух дочерей — Александру и Софью. Первая, очень красивая и симпатичная, была замужем за Ал<ексеем> Ст<епановичем> Мельгуновым.

Отец мой в это время был очень занят службой не столько по новой должности его в Комиссии построения храма Спасителя, сколько по особым поручениям московского военного генерал-губернатора. Князь Дмитрий Владимирович Голицын благоволил моему отцу, возлагал на него расследования по разным щекотливым счетам, поручал ему прием и рассмотрение подаваемых генерал-губернатору прошений и жалоб. В январе 1836 года князь Дм<итрий> Вл<адимирович> Голицын, собравшись ехать в Петербург, пожелал, чтобы там находился при нем мой отец, который с удовольствием воспользовался случаем повидаться с нами.

В продолжение двух месяцев пребывания князя Дм<итрия> В<ладимировича> Голицына в Петербурге (с половины января до половины марта), отец прожил у нас, в тесной нашей квартире. В это время дело его по имению вошло в новую фазу. Как уже упомянуто выше, в начале декабря 1835 года последовало в Государственном Совете неблагоприятное решение, несмотря на поддержку П.Д.Киселева и вопреки заключению министра юстиции. Это было для отца новым огорчением; но он так уже привык к постоянным во всю жизнь неудачам, что и теперь не упал духом; он все еще не считал дело невозвратно потерянным. В письме от 1 января 1836 года он писал мне: "Третьего дня мы были опечалены присылкою копии с решения по нашему делу; но как я уже был приготовлен к этому, и из худого вижу, что можно извлечь сколько-нибудь лучшего, то и принял это, как одно из обыкновенных событий нашего судопроизводства. Этим решением как бы утверждена фальшивость купчей, ибо предоставлено мне, доказав судом, отобрать все излишне захваченное; а как доказать это легко, то я надеюсь, что отберу людей и землю, и тем вознагражу сколько-нибудь свои потери и не дам торжествовать человеку злому"[57].

Таким образом, дело должно было начаться снова, с низшей инстанции — с Лихвинского уездного суда. Вопрос шел о 17 душах и 4 тысячах десятинах земли. Отец все еще питал надежду спасти хоть эти малые крохи от прежнего своего состояния. Между тем, противник его, Евдокимов, пользуясь своими связями и подкупом местных чиновников, выхлопотал себе постановление Калужского губернского правления о передаче спорных дворовых людей новому владельцу села Титова. На этом основании в отсутствие моего отца в Москве многие из спорных людей, живших по паспортам, и даже некоторые из находившихся в доме были забраны полицией и переданы в распоряжение Евдокимова.

Отец мой был сильно раздражен этим самоуправством своего противника, и по возвращении из Петербурга в Москву 17 марта сам начал отбирать обратно от Евдокимова некоторых из захваченных им людей; а вместе с тем подал в Сенат жалобу на распоряжение Калужского губернского правления по вопросу спорному, подлежавшему еще разбирательству суда. Отец предостерегал и меня от замыслов Евдокимова на находившегося у меня в услужении

человека Федора, состоявшего в числе 17 спорных душ. Предостережение это ни к чему не послужило. Однажды, возвратившись домой с лекции в Академии, я не нашел уже своего Федора — человека, к которому привык с детства: он был просто уведен полицейскими без моего ведома, так что мы с братом остались вдруг без прислуги и должны были приискать наемного человека. Все эти дрязги, конечно, очень были неприятны, но каково же было положение самих людей, которые не знали, в чьем владении они состоят, и которых обе тяжущиеся стороны перехватывали друг у друга, как вещь. Вот, какие бывали уродливые и возмутительные проявления варварского крепостного права, об утрате которого до сих пор сокрушаются наши консерваторы.

После двухмесячного пребывания в Петербурге московский военный генерал-губернатор уехал за границу на воды; на время отсутствия его исправление генерал-губернаторской должности в Москве возложено было на генерала графа Толстого, по желанию которого отец мой продолжал исполнять при нем прежние обязанности. Вместе с тем не прекратились и хлопоты по частному делу об имении. Теперь открылось новое неприятное обстоятельство: обер-прокурор того департамента Сената, в который поступила отцовская жалоба на Калужское губернское правление, некто Мороз (впоследствии сенатор), долго прикидывавшийся другом моих родителей, оказался завзятым поборником Евдокимова. Отец мой начал домогаться, чтобы дело его было перенесено в другой департамент Сената, о чем подавал прошение одно за другим, поручая мне или брату Николаю лично подавать эти прошения то министру юстиции, то в Комиссию прошений.

Родители мои, находясь по-прежнему в самых стесненных денежных обстоятельствах, были вместе с тем постоянно озабочены и нашим положением относительно средств к жизни. В одном письме своем (от 26 апреля) отец, выражая прискорбие о том, что не имеет возможности прислать нам сколько-нибудь денег к празднику Пасхи, писал: "Я — без гроша". В письмах матери высказывалось с недоумением, как еще могли мы изворачиваться с нашими скудными средствами. "Вы, право, удивительны насчет финансов, — писала она 1 июля 1836 года, — кажется, так мало и редко бывает присылка от нас, а ты еще находишь, что не нужно посылать, ибо вы не нуждаетесь"[58]. В действительности, можно сказать, что не нуждается тот, который умеет ограничивать свои потребности пределами имеющихся средств к удовлетворению их. Мы с братом жили очень скромно; отказывали себе во многом, но долгов не делали; скудное свое содержание от казны пополняли, зарабатывая по возможности кое-какой гонорар от редакций журналов.

На Пасху, 29 марта, при общем производстве в чины (на вакансии) по гвардии, я был произведен во второй офицерский чин — в подпоручики. Брат Николай в это время был озабочен переменой начальства: директор департамента Вас<илий> Ив<анович> Карнеев, оказывавший брату самое любез-

ное внимание и покровительство, получил новое назначение — на должность управляющего вновь учрежденным V отделением Собственной Его Величества канцелярии, под главным ведением Павла Дмитриевича Киселева[59]. Брат очень горевал об этом и помышлял о переходе, вместе с начальником своим, на службу во вновь устраивавшемся Управлении государственными имуществами. Но Карнеев отсоветовал ему просить об этом, справедливо указав на неудобство и даже невыгоды службы под прямым начальством близкого родственника. В том же смысле высказался и сам П.Д.Киселев. Отец также писал брату, что нет причины скорбеть о перемене начальника; что не следует связывать свое служебное поприще с какой-либо личностью; что, быть может, преемник прежнего начальника не будет ни в чем уступать этому последнему. Предсказание это сбылось: директором Хозяйственного департамента Министерства внутренних дел назначен был тайный советник Михаил Иванович Лекс — человек деловой и вместе с тем очень добродушный. Брата он принял чрезвычайно любезно и оказывал ему не меньше внимания, чем предместник. Вскоре брат познакомился с любезной и красивой женой М.И.Лекса и потом сделался в его семье почти домашним. Брат убедился, что не было причины скорбеть о перемене начальства.

Приезжавшие по временам в Петербург московские родственники и знакомые показывали нам теплое участие; родители наши выражали желание, чтобы и мы со своей стороны оказывали внимание и сочувствие приезжим москвичам. Так в 1836 году большую часть лета провела в Петербурге наша родственница, добрая старушка Мария Асоновна Секретарева. Но мы с братом не имели возможности уделять много времени на свидания с этими приезжими. Особенно я был слишком занят и редко куда-нибудь выходил из дома, кроме ежедневного посещения Академии.

В начале мая приехал в Петербург добрейший друг нашего дома Порф<ирий> Павл<ович> Коробьин, собравшийся за границу на воды. В конце месяца, когда он отправился на пароходе в Любек, мы с братом и Свечиным проводили его до Кронштадта, где обыкновенно путешествовавшие за границу пересаживались с речных невских пароходов на большие морские. Это пришлось в воскресенье, когда мы были свободны от служебных занятий; но в воскресные дни полагалось тогда офицерам выходить на улицу не иначе, как в мундире, и притом в летнее время в холщевых панталонах; поэтому я должен был совершать в такой неудобной форме всю поездку в Кронштадт и обратно. На беду мою, проводив Коробьина, вздумали мы возвратиться в Петербург через Стрельну, где у Свечина были хорошие знакомые и родственники Окуловы. Из Кронштадта взяли мы маленькую двухвесельную лодку, рассчитывая добраться до Стрельны на парусах в какой-нибудь час времени. Но крайне ошиблись в расчете: под вечер ветер затих, паруса бездействовали; лодочник, принужденный все время грести, выбился из сил, и проплыли мы таким об-

разом целую ночь в наших легких одеяниях. До Стрельны добрались мы едва только к рассвету, продрогнув от ночной свежести и сырости, выйдя на берег, разумеется, не хотели мы будить ночью наших знакомых и ждали с нетерпением часа, когда откроются двери какой-нибудь харчевни или лавочки, чтобы чем-нибудь согреться. Пришлось ждать долго; наконец, впустили нас в простую харчевню, где получили мы по стакану чая и затем поспешили нанять извозчика, который довез нас до Петербурга. Неудачная эта морская прогулка, в мундире и летних панталонах, не обошлась мне даром: я схватил сильную простуду и пролежал несколько недель в постели.

Вслед за тем приехал в Петербург отец нашего сожителя Свечина; он поселился у нас же в квартире. Между тем, наступило для меня время выезда из Петербурга на учебную съемку в окрестностях Ропши и Гостилиц. Почти весь июнь продолжалась подробная мензульная съемка, в масштабе 200 сажен в дюйме. Мне достался участок, ближайший к Ропше, вдоль нагорной полосы от деревни Елагиной до мызы Лапинской, которая входила уже в соседний участок моих товарищей, штабс-ротмистра Герсиванова и поручика Глинки. На все время этой съемки водворился я в маленьком домике у пастора на мызе Новой и прожил довольно удобно, в лучших отношениях с моими добрыми хозяевами. Не совсем бесследными оказались те первые опыты, которые были мной сделаны в детстве на съемке бывшего нашего села Титова. Академическая моя работа с первого же раза пошла удачно; мне даже удалось несколько помочь моему соседу Глинке, который испортил было свой планшет.

В конце июня, ко времени окончания мензульной съемки, для проверки наших работ на месте, прибыли подполковники Стефан и Болотов, а к 1 июля приказано было всем офицерам практического отделения съехаться в Гостилицы, куда приехал и наш вице-директор, генерал-майор Ренненкампф, для осмотра привезенных офицерами работ. Пока мы были в Гостилицах, 2 июля посетили меня брат Николай и Сергей Алексеевич Авдулин, приехавшие прямо с петергофского праздника. Гостям своим я очень обрадовался, не видев никого из близких в продолжение целого месяца и даже не имев во все это время известий из Москвы. Да и сам я был лишен возможности поддерживать с кем-либо переписку, находясь на ежедневной работе в глухих местах, без всяких средств сообщения.

Второй период наших практических работ состоял в "полуинструментальной" съемке, с бусолью, в масштабе 1 версты в дюйме. Участки для этой работы, конечно, были несравненно обширнее прежних, мензульных. На моем участке приходились: Ропша, Кипень, деревни Глядино, Рудомюля и прочие. По обширности участка, приходилось переносить свою квартиру попеременно из одного пункта в другой. По окончании же этой съемки снимали мы "маршруты", проезжая в телеге несколько десятков верст. Мне достался маршрут вдоль шоссе от села Вруды через Ямбург до Нарвы. В заключение же всех

наших полевых практических занятий происходило в половине августа решение тактических задач на местности, с обозначением предполагаемых частей войск посредством казаков, командируемых для этого в распоряжение академического начальства от гвардейских полков. Этот род маневров без войск производился в течение двух или трех дней на местности между Гостилицами и Ропшей, в присутствии академического начальства и профессоров тактики. На эти дни давались офицерам верховые лошади от тех же казачьих полков. Этим закончились наши полевые занятия, и к 20 августа я был уже в Петербурге.

Между тем, в конце июня, мой брат Николай заболел очень серьезно. Родители были крайне встревожены, но приехать в Петербург не имели возможности. Семья Авдулиных оказывала больному самое заботливое попечение; лечил его домашний их врач. В положении больного приняли теплое участие многие из близких знакомых; добрый Мих<аил> Ив<анович> Лекс и его жена ежедневно осведомлялись о ходе болезни. Ко времени возвращения моего в Петербург брат уже настолько поправился, что для восстановления своих сил мог переехать на дачу Авдулиных, а в конце августа начал уже снова ходить на службу.

С возвращением в Петербург после летних практических занятий принялся я усердно готовиться к экзаменам. В сентябре возвратился из-за границы П.П.Коробьин; прожив в Петербурге около двух недель, он уехал в Москву и, по приглашению моих родителей, временно поселился у них в доме, пока приискивал себе квартиру.

В том же сентябре месяце П.Д.Киселев, после объезда нескольких губерний, для личного ознакомления с положением государственных крестьян, прожил около двух недель в Москве. В продолжение этого времени, на семейном обеде у моих родителей, была речь о предстоящей мне службе по окончании курса в Военной Академии. На вопрос отца моего о том, считает ли он возможным назначение меня в число офицеров, "состоящих при военном министре и генерал-квартирмейстере" (о чем в то время я мечтал), Павел Дмитриевич высказал совершенно основательно, что мне следует начать службу офицера Генерального Штаба при войсках, а впоследствии советовал готовиться в преподаватели в Военной Академии. По возвращении же своем в Петербург он писал своему брату, Сергею Дмитриевичу: "Видел, Милютиных; здоровы и, кажется, довольны. Старший отличается успехами, мне говорили это его начальники, я тебя прошу передать сестре Елизавете Дмитриевне".

Наступили наконец экзамены. Они продолжались со 2 по 17 октября и прошли весьма для меня успешно. Почти по всем предметам преподавания был я аттестован полными баллами; в общей сумме не доставало у меня 8 бал-

Карл Павлович Ренненкампф

лов до полных 560-ти. В то время для аттестации успехов учащихся была принята в нашей Военной Академии французская система, состоявшая в том, что каждому учебному предмету, смотря по важности его, присвоен известный коэффициент, на который помножаются цифры, установленные для означения градации успехов. Так, например, по главным предметам — тактике и стратегии (с военной историей) — полное число баллов положено было 100 и 80, тогда как по иностранным языкам — только 10. Недостававшие у меня баллы распределились между тактикой (99 вместо 100), иностранными языками и строевыми уставами. Общая сумма полученных баллов была одинакова у меня и у конкурировавшего со мной поручика артиллерии Штюрмера, который по старшинству в чине и стал первым в списке выпускных офицеров, а я — вторым.

Но испытания по каждому предмету преподавания профессорами в присутствии ближайшего академического начальства считались только домашними экзаменами и не были еще последним решением нашей участи; пред-

стоял сверх того "публичный" экзамен, в присутствии самого военного министра, директора Академии и большого числа приглашенных посторонних лиц, как-то: членов Военного Совета, высших начальников и т.д. В 1836 году ожидали и Наследника Цесаревича Александра Николаевича, которому было тогда 19 лет и который сам только что заканчивал свое обучение военным наукам. Публичный экзамен, разумеется, озабочивал нас, учащихся, едва ли не больше домашних; следовало нам быть готовыми к ответу одновременно по всем предметам двухгодичного курса, и притом — ответу перед многочисленной, внушительной публикой. День экзамена ожидался с трепетным волнением; почти целый месяц приходилось сидеть, не подымая головы, над книгами и тетрадями, чтобы не дать испариться из памяти громадной массе заученных фактических подробностей. Наконец, наступил страшный суд. Он был назначен на 12 и 13 ноября; по каждому предмету учебного курса вызывалось несколько офицеров, которым раздавались билеты (вопросы) программы, по выбору Наследника Цесаревича или военного министра. К крайнему прискорбию, на мою долю достались два вопроса из самых незанимательных и сухих: по тактике — первый билет программы, о свойствах и видах пехотного строя; из военной истории — кампания Суворова в Польше в 1769 году. Смущенный неудачным выбором еще более, чем блестящей публикой, я ответил на оба вопроса так, что сам был собой недоволен, хотя высокопоставленные судьи и одобрили снисходительно мои ответы, а Наследник Цесаревич припоминал этот экзамен лет тридцать или сорок позже.

Итак, лишь 13 ноября я мог вздохнуть свободно, отдохнуть умственно и физически после целого года напряженной работы. Конференция и Совет Академии, по обсуждении результатов испытаний, признали пятерых из числа 16 окончивших курс офицеров достойными выпуска по первому разряду, т.е. с награждением за "отличные" успехи следующими чинами, а именно: поручика артиллерии Штюрмера, меня, поручиков лейб-гвардии Московского полка Глинку*, Чугуевского уланского — Рубца и Псковского кирасирского — Мицевича. Кроме того, Штюрмеру и мне за представленные сочинения присуждены серебряные медали; имена наши занесены на академическую мраморную доску.

По уставу Академии, окончившие курс офицеры имели право на 4-месячный отпуск с сохранением содержания, и затем уже являлись на службу, в качестве "причисленных к Генеральному Штабу". Родители мои, разумеется, были чрезвычайно обрадованы успешным окончанием мной экзаменов и с большим нетерпением ожидали моего увольнения в отпуск; но распоряжения

* Брата Бориса Григ<орьевича> Глинки — Маврина, бывшего потом генерал-адъютантом, членом Военного Совета.

Наследник Цесаревич Александр Николаевич

начальства и разные канцелярские формальности тянулись очень долго. Особенно наш главный начальник генерал Сухозанет умел всякое, самое простое дело тормозить своими мелочными придирками. Прошло около трех недель после публичного экзамена до приведения в исполнение решения конференции и Совета. Только 2 декабря вышел приказ об отчислении нас от Академии и причислении к Генеральному Штабу. При этом мне было назначено состоять при штабе отдельного Гвардейского корпуса, что окончательно устраивало мое служебное положение самым счастливым и блестящим образом.

Из товарищей моих по выпуску оставлены были в Петербурге, при департаменте Генерального Штаба: штабс-ротмистр Стародубовского кирасирского полка Герсеванов, поручики: артиллерии — Штюрмер, Чугуевского кирасирского полка — Рубец, С.-Петербургского уланского — Марк, лейб-гвардии Преображенского — Батюшков и гренадерского батальона — Шаховской; трое назначены на Кавказ: конной артиллерии штабс-капитан Немирович-Данченко,

поручики: лейб-гвардии Московского полка — Глинка и артиллерии — Богаевский; остальные (поручики Норденстренг, Мицевич, Зеланд, Брюмер и корнет Рогалев) прикомандированы к штабам разных армейских корпусов. Из всех моих товарищей ни с одним не сохранил я не только дружеских, но и товарищеских отношений. Наиболее симпатичными казались мне Рубец и Немирович-Данченко; оба были, что называется, добрые малые; но они уехали на Кавказ, где вскоре положили свои головы (в 1840 и 1841 годах); также убиты на Кавказе: Глинка и Ган (в 1839 году) и Шаховской (1843 год); Рогалев убит в Венгерскую кампанию 1849 года, а Зеланд умер в 1850 году в чине подполковника. Самый выдающийся из моих товарищей, по своему уму и познаниям, был Штюрмер — человек уже зрелых лет, развитой, начитанный. По летам его и характеру трудно было нам сблизиться, в нем ничего не было военного; более смахивал он на немецкого ученого; вскоре женился на польке и, как узнали впоследствии, писал под чужим именем (псевдонимом) польские романы, пользовавшиеся литературной известностью.* Кроме него, все прочие мои товарищи по выпуску из Академии, говоря по правде, были личности, мало способные и мало симпатичные. Некоторые из них дослужились до генеральства (Герсеванов, Батюшков, Марк, Мицевич, Норденстренг), даже занимали высокие должности (Герсеванов, Марк); но в настоящее время (пишу в 1888 году), кажется, никого уже не осталось в живых.

9 декабря все мы, выпущенные из Академии офицеры, представились генерал-квартирмейстеру, генералу от инфантерии Шуберту, а потом военному министру князю Чернышеву. Первый принял нас с обычной своей медвежьей грубоватостью и угрюмостью; последний — приветствовал нас нравоучением относительно будущей нашей службы. В нравоучениях этих всегда первое место занимало внушение молодым людям скромности и дисциплины. На другой день, 10 декабря, вышел приказ о моем производстве в поручики гвардии с зачислением по-прежнему во 2-ю батарейную батарею лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. Затем, по заведенному порядку, представился я новому своему начальству: обер-квартирмейстеру отдельного Гвардейского корпуса, флигель-адъютанту полковнику Веймарну (Ивану Федоровичу, нашему профессору тактики), брату его, генерал-адъютанту Веймарну (Петру Федоровичу) — начальнику штаба корпуса, и, наконец, самому корпусному командиру Великому Князю Михаилу Павловичу, который принял меня, как возвращающуюся заблудшую овцу, сказав мне полушутя, полусерьезно: "А, опять попал под мой утюг!". Этим закончились официальные представления начальству, а между тем постепенно знакомился я с новыми своими товарищами — офицерами Гвардейского генерального штаба.

---

* Штюрмер был в числе юнкеров Варшавской юнкерской школы, когда вспыхнуло восстание 1830 года; не пристав тогда к повстанцам, он умел заслужить доверие русского начальства.

Родители мои, с самого окончания экзаменов, ожидали с нетерпением моего приезда в Москву, вместе с братом Николаем. С нами же намеревался ехать туда и Сергей Алексеевич Авдулин, которого родители мои пригласили остановиться у них в доме. Но мой отпуск замедлился, благодаря несносным канцелярским проволочкам, а брат Николай еще в начале ноября снова захворал, и на этот раз болезнь его, хотя и не опасная, оказалась весьма упорной: она требовала продолжительного, систематического лечения. Брат принужден был отказаться от всяких развлечений, от посещения общества, выходить исключительно лишь по службе в департамент; поездка же в Москву была отложена. Таким образом, явился туда накануне Рождества один только Авдулин, — к большой досаде матери; я же выехал из Петербурга несколькими днями позже и прибыл в родительский дом только к Новому году.

В ГВАРДЕЙСКОМ ГЕНЕРАЛЬНОМ ШТАБЕ
1836 – 1839

Как в первый мой приезд в Москву, так и теперь я почувствовал себя совершенно счастливым, очутившись снова среди дорогой семьи и близких родственников, увидев опять те места, которые живо напоминали мне времена детства и юности. Отрадно мне было проводить часы вдвоем с матерью, которая в откровенной со мной беседе могла без стеснения изливать свои скорби, обсуждать критическое положение семьи и ожидавшую ее будущность. В младших братьях нашел я значительную перемену за протекшие два года. Владимир, которому минуло 11 лет, заметно развился и физически, и умственно; в течение 1836 года, после перемены нескольких преподавателей, удалось, наконец, приставить к нему, в качестве гувернера, весьма порядочного и образованного француза m-r S-t Thomas, который обучал французскому, английскому и латинскому языкам; прежний, живший также в доме преподаватель Ходкевич прошел уже со своим даровитым учеником большую часть русской грамматики, географии, арифметики, древнюю и среднюю историю, так что в учебном отношении ребенок опередил свой возраст*. Меньшой брат, Борис, которому было 7 лет и который развивался медленно, теперь учился прилежно, начинал говорить по-французски, любил читать; но по-прежнему речь его была крайне невнятна, и мыслительные способности туги. Для надзора за ним была взята в дом молодая девушка — немка.

При всем желании моем проводить время дома, в семье, мне было очень трудно избегнуть беспрестанных выездов, особенно во время самого разгара московской светской жизни, когда ежедневно даются балы, вечера, званые обеды и прочие. Благодаря обширному родству и знакомству, мне приходилось против воли принимать участие в этой суетной жизни. Московское общество в те времена баловало приезжих из Петербурга гвардейских офицеров. Мой золотой аксельбант на мундире гвардейской артиллерии производил большой эффект везде, где появлялся я в публике. Москвичи принимали меня за флигель-адъютанта и дивились тому, что такой молодой офицер достиг этого почетного отличия. В те времена Свита Императорская далеко не была еще так многочисленна, как в позднейшие времена.

Во всех общественных развлечениях Москвы принимал живое участие наш петербургский гость молодой Авдулин, приехавший в Белокаменную собственно, чтобы повеселиться, а может быть, и с умыслом высмотреть невест, которыми славилась Москва. Более двух месяцев провел он в беспре-

---

* Далее в автографе зачеркнуто: В характере своем Владимир имел много общего с братом Николаем: такой же был охотник до светских удовольствий, особенно же до театра (*прим.публ.*).

рывных выездах и удовольствиях; возвратившись в первых числах марта в Петербург, он писал моим родителям, что Москва оставила в его памяти самое приятное впечатление.

Во время пребывания моего в Москве пришлось мне исполнять обязанности шафера княжны Софьи Александровны Урусовой (дочери покойного князя Александра Петровича, родного брата бабушки Киселевой); княжна Софья вышла замуж за некоего Пустошкина. В то же время (в марте) решилась другая свадьба в нашей семье — тетки моей, Александры Дмитриевны Киселевой, с Сергеем Алексеевичем Нееловым. И жених, и невеста были уже почтенных лет; брачный их союз был собственно заключительным эпилогом давнишнего романа и состоялся немедленно, лишь только жених овдовел. Сама свадьба совершилась 2 июня.

С наступлением Великого поста Москва успокоилась; балы и другие увеселения прекратились; к большому моему удовольствию, я мог вести исключительно домашнюю жизнь. С отъездом С.А. Авдулина и в доме нашем водворилась обычная тишина. Родители мои вели жизнь весьма уединенную: отец был очень занят и служебными и своими частными делами; мать проводила большую часть дня в одиночестве или с младшими детьми. Только к вечернему чаю, почти ежедневно, появлялся добрейший наш друг Порфирий Павлович Коробьин, который обыкновенно потом уезжал с моим отцом в Английский клуб. Таким образом, я проводил большую часть дня или с матерью, или одиноко в отцовском кабинете, где спокойно занимался своей работой. В это время предпринял я перевод на русский язык сочинения генерала Жомини: "Vie politique et militaire de Napoléon, raconteé par lui — memé"*, и успел перевести весь первый том. Под впечатлением только что пройденного академического курса я был тогда большим поклонником Наполеона; но вместе с тем надеялся извлечь из моего перевода и материальную выгоду, полагая, что подобная книга на русском языке должна иметь хороший сбыт. Тогда в предположениях моих вертелось много разнообразных ученых предприятий; составлялись программы нескольких сочинений зараз. Свежие силы молодости обыкновенно увлекаются безграничной жаждой деятельности и с жаром хватаются за самые разнообразные задачи, не пугаясь ни труда, ни трудностей.

Я упомянул в своем месте о вышедшей в конце 1836 года книге генерала барона Медема: "Обозрение известнейших правил и систем стратегии". Книга эта казалась мне таким замечательным вкладом в литературу военных наук, что вполне заслуживала перевода на иностранные языки. Мне пришла мысль предложить молодому учителю брата Владимира m-r S-t Thomas перевести книгу барона Медема на французский язык. Он охотно вызвался исполнить эту работу в самое короткое время и за весьма скромное вознаграждение (300 руб-

* "Политическая и военная жизнь Наполеона, рассказанная им самим" (*пер. с фр.*).

лей ассигнациями). Об этом предложении сообщено мной барону Медему, который принял его с удовольствием*. Работа пошла быстро; я, со своей стороны, помогал переводчику разъяснением ему технических выражений и тех оборотов, которых смысл не совсем был понятен человеку, вовсе с военным делом не знакомому. По мере того, как работа продвигалась, перевод пересылался по частям на просмотр автору. К крайнему сожалению, перевод не был одобрен бароном Медемом; первые тетради были возвращены испещренными заметками на полях. Бедный переводчик, получивший уже часть условленной платы, был крайне смущен и должен был потом переделывать свою работу. Таким образом, желание мое оказать услугу глубокоуважаемому профессору и самой науке удалось не вполне.

Четыре месяца моего отпуска протекли для меня весьма быстро. В конце апреля, когда я должен был уже оставить родительский кров и возвратиться на службу, приехал в Москву, на смену мне, брат Николай.

Пока я наслаждался привольной семейной жизнью в Москве, брат Николай скучал и хандрил в Петербурге. По утрам исправно ходил в департамент или, по его выражению, "на театр чиновничества"; но канцелярская служба мало интересовала его. В то время был он озабочен переменой квартиры по невозможности оставаться в прежней, оказавшейся в зимнее время слишком холодной. После долгих поисков, совместно с нашим сожителем Н.И. Свечиным, наконец, удалось приискать квартиру на Екатерининском канале, между Казанским и Каменным мостами (дом Вейса), хотя в 3-м этаже и с неприглядным входом, но достаточно просторной и удобной для нашего жительства втроем и доступною нашим скромным денежным средствам.

Во всех письмах своих брат жаловался на скуку и пустоту жизни. Даже театр не доставлял уже ему прежнего наслаждения. Посещал он с удовольствием только дома М.И. Лекса и А.Н. Авдулина, где он находил всегда радушный прием и отводил душу после сухих занятий служебных. Какая перемена сравнительно с прежней его жизнью в Москве! Впрочем, не одни служебные занятия заставляли его вести затворническую жизнь: брат Николай так же, как и я, должен был зарабатывать средства существования; он писал статьи для "Отечественных Записок", для литературных прибавлений, для "Коммерческой Библиотеки" и других. Последнее это издание было в то время основано под главной редакцией Конст<антина> Ив<ановича> Арсеньева, при участии князя Петра Андр<еевича> Вяземского (занимавшего должность директора Департамента внешней торговли), Андрея Парфеновича Заблоцкого-Десятовского, Григория Павловича Небольсина и многих других. В одном письме своем (от 14 февраля) брат писал, что он завален работой и департаментской и "своей", так что имеет для сна не более 5 или 6 часов в сутки; случалось ему просиживать с пером, не вставая, до 15 часов сряду.

---

*Ответы барона Медема от 22 февраля и 1 апреля[60].

Однако ж, из писем брата видно, что он и в это время не совсем еще изменил своим прежним любимым литературным замыслам; все еще продолжал он понемногу обрабатывать своего "Манфреда"* и изучать старину; но, по собственному его выражению**, в этом занятии он "уже переселился из средних веков под державу Царей Грозного и Алексея Михайловича"; с жадностью читал "Российскую Вивлиофику".

"Теперь, — писал он, — русские бородачи мерещатся мне и во сне... Что будет из всего этого — не знаю; но в этом году я решился произвести что-нибудь и постараюсь, чтобы 37 год не был также вымаран из моих литературных воспоминаний, как проклятый 36-й..." В том же письме (от 29 января) писал он: "Наружная моя жизнь так однообразна, что не стоит описания, а внутренняя так обширна, так беспорядочна, что вылить ее в какие-нибудь формы совершенно невозможно. Поэтому и письма мои не удовлетворяют твоему любопытству и должны носить на себе признаки той вялости, которой отличается моя действительная жизнь, и той беспорядочности, которая характеризует внутреннюю".

Сильное впечатление произвела на брата трагическая смерть А.С.Пушкина. Тогда несчастным этим событием поражен был весь Петербург, «начиная от самого Государя, до последнего мальчика в Палкинском трактире, который по этому случаю спрашивал: "Кто же будет назначен на место Пушкина для стихов?..."» Далее брат писал: "Государь оказал такие милости (вдове), которые возбуждают зависть в некоторых ничтожных сердцах и должны порадовать всякое благородное сердце, любящее Россию и русских..." Известно, что секундантом Пушкина был полковник Данзас, с которым мы познакомились у Авдулина и который, несмотря на свои уже почтенные года, был на короткой ноге с нами. Сначала опасались, что на бедного добродушного Данзаса обрушится весь гнев Царя, тогда как убийца Пушкина — Дантес, равно как и его секундант (секретарь французского посольства) отделались одной высылкой за границу. Но к общей радости, Данзас был прощен, и, по выражению моего брата, "сделался une célébrité du jour" *** [62].

Такая трудовая и скучная жизнь, какую брат вел в Петербурге, была слишком тяжела для 18-летнего юноши при его характере и после той светской жизни, с которой познакомился он почти с детского возраста. Понятно, что ему страстно хотелось вырваться из душной атмосферы; его тянуло в родную Москву, в семью, в круг прежних знакомых и приятелей. Приближалось время масленицы, которую бывало проводил он так весело в Белокаменной. Он решился завести речь со своим начальником об отпуске. Но М.И. Лекс, не дав ему даже высказать свое желание, сам заговорил об имевшейся в виду

* Письмо от 19 марта.

** Письмо от 29 января 1837 года[61].

*** "знаменитостью дня" (*пер.с фр.*).

служебной командировке брата в Крым. Предложение это улыбнулось ему; он уже начал мечтать, как воспользуется путешествием по живописному берегу Крыма для своих любимых литературных занятий, для приведения к концу своего "Манфреда" и т.д. Но вопрос о командировке, зависевший от соглашения между разными министерствами, затянулся. Брат Николай терял уже терпение и намеревался опять просить об увольнении в отпуск. Наконец, около половины апреля последовало решение — назначить его, в звании чиновника от Министерства внутренних дел, в состав комиссии, снаряжавшейся от Управления государственными имуществами, под председательством академика Петра Ивановича Кёппена, для статистического и камерального описания Таврической губернии.

Лишь только закончены были все канцелярские формальности по отправлению означенной комиссии в Крым, брат мой неотлагательно распростился с Петербургом, за несколько дней до выезда самого П.И.Кёппена, и приехал в Москву незадолго до моего оттуда выезда.

В Петербург возвратился я в последние дни апреля, как раз к майскому параду (2 мая), в котором участвовал на приведенном из Москвы новом коне. В один из первых же дней явился я к дяде Павлу Дмитриевичу Киселеву; нашел у него другого дядю Николая Дмитриевича, только что приехавшего из Парижа (где он был первым секретарем посольства), по случаю нового назначения его советником посольства в Лондоне. Ранее я вовсе не знал его; оставалось у меня в памяти только смутное воспоминание, со времен детства, о приезде молодого дяди в наше Титово по пути в Персию. И на этот раз знакомство наше ограничилось только несколькими минутами разговора, так как он вскоре уехал в Москву. Приезд его туда после многих лет пребывания за границей был для семьи настоящим праздником. По этому случаю приехала из Твери и Варвара Дмитриевна Полторацкая со всею семьей. В Москве молодой дипломат пробыл до 13 числа и, возвратившись в Петербург, оказал мне любезность, привезя лично письмо от матери. Вскоре потом он отправился к новому своему посту в Лондоне.

Брат Николай провел в Москве несколько дней в полном удовольствии, в ожидании своего временного начальника П.И.Кёппена. По прибытии его, выехали они оба вместе 11 мая на Одессу и оттуда на Симферополь.

Моя новая служба в Гвардейском генеральном штабе с первых же дней произвела на меня самое приятное впечатление. Начальники приняли меня благосклонно; с товарищами сошелся я очень скоро. Я уже упоминал о начальнике корпусного штаба генерал-адъютанте Петре Федоровиче Веймарне и брате его, обер-квартирмейстере корпуса, полковнике и флигель-адъютанте

Иване Федоровиче Веймарне. Затем во главе офицеров стояли обер-квартирмейстеры пехоты и кавалерии, полковники бароны Ливен (также флигель-адъютант) и Блом — личности, весьма симпатичные; оба — красивой наружности, оба — отличные офицеры Генерального Штаба, они соединяли в себе благородство характера с приятными формами и пользовались в обществе офицеров полным уважением, хотя и держали себя на товарищеской с ними ноге. Старшими адъютантами, т.е. начальниками двух отделений, из которых состояло управление Гвардейского генерального штаба, были: капитан Феликс Фадеевич Голынский и штабс-капитан Федор Иванович Горемыкин. Первый из них, заведывавший первым отделением (по личному составу, топографической и чертежной части), был родом поляк Могилевской губернии; в Генеральный Штаб поступил до учреждения Военной Академии, отличался педантическою аккуратностью и тщательностью в работах — качествами, ценившимися в те времена очень высоко. Голынский по старшинству своему как в службе, так и по летам, принял меня как бы под особенное покровительство, а впоследствии выказывал мне всегда искреннее сочувствие. Горемыкин, заведывавший вторым отделением (переписка по войскам, передвижениям и сборам их и т. д.), вышел из Военной Академии годом ранее меня, но был гораздо старше летами, — человек весьма дельный, разумный, даровитый и хорошо владел пером. С ним сблизился я наиболее, и потом между нами установились надолго дружеские отношения.

Старшие офицеры, занимавшие должности "дивизионных квартирмейстеров", были: капитаны, Илья Степанович Фролов и Сергей Иванович Волков (при 2-й и 1-й легких кавалерийских дивизиях), Хоминский и Россильон (при 2-й и 1-й пехотных), штабс-капитаны Адеркас (при 3-й гвардейской пехотной) и Старк (при гвардейской кирасирской). Из этих шести офицеров один только последний был из питомцев Военной Академии (первого выпуска); все прочие поступили в Генеральный Штаб до учреждения Академии, т.е. прямо из полков. Кроме названных "дивизионных квартирмейстеров", состояли при штабе, для поручений: штабс-капитаны Александр Михайлович Жуковский и Александр Петрович Теслев и поручик Иван Васильевич Вуич; из них двое: Жуковский и Вуич были выпущены из Академии (1-го и 2-го выпусков), а Теслев был из числа поступивших прежним порядком, т.е. помимо Академии.

Из числа названных девяти товарищей моих на счету лучших в служебном отношении офицеров стояли: капитан Фролов и штабс-капитан Старк. О первом я имел уже случай говорить; второй — воспитанник Финляндского кадетского корпуса, откуда был выпущен в гвардейские саперы и потом вышел первым из Академии; он отличался своею бойкостью, находчивостью на маневрах и подавал большие надежды, к сожалению, наклонность к бражничеству погубила его; вскоре он умер от воспаления вследствие схваченной в

пьяном состоянии простуды. Подавали также хорошие надежды трое младшие: Жуковский, Теслев и Вуич. В товарищеском кружке самым приятным, веселым собеседником был капитан Россильон, который, впрочем, недолго оставался в гвардейском Генеральном Штабе; два года спустя я уже встретился с ним на Кавказе.

Явившись на новую службу пред лагерным временем, когда в Гвардейском генеральном штабе начинается, так сказать, сезон полевой службы, едва успел я познакомиться с новыми товарищами и кое-как устроить свой домашний быт на новой квартире (занятой в мое отсутствие), — как пришлось уже отправиться (18 мая) на рекогносцировку окрестностей Красного Села для подготовления карты к предстоящим маневрам. По заведенному порядку, каждому из офицеров Гвардейского генерального штаба назначался участок местности, который он должен был объехать (в обывательской телеге) для обозначения на карте засеянных полей и качества дорог. Работа эта обыкновенно занимала дней 7 или 8. Засеянные поля, считавшиеся на маневрах непроходимыми, покрывались кармином; дурные места дорог обозначались условными цветами.

По возвращении из этой первой "командировки" и до выступления войск в лагерь оставалось около двух недель, в продолжение которых занялся я приготовлениями к лагерной жизни и некоторыми своими делами; между прочим, — вопросом об издании моего перевода сочинения генерала Жомини о Наполеоне. По поводу этой работы встретил я совершенно неожиданную неприятность; почтенный автор книги, узнав о предпринятом мною переводе, почему-то счел это нарушением своих авторских прав; пригласив меня к себе, он с раздражением высказал мне свое неудовольствие. Оправдания мои не убедили его в неосновательности его претензии, так что я должен был обратиться к начальству моему с просьбою об официальном разъяснении знаменитому военному писателю, что ни в законах наших, ни в договорах не существует предполагаемого им ограничения права переводчика иностранной книги непременным условием дозволения автора. Между тем я вел переговоры с некоторыми книгопродавцами об издании моего перевода; встретив с их стороны разные отговорки, равносильные отказу, я уже намеревался принять издание на свой собственный риск с помощью займа нужных на это денежных средств; но вскоре получил официально, чрез начальство, уведомление, что военный цензор генерал-лейтенант Михайловский-Данилевский, не признал возможным допустить печатание на русском языке сочинения генерала Жомини без "тщательной переделки" всей политической части его. Такой приговор цензора окончательно отбил у меня охоту продолжать дело; я бросил сделанный уже перевод и начал придумывать другую работу, которая вскоре и представилась.

Само собою разумеется, что все эти хлопоты относительно заработка средств к жизни были прерваны на время лагерным сбором Гвардейского

корпуса. По заведенному порядку, артиллерия находилась уже с половины мая в окрестностях Красного Села для практической стрельбы; общий же сбор всех родов оружья начинался с половины июня. Вступлению войск в лагерь предшествовали маневры, продолжавшиеся в этом году три дня, 14, 15 и 16 июня, в окрестностях Царского Села. В первый раз пришлось мне нести при войсках службу офицера Генерального Штаба. В те времена Генеральный Штаб был почти устранен от войск в мирное время: офицеры в течение большей части года исполняли кое-какие поручения своего специального начальства (обер-квартирмейстера корпусного) и только в летнее время, при сборах войск, являлись для расстановки их на параде, а потом на маневрах для направления их движений. При существовавшей тогда системе обучения войск, при тогдашних взглядах и требованиях строевые начальники большею частью считали своим долгом исключительно лишь уставную дрессировку вверенных им частей и чувствовали себя твердо только на плацу или в манеже; в поле же, лишь только приходилось распорядиться с тактическим соображением, с применением к местности, — они совершенно терялись, — не могли сделать шага без помощи офицера Генерального Штаба, который, в свою очередь, считался нужным исключительно на время маневров. Поэтому в войсках смотрели на офицеров Генерального Штаба, как на чужих, называли их "планщиками", "свитскими чиновниками"; относились к ним с какою-то враждебною иронией, хотя и не могли без них обойтись в известных исключительных случаях. Отчасти виноваты были в этом и сами офицеры Генерального Штаба, которые смотрели свысока на строевое дело, на строевых офицеров, большею частию чуждались войск, а иногда и в прямых своих обязанностях при войсках оказывались слабыми. Можно сказать, что небольшая лишь часть офицеров старого Генерального Штаба имела некоторый навык к полевой службе при войсках.

Гвардейский генеральный штаб, разумеется, составлял, так сказать, отборный сорт в общей массе Генерального Штаба. В Гвардейский штаб выбирались офицеры, более представительные; они были более на виду, имели особую "линию производства" применительно к чинам гвардейским; имели особый мундир; но всего важнее было то, что, участвуя ежегодно в летних учебных занятиях гвардии, на виду самого Императора, они имели более других случай практиковаться в исполнении своих обязанностей при войсках.

Во время лагерного сбора Гвардейский штаб размещался в Красном Селе по крестьянским избам. Мне отведена была квартира совместно с Теслевым; для продовольствия нашего устроилась артель. Общество наше жило дружно; в свободные от занятий часы у кого-либо из нас собирался кружок, в котором все, и старшие и младшие, не исключая и полковников, проводили время в товарищеской беседе, то серьезной, то веселой и шутливой. Тут обсуждались и разъяснялись последние маневры и учения, заводились споры о

каких-нибудь военных вопросах, о прочитанных книгах. Бывали часто толки о лошадях и верховой езде; по этой части всегда заводил речь капитан Фролов, выдававшей себя за спортсмена, знатока и старавшийся влиять в этом отношении на молодых офицеров. Он же настойчиво преследовал карточную игру, умалчивая о том, что сам в молодости был жертвою страсти к картам; впрочем, в нашем кружке почти и не водилось карт: не было также и бражничества, кутежей. За все время моей службы в Гвардейском генеральном штабе помнится мне, что только раза два, по случаю отъезда товарищей, на прощальном обеде в нашей артели выпито было с некоторым излишеством.

Все офицеры выезжали на большие учения, происходившие ежедневно на "военном поле"; принимали деятельное участие в маневрах, больших и малых. Младшие распределялись в помощь старшим, занимавшим должности дивизионных квартирмейстеров. Кроме того, мне, как самому младшему, пришлось два раза после маневров ездить для осмотра и оценки потоптанных войсками полей. Все лагерное время прошло для меня вполне удачно; начальство осталось довольно моим первым дебютом в службе Генерального Штаба, и по окончании лагеря выдано мне денежное пособие (500 рублей ассигнациями), что было, конечно, весьма кстати при моем затруднительном финансовом положении.

По возвращении в Петербург я провел несколько недель в Новой Деревне, на даче Авдулиных, на отдыхе от летних мытарств. Затем, водворившись на своей петербургской квартире, вместе с Н.И. Свечиным, принялся с напряженною деятельностью зарабатывать себе насущный хлеб.

Еще в мае месяце, когда по возвращении из Москвы я был в раздумье о средствах к жизни при тогдашнем крайне недостаточном казенном содержании*, случайно была мне предложена работа для издававшегося книгопродавцем Плюшаром "Энциклопедического Лексикона". Я познакомился с главным редактором этого издания Александром Федоровичем Шениным, бывшим в то же время инспектором классов в Павловском кадетском корпусе. Жил он в самом здании корпуса, у Обухова моста (где потом помещалось Константиновское военное училище). Шенин был человек умный и образованный; служебные обязанности по корпусу не мешали ему выносить на своих плечах и многосложные занятия главного редактора такого обширного издания, как "Энциклопедический Лексикон". Справлялся он с этой работой отлично: имея дело с массою сотрудников и специальных по разным отделам редакторов, он

*Годовое мое содержание в общей сложности составляло всего 1667 рублей ассигнациями, что соответствовало 476 рублям на серебро (по расчету 3 рублей 50 копеек ассигнациями за 1 рубль серебром, как было впоследствии узаконено).

умел со всеми ладить, не задевая щекотливого авторского самолюбия. Сам работал много и, между тем, был доступен для всех, имевших надобность лично с ним объясниться. Говорят, что он был и отличным инспектором классов; но вскоре должен был оставить службу в военно-учебных заведениях вследствие обвинения его в привычках, крайне безнравственных.

Шенин принял меня весьма охотно в число сотрудников издания по статьям военным и математическим. В то время печатался уже IX том Лексикона, в котором шли статьи на букву В. На первый раз Шенин предложил мне только несколько неважных статей на эту букву, никем еще не взятых, но затем дал мне выбрать статьи на букву Г, а также на Д. На эти обе буквы предоставлено мне было до 120 статей различного объема.

Почти одновременно с получением работы для "Энциклопедического Лексикона" Плюшара сделался я сотрудником и другого издания такого же рода — "Военно-Энциклопедического Лексикона". Издание это только что начиналось; выпущена была лишь первая книжка. Главным редактором был генерал-лейтенант барон Людвиг Иванович Зедделер, бывший вице-директор Военной Академии, а теперь занимавший должность инспектора школ военных кантонистов и Аудиториатского училища. Я был представлен ему адъюнкт-профессором Военной Академии князем Ник<олаем> Серг<еевичем> Голицыным, чрез посредство которого в первое время велись все сношения мои с главным редактором. В Военном Лексиконе мне было предложено взять на себя преимущественно статьи по наукам математическим (со включением астрономии, геодезии, механики, физики). Первыми серьезными статьями для I тома пришлось мне обработать: "Алгебра", "Анализ", "Арифметика", "Астрономия"; всего же до 25 статей на букву А. Сверх этих специально-математических статей, предложены были мне: по военным наукам — "Армия" и по географии — "Африка"; но из этих статей принял я на себя только последнюю. Затем предложено мне было до 20 статей на букву Б, в том числе некоторые крупные: "Баллистика", "Барометр и барометрическое измерение высот", и несколько статей военных: "Батальон", "Бригада" и др.

Статьи мои в "Энциклопедическом Лексиконе", начиная с X тома, печатались большей частью без изменений, пока продолжалось это издание. К сожалению, дела книгопродавца Плюшара пошли так дурно, что к концу 1838 года он уже совсем обанкротился, выходившие в последнее время тома делались все тоще и слабее, а на букве Д издание совсем оборвалось. Военный же Лексикон подвигался безостановочно, твердым шагом. Барон Зедделер пользовался авторитетом ученого генерала, специалиста по военной истории. Он лично просматривал в рукописи все присылаемые от сотрудников статьи и часто возвращал их авторам с своими замечаниями для переделки, исправления или сокращения. Понятно, что эти сокращения были авторам неприятны как для самолюбия их, так и для кармана; но упрекать в том главного редактора

было бы несправедливо, когда сокращения вызывались действительною необходимостью, для соблюдения в издании единства и соразмерности объема статей, соответственно значению их и принятому общему плану. Из моих статей большая часть печаталась целиком, без переделок (со 2-й книжки до 8-й); некоторые заслужили особенное одобрение редакции; другие были помещены с большими или меньшими сокращениями, против которых я не спорил. Но одна из самых капитальных — "Африка" была возвращена мне испещренною на полях замечаниями барона Зедделера. Найдя эту статью непомерно обширною и притом не подходящею по своему изложению к характеру справочного Лексикона, он потребовал от меня полной переделки. Сознаюсь, что в этом случае он был совершенно прав и что мне следовало бы подчиниться требованию беспрекословно; но — грешный человек — самолюбие молодого автора взяло верх над рассудительностью; досадно было переделывать заново и урезывать наполовину работу, стоившую много времени и труда, — и вот между мною, юношей, и старым ученым генералом возникает переписка, в которой я возражаю резко на сделанные бароном Зедделером замечания; он же отвечает мне сдержанно, кротко, ссылаясь на права и обязанности главного редактора, и, между прочим, делает оговорку, что "слыша уже прежде о моей вспыльчивости в подобных делах, он высказал мнение о моей статье по предварительном совещании с опытными специалистами"... Снисходительность и деликатность барона обезоружили мою строптивость; я переделал свою статью по его требованию; но несколько времени спустя такое же столкновение повторилось по поводу статьи "Баллистика", над которой я также много поработал. И эту статью пришлось переделывать и значительно сокращать. Хотя потом за эту самую статью я получил от главного редактора благодарность, однако же, все эти дрязги так надоели мне, что я решился бросить работу в Военном Лексиконе и письмом к барону Зедделеру от 14-го января просил его исключить меня из числа сотрудников этого издания, предоставив ему распорядиться по его усмотрению остальными написанными, но еще не напечатанными статьями.

Таким образом, участие мое в обоих энциклопедических изданиях продолжалось не долго: в одном из них моя работа прервалась вследствие прекращения самого издания; в другом — я бросил работу под влиянием раздражения и досады. Тем не менее заработок мой в обоих Лексиконах составил немаловажное подспорье к ограниченным моим финансам*; он дал мне возможность не только свести концы с концами в моем годовом бюджете, но еще уделить некоторые пособия сестре, — при выходе ее из института, и брату, — при отъезде его в Крым.

*В течение года с мая 1837-го по май 1838-го за напечатанные уже статьи в обоих Лексиконах получено мною 1751 рубль ассигнациями и осталось еще за редакциями заработанных мною до 2500 рублей, из которых около 1000 рублей получены были в течение 1838 года.

*Барон
Людвиг Иванович
Зедделер*

Коснувшись моего бюджета за 1837 год, замечу, что в него вошел довольно значительный единовременный расход на перемену собственной обмундировки и конского снаряжения, по случаю состоявшегося 28 октября перевода в Гвардейский генеральный штаб (к которому до этого времени я был только причислен, оставаясь в мундире гвардейской артиллерии). Впрочем, кроме мундира, никакой более существенной перемены в моем служебном положении не произошло. В зимнее время было мало занятий по службе. Кроме двух старших адъютантов, на которых лежало текущее делопроизводство по обоим отделениям штаба, прочие офицеры, не исключая и занимавших должности дивизионных квартирмейстеров были почти свободны от всяких обязанностей, кроме разве расстановки жалонеров в случае какого-нибудь парада, да присутствования на выходах во дворце и на разводах в Высочайшем присутствии. Стало быть, те из офицеров, которые не имели обеспеченных средств для приличного существования в Петербурге, могли, по крайней мере, располагать своим временем для занятий частными работами.

В конце года к нашему офицерскому кружку прибавились два новых товарища: один — поручик 3-й гвардейской и гренадерской артиллерийской бригады Александр Петрович Кузминский нового выпуска из Военной Академии, кончил курс вторым по успехам*, офицер уже зрелый, весьма благообразный, представительный, другой — прапорщик Жерве, еще очень юный, только что выпущенный из Пажеского корпуса в Преображенский полк. Он был прямо прикомандирован к Гвардейскому генеральному штабу, в виде исключения, помимо Военной Академии и не пройдя чрез строевую службу, для которой он признавался недостаточно окрепшим. Это был очень милый птенец; он сделался общим любимцем в нашем товарищеском кружке.

О брате Николае рассказ мой был прерван на выезде его 11 мая из Москвы в Крым. Путешествие его совершалось вполне удачно: проехав благополучно в тарантасе, вместе с П.И.Кёппеном чрез Харьков в Одессу и пробыв там несколько дней, они прибыли в начале июня в Симферополь, откуда начались их исследования, статистические, экономические, этнографические и т.д. Объезжая край, брат восхищался всем, что приходилось ему видеть впервые: и местностью, и населением. Он вел подробный дневник, который периодически посылал в Москву, к родителям; они же пересылали ко мне. Кроме того, получал я и прямо от него письма с дополнительными известиями. Как дневник, так и письма были чрезвычайно любопытны; мастерски описывались в них живые впечатления, испытываемые восприимчивым, любознательным, поэтически настроенным молодым путешественником. К крайнему сожалению, этот любопытный дневник и эти письма не сохранились в моих бумагах; совершенно недоумеваю, в чьи руки они попали.

Объехав Крымский полуостров, комиссия продолжала свои работы в северных уездах Таврической губернии и только в декабре возвратилась в Симферополь, где должна была оставаться довольно долго для приведения в порядок всей массы собранных сведений и составления полного отчета о результатах путешествия. Работа эта затянулась на всю зиму, к прискорбию наших родителей, которые ожидали с нетерпением возвращения брата, в постоянном беспокойстве о том, что не хватит у него денежных средств.

В родительском доме и в родственном нашем кружке случились в течение 1837 года многие перемены. После свадьбы тетки, Александры Дмитриевны Киселевой с С.А.Нееловым (2 июня), новобрачные водворились весьма комфортабельно в своем доме на Спиридоновке, а часть лета проводили в деревне, в Дорогобужском уезде. Старушке Прасковье Петровне, при ее слабом здоровье, было бы трудно жить в одиночестве в своем доме на

* Первым стал поручик лейб-гвардии Измайловского полка Ник<олай> Ив<анович> Вольф.

Поварской; к тому же, денежные дела ее несколько запутались; долги возросли; поэтому она решилась продать дом и поселиться вместе с семьею Сергея Дмитриевича Киселева в наемной квартире. Предположение это было одобрено Павлом Дмитриевичем, на которого в семье смотрели всегда, как на попечителя и покровителя. В ожидании покупщика бабушка Прасковья Петровна переехала на летнее время на дачу к Сергею Дмитриевичу в Петровском парке.

Сергей Дмитриевич Киселев, занимая должность советника в Московской Казенной Палате*, ожидал скорого открытия вакансии московского вице-губернатора, с выходом в отставку общего нашего приятеля Деменькова. Благодаря содействию старшего брата, Сергей Дмитриевич получил это назначение в августе месяце и таким образом служебное положение его устроилось к общему удовольствию. Он поспешил в первых же числах сентября переехать с дачи в Москву, чтобы вступить в новую должность.

Известия из родительского дома были по-прежнему весьма неутешительны. Здоровье матери все более возбуждало опасения. Она доверилась новому известному врачу Рихтеру, который понравился ей своею заботливостью о больной и теплым к ней участием. Доктор Рихтер предпринял новое систематическое лечение в виде подготовления к минеральным водам, которые предписывались по примеру прежних лет. Но успеху врачевания много препятствовали беспрестанно возникавшие новые огорчения и беспокойства. Положение домашних дел нисколько не улучшалось; процесс по имению затянулся да и не обещал никакого серьезного результата, а, между тем, приходилось кормить множество дворовых людей, совершенно для дома бесполезных. Возникли новые заботы касательно воспитания брата Владимира: живший в доме гувернер St. Thomas, пользовавшийся полным доверием моей матери, нашел себе более выгодное место и в июле месяце оставил наш дом, согласившись только приходить раза два в неделю давать уроки французского языка. Русский учитель, Ходкевич, также отговаривался служебными своими занятиями. В одном из писем матери (от 7 сентября) она печалилась о том, что "учение Володи идет плохо", что для правильного домашнего учения нет средств, а в гимназию определять, по мнению отца, еще рано. Между тем, платить учителям становилось с каждым днем труднее. Матери приходилось распродавать все, что могла, и даже прибегать к займам. В письме от 14 июля она писала: "Час от часу ресурсы прекращаются; и отец начинает терять свою твердость".

Действительно, отец уже не скрывал от меня своего безвыходного положения и не раз жаловался на "судьбу, постоянно и во всем преследующую его

---

* До конца 1835 г. он служил в Кремлевской строительной комиссии; но должен был оставить это место вследствие размолвки с председателем Комиссии, Башиловым, а в 1836 г. получил место в Казенной Палате.

неудачами". Несмотря на то, он все-таки оставался верным своим честным нравственным принципам. Приведу здесь выписку из одного письма его (от 5 мая 1836 г.), в котором высказалась вся чистота его души. Давая мне и брату Николаю совет быть "осторожными и не вверяться первым впечатлениям, но и не пренебрегать светом", он указывал в пример самого себя: «С 15-летнего возраста я начал узнавать свет за кулисами, а не на сцене; дорого заплатил за мою доверчивость, могу сказать — за доброту; ибо никому не делал зла с намерением; а делал добро даже самим врагам моим, и оттого вы не можете представить себе, как мне легко. Конечно, сон мой есть сон праведного; а этим не всякий счастливец мира может похвастаться. Положение мое горько только потому, что не могу, в юные годы ваши, окружить вас теми радостями, которые расцвечивают жизнь нашу; но внутреннее какое-то внушение говорит мне: "Не робей, — и в последние часы твои ты еще улыбнешься." Да будет так... Обо мне не беспокойтесь; я никогда головы не теряю. Мне это легко; ибо будучи счастливым в семействе, могу ли я страшиться чего-нибудь. Жена и дети — мой мир; совесть — моя вселенная. Желание одно — сохранить также домашнее счастье и видеть в остальных детях ваши портреты. Все прочее нравственно на меня не действует...»[63].

Служебное положение отца также подавало повод к беспокойству. Комиссия по постройке храма Спасителя, в которой он управлял делами, с званием советника, существовала на основании временного Положения, в главном ведении Министерства Императорского Двора. По требованию этого Министерства составлен проект нового Положения и штата комиссии, применительно к Положению и штату существовавшей в Петербурге комиссии построения Исакиевского Собора, а в этой комиссии должности советника не полагалось; ведение дел возлагалось на одного из членов. Отец мой, не смея рассчитывать, в его чине статского советника, на назначение членом комиссии, составленной исключительно из высокопоставленных сановников, опасался снова остаться без места, тем более, что он не совсем ладил с некоторыми из наиболее влиятельных членов комиссии, именно: с действительным тайным советником Озеровым и действительным статским советником Львовым; прочие члены были почти безгласны, а председатель — князь Д.В. Голицын, хотя и благоволил моему отцу, не мог входить в подробности дел. Единственную поддержку находил отец мой в дельном и честном архитекторе, Константине Андреевиче Тоне.

В половине июня проект нового Положения и штата был представлен на Высочайшее утверждение. В то же время отправлено письмо моей матери к Павлу Дмитриевичу Киселеву с просьбой замолвить доброе слово о моем отце министру Двора князю П.М. Волконскому. 6 августа проект был утвержден; но вопрос о личном составе комиссии пока не был еще решен, так что отец мой оставался около трех месяцев в тревожном ожидании.

Ко всем прежним печалям бедной моей матери присоединилась новая забота — о предстоявшем в начале следующего, 1838 года выпуске дочери из Екатерининского института. Сначала беспокоила ее мысль о неимении денежных средств на поездку в Петербург за дочерью и для приличного снаряжения ее при вступлении в свет; но затем возникло еще опасение, что поездке в Петербург воспрепятствует болезнь. Об этой поездке она мечтала все лето, как об исполнении святого долга — лично принять свою дочь из воспитательного заведения, в котором она выдержала девять лет заключения, вдали от родительских глаз. Добрые наши друзья Авдулины предлагали у себя пристанище на время пребывания моей матери в Петербурге. К несчастью, болезненное ее состояние все ухудшалось; появились новые тревожные симптомы: опухоль и боль в правой груди. В первый раз упоминалось об этом в письме отца от 13 октября; но потом, из письма самой матери (от 1 ноября), узнал я, что она страдает грудью уже четыре месяца; полагали, что у нее образуется нарыв. В октябре месяце, по требованию врача (Рихтера), больная уже должна была прекратить выезды; принятые врачебные меры несколько облегчили ее страдания. Но в конце того же месяца вдруг захворала Прасковья Петровна Киселева воспалением в боку. Болезнь была тяжелая и угрожала опасностью для жизни слабой 72-летней старушки. Вся семья встревожилась. Хотя при больной находилась одна из дочерей, Полторацкая Варвара Дмитриевна, однако, и моя мать, несмотря на собственный свой недуг, не утерпела в своем заточении и поспешила на помощь своей сестре в уходе за больною матерью. Чрез несколько дней наступил благоприятный поворот ее болезни, и опасность миновала; но эти немногие тревожные дни, в особенности же бессонные ночи имели весьма дурное влияние на собственное здоровье моей матери. Доктор Рихтер нашел в ней большую перемену; назначена была консультация, в которой приняли участие, кроме Рихтера, лучшие московские врачи — Овер, Маркус, Эвениус и Поль. На этом совещании признано было, что у больной образуется в груди рак и что необходимо прибегнуть неотлагательно к операции.

Об этом важном решении известил меня отец письмом от 17 ноября, а 19 числа предположенная серьезная операция была уже исполнена Овером, в присутствии названных выше врачей и сверх того — лейб-медика Арендта, приехавшего тогда в Москву в Свите Императора. Операция произведена вполне успешно; вырезано более половины правой груди. Больная выдержала с замечательной твердостью. Лишь только операция была окончена, первыми ее словами были: "Не забудьте написать Митеньке"*. Необыкновенная твердость ее удивила самих врачей и сделалась предметом разговора всего города. Не только люди близкие, но даже незнакомые интересовались исходом операции. Сам Государь и Императрица, узнав все от Арендта, показали теплое

*Т.е. мне, как сообщил Порф<ирий> Павл<ович> Коробьин.

участие в положении больной, ежедневно наведывались о ней чрез того же Арендта и чрез Павла Дмитриевича Киселева, который приехал в Москву 21 числа и в тот же вечер посетил больную сестру свою, а потом заезжал ежедневно на несколько минут.

Первая после операции перевязка, 23 числа, обещала хороший исход и скорое заживление раны. Уже 29 ноября больная хотела было написать мне несколько слов, но врачи воспротивились этому намерению. К 1 декабря состояние раны было таково, что Арендт и Овер сочли возможным прекратить свои ежедневные посещения; к больной начали допускать гостей; она повеселела; а 8 декабря написала мне довольно длинное письмо, в котором выражалась с сердечною признательностью о бескорыстной заботливости врачей, особенно Арендта, который в последний час своего пребывания в Москве заехал еще раз проститься с больной. В другом письме матери высказывались ее чувства благодарности за теплое участие, которое приняли в ее опасном положении многие, даже совсем посторонние. После всех испытанных ею в течение жизни несчастий и разочарований в людях она, по собственному ее выражению, примирилась теперь с человечеством. Брат ее, Павел Дмитриевич, обыкновенно державший себя холодно и натянуто, на этот раз был внимателен, ласков и пред отъездом своим из Москвы, 12 декабря, прислал, при весьма любезном письме, тысячу рублей "на туалет" своей племянницы по случаю предстоящего выхода ее из института. Подарок этот значительно облегчил заботы матери насчет выпуска сестры, хотя о поездке в Петербург уже нечего было и помышлять.

Между тем, Прасковья Петровна Киселева совсем оправилась от своей тяжкой болезни, хотя была еще очень слаба и жаловалась на опухоль ног. 15 декабря она была уже в состоянии переселиться из своего дома на Поварской* в приготовленное для нее помещение вместе с семьей Сергея Дмитриевича Киселева. Варвара Дмитриевна Полторацкая, водворив старушку-мать в новом ее жилье, уехала к себе в тверскую деревню.

В самую критическую пору болезни моей матери, именно в то время, когда обнаружились опасное ее положение и необходимость хирургической операции, судьба улыбнулась моему отцу. Вопрос о служебном его положении разрешился совершенно в благоприятном смысле: указом 10 ноября последовали назначения в новый состав Комиссии о построении храма в Москве; председателем — по-прежнему московский военный генерал-губернатор князь Д.В. Голицын; вице-председателем — действительный тайный советник князь Сергей Михайлович Голицын (председательствовавший в Московском Опекунском Совете); членами: по хозяйственной части — действительный

* Продажа дома окончательно состоялась в марте 1838 г.

тайный советник Озеров, тайный советник Александр Михайлович Урусов и московский предводитель дворянства граф Гудович; по искусственной части — генерал-адъютант граф Сергей Григорьевич Строгонов и действительный статский советник Львов, а по производству дел — статский советник Милютин.

Назначение моего отца, в невысоком чине статского советника, членом Комиссии, наравне с сановными вельможами, возбудило в некоторых из них неудовольствие. Отец в одном письме ко мне (29 ноября) писал, что полученное место почетно, но хлопотливо, а в материальном отношении не приносит ничего, кроме прежнего содержания в 3 тысячи рублей ассигнациями да квартиры. "Я желал иметь это место, — прибавил он, — больше для того, чтобы доказать многим, что можно быть честным, не будучи богатым, и подлецом, будучи знатным"[64].

С новым составом Комиссии требовалось устроить и приличное помещение как для общих собраний ее, так и для канцелярии и чертежной. Сам председатель князь Д.В. Голицын приезжал осмотреть казенный дом, в котором жили мои родители. Отец мой предлагал очистить для Комиссии весь бельэтаж, оставив для себя только нижний; но благодушный князь Дмитрий Владимирович отклонил это предложение*. 26 ноября последовало формальное открытие Комиссии в новом ее составе; но устройство для нее помещения занимало моего отца до нового года. Делам Комиссии посвящал он все свое время, с обычною добросовестностью, с увлечением, — хотя с первых же шагов в новом звании своем уже предусматривал ожидавшие его затруднения от несогласий и личных дрязг**. В самый последний день года, в письме ко мне он сетовал на то, что "всегда и во всем встречает неудачи; какой-то злой гений постоянно преследует меня".

Недолго продолжалось и успокоение насчет здоровья моей матери: после операции, так успешно произведенной и подавшей было такие утешительные надежды, не прошло и месяца, как она почувствовала боли в левой груди. Для отвлечения новой опасности врачи прибегли к заволоке на левой руке; но боль в груди не унималась; больной трудно было писать и правой рукой. "Перспектива впереди печальная", — писала она 26 декабря; — "не на радость приедет сюда бедная Маша"... В начале января ставили больной пиявки; она почувствовала облегчение, но врачи не позволяли ей выезжать из дому до наступления теплого времени, вопреки сильному ее желанию повидаться со своею матерью Прасковьей Петровной, с которою была разлучена с октября месяца.

Все помышления и заботы моей матери в это время были обращены на предстоявший в феврале выпуск дочери Маши из института. Необходимые

*Оно осуществилось, однако же, годом позже по настоянию моего отца.

**Письмо от 22 декабря 1837 года.

для ее туалета принадлежности заготовлялись попечением матери, даже собственными ее руками. Сестра старика Авдулина, Дарья Николаевна, любезно предложила свое содействие для дополнительного изготовления того, чего нельзя было приготовить заочно в Москве. Семейство Авдулиных показывало самое дружеское участие, предлагая всякие услуги для первоначального приема молодой девушки из института. Что же касается переезда ее из Петербурга в Москву, то я вызвался сопровождать сестру; родители с удовольствием приняли это предложение, радуясь случаю снова видеться со мной; однако же, не сочли возможным обойтись при этом без женского попечения. Преданная вполне нашей семье Анна Алексеевна Мельникова (бывшая Бакарева, о которой упоминал я уже не раз) предложила свои услуги — съездить в Петербург. Получив от моей матери подробную инструкцию и необходимую сумму на расходы, она в сопровождении горничной выехала из Москвы 4 февраля в дилижансе и, прибыв 7 числа в Петербург, остановилась первоначально у меня в квартире. В то время я жил один; сожитель мой, Н.И. Свечин, был в отпуску в Москве. Но добрые Авдулины настояли, чтобы приезжие из Москвы поселились у них в доме и чтобы к ним же перевезена была и моя сестра на то время, которое окажется необходимым для снаряжения ее в путь. Родители мои приняли с благодарностью это предложение. В тот же день Анна Алексеевна Мельникова переехала на Литейную.

На другой же день отправился я с нею в Екатерининский институт. Начальница его, m-me Crempine, согласно желанию, выраженному в письме к ней моею матерью, разрешила взять сестру из института неотлагательно, не ожидая формального выпуска. Сестре моей тогда было всего 15 лет; притом девятилетнее затворническое воспитание в институте не могло способствовать быстрому развитию ее и ознакомлению с жизнью; поэтому она вышла совсем ребенком. Само собою разумеется, что она нетерпеливо ожидала давно желанной минуты освобождения из заточения; но подобно птичке, очутившейся вдруг на воздухе после долгого заключения в клетке, бедная девочка, привезенная в дом Авдулиных, была до крайности смущена, чувствовала себя неловко, всего дичилась. Она видела кругом себя все новые лица и выручена была только моим появлением. Добрейшая Дарья Николаевна Авдулина приняла ее, как родную; деятельно занялась ее снаряжением с помощью Анны Алексеевны Мельниковой. Вся семья наперерыв старалась угождать и развлекать полудикую девочку, на вид задумчивую и ко всему равнодушную. Старался и я рассеять ее, катая в санях по городу. В исполнение родительского указания, возил ее к дяде, Павлу Дмитриевичу Киселеву, который принял ее ласково и отпустил с подарком.

В три или четыре дня все закупки и заказы для сестры были кончены, зимняя одежда для дороги готова, испрошенный мною 28-дневный отпуск

разрешен, — и в назначенный день, распростившись с гостеприимною и радушною семьею Авдулиных, выехали мы из Петербурга вчетвером в добытом из конторы дилижансов закрытом возке. Ехали мы, не спеша, с остановками для ночлегов, дабы не утомить слабой здоровьем сестры, непривычной к дороге. Нужно ли говорить о радостной встрече в родительском доме, о том, что испытало материнское сердце, когда отданная с малолетства в чужие руки малютка, после девяти лет отсутствия, возвратилась, наконец, в семью уже взрослою девицей. Для помещения ее приготовлена была личными заботами матери лучшая в доме комната, служившая ей до того времени спальней. Родители старались всячески дать возможно лучшую обстановку начинавшейся для дочери домашней жизни. Но, к сожалению, ничто не могло устранить невыгодные условия, сопряженные с болезненным состоянием матери, которая глубоко скорбела, что должна была отказаться от исполнения своего заветного долга — лично руководить первыми шагами в свете юной, крайне неопытной дочери, представить ее родне, ввести в общество, доставлять ей кое-какие развлечения. Все эти обязанности должен был принять на себя отец. Несмотря на свои занятия, служебные и частные, он возил дочь к родным и знакомым, а раз даже поехал с нею на бал в Благородное Собрание. Родные приняли мою сестру ласково; старались тешить ее, как ребенка; особенно же баловали ее дядя Сергей Дмитриевич Киселев и наш добрейший друг Порфирий Павлович Коробьин. Но она была еще в полной мере институтка тех времен: застенчивая, наивная, чуждая всех светских обычаев. Чувствуя себя неловко среди новых и посторонних лиц, она тяготилась выездами, скучала в обществе, имела вид грустный и равнодушный. Все охотнее оставалась она дома вдвоем с больной матерью или с младшими братьями; меньшему из них, Борису, она начала давать уроки.

Пробыв в Москве около трех недель, я провел большую часть этого времени с матерью, которая по-прежнему находила утешение в откровенных со мною разговорах о домашних делах и своих бесконечных скорбях. Теперь озабочивало ее положение дочери: предстоявшая ей грустная жизнь в родительском доме, недостатки институтского воспитания. Также сетовала она на бесконечные отсрочки возвращения брата Николая из командировки. Каждое письмо его приносило известие о новых препятствиях к выезду из Симферополя. Что касается болезни матери, то я оставил ее довольно бодрою и, хотя она жаловалась на боли в левой груди, и руках и ногах, однако же, мне и в голову не приходило, что тогдашнее мое свидание с нею было последним.

В первых числах марта я должен был возвратиться в Петербург. Там ожидала меня совершенно непредвиденная печальная новость: старик Алексей Николаевич Авдулин, после кратковременной болезни, окончил жизнь; мне уже не пришлось даже присутствовать на его погребении. Он был весьма

добр ко мне и ко всей нашей семье. (В письме матери моей, по случаю неожиданной кончины Алексея Николаевича, выразилась она, что девизом ее должно быть: "Qui me touche meurt" *).

До наступления летнего периода усиленных служебных занятий Гвардейского генерального штаба все свободное свое время посвящал я по-прежнему работам частным, доставлявшим мне средства к покрытию скромного моего бюджета. С прекращением участия в обоих Энциклопедических Лексиконах (общем и специально-военном) нужно было искать новых работ, и потому возникали у меня один за другим разнообразные проекты и набрасывались программы изданий, как-то: военного журнала при Военной Академии, руководство для офицеров той же Академии к историческому изучению высшей тактики (т. е. в форме систематического подбора исторических примеров), такого же исторического изучения стратегии, изучения великих полководцев и т.д. Все эти проекты предполагалось осуществить коллективными силами многих лиц, при содействии издателей-капиталистов. Но прежде всякой с моей стороны попытки дать ход моим проектам явились навстречу им два предприятия, в которых мне предложено было участвовать: с одной стороны, полковник князь Н.С. Голицын задумал составлять также коллективным трудом курс военной истории для руководства офицерам Военной Академии[65]; с другой — предпринято было книгопродавцем Глазуновым издание "Военной Библиотеки"[66] из переводов известнейших иностранных сочинений по военной истории и военному искусству.

В первом из этих предприятий, по плану князя Голицына, предполагалось весь курс военной истории разделить на несколько периодов, и каждый период поручить особому редактору, который должен был, за установленную плату, изложить свой отдел в данном объеме, соответственно программе преподавания в Военной Академии. На покрытие расходов как в уплату сотрудникам, так и на самое издание полагалось испросить субсидию от казны, с рассрочкою на известное число лет. План этот, одобренный академическим начальством, восходил чрез военного министра на Высочайшее разрешение. Работа была распределена между офицерами Генерального Штаба, бывшими слушателями в Военной Академии; кроме меня, были сотрудниками: Штюрмер, Богданович, Горемыкин, Вуич, Кузьминский и еще несколько. На мою долю досталась Тридцатилетняя война, к составлению которой и приступил я неотлагательно.

В издании "Военной Библиотеки" главную редакцию приняли на себя генерал барон Медем (собственно по военной части) и профессор О.И. Сен-

* "Погибнет, кто меня коснется" (*пер. с фр.*).

ковский, известный ориенталист, редактор журнала "Библиотека для Чтения". Мне предложено было перевести "Mémories du maréchal Gouvion S-t Cyr"*, начав с 1-го тома, заключавшего в себе рассказ о кампании 1796 года в Италии и Германии. Перевод этой книги занял меня в течение большей части 1838 года.

Кроме того, вошел я в сношение с редактором "Отечественных Записок" Андреем Александровичем Краевским (который был в то время преподавателем истории в Павловском кадетском корпусе и других учебных заведениях). Вызвавшись быть сотрудником этого ежемесячного журнала, я принялся на первый раз за составление статьи "Суворов как полководец".

Таким образом, набралось у меня в этом году работы вдоволь и пришлось трудиться прилежно во все свободные от службы часы. Само собою разумеется, что лагерное время было перерывом в этой деятельности. Уже в мае месяце я был командирован, как и в прошлом году, для приготовления карты к предстоявшим маневрам, т. е. для нанесения засеянных полей и дорог. Пред вступлением войск в лагерь, происходили 10 и 11 июня маневры, и с этого времени началась обычная лагерная суета. Почти в самом начале нашего водворения в Красном Селе мы были встревожены большим пожаром, истребившим целые слободы, где квартировал лейб-гвардии Кирасирский Его Высочества Наследника Цесаревича полк.

В это лето я исполнял обязанности дивизионного квартирмейстера 2-й гвардейской легкой кавалерийской дивизии, которою командовал генерал-лейтенант Штрандман — замечательно бестолковый, взбалмошный человек. После обычных строевых учений и смотров, полковых, бригадных и дивизионных, начались во второй половине июля малые маневры, происходившие 23, 25, 26 и 28 числа. В каждый из этих дней, по заранее составленному расписанию, образовались по два отряда из всех трех родов оружия, примерно в составе 8 батальонов, с несколькими эскадронами и орудиями для действий друг против друга с известною тактическою задачей. Так, мне досталось участвовать 26 июля в качестве старшего офицера Генерального Штаба при отряде, состоявшем под начальством командира лейб-гвардии Московского полка, генерал-майора Штегельмана; отряду этому дана была задача — прикрывать большой транспорт, предполагавшийся в числе 200 повозок, при движении его из-за Кавелахских высот чрез военное поле к Красному Селу, от противника, ожидаемого со стороны Кипени и имевшего большой перевес в кавалерии. Исполнение этой нелегкой задачи было начальством вполне одобрено.

Затем большие маневры продолжались в этом году всего три дня: 29, 30 и 31 июля, и вслед за тем началось выступление войск из лагеря.

---

* "Записки маршала Гувьона Сен-Сира" (*пер. с фр.*).

Известия из Москвы, после моего выезда оттуда, были некоторое время весьма утешительны насчет состояния здоровья матери. Болезнь ее настолько облегчилась, что врачи разрешили ей выезжать и даже ходить пешком в хорошую погоду. Первый выезд ее был к ночной заутрене на Светлое Воскресение, в домовую церковь князя Сергея Михайловича Голицына (в нескольких шагах от дома, где жили мои родители). Большим счастьем было для матери выехать в первый раз с дочерью. В тот же день Светлого Воскресения (3 апреля) она была на семейном обеде у Киселевых, и тут произошло ее свидание с Прасковьею Петровною Киселевой, с которою она не виделась уже около пяти месяцев. Первые эти выезды естественно утомили больную; однако же, она продолжала выезжать в течение почти всего апреля месяца; даже возила два раза дочь в театр на представления гостившего в Москве петербургского трагика Каратыгина. Вследствие ли излишнего утомления от выездов или по естественному ходу болезненного процесса, — положение больной к концу апреля начало снова возбуждать опасения. Боялись, что прежний недуг, вынудивший несколько месяцев ранее прибегнуть к серьезной операции, может возобновиться в другой (левой) груди. Снова начались совещания врачей: Рихтера, Овера, Эвениуса. Пробовали они облегчать боли в руке паровым лечением; но пользы от того не оказалось; положили опять начать с 1 мая пользование минеральными водами, хотя больная не имела уже никакой веры в полезное их действие. Больная, выносившая обыкновенно страдания с большим мужеством, теперь слегла в постель. Однако же, еще 27 апреля она поручила моей сестре написать мне, чтобы я не тревожился слухами, которые могут до меня дойти; "хотя она и не совсем здорова, но Бог милостив и возобновления болезни никогда не будет"[67].

В таком положении была мать, когда приехал, наконец, в Москву брат, Николай. Сестра писала, что не узнала его в первую минуту, так он переменился и загорел. Продолжавшаяся целый год командировка принесла ему большую пользу во многих отношениях: умственный его кругозор расширился, прежнее поэтическое настроение уступило место стремлению к деятельности на почве реальной жизни; пред ним открылся новый мир народного быта. С этого времени заинтересовался он вопросами экономическими и административными; начал заниматься статистикой, которую прежде находил сухим предметом*. Отдых его в Москве был непродолжителен: обязанности служебные требовали возвращения его к чиновничьим занятиям, о которых помышлял он с отвращением**. 15 мая он уже был в Петербурге.

Во время пребывания брата Николая в Москве приехала туда Варвара Дмитриевна Полторацкая с частью своей семьи. Она прожила несколько

* Письма его в 1833 и 1834 годах.

** В письме матери ко мне от 6 мая брат сделал приписку: "Добродетель Лекса не вознаграждает скуки чиновничьей жизни".

дней в доме моих родителей; а потом гостила у них несколько дней одна из институтских подруг сестры — Леонтьева. Родители надеялись, что гостья сколько-нибудь развеселит нашу угрюмую дикарку; они придумывали всякие средства, чтобы развлекать и занимать ее. В день ее именин (1 апреля) в числе множества подарков от родных получила она рояль, что дало возможность приступить к урокам музыки, вместе с братом Владимиром. С ним уже брала она у m-r S-t Thomas уроки французского языка, а потом и рисования у состоявшего при Комиссии построения храма художника Чичагова. Но и к этим занятиям относилась она так же равнодушно и безучастно, как ко всему другому. В письмах матери постоянно высказывались сетования на замкнутый характер дочери; в ответах своих я старался успокаивать больную мать, выставляя и переходный возраст сестры, и влияние замкнутого институтского воспитания, и даже отчасти замечаемые в ней болезненные признаки, подававшие повод врачам присоветовать, чтобы она вместе с матерью пользовалась минеральными водами.

Воды и на этот раз принесли мало пользы матери; напротив того, боли в руке и груди усилились. В половине июня была новая консультация: сверх прежних врачей, приняли в ней участие Высоцкий, Ставровский и Дядьковский; но в это же время доктор Рихтер уезжал в деревню, передав больную на попечение Эвениуса. На консультации решено было прекратить минеральные воды; начали лечить каким-то декоктом при строгой диете.

Целый месяц продолжались у бедной страдалицы самые острые боли; в левой груди образовалась водяная. При всей своей твердости она уже не в силах была скрывать свои страдания и сама молила Бога о прекращении их смертью. "Слыша ее оханья, — писала мне сестра, — я не могу воздержаться от слез". 18 июля, чувствуя приближение смерти, больная исполнила с твердостью христианский долг, простилась со всеми наличными членами семьи; нас, старших сыновей, благословила, глядя на наши портреты, а 23 июля, в субботу, тихо кончила жизнь. Последними словами ее были: "Господи, мои дети".

Отец, извещая меня 24 числа о постигшем нас несчастье, выразился, что "она отдала Богу душу, как святая"... "Страдания, — писал он, — были ужасны до последнего часа; а тут скончалась так тихо, так божественно, как может расстаться с жизнью одна праведница..."[68].

26 июля, во вторник, совершилось погребение в Новодевичьем монастыре. Брат Николай, выехавший из Петербурга до получения известия о кончине матери, еще поспел к печальному обряду; мне же не удалось отдать ей этот последний долг. Приехав, по окончании лагеря, в Новую Деревню, на дачу Авдулина, чтобы, по примеру прежних лет, отдохнуть несколько недель от летних мытарств, я только тут получил роковое известие, уже чрез несколько дней после похорон. Как громом поразила меня эта весть. Хотя мне давно уже было известно ухудшение в положении матери, но мне не при-

ходило в голову, что так близок конец ее жизни. Потеря матери была для меня сильным ударом; она всегда относилась ко мне с такою нежностью, доверием, откровенностью, что кончина ее казалась мне прекращением половины собственного моего существования. Убитый горем, я бросился к начальству просить нового отпуска на самое короткое время, и поскакал опять в Москву, чтобы, по крайней мере, поклониться праху обожаемой матери на свежей еще могиле, а вместе с тем по возможности облегчить своим участием горе бедного отца.

Я нашел его удрученным, убитым, но спокойным. Двадцать три года прожили супруги в постоянном, неизменном согласии, в сердечной друг к другу привязанности, разделяя обоюдные радости и печали. В письме к Павлу Дмитриевичу Киселеву (от 27 июля), извещая его о кончине его сестры, отец писал: "Она была женщина необыкновенная, с чувствами возвышенными и сердцем любящим. Я потерял с нею все. Пожалейте обо мне"[69]. Со своей стороны, Павел Дмитриевич, узнав о кончине своей сестры во время объезда приволжских губерний, писал Сергею Дмитриевичу Киселеву (13 августа, из Саратова): "Огорчительное известие, которое получил от тебя, мне было предсказано Арендтом в Петербурге. Несчастная мученица прекратила страдальческую жизнь свою, оставив по себе доброе имя и душевное сожаление родных и всех умевших ее ценить. Дай ей, Бог, лучшую участь в неизвестном мире; здесь же судьба ее была постоянно несчастная. Смерть была для ее убежище; для нас же — всегдашнее огорчение"...Тут же поручал он Сергею Дмитриевичу принять на себя распоряжение тем пособием в 1200 рублей, которое высылалось ежегодно из имений Павла Дмитриевича покойной его сестре на воспитание детей. "Тебе более известны нужды их; ты, любезный друг, будешь в этом отношении их опекуном"[70].

Меньший брат, Николай Дмитриевич Киселев, казавшийся совсем отчужденным от семьи, также выразил свои чувства в письме к старшему брату, Павлу Дмитриевичу, (от 13—25 декабря): "Je n'ai pas besoin de vous exprimer, avec quels regrets j'ai appris la mort de norte pauvre soeur. C'était une brave et excellente femme, qui aurait dû vivre pour ses enfants et surtout pour sa fille"*.

Действительно, кончина матери всего прискорбнее отозвалась на младших детях и на дочери. Брат Николай, в том письме, которым известил меня немедленно по приезде в Москву о постигшем нас несчастье, писал: "Никто, кроме нас самих, даже самые близкие к нам, не могут вполне понять всю нашу потерю. Сердце рвется при одной мысли о том; Маша и Володя очень жалки; будущность их более всего меня огорчает"... В то же время и сестра, казавшаяся такою равнодушною и холодною, выражая свое горе в письме ко

* "Мне нет нужды говорить Вам, с какой печалью и сожалением я узнал о смерти нашей бедной сестры. Это была славная и замечательная женщина, которая должна была жить для своих детей и особенно для дочери"[71] (*пер. с фр.*).

мне и брату Николаю, писала: "До сих пор мысли мои покрыты туманом; в голове беспорядок. Иногда забудусь на мгновение; но как только вспомню, что я — сирота, что потеряла мать именно тогда, когда она была мне особенно нужна, когда она сделалась для меня так дорога и когда я так полюбила ее, насмотревшись на ее страдания, — все это кажется мне тяжелым сном, в котором настоящее сливается с будущим в самом ужасном виде. Пожалейте сестру вашу, которая больше всех потеряла". Таким образом, сестра, несмотря на свою молодость, вполне отдавала себе отчет в своем положении; она понимала свое сиротство. Отец, при всей своей заботливости и любви к детям, не имел возможности заменить им нежную мать и заниматься ими, как занималась она. Понимал это и брат Владимир, хотя ему было тогда всего 12 лет. Он был любимцем матери и сам питал к ней нежную привязанность. Смерть ее произвела на него глубокое впечатление.

Пробыв с отцом около двух недель, я возвратился в конце августа, вместе с братом Николаем, в Петербург. После нашего отъезда отец окончательно решился очистить весь верхний этаж занимаемого им дома для лучшего помещения Комиссии с ее канцелярией и чертежной; для себя же оставил один нижний этаж. Для такого перемещения потребовались довольно большие переделки и приспособления. Пока тянулись работы в доме, отец оставался в немногих комнатах только с одним Владимиром; младшего, Бориса, отвезли к Полторацким, в тверскую их деревню, а дочь временно поместилась у Киселевых, сначала на даче в Петровском парке, а с 12 сентября в новой их московской квартире (на Собачьей площадке, в доме Лёвенталя).

Отец заметно опустился, не только нравственно, но и телесно, хотя и писал (12 сентября): "Обо мне много не беспокойтесь; физические мои силы так счастливо организованы, что нравственные удары на них мало действуют. Один сон изменил... Может быть, без вас, составляющих мое утешение, я бы не имел твердости перенести потерю того, что составляло предмет моей жизни. Эту потерю я чувствую час от часу все больше. Жизнь моя скучна, грустна; но я должен жить для меньших братьев ваших, а более — для сестры"[72].

Жизнь в чужом, хотя и родственном доме тяготила сестру. Чувствуя свое сиротство и продолжая горевать по матери, она с нетерпением ожидала переезда к отцу. В день своего рождения (17 сентября) она ездила в Новодевичий монастырь плакать на могиле матери. Только 1 ноября оказалось возможным переселить ее от Киселевых к отцу. К тому же времени, после долгих поисков, нашлась "гувернантка" или "компаньонка" — madame Amiltte — бойкая француженка, лет сорока, которая, однако же, оставалась недолго: ее болтовня и пустословие так надоедали сестре, и отношения между ними до того сделались натянутыми, что в половине января отец должен был искать другую гувернантку. К счастью, поиски были непродолжительны: новая гувернантка, madame Mallet, оказалась женщиною более разумною, чем ее предместница;

она сумела поставить себя на приличную ногу с вверенною ее попечению 16-летней девицей.

Меньший брат, Борис, оставался у Полторацких до половины декабря. По возвращении в отцовский дом он был предоставлен на исключительное попечение молодой немочки (Матрены Ивановны), которая не могла иметь большого авторитета над 8-летним мальчиком. Брат Владимир, которому было уже 12 лет, оставался совсем без надзора; но к счастью, это был мальчик очень благоразумный, рассудительный не по летам и прилежный к учению. Продолжая брать уроки у прежних учителей, он сознавал, как недостаточно то образование, которое мог он от них приобрести. В одном из писем ко мне он выразился: "Ни за что не хочу быть неучем, чтобы отец не мог за меня краснеть".

Стараясь заглушить свое горе усиленными занятиями, отец много хлопотал о лучшей обстановке Комиссии, которая уже 3 октября имела первое заседание в новом ее помещении. В то время князь Дмитрий Владимирович Голицын уехал опять за границу на целый год; никто его не замещал; обязанности генерал-губернатора были распределены между гражданским губернатором и московским комендантом, а в Комиссии построения храма председательствовал князь Сергей Михайлович Голицын. В ноябре снова прибыл в Москву Государь. Представленным от Комиссии отчетом Его Величество остался весьма доволен и благодарил членов. Пользуясь благоприятными обстоятельствами, князь Сергей Михайлович исходатайствовал усиление содержания моему отцу: получаемые им 3 тысячи рублей ассигнациями были удвоены. Это было немаловажным для него облегчением.

Возвратившись в конце августа из Москвы в Петербург в самом грустном настроении, я нашел утешение в дружеском сочувствии семьи Авдулиных, которая также была в трауре. В то время Петербург был еще пуст; почти все товарищи мои разъехались в отпуск; начальство также отсутствовало: оба брата Веймарны отдыхали в своих имениях под Кипенью (Касково и Переярово).

Пользуясь свободным и спокойным временем, я снова принялся с усиленною деятельностью за свои работы, прерванные на большую часть лета. В течение осени закончил я для курса военной истории свой отдел о Тридцатилетней войне, исправил его по замечаниям князя Н.С. Голицына; также окончил перевод 1-го тома записок Сен-Сира для "Военной Библиотеки". Составленная для "Отечественных Записок" статья "Суворов как полководец" прошла благополучно чрез цензуру и была потом помещена в одной из первых книжек журнала за 1839 год (№ 4, апрель). Другая, составленная мною для того же журнала статья "Русские полководцы XVIII столетия" была признана неудобною для напечатания по тогдашним цензурным условиям, что,

впрочем, можно было заранее предвидеть, так как в статье моей изображались все наши военные знаменитости пресловутого Екатерининского царствования, за исключением одного Суворова, в самом невыгодном свете.

В эту осень на офицеров Гвардейского генерального штаба возложены были и некоторые служебные работы, по инициативе самого начальства. Предположено было составить элементарное руководство по тактике, в примерах, по образцу вышедшего в Брюсселе сочинения бельгийского генерала Фан дер Меера; но по ближайшему соображению, составлена была программа, значительно отступавшая от бельгийского образца. Работа была распределена между несколькими офицерами и окончена уже в следующем 1839 году, а напечатана только в 1840-м под заголовком "Свод некоторых соображений для движения, расположения и действия в бою войск", с атласом чертежей in folio*. Работа эта очень понравилась Императору Николаю Павловичу.

В исходе года к нашему обществу офицеров прибавились еще два товарища из нового выпуска Военной Академии: поручики: лейб-гвардии Семеновского полка — Владимир Савич Семека и Измайловского — Александр Карлович Баумгартен. Это были два совершенно различные типа: сколько первый был всегда в веселом расположении духа, столько же другой серьезен и никогда не улыбался. Впрочем, оба оказались хорошими товарищами и способными офицерами.

В конце каждого года поднимался во всех частях гвардии вопрос, крайне интересовавший молодых офицеров: кто из них будет выбран начальством для командирования на Кавказ? Тогда от каждого полка посылалось по одному офицеру на годичный срок, чтобы участвовать в военных действиях, непрекращавшихся в этом крае круглый год, летом и зимой. Командировался один офицер и от Гвардейского генерального штаба. Уже в прошлом году мечтал я о такой командировке; мне начинали уже надоедать бесцветная петербургская жизнь и формализм гвардейской службы; чувствовалась потребность подышать на просторе более свежим воздухом, увидеть иные, кроме петербургских, местности, и в особенности ознакомиться с настоящею военною службой. Тогда кавказская боевая служба была хорошею школой для молодых офицеров; она давала им не только некоторую практическую опытность в службе, но и вообще развивала их, а вместе с тем открывала пред ними более видную дорогу. В августе 1837 года я сообщил родителям свою заветную мысль, но получил от матери отчаянное письмо: она встревожилась, огорчилась, ужасаясь одной мысли, что я могу подвергаться опасности. Надобно было уступить нежным чувствам больной матери; мысль о Кавказе была отложена. Но год спустя, когда не стало уже дорогой моей матери, снова поднял я вопрос о поездке на Кавказ. Отец мой, хотя и не сочувствовал моему намерению и советовал не напрашиваться на опасности, находя, что на Кавказе ведется

---

* в половину листа (*пер. с лат.*).

такая война, что "можно погибнуть ни за грош", однако же, и не противился, понимая нравственный долг каждого, носящего военный мундир. "Благословляю и надеюсь", — писал он мне 1 декабря.

Начальство приняло мое заявление благосклонно, и командировка моя на Кавказ в следующем году была решена. С половины ноября начал я готовиться к дальней поездке: хлопотал о продаже своей верховой лошади, обзаводился походными принадлежностями и т.д. Наслышавшись от брата Николая столько чудес о Крыме, я мечтал о проезде на Кавказ кружным путем, чрез Крым. Но мечта эта оказалась совсем непрактичною и не осуществилась.

Расставаясь на целый год с братом Николаем, я был спокоен на его счет: в то время он уже оперился на службе; был повышен в чине, получил место столоначальника с увеличением содержания, пользовался особенною благосклонностью директора департамента М.И.Лекса и самого министра. В подспорье получаемому содержанию брат зарабатывал кое-что, участвуя в некоторых издания: в "Библиотеке коммерческих знаний", в "Журнале Министерства внутренних дел" и других.

Кстати скажу и о своих частных работах, которые давали мне возможность, при крайне скудном содержании по службе, изворачиваться в своих финансовых средствах, без долгов, несмотря на поездки в Москву, на многие другие случайные расходы, выходившие из нормального бюджета, и в особенности на предстоявшую командировку на Кавказ. В течение десяти месяцев совместной жизни с братом Николаем (с приезда его из Крыма в мае 1838 года до февраля 1839-го, т.е. отъезда моего на Кавказ), казенное мое содержание ограничивалось суммою 877 рублей ассигнациями, что по тогдашнему курсу составляло всего 234 рубля серебром; с добавлением получаемого после лагеря пособия в 600 рублей ассигнациями или 160 рублей серебром выходит в сумме 400 рублей серебром. С такими ничтожными средствами, конечно, не было бы возможности даже прожить на месте в Петербурге. Но частные мои работы за тот же период времени дали до 3200 рублей ассигнациями (т.е. около 850 рублей серебром), не считая оставшегося за редакциями долга от 2 до 3 тысяч рублей за статьи, еще ненапечатанные. Вот этот заработок и дал возможность не только покрыть текущие расходы общего нашего с братом домашнего хозяйства и мои личные, но еще пополнить прошлогодний дефицит (в 1000 рублей), уделить небольшую сумму в помощь брату и приберечь средства на предстоявшую поездку на Кавказ.

Книга 2

1839–1840

ГОД НА КАВКАЗЕ
1839—1840

В дороге

Набег в Ичкерию

Наступательное движение к Ахульго

Ахульго

Эпилог экспедиции

Тифлис и Ставрополь

Семья. Возвращение в Петербург

В ДОРОГЕ

После целого ряда прощальных вечеров, товарищеских и приятельских, выехал я из Петербурга 21 февраля, в дилижансе, и 24-го был в Белокаменной*.

В числе гвардейских офицеров, ехавших также на Кавказ, командирован был от лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка корнет Ордалион Николаевич Новосильцев — сын тайного советника Николая Петровича Новосильцева, в доме которого я был принят весьма радушно, и племянник Петра Петровича Новосильцева, жившего в Москве и дружного со всею моею семьею. По желанию отца и дяди молодого кирасирского офицера, я сговорился ехать на Кавказ вместе с ним. Хотя он соблазнял меня своею дорожною коляскою, однако же согласился я нехотя, предвидя, что такой спутник будет для меня более в тягость, чем в облегчение. И действительно, неудобства совместного нашего путешествия выказались с самого начала. Я торопился выехать из Петербурга, желая провести некоторое время в Москве с отцом и родственниками; Новосильцев медлил выездом; поэтому мы условились съехаться с ним в Москве.

В доме отцовском все носило еще следы недавней тяжкой утраты. Отец не мог свыкнуться с одиночеством своим, тосковал и старался заглушить свое горе усиленною служебною деятельностью. Сестра, лишившись матери на 17 году жизни, чувствовала беспомощное свое положение и скучала, не имея других развлечений, кроме посещения дома Киселевых. К счастью, жившая при сестре дама, m-me Mallet, оказалась весьма симпатичною и сумела стать в отличные отношения с молодою девушкою. Что касается до младших братьев, Владимира и Бориса, то они были еще совсем детьми; воспитание их немало озабочивало отца при скудных его средствах жизни.

В Москве провел я тихо и грустно около 3-х недель. 8 марта прибыл мой спутник Новосильцев, и мы сговорились с ним выехать в дальнейший путь 18 числа; но и тут не удалось нам выехать вместе. Он опять нашел какое-то препятствие; притом ему нужно было заехать куда-то в деревню, так что я пустился в путь один, на перекладной, условившись съехаться с ним в Орле.

В то время путешествия по России, даже в самой неприхотливой форме — на перекладной, сопряжены были с большими затруднениями, остановками и не обходились без неприятностей. Уже в Серпухове встретилась мне остановка; все почтовые лошади на станциях забирались проезжавшим семейством графа Строгонова. Я должен был нанять "вольных" лошадей до

* Далее в автографе зачеркнуто: Вслед за мною прибыл туда денщик Николай Попов с вещами (*прим. публ.*).

Тулы, куда прибыл утром 19 числа, в Вербное воскресение. Здесь я остановился на два дня у родственников Левшиных. Дмитрий Павлович Левшин, занимавший тогда место управляющего Палатою государственных имуществ в Туле, был женат на моей тетке княжне Вере Яковлевне Грузинской; у них было несколько дочерей, еще малолетних*. В этой семье я провел два дня весьма приятно и успел осмотреть оружейный завод, который, впрочем, был тогда почти в бездействии после недавнего пожара.

От Тулы до Мценска ехал я на "сдаточных", т.е. опять по вольному найму, но с передачею в известных пунктах от одного извощика другому. На всем пути от Москвы дорога была санная, но крайне ухабистая. Морозы были довольно чувствительные. 21 числа, к обеду, доехал я до Орла и остался там ночевать в гостинице, чтобы дождаться моего спутника Новосильцева. Он явился наконец в ночь, с жалобами на свою пресловутую коляску, которая задерживала его чуть не на каждой станции, так что он позавидовал моей перекладной. Ради починки коляски, мы должны были оставаться в Орле почти весь день 22 числа и выехали только вечером, уже вместе. Теперь пришлось и мне испытать все удовольствия езды в подобном громоздком экипаже в такое время года, когда путь попеременно переходит от снежных сугробов к волнообразным ухабам, то к глубокой, липкой грязи или к обледенелым зажорам. Беспрестанно случались у нас поломки в экипаже; по ночам не раз он опрокидывался; изморенные лошади часто не в силах были сдвинуть его с места. Так, 25 числа, накануне Светлого Воскресения, когда мы уже подъезжали вечером к Харькову, с твердым упованием встретить там великий христианский праздник, вдруг наша коляска врезалась в зажору и застряла. Никакие усилия ямщика и нашей прислуги не могли сдвинуть колымагу. Мы должны были послать ямщика в ближайшую деревню за подмогой, а сами стоически ожидали возвращения его, сидя в коляске, в виду большого города, из которого доносился до нас колокольный звон к пасхальной заутрени. Так мы встретили праздник. Только под утро добрались мы до Харькова на простой крестьянской телеге; коляска же с прислугой и вещами дотащилась только к обеденному времени, так что все утро не могли мы выйти из занятого нами номера гостиницы.

В Харькове решились мы провести большую часть Святой недели, в ожидании исправления нашего, сильно пострадавшего экипажа. У меня был там один знакомый дом — Коробьина, родного брата нашего московского друга Порфирия Павловича; у него были две дочери, молоденькие и красивые. Семья эта приняла нас очень любезно, и мы проводили у них время приятно. Чрез них же познакомились с несколькими другими харьковскими домами; были раза два в театре; раз на бале в собрании; но, к сожалению, дурная

---

*Одна из них впоследствии вышла замуж за Мих<аила> Ник<олаевича> Лонгинова.

погода, холод и снег отбивали охоту в свободные утренние часы ходить по городу. Выручал нас отыскавшийся случайно общий наш петербургский знакомый — молодой Неклюдов, который своей веселой болтовней умел расшевелить даже скучного моего спутника.

1 апреля выехали мы из Харькова. По мере того, как подвигались на юг, становилось теплее; все меньше видно было остатков зимнего снега, а местами на дороге показывалась уже пыль. Меня чрезвычайно занимала перемена характера природы. С напряженным вниманием всматривался я в степные пространства, расстилавшиеся в бесконечную даль, во многих местах уже покрытые травой и цветами; замечал особенности малороссийских деревень и населения. Но местами дорога все еще была очень плохая; беспрестанно случались остановки, то за лошадьми, то за поломками экипажа, который не раз опрокидывался, так что мы должны были пересаживаться на перекладную и потом на станции выжидать прибытия нашего рыдвана. Раз случилось нам в целый день проехать только 35 верст, благодаря поднявшейся бури и метели. Другой раз пришлось запрячь в коляску быков. Ради всех этих затруднений, добрались мы до Ростова только 6 числа, т.е. на седьмые сутки по выезде из Харькова.

Переночевав в Ростове, на другой день, 7 числа, доехали мы до Аксайской станицы. Здесь новое препятствие — разлив Дона на широком пространстве, верст на 11. Переправа совершалась на плоскодонной барже и продолжалась 15 часов, притом не совсем безопасно, по причине поднявшегося сильного ветра и наступившей темноты. Мы вышли на берег только в 11-м часу вечера, у Старо-Махинской станицы; вошли в одну казачью хату, где нас угостили отличной стерляжьей ухой, пока послали человека за почтовыми лошадьми на станцию, находившуюся верстах в 7 от места нашего ночлега. Только утром 8 числа тронулись мы оттуда, а на другой день, 9 апреля, к 7 часам вечера были в Ставрополе.

Таким образом, все путешествие наше от Москвы до Ставрополя продлилось 23 дня!.. Рассказываю все эти подробности путешествия в том соображении, что со временем трудно будет представить себе, каковы были средства сообщения в России в первую половину XIX столетия.

По приглашению прежнего товарища моего по Гвардейскому генеральному штабу подполковника Россильона, я по приезде в Ставрополь остановился у него и с удовольствием расстался с Новосильцевым, который поместился в гостинице. У Россильона я застал в сборе все общество офицеров Генерального Штаба, что доставило мне случай познакомиться почти со всеми новыми моими товарищами. На следующий день, 10 числа, представился начальству: командующему войсками Кавказской линии и Черномории генерал-лейтенанту Граббе и начальнику штаба флигель-адъютанту полковнику Траскину. Обер-квартирмейстер подполковник Норденстам в то время был

в отсутствии: он выехал заблаговременно на левый фланг линии и в Северный Дагестан для приготовительных распоряжений по случаю предстоявшей большой экспедиции против Шамиля, под начальством самого генерала Граббе*. С другой стороны, на Черноморской береговой линии предположено было действовать десантным отрядом под начальством генерала Раевского. Генерал Граббе так же, как и полковник Траскин, приняли меня весьма благосклонно и предоставили мне выбор отряда, куда желал я быть назначенным. Не колеблясь, просил я назначения в "Чеченский" отряд генерала Граббе, на левом фланге и в Северном Дагестане. Спутник же мой Новосильцев был назначен в отряд Раевского. Признаюсь, я доволен был, что мне не придется снова связаться на все время экспедиции с моим скучным товарищем путешествия; он же потом сетовал на меня и даже пенял мне, особенно когда впоследствии выяснилось, что на долю Чеченского отряда выпала главная роль в военных действиях этого года.

К сожалению моему, Россильон должен был на другой же день по приезде моем в Ставрополь уехать в командировку. Также разъезжались постепенно и все другие офицеры Генерального штаба, так что некому было помочь мне в приготовлениях к предстоявшей мне походной жизни. Впрочем, главную из этих работ — покупку верховых и вьючных лошадей — принял на себя Россильон, обещав мне приготовить лошадей в Моздоке, ближе к сборному пункту Чеченского отряда — крепости Внезапной. Оставалось добыть в Ставрополе седла, вьюки, бурку и прочие необходимые принадлежности походные. В этих хлопотах и прошли большей частью те десять дней, которые я провел в Ставрополе. Впрочем, по утрам я занимался прилежно в штабе просмотром дел, чтобы ознакомиться с приготовительными распоряжениями к предстоявшей экспедиции и сколько возможно изучить самый край. В короткий срок я успел сделать много выписок и заметок, которые впоследствии пригодились мне для разных работ по Кавказу.

Время, проведенное в Ставрополе, пролетело незаметно и не без удовольствия. Из товарищей виделся я чаще с капитаном Генерального Штаба Ник<олаем> Ив<ановичем> Вольфом, с гвардейскими офицерами: Борисом Алексеевичем Перовским (Кавалергардского полка), графом Тизенгаузеном (Гродненского гусарского), Хрущовым (Конной гвардии), Вилькеном (артиллерии) и другими. Из местного общества, весьма немногочисленного и скромного, познакомился я с добродушнейшей четой — губернским почтмейстером Киселевским и с его женой; с управляющим Ставропольской Палатой государственных имуществ — Франком; с г-жею Нотара — интересной вдовой, в обществе которой охотно проводила время вся приезжая молодежь; затем с некоторыми из "декабристов", еще игравшими выдающуюся роль в

* В списке на полях против этой фразы авторская помета "Карта А"; под чертой — авторское примечание "Пояснение к этой карте см. в Приложениях" (*прим. публ.*).

тогдашнем обществе: Назимовым, князем Валерианом Голицыным, Кривцовым, Толстым и другими. Случалось обедать за общим столом в гостинице Наитаки (единственной в то время во всем городе); был даже раз на бале в собрании. С генералом Граббе за все время виделся только раза три.

19 апреля откланялся я начальству и вечером выехал из Ставрополя, вместе с бароном Ипполитом Александровичем Вревским, штабс-капитаном Генерального Штаба. Ехали мы на перекладной и в ночь с 20 на 21 число прибыли в Пятигорск, где едва добились плохого помещения в гостинице. Меня весьма интересовал Пятигорск, с его минеральными источниками, с его пятью коническими горами, составляющими как бы последние отпрыски Эльбруса, выброшенные этим великаном далеко на север, в степь. Здесь впервые довелось мне увидеть образчик горной местности. К сожалению, в первый день по приезде нашем в Пятигорск погода была дождливая, так что нельзя

"Барон И.А.Вревский с ординарцем"

было ничего видеть, даже в близком расстоянии. Мы должны были в этот день ограничиться только представлением местному коменданту генерал-майору Симборскому — брату Иеронима Михайловича, под ферулою которого я начал службу в гвардейской артиллерии. К следующему дню погода разгулялась; целое утро бродил я без отдыха, осматривая живописную местность и набрасывая по возможности в своем альбоме наиболее восхитившее меня виды. Я не заметил, как прошло время до 2-х часов пополудни, когда попался мне посланный бароном Вревским человек, чтобы напомнить мне о часе обеда. Едва успел я подкрепить свои силы скромною трапезою, сейчас же опять побежал на горы. С непривычки глаза к горной местности, я вздумал было взобраться на Машук и пустился наобум, по кратчайшему направлению, заранее восхищаясь видом, который откроется мне с вершины горы. Долго я карабкался, рискуя даже в иных местах свалиться с кручи; но чем далее подвигался, тем дальше от меня казалась вершина. Время уже приближалось к закату, и я должен был с досадою отказаться от своего непосильного предприятия. Спустившись с неменьшими затруднениями чем при подъеме, я достиг бульвара, когда уже совсем было темно. Только тут почувствовал я крайнее утомление и заметил изъяны и на своей одежде, и на собственной коже. Несмотря на то, первое мое знакомство с горной местностью доставило мне большое удовольствие.

23 апреля, в воскресенье, утром, выехали мы с Вревским из Пятигорска. Вдоль всей дороги тянулась линия казачьих постов; ибо в те времена даже в ближайших окрестностях Пятигорска и Георгиевска случались "происшествия". Шайки "хищников" пробирались незаметно через несколько кордонных линий, нападали на проезжих, на безоружных жителей, убивали или уводили в плен, угоняли скот или забирали другую добычу. В Екатериноградской станице мы переночевали, а 24 числа, выехав очень рано, прибыли около 9 часов утра в Моздок, где ожидали меня приготовленные Россильоном лошади. Гостеприимный комендант, майор граф Бельфорт, пригласил нас к обеду и сделал все распоряжения об отправке моих лошадей в крепость Внезапную. Для провода их назначен был казак Моздокского полка Макар Швецов, который должен был оставаться при мне на всю экспедицию.

После обеда мы успели проехать засветло еще одну станцию и остановились ночевать в станице Галюгаевской. По ночам езда вдоль линии не допускалась. На всем пути от Георгиевска, с правой стороны, виднелся снеговой хребет. Блестящее, серебристое очертание гор, казавшееся полосою светлых облаков, было для меня картиною совершенно новой и восхитительной. В то же время интересовало меня все встречавшееся на пути: казачьи станицы, кордонные посты, нагайские арбы, сами казаки линейные, необыкновенно ловкие, развязные, смышленые, красивой наружности, всегда в щегольском наряде с оружием, тщательно оберегаемым. Меня приводил в недоумение

вопрос: как могло поддерживаться то хозяйственное довольство, которое замечалось в каждой казачьей хате. Откуда брались материальные средства, необходимые для боевого снаряжения казака в таком блестящем виде? При той тягостной, почти непрерывной службе, которая в то время лежала на линейных казаках, особенно же на полках, растянутых узкою лентою по Тереку (Горском, Моздокском, Гребенском и Кизлярском), многое в экономическом существовании этого населения представлялось мне загадочным в первое время знакомства моего с краем.

25 апреля, около 9 часов утра, доехали мы до станицы Наурской. Здесь прекращалась почтовая езда и приходилось далее ехать на обывательских подводах. Пока приготовлялись лошади и телега, мы отобедали у командира Моздокского казачьего полка майора Власова, и в тот же день доехали до станицы Червленной — штаб-квартиры Гребенского полка, имевшей тогда громкую известность; она славилась красотой женского пола и легкостью нравов. Командир полка, граф Штенбок, принял нас с обычным кавказским гостеприимством. Мы нашли здесь многих из опередивших нас товарищей, ехавших также в Чеченский отряд. Спутник мой, барон Вревский, остался на некоторое время в Червленной; а я, переночевав там, продолжал на другой день, 26 числа, путь верхом; имущество же мое с денщиком Поповым везлось на арбе. До станицы Щедринской ехал я один: а там съехался с Хрущовым и графом Тизенгаузеном, с которыми и продолжал путь, уже с небольшим конвоем. Во всех станицах на пути заставали мы проводы отправлявшихся в поход казаков; все почти население станицы выходило в поле для прощания с отъезжавшими.

К вечеру 26 числа доехали мы до переправы на Терек у Амир-Аджи-Юрта*. Ночевали мы в небольшой слободке на левом берегу реки; на противоположной стороне находилось укрепленьице, весьма жалкого вида, возобновленное в 1825 году, после нападения горцев, которые тогда перерезали весь гарнизон. 27 числа, рано утром, переправились мы через Терек в большой лодке. Погода была прекрасная; вид снеговых гор, освещенных восходящим солнцем, был истинно великолепен. От переправы наш путь пролегал по равнине Кумыкской. Конвой наш состоял всего из десяти казаков. К обществу нашему присоединился новый спутник — майор Арбеньев, маленький человечек, щеголявший отборными фразами, с притязанием на остроумие. Он ехал в отряде в качестве дежурного штаб-офицера. На половине перехода случайно съехались мы с одним знакомым мне офицером Генерального Штаба, капитаном Шульцем (выпущенным из Академии годом после меня); он разъезжал с группою кумыков для каких-то рекогносцировок. Обменявшись с ним несколькими словами, мы снова разъехались в разные стороны.

---

* Против этой фразы в списке на полях помета автора "Карта Б" (*прим. публ.*).

64° 15
Б. Сукъ-булакъ
Артлугъ
Мехельта
Г У М Б Е Т Ъ
Ахъ-кентъ
А В А Р І Я
Карахи
64 15

Карта Б

64°30′
64°40′
А Л А Т А У
ШАМХАЛЬСТВО ТАРКОВСКОЕ
К О Й С У Б У
64°30′

К полудню доехали мы до укрепления Таш-Кичу, в 18 верстах от Амир-Аджи-Юрта. Комендант объявил нам, что ехать далее в тот день мы не можем, а должны ждать до следующего дня, чтобы ехать с "оказией", под прикрытием пехотного конвоя. Нам отвели помещение в солдатской слободке или форштадте, в плохой мазанке с земляным полом. Слободка, так же как и укрепление, находилась на левом берегу реки Аксая, текущей в высоких, крутых берегах. На противоположной стороне расположен кумыкский аул — Новый Аксай, и близ него, отдельно, замок кумыкского князя Муссы Хасаева. Пообедав чем Бог послал, мы пошли втроем, с Арбеньевым и Хрущовым, на ту сторону реки, чтобы взглянуть на кумыкский аул, а потом посетить князя Муссу Хасаева. Замок его состоял из нескольких одноэтажных домиков татарского типа, расположенных среди обширного квадратного двора, обнесенного высокою стеною из необожженного кирпича с такими же четыреугольными башнями по углам. Хозяин — благообразный старик высокого роста, с длинными белыми усами, в черном архалуке и белой папахе на голове — принял нас любезно, но с азиатским достоинством, сидя на ковре и с длинным чубуком в губах. Для нас, гостей, поставлены были низенькие скамеечки, употребляемые у азиатцев вместо столиков. Князь понимал по-русски; но разговор вел с нами через переводчика. Он угощал нас плохим чаем и трубками. Мы провели у него часа два, так что солнце уже садилось, когда вышли из замка Муссы Хасаева. Он предложил нам верховых лошадей, с тем, чтобы мы могли вернуться в нашу слободу кратчайшим путем, переехав через реку вброд, вместо кружного пути чрез аул и по зыбкому мосту. Возвратились мы на ночлег вполне довольные своим первым знакомством с одной из множества разновидностей кавказского населения.

На другой день, 28 числа, двинулись мы из Таш-Кичу к крепости Внезапной вместе с большим транспортом из кумыкских и ногайских арб под прикрытием роты Куринского егерского полка и кумыкской милиции. С той же "оказией" ехали в отряд многие кумыкские князья и уздени, щеголевато одетые, на прекрасных конях, с нарядной сбруей. Нам предстоял в этот день переход свыше 30 верст. Двигались мы ужасно медленно. Вереница повозок с пехотным конвоем, распределенным спереди, с боков и сзади, растянулась непомерно и следовала в большом беспорядке, без всяких предосторожностей. Казалось, что конвоирующие войска даны были не для охранения колонны от неприятельского нападения, а только для соблюдения установленной формальности. Дорога была однообразна и пустынна; в некоторых местах она шла кустарниками; большею же частью по открытой и ровной местности. Только вдали, с правой стороны, на горизонте, приковывал к себе наше зрение величественный снеговой хребет гор; а прямо спереди виднелся невысокий, лесистый гребень Гебек-кала, составляющий грань между Кумыкскою равниною и нагорною Салатавиею. После продолжительного привала на половине

перехода, на берегу реки Яман-су (где сменились конвоирующие войска), мы переправились вброд чрез эту реку, а потом вторично чрез Ярык-су и засветло добрались наконец до цели нашего путешествия — крепости Внезапной.

Крепость эта и рядом с нею главный кумыкский аул Андреев (Эндрэ) расположены на правом берегу реки Акташа, вблизи от выхода ее из горной долины. В самом близком расстоянии, над крепостью, господствуют лесистые высоты. Акташ, как все другие реки на Кумыкской равнине, везде проходим вброд. По приезде в крепость, отправились мы прямо к коменданту, майору Моравскому (он же и командир расположенного тут линейного № 11 батальона). Он отвел нам помещение в одной из пустых казарм, без всякой мебели. Не без труда достали мы стол, несколько скамеек, сена вместо кроватей; денщики промыслили в слободке кое-какие припасы и напитали нас. На другой же день, 29 числа, отправились мы сами в аул и закупили там всякой всячины. Немедленно образовалась у нас артель; к приехавшим вместе со мною (Арбеньеву, Тизенгаузену, Хрущову) присоединились бывшие уже там подполковник жандармский Викторов, капитан Сердаковский и штабс-капитан гвардии Бибиков. 30 уже числа, в воскресенье, надели мы эполеты, шарфы и явились к генерал-майору Галафееву, командиру 2-й бригады 20-й пехотной дивизии. На него было возложено непосредственное начальство собиравшимися при крепости Внезапной войсками Чеченского отряда. Он принял нас любезно и пригласил пройтись вместе с ним по крепости. В тот же день привели моих лошадей из Моздока; к великому моему горю, лучшая из них оказалась зараженною сапом, и пришлось мне искать другого верхового коня.

1 мая прибыл в Внезапную и сам генерал Граббе.

НАБЕГ В ИЧКЕРИЮ

Собравшиеся под крепостью Внезапной войска Чеченского отряда расположились лагерем в нескольких верстах к северу от крепости, за аулом Андреевым, на правом берегу Акташа и тылом к реке. В то время в отряде состояло всего 6 батальонов пехоты (2 батальона Кабардинского егерского полка и 4 батальона — Куринского), рота сапер, 12 орудий (в том числе 4 казачьих), 5 сотен казаков (в том числе 3 сотни пеших) и несколько сотен туземной милиции. Численность этих войск едва достигала 6500 человек, собственно же в строю было не более 5800 человек.

Ко времени приезда генерала Граббе не были еще окончены все приготовления к экспедиции. Еще подвозились запасы продовольственные и боевые. Даже не съехались все лица отрядного штаба; не было налицо ни одного офицера Генерального Штаба, кроме меня. Генерал Граббе вынужден был поручить исправление обязанностей начальника штаба командиру Куринского егерского полка полковнику Пулло, а на меня, приезжего молодого офицера, возложить временно обязанности обер-квартирмейстера. Поэтому я должен был 2 мая объехать лагерь и окрестности его на большом пространстве, чтобы выбрать место для пастьбы отрядного табуна и указать размещение передовых постов для охранения как этого табуна, так и самого лагеря. Вследствие произведенной мною рекогносцировки, под прикрытием полусотни туземной милиции, в тот же день выставлены были наблюдательные посты от конницы. Меры эти оказались очень не лишними: в предшествовавшую ночь угнано было до 30 отрядных лошадей, можно сказать, на глазах отрядного начальства.

3 мая генерал Граббе произвел смотр собранным войскам впереди лагерного их расположения. Конечно, тут не было никакого подобия тех блестящих парадов, к которым привык наш глаз в Петербурге. Не было ни щеголеватости в одежде, ни выправки, ни равнения; даже не всегда солдаты попадали в ногу. Нас, гвардейских офицеров, с первого взгляда поражали в кавказских войсках видимая распущенность, неряшество в одежде, даже казавшееся отсутствие дисциплины и точного отправления службы. Но вместе с тем не могли мы не подметить во взгляде каждого солдата какой-то отваги и самоуверенности, чего-то особого, отличавшего эти войска от всех других. Видимо, это были войска боевые, а не парадные.

С 3 же мая начали съезжаться чины отрядного штаба. Обязанности обер-квартирмейстера принял барон Вревский, пока был старшим в чине, а несколько дней спустя капитан Вольф до прибытия полковника Норденстама,

который все еще находился в Темир-Хан-Шуре, чтобы торопить снаряжение и отправление из Северного Дагестана предназначенных в состав Чеченского отряда частей войск и транспортов. Полковник Пулло остался начальником штаба. Это был хитрый грек, опытный в Кавказской войне, но вовсе незнакомый со штабными делами и не славившийся добродетелями Катона. Вообще нельзя признать удачными как личный состав нашего отрядного штаба, так и самую организацию его. Временный обер-квартирмейстер капитан Вольф был человек умный, развитой, письменный, но вовсе не боевой, притом желчный и сухой. Из троих офицеров Генерального Штаба, штабс-капитан барон Вревский, друг Вольфа, был, наоборот, вовсе не письменный, но с воинственными наклонностями и сильно развитым честолюбием; штабс-капитан Эдельгейм — честный, работящий финляндец, добросовестно исполнявший свои обязанности, и наконец штабс-капитан Шульц — замечательный оригинал, истый немецкий бурш, безгранично воинственный, рвавшийся на самые опасные подвиги. Таков был состав "квартирмейстерской" части отрядного штаба. Другая часть, известная под названием "дежурства", имела какую-то странную организацию; она была разделена между несколькими лицами: должность "походного дежурного штаб-офицера" исполнял сперва майор Арбеньев, о котором было уже упоминаемо, а потом жандармский подполковник Викторов; "дежурством" же управлял штабс-капитан (считавшийся по гвардии) Бибиков — человек дельный, письменный. Кроме того в состав штаба входили: капитан Сердаковский в звании казначея, инженер-подполковник Энбрехт, заведывавший инженерною частью, отрядный вагенмейстер капитан Домбровский и старший доктор Земский; затем не малое число адъютантов, постоянных ординарцев и т.д. Из гвардейских офицеров собственно при командующем отрядом, в качестве постоянных ординарцев, состояли поручик Перовский (кавалергард), подпоручик Булгаков (Финляндского полка) и корнет Тизенгаузен (Гродненский гусар); прочие были прикомандированы к разным частям войск: Преображенского полка — Потулов, Семеновского — Рылеев, Егерского — Ридигер, Лейб-Гренадерского — Муратов, саперного батальона — граф Нирод, Конной гвардии — Хрущов, Кирасирского Его Высочества — Мартынов, Конногренадерского — Маслов, Лейб-Уланского — Солодовников, Лейб-Гусарского — Никитин, Драгунского — Стромберг, Уланского Его Высочества — Воронов, гвардейской артиллерии — Жуковский, Вилькен и Зыбин.

Командовали частями в отряде: батальонами Кабардинского егерского полка — полковник Лабинцев, командир этого полка; Куринскими — подполковник Витторт; саперною ротою — капитан Вильде, казаками — майор Власов, командир Моздокского казачьего полка; артиллерией — полковник Ярошевский. Генерал-майор Галафеев остался непосредственным начальником всех пехотных частей отряда.

Отряд оставался в сборе под Внезапной, в ожидании окончания подвоза запасов и приезда корпусного командира, генерала от инфантерии Головина, который пожелал посетить Чеченский отряд прежде, чем принять лично начальство над Дагестанским отрядом, назначенным для действий в Южном Дагестане, именно в верховьях Самура. Генерал Головин прибыл 8 мая; для встречи его генерал Граббе со всем своим штабом и свитой выехал верхом за ворота крепости. На другой день, 9 числа, представлялись ему все лица штаба Чеченского отряда; потом происходили в лагере напутственное молебствие и смотр войскам, а после обед у генерала Граббе. Корпусный командир уехал в Темир-Хан-Шуру.

В ту же ночь, с 9 на 10 мая, назначено было выступление отряда. Главною целью действий Чеченского отряда было нанести поражение Шамилю в главном его убежище Ахульго. Эта укрепленная скала, на правом берегу Андийского Койсу, близ слияния его с Аварским Койсу, считалась, в понятии горцев, совершенно неприступною. Достигнуть этого пункта можно было двумя путями: или с севера, от крепости Внезапной, чрез всю Салатавию и Гумбет, или с востока, от Темир-Хан-Шуры, обычным путем сообщения с Хунзахом. Второй этот путь охранялся укреплениями: Бурундух-кале (при спуске с возвышенной плоскости Тарковских или Шамхальских владений в ущелье Аварского Койсу), Зыраны (на переправе чрез эту реку) и Цатаных (при выходе дороги на возвышенную плоскость Аварскую). От последнего этого пункта отделяется дорога к северу, на Бетлетскую гору, с которой спускаются несколько тропинок в котловину Койсубу, где утвердился в то время Шамиль. Эта дорога была кратчайшим путем, по которому отряд не встретил бы значительного противодействия до самого Ахульго, тогда как на первом пути, гораздо более длинном, надобно было непременно ожидать сопротивления непокорных племен на многих пунктах трудной местности и сверх того предстояла переправа чрез Андийское Койсу. Несмотря на все это, в Высочайше утвержденном общем плане действий дано было предпочтение наступательному движению с северной стороны. Чеченский отряд, составленный преимущественно из войск левого фланга Кавказской линии, наступая от крепости Внезапной, чрез Салатавию и Гумбет, не оставлял без прикрытия самую линию и затеречное мирное население. Решительное поражение, нанесенное неприятелю на этом пути, доставляло ту выгоду, что Шамиль, замкнувшись в своем гнезде, не мог уже рассчитывать на подмогу горских племен левой стороны Андийского Койсу.

В помощь Чеченскому отряду назначались некоторые войска Северного Дагестана, именно Апшеронский пехотный полк с 6 орудиями. Часть этих войск должна была присоединиться к отряду при движении его чрез Салатавию (чрез Миатлинскую переправу на Сулаке), а другая — назначалась для конвоирования транспортов, которые предполагалось отправлять из

Темир-Хан-Шуры через Зыраны, для снабжения Чеченского отряда в тот период кампании, когда этот отряд подступит к Ахульго и откроет сообщение с Северным Дагестаном чрез Цатаных*.

Но прежде вторжения в глубину гор, Чеченскому отряду необходимо было обеспечить линию от угрожавшей ей опасности со стороны враждебных скопищ, собиравшихся в соседних с Кумыкскою равниною "Черных" горах Чечни, под предводительством Шамилева наиба Ташав-Хаджи; а для этого предстояло прежде всего нанести удар этому вожаку в устроенных им убежищах, среди лесов Ауха и Ичкерии. В особенности же признавалось нужным уничтожить возведенное им передовое укрепление, в ближайшем соседстве с Кумыкскою равниною, всего в 30 верстах от крепости Внезапной, среди глухого леса, на урочище Ахмет-Тала.

Предположено было произвести на это укрепление внезапное нападение, посредством ночного движения. Все распоряжения к выступлению отряда в ночь с 9 на 10 мая делались в глубокой тайне. Пред самым выступлением отдан был по войскам приказ, написанный самим генералом Граббе, который щеголял своим пером и всегда сам редактировал подобные приказы войскам или прокламации к населению. Ночное движение должно было совершиться налегке, с уменьшенным до крайности обозом. Главная колонна была направлена вдоль подошв гор до самой реки Аксая и далее вверх по долине ее до аула Мискит, близ которого и находилось означенное укрепление Ташав-Хаджи; передовой же отряд из двух батальонов Кабардинского егерского полка, при двух горных орудиях, под начальством полковника Лабынцева, должен был следовать кратчайшею тропинкою, по указанию одного туземца, так, чтобы к рассвету появиться пред неприятельским укреплением с той стороны, откуда нельзя было ожидать нападения. К этой колонне надобно было назначить одного из офицеров Генерального Штаба; на это назначение напрашивались барон Вревский и я, так что пришлось кинуть жребий. Судьба решила в пользу Вревского.

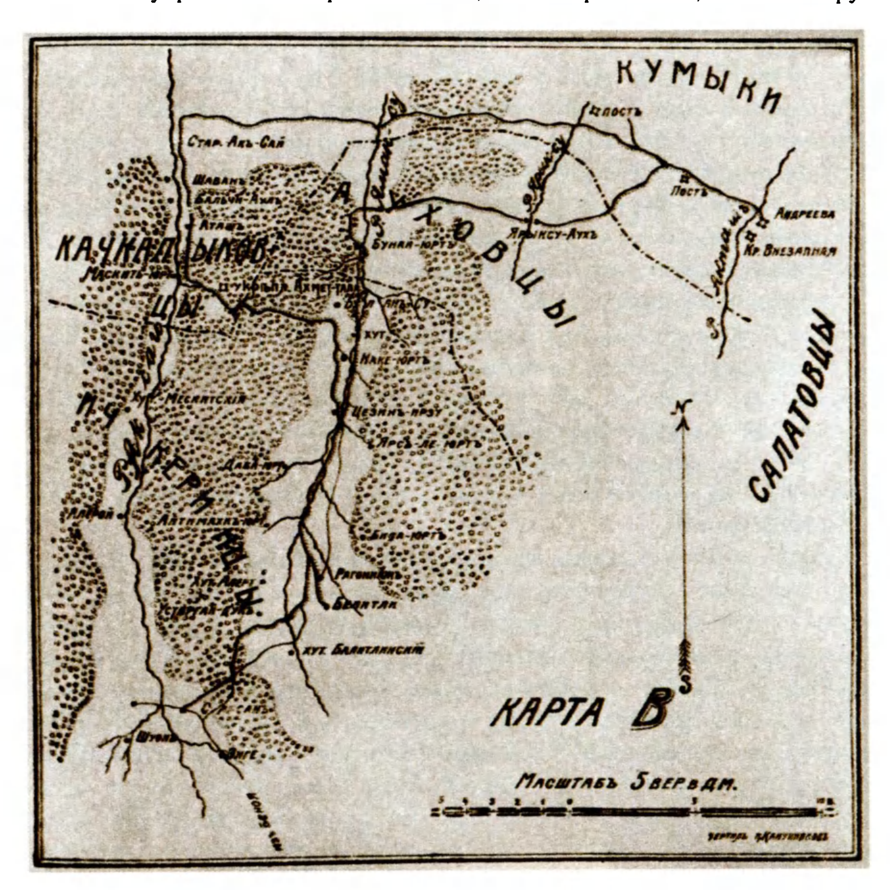
Лишь только смерклось, войска начали переходить чрез реку Акташ и двинулись далее в глубокой тишине. Движение это, при свете месяца, было необыкновенно эффектно; особенно в тех местах, где дорога пролегала лесом, пропитанным в ночную пору чудесным ароматом. Перейдя вброд реки Ярык-су и Яман-су и дойдя до развалин старого Аксая, отряд остановился тут на привал; а пред рассветом вступил в самую долину реки Аксая. В голове колонны, при проводниках из туземцев и нескольких десятках конных милиционеров, ехали мы молча, Шульц и я. Лишь только начало светать, слева послышались пушечные выстрелы. Они возбудили в нас обоих крайнее нетерпение. Нам хотелось скорее попасть в дело. Прибавив шагу, мы опередили

---

*Против этой фразы в списке на полях помета автора "Карта В" (*прим. публ.*).

проводников; когда же увидели над лесом взвивавшиеся клубы дыма — признак, что неприятельское укрепление уже взято передовым отрядом, мы оба так увлеклись, что поскакали вперед одни, рискуя быть подстреленными из лесной чащи. В ту минуту не приходило нам в голову, что, покидая самовольно колонну, мы позволяли себе поступок, противный порядку службы; с моей стороны это было необдуманное увлечение неопытной молодости; но Шульц — офицер зрелых лет, уже не первый раз попадавший в огонь, не имел такого оправдания. Впоследствии он сам признавался, что не хотелось ему пустить меня вперед одного.

Итак, мы оба, как обезумевшие, направляясь прямо на выстрелы, прискакали на поляну, среди которой дымились остатки разрушенного и зажженного укрепления неприятельского, а по сторонам его, за пнями сруб-



Карта В

ленных деревьев, лежали кучки наших егерей и перестреливались с горцами, скрывавшимися в опушке окружавшего леса. Посередине позиции нашего отряда, на холме, стояли два горные орудия, осыпавшие опушку леса картечью. Мы с Шульцем понеслись прямо на этот холм, и несмотря на предостережения артиллерийского офицера, прапорщика Баумгартена, кричавшего нам, чтобы мы не показывались верхом на батарее, мы все-таки остановились между обоими орудиями, на которые и без того уже был направлен частый огонь горцев. Артиллеристы прикрывались по возможности толстыми пнями, торчавшими на самой вершине холма. С появлением же на этом холме двух всадников посыпался целый град пуль, и одной из первых я был ранен в правую руку выше локтя навылет. В первую минуту я едва почувствовал как бы легкий обжог и не обратил внимания на свою рану, тем более, что на мне была бурка. Но по настоянию прапорщика Баумгартена, мы съехали с холма и тогда только кто-то посоветовал мне сойти с лошади и сделать немедленно перевязку раны. Перевязка эта была сделана бывшим при отряде врачом, в палатке майора Власова, разбитой под выстрелами неприятельскими. Пришлось разрезать рукав сюртука и подвесить руку платком. Когда все это было кончено, я сел опять верхом и отъехал к главной колонне, уже расположившейся на привале верстах в двух от места боя, за лесом. Увидав меня, генерал Граббе слегка пожурил, а потом напоил чаем, и я заснул крепким сном.

Между тем перестрелка в передовом отряде все усиливалась. Застигнутый совершенно врасплох и принужденный покинуть свое убежище почти без сопротивления, Ташав-Хаджи с небольшим числом находившихся с ним мюридов, укрылся в лесу завалами; но с первым выстрелом на Ахмет-Тала начали сбегаться горцы из окрестностей и постепенно число их в лесу усиливалось. Они дрались с таким ожесточением, что в одиночку или малыми кучками выбегали из лесу и отчаянно бросались в шашки на наших егерей. С своей стороны и егеря дрались молодцами врукопашную. Чтоб избегнуть большой потери при атаке леса, генерал Граббе направил конницу вправо, угрожая пути отступления неприятельского скопища, и вместе с тем подкрепил передовой отряд. Обходное движение конницы произвело желанное действие. Около 5 часов пополудни главные силы двинулись вперед и без затруднения прошли чрез густой лес по тропинке, заваленной во многих местах срубленными громадными деревьями. Шедшие впереди саперы расчищали путь. Рана моя не мешала мне ехать верхом в свите генерала и восхищаться великолепным лесом, чрез который мы следовали. Уже смеркалось, когда мы выехали на открытую поляну и спустились в долину реки Яман-су, где отряд расположился для ночлега. Находившийся поблизости аул Балан-су найден покинутым жителями и предан огню. На высотах, окружавших лагерь, выставлены были передовые наблюдательные посты. В живописной этой местности, ос-

вещенной пожаром аула, обычная церемония вечерней зари, при звуках егерского хора музыки, производила чудное впечатление.

Так прошел первый день экспедиции. Для меня лично этот первый шаг на боевом поприще не обошелся даром; но я почти радовался своей ране, которая не препятствовала мне оставаться в отряде и продолжать участвовать в военных действиях. Ночь с 10 на 11 мая прошла спокойно; я провел ее под деревом, закутавшись в бурку. Все утро следующего дня отряд оставался на месте ночлега. Генерал Граббе был так внимателен ко мне, что осведомлялся о моем здоровье и прислал мне супу со своего стола.

Около 2-х часов пополудни отряд двинулся вверх по долине Яман-су. Дорога пролегала то по скату гор через леса, местами между возделанными полями, то круто спускалась в самую долину. Хотя артиллерия и повозки проходили беспрепятственно, однако ж движение замедлялось крутыми спусками и подъемами; колонна растягивалась; приходилось часто останавливать голову ее, чтобы дать подтянуться хвосту. В иных частях пути колонна с обозом двигалась по каменистому руслу реки, между двумя высокими, почти отвесными, как стены, берегами, с которых местами спадали в виде водопадов светлые струи воды. Движение головной колонны прикрывали боковые цепи, пробиравшиеся справа и слева по гребням нагорных берегов. Все аулы, лежавшие по сторонам дороги (Наке-Юрт, Цезын-Ирзау, Доба-Юрт), найдены были покинутыми жителями и преданы огню. Горцы не препятствовали нашему движению; только левая боковая колонна, уже при выходе на поляну, в виду деревни Рагонкаж, встретила небольшую группу горцев, засевших в балке, по-видимому, для прикрытия бежавших в лес семейств. Егеря Кабардинского полка, не теряя времени на перестрелку, выбили неприятеля штыками, и весь отряд расположился на ночлег близ аула Рагонкаж, который, так же как и другие, был сожжен.

В этот вечер мне поручено было расспросом проводников из туземцев собрать сведения об окрестной стране и дорогах. Топограф Алексеев, опытный в своем деле, снимал глазомерно карту пройденной местности, иногда под неприятельскими выстрелами. Утром 12 числа явилось в отряд несколько горцев, выдававших себя за депутацию от ичкеринцев и уверявших, что они прогнали от себя Ташава-Хаджи, виновника постигшего их бедствия. Генерал Граббе готов был поверить этим сказкам; однако ж зная, что верстах в 10 от нашего ночлега, в долине Аксая, находилось главное пристанище Ташава-Хаджи, укрепленный аул Саясань, решился выдвинуть туда небольшой отряд из двух батальонов Кабардинского полка, двух рот Куринского, двух горных орудий и милиции, под начальством полковника Лабынцева. Главные же силы остались на месте ночлега.

12 мая Лабынцев выступил с рассветом, беспрепятственно прошел узкою дорогою через лес и только при выходе из него, на спуске к самому аулу, был

встречен сильным ружейным огнем. Однако ж горцы не держались в самом селении, а засели в укреплении, построенном к югу от него, за глубокою балкою. Подступы к этому укреплению были преграждены завалами, засеками, несколькими рядами рвов. Полковник Лабынцев, не теряя времени, повел свои войска на приступ несколькими колоннами и выбил горцев из всех завалов. Угрожаемые обходными колоннами, они покинули укрепления и спасались бегством, многие были переколоты штыками. Укрепление было разорено, а селение предано огню.

Однако ж с окружавших высот горцы продолжали перестрелку, а под вечер, когда Лабынцев начал отводить войска с позиции для возвращения к главным силам, неприятель смело бросился на его арьергард и настойчиво преследовал до самого выхода колонны из леса на поляну, где расположен был отряд.

В Кавказской войне отступление войск всегда было самым трудным и опасным делом, даже после решительного успеха. Поэтому надобно было ожидать, что и всему нашему отряду не избегнуть напора горцев на обратном

пути из гор. Чтобы по возможности облегчить отступление, генерал Граббе вознамерился начать обратное движение в ночное время, незаметно для неприятеля. В этих видах отряд оставался на месте весь день 13 мая. Только небольшая колонна была выслана для разорения лежавшего вблизи селения Белитли. Получены были от туземцев сведения, что Ташав-Хаджи, после понесенных поражений, ушел в Беной, в самую глубь Ичкерии.

Пользуясь целым днем стоянки, я просил нашего старшего врача Земского сделать мне настоящую перевязку раны, первую после сделанной мне наскоро, на самом поле сражения. В это время рана начинала меня беспокоить более, чем в первые два дня; по временам я чувствовал лихорадочное состояние. Доктор Земский нашел, что пуля должна была слегка коснуться кости; приходилось извлекать осколки ее и обрывки одежды.

С наступлением ночи началось отступательное движение отряда. Части войск и обозы снимались постепенно с позиций своих в совершенной тишине и вытягивались по тому же пути, по которому за два дня пред тем двигались мы вперед. С обоих флангов движение прикрывалось боковыми колоннами; каждая состояла из двух батальонов при двух горных орудиях: левая (т.е. западная) от Куринского полка, под начальством полковника Пулло; правая — от Кабардинского, под начальством полковника Лабынцева. В арьергарде следовал батальон Куринского полка, с двумя орудиями казачьей артиллерии. Я находился при этом арьергарде.

Горцы заметили наше движение только утром, когда солнце было уже довольно высоко и когда колонны тянулись в порядке как по руслу Яман-су, так и по обеим его горным сторонам. Тогда устремились они отчаянно на арьергард и на боковые прикрытия, стараясь прорвать цепи и проникнуть в средину главной колонны, медленно двигавшейся с обозом по руслу реки. В продолжение нескольких часов кипел ожесточенный бой. Арьергарду приходилось много раз останавливаться, чтоб отражать натиски неприятеля, который бросался в шашки даже на орудия, под картечным огнем. В особенности тяжела была продолжительная остановка при подъеме на правый нагорный берег у сожженного селения Балан-су, откуда отряд повернул вправо, по кратчайшему пути к Внезапной. Левая боковая колонна полковника Пулло также выдержала горячее нападение горцев: было мгновение, когда они чуть не захватили горных орудий Баумгартена; но были отброшены картечным выстрелом в упор. Настойчивое преследование неприятеля прекратилось тогда только, когда весь отряд окончательно вытянулся на правый берег Яман-су и вышел из лесистой полосы. В этот день мы понесли значительную потерю. В числе раненых офицеров был товарищ мой Шульц, получивший рану в ногу. Штабс-капитан Бибиков наткнулся на штык солдата во время столпления обоза в теснине.

Когда бой уже прекратился, во время привала на открытой поляне, в той местности, которая считалась уже "мирною", генерал Граббе со всем своим

Александр Карлович Баумгартен

штабом и свитою расположился под тенистым деревом для отдыха. Вдруг в ближайшей группе деревьев раздались выстрелы; несколько пуль просвистали над нашими головами, и была убита одна из наших лошадей. Генерал не тронулся с места; но сейчас же милиционеры наши бросились в сторону выстрелов и захватили пятерых аухсвцев с оружием в руках. Фанатики эти дорого поплатились за свое безрассудство: на другой день рано утром, на месте ночлега отряда, на берегу реки Ярык-су, близ селения Ярыксу-Аух, они подверглись жестокому истязанию прогнанием сквозь строй. Солдаты выместили на этих несчастных свою злобу; из пятерых остался жив только один.

В тот же день, 15 мая, отряд возвратился в крепость Внезапную. Шестидневное движение его в Ичкерию стоило нам 30 убитых и 144 раненых, в том числе 14 офицеров. Во все время погода была чудесная, иногда слишком жаркая; пройденная нами местность чрезвычайно красивая; но время года

вовсе не благоприятное для наших действий в лесистой местности. Для меня, новичка в деле военном, этот кратковременный пролог к предстоящей серьезной кампании был чрезвычайно интересен и назидателен. С первых же дней похода мне уже бросились в глаза многие слабые стороны нашего образа действий против горцев в тактическом отношении. Более всего поразили меня те невыгодные условия, в которых нашим кавказским войскам приходилось вести борьбу. Тут не выказывалось то превосходство, которого следовало бы ожидать от европейского регулярного войска над неустроенными толпами вооруженного населения; напротив того, превосходство было на стороне неприятеля, не только вследствие удобной для обороны местности, но и по инстинктивному умению горцев пользоваться ею, а в особенности по меткости их ружейного огня. Мысль эта еще более во мне утвердилась и развилась по мере дальнейшего участия моего в военных действиях. Впоследствии я решился даже изложить ее письменно и представить начальству мои замечания о разных недостатках тогдашнего нашего военного устройства и образа действий на Кавказе.

Кратковременный набег наш на Ичкерию казался мне предприятием недоконченным. Хотя Ташав-Хаджи и был выгнан из двух его передовых притонов, но чрез это он был только оттеснен в более обеспеченное гнездо, откуда мог так же, как и прежде, угрожать нашей линии и затеречному мирному населению. Сожжение нескольких селений ауховских и ичкеринских только озлобило еще более ближайших горцев, а самый конец нашего набега все-таки имел такой вид, как будто они выгнали непрошенных гостей. Говорю это отнюдь не в осуждение распоряжений генерала Граббе; он и не мог поступить иначе, как возвратиться в определенный срок к сборному пункту отряда, чтобы не пропустить времени для предназначенного ему движения в Нагорный Дагестан против главного нашего врага — Шамиля.

В крепости Внезапной пробыли мы пять дней, в течение которых заканчивались приготовления к новому походу. В это время рана причиняла мне довольно сильные боли и лихорадочные пароксизмы. Однако ж я все-таки не хотел оставаться в крепости и решился во что бы ни стало участвовать в предстоявшем походе. Менее были счастливы другие раненые товарищи мои Шульц, Бибиков, Мезенцев (который во время движения в Ичкерию командовал конной милицией). Они присоединились к отряду только впоследствии.

НАСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ К АХУЛЬГО

21 мая, в воскресенье, в дождливый день, отряд выступил из лагеря под крепостью Внезапной и, пройдя беспрепятственно по узкой дороге чрез лесистый хребет Гебек-Кала, вступил в Салатавию. Первый ночлег был между деревнями Инчхе и Костала. Обозы были направлены кружною дорогой к Миатлинской переправе (на Сулаке), откуда должны были следовать на присоединение к Чеченскому отряду два батальона Апшеронского пехотного полка. 22 числа наш отряд простоял на месте в ожидании этой колонны, которая прибыла к вечеру и вступила в лагерь с песнями и музыкой. С присоединением ее, наш отряд состоял уже из 8 батальонов, с ротою сапер и 17 орудиями, численный состав возрос до 7800 человек.

Во время стоянки нашей под Инчхе, по ночам, горцы тревожили отряд выстрелами с окружавших лесистых высот. 23 мая отряд, с огромным обозом, двинулся по отлогому, но длинному подъему на Хубарские высоты и, пройдя верст 5, расположился за селением Хубар. Здесь местность приняла другой характер: лесистые горы сменились голыми, каменистыми плоскими возвышенностями, прорезанными глубокими балками. Неприятель не показывался; жители Хубара, ободренные прокламацией генерала Граббе, возвращались в свои дома. В разных местах селения расставлены были караулы для охранения жителей и имуществ их. В этот день погода прояснилась, и вместе с тем повеселели все лица в отряде. Но мы находились на местности, значительно возвышенной и со всех сторон открытой, а потому температура заметно понизилась, поднялся ветер, и когда разбили палатки, мы с удовольствием вошли в них, чтобы согреться стаканом чая. Вечером пригласил меня к ужину полковник Лабынцев, с Перовским и Минквицем. Тут познакомились мы с декабристом Назимовым, который был еще в солдатском звании.

В отряд прибыла депутация от главного салатавского селения Чиркея, находившегося влево от нашего пути, на левом берегу Сулака. Во главе ее был известный старшина Джемал, человек уже пожилой, с окрашенною по местному обычаю в рыжий цвет и подстриженною бородой, в лезгинском одеянии. Чиркеевцы, чтобы избегнуть посещения их нашим отрядом, уверяли в своей преданности русскому правительству и отрекались от всяких сношений с Шамилем. Уверения эти были только обычным лукавством; чиркеевцы постоянно действовали двулично.

24 мая отряд двинулся далее на Гертме, все поднимаясь по длинному склону Дюз-Тау, ведущему на гору Соук-Булак, отделяющую Салатавию от Гумбета. Мы следовали в таком густом тумане, что ничего не видно было в

десяти шагах. Я ехал впереди авангарда с проводниками; позади меня казаки весело распевали свои молодецкие песни; в подражание им и милиционеры затянули какие-то заунывные напевы. Когда ближайшая местность начала несколько очищаться от густого тумана, вдруг увидели мы пред собой неприятельский пикет. Вглядываясь пристальнее, заметили вправо от нашего пути целые кучки горцев, отходивших в глубокую лесистую балку Теренгульскую, за которою на открытой возвышенной плоскости видны были толпы пеших и конных, со множеством значков. Таким образом, оправдались ходившие уже слухи о том, что в Бартунае, одном из главных селений салатавских, собиралось многочисленное скопище. Я поспешил доложить об этом лично генералу Граббе, и немедленно же были сделаны распоряжения к атаке неприятеля. Выдвинута была артиллерия, которая открыла огонь по кучкам горцев, стоявших на возвышении за балкою. Нам было ясно видно какой переполох произвели в них первые удачно направленные выстрелы орудий. Пехота наша также начала обстреливать крутые и лесистые скаты балки, в которой засели горцы. Перестрелка продолжалась недолго; колонны смело двинулись в штыки по спускам в балку. Горцы не выдержали и спешно стали отходить. Егеря преследовали их по крутым тропинкам, и чрез какой-нибудь получас мы уже увидели солдатские белые шапки на противоположном краю балки. Остальные войска также начали перебираться на ту сторону Теренгусса; на прежнем пути оставлен был только обоз с необходимым прикрытием. Спуск в балку и подъем оказались так круты, что мы должны были сойти с лошадей и с трудом взбирались пешком.

Не дожидаясь сбора всех войск, генерал Граббе двинул вперед, вслед за отступавшим неприятелем, передовые три батальона с двумя горными орудиями и казаками. Но горцы уходили так поспешно, что не было возможности настигнуть их. Они не успели даже увезти тела убитых и рассеялись по окрестным балкам, не думая уже об обороне Бартуная. Селение это найдено пустым и занято передовым отрядом. Остальные войска постепенно подходили и располагались вокруг аула. В это время пошел страшный ливень; генерал Граббе пожелал поместиться в селении; для штаба и свиты также занято было несколько домов.

Потеря наша в этом деле состояла всего из 4 убитых и 39 раненых; неприятель же должен был понести значительный урон, преимущественно от нашей картечи. В продолжение боя прибыл от Миатлинской переправы еще один батальон Апшеронского полка, так что пехота наша усилилась уже до 9 батальонов, а численность всего отряда достигла 8 тысяч человек в строю. С означенным батальоном прибыл генерал-майор Пантелеев, начальствовавший войсками в Северном Дагестане, и флигель-адъютант полковник Катенин, присланный на Кавказ, по Высочайшему повелению для инспектирования войск. Он принадлежал к числу гвардейских знатоков фронтового

дела*; но вместе с тем был человек образованный и даже подвизался в молодости на литературном поприще. Катенин остался на некоторое время в отряде, конечно, не для инспектирования войск, а в надежде украсить свою шею каким-либо новым крестиком.

В Бартунае получил я первое понятие о лезгинских селениях, вовсе не похожих на те жалкие аулы, которые до сих пор удалось мне видеть у кумыков, ауховцев и ичкеринцев. Лезгины строят прочные, каменные дома, часто в несколько этажей, с плоскими крышами, иногда с башнями. Постройки теснятся плотно друг к другу, едва оставляя проходы в виде узких, извилистых коридоров. В некоторых местах эти переулки проходят под навесами. Почти все лезгинские аулы лепятся по скатам гор амфитеатром, весьма живописно, и окружены роскошными фруктовыми садами. Но Бартунай, расположенный на открытой плоской возвышенности, составлял в этом отношении исключение.

Окончив размещение войск на биваке, совершенно промоченный до костей, я рад был найти убежище в отведенной мне сакле и обогреться пред камином; но вьюки наши пришли не ранее вечера, и только тогда я мог насладиться переменою одежды и стаканом чая. Дождь продолжал лить во всю ночь и в следующий день.

25 мая войска выступили только в 10 часов утра; с трудом можно было разглядеть дорогу. Еще прежде, чем мы выехали из селения, уже горели многие дома, а затем и все оно было объято пламенем. Колонна подвигалась медленно, в угрюмой тишине, по отлогому, но непрерывному, длинному подъему, по голой, каменистой почве. По другой же стороне Теренгульской балки, по такому же подъему, двигался наш обоз, под прикрытием трех Апшеронских батальонов и пяти легких орудий, под начальством генерал-майора Пантелеева. Обе колонны должны были соединиться только на самом Соук-Булаке. Мы дрожали от холода и сырости. Для ночлега отряд расположился на краю почти отвесного оврага. На другой день, 26 числа, продолжалось то же движение; по мере того, как мы поднимались все выше, холод усиливался и местность становилась более каменистою. В некоторых местах саперы должны были расчищать дорогу. В этот день отряд дошел до самого Соук-Булака, с которого крутой спуск Кирки ведет в землю Гумбет**. Здесь мы нашли снег и совершенное отсутствие как воды, так и топлива. Приходилось посылать команды довольно далеко на дно балок, где попадались родники и кое-какие кусты. Саперы немедленно приступили к разработке спуска; приходилось рвать скалы порохом.

27 мая погода прояснилась; снег начал таять. С высот, где расположен был лагерь, открылся обширный вид на гумбетовские горы, отделявшиеся от

---

*Впоследствии был командиром Преображенского полка, а позже дежурным генералом Главного Штаба Его Величества и, наконец, оренбургским генерал-губернатором.

**Против этой фразы в списке на полях помета автора "Карта Г" (*прим. публ.*).

Соук-Булака глубокою долиною, которая простиралась в обе стороны: вправо, под названием Мичик-Кал, вдоль Андийского хребта (отделяющего Нагорную Чечню от Дагестана); влево — к гумбетовским селениям Артлух и Данух. По этому направлению и предстояло нам двигаться к селению Аргуани. Дорога сначала пролегала вдоль подошвы крутого гребня Анчи-Меер, вершина которого была занята неприятелем. Спуск с Соук-Булака был уже настолько разработан, что после полудня войска начали переходить на нижнюю площадку. Мне было поручено размещать их по мере того, как они спускались. Небольшая колонна послана к Артлуху, который найден покинутым жителями и предан разрушению. С площадки нового лагеря сделан был из орудия пробный выстрел на вершину горы, занятой неприятелем; ясно было видно, как ядро попало в кучку горцев и разогнало их. В лагерь наш доносились с тех высот заунывные звуки вечерней молитвы мюридов, сливавшиеся с веселыми песнями наших солдат. Между тем обоз наш подошел к Соук-Булаку, расположился на местах, только что оставленных войсками, и в свою очередь спустился с высоты на следующий день, 28 числа. Обе ночи, с 27-го на 28-е, и с 28-го на 29-е, не обошлись без тревог. Перестрелка с передовых секретов стоила жизни одному офицеру.

По трудности предстоявшего нам пути к Аргуани и Чиркату, положено было все тяжести оставить на том самом месте, где расположен был отряд, и для обеспечения их возвести временное укрепление, которое служило бы складочным и этапным пунктом в тылу действующего отряда. 28 числа приступлено было к постройке этого укрепления, названного "Удачным". В нем оставлен 3-й батальон Апшеронского полка с 5 легкими орудиями, под начальством майора Тарасевича.

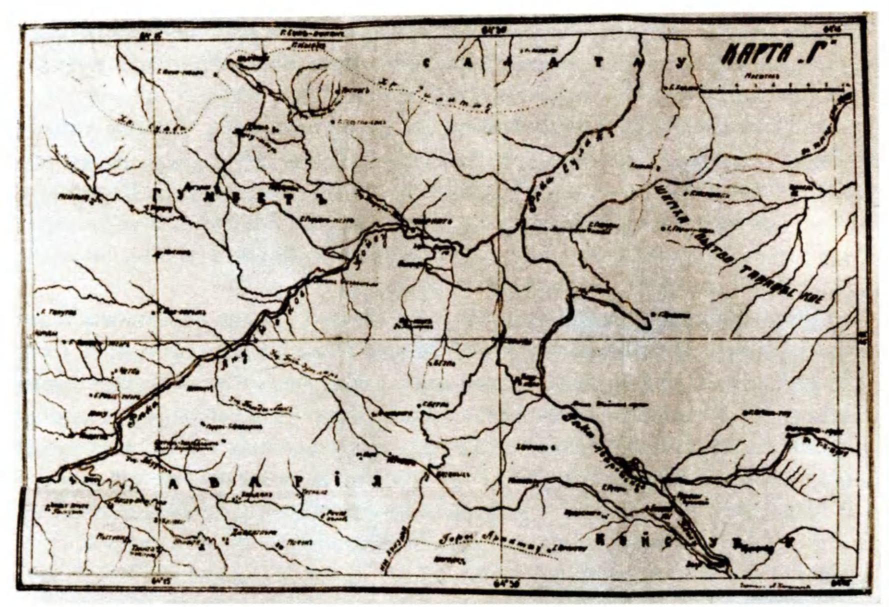
29 числа, после полудня, отряд двинулся вперед. Следовавшие в авангарде саперы разрабатывали местами дорогу. Горцы, занимавшие вершину гребня, пробовали спускать камни; однако же не причинили никакого вреда проходившим у подошвы гор войскам; пули неприятельские также не долетали; наши же полевые единороги, при весьма большом угле возвышения, удачно обстреливали гребень и заставили неприятеля скрыться на противоположный склон. Таким образом, отряд прошел в этот день беспрепятственно самое трудное место и остановился верстах в 6-ти на возвышенном перевале Шугу-Меер, где предстояло снова разрабатывать крутой спуск. Несмотря на короткий переход, хвост колонны подтянулся только к ночи. Отделенная влево легкая колонна разрушила селение Данух.

Разработка спуска с горы Шугу-Меер продолжалась до полудня 30 числа, и только тогда отряд двинулся вперед. Дорога была не менее трудная, чем накануне, и во многих местах сильно размыта шедшими несколько дней дождями. Хотя от места ночлега оставалось пройти до Аргуани всего 6 верст, однако же голова колонны только к 4 часам пополудни подошла к этому боль-

шому укрепленному селению, в котором сам Шамиль с 16 тысячами лезгин вознамерился остановить наступление Чеченского отряда. Часть этого скопища заняла самое селение, а другая (преимущественно андийцы) расположилась на высотах по дороге, ведущей к Мехельте — главному гумбетовскому селению, и далее к Анди.

Генерал Граббе, подойдя на пушечный выстрел к селению, остановился на краю крутого спуска, чтобы высмотреть в зрительную трубу местоположение, о котором не было у нас точных сведений. Оказалось, что с нашей стороны селение было совсем недоступно: оно было растянуто по верху скалистого, почти отвесного обрыва: одна дорога, высеченная в утесах, вела в ворота, в виде крутой апарели. Наружная линия саклей составляла сплошную каменную стену, с бойницами в несколько ярусов, над передними саклями возвышались другие амфитеатром, с плоскими крышами и башнями. К востоку селение заканчивалось также обрывом; здесь находилась самая возвышенная часть селения. К западу же означенный скалистый обрыв тянется узким гребнем, по которому доступ к селению, видимо, был прегражден завалами, башнею и перекопом. Южной стороны селения не могли мы видеть.

Несмотря на поздний час дня, генерал Граббе решился немедленно атаковать неприятеля в крепкой его позиции. С фронта (т.е. с северной стороны) на той самой высоте, с которой мы осматривали позицию, выставлена была



Карта Г

батарея из 8 орудий (4 полевых легких и 4 горных), под прикрытием одного Куринского батальона; другой батальон того же полка, с 2 горными орудиями, оставлен позади, на самой дороге, для прикрытия вагенбурга; один батальон (1-й Апшеронский) выдвинут по той же дороге для демонстрации с фронта; для самой же атаки направлены две колонны: влево — 2 батальона Куринского полка, под командою полковника Пулло; вправо — 2 батальона Кабардинского, под командою полковника Лабынцева. Обе эти колонны должны были открыть удобнейшие доступы к селению. Кроме того, один батальон (4-й Апшеронский) имел назначением поддерживать связь между центром и правою колонною, которой предстояло исполнить довольно кружное обходное движение. Наконец, казаки получили приказание прикрывать тыл атакующих колонн со стороны неприятельских скопищ, занимавших высоты на дороге к Мехельте.

В 5 часов пополудни батарея открыла огонь, а пехотные колонны начали движение; но выстрелы легких и горных орудий не могли наносить значительного вреда укрывавшемуся в каменных домах и башнях неприятелю. Горцы же обсыпали пулями приблизившиеся к селению оба батальона Апшеронского полка. Однако ж один из них (4-й), взяв вправо, успел очень быстро взобраться на самый гребень, по которому предполагалось атаковать селение правою колонною, и смело штурмовал башню, преграждавшую этот путь. Несмотря на то, что апшеронцам приходилось пробираться рядами по узкому гребню, между скалами и камнями, под сильными выстрелами, они с криком "ура" ворвались в башню и перекололи штыками почти всех защищавшихся в ней горцев. Но далее наступление было приостановлено глубоким рвом. Оба Апшеронские батальона понесли довольно большую потерю. Между тем, колонны полковников Пулло и Лабынцева все еще тянулись по горам в обход селения, с трудом втаскивая орудия на скалы. Когда они с двух противоположных сторон приблизились к селению, наступила уже темнота, и начинать штурм с их малыми силами было бы безрассудно. Они остановились, прикрывшись по возможности от неприятельских выстрелов, в ожидании дальнейших приказаний от командующего войсками.

Таким образом, сделанная в этот день попытка атаки обратилась в рекогносцировку, на основании которой можно было вернее сообразить план действий на следующий день. Донесение полковников Пулло и Лабынцева указали, что восточная оконечность селения была самою сильною стороною обороны; наиболее доступною оказалась юго-западная часть, к которой подступил полковник Лабынцев, и тот гребень, на котором уже утвердился 4-й Апшеронский батальон. Сообразно таким данным составлена была на 31 мая следующая диспозиция: батальонам Куринского полка в течение ночи перейти с левого фланга на правый; одному из них поддержать 4-й Апшеронский батальон, чтобы продолжать атаку по узкому гребню, ведущему к западной оконечности селения; этой атакой командовать полковнику Пулло;

остальным двум батальонам Куринского полка, вместе с одним из Кабардинских батальонов (2-м), под начальством полковника Лабынцева вести атаку с юго-западной стороны селения; другому же Кабардинскому батальону (1-му) прикрывать тыл обеих атакующих колонн против скопищ, занимавших высоты, а коннице—наблюдать пути, ведущие от Аргуани к Чиркату и угрожать пути отступления неприятеля.

Ночь с 30 на 31 число провели мы не совсем спокойно; все время слышалась перестрелка то с одной, то с другой стороны, даже в тылу нашем, т. е. в вагенбурге. С рассветом бой возобновился. Получив приказание находиться при колонне полковника Пулло, я едва успел доехать и подняться на гребень, занятый апшеронцами, как уже, по данному сигналу, колонны двинулись на штурм. Колонне полковника Пулло предстояло прежде всего перелезать поодиночке чрез глубокий перекоп гребня и потом по тому же узкому гребню атаковать кладбище, обнесенное каменными стенами и обстреливаемое из соседних саклей. Тут в первый раз попал я в самую свалку; каждый шаг вперед стоил нам много жертв; узкий путь еще стеснялся множеством раненых и убитых, как наших, так и неприятельских. Однако ж наши все-таки ворвались с обычным криком "ура" в ограду кладбища и начали влезать на плоские крыши домов, из которых горцы продолжали отстреливаться. Справа от нас такой же бой кипел в колонне Лабынцева: и тут горцы оборонялись отчаянно; некоторые фанатики, выскакивая из завалов или домов, бросались в шашки навстречу штурмовавших колонн. И здесь наши войска преодолели все препятствия, хотя с большой потерей, и ворвались в селение. Но тут-то и начался самый горячий, кровопролитный бой. Горцы, засев в домах, возвышавшихся амфитеатром одни над другими, осыпали атакующих пулями со всех сторон, сверху и снизу. Солдаты, взбираясь на крыши, пытались пробивать сверху отверстия, чтобы бросать во внутрь горючие вещества; но отчаянные мюриды, переходя внутренними ходами из одних саклей в другие, продолжали упорно держаться целый день. Были случаи, что в крайности фанатики бросались из окон с кинжалом в руке на обступившие их кучки солдат. В некоторых домах найдены были обгорелые трупы; улицы были завалены телами; текли буквально ручьи крови; многие сакли горели, и дым стлался по всему селению. Так продолжался бой целый день; горцы были постепенно оттеснены в восточную оконечность аула. Здесь, на самой возвышенной его части, приготовлена была и самая упорная оборона. Чтобы выжить фанатиков из этой крепкой цитадели, втащили с большим трудом два горных орудия в самое селение и поставили на крыши домов, откуда могли они обстреливать последние убежища горцев.

Среди кровавого побоища, рядом с подвигами храбрости, самоотвержения, поражали и самые отвратительные сцены в занятой части селения: некоторые из солдат обирали валявшиеся трупы убитых, вытаскивали из горевших

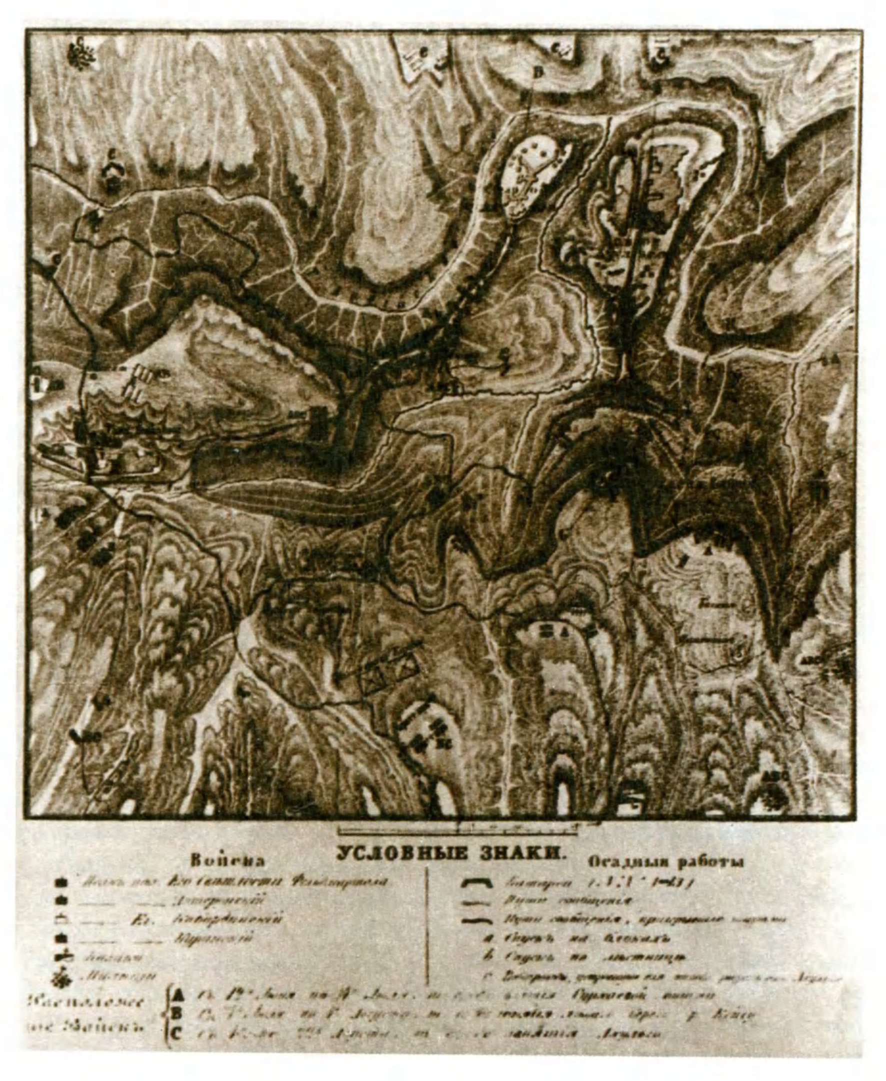
саклей всякую всячину, даже вещи ни к чему не пригодные. Мне случилось встретить одного негодяя, тащившего с большим трудом по едва проходимым буеракам огромную деревянную лохань, и когда я остановил его, сделав ему замечание, что он уходит из боя, чтоб унести такую бесполезную вещь, он тут же, одумавшись, швырнул свою лохань и разбил ее вдребезги о камни. Тут я понял, как трудно бывает офицерам в подобном бою удержать свою часть в порядке и прекратить мародерство, раз что завелась в войске эта язва.

С того момента боя, когда атакующие войска ворвались в селение и рассыпались мелкими группами, чтобы постепенно выбивать неприятеля из каждого дома, офицерам Генерального Штаба уже нечего было там делать. Около полудня я возвратился в главную квартиру отряда для личного доклада командующему войсками о подробностях дела, которых мне пришлось быть свидетелем в этот день. Сильное утомление после бессонной ночи и толкотни, в которую я попал, при сырой погоде, все это отозвалось на моей ране. Но я позабыл о ней, когда узнал, что из моих товарищей тяжело ранены барон Вревский и Минквиц. Их принесли на носилках и уложили в палатке. Вревский, у которого была прострелена рука, потребовал себе азиатского знахаря; Минквиц не мог скрывать своих страданий. Также ранен и генерал-майор Пантелеев.

Наступившая ночь не принесла нам отдохновения. Горцы, дождавшись темноты, бежали из селения по разным направлениям; но не всем удалось пробраться благополучно между войсками, сторожившими пути отступления неприятеля. Иные наткнулись на штыки пехоты; другие изрублены казаками; некоторые же убивались при падении с крутых скал. К рассвету 1 июня селение оказалось совсем покинутым горцами; а толпы, видневшиеся прежде на высотах вправо от селения, исчезли. Потеря у неприятеля была весьма значительная: по собранным впоследствии сведениям до 2 тысяч человек убитых и раненых; пленных захвачено очень немного. С нашей стороны насчитано было 146 убитых (в том числе 30 офицеров) и до 500 раненых (в том числе 30 офицеров). В то же утро отправлен транспорт с ранеными в укрепление Удачное, под прикрытием двух батальонов.

Поражение, нанесенное горцам в Аргуани, открыло нам дорогу к Чиркату и к Ахульго, куда, по слухам, бежал Шамиль с оставшимися при нем надежнейшими мюридами. Но мы простояли три дня под Аргуанью в ожидании возвращения отправленных в Удачное батальонов и транспорта. 2 июня генерал Граббе со свитой ездил в селение, представлявшее груду развалин и кучи трупов. В оба дня я ездил, по поручению начальства, на горы: в первый день — для расстановки прикрытия табуна; в другой — для расстановки войск, выдвинутых вперед по дороге к Чиркату. Войска занимались расчисткою дороги сквозь селение и погребением тел, уже распространявших смрад. Погода опять испортилась; поднявшийся сильный ветер срывал палатки.

К вечеру 3 числа возвратились ходившие в Удачное батальоны, с ними транспорт привез новые запасы продовольственные и боевые. На другой день, 4 июня, отряд выступил при сильном ветре и дожде; на вершинах гор выпал снег. Не доходя верст 6-ти до Чирката, отряд расположился на ночлег на краю горного уступа. С площадки, на которой разбит лагерь, открылась обширная панорама во все стороны: впереди виден был весь спуск к Чиркату,



План Ахульго

самый аул, окруженный роскошными садами; далее за Андийским Койсу — селение Ашильта, Ахульго, долина Аварского Койсу и возвышенная плоскость Аварии. Сзади поднимался, как будто в самом близком от нас расстоянии, Андийский хребет с оконечною его горою Соук-Булак, на уступе которой ясно был виден наш вагенбург в укреплении Удачном. С площадки лагеря попробовали пустить ядро в Чиркат, где еще были видны люди, переходившие по мосту чрез Койсу. В Ахульго также можно было в зрительную трубу разглядеть людей, копошившихся, как муравьи.

4 июня погода поправилась. Саперы усердно разрабатывали спуск с площадки нашего лагеря на нижний уступ гор. Передовой отряд из двух батальонов Кабардинского полка с двумя горными орудиями, под начальством полковника Лабынцева, спустившись не без затруднений на этот уступ, двинулся к Чиркату и, после нескольких выстрелов в садах, занял селение. Оно было уже покинуто жителями, и мост на Койсу сожжен; предстояло восстановить переправу чрез Андийское Койсу, чтобы открыть новый путь сообщения для подвоза к отряду запасов из Темир-Хан-Шуры чрез Зыраны и Цатаных. По переходе на правую сторону Андийского Койсу, отряд не мог уже базироваться на укрепление Удачное и крепость Внезапную. Из Темир-Хан-Шуры ожидался транспорт, под прикрытием 2-го батальона Апшеронского полка при двух горных орудиях, под командою полковника Попова, командира означенного полка, вместе с милициями шамхала Тарковского и Ахмет-Хана Мехтулинского.

Необходимо было торопиться восстановлением переправы, так как отряду угрожал уже недостаток в продовольствии. Полковник Пулло поехал с капитаном Вольфом выбрать место для постройки нового моста. Не получая известий о движении означенного транспорта, генерал Граббе начинал уже беспокоиться, посылал нарочных из туземцев разными путями к полковнику Попову, к шамхалу и к Ахмет-Хану, с приказаниями спуститься в долину Койсу и скорее войти в связь с отрядом; но ни один из посланных не доехал по назначению. С другой стороны, сделана была попытка открыть сообщение по вьючной дороге, ведущей от Чирката в Чиркей; в этих видах послан был в Чиркей состоявший при генерале Граббе и заведывавший лазутчиками поручик Толстой (из числа декабристов). Отправленный сначала с малым конвоем , он вернулся, не доехав даже до укрепления Удачного, и вторично отправлен был уже с целым батальоном; но переговоры его с чиркеевцами не привели ни к какому результату: они с обычным своим лукавством, прикидываясь вполне покорными, уклонились под разными предлогами от содействия русскому отряду. Положение наше становилось затруднительным; солдаты, израсходовав почти все сухари, питались незрелыми плодами и чем попало; лошадей кормили виноградными листьями; у маркитантов все запасы истощились, и цены поднялись до невозможного размера. Зато какая была общая радость в отряде, когда вечером 6 числа в дали возвышенной плоскости Арак-тау,

увидели мы поднявшуюся ракету. Не оставалось сомнения, что там уже находился ожидаемый транспорт.

7 июня весь отряд спустился с горы по весьма крутой дороге и перешел к самому Чиркату. На этом небольшом переходе мы испытали резкую перемену и в характере местности, и в климатических условиях: после постоянных ветров, холода, сырости, мы вдруг попали в зной; голые, каменистые утесы сменились роскошными садами, покрывавшими скаты гор, тщательно обделанные в виде террас и орошенные посредством водопроводов. Нельзя было налюбоваться огромными ореховыми и другими фруктовыми деревьями: персиковыми, абрикосовыми, шелковичными, грушами, сливами. Но со вступлением войск в эти чудные сады, началось немилосердное истребление их; вековые деревья рубились на топливо и разные поделки. Самое селение, обширное и богатое, имело тот же вид, как и все другие лезгинские аулы: каменные дома с плоскими крышами, с навесами на столбиках, иные с башнями теснились амфитеатром по скату горы, оставляя для прохода лишь узкие, извилистые коридоры. Главная квартира отряда расположилась в самом селении. Генерал Граббе занял прекрасную саклю с балконом, с которого открывался обширный вид на долину Койсу. В других

ближайших домах разместились все чины штаба и свиты. Я поселился вместе с флигель-адъютантом Катениным, Вольфом и Перовским. Вечером у дома командующего войсками играла музыка. С противуположного же берега Койсу с гор слышна была вечерняя молитва лезгин.

8 июня решено было отправить небольшой отряд (из двух батальонов Куринских с двумя горными орудиями и всею конницей), под начальством полковника Катенина, к Ихали (верстах в 10 от Чирката вверх по Койсу) с тем, чтобы завладеть Согритлохским мостом, занять правый берег реки и тем облегчить как постройку моста у Чирката, так и доставку запасов из транспорта полковника Попова. Движение Катенина к Ихали сопряжено было с большими затруднениями: орудия приходилось снимать с лафетов и перетаскивать на руках. По правому берегу реки несколько горцев провожали отряд выстрелами. Несмотря на все эти затруднения, около 3 часов пополудни Катенин достиг Согритлохского моста, быстро исправил его и на ночь расположился впереди его на правом берегу, в наскоро набросанных завалах.

Между тем началась и постройка моста у Чирката. Дело было не совсем легкое: пролет между обоими скалистыми берегами реки имел до 15 сажень, а страшная быстрота течения не допускала никаких промежуточных устоев. Оставалось одно средство: принять за образец постройку мостов самими горцами, которые с обоих берегов реки укладывают наклонно по несколько рядов бревен, так что каждый верхний ряд выдается вперед против ниже положенного; на задние концы бревен наваливают кучи камней; передние же концы верхних рядов, выступающих с обоих берегов, связывают рядом брусьев, так что в общем виде образуется нечто вроде арки. Саперы наши не без труда справились с такою работою. Материалом служили балки из разрушенных домов селения и виноградные лозы, заменившие канаты и веревки для связки бревен.

По случаю болезни Вольфа, я исполнял в этот день обязанности обер-квартирмейстера и сопровождал полковника Пулло в его поездке к строившемуся мосту, а также в рекогносцировке вдоль левого берега Койсу. Горцы с противоположного берега провожали нас выстрелами и ругательствами. Солдаты наши нашли пещеру, в которой была припрятана часть имущества чиркатских жителей.

9 числа, с рассветом, полковник Катенин начал подниматься от Согритлохского моста на нагорный берег Койсу. Лишь только отошел он от реки, горцы, скрывавшиеся в окрестных ущельях, показались в тылу и на флангах колонны, провожая ее выстрелами. Однако ж, после нескольких пушечных выстрелов, Катенин дошел до Ашильты и занял это селение. Тогда и Ахмет-Хан со своею милициею аварскою и мехтулинскою спустился с Бетлетской горы к Ашильте, а на другой день, 10 числа, доставлено было к Чиркатскому мосту на вьюках некоторое количество сухарей. Постройка моста не была еще окончена; а потому пришлось мешки с сухарями перетаскивать чрез реку по канатам.

В тот же день генерал Граббе лично предпринял рекогносцировку вдоль левого берега Койсу, к стороне Ахульго, под прикрытием двух батальонов, четырех орудий и ракетной команды. Неприятель, так же как и накануне, провожал нас выстрелами с правого берега реки. Несколько пуль просвистало около самого генерала, который лично указывал места для наших орудий. Снаряды артиллерийские попадали в самое Ахульго, но не могли причинять никакого вреда неприятелю в его крытых траншеях и пещерах. Обе скалы, укрепленные Шамилем, под наименованием Ахульго, представлялись с левого берега Койсу в виде голой, каменистой поверхности, изрытой во всех направлениях. Одна из этих скал, западная, называлась Старым Ахульго, другая — Новым. Разделяло их ущелье, или, лучше сказать, трещина, сквозь которую прорывалась речка Ашильтинская при впадении своем в Койсу. Обрывистые стены этой трещины сходились в иных местам так близко, что перекинут был мостик для удобнейшего сообщения между обеими скалами.

Рекогносцировка 10 числа дала нам первое понятие о знаменитом притоне Шамиля. В тот же день, как узнали мы позже, горцы сделали из Ахульго вылазку против милиции Ахмет-Хана и вытеснили было его из ашильтинских садов; но выдвинутые Катениным три роты пехоты оттеснили неприятеля и снова заняли сады. Между тем другая часть его отряда разрабатывала дорогу от Ашильты к строившемуся мосту. 11 числа к вечеру постройка моста была окончена, и немедленно же переправлено на наш берег несколько вьюков с сухарями.

В тот же день прибыл в отряд полковник Норденстам. Со вступлением его в должность отрядного обер-квартирмейстера завелся у нас по Генеральному Штабу некоторый порядок в занятиях. Обязанности были распределены между капитаном Вольфом и мною; он должен был вести журнал экспедиции и переписку по делам общим, а также писать реляции; на мою же долю досталась переписка по военным действиям отряда, составление диспозиций, расстановка войск, передовых постов и т.д.

В тот же день вечером составлена была мною диспозиция к переправе отряда на правую сторону Койсу, и с утра 12 июня начался переход войск по зыбкому мостику. Орудия перетаскивали чрез него на канатах. День был чрезвычайно жаркий. С трудом взбирались войска по узкой и крутой тропе на нагорный берег и располагались впереди Ашильты. Лагерь главной квартиры разбит был на террасах ашильтинских садов, уже значительно поредевших; самое же селение было совсем разорено. Два батальона Кабардинского полка первоначально оставлены были на левом берегу Койсу для охранения вагенбурга, а батальон Апшеронского полка с 2 орудиями охранял мост на правом берегу, прикрывшись наскоро устроенными завалами.

АХУЛЬГО

Подступив 12 июня к Ахульго, мы в первое время имели весьма неясные сведения о местности, на которой предстояло нам действовать. Она до такой степени исковеркана, что нужно немало времени, чтобы ознакомиться в подробности со всеми ее причудливыми складками, ущельями, трещинами, балками, обрывами. Рекогносцировка 10 числа с левого берега Койсу дала нам лишь общее понятие о замкнутом очертании как Старого, так и Нового Ахульго, ограниченных со всех сторон обрывами, недоступными для атаки открытою силою. Когда же мы подошли к Шамилеву притону со стороны Ашильты, то открылось, что обе скалы примыкают к горам только узкими перешейками или гребнями, по которым доступ был прегражден глубокими перекопами и устроенными за ними укреплениями в виде крытых каменных построек. Кроме того, пред Новым Ахульго возвышалась остроконечная скала, вершина которой была также занята укреплением, в виде башни, прикрытой отчасти естественными каменными глыбами. Скала эта носила название Сурхаевой башни. Выстрелы с этой башни, господствовавшей над окружающею местностью, весьма затрудняли нас, как в первое время относительно рекогносцировки местности, так и впоследствии при расположении войск и сообщениях между ними.

В первый же день по прибытии отряда к Ашильте, пущено было несколько конгревовых ракет на Сурхаеву башню, конечно, без всякого результата*. В тот же вечер, по приказанию генерала Граббе, была составлена мною диспозиция для расположения войск с указанием пунктов для батарей и с подробным наставлением относительно образа действий. Пехоте предписывалось постепенно выдвигать вперед передовые посты и секреты, прикрываясь местностью и ложементами; артиллерии — постоянно беспокоить неприятеля выстрелами, днем и ночью; саперам, с помощью наряжаемых от пехотных частей команд рабочих, — расчищать пути сообщения вдоль линии расположения войск и по возможности разрабатывать подступы к неприятельским укреплениям. Непосредственное начальство войсками, выдвинутыми против Ахульго, было возложено на генерал-майора Галафеева.

Рано утром 13 числа принес я свой проект генералу Граббе, который вполне одобрил его, и после полудня началось передвижение войск на предназначенные им новые места. Но вдруг совершенно неожиданно вздумалось

---

* Далее в автографе зачеркнуто: Генерал Граббе, прежде обстоятельного изучения местности, со свойственным ему нетерпением, вздумал предпринять на другой же день атаку Старого Ахульго по ведущему к нему узкому гребню, который с первого взгляда показался не слишком трудным (*прим. публ.*).

генералу Граббе попробовать в тот же день счастья — прямо атаковать Старое Ахульго открытою силою. Батальону Апшеронского полка, только что занявшему место на левом фланге, на уступе гор, приказано было двинуться на приступ по узкому гребню, ведущему к означенной половине Шамилева укрепленного притона. С этим приказанием послан был наш неустрашимый Шульц. По его указанию апшеронцы немедленно же устремились вперед под сильным перекрестным огнем неприятеля. Они должны были перебегать поодиночке по узкому гребню, а пред самым укреплением неприятельским были остановлены глубоким перекопом. Несколько смельчаков, соскочив на дно рва, пытались эскаладировать укрепление, подсаживая друг друга; но все попытки их, конечно, остались без успеха, с напрасною жертвою людьми. Не было даже возможности выносить раненых; они оставались на дне рва до начала темноты, и когда вытаскивали их оттуда, еще было ранено несколько человек. Шульц также был ранен в ногу; но остался в отряде и после вторичной раны.

Убедившись в невозможности атаки открытою силою, генерал Граббе вынужден был, обратиться к более медленному образу действий — к обложению неприятельской укрепленной позиции и к некоторым подготовительным мерам для облегчения штурма, как-то траншеям и усилению огня артиллерии. Такой образ действий, конечно, требовал значительного усиления подвоза запасов, боевых и продовольственных. При тогдашнем ограниченном составе отряда невозможно было полное обложение Ахульго с обоих берегов Койсу. Поэтому 14 числа остававшиеся на левой стороне реки батальоны Кабардинского полка и тяжести были переведены на правую сторону и расположились в резерве за левым флангом линии обложения; на переправе у Чирката оставлены только две роты Апшеронских, которые расположились на правом берегу реки, прикрывшись завалами и сняв с моста верхнюю настилку. Целое утро 14 числа работал я с полковниками Пулло и Норденстамом над составлением диспозиции для нового распределения войск.

Между тем, подошел наконец первый транспорт с запасами, под прикрытием одного батальона Апшеронского полка, под начальством полковника Попова. Также прибыли в лагерь шамхал Тарковский и Ахмет-Хан Мехтулинский. Эти два туземные владетеля Северного Дагестана были совершенно различны и по наружности, и по характеру: шамхал — человек тучный, с тупым выражением лица, соответствовавшим его тяжелому и вялому нраву; другой — стройный, красивый, молодцеватый и вместе с тем решительный, твердый, суровый до жестокости. Оба они остались при своих милициях, расположившихся на высотах Бетлетских для охранения тыла отряда.

Горцы из своих логовищ зорко следили за всеми движениями в нашем лагере и провожали пулями всякого, кто только неосторожно попадал под их выстрелы. По ночам бывали частые тревоги и перестрелки. Чрезвычайно эф-

фектна была картина 14 числа вечером, когда завязался бой на передовых постах при свете зарницы. Шамиль не замедлил воспользоваться снятием наших войск с позиции на левой стороне Койсу и, построив мост, сейчас же открыл свободное сообщение со всеми племенами верхнего Дагестана. Даже Чиркат был снова занят неприятельскими шайками, которые каждую ночь заводили перестрелку с охранявшими мост ротами Апшеронского полка.

15 июня началось возведение из туров, земли и камня батарей для наших орудий на тех высотах, с которых было возможно обстреливать разные части неприятельской позиции. Главная батарея была устроена против Сурхаевой башни. После обеда я отправился с полковником Пулло на рекогносцировку вдоль всей линии обложения, весьма растянутой и пересеченной. Сообщение между частями войск было чрезвычайно затруднено разделявшими их балками или ущельями с обрывистыми спусками. Поэтому на большей части нашего пути приходилось нам карабкаться пешком по крутым горам; а чтобы лучше высмотреть неприятельскую позицию с ближайших точек, мы надели толстые солдатские шинели и папахи, так как горцы обыкновенно направляли свои выстрелы предпочтительно на офицеров. (Тогда не было еще офицерских серых пальто.)

Рекогносцировка наша побудила к некоторым переменам в расположении войск и батарей. Утром 16 числа я занимался составлением новой диспозиции, а вечером сопровождал генерала Граббе в объезде позиции. В этот день получены были тревожные сведения о сборе новых враждебных скопищ в горах Андии, Гумбета, Богуляла и других, под предводительством посланных туда Шамилем надежнейших военачальников его: Ахверды Магома и Галбоца. Для наблюдения за этими скопищами предписано было Ахмет-Хану Мехтулинскому со своею милициею перейти на высоты к западу от Ашильты и стать на дороге, ведущей к Ихали. Батальонам Кабардинского полка, только что прибывшим с левой стороны Койсу, приказано также охранять тыл отряда с той стороны. В Темир-Хан-Шуру посылались настоятельные предписания о скорейшем подвозе к отряду провианта и снарядов, в которых артиллерия уже нуждалась. Генерал Граббе был весьма озабочен снабжением отряда на продолжительное время; вместе с тем он признавал необходимым усилить отряд свежими войсками, о чем было написано корпусному командиру. К счастью, в то время уже закончена была с успехом экспедиция в Южном Дагестане, и генерал Головин нашел возможным отправить оттуда на подкрепление Чеченскому отряду три батальона Графского полка (т.е. генерал-фельдмаршала Паскевича Эриванского) с четырьмя орудиями и часть заготовленных для Дагестанского отряда запасов.

Но подкрепления эти могли прибыть не скоро. В ожидании их принимались кое-какие частные меры: из Темир-Хан-Шуры вытребованы орудия (в том числе малые мортирки, так как действие легких орудий во многих

случаях оказывалось бессильным); ротам, охранявшим мост у Чирката, приказано уничтожить его и присоединиться к блокирующим войскам. Для ускорения сообщения с Темир-Хан-Шурою признано нужным, кроме существовавшего кружного пути чрез Зыраны, открыть кратчайший, хотя бы только вьючный, чрез Унцукуль и Гимры*.

Оба эти большие лезгинские селения находятся в ущелье Аварского Койсу, в расстоянии верст 10 или 12 одно от другого: Унцукуль — на левом берегу, а Гимры — на правом, ниже по течению. Первое, несмотря на свою близость к Ахульго и на все усилия Шамиля привлечь его на свою сторону, постоянно уклонялось от участия в восстании против русских; Гимры же, напротив того, были гнездом мюридизма и враждовали с Унцукулем. В последнее время гимринцы только по наружности заявили себя покорными; но

* По дороге чрез Зыраны и Цатаных было 4 или 5 переходов, а чрез Унцукуль и Гимры — не более двух; курьеры же могли проехать и в один день.

значительное число их (так же как и чиркеевцев) находилось в числе защитников Ахульго.

18 июня мне было поручено осмотреть означенную дорогу и переговорить со старшинами обоих названных селений. Из отрядного штаба дан мне переводчик — кумык Абдула, имевший чин прапорщика милиции; а проводников и конвой предоставлялось мне получить из милиции шамхала Тарковского, находившейся на моем пути. Выехав из лагеря рано утром, в прекрасный жаркий день, мы с Абдулой поднялись прямо по круче на гору, к месту расположения милиции. Впереди его лагеря, на самом краю обрыва, стояла палатка самого шамхала, который по целым дням любовался обширным видом с помощью зрительной трубы. Шамхал принял меня учтиво и приказал назначить конвой; но когда я сел верхом, чтобы ехать далее, явились только два пешие оборванца, которые должны были меня проводить до Унцукуля, откуда предстояло мне взять других проводников.

До Унцукуля доехали мы очень скоро; дорога отлого спускалась с высот в самую долину Аварского Койсу; пешие проводники не отставали от иноходи лошадей. Унцукуль — огромное селение, дворов с тысячу, построенное по образцу всех других дагестанских аулов и также окруженное великолепными садами. Башни кругом селения и внешний ряд саклей с бойницами давали унцукульцам возможность упорно защищаться против всех нападений Шамиля и его шаек. Так, еще за несколько месяцев до описываемого времени (в феврале 1839 г.) унцукульцы, предводимые своим замечательным старшиною Аллило, отбили два нападения Шамиля, тогда как другие окрестные селения передались ему или подверглись совершенному разрушению. Въехав в селение около полудня, я с трудом пробрался вслед за моими проводниками по узким, извилистым улицам к жилищу знаменитого Аллило. Теснившиеся в улицах жители с некоторым удивлением смотрели на проезжавшего русского офицера. Двухэтажная сакля старшины находилась на краю обрыва; с террасы дома открывался вид на сады, за которыми виднелся Койсу, пробивавший себе путь с пеною и ревом между отвесными, высокими боками ущелья. Хозяин вышел навстречу мне и дружелюбно пригласил меня быть его гостем. Это был уже человек старый, довольно полный, с белыми длинными усами, придававшими его лицу выражение воинственное. Он был в домашней, довольно грязной одежде, с босыми ногами, но с мохнатою шапкою на голове, несмотря на знойный день; одна рука была у него на подвязи. Внутреннее расположение дома и убранство были те же, как во всех других жилищах достаточных людей того края. Мы уселись на ковре, поджав под себя ноги, в одном из углов просторной кунакской половины (женское помещение было в верхнем этаже). С помощью переводчика Абдулы, завязалась у нас живая беседа. В виде приветствия я сказал, что мне приятно увидеть геройского предводителя унцукульцев, на что Аллило, отбросив всякую скромность, пустился сам в

восхваление своих подвигов и в исчисление оказанных им русскому правительству заслуг, а в заключение прямо высказал свои притязания на награду. Когда я сказал, что генерал Граббе вполне ценит его заслуги и приготовил для него богатую шубу, то я заметил на лице моего собеседника неудовольствие и затем, после довольно длинного диалога его с переводчиком, я узнал от последнего, что Аллило ожидал более важной награды — чина прапорщика! Я невольно улыбнулся такому скромному притязанию человека, выказавшего себя энергичным противоборцем Шамиля. Признаюсь, весь этот разговор несколько разочаровал меня насчет Аллило. Конечно, я обнадежил его в исполнении его желания и затем объявил о цели моего приезда в Унцукуль. Аллило дал немедленно приказание о доставлении мне проводников, а пока собирали их, предложил мне угощение. Грязная старуха внесла и поставила пред нами несколько деревянных лотков с фруктами, бараниной и другими блюдами лезгинской кухни. Еще не кончили мы нашу трапезу, как пришли сказать, что все люди на работе и что можно найти только одного проводника, который и покажет мне дорогу в Гимры. Делать было нечего; мы распростились с хозяином и отправились в путь.

Сначала дорога идет версты две прекрасными садами унцукульскими, потом спускается к самому руслу реки и становится все уже, все каменистее, по мере того, как самое ущелье стесняется отвесными утесами. Бурный поток несется с пеною и ревом по каменьям, образуя непрерывный ряд порогов. Случалось, что вода плескала на самую тропинку, по которой мы ехали. В иных местах нависшие над рекою естественные стены так сближаются кверху, что солнечный луч никогда не проникает на дно ущелья, а снизу едва видна только узкая полоска синего неба. Мы доехали до такого места, где тропинка совсем прекращалась, и, по заявлению проводника, уже нельзя было далее ехать верхом. Как же тут поступить? Куда девать лошадей? Приходилось оставить их на руки переводчика Абдулы, а мне продолжать путь пешком с одним лезгином, с которым объясняться можно было разве только мимикой. Абдуле дано было мною наставление, чтобы он дал лошадям отдохнуть и затем вернулся с ними в лагерь, в том предположении, что мне придется из Гимров возвратиться в лагерь по другой, кратчайшей тропе, также пешком.

Расставшись с своею верховою лошадью и с переводчиком, я пошел вдвоем с унцукульцем, пробираясь чрез каменные глыбы, завалившие все дно ущелья вплоть до самого потока. Карабкаясь с камня на камень на протяжении какой-нибудь сотни сажень, я вдруг очутился, к крайнему своему удивлению, на небольшой площадке, замкнутой отвесным утесом, и среди толпы сидевших на камнях вооруженных горцев. Они в свою очередь также устремили удивленные взгляды на появившегося пред ними русского офицера. Проводник мой сейчас же примкнул к толпе своих земляков и защелкал на своем непонятном для меня языке, а я остановился в недоумении, стараясь объяснить себе странное, безвыходное мое положение: уже не завел ли меня проводник с злым умыслом в эту западню, из которой не было выхода? Должен признаться, что была минута неприятная. Скрывая свое смущение, я постоял несколько времени, оглядываясь на окружавшие скалы, прошел еще несколько шагов по площадке и наконец, пользуясь немногими известными мне татарскими словами, обратился к ближайшим ко мне горцам с вопросом: "иол иок?" (т.е. дороги нет?), на что они ответили, прищелкнув языком, что значит у них: "нет". Тогда я молча повернул назад и начал снова перебираться чрез камни по пройденному уже мною пути. Подозрения мои рассеялись, когда я увидел, что горцы нисколько не препятствовали мне уходить, а некоторые из них пошли предо мной. Скоро вышел я опять на то место, где оставил Абдулу с лошадью. К радости моей, он еще не ушел оттуда, и я мог наконец чрез него разъяснить вопрос. Оказалось, что сообщение между Унцукулем и Гимрами было умышленно прервано во время бывших между этими селениями враждебных действий; что в прежнее время дорога переходила с одного берега на другой по мосту, носившему название Чертова моста (Шайтан-кепри), а после разрушения этого моста унцукульцами, генерал Фези в 1837 году проложил новую дорогу

по левому берегу реки; в зиму 1839 года унцукульцы опять прервали сообщение, разрушив ту часть его, где дорога устроена была на деревянных подкорках в голой скале. Кучка горцев, на которую я наткнулся так неожиданно, была выслана именно для разработки новой тропы. Таким образом дело оказалось очень простым; оставалось только подивиться тому, что ни в лагере шамхальском, ни в Унцукуле никто не подумал предупредить меня о том, что дорога не существовала, и что к восстановлению ее только что принимались меры самими жителями.

Итак, возложенное на меня поручение не могло быть исполнено; мне предстояло возвратиться в лагерь с таким неудачным результатом. Приехав в Унцукуль, я снова посетил Аллило и упрекнул ему, зачем не предварил он меня о невозможности провода в Гимры; старик отвечал пустыми отговорками. Я пробыл у Аллило часа два для отдыха; он снова угощал меня фруктами, и в это время пришла мне мысль воспользоваться случаем, чтобы доставить в лагерь, для нашей штабной артели, кое-какие съестные припасы, в которых мы терпели крайний недостаток. По моей просьбе, Аллило распорядился собрать все, что можно было в ауле: яйца, масло, кур, фрукты и т.д.; все это навьючить на двух ишаков (ослов) и отправить вслед за мною в лагерь. Операция эта продолжалась долее, чем я предполагал; не мало стоило труда определить плату за собранные припасы от разных хозяев, и при этих расчетах опять выказалась наивность унцукульского героя: он заявил право свое на удержание в свою пользу данного мною лишнего абаза (двугривенника) в вознаграждение за его посредничество.

Солнце уже садилось, когда я доехал до лагеря Шамхальской милиции. Переводчик мой просил позволения остаться здесь переночевать, ссылаясь на утомление его лошади и вместе с тем, чтобы дождаться вьюков с припасами из Унцукуля. Моя лошадь также подвигалась уже неохотно; но мне хотелось вернуться в отряд в тот же день и отдать отчет о результате моих безуспешных странствований. До лагеря оставалось верст шесть; но дорога шла чрез несколько глубоких балок, отчасти лесом. В ночную темноту я сбился с дороги, должен был сойти с лошади и вести ее в поводу, спускаясь наобум по горным крутизнам. Иногда держался я течения горных речек, которые, однако ж, во многих местах низвергались с утесов водопадами. Долго я пытался выбраться из этих трущоб, рискуя на каждом шагу оборваться с кручи вместе с лошадью, которая часто упиралась ногами и не хотела подвигаться вперед. И сам я устал до изнеможения; судя по времени, мне следовало уже давно быть в лагере. Приходила мне мысль остановиться на месте и выждать рассвета. Но вдруг оклик: "кто идет"? Случайно набрел я на "секрет"*, и у меня отлегло от сердца. Собрав последние силы, я взял одного солдата в проводники и доехал до лагеря в таком состоянии, что войдя в свою палатку, безотлагательно повалился на постель, не раздеваясь, и заснул крепким сном, похожим на бесчувствие.

*Секретами называются небольшие посты, располагаемые в скрытых местах для ночной охраны.

Недолго удалось мне отдыхать. Еще было темно, когда меня разбудили, и я услышал сильную перестрелку, не со стороны Ахульго, откуда привык уже слышать; а с противоположной стороны. Хотя я с трудом мог стать на ноги, однако ж вышел из палатки. Частые выстрелы с высот, находившихся к западу, за Ашильтою, и раздававшееся с этих высот обычное у горцев пение пред вступлением в бой ("Алла иль алла") — показывало, что мы атакованы с тылу неприятельскими скопищами, о сборе которых имели сведения. Стало быть, Ахмет-Хан, которому было предписано охранять отряд с той стороны, не исполнил своего назначения. Неприятель, пользуясь неожиданностью нападения, начал уже спускаться с высот к ашильтинским садам. Опасность угрожала даже главной квартире. Генерал Граббе и весь штаб уже были на площадке пред палаткой командующего войсками, и я присоединился к ним, позабыв свою усталость. Приказано было седлать лошадей, а мне — ехать к полковнику Лабынцеву, который, имея под рукой всего две роты Кабардинского полка, двинулся с ними навстречу неприятелю. Остальные роты этого полка, как оказалось, были в то время передвинуты ближе к Старому Ахульго по случаю предполагавшейся на рассвете новой попытки атаковать эту часть Шамилева убежища. Однако ж полковник Лабынцев, не ожидая приказаний, поспешно обратил оба свои батальона к атакованному пункту нашего расположения, и когда я доехал до передовых рот, то нашел, что неприятель уже выбит из устроенных им наскоро завалов. Левее двигался на высоты батальон Апшеронского полка. Все это исполнилось так быстро, что с рассветом неприятель был уже в полном отступлении, не успев даже убрать тела убитых. Только в это время спускалась с Аккента милиция Ахмет-Хана. Мне приказано было вести ее вперед по следам неприятельского скопища. Но последнее отступило так поспешно, что мы не могли уже настигнуть его и остановилось верстах в 10 от лагеря. Все войска получили приказание расположиться на указанных местах. Потеря наша в этот день состояла из 7 убитых и 84 раненых (в том числе 6 офицеров).

Нужно ли говорить в каком я был состоянии, когда возвратился в свою палатку. Тут только я сообразил, чему подвергался в прошлую ночь, блуждая один по горам в таком близком соседстве с неприятельским скопищем. Прибытие унцукульских вьюков с припасами доставило большое удовольствие нашей штабной артели. В то же время прибыл и новый транспорт из Темир-Хан-Шуры. Общество наше увеличилось несколькими приезжими оттуда, в том числе состоявшим при корпусном командире подполковником Ник<олаем> Ник<олаевичем> Муравьевым (будущий граф Амурский). Зато выбыл флигель-адъютант полковник Катенин для продолжения возложенного на него инспектирования войск.

После отдыха от ночной и утренней передряги в нашем штабе вечером принялись мы снова за дело. По приказанию командующего войсками составлялось новое распределение войск по линии блокады, с выделением достаточных

частей для лучшего прикрытия тыла от новых покушений неприятеля. Генералу Галафееву и отрядному инженеру Энгбрехту предписывалось вести систематически сапные работы. В то же время командующий войсками был озадачен положением оставленного в укреплении Удачном вагенбурга, в котором никакой надобности уже не было; находившийся там батальон (3-й Апшеронский) полезнее было присоединить к действующему отряду. Но упразднение этого укрепления, с выводом из него всех обозов и запасов, представляло операцию не легкую. Уже не раз неприятельские шайки угрожали нашему слабому укреплению; теперь же представлялась гораздо большая опасность, пока оставались в сборе многочисленные скопища Ахверды Магома и Галбаца, только что отброшенные от Ахульго и отступившие к Ихали.

Чтобы не оставлять это скопище в таком близком соседстве и вместе с тем обеспечить исполнение предписанного упразднения укрепления Удачного, генерал Граббе задумал произвести движение к стороне Ихали с летучею колонною из 4 батальонов, 4 горных орудий, конных казаков и милиции. В течение двух дней, 20 и 21 июня, в нашем штабе делались секретно распоряжения к этому движению; составлена инструкция генералу Галафееву на случай, если б Шамиль вздумал воспользоваться временным ослаблением блокады и предпринял вылазку. Мне поручено было произвести 21 числа рекогносцировку к Согритлохскому мосту и выбрать место для возведения

укрепления, которое обеспечивало бы блокирующие войска с той стороны. Поручение это было мною исполнено под прикрытием милиции Ахмет-Хана. К вечеру я возвратился в лагерь с донесением.

С наступлением ночи войска, назначенные к движению, начали стягиваться на высотах, а с рассветом двинулись к Ихали. В голове колонны ехал сам генерал Граббе со штабом. Милиции Ахмет-Хана приказано было следовать впереди, держась ближе к горам, чтобы, в случае встречи с неприятелем, атаковать его с фланга. Около 8 часов утра замечены были толпы горцев в одной из балок, пересекавших наш путь. По уверению лазутчиков, скопище было силою до 8 тысяч человек. Неприятель, увидев сначала одну милицию Ахмет-Хана, начал было распространяться вправо, к горам и, по видимому, намеревался сам атаковать аварцев и мехтулинцев; но появление нашей пехоты так озадачило горцев, что после нескольких выстрелов наших горных орудий, когда кабардинские батальоны с барабанным боем бросились в штыки прямо к балке, неприятельские толпы обратились в бегство, частью к Согритлохскому мосту, частью к Ихали. Столпившиеся на Согритлохской переправе горцы сильно потерпели от выстрелов нашей артиллерии; многие утонули в реке. У нас потеря состояла лишь в нескольких милиционерах.

После этого короткого дела войска наши расположились биваком несколько впереди места боя и провели тут ночь. Отсюда нам был ясно виден наш вагенбург в укреплении Удачном, и даже можно было в зрительную трубу разглядеть, как тяжести поднимались на Соук-Булак. Но под утро следующего дня (23 числа) получено было от генерала Галафеева известие, что в ту самую ночь, как и можно было ожидать, Шамиль произвел из Ахульго сильную вылазку. Значительная толпа горцев бросилась по руслу речки Ашильтинской на батарею, вновь заложенную против Старого Ахульго, сбила попавшийся передовой пост из 25 человек, успела сбросить в кручу мантелет и несколько туров; но отбитая подоспевшею из резерва ротою отступила, оставив в наших руках три тела.

Известие это побудило генерала Граббе отказаться от дальнейших наступательных предприятий против скопищ Ахверды Магома и возвратиться под Ахульго. В этот день наступившая вдруг холодная погода сменила прежний нестерпимый зной. К вечеру восстановилось прежнее расположение блокирующих войск. На другой день, 24 числа, получено донесение о благополучном очищении укрепления Удачного. С помощью высланной из крепости Внезапной роты, а также кумыкской милиции, лошадей и быков все тяжести были перевезены в эту крепость; временное укрепление срыто; а батальон Апшеронский с четырьмя легкими орудиями двинулся чрез Темир-Хан-Шуру на присоединение к действующему отряду. С другой стороны были сведения, что скопище Ахверды Магома разошлось, оставив лишь наблюдательные партии на левом берегу Койсу у Ихали и Согритлохского моста.

Блокирующие войска не оставались в бездействии. Передовые посты мало-помалу выдвигаясь вперед в своих ложементах, все более стесняли круг обложения. По гребню, ведущему к Старому Ахульго, саперы вели подступ двойною тихою сапою. Более всего затрудняла нас Сурхаева башня; передовые посты Куринского полка уже выдвинулись до самой подошвы утеса; с другой же стороны рота Апшеронского полка смело пробралась и на противоположный спуск с башни к Новому Ахульго и утвердилась на одном из крутых уступов, где самый профиль утеса доставлял прикрытие от выстрелов как с башни, так и с Нового Ахульго. Таким образом Сурхаева башня была уже обложена кругом. Однако ж отчаянные мюриды все-таки держались в ней, продолжая каждую ночь спускаться тайком к речке Бетлетской за водой, что каждый раз давало повод к тревоге и перестрелке. Выстрелы наших батарей, по-видимому, причиняли мало повреждений неприятельскому гнезду на вершине утеса; между тем артиллерия израсходовала уже огромное количество снарядов. Транспорты не успевали пополнять их.

Снова поднят был вопрос об открытии кратчайшего сообщения с Темир-Хан-Шурой для облегчения подвоза запасов. Первая моя командировка 18 июня в Унцукуль и Гимры осталась без последствий; на меня же теперь возложены были новые изыскания и поиски. Возникла мысль о разработке прямого спуска с гор к Гимрам, минуя Унцукуль, а также об устройстве переправы чрез Андийский Койсу близ самого слияния его с Аварским Койсу, где, по показаниям туземцев, скалистые берега реки так сближаются между собою, что можно будто бы перебросить бревно с одного берега на другой. Готовясь к предстоявшей мне новой командировке, я между тем придумывал как бы облегчить самую постройку моста при тех условиях, какие представляли дагестанские реки, и при имевшихся в отряде скудных материальных средствах. Задача эта уже занимала меня в Чиркате; теперь же, на досуге, я смастерил собственноручно из деревянных брусочков модель такого моста, который, казалось мне, было бы всего легче перебросить чрез Койсу. Однако ж попытка эта была оставлена мною без практического применения, так как я должен был уже 25 числа снова отправиться на поиски.

На этот раз проводником мне служил один из почетных туземцев из селения Эрпели—Улу-бей, человек дельный, влиятельный, имевший надежных "кунаков" в Гимрах. Его сопровождали несколько нукеров, кроме данного мне переводчика и еще двух кумыков. Доехав без затруднений до того места, где начинается крутой спуск к Гимрам, мы должны были сойти с лошадей и вести их в поводу. Тропинка извивалась между камнями и кустами и вела прямо к гимринскому мосту на Аварском Койсу. Мост этот был такой же конструкции, как все другие зыбкие мосты горской постройки. От моста дорога поднимается садами до селения Гимры, построенного сходно с другими большими дагестанскими аулами. Встречавшиеся в узких улицах жители смотрели на нас сурово и неприязненно; многие из них имели на голове белые чалмы — отличительный знак мюридов. Остановились мы у старшины, и после непродолжительных объяснений получили проводника для указания нам дороги к тому месту у слияния обоих Койсу, где предполагалось возобновить существовавший некогда мост. Переправившись обратно на левую сторону реки, мы следовали вниз по ее течению. И здесь долина Аварского Койсу составляет тесное ущелье; только при самом слиянии с Андийским Койсу образуется небольшая площадка. Осмотрев внимательно это место, я возвратился в Гимры. Старшина угостил нас полным обедом, начиная с фруктов и кончая бараньим отваром, то есть в обратном порядке против европейской кухни. Поблагодарив хозяина за его гостеприимство, мы отправились в обратный путь. Провожавшие нас косые и злобные взгляды гимринцев не внушали большого доверия к их вынужденной покорности. Нам предстояло возвращаться по тому же пути, по которому прибыли в Гимры; но разумеется, подниматься в гору было во сто раз тяжелее, чем спускаться. И лошади наши,

и мы сами выбились из сил; несколько раз должны были останавливаться, чтобы перевести дух. Подъем продолжался часа два. Когда мы вышли из пропасти на открытую местность, Улу-бей со своими нукерами остался здесь ночевать, а я продолжал путь с бывшими при мне двумя кумыками и доехал до лагеря уже в совершенную темноту. Войдя в свою палатку, я не раздеваясь заснул, как мертвый.

Результатом моей поездки было решение командующего войсками исправить по возможности осмотренный мною крутой спуск к Гимрам, собственно только для проезда курьеров и для вьючного сообщения, но в то же время восстановить и прежний путь между Унцукулем и Гимрами для движения транспортов; вместе с тем положено было разработать подъем от лагеря на Бетлетскую гору, к месту расположения Шамхальской милиции. Для приведения в исполнение всех этих предположений назначены были две полные роты: одна — на работы в ущелье между Унцукулем и Гимрами, другая — на Бетлетскую гору. Несколько дней сряду ездил я для указания саперам направления новой дороги. Работы начались с 27 июня и продолжались до самого конца блокады Ахульго.

Между тем 26 и 27 июня прибыли в лагерь два транспорта с большим количеством запасов, продовольственных и боевых, с 2-мя легкими орудиями и 4-мя мортирками. Орудия эти были немедленно установлены на батареи, обстреливавшие Сурхаеву башню, и вслед за тем положено было предпринять решительный приступ на эту башню. 29 июня, с рассвета, батареи открыли по ней сильнейший огонь с трех сторон, а в 9 часов утра два батальона Куринского полка подошли к самой подошве скалы; вызванные вперед охотники начали смело взбираться вверх к самой башне, несмотря на сбрасываемые с вершины скалы камни и бревна. Некоторые из егерей-охотников, несмотря на явную опасность, успели достигнуть основания башни и, подсаживая друг друга, пытались в нее проникнуть; но каждый смельчак, которому удавалось это, платил жизнью. Чтобы облегчить егерям доступ к башне, артиллерия по временам возобновляла огонь залпами; каждый выстрел срывал огромные обломки; но камни и бревна катились на штурмующих. Горцы защищались с отчаянною отвагою. Кровопролитный бой длился несколько часов; одна рота сменяла другую. Больно было видеть, как бесплодно гибли люди в безнадежной борьбе, но генерал Граббе упорствовал в своем намерении взять башню приступом. Он во все время ходил пред своей палаткой, показывая вид хладнокровного спокойствия и по временам давал приказания подкреплять атакующих свежими частями. Мне было поручено сначала находиться на одной из батарей, обстреливавших башню, чтобы ближе наблюдать за ходом дела; позже я был послан на правый фланг блокадной линии. В средине дня страшный бой временно притих, как будто от изнеможения обеих сторон. Егеря наши томились от зноя и жажды на голой скале. В 4 часа генерал Граббе

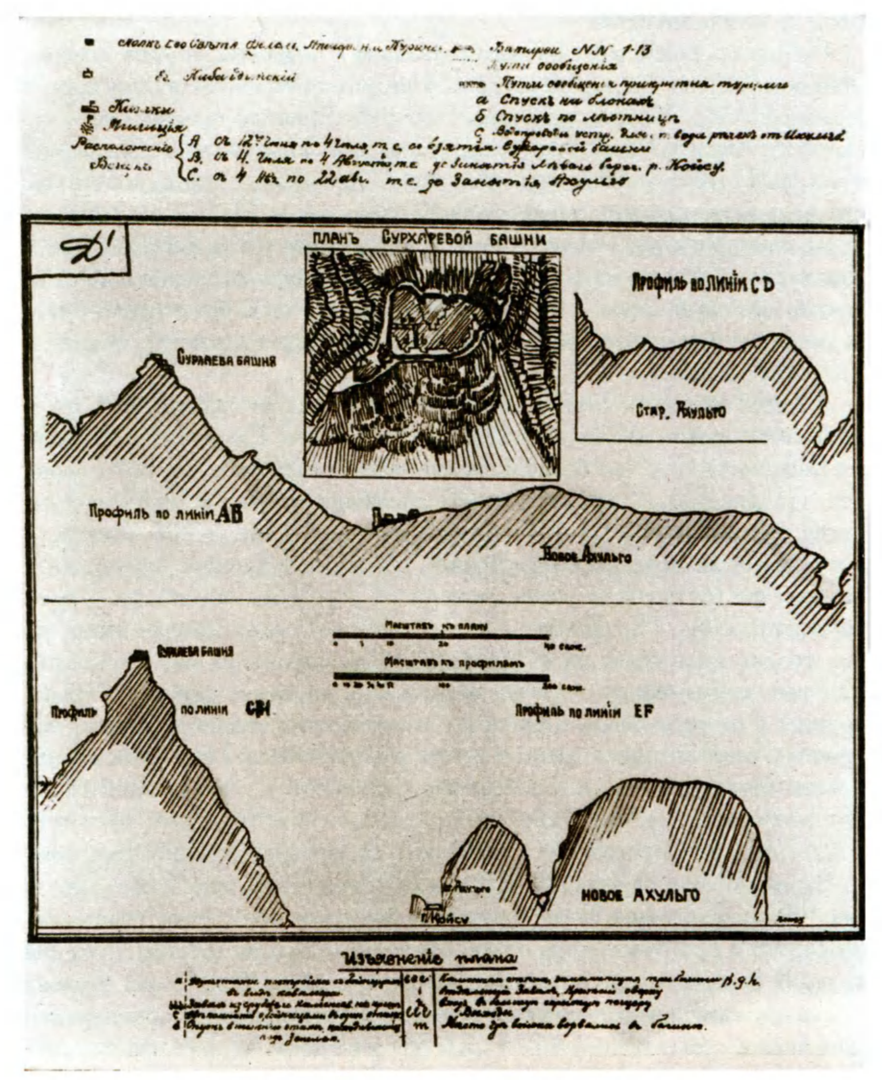
приказал возобновить приступ свежими войсками. Двинуты были батальоны Кабардинского полка, знаменитого своею беззаветною храбростью и воинственным духом, но под впечатлением испытанных в течение целого утра неудач, кабардинские егеря шли неохотно на убой. Новая попытка приступа осталась столь же безуспешною, как и прежние. С наступлением темноты передовые части войск были отведены с облитого кровью утеса.

Этот день обошелся нам дорого. Посланный с приказанием к полковнику Лабынцеву о прекращении боя, я проходил между множеством раненых и трупов убитых. Большинство тех и других потерпело от сброшенных камней. По официальным донесениям всю потерю этого дня считали свыше 300 человек. Одних офицеров было 2 убитых и 18 раненых. В числе первых были майор Власов, принявший участие в приступе в качестве охотника. В частях, введенных в бой, не оставалось ни одного ротного командира, а в некоторых ротах — даже ни одного офицера. Неудача этого дня навела грусть во всем лагере. Генерал Граббе был крайне расстроен, тем более, что на него лично падала вся нравственная ответственность за понесенную бесплодную потерю. Вечер этого дня напомнил мне такой же вечер, после первого неудачного приступа Аргуани.

Кроме потери в людях, израсходовано было огромное количество боевых запасов. Батарея из четырех легких орудий одна выпустила до 1000 выстрелов. Надобно было снова поджидать прибытия транспортов. Поэтому наступило снова несколько дней затишья. Мы томились физически от невыносимого зноя и нравственно — от неутешительного положения дел. Я перебрался из душной палатки, в которой жил с Перовским, в балаган или род шалаша, устроенный из ветвей и виноградных лоз. Новое это обиталище не только доставляло мне более свежести, но вместе с тем избавило меня от многочисленных гостей, иногда собиравшихся по вечерам к Перовскому для карточной игры, к которой я всегда имел отвращение. Впрочем это переселение мое было только временною и случайною разлукою с товарищем; мы все-таки остались в общей артели и вскоре потом опять соединились в совместном жительстве.

Я уже упомянул, что почти каждый день, несмотря на зной, я должен был ездить на дорожные работы, то один, то вместе с Норденстамом. Разработка прямой дороги к Гимрам была окончена в короткое время; спуск этот хотя несколько улучшился, однако ж все-таки был чрезвычайно крут. Во время работ два солдата найдены были убитыми, ночью, на берегу Койсу; ответственность за это злодеяние, конечно, падала на гимринцев. Генерал Граббе, недовольный действиями Юсуф-бека, назначенного шамхалом для надзора за ними, приказал заменить его упомянутым уже Улу-беем Эрпелинским, спутником моим в поездке в Гимры. Можно было надеяться, что этот человек, с своею твердостью и связями, сумеет поддержать авторитет среди необузданных гимринцев.

Между тем почти ежедневно прибывали в отряд небольшие транспорты с запасами, но, к сожалению, подвоз производился по мелочам и без толку. Частое отправление малых транспортов сопряжено было с излишним расходованием войск для конвоирования. 3 июля прибыл из Темир-Хан-Шуры большой транспорт, под прикрытием 3-го Апшеронского батальона, того само-



Профиль Ахульго

го, который прежде находился в укреплении Удачном; при нем прибыли и 4 легких орудия. Батальон этот расположился рядом с 4-м того же полка, на левом фланге, то есть против спуска к Старому Ахульго; орудия же поступили на вооружение новой батареи, возведенной на горном уступе к востоку от Сурхаевой башни, для обстреливания ее перекрестным огнем. С прибытием этих подкреплений, в отряде состояло уже 10 батальонов пехоты и 24 орудия; но численная сила отряда все-таки составляла немного более 6100 человек в строю, не считая милиций.

Пользуясь прибытием свежего батальона и подвозом запасов, генерал Граббе вознамерился на другой же день, 4 числа, возобновить попытку против Сурхаевой башни. Но пред рассветом того дня неприятель произвел вылазку из Старого Ахульго и бросился на переднюю часть крытой сапы, доведенной уже до рва. Подоспевший резерв отбил нападение горцев; но когда все утихло, вдруг вспыхнул мантелет, прикрывавший голову сапы. Пламя, раздуваемое ветром, быстро сообщалось от одного тура к другому, и в то же время горцы открыли сильный огонь из своих завалов. Для прекращения пожара пришлось сбросить несколько туров, и таким образом головная часть почти оконченного уже подступа была уничтожена. При этом лишились мы одного офицера и нескольких солдат.

В 2 часа пополудни открыта была сильная пушечная стрельба по Сурхаевой башне с нескольких батарей перекрестным огнем. После каждого выстрела поднимавшаяся над башней густая пыль показывала, что артиллерия наша производила в неприятельском логовище страшное опустошение. Между тем вызванные со всего отряда охотники, в числе 200 человек, с заготовленными деревянными щитами, обитыми войлоком, выжидали у подошвы скалы сигнала атаки; позади их в резерве готова была рота Куринского полка. По данному сигналу охотники смело полезли вверх; но лишь только некоторые из них добрались до башни, из нее выскочили отчаянные защитники ее и снова повторились кровавые сцены 29 числа. Мюриды с ожесточеньем кидали на штурмующих камни и бревна; все отважные наши охотники были перебиты или изувечены. Но на этот раз им послано было приказание прекратить попытки и, прикрывшись по возможности от неприятельских выстрелов за каменьями, выждать наступления ночи. Батареи же возобновили свое разрушительное действие.

Вторичная эта попытка на Сурхаеву башню стоила нам 5 офицеров и более 100 нижних чинов. В числе раненых был один гвардейский офицер — Кирасирского Его Высочества полка, Мартынов. Но результатом этого дня был такой разгром неприятельской берлоги, что дальнейшая в ней оборона сделалась невозможною, и в течение ночи оставшиеся еще в живых защитники башни должны были покинуть ее. Пробираясь в Новое Ахульго, они наткнулись на наши секреты; завязалась перестрелка; а между тем наши охотники,

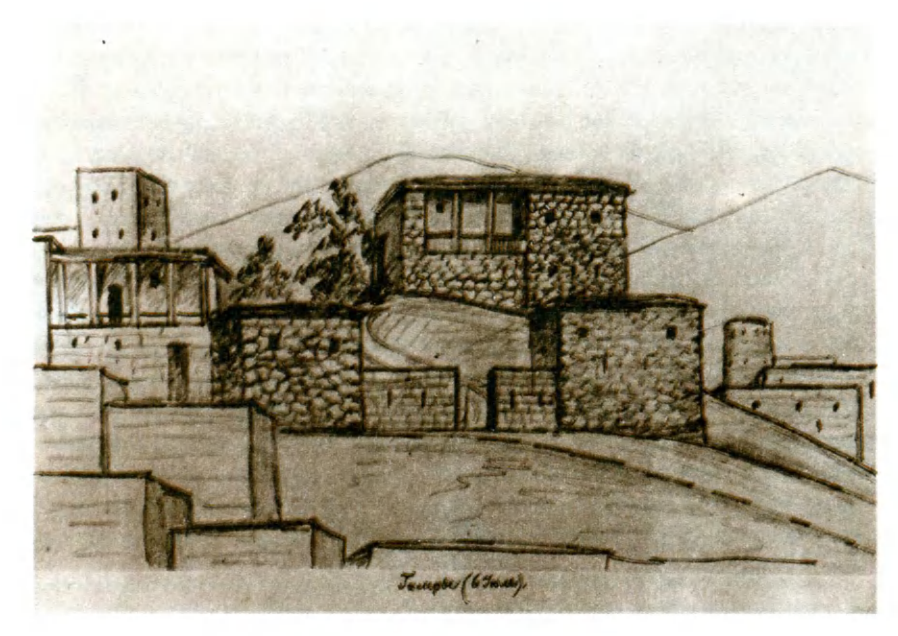
удержавшиеся на скале, под самою башнею, беспрепятственно заняли ее. Они нашли одни развалины, несколько трупов и раненых.

Уничтожение Сурхаевой башни было значительным успехом в ходе осады и облегчило дальнейшие действия против Нового Ахульго. В ожидании прибытия подкреплений из Южного Дагестана и новых транспортов, поднят был вопрос об открытии снова сообщения с левою стороною Андийского Койсу. Некоторые из туземцев указывали еще новое место для устройства переправы, но уже не на Андийском Койсу, а на Сулаке, то есть ниже слияния обоих Койсу, где скалистые берега до того сближаются между собой, что можно перебросить бревно с одного на другой и стало быть не требуется никакой сложной постройки. Расследование по этому предмету было опять возложено на меня, и предварительно поручено нанести точные справки от приближенных шамхала Тарковского. 5 июля я отправился к нему в лагерь, но никаких сведений не добился, и потому на другой день, 6 числа, должен был отправиться для личного осмотра указанного места на Сулаке. Выехав из лагеря утром в сопровождении переводчика и трех туземцев, я прибыл в Гимры прямо к Улу-бею, которого застал в хлопотах по поводу только что случившегося утром происшествия. Несколько гимринцев напали на трех унцукульцев, которые будто бы покушались угнать гимринский скот, пасшийся на берегу реки Койсу; в возникшем столкновении убиты один гимринец и двое унцукульцев, тела которых и видел я при проезде чрез гимринский мост. Третий же унцукулец был схвачен и приведен к Улу-бею, который знал его лично. К дому Улу-бея сбежалась толпа раздраженных гимринцев и требовала выдачи унцукульца, чтобы расправиться с ним по-своему. Улу-бей, имея при себе стражу из верных людей, не уступил, и толпа разошлась с неудовольствием и угрозами. В это-то время въехал я в Гимры; мне бросились в глаза зверские лица попадавшихся людей. Улу-бей признал невозможным предпринять в тот день поездку к указанному месту на Сулаке, и потому приходилось мне оставаться в Гимрах до следующего утра. К счастью моему, в то время приехал к Улу-бею из Темир-Хан-Шуры русский офицер Манучаров, которого присутствие отчасти выручало меня от скуки продолжительного сообщества туземцев. Манучаров предложил нам чаю, чему, конечно, я был очень рад; малолетний сын хозяина принес фруктов; а под вечер собралось множество народа. В числе непрошенных гостей были и некоторые из отъявленных мюридов в белых чалмах; один из них был известен как убийца графа Ивелича, который в 183* году был предательски схвачен гимринцами на том самом месте, куда собирался я ехать, и приведенный к Шамилю в Ашильту, умерщвлен по его приказанию. Признаюсь, мне было не по душе соседство такого человека, тем более, что мои собеседники как будто нарочно наводили речь на трагический конец

* Последняя цифра даты в автографе и списке отсутствует; в автографе на полях против даты поставлен карандашом вопросительный знак (*прим. публ.*).

Ивелича и кичились этим злодейским вероломством. Один мулла поднес мне написанный на клочке бумаги приветственный адрес, за что получил от меня целковый и остался вполне доволен этим "бакшишем". Улу-бей приготовил нам ужин на полу-европейский лад; конвойных же моих угостил отдельно на дворе вместе со своими стражниками. После вечерней молитвы, заунывно пропетой во всем ауле, все утихло и мы улеглись спать, забаррикадировав все входы в дом; на балконе же или террасе дома расположилась вооруженная стража Улу-бея.

Ночь прошла почти без сна. Едва начало светать, я поднял на ноги весь дом, чтобы отправиться как можно раньше в предстоявший путь и успеть в тот же день вернуться в лагерь. Выехал я в сопровождении Улу-бея и его стражи; данных же мне из лагеря конвойных оставил у гимринского моста ожидать моего возвращения. По пути, на каждом шагу, указывали мне места разных недавних кровавых происшествий; показали и то, где было произведено нападение на команду графа Ивелича. Это самое место и составляло цель моей поездки. Достигнув его частью верхом, часть пешком, я убедился в невозможности проложения туда какой бы то ни было дороги, даже вьючной. Хотя Улу-бей говорил мне еще о каком-то очень узком месте Андийского Койсу, повыше осмотренного уже мной, так называемого Ашильтинского моста, однако же сам же потом заявил о невозможности проложения туда дороги. Таким образом и на этот раз мои поиски имели результат отрицательный. Возвра-



тившись к гимринскому мосту и соединившись со своими конвойными я должен был опять взбираться на гору. Несмотря на все произведенные работы для улучшения этого проклятого подъема, он показался мне почти столь же тягостным, как и в прежнем виде; а вдобавок приходилось теперь довольно долго кружить по зигзагам около падали, заражавшей воздух. К 6 часам вечера я уже был в лагере, и первым, кого встретил, был сам генерал Граббе. Немедленно же отдал я ему отчет о результатах моей поездки, а затем полковникам Пулло и Норденстаму.

На другой день генерал Граббе объезжал часть блокадной линии; я же оставался весь день в своем шалаше, совершенно измученный поездкой 9 числа. Я полюбопытствовал только взобраться на место бывшей Сурхаевой башни, откуда открылся обширный вид. Там стоял караул из 30 человек. Место не было еще вполне очищено; валявшиеся трупы убитых заражали воздух. Со времени разорения этого гнезда расположение наших войск значительно подвинулось вперед; протяжение позиции сократилось; но сообщения между частями блокадной линии сделались еще трудней прежнего: в некоторых местах были устроены спуски по приставным лестницам, в других спускали людей и орудия на канатах, посредством блоков или воротов. В особенности подвинулись подступы к Новому Ахульго. Новые батареи на правом фланге блокады обстреливали этот утес с самого близкого расстояния. Спуск с бывшей Сурхаевой башни к выступавшей передней части Нового Ахульго, образовавший два больших уступа в виде естественных брустверов, был уже занят целым батальоном (2-м Апшеронским). От нижнего уступа осталось до переднего рва неприятельского передового укрепления сажен 50 такой кручи, что спускаться можно было не иначе, как по приставной лестнице. Устроить тут подступ сапою признавалось невозможным.

12-го числа прибыли давно ожидаемые из Южного Дагестана 3 батальона Графского полка с 4 орудиями. Мне было поручено встретить эту колонну и провести на предназначенное ей место расположения. Застав полк на высотах близ казачьего лагеря, я был несколько удивлен, увидев, что все, от полкового командира до последнего солдата заняты чисткою и переодеванием. Командир полка полковник барон Врангель (Александр Евстафиевич) — высокого роста, статный, с красивым лицом, с длинными белокурыми усами, щеголевато одетый, производил приятное впечатление своею наружностью, так же как и изящными формами в обхождении. Взяв полковых квартирьеров, я повел их на место, назначенное для полка, в ашильтинских садах, позади лагеря главной квартиры. Около 4 часов генерал Граббе встретил прибывший головной батальон полка с некоторою торжественностью, от которой мы отвыкли в Чеченском отряде. Час спустя вступили в лагерь и остальные батальоны с орудиями.

С прибытием этих подкреплений отряд наш состоял уже из 13 батальонов и 30 орудий; численная сила достигла 8400 человек в строю (а всего до

13 тысяч), со включением милиции. Решено было неотлагательно произвести общий приступ. Неприятель, как бы предвидя атаку, сделал в ночь на 13 число смелую вылазку из Нового Ахульго и сбил стоявшую на нижнем уступе спуска роту Апшеронского полка. Генерал Граббе послал этой роте строгое приказание немедленно загладить свое позорное поведение и во что бы ни стало снова занять покинутое ею место, угрожая в противном случае расстрелять десятого человека. Приказание было исполнено, и нижний уступ пред главною частью Нового Ахульго снова занят 14 числа.

15 июля я обошел пешком значительную часть нашей позиции, спускался и поднимался по лестницам и на канатах, стараясь приглядеться к причудливой топографии этих трущоб. На другой день, 16 числа, утром ездил с Вольфом осмотреть дорожные работы; возвратившись в лагерь, мы узнали не без удивления, что в тот же день, в 4 часа, уже назначен штурм. Мы не могли объяснить себе, что побудило наше начальство приступить к такому важному, трудному делу столь внезапно, без предварительных подготовительных мер. Едва успели даже составить диспозицию и разослать ее войскам; на батареях не было запасено достаточно зарядов; не было дано времени на то, чтобы предварительно артиллерийским огнем облегчить путь пехоте.

По диспозиции главная атака на Новое Ахульго возложена была на вновь прибывший Графский полк, под начальством барона Врангеля. Полку этому приказано было сменить апшеронцев на нижнем уступе спуска и запастись лестницами. Другая колонна, из одного батальона Апшеронского (1-го), под начальством полковника Попова, должна была развлекать внимание неприятеля атакою по гребню, ведущему к головной части Старого Ахульго. Третья же колонна, из 6 рот того же Апшеронского полка, под начальством майора Тарасевича, направлена между обоими Ахульго, по руслу речки Ашильтинской, чтобы препятствовать взаимной поддержке той и другой части неприятельских сил, а в случае, если б нашлась какая-нибудь тропинка от русла речки на вершину утесов, то воспользоваться ею и тем облегчить успех главной атаки. Всем офицерам приказано было надеть солдатские мундиры. К каждой из трех штурмовых колонн назначен офицер Генерального Штаба: к главной — Шульц, к левой — Эдельгейм, а мне досталось вести среднюю, майора Тарасевича.

После нескольких часов артиллерийской стрельбы со всех батарей по головным частям обоих Ахульго, в 5 часов пополудни дан был сигнал к атаке белым флагом. Все три колонны, одновременно бросились вперед. В главной, барона Врангеля, головная рота, смело спустившись с нижнего уступа горы по лестницам, под сильнейшим огнем неприятеля, мгновенно устремилась с криком "ура" в самый ров пред головным укреплением Нового Ахульго и начала взбираться на самое укрепление. Левая, полковника Попова, также бросилась с криком "ура" к головной части Старого Ахульго, а колонна майора

Тарасевича, тронувшись прямо с места беглым шагом по руслу реки, быстро проникла в ущелье между обоими Ахульго. Но тут с верху отвесных скал с обеих сторон посыпался на нас буквально град камней, а спереди были мы встречены выстрелами с завалов, остававшихся до того времени нам невидимыми. С первого же раза легло у нас множество убитых и раненых; солдаты инстинктивно замедлили шаг; каждый старался пробираться ближе к бокам ущелья, прикрываясь выдающимися скалами. В то же время и в главной колонне, после первого стремительного порыва, вдруг встретилась непреодолимая преграда. Завязался отчаянный бой во рву и потом на передней площадке неприятельского укрепления, офицеры и солдаты оказывали чудеса храбрости. По мере того, как гибли передние люди, вводились в дело свежие роты. На узком гребне не было возможности протискаться между множеством раненых и убитых. Многие обрывались и падали стремглав к речке на наших глазах. Также и пред Старым Ахульго встречена остановка. В нашей средней колонне ясно было видно все, что происходило над нашими головами, справа и слева. Солдаты, бросившиеся первоначально вперед с таким увлечением, постепенно останавливались, прижимаясь к скалам, чтобы укрыться по возможности от камней сверху и от выстрелов спереди. Почти каждый, кто высовывался на средину ущелья, подвергался тому или другому. Никакие приказания, ни увещания офицеров не могли побудить солдат двинуться вперед; да и какая могла быть цель дальнейшего нашего движения? Только увеличивалась бы и без того уже большая потеря в людях, без всякой пользы для успеха главной атаки. Начинало уже темнеть. Не получая никаких приказаний, мы оставались неподвижно в ущелье, как вдруг раздался спереди крик: "берегись, горцы бросаются в шашки!". Кто закричал? Действительно ли горцы появились в ущелье, или только померещилось напуганному воображению солдат, — осталось неизвестным. Но одного этого крика было достаточно, чтобы вдруг вся колонна шарахнулась. Тут уже пропал и самый инстинкт самосохранения: не думая искать прикрытий за скалами, солдаты бросились бежать толпою по самому руслу речки, толкая друг друга, спотыкаясь на камни; и тут-то колонна наша понесла главную потерю. Тщетно офицеры пытались остановить бегство; один из них выхватил у барабанщика барабан и начал сам бить сигнал атаки; и я также, несмотря на свою рану, обнажил шашку и пробовал загородить дорогу беглецам; но если и удавалось остановить одного на мгновение, то другие все-таки продолжали бежать, не заботясь об оставшихся позади раненых, ни о телах убитых. Тут выказалось наглядно действие панического страха, возможного даже в лучших войсках. Во всю долгую жизнь не изгладилось у меня то удручающее чувство, которое испытал я в этот день.

С наступлением ночи все штурмовые войска возвратились на первоначальные сборные пункты колонн. Невыразимое уныние наступило во всем отряде. Потеря у нас была громадная: до 156 убитых и 719 раненых, в том

числе офицеров 7 убитых и 45 раненых. В Графском полку не осталось ни одного офицера из числа бывших в строю; сам барон Врангель был прострелен в грудь. В средней колонне Тарасевича выбыла из строя целая треть людей. Из штабных в этот день ранен полковник Муравьев (Николай Николаевич); из гвардейских офицеров убиты Ридигер (Егерского полка) и Воронов (Уланского Его Высочества); ранены: Потулов (Преображенского) и Стромберг (Драгунского). Что касается меня, то я отделался одними синяками от попавших мелких камней.

На другой день, 17 числа, я пошел навестить раненых; барона Врангеля, лежавшего в своей палатке на том же уступе горы, пред Новым Ахульго, откуда накануне начался приступ. Несмотря на простреленную грудь, он смотрел бодро и разговаривал со мной спокойно о вчерашнем дне. Потом зашел я к Муравьеву, раненому в руку, к Потулову и Фитингофу. Графский полк, крайне расстроенный, перемещен на прежнее место в резерв; во всех трех батальонах оставалось в строю едва 800 нижних чинов, и при них только три офицера, занимавшие нестроевые должности. Для командования батальонами и ротами прикомандированы были офицеры из других полков и даже несколько артиллеристов, командование полком возложено на подполковника Апшеронского полка Быкова. Барон Врангель и другие раненые были отправлены с первым транспортом в Темир-Хан-Шуру. Место вчерашнего боя было завалено телами убитых. Всего прискорбнее было думать, что в руках неприятеля могли остаться многие из раненых, не имевшие возможности уйти назад.

Настроение в отряде было такое удручающее, что полученное в то время известие о наградах за взятие Аргуани не порадовало никого. Однако ж, 18 числа весь штаб счел своею обязанностью облечься в эполеты и шарфы и пойти in corpore поздравить генерала Граббе с орденом Св. Александра Невского, а Галафеева с производством в генерал-лейтенанты. Генерал Граббе не принял нашего поздравления за неимением еще официального уведомления, которое пришло только чрез четыре дня; а потому 23 числа мы вторично ходили с поздравлением. Оба наши полковые командира Пулло и Лабынцев произведены в генерал-майоры. В числе награжденных и я украсился Станиславом в петлицу. Генерал Граббе нашел эту награду недостаточною и намеревался войти с новым ходатайством о награждении как меня, так и некоторых других офицеров более достойным образом; но намерение это осталось без исполнения. Впрочем я был всегда довольно равнодушен к наградам, и в настоящем случае даже и не считал себя вправе сетовать, сравнивая свое слабое участие в бою с подвигами самоотвержения стольких других строевых офицеров, оставляемых вовсе без награждения.

Наступило продолжительное время какого-то неопределенного, выжидательного состояния. Никто не знал дальнейших намерений нашего начальства.

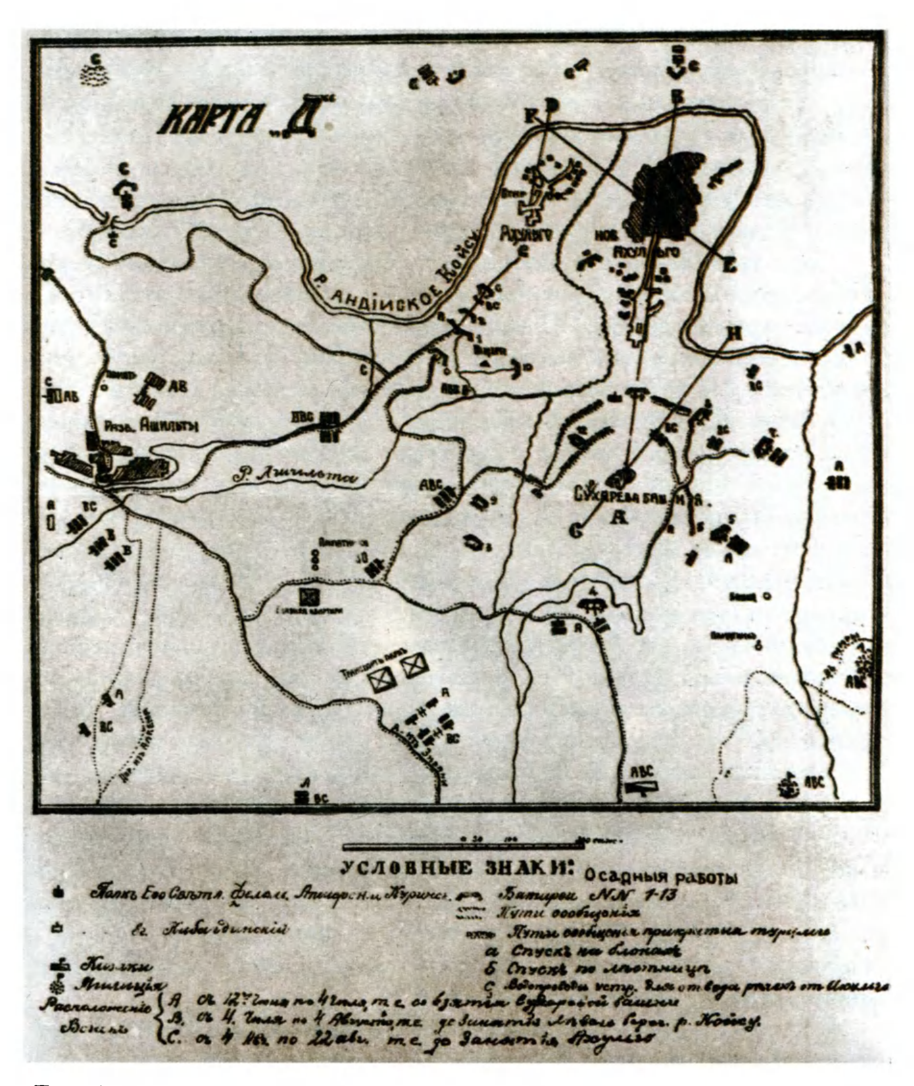
То говорили, что поджидаются новые транспорты для возобновления штурма; то толковали о необходимости полного обложения Ахульго с обоих берегов Койсу, потому что Шамиль, несмотря на все понесенные потери, продолжал получать извне свежие подкрепления и запасы; постоянно были видны на высотах левого берега реки горские вьючные транспорты. Все, знавшие характер нашего генерала, опасались, чтоб он опять не увлекся вдруг порывом нетерпения и не вздумал по-прежнему предпринять штурм без всякого подготовления. После всех предшествовавших подобных порывов его, стоивших нам столько жертв, понятно, что и в войсках зародилось недоверие к распоряжениям начальства. Нельзя уже было надеяться, чтобы наши расстроенные

батальоны пошли вновь на убой с таким же увлечением, с каким бросались на "ура" в начале экспедиции.

Вообще положение наше представлялось в мрачном виде. По строевому рапорту 21 июля показывалось во всем отряде 7900 человек в строю (а на продовольствии до 10 тысяч человек), но все части были крайне расстроены. В 13 батальонах пехоты состояло всего 6400 человек, а от роты сапер оставалось налицо человек 30. Для производства работ нуждались в инструменте и материале. Ближайшие склады боевых запасов (в Северном Дагестане) были истощены; приходилось изготовлять артиллерийские заряды в самих батареях. По-видимому и сам генерал Граббе, показывая по наружности спокойствие, начинал сомневаться в успехе предпринятой экспедиции. Случалось слышать от него, что простоит под Ахульго хотя бы до зимы. Генерал Граббе был человек весьма симпатичный. Сохраняя всегда важную осанку и серьезность, он однако же не отталкивал от себя надменностью и холодностью; напротив того, был со всеми весьма обходителен и вежлив. К делам служебным он относился как-то свысока; не входил в подробности исполнения, ограничивался заявлением своего требования в общей форме, не отдавая категорических приказаний. Поэтому все распоряжения по отряду предоставлялись частным начальникам и на них возлагалась вся ответственность. Генерал Граббе вполне доверился полковнику Пулло — хитрому греку, привыкшему к мелочной деятельности полкового командира и не подготовленному к кругу действий отрядного начальника штаба. Пулло старался только подделываться к командующему войсками, угождать ему и часто морочил его, не решаясь прямо возражать и объяснять откровенно суть дела. То, чего не доставало начальнику штаба, мог бы отчасти возмещать обер-квартирмейстер; но, к сожалению, Норденстам, обладавший всеми достоинствами и недостатками своих земляков, аккуратный до педантизма, но без всякой инициативы, без общих идей, не мог иметь влияния ни на полковника Пулло, ни на генерала Граббе. Все подробности ведения осады были предоставлены генералу Галафееву, который в свою очередь давал только предписания командирам частей войск, а те вели дело каждый по своему разумению. Заведывавший в отряде инженерною частью подполковник Энбрехт, малоспособный и не предприимчивый, не пользовался доверием начальства, а командир саперной роты капитан Вильде был говорун и балагур, так что все саперное дело, имевшее в настоящем случае первостепенное значение, лежало собственно на двух молодых, бойких офицерах: Горяеве и графе Нироде (гвардейском). Все это объясняет, почему в нашем отряде не было единства в распоряжениях, не было заранее обдуманного общего плана, и все делалось урывками, как бы случайно. Начальствующие власти сваливали друг на друга распоряжения и ответственность.

За недостатком инициативы в начальствующих лицах, исходили иногда от личностей невысоких чинов разные проекты и предложения более или менее

удобоприменимые при нашем безвыходном положении. Так у товарища моего Шульца возникал целый ряд таких предложений, к сожалению, почти всегда крайне рискованных. Между прочим, он задумал отнять у неприятеля воду, отведя речки Ашильтинскую и Бетлетскую; ему даже были даны рабочие для приведения в исполнение его замысла; но все старания его остались безуспешны. С большею пользою названные выше два саперные офицера приду-



План Ахульго

мывали разные ухищрения в ведении сапных работ при крайней скудности имевшихся у них материальных средств.

Самою трудною для сапер задачею было устройство крытого спуска к головной части Нового Ахульго. Устройство такого спуска признавалось необходимым для уменьшения потери при новом штурме, но по крутизне узкого каменистого гребня не было возможности ставить туры. Молодые наши саперы придумали употребить досчатые щиты, связанные плотно между собою и составлявшие вместе галерею, висевшую на канатах. В особенности затруднителен был первый приступ к этой работе под неприятельскими выстрелами. Горцы препятствовали работе ночными вылазками: так в ночь с 20 на 21 июля они подползли к устраиваемой галерее и успели сбросить в кручу висевший на канатах мантелет. После того уже прибегли для прикрепления нового мантелета к железным цепям. Ночные вылазки не обходились без потерь с обеих сторон. В одной из них ранен гвардейский офицер лейб-улан Солодовников.

Время проходило, и с каждым днем в войсках усиливалась болезненность от продолжительной стоянки на одних местах, на раскаленных утесах и в зараженном трупами воздухе. Конницу невозможно было держать при отряде по неимению корма; поэтому казаки были отправлены на Шамхальскую плоскость, конница из волонтеров-туземцев распущена по домам, а милиции шамхала и Ахмет-Хана отведены за возвышенные плоскогория. В нашем штабном лагере истощились все запасы; у маркитантов нельзя было доставать даже чаю и сахару. Между нашими штабными начали заболевать один за другим; в том числе и я начал хворать то желудком, то головными болями. В иные дни я вовсе не мог выходить из своего шалаша. Однако ж это не мешало мне, пользуясь досугом, заниматься письменными работами. Полковник Норденстам поручил мне составить, с помощью нашего молодца топографа Алексеева, подробный план осады Ахульго, с обозначением всех производимых работ и с объяснительным текстом. Кроме того он посоветовал мне заняться подготовлением материалов для исторического описания всей экспедиции Чеченского отряда[73]. С удовольствием приступил я к этим работам; а между тем у меня самого уже несколько дней бродили в голове мысли о несовершенствах того образа войны, которому мы следовали в борьбе с горцами, о слабом применении разных средств европейской техники и в особенности о несоответственной местным условиям системе в постройке укреплений. Мне казалось, что в гористой местности, особенно в Дагестане, следовало, вместо обычных земляных брустверов с бастионами, строить по образцу горских завалов, в виде крытых галерей, башен и т.п. Я занялся составлением по этому предмету записки, которую прочел Норденстаму.

С 24 июля ходили у нас в штабе слухи о желании Шамиля войти в переговоры. Имелись сведения, что в Ахульго свирепствуют болезни, что было вполне естественно. 27 числа действительно явился парламентером чирке-

евский житель Биакай, который сначала пробовал морочить нас, уверяя, что у Шамиля во всем изобилие и довольство. По случаю переговоров заключено было двухчасовое перемирие, которым обе стороны воспользовались, чтобы убрать хотя отчасти валявшиеся еще трупы убитых. Обитатели Ахульго вылезли из своих душных нор на поверхность утесов и наслаждались как дети, выпущенные на свободу. Но эти два часа прошли быстро; переговоры не привели ни к какому результату. Генерал Граббе требовал от Шамиля, в удостоверение искренности его, предварительной выдачи сына в заложники. С этим ответом Биакай возвратился в Ахульго. На другой день, 28 числа, он снова явился парламентером; опять был перерыв военных действий — и опять без всякого результата. На этот раз Биакай даже не возвратился в Ахульго, а отправился в Чиркей. Уже тогда можно было заподозрить интриги чиркеевцев, что и подтвердилось впоследствии. На успех переговоров, очевидно, нельзя было рассчитывать, пока Шамиль имел еще возможность получать извне подкрепления и запасы; а потому решено было наконец привести в дей-

ствие предположение, о котором давно уже были толки — распространить блокаду и на левый берег Койсу.

После целого ряда безуспешных рекогносцировок, моих и товарища моего Эдельгейма, в нижней части течения Андийского Койсу, положено было устроить переправу несколько выше Ахульго, и 25 числа дано полковнику Лабынцеву приказание приступить к постройке там моста. В помощь ему даны были инженер Энбрехт и Генерального Штаба — Эдельгейм. Последний с небольшою командою, в ночь с 25 на 26 число, спустился к реке, в расстоянии не более ружейного выстрела от Старого Ахульго; несмотря на чрезвычайно бурное течение реки, несколько хороших пловцов переплыло на левый берег и благополучно возвратилось назад; вслед за тем началась разработка тропы с высот к избранному месту переправы. Но Лабынцев неохотно принимался за возложенное на него дело, и генерал Граббе был недоволен медленностью его распоряжений. В ночь с 30 на 31 июля спущено с большим трудом к месту переправы несколько орудий (одно легкое, два горные и три мортирки), чтобы обстреливать противоположный берег Койсу. Несколько егерей опять переплыли реку, натянули канат и начали ставить туры. Но все эти попытки убедили в невыгодности избранного места, под выстрелами из Старого Ахульго. 31 числа решено было отказаться от устройства здесь моста, а вместо того восстановить прежний у Чирката.

С 1 августа началось перемещение орудий и рабочей команды и приступлено к изготовлению сруба из бревен. Горяев, которому поручена была эта работа, жаловался на то, что Лабынцев своими странными распоряжениями только замедлял дело. Однако ж, к 3 августа сруб был установлен на нашем берегу, и с передней его оконечности удалось перебросить на противоположный берег длинную (в 6 сажен) лестницу, по которой начали туда перебегать люди. К вечеру уже собрались на левом берегу реки полные три роты. В ночь они успели прикрыться укреплениями. Горцы, отброшенные огнем артиллерии, совсем очистили левый берег реки. 4 августа оба батальона Кабардинского полка, а за ними милиция Ахмет-Хана двинулись к Чиркату. Оставив у этого селения милицию, Лабынцев со своими батальонами и двумя горными орудиями расположился на высотах левого берега Койсу против самого Ахульго. С наступлением темноты туда пущено было несколько гранат. Эти выстрелы были сигналом успешного исполнения предприятия. С этого времени (4 августа) Ахульго было обложено уже со всех сторон, и Шамиль лишился всяких сообщений. Прибывший к нему в тот день транспорт с шайкою андийцев не мог уже проникнуть в Ахульго и, постояв на высотах, должен был удалиться. Милиция Ахмет-Хана решилась даже сделать поиск к Аргуани. Шамхальской же милиции приказано спуститься с высот для наблюдения за Согритлохским мостом, за Ихали и другими переправами на верхнем течении Койсу.

5 августа мне было поручено указать этой милиции место нового расположения. Несмотря на расстройство здоровья, я отправился с утра в лагерь

милиции. Самого шамхала уже не было при ней; вместо него оставался брат его Шах-Абас; но настоящим начальником был прапорщик милиции Заусан — человек внушительной наружности, с окладистой бородой и по-видимому, державший в руках свою орду. По прибытии моем в лагерь милиции, начались сборы к выступлению, продолжавшиеся невыносимо долго, так что мы двинулись только в 3-м часу пополудни. Проходя мимо Аккента, нашли там оставленную часть милиции Ахмет-Хана, до 200 человек. Двигались мы очень медленно по узкой тропе и спустились на средний уступ гор, когда солнце уже садилось. Шах-Абас и его начальник штаба Заусан никак не решались идти далее и здесь остановились на ночлег. В то время как под Ахульго изнывали днем и ночью от зноя, здесь, на высотах, было так свежо, что пред рассветом я должен был встать и согреваться ходьбою, закутавшись в бурку. Утром снова пробовал я склонить шамхальских военачальников спуститься с гор к переправам на Койсу, но все мои убеждения были напрасны. Они объявили мне, что впереди у них есть верные люди, которые дадут им знать о приближении какой-либо неприятельской партии ранее, чем могли бы они сами заметить, находясь близ переправы. Видя бесполезность дальнейшего моего пребывания с Шамхальскою милициею, я решился оставить ее на месте ее ночлега и вернуться в лагерь. Проехал я туда, или, лучше сказать, прошел по кратчайшей тропинке с двумя проводниками из милиционеров.

Поездка эта не способствовала, конечно, поправлению моего здоровья; напротив того, после нее расстройство желудка и головные боли еще усилились. Наш старший доктор Земский сначала не придавал значения моим недугам, приписывая их просто зною и худой пище; но с 12 августа, когда желудочные мои боли сделались нестерпимы, он должен был признать у меня все признаки кишечного воспаления и только с этого времени начал серьезно лечить меня, по методе тогдашних кавказских врачей, сильнейшими дозами каломеля. Я пролежал несколько дней в своем шалаше и едва мог следить за происходившим в это время кругом меня.

В ночь с 10 на 11 августа неприятель опять произвел сильную вылазку из Нового Ахульго и вторично пытался разрушить работы галереи на спуске; однако ж на этот раз не имел успеха; как уже сказано, мантелет был прикреплен цепями. Горцы оставили на месте несколько тел; была потеря и с нашей стороны. От посещавших меня товарищей слышал я, что прибыла в отряд депутация андалялыцев, с письмом от Тилитлийского кадия Кибит Магома, который предлагал командующему войсками свое посредничество для "примирения" с Шамилем. Генерал Граббе ответил депутации, что русское начальство, признавая Шамиля и его приверженцев бунтовщиками, не может мириться с ним, а требует покорности. 12 августа снова явился парламентер из Ахульго; опять объявлено было перемирие на два часа, и по-прежнему генерал Граббе ставил непременным условием начатия переговоров предварительную выдачу заложником сына Шамилева. В то же время прибыл в отряд и чиркеевский старшина Джемал; но тогда имелись уже положительные улики в том, что этот хитрый и коварный дипломат, предлагая свое посредничество, вместе с тем отговаривал Шамиля от сдачи Ахульго. Известно было, что в числе защитников Ахульго находилось значительное число чиркеевцев. Джемал был арестован и впоследствии сослан. Переговоры продолжались 13 и 14 числа; Шамиль, уклоняясь от выдачи сына, видимо, старался только протянуть время, а между тем в Ахульго деятельно производились работы для усиления обороны. Были сведения, что нескольким из его близких мюридов удалось выйти скрытно из Ахульго и пробраться к шайкам, показавшимся на высотах в тылу кабардинских батальонов Лабынцева.

16 августа наконец объявлено было Шамилю, что в случае, если он, до наступления ночи, не выдаст своего сына в заложники, то на другой же день последует решительный штурм. День прошел, и в течение наступившей ночи шли приготовления к приступу. Диспозиция была в главных чертах сходна с прежнею на 16 июля; но вместо Графского полка в главную колонну для штурма Нового Ахульго назначены были три батальона Куринского полка под личным начальством генерал-майора Пулло. Штурмующим войскам приказано быть готовым на сборных пунктах ночью, дабы начать штурм с рассветом.

С первым лучом солнца артиллерия открыла огонь со всех батарей. 1-й Куринский батальон, имея в голове охотников, спустился крытою галерееею ко рву Нового Ахульго, смело бросился чрез ров, и так же, как в первый штурм, скоро занял переднюю площадку за рвом. Но тут опять непреодолимое препятствие: неприятель защищался отчаянно и не раз бросался в шашки. Передовые наши части войск столпились под сильнейшим перекрестным огнем. Несколько раз подавался сигнал "вперед", но никто не двигался. Из множества убитых и раненых некоторые валились в кручу и падали совершенно обезображенные. Однако ж на этот раз удалось саперам втащить на площадку несколько туров и наскоро устроить ложемент, в котором утвердились головные части войск. Шамиль, потеряв надежду оттеснить их и удержаться в Ахульго, поспешил выкинуть белый флаг и выслал наконец своего сына с несколькими мюридами в качестве заложников.

Генерал Граббе охотно согласился на перемирие, ввиду крайнего изнурения войск и понесенной опять большой потери: более 100 убитых и 455 раненых и контуженных. В том числе лишились мы 2 офицеров убитых и 6 раненых. Неприятель понес потерю еще более для него чувствительную и преимущественно от огня артиллерии; в том числе лишился он Сурхая и некоторых других из главных его приближенных. Все окружавшие его так упали духом, что уговаривали его скорее согласиться на все требования русского начальства.

Прибывшего в отряд малолетнего сына Шамилева приняли у нас, разумеется, ласково, лелеяли его и холили. Для дальнейших переговоров, а также для уборки тел и помощи раненым, дано было трехдневное перемирие. Свирепые защитники Ахульго сходились мирно с нашими добродушными солдатами на месте только что прекратившейся кровопролитной схватки. Шамилем предложено было вести переговоры лично между ним и генерал-майором Пулло; но долго не могли сговориться о месте свидания их; недоверчивый горец все опасался какого-нибудь с нашей стороны злого умысла. Наконец согласились сойтись обоим на самом Ахульго, близ занятой уже нашими войсками площадки, и вот наконец 18 числа генерал-майор Пулло, с небольшою свитою, вышел вперед нашего ложемента. Шамиль встретил его, и оба сели дружелюбно на ковре. Первые объяснения продолжались с полчаса, но не привели к соглашению. Шамиль все еще не покидал своих честолюбивых видов и ставил условием — свободное проживание в среде горского населения. Пошли опять переговоры и на письме, и чрез посланных доверенных лиц генерал Граббе получил от Шамиля два письма, которые давали мало надежды на соглашение. Трехдневный срок перемирия уже истекал; между тем замечалось, что в Ахульго продолжались работы для усиления обороны и тайком выпускались оттуда лишние люди: женщины и дети. Видимо, предстояло закончить дело кровавою развязкою.

21 августа с рассветом возобновилась канонада. Для штурма Нового Ахульго Куринские батальоны были заменены Кабардинскими, место которых на левой стороне Койсу заняли батальоны Графского полка. Полагали, что свежие войска пойдут смелее на новый штурм. Однако ж, после всех испытанных неудач во всем отряде уже наступил такой упадок духа, что несмотря на все приказания и на барабанный бой, солдаты не трогались с места. Защитники же Ахульго держались упорно в своих крытых убежищах. Пытались выживать их оттуда, пробивая отверстия в крышах и бросая во внутрь гранаты и мешки с порохом. Так прошел весь день. У нас начинали опасаться, чтобы в ночь передовые части наших войск не были сбиты с занятой ими передней площадки Нового Ахульго. Саперы затевали было сделать подкоп под неприятельские ложементы; но для этого приходилось высекать галереи в сплошной скале, что потребовало бы очень много времени, при скудости материальных средств. Однако ж, по-видимому, один стук ломов и кирок произвел нравственное впечатление на неприятеля. Утром 22 числа мы были обрадованы неожиданным известием, что Новое Ахульго очищено неприятелем. Кабардинские батальоны немедленно же бросились вперед и заняли всю верхнюю поверхность скалы; но перебегая от одних неприятельских ложементов к другим, егеря встречали еще в некоторых из них отчаянное сопротивление со стороны горцев, не успевших уйти; случалось, что даже женщины оборонялись с исступлением. Часть горцев еще перебиралась с Нового Ахульго на Старое по узкой тропинке и чрез мостик, перекинутый сверх речки Ашильтинской. Егеря, пользуясь суматохой, бросились по пятам горцев в то самое время, когда с русла речки взбирались также на Старое Ахульго апшеронцы майора Тарасевича. С криком "ура" войска устремились и на верхнюю площадь Старого Ахульго. К 2-м часам пополудни заняты были оба Ахульго.

В этом бою, продолжавшемся полтора суток, потеря наша доходила до 150 убитых и 500 раненых; одних офицеров убито 4 и ранено 15. В числе убитых был майор Тарасевич; в числе раненых — опять Шульц, получивший в эту экспедицию уже третью рану (в ногу, в щеку и в грудь). В лагерь приводили много пленных, большею частью женщин и детей. Но сдавались не все; многие предпочитали погибнуть, защищаясь до последней крайности. Очевидцы рассказывали о происходивших при этом раздирающих сценах: матери своими руками убивали детей, чтобы не попали они в руки солдат; целые семейства погибали под развалинами. Были и такие случаи, что мюриды, изнемогая от ран, и как бы отдавая свое оружие, вероломно наносили смерть тому, кто принимал его. Так погиб майор Тарасевич. Товарищ мой Эдельгейм также убит при обыске пещер на берегу Койсу. Солдаты, озлобленные упорством горцев, выказывали часто большую жестокость, тогда как офицеры употребляли все усилия, чтобы отвратить напрасное кровопролитие, и нередко брали на свое попечение осиротевших детей.

Несколько дней продолжалось окончательное очищение обоих Ахульго от последних укрывавшихся в разных норах несчастных жертв Шамиля. Особенного труда и потерь стоило выживать горцев из пещер, находившихся в отвесных обрывах. Чтобы достигнуть до некоторых из них, солдат спускали сверху на веревках. Кроме опасности, с которою сопряжены были такие поиски, войска должны были еще выносить страшный смрад от множества трупов, особенно в тесном ущелье между обоими Ахульго, где войска не могли оставаться долго без смены. Пленных набралось уже до 900 человек; в первое время они были собраны близ нашего штабного лагеря: день и ночь в этом таборе раздавались крики, стоны, детский плач: а были даже и такие случаи, что мужчины, в своем исступлении, бросались на часовых и производили в нашем лагере минутную тревогу.

О самом Шамиле в первое время не было никаких сведений; полагали, что он еще скрывается в которой-либо из пещер, почему и придавалось большое значение тщательному обыску всех трущоб, особенно на стороне, обращенной к Койсу. Впоследствии открылось, что действительно Шамиль со своим семейством и несколькими приближенными мюридами укрылся в ночь с 21 на 22 число в одну из таких пещер, а в следующую ночь пробрался скрытно между нашими постами вниз по течению Койсу и чрез Салатавию беспрепятственно достиг Нагорной Чечни. По рассказам туземцев, Шамиль в своем бегстве прибегнул к хитрости: по реке пущен был пустой плот, чтобы обратить на него внимание наших прибрежных постов, которые действительно и открыли по этому плоту стрельбу, в то время когда Шамиль прокрадывался по тропе между скалами. Однако ж, ему удалось проскользнуть не совсем благополучно: сам он ранен, так же, как и малолетний его сын и один из сопровождавших родственников.

Донесение Государю об успешном окончании продолжительной нашей стоянки под Ахульго (с 12 июля по 29 августа) было отправлено с поручиком Головиным, адъютантом генерала Граббе, сыном корпусного командира. Он застал Императора на Бородинских торжествах, и был награжден назначением адъютантом Наследника Цесаревича Александра Николаевича.

Ахульго досталось нам дорогою ценою: за все время обложения и осады мы потеряли до 500 убитых и более 2400 раненых и контуженных; одних офицеров 23 убитых и 124 раненых.

Обо всем происходившем в последние дни я знал только по рассказам товарищей. Около 10 дней пролежал я почти неподвижно; всякое движение причиняло мне страдания. С 15 числа погода переменилась; после нестерпимого зноя сделалось так свежо, что 16 числа я перебрался из своего шалаша опять в палатку. Свежая погода оказала благоприятное влияние на мое выздоровление. С 22 числа я начал вставать с постели; но чрезвычайная слабость не позволяла сделать шага; все зубы шатались от больших приемов каломеля.

В первый раз вышел я из палатки 24 числа, а 25-го пробовал сесть верхом, 26-го происходило погребение нашего бедного Эдельгейма; за неимением в отряде лютеранского пастора, отпевание происходило по православному обряду. Шульц и другие раненые были отправлены в Шуру. Туда же отправлялись пленные, несколькими эшелонами.

27 числа я уже мог предпринять поездку для осмотра продолжавшихся еще работ дороги на Бетлетскую гору. По этой дороге предстояло всему отряду и тяжестям выбраться из проклятой котловины, которая так опротивела нам. На другой день ездил я к мосту на Койсу. К этому времени окончательно были обысканы все норы и пещеры в обоих Ахульго; все прежние укрепления горцев по возможности разрушались; местность очищалась. В лагере образовалось нечто вроде базара; солдаты распродавали доставшуюся им добычу: оружие, разные предметы одежды и т.п. Между тем с батарей постепенно снимались орудия и поднимались на высоты. Окончательное выступление отряда из-под Ахульго назначено было на 30 августа.

Нужно ли говорить, какая общая радость изображалась на всех лицах? Как будто все вдруг переродились, от последнего солдата до самого командующего войсками. В назначенный для выступления день, утром, все штабные, облекшись в эполеты и шарфы, пошли in corpore поздравить генерала Граббе; потом отслужено молебствие, затем завтрак у генерал-майора Пулло, который в тот день был именинником. В пиршестве этом я не участвовал: мне поручено было ехать вперед на высоты прежнего казачьего лагеря, где предположено было собрать предварительно весь отряд. Отправившись туда с квартирьерами всех частей, я указал им места предположенного расположения и потом целый день поджидал постепенно приходившие войска. Отряд собрался только к вечеру; но тяжести, несмотря на разработанную дорогу, тянулись на гору почти всю ночь. Не легко было выбраться из трущоб со всею массою разнородного добра, накопившегося при отряде в течение трех с половиною месяцев стоянки. Советники генерала Граббе уговаривали его выждать один день, чтобы дать время отряду окончательно стянуться и оправиться прежде выступления в обратный путь к Темир-Хан-Шуре. Но главный наш вождь был так нетерпелив и упрям, что не хотел слушать благоразумных советов и дал решительное приказание выступить на другой же день, утром.

ЭПИЛОГ ЭКСПЕДИЦИИ

31 августа отряд двинулся от Ахульго к Унцукулю и далее по дороге, вновь разработанной, к Гимрам, где назначен был первый ночлег. Я ехал опять впереди с квартирьерами. Под Унцукулем дан был войскам привал. Жители селения встретили наши войска с радостью и сочувствием; даже женщины выражали приветствия; иные кричали нам: "яхши урус" (т.е. русские хорошие). Дорога между Унцукулем и Гимрами, по ущелью Аварского Койсу, несмотря на продолжительную разработку, все-таки оказалась весьма трудною. Отряд с вьючным обозом* тянулся крайне медленно. Проехав несколько за Гимры, я занялся разбивкою лагеря и розыском ближайшей воды. Наступала уже вечерняя темнота, а войска все еще не подходили. Я поехал назад навстречу колонне: голова ее только что подходила к гимринскому мосту. Генерал Граббе сердился, был не в духе, хотя вся ответственность за неправильный расчет марша падала на него самого. Доехав до гимринского моста, он приказал тут разбить свою палатку и остался ночевать с арьергардом. Войска уже приходили в совершенную темноту на избранное для ночлега место, а вьюки тянулись почти всю ночь.

Следовавшая впереди отряда колонна с пленными также имела ночлег под Гимрами. Сердце сжималось при виде этой толпы несчастных, едва передвигавших ноги. Здоровые мужчины шли в оковах. Сколько можно было заметить, солдаты наши относились к пленным сурово. Некоторых из раненых, выбившихся из сил и умиравших, бросали на дороге без всякой помощи.

Утром 1 сентября генерал Граббе прибыл на место ночлега войск и на этот раз признал необходимым дать отряду дневку, хотя место стоянки, стесненное отвесными горами, было крайне невыгодно. Погода прояснилась. Вечером пред генеральскою палаткою играла музыка; гимринские дети плясали лезгинку. 2 сентября выступили с рассветом и по тяжелому Каранайскому подъему вышли на Шамхальскую плоскость. Трудно выразить то ощущение, которое испытываешь, когда после нескольких месяцев пребывания в тесных горных ущельях, среди голых скал, в спертой, душной атмосфере, вдруг очутишься на открытой, зеленой равнине, на свежем воздухе. Сам шамхал со своею свитою встретил отряд; тут же был и прежний товарищ мой Россильон. Войска, по мере выхода на равнину, располагались на указанных мною местах. Посреди лагеря стояли арбы с сеном, дровами и другими припасами, около них образовалось нечто вроде базара. Все в отряде чувствовали себя в отлич-

* Колесные тяжести были отправлены кружною дорогой чрез Зыраны, под прикрытием двух Апшеронских батальонов.

ном расположении духа, казалось, будто с выходом из горных трущоб, мы там оставили и все недавние наши скорби.

3 сентября отряд двинулся к Темир-Хан-Шуре. По обыкновению, выехал я вперед, чтобы разбить лагерь. Дорога была ровная, удобная, и потому войска прибыли рано. Генерал Клюки-фон-Клугенау встретил отряд в полной парадной форме. Полковник Попов как хозяин в штаб-квартире Апшеронского полка угостил штабных завтраком. Когда же все войска заняли свои места и пока ставили наши штабные палатки, я отправился в Шуру, чтобы навестить наших раненых: барона Врангеля, Шульца и других. В то время Темир-Хан-Шура имела еще весьма скромный вид и нисколько не была похожа на европейский город, а все-таки показалась нам уголком цивилизованного мира.

Отряд наш был в таком расстроенном состоянии, так обносился, утомился, что необходимо было дать ему хоть несколько дней отдыха; притом надо было выждать прибытия следовавшего чрез Зыраны колесного обоза. Я воспользовался этой стоянкой, чтобы съездить на берег Каспийского моря, взглянуть на старую крепость Бурную, построенную еще во времена Ермолова[74] на вершине крутой горы, по скату которой живописно расположено амфитеатром селение Тарки — тогдашнее местопребывание жены шамхала Салтанеты, прославленной Марлинским (Бестужевым) в его повести "Амалат-бек". 5 числа, выехав рано утром верхом, с двумя донскими казаками, я проехал мимо Кафир-Кумыка — местопребывания самого шамхала, а около 2-х часов пополудни приехал в укрепление Низовое, прямо к воинскому

«Крепость Бурная. Тарку и дворец Салтанеты со стороны Каспийского моря»

начальнику подполковнику Сахновскому. Я попал к нему как раз к обеду и провел часа два в кругу его семьи, а затем отправился пешком на гору в крепость Бурную. Здесь приняла меня весьма любезно молодая жена заведывавшего крепостными строениями и госпиталем капитана гарнизонной артиллерии Дмитриева, который вскоре и сам явился. Разговорчивая капитанша рассказывала мне много любопытного о былых событиях в крепости, о нападении Казы-муллы и т.д. Осмотрев госпиталь и полюбовавшись обширным видом со стен крепости, я возвратился в Низовое; с наслаждением бросился в приготовленную гостеприимными хозяевами прекрасную постель; а на другой день, еще до света, поехал на самый берег моря, осмотрел соленые озера, целительные грязи и возвратился в укрепление. После сытного завтрака распростился я с подполковником Сахновским и его любезною супругою и к 7 часам вечера был уже в лагере.

В следующие два дня, 8-го и 9-го, ездил я в Шуру, еще раз навестить раненых и проститься с ними. И Шульц, и барон Врангель заметно поправлялись. В течение недели, которую отряд простоял под Темир-Хан-Шурою, нельзя было, конечно, сделать много для поправки расстроенного войска; нечего было и думать о продолжении военных действий в осеннее время; приходилось отказаться от исполнения тех предположений, которые

имелись в виду в первоначальном плане экспедиции*. Была речь о постройке укрепления у Чиркея, чтобы окончательно обуздать это беспокойное и враждебное нам селение и тем утвердить покорность всей Салатавии. Однако ж, и тут встретилось важное затруднение: не было заготовлено никаких материалов для этой постройки, и самое производство работ было бы не выгодно в позднее осеннее время. По всем этим соображениям генерал Граббе решился возвратиться в крепость Внезапную и распустить отряд; но предположил пройти не обычным путем чрез Миатлинскую переправу, а кратчайшим — чрез Чиркей и Салатавию.

Чиркеевцы, как я уже упоминал, показывая вид покорности, в то же время настойчиво отклоняли посещение их русскими. Еще в недавнее время они не пропускали иначе наших офицеров чрез свое селение, как с завязанными глазами. Я говорил также о коварных происках старшины чиркеевского Джемала в переговорах с Шамилем и об участии многих чиркеевцев в самой защите Ахульго. Были слухи, что в последнее время произошли в Чиркее сильные раздоры, доходившие даже до перестрелки между разными партиями. Однако ж, еще во время пребывания отряда под Темир-Хан-Шурою прибыла к генералу Граббе чиркеевская депутация с уверениями в покорности и с просьбою об освобождении Джемала.

8 сентября, накануне выступления отряда, назначен был войскам парад с молебствием. Парад этот, конечно, мог только выказать наглядно слабость и расстройство войск. 9 числа выступили мы с рассветом по прекрасной, ровной дороге к Чиркею; двигались совершенно как в мирное время. Авангард, под начальством генерала Клюки-фон-Клугенау, шел значительно впереди главной колонны, имея в голове команду сапер; ружья не были заряжены; обоз растянулся. Подойдя к чиркеевскому мосту (на Сулаке), авангард остановился для привала. Генерал Граббе со всем своим штабом расположился на пригорке, собираясь позавтракать. Старшины чиркеевские встретили его с хлебом-солью, поднесли фрукты и дружелюбно беседовали. После короткого отдыха, приказано было авангарду переходить чрез мост, перекинутый чрез реку, стесненную здесь нависшими скалами. С моста дорога поворачивала под прямым углом налево, вдоль берега, у подошвы обрывистых высот, и в некотором расстоянии, обогнув эти высоты, входила в сады, поднимавшиеся террасами до самого селения, закрытого от нас высотами. Авангард двинулся с песенниками в голове; сам генерал Клюки ехал впереди. Едва успели перейти чрез мост саперы и часть головного батальона с двумя орудиями, как вдруг раздался из садов залп и затем затрещали выстрелы с разных сторон. Головные части колонны, не приготовленные к такой встрече, шарахнулись и в беспо-

---

* Далее в автографе зачеркнуто: довольствуясь изъявлением наружной покорности гумбетовцев, андийцев и других горских племен долины Андийского Койсу, куда, по взятии Ахульго, направлена была милиция Ахмет-Хана (*прим. публ.*).

рядке бежали назад. Чиркеевцы провожали их выстрелами; даже бросались в шашки. Во время суматохи, когда отступавшие части авангарда не успели еще перейти обратно на наш берег, вспыхнуло пламя из-под моста; оказалось, что он подожжен. Хвост колонны перебегал уже по горевшему мосту; но несколько солдат было изрублено на глазах наших гнавшимися злодеями; некоторые спасались от них, пробираясь с опасностью вдоль левого скалистого берега Сулака; одно из бывших впереди двух орудий осталось в руках вероломных чиркеевцев.

Неожиданность и быстрота, с которыми разыгрался весь этот прискорбный эпизод, ошеломили нас. Мы потеряли тут, по непростительной беспечности, 55 убитых и до 97 раненых и без вести пропавших (т.е. оставшихся в плену). Сами старшины чиркеевские были поражены; они стояли бледные и смущенные. Приказано было немедленно арестовать их; войсковому старшине Алпатову с казаками — забрать пасшиеся по сю сторону Сулака чиркеевские стада. Между тем завязалась перестрелка; пули с левого берега заставили генерала Граббе со всем его штабом переменить место и отдалиться от берега. Скоро подошли и главные силы отряда. Я занялся размещением войск по возможности вне выстрелов; но за водою приходилось людям спускаться с высоты к самому руслу реки не совсем безопасно.

Оставшиеся в наших руках старшины, на расспросы наши, объясняли, что у них в селении немало людей беспокойных и сумасбродных, особенно из молодежи, и что, без сомнения, эти безумцы одни виноваты в прискорбном для самих чиркеевцев поступке. Объяснение это было правдоподобно; иначе старшины не решились бы рисковать своими головами и не вышли бы к нам навстречу. Тем не менее, им было объявлено, что Чиркей понесет беспощадную кару.

Генерал Граббе вознамерился переправиться чрез Сулак у Миатлов и двинуться чрез Гертме и Хубар к Чиркею. 10 сентября отряд дошел до Миатлинской переправы, которая состояла из парома, защищенного башнями на обоих берегах реки. Войска немедленно же начали переправляться; но при единственном пароме переправа шла очень медленно; на беду один из канатов парома лопнул, а к вечеру пошел проливной дождь, и поднялся такой сильный ветер, что срывал палатки в лагере. Все это выводило из терпения нашего вождя.

11 числа чиркеевцы выслали новую депутацию с письменным заверением в покорности своей, в готовности исполнить всякое приказание генерала и с просьбою не вменять в вину всему населению "шалости" нескольких буйных голов. Депутаты обещали доставить к нам в отряд оставшихся в Чиркее солдат и орудие. Мне поручено было написать на этот адрес строгий ответ с угрозами. Переправа отряда продолжалась три дня (11, 12 и 13 числа). Из захваченных огромных стад чиркеевских досталась войскам обильная мясная порция. Но погода наступила осенняя — дождливая, сырая и холодная. Сделано было распоряжение о немедленной доставке в отряд из крепости Внезапной зимней

одежды, лошадей и волов, для подъема орудий и обоза. Полковнику Попову предписано с Апшеронским полком и несколькими орудиями расположиться на правом берегу Сулака у чиркеевского моста в виде демонстрации, а шамхалу Тарковскому — принять меры к охранению отхваченных стад чиркеевских и т.д.

14 сентября отряд двинулся от переправы к селению Инчхе и расположился на том же самом месте, где был наш первый лагерь 21 и 22 мая. Как тогда, так и теперь, погода была дождливая и сырая. Настроение в отряде не веселое. Предполагавшееся движение к Чиркею для разгрома его было сопряжено с немалыми затруднениями, при тогдашнем состоянии отряда; в случае сопротивления потребовались бы новые жертвы; экспедиция могла затянуться надолго.

Но вот по всему отряду пронеслась весть о приезде фельдъегеря из Петербурга. Один слух о привезенных им наградах произвел магическое действие. На другой же день, 15 числа, прибыли в лагерь захваченные чиркеевцами солдаты и офицеры и доставлено на волах наше орудие. Чиркеевские старшины на коленях умоляли генерала Граббе пощадить их селение. В то же время прибыла депутация от гумбетовцев с изъявлением покорности, в залог которой выданы были аманаты. Также получены благоприятные донесения от Ахмет-Хана, которому, по взятии Ахульго, поручено было двинуться с его милицией вверх по долине Андийского Койсу; андийцы, карата и некоторые другие верхние лезгинские общества изъявили покорность. Все это, вместе взятое, давало благовидный оборот делам, и генерал Граббе воспользовался случаем, чтобы выйти из затруднительного положения. Сделав строгое внушение чиркеевским старшинам, он объявил им, что отныне в Чиркее будет иметь постоянное местопребывание русский пристав, что селение это, так же как и все салатавские аулы, должны беспрекословно подчиниться всем постановленным русским начальством общим условиям покорности туземного населения. Старшины на все изъявили полную готовность и получили прощение.

Большую радость произвело во всем отряде известие, что движение к Чиркею отменено и что экспедиция окончена. Графский полк получил приказание следовать прямо в свои места расположения в Южном Дагестане, а прочие войска отряда 18 сентября двинулись к крепости Внезапной по кратчайшей, весьма грязной дороге. По прибытии туда, я расставил войска на прежнем лагерном месте, и затем отправился в свою квартиру в крепости. С удовольствием почувствовал я себя опять под крышей, тем более, что погода была сырая, а мне снова нездоровилось в последнее время. Я был очень обрадован, узнав, что генерал Граббе имел в виду дать мне поручение в Тифлисе, с дозволением возвратиться оттуда в Ставрополь кружным путем чрез Дагестан. Путешествие это улыбалось мне, и одна мысль о нем поддержала мою бодрость. Все товарищи мои, конечно, спешили разъехаться по домам; но

всех нетерпеливее был сам генерал Граббе: он уехал из Внезапной уже 19 числа, предоставив генералу Галафееву все распоряжения по роспуску отряда.

Пред самым выездом командующего войсками из Внезапной, все мы штабные явились к нему откланяться; а я сверх того — чтобы поблагодарить за доставление мне случая увидеть Закавказье. Потом мы простились с генералами Галафеевым и Пулло. На веселом товарищеском обеде у Вольфа мы спрыснули его полковничьи эполеты.

На другой день, 20 сентября, покинул я Внезапную в довольно многочисленном обществе, под прикрытием роты Куринского полка, следовавшей в свою штабную квартиру крепость Грозную. Продолжительные сборы этой роты задержали нас до полудня, однако ж мы успели добраться еще засветло до Таш-Кичу. 21 числа доехал я с теми же спутниками до Амир-Аджи-Юрта, где расстался с ними, и после короткого привала, продолжал путь до Умахан-Юрта, с тою же куринскою ротою и с ехавшим также в Грозную адъютантом

генерала Клюки-фон-Клугенау Шуляковским; с ним еще ехал какой-то юнкер. Несмотря на дождь, спутники мои вздумали позабавиться охотой; благодаря тому, мы сбились с дороги и потом должны были нагонять роту напрямки.

Умахан-Юрт — небольшое укрепление, построенное только за год пред тем, с паромною переправою на Сунже. Переночевав тут в отведенном нам помещении на гауптвахте (за неимением другого), мы продолжали свой путь на другой день (22 числа) до крепости Грозной, по левому нагорному берегу Сунжи, то лесом, то открытыми местами. Еще недавно здесь сообщение было возможно не иначе, как под прикрытием целого батальона с орудиями. Теперь мы без опасения опередили роту в сопровождении только 2-х донских казаков.

Около 2-х часов пополудни въехали мы в Грозную. Спутник мой Шуляковский предложил мне остановиться у него до следующего утра и уговорил представиться генеральше Клюки, которая пригласила нас на обед. Комендант Грозной предложил мне пройтись с ним по крепости и по форштадту. Грозная показалась мне вовсе не соответствовавшею своему наименованию: обнесенная старым земляным валом, с примыкающим, почти открытым форштадтом, крепость была совершенно запущена; широкие улицы и площади, то пыльные, то страшно грязные были пусты и безжизненны; а между тем это был в то время главный наш передовой пункт за Тереком, в самом близком соседстве с непокорною и враждебною Чечнею. Нередко случались "шалости" чеченцев у самых ворот Грозной.

23 числа предстоял мне большой переход в 84 версты до укрепления Назрана. Из Грозной дали мне хорошую лошадь с иноходью, человек 40 конвоя из туземцев, при двух офицерах также из туземцев (Элиас Иналов и Матуков). Офицеры эти должны были провожать меня на всем переходе до Назрана; конвой же сменялся в нескольких пунктах: в Большом Куларе, в Казак-Кичу и Коре-Юрте. Все это большие аулы на Сунже, частью чеченские, частью карабулакские. При каждой смене приходилось долго ждать нового конвоя из обывателей названных селений, несмотря на все понуждения и брань со стороны моих провожатых. Чем далее я подвигался, тем число моих охранников становилось меньше. Первую часть пути ехал я все по левому берегу Сунжи; погода была ясная и во все время видел я слева цепь снеговых гор, высившихся над ближними "Черными" (т.е. лесистыми). Далее Казак-Кичу Сунжа уже незначительная речка; несколько раз я переезжал ее вброд, а потом и совсем оставил ее вправо, следуя напрямик к Назрану. При последней смене конвоя в Коре-Юрте, меня уверили, что оставалось до Назрана всего верст 8, и потому я рассчитывал доехать туда засветло. Сжалившись над лошадьми провожавших меня двух офицеров, я отпустил их назад в Грозную и продолжал путь только с четырьмя карабулаками. Ехали мы полною рысью довольно долго, а Назрана все не видели. Солнце уже село, наступила

полная темнота, я начинал уже беспокоиться, не сбились ли мы с дороги. Объясниться с моими спутниками было невозможно, по незнанию ими русского языка. Оказалось, что вместо 8 верст, нам пришлось проехать по крайней мере втрое более. Добравшись до Назрана уже в совершенную темноту, едва я мог добиться, чтоб открыли ворота крепостные, затворяемые с пробитием вечерней зори.

Назран — небольшое укрепление, построенное в давние времена, еще при Ермолове, для охранения Военно-Грузинской дороги с восточной стороны. С большим удовольствием узнал я от коменданта, что далее, до Владикавказа, могу проехать уже на колесах. Последний переезд верхом был довольно утомителен, особенно же сильно растрясло моего бедного денщика Попова. Переночевав в Назране у тамошнего "пристава" (из азиатцев), я на другой день (24 сентября) быстро уехал в русской телеге тройкой до Владикавказа (около 30 верст). Конвоировали меня только два казака, сменявшиеся на промежуточных постах. С приближением к Владикавказу, когда утренний туман поднялся, как занавес на сцене, предо мною, в самой близи, открылась величественная цепь снеговых гор и ясно обозначилось ущелье верхнего Терека —

знаменитые "Кавказские ворота" древности. Въехал я во Владикавказ в то время, когда народ выходил от обедни: день был воскресный. В то время Владикавказ был только крепостью и не очень обширного размера; к крепости примыкали форштадт или солдатская слобода и осетинский аул. Остановился я в гостинице, более похожей на постоялый двор. Здесь нашел я Перовского и вместе с ним пошел познакомиться с полковником Нестеровым, начальником Осетинского округа. У него же познакомился с бароном Торнау (Федором Федоровичем), старым офицером Генерального Штаба, долго пробывшим в плену у закубанских черкесов. С любопытством слушали мы его занимательные рассказы об этом эпизоде его жизни.

25 сентября выехал я из Владикавказа вместе с Перовским на двух тройках. Тогда не было еще почтовой гоньбы от Екатеринограда до Коби; надобно было нанимать лошадей у местных жителей: казаков или отставных солдат. Проезжих на означенном протяжении дороги конвоировали казаки "Малороссийского" полка, сформированного в недавнее время из бывших малороссийских казаков, собственно для содержания кордона по Военно-Грузинской дороге. Штаб-квартира полка находилась в Ардонской станице. Полк имел особую форму обмундирования, покроем сходную с донскими казаками, но черного цвета вместо синего.

Военно-Грузинская дорога, Дарьяльское ущелье, Казбек, множество разбросанных по горам развалин старых башен — все это произвело на меня сильное впечатление. Приехав в Коби уже по захождении солнца, мы тут переночевали в гостинице, а на другой день, 26 сентября, перевалили чрез Крестовую гору и, восхищенные новыми видами южной природы, въехали под вечер в Тифлис.

ТИФЛИС И СТАВРОПОЛЬ

По приезде в Тифлис, поместился я вместе с Перовским в одном номере гостиницы Саломона. Корпусный командир генерал Головин и начальник штаба генерал Коцебу были в отсутствии; но возвращение их ожидалось в скором времени. На другой день по приезде, 27 сентября*, явился я к наличным местным властям: обер-квартирмейстеру полковнику Менду, военному губернатору генералу Лукашу, коменданту, начальнику артиллерии генералу Козлянинову, бывшему некогда моим "отцом командиром" в гвардейской артиллерии. Полковник Менд советовал мне ехать навстречу корпусному командиру; но я не видел в том никакой надобности: возложенное на меня генералом Граббе поручение заключалось в том, чтобы доложить генералу Головину некоторые подробности последних действий Чеченского отряда, разъяснить те факты, которые могли возбудить у него недоумение, а вместе с тем предварительно представить тифлисскому начальству собственные мои предположения по части постройки укреплений на Кавказе и по некоторым другим вопросам Кавказской войны. Во всем этом не было никакой спешности, по моему мнению, даже было бы неуместно с моей стороны беспокоить корпусного командира своим появлением и докладом в дороге. Поэтому я остался в Тифлисе.

Здесь нашел я многих хороших знакомых. В первые же дни навестил я раненых товарищей по отряду: Ник<олая> Ник<олаевича> Муравьева, Потулова, Фитингофа, которые все очень поправились. Нашел я в Тифлисе одного из товарищей по Академии — Немировича-Данченко, а несколько позже приехали Шульц и барон Торнау. Круг моего знакомства быстро распространялся. Из числа многих новых лиц, с которыми довелось мне сойтись, особенно памятны мне: Генерального Штаба полковник Фрейтаг и капитан Индрениус, полковник Назаров, казачий офицер Ягодин, командир Малороссийского казачьего полка Рихтер (только что женившийся на красивой девице Пушкиной), полковник Альбрант, два брата Колюбакины. Почти все эти лица впоследствии занимали видные должности на Кавказе. Упомянутый полковник Альбрант, — человек восторженный, увлекающийся, своеобразный, только что прославился удачным исполнением трудного и щекотливого поручения — вывода из Персии целого батальона набравшихся там русских беглых. Еще своеобразнее был один из Колюбакиных, Николай Петрович, офицер Нижегородского драгунского полка, прозванный, в отличие от другого брата, "немирным". Прозвание это заслужил он своим неукротимым, вспыльчивым нра-

* Далее в автографе зачеркнуто: по приведении моей обмундировки в приличный вид (*прим. публ.*).

вом и многочисленными приключениями, так называемыми "историями", за которые он был два раза разжалован в солдаты.

В кругу приятелей проводил я время весьма приятно. Почти ежедневно случалось у кого-нибудь из них обедать или участвовать в вечернем сборище. Иногда же собирались к обеду в клубе за общим столом. Чаще всего бывал я у Н.Н.Муравьева — человека развитого, живого, вместе с тем честолюбивого, с некоторым влиянием на генерала Головина, у которого он был в большой милости. С Муравьевым обсуждал я предварительно проекты, о которых намеревался заявить начальству.

По утрам я заходил в корпусный штаб, занимался рассмотрением дел и разных сведений о крае, делал выписки для задуманной мною истории кавказских войн[75], свободные часы любил бродить но городу пешком и восхищаться живописными видами с разных пунктов. Чрезвычайно нравились мне пестрота и оживленность Тифлиса, особенно азиатской его части, с ее шумным, добродушным населением, проводящим жизнь открыто на улице, с разнообразными костюмами, женщинами в чадрах, вечным криком и гамом. Конечно испытал я и знаменитые тифлисские бани с их серною водою и необыкновенными гимнастическими приемами банщиков — своеобразных предвозвестников будущего пресловутого массажа.

2 октября возвратились в Тифлис корпусный командир и начальник штаба. На другой день явился я к ним обоим и был принят чрезвычайно благосклонно. Они много расспрашивали меня о бывших военных действиях. Генерал Головин оставил у себя для прочтения составленное мною описание экспедиции Чеченского отряда[76], он познакомил меня с своею семьею, состоявшею из жены Елизаветы Павловны, умной и любезной женщины, из взрослой дочери и двух сыновей, из которых старший, адъютант генерала Граббе, был в отсутствии (как уже сказано, послан курьером с донесением Государю), а другой — еще юноша. Головины были очень религиозны, они даже принадлежали в былое время к известной татариновской секте. В этой семье я нашел самое радушное гостеприимство; почти каждый день был приглашаем или к обеду, или вечером, и чрез короткое время чувствовал себя у них, как у старых, близких знакомых.

Генерал Коцебу и полковник Менд также познакомили меня с своими супругами и приглашали иногда к обеду; но гостеприимство их отзывалось какою-то холодностью; в обращении их было что-то натянутое и сдержанное. Александр Иванович Менд, служивший долго при Павле Дмитриевиче Киселеве в Турции и Бухаресте, пользовался его расположением и доверием; на меня же он произвел, с первого нашего знакомства, впечатление не выгодное; он показался мне мелочным, канцелярским формалистом; а потому я вовсе не входил с ним в объяснения относительно привезенных мною в Тифлис предположений и предпочел представить их прямо генералу Коцебу и корпусному

командиру. К тому же полковник Менд вскоре уехал в Ставрополь по каким-то служебным делам.

П.Е.Коцебу, несмотря на многосложные свои занятия, уделил мне два вечера и, внимательно выслушав мою записку о системе укреплений на Кавказе, отозвался о моих предположениях одобрительно. Генерал Головин, с своей стороны, также одобрил мое описание экспедиции Чеченского отряда; но в собственноручной записке (18 октября) упрекнул в том, что в моем вступлении не придано надлежащего значения успехам, достигнутым в том же году Дагестанским отрядом, под личным его начальством. Заявленное мною намерение заняться историей Кавказской войны принял он с таким сочувствием, что дал себе труд изложить собственный свой взгляд на историческое значение этой войны. По мнению Евг<ения> Александр<овича> Головина, в предположенном труде следовало принять за основную точку зрения ту мысль, что Кавказская война есть продолжение той многовековой борьбы христианства с исламизмом, европейской цивилизации с азиатским варварством, которая легла тяжелым бременем на Россию, по географическому ее положению на восточном рубеже Европы. Евгений Александрович настойчиво убеждал меня приняться за эту работу; а так как главные для нее материалы находились в кавказских архивах, то предлагал мне совсем перейти на службу в штаб Кавказского корпуса*. Я не прочь был от такой перемены службы; но счел своею обязанностью предварительно сообщить об этом своему отцу, а также товарищу Горемыкину, с которым привык советоваться во всем, что касалось службы. Во всяком случае для предполагавшегося перевода из Гвардейского генерального штаба в армейский, следовало выждать предстоявшего мне в скором времени производства в штабс-капитаны по выслуге установленного трехлетнего срока в чине поручика.

Почти целый месяц прожил я в Тифлисе. Время это пролетело незаметно и оставило в моей памяти самые приятные впечатления. С обществом тифлисским познакомился я на бале у корпусного командира (8 октября) и потом на вечерах у него же. Оно было довольно многочисленно, весьма оживленно; оба элемента, из которых оно состояло, русский и туземный, уживались дружно, можно сказать, сливались, хотя в те времена грузинские дамы большей частью носили еще национальный свой костюм и лишь немногие говорили по-русски. Несмотря на то, они отличались любезностью и большим тактом; некоторые же из них, как например вдова Грибоедова и сестра ее княжна Кетевана Чавчавадзе, будущая княгиня Екатерина Александровна Дадиан (Мингрельская), получили русское воспитание и привлекали своею красивою наружностью. На балах обыкновенно европейские танцы чередовались с лез-

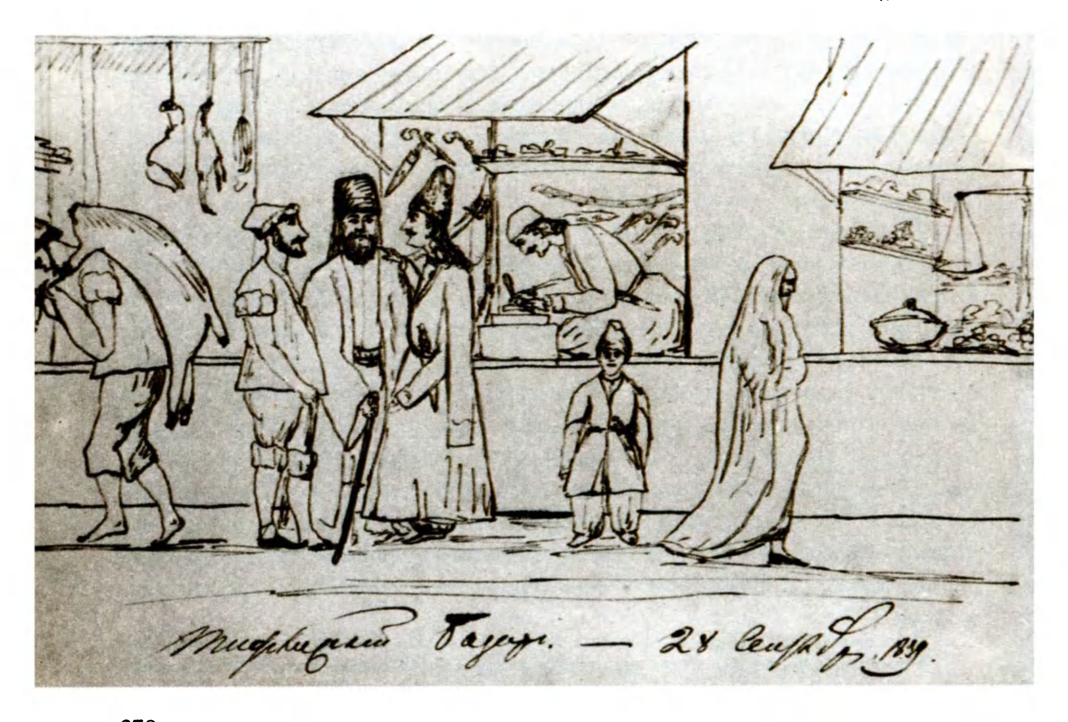
* Далее в автографе зачеркнуто: обещая исходатайствовать мне повышение, сверх того чина, на который я имел бы право, по положению, при переводе из Гвардейского генерального штаба в армейский (*прим. публ.*).

гинкою; когда одна из грузинских грациозных красавиц выходила на средину залы, все общество спешило обступить ее обширным кругом, с увлечением било в ладоши под такт музыки и приходило в восторженное настроение.

В клубе, как уже сказано, были приятные мужские обеды, а иногда танцевальные вечера. Вскоре по приезде генерала Головина (10-го октября) дан был в честь его Дворянским собранием парадный обед, к которому приезжие гвардейские офицеры были приглашены в качестве гостей. Евгений Александрович по этому случаю оказал особенное внимание Перовскому и мне, пригласив нас обоих предварительно к себе и ввел нас в Собрание.

В исходе октября получил я из Ставрополя напоминание, что пора мне возвратиться туда; что генерал Граббе ожидал моего возвращения с нетерпением, предполагая поручить мне некоторые серьезные работы. Извещение это, равно как и позднее время года и наступившая осенняя погода побудили меня отказаться от прежнего моего намерения возвратиться из Тифлиса в Ставрополь кружным путем чрез Дагестан. Я решился ехать кратчайшим путем по Военно-Грузинской дороге и сговорился с Шульцем, который в то время отправлялся в дальний путь в Петербург и на свою родину, в Прибалтийский край.

За день до нашего выезда, Шульц задал прощальный вечер, напоминавший немецкие студенческие комерцы. Общество состояло преимуществен-



но из земляков хозяина: Тизенгаузен, Крузенштерн, Коцебу (штатский), доктор Клевезаль и другие; вечер прошел весело, немало выпили кахетинского и распевали студенческие песни. 24 октября посвятил я все утро прощальным визитам и откланялся начальству, хотя вечер еще провел у Головиных. Евгений Александрович отвел меня в свой кабинет и довольно продолжительное время вел со мною глаз-на-глаз разговор о положении дел на Кавказе и предстоявших военных действиях. В ожидании разрешения вопроса о предположенном переходе моем на кавказскую службу, корпусный командир отпустил меня чрезвычайно благосклонно и ласково.

Утром 25 октября выехали мы с Шульцем в его тарантасе и доехали в тот же день до Душета. В следующий день, по случаю глубоких снегов на перевале, дотащились только до Коби, где должны были провести часть ночи, и только 27 числа, в 2 часа пополуночи, прибыли во Владикавказ. Здесь должны были чинить экипаж и выехали не ранее 2-х часов пополудни, на вольнонаемных лошадях, подряженных до Екатеринограда. На всем этом протяжении конвоировали нас малороссийские казаки, сменявшиеся на постах чрез каждые 5 верст. По ночам езда не допускалась, а потому нам пришлось опять ночевать в станице Ардонской, в устроенной для проезжих казенной гостинице. 29 числа, выехав до свету, добрались в тот день до карантина на Малке, где опять должны были ночевать в слободке у отставного солдата. Получив пропускной билет от карантина, утром 30 числа переехали Малку у Екатеринограда на пароме (мост был снесен); затем целый день тащились по страшной грязи и снова ночевали в Георгиевске. Здесь потеряли мы целый почти день, вследствие неурядицы почтовой части; я должен был ходить пешком по невылазной грязи то к коменданту, то к городскому голове, чтобы добиться почтовых лошадей, и потому выехали из Георгиевска не ранее 8 часов вечера, в совершенную темноту. Всю ночь тащились около 50 верст до станицы Саблинской; по причине густого тумана и дождя сбились с дороги и только 2 ноября к 7 часам утра доехали до Ставрополя. Но и тут, под самым городом, долго блуждали без дороги, не попадая на въезд; изнуренные лошади едва втащили нас в гору. Таким образом на все путешествие от Тифлиса до Ставрополя употребили мы восемь дней. Вот каковы были в то время способы сообщения на Кавказе.

Со 2 ноября и до истечения годичного срока моей командировки на Кавказ, т.е. почти 3,5 месяца прожил я в Ставрополе. Товарищи мои Вольф и барон Вревский, жившие вместе, пригласили и меня поселиться у них, что было, конечно, для меня не только выгодно, но и гораздо приятнее, чем жить в одиночестве в плохой гостинице Наитаки. В первый же день по приезде в Ставрополь, разумеется, явился к начальству. Генерал Граббе представил меня своей жене-молдаванке, интересной брюнетке, любезной, но несколько наивной. У них было двое малолетних очень красивых сыновей — Николай и

Михаил. В доме Павла Христофоровича и Екатерины Евстафьевны нашел я также радушное гостеприимство, какое и в Тифлисе у Головиных. В течение всего пребывания моего в Ставрополе я получал чуть не ежедневные приглашения к обеду, вместе с приехавшим вслед за мною Перовским. Нередко проводили мы у них и вечера.

С Траскиным и Норденстамом виделся я только по службе. С первых же с ними свиданий я должен был изменить свои взгляды на тогдашнее положение дел на Кавказе. Пессимизм, который высказывался в их суждениях, поколебал мои планы относительно перемены службы. К тому же полученные вскоре потом письма от отца и от Горемыкина были наполнены настойчивыми убеждениями не решаться на подобный шаг. Горемыкин писал, что и начальство мое, то есть оба брата Веймарны и сам Великий Князь Михаил Павлович, решительно восстало против моего перехода на Кавказ. В числе доводов Горемыкин приводил и то соображение, что он, по случаю назначения адъюнкт-профессором тактики в Военной Академии, должен оставить свое место старшего адъютанта в гвардейском штабе, и что начальство намеревалось предоставить это место мне. Горемыкин торопил меня возвратиться в Петербург для скорейшего замещения его. Я не мог тогда же принять это предложение, так как вопрос о моем переводе на Кавказ уже принял тогда официальный ход, и во всяком случае считал себя нравственно обязанным докончить начатые работы по Кавказу. Вопрос о моем переводе решился только в январе следующего года, в смысле отрицательном; а между тем, 6 декабря, по выслуге мною трехлетнего срока в чине, я был произведен в штабс-капитаны, и потом назначен (23 января) на открывшуюся должность дивизионного квартирмейстера 3-й гвардейской пехотной дивизии.

Жизнь в Ставрополе не отличалась разнообразием и оживленностью. Город, широко разбросанный по открытой, возвышенной плоскости степного характера, с низенькими домами, широкими, прямыми улицами, обширными площадями, был похож на большую станицу или слободу. Да он и не имел другого значения, как только штаб-квартиры командующего войсками Кавказской линии и Черномории. В состав его входили и казачья станица и несколько слободок. Общество состояло исключительно из одних служащих. Климатические условия были крайне невыгодные: в зимнее время город заносился буквально сугробами снега, а в сырую погоду улицы делались непроходимыми от грязи. Как во всех штаб-квартирах, служащие проводили жизнь почти исключительно в товарищеских кружках. Так и мне приходилось чаше проводить время с моими сожителями Вольфом и Вревским, Россильоном, Мезенцовым; с гвардейскими офицерами: Муратовым, Хрущовым, Вилькеном. Из семейных же знакомых посещал я Бибиковых и Киселевских (почтмейстера); также бывал у госпожи Натара и немногих других. В течение зимы дано было несколько балов в Благородном собрании (в упомянутой гостинице

Наитаки); новый год встречали на бале у генерала Граббе, и вторично был у него танцевальный вечер 25 января.

На новый год наш военный кружок несколько оживился по получении из Петербурга приятного известия о новых наградах за экспедицию, еще по первому представлению генерала Граббе за Ичкеринский поход. В числе награжденных и я получил орден Св. Владимира 4-й степени с бантом — награду очень ценную для молодого офицера.

Однообразная и тихая жизнь в Ставрополе доставляла мне возможность усидчиво работать, частью дома, частью в штабе. Я доканчивал свой проект фортификационный, пересматривал и дополнял свое описание экспедиции, составлял записку о мерах, необходимых, по моему мнению, для лучшего устройства действующих против горцев отрядов; вместе с тем собирал материалы для описания разных племен кавказского населения и даже приступил к самому составлению этого описания. Означенная записка моя: "О некоторых недостатках, замеченных в составе и устройстве отрядов, действующих против горцев, и о средствах к исправлению сих недостатков"[77] была одобрена генералом Граббе и препровождена им к корпусному командиру как его собственная, при рапорте от 22 ноября. В записку эту входили следующие статьи: 1) организация походного штаба, 2) устройство различных частей отряда: интендантской, медицинской, артиллерийской, инженерной и т.д. В числе этих предположений предлагались изменения в солдатском обмундировании и обуви, учреждение особых команд с носилками для выноса раненых, способ перевозки по трудным, горным дорогам полевых орудий (отдельно тела орудия от лафета) и многое другое, что осуществилось в нашей армии только гораздо позже.

По фортификационному моему проекту работа была окончена в начале января, переписана начисто, с 20-ю листами чертежей, и представлена мною при официальном рапорте на имя обер-квартирмейстера Норденстама от 7 января, под заглавием: "Опыт новой системы фортификации, примененной к обстоятельствам и требованиям Кавказского края"[78]. Труд этот был препровожден генералом Граббе к корпусному командиру с заявлением безусловного одобрения и с ходатайством о представлении моего проекта на Высочайшее утверждение, для принятия его в руководство при постройке новых укреплений на Кавказе. Впоследствии я узнал, что мой проект по Высочайшему повелению, рассматривался в Инженерном отделении Военно-ученого комитета, и согласно его заключению, признано было нужным сделать в проекте "некоторые дополнения и исправления, для составления подробного и ясного руководства". Работа эта была возложена на инженер-генерал-майора Сорокина*, а мне объявлено Высочайшее благоволение**. Составленное генералом

* Впоследствии члена Военного Совета и коменданта Петропавловской крепости.

** Отношением начальника штаба генерал-инспектора по инженерной части генерал-адъютантом Геруа на имя начальника штаба Отдельного Гвардейского корпуса генерал-майора Веймарна от 4 июля 1840 года.

Сорокиным руководство было впоследствии Высочайше утверждено и напечатано[79].

Кроме упомянутых моих работ, исполнял я и некоторые другие по поручениям начальства. Самою серьезною было — рассмотрение и опровержение проекта, представленного военному министру генерал-майором Халанским[80], вследствие порученного ему от министерства исследования положения Кавказского линейного казачьего войска. Проект этот состоял в том, чтобы всю тогдашнюю область Кавказскую обратить в казачье войско. Генерал Граббе, к которому проект был препровожден на рассмотрение и заключение, восстал против такого предположения и поручил мне написать опровержение его. Для этого необходимо было мне прежде всего самому изучить экономическое и гражданское положение как линейного казачьего войска, так и остального населения области. Собрав предварительно из разных управлений — военных, казачьих и гражданских — официальные статистические данные, я старался цифрами доказать: 1) что Кавказское линейное казачье войско вовсе не в таком безнадежном состоянии, в каком изобразил его генерал-майор Халанский; 2) что не менее ошибочны и заключения его относительно гражданского населения области, которое с каждым годом возрастает и делает успехи в своем экономическом благосостоянии; 3) что не верны и расчеты генерал-майора Халанского о финансовых выгодах для государства от предполагаемого слияния всего населения области под одно управление, и наконец, 4) что самая мысль об этом слиянии не может соответствовать видам высшего правительства относительно будущности всего Кавказского края. Работою моею генерал Граббе остался совершенно доволен и представил составленное мною, довольно обширное исследование вопроса корпусному командиру.

Кроме того поручалось мне писать мнения и по другим вопросам или проектам, поступавшим из министерства на заключение кавказского начальства. В первых же числах декабря получил я предписание отправиться за Кубань, чтоб осмотреть растущие по реке Урупу леса и сообразить, можно ли дозволить казакам прикубанских станиц пользоваться этим лесом. 1 декабря, проехав на перекладной чрез станицу Сингилеевку в Прочноокопскую, я тут переночевал у командира Кубанского казачьего полка подполковника Ендоурова (которого знавал в Петербурге), а на другой день утром отправился за Кубань верхом, с конвоем из 20 казаков. В то время в долине Кубанской еще стояла погода осенняя, тогда как в Ставрополе давно уже была настоящая зима. Вблизи станицы Прочноокопской находилось укрепление того же имени — штаб-квартира начальника правого фланга линии генерала Засса. За Кубанью проехал я мимо большого армянского селения Армавир и далее следовал вверх по течению Урупа, вдоль которого лепилось много нагайских поселков. Осмотрев лес, сохранившийся еще узкою полосою по берегу реки, я убедился, что он скоро исчезнет совсем, если не будет установлен строгий

надзор за пользованием им, как казаками, так и нагайцами. Я доехал до маленького укрепления Св.Георгия, построенного на правом берегу Урупа, верстах в 30 от его устья, переночевал у воинского начальника, а на следующий день вернулся на Кубань ближайшим путем на станицу Убежную, откуда проехал уже на телеге в Прочноокопскую и 4 декабря возвратился в Ставрополь с отчетом об исполненном поручении.

Годичный срок моей командировки на Кавказ истекал в первой половине февраля. Получив 12 числа этого месяца официальное предписание об отправлении к месту моей постоянной службы, я сговорился ехать с Перовским, который отправлялся в то время в Петербург курьером. В те времена курьерская подорожная имела магическое значение, и я предпочел мчаться, не жалея боков, на курьерской перекладной, чем тащиться черепахой и томиться на грязных почтовых станциях в ожидании лошадей.

Отъезд наш был назначен на 15 февраля вечером. Весь этот день прошел в прощальных визитах; возвратившись домой вечером, к самому часу выезда, в надежде найти свой небольшой чемодан уложенным, я вместо того был озадачен, увидев все свои вещи разбросанными по полу комнаты, и на них распростертого моего денщика Попова, мертвецки пьяного. Ничего другого не оставалось мне, как самому наскоро собрать имущество, а моего несчастного Попова оставить в Ставрополе в распоряжении Кавказского штаба.

При всей бесцветности жизни в Ставрополе, я не мог однако ж покинуть его без чувства признательности за радушное гостеприимство, оказанное мне тамошним обществом, а в особенности в доме Павла Христофоровича Граббе. Вообще же все годичное мое пребывание на Кавказе оставило в моих мыслях неизгладимые воспоминания. Природа этого прекрасного края, разновидные типы его населения, своеобразная обстановка жизни, поэзия военного быта и бесчисленные ощущения, испытанные в течение года, живо врезались в моей памяти до глубокой старости.

СЕМЬЯ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ

Походная моя жизнь со всеми ее треволнениями и перипетиями не мешала мне поддерживать во все время исправную переписку с домашними, особенно с отцом и братом Николаем; из петербургских же товарищей я был в постоянных сношениях с Горемыкиным. Многие перемены произошли с моего отъезда на Кавказ как в товарищеском кружке, так и в семье. На Пасху (26 марта) дядя Павел Дмитриевич Киселев возведен в графское достоинство; по Гвардейскому генеральному штабу Фролов произведен в полковники на открывшуюся вакансию Блома, вышедшего из штаба. Обер-квартирмейстер наш Иван Фед<орович> Веймарн произведен 6 августа в генерал-майоры, с назначением в Свиту Его Высочества и оставил должность профессора тактики в Военной Академии. Должность эту занял Фролов, вместо которого адъюнкт-профессором назначен Горемыкин.

В петербургском официальном мире общее внимание было занято происходившими в начале июля празднествами по случаю свадьбы Великой Княжны Марии Николаевны с герцогом Максимильяном Лейхтенбергским, а потом, в августе, Бородинскими маневрами, сопровождавшими открытие, в день 26 числа, памятника на Бородинском поле сражения[81]. После грандиозных торжеств по этому случаю, вся Царская фамилия с целым сонмом сановников и многочисленною свитою прибыла в Москву, и здесь снова происходил ряд торжеств и праздников. В числе их совершилась 10 сентября закладка храма во имя Христа Спасителя в память Отечественной войны. Это было в полном смысле слова событие в доме моего отца, который, по своему званию управляющего делами строительной комиссии, был главным распорядителем и хозяином. По этому случаю в доме его набралась масса публики, знакомой и незнакомой; хлопот было много; церемония была великолепна, и все удалось превосходно. Государь остался весьма доволен, и отец мой, в награду за свои хлопоты, получил то, в чем более всего нуждался — денежное пособие в 6 тысяч рублей.

Собственно в доме отцовском произошли следующие перемены. Брат мой Владимир поступил в гимназию, выдержав успешно экзамен в 4-й класс, хотя ему было всего 13 лет и несмотря на слабые средства домашней подготовки. К младшему брату Борису приставлен гувернер-немец. Сестра моя с огорчением должна была расстаться с m-me Mallet, которая по своим семейным обстоятельствам (смерти мужа и сына) уехала в конце июля во Францию. Отъезд ее снова поставил отца в большое затруднение; до приискания другой дамы, временно поселилась в отцовском доме Мария Алексеевна Бакарева,

Общий вид храма Христа Спасителя.
Рисунок неизвестного художника по чертежу К.Тона.
1830-е гг.

о которой я уже упоминал не раз. Единственным для сестры моей развлечением были поездки в Петровский парк, где жила на даче бабушка Прасковья Петровна Киселева с Нееловыми*. Однако ж, во время великих празднеств в честь Царской семьи, в сентябре месяце, пришлось и сестре моей показаться раз или два на балах. Это были первые выезды ее в свет, которые впрочем не доставили ей особенного удовольствия; она все еще была застенчива, как институтка.

В то время в Москве находились: дядя граф П.Д.Киселев, брат мой Николай и приятель наш С.А.Авдулин. Первый присутствовал на Бородинских маневрах, потом прожил в Москве во все продолжение пребывания там Государя, а после того объехал некоторые губернии для осмотра вновь открытых Палат государственных имуществ. В этот приезд он был любезнее обыкновенного к родственному кругу, и в особенности внимателен и ласков к моей сестре.

Брат Николай приехал в Москву 5 сентября на короткое время, чтобы развлечься от преследовавшей его хандры. С отъезда моего из Петербурга, он во всех своих письмах жаловался на удручавшую его пустоту и бесцветность жизни петербургского чиновника. Чтобы вырваться из этой тины, он затеял было новую командировку с Андр<еем> Пар<феновичем> Заблоцким, который посылался от Министерства государственных имуществ для исследования положения крестьянского населения в нескольких губерниях. Заручившись предварительным согласием своего начальства на эту поездку, брат писал мне 24 февраля: "Еще раз пожелай мне успеха. Участие твое в каждом моем деле я привык видеть как хорошее предзнаменование и, быть может, это одно из моих суеверий..."[82] Однако ж, проект этот не состоялся; дядюшка Павел Дмитриевич Киселев не признал удобным участие в означенной командировке чиновника другого министерства. К крайнему своему огорчению, брат должен был провести все лето в Петербурге, в одиночестве. Хотя он и жил по-прежнему вместе с Н.И.Свечиным (на новой квартире, на Литейной, против Мариинской больницы, в доме Лыткина), но почти никогда не виделся со своим сожителем, вращавшимся совсем в особом кругу знакомства. Из близких друзей многие разъехались на лето: Заблоцкий — в сказанную командировку; вместе с ним уехал и И.П.Арапетов. Брат ежедневно ходил обедать в артель, заведенную в квартире Заблоцкого и Любимова; здесь, несмотря на отсутствие одного из хозяев, брат находил по крайней мере удовольствие в беседе с хорошими и умными приятелями: Любимовым, графом Ив<аном> Толстым, Загряжским и другими; по вечерам же, возвратившись домой, работал до глубокой ночи, частью по служебным делам, частью для некоторых изданий, для которых он "подрядился" (по собственному его выражению) поставлять статьи. Работы департаментские в то время его не интересовали. "Читаешь подъяческие создания, распутываешь мошеннические увертки,

*Сергей Дмитриевич Киселев со своею семьею проводил это лето в Останкине.

борешься с безграмотностью, злонамеренностью, глупостью — и вот встаешь со стула, истратив последние силы ума, убив последнюю живость свою..."[83] Такую жизнь называл он "мизерабельною", "une existense manquée"*. Он завидовал моей походной жизни и даже сопряженным с нею опасностям. К такому нравственному упадку духа присоединились еще болезненные недуги, которыми он мучился довольно долго. По совету отца он решился наконец просить 28-дневный отпуск в Москву, чтобы сколько-нибудь развлечься и не впасть совсем в ипохондрию. Москву он любил; там он отдыхал душою и сердцем. В письме от 6 сентября он писал мне: "Поездка в Москву возвратит мне здоровье, успокоит морально, освежит тело и душу и даст новые силы на скуку и одиночество. С Москвою я вижусь всегда с таким душевным наслаждением, что минуты эти трудно описать. Вся Москва для меня есть ни что иное, как старый школьный друг и товарищ. Если б ты был здесь и если б наша ужасная потеря** не отравила нам радости на всю жизнь, то настоящие дни были бы для меня полным счастием"[84]. В другом позднейшем письме (15 января 1840 года) брат писал: "Москва все та же, и чем более входишь в лета, тем более оценяешь ее добродушие и сердечность. Непостижимо для меня, как все здесь помнят малейшие подробности юности каждого из нас. Живя здесь, как-то молодеешь и от воспоминаний, и от разговоров, и от образа жизни..."[85]

В Москве брат Николай съехался с нашим приятелем С.А.Авдулиным, который, пробыв там в июле месяце около недели, отправился к своему деду во владимирское его имение, а потом на Нижегородскую ярмарку, и 27 августа вторично приехал в Москву. Как и в прежние свои приезды он, разумеется, нашел в доме моего отца самый радушный прием, и в свою очередь был изысканно любезен со всею нашею семьею и родственниками. Хотя в отцовских письмах и бывали намеки на особенно любезное отношение его к моей сестре, однако ж я был совершенно озадачен неожиданным известием, полученным 2 октября в Тифлисе, о помолвке ее с Сергеем Алексеевичем. 16 сентября он сделал предложение чрез брата Николая, а 17-го, в день рождения сестры (которой минуло 17 лет) отец, на могиле матери, благословил невесту и жениха.

Об этом семейном событии известили меня в тот же день отец, брат Николай, сестра и жених. Письмо последнего, конечно, было совершенно восторженное, как и следовало ожидать от человека влюбленного. Но признаться, полученная неожиданная новость не обрадовала меня. Мне было известно, что об этом семейном союзе мечтал еще покойный отец Сергея Алексеевича Авдулина; что заговаривал он об этом и с покойною нашею матерью; но я никак не думал, чтоб дело могло осуществиться так внезапно. Сестра, по своим понятиям о вещах житейских, была еще, можно сказать, ребенком. Решимость, с которою она так легко согласилась на сделанное предложение, была почти

---

* жалкое существование (*пер. с фр.*).

** То есть смерть матери в 1838 году.

бессознательною. Полагаю, что находило раздумье и на отца, судя по тому, что он не решился дать свое согласие, не посоветовавшись с ближайшими родственниками Киселевыми. Все они отнеслись к предположенному браку сочувственно; даже и граф Павел Дмитриевич, обыкновенно так сдержанный в семье, выказал и жениху и невесте самое любезное внимание.

Вскоре после помолвки, 30 сентября, жених уехал в Петербург для устройства своих дел по случаю предстоявшей перемены в жизни. Вместе с ним уехал и брат Николай. Оба они по дороге посетили Полторацких, которые приняли очень радушно нового члена семьи. Граф Павел Дмитриевич Киселев также возвратился в Петербург. С этого времени отношения его к брату Николаю заметно изменились; с своей стороны, и брат начал охотно посещать дядю и вел с ним продолжительные беседы глаз на глаз. Поездка в Москву оживила брата лишь на короткое время; с возвращением в Петербург, он снова начал хандрить, хотя и принуждал себя посещать знакомых и часто бывал в семьях, родственных Авдулину (Шишмаревы, Манзе). Кроме служебных занятий, он принялся за статистические работы, вместе с Заблоцким составлял статистический атлас России, писал статьи для Коммерческой Библиотеки и прочее.

С.А.Авдулин, устроив в Петербурге свои денежные дела и купив дом (Сенявина, на Английской набережной), поспешил возвратиться в Москву в начале ноября; но в конце года опять ездил на несколько дней в Петербург. Свадьба была предположена в январе; рассчитывали на мой приезд к этому семейному событию. Во всех письмах отца, сестры и других уговаривали меня скорее выехать с Кавказа; но я отвечал категорически, что не могу даже определить срок своего возвращения, тем более, что в то время еще не был решен окончательно вопрос о том, останусь ли я в Гвардейском генеральном штабе, или перейду на Кавказ. К новому году опять приехал в Москву брат Николай, который писал мне (7 января), что с приездом туда, он "снова пустился в московскую разгульную жизнь, ежедневно на балах, маскарадах, в театрах, на обедах"[86]. В отцовском доме шла постоянная суматоха по поводу приготовлений к свадьбе. Отец повеселел; но предстоявшее ему одиночество в Москве озабочивало брата*.

Самую хлопотливую часть свадебных приготовлений — приданое невесты и ее туалет — приняла на себя тетка Александра Дмитриевна Неелова. Помещение для молодых на время пребывания их в Москве приискано было у Арбатских ворот (та же квартира, которую некогда занимали Киселевы, в доме Головкина). Свадьбу справили 17 января, скромно, в семейном кругу. Отцом и матерью посаженными у невесты были дядя Сергей Дмитриевич

*В октябре 1839 года отец мой был огорчен болезнью близкой родственницы Марии Асоновны Секретаревой, которая вскоре и скончалась (30 числа). Он был с нею дружен; можно сказать, что из всего родства отцовского дома Мария Асоновна Секретарева оставалась близкой к нашей семье.

Киселев и Александра Дмитриевна Неелова. Затем следовали, как водится, свадебные обеды у отца, у молодых, у близких родственников.

В первые же дни молодые известили меня о совершившемся событии. Новобрачный писал с увлечением о своем счастье однако ж и тут уже звучала минорная нота — о "церемонности", о "холодном обращении" молодой жены. В письме же брата Николая высказывалось, что "отношения между молодыми как-то не клеятся" (письмо от 25 января). Впрочем он и ранее высказывал мне откровенно свои опасения на счет будущности, ожидающей нашу сестру и нашего друга. Он знал слабую черту последнего — тщеславие. Еще до свадьбы С.А.Авдулин высказывал желание, чтобы жена его блистала в большом свете Петербургском. Зная нравы и направление этого "света", брат предсказывал, что этот путь поведет не к добру. Кроме того, брата озабочивало и положение отца с меньшими братьями, которые оставались без надзора и руководства. О перемещении же отца в Петербург не могло быть и речи.

31 января молодые, вместе с братом Николаем и Н.А.Бибиковым (о котором уже не раз упоминалось), вздумали сделать сюрприз Полторацким в день рождения дочери их Софии: они неожиданно приехали в Тверь и явились прямо на бал. В это время уже истек срок отпуска брата Николая; но болезнь, от которой он все еще не мог отделаться, заставила его несколько отложить возвращение в Петербург. Он выехал из Москвы вместе с Бибиковым только 15 февраля, то есть в тот самый день, когда я выехал из Ставрополя.

Несмотря на бешеную курьерскую езду, я достиг Москвы только 20 февраля, то есть на шестые сутки. Нужно ли говорить с какими чувствами обнялись мы и с отцом, и с сестрою после целого года разлуки, года обильного всякого рода тревогами, опасениями, заботами. И радостно, и вместе с тем как-то странно, грустно было мне увидеть мою 17-летнюю сестру, институтку Машу, преобразившуюся в замужнюю даму! Во всем нашем родственном кружке меня приняли, в полном смысле слова, с распростертыми объятиями. Не было конца расспросам, иногда весьма наивным. Большую перемену нашел я в бабушке Прасковье Петровне Киселевой; она видимо слабела с каждым днем. В то время находилась в Москве тетка моя Елизавета Михайловна Якимова, с которою я не виделся уже много лет.

Только по приезде в Москву узнал я о полученной мною третьей награде за экспедицию: приказом 9 февраля я был произведен в капитаны. Эта награда была существенным шагом в моем служебном положении; на целые три года я опередил моих сверстников. Из найденных мною в Москве писем Горемыкина я узнал, что генерал Головин, прибывший в то время в Петербург, был принят Государем весьма благосклонно; на все его ходатайства и представления последовало Высочайшее соизволение. Ему самому пожалован мундир Лейб-Егерского полка, которым некогда он командовал; генерал Граббе получил звание генерал-адъютанта. Многие из моих гвардейских и штабных товарищей

произведены в следующие чины, в том числе и Н.Н.Муравьев в полковники. Но самою выдающеюся наградою было производство нашего дели-баша Шульца чрез чин, то есть из капитанов прямо в полковники. Три раза раненый в течение трех месяцев, изувеченный, он был вполне доволен своей судьбой и только мечтал о новых боевых подвигах. Шульц в проезд свой чрез Москву познакомился с моим отцом, а потом в Петербурге с братом Николаем, и очень понравился им, как своею оригинальностью, так и теплым сочувствием, с которым относился ко мне.

Товарищ и лучший приятель мой Горемыкин, постоянно сообщавший мне обо всем происходившем во время моего отсутствия в нашем петербургском кружке, стал в последнее время почему-то сильно хандрить и собирался куда-нибудь уехать хотя бы на время. Настоящую причину своего мрачного настроения он не высказывал категорически; но в письмах проглядывало между строками что-то романическое. Он жаловался на тоску своего петербургского существования, отговаривая меня от моих замыслов переменить службу, сам мечтал о переходе на Кавказ, или по крайней мере о временной поездке туда и участии в военных действиях. Приезд генерала Головина в Петербург облегчил исполнение этих проектов. Горемыкин почему-то пользовался расположением Евгения Александровича и, по предложению его, решился ехать вместе с ним на Кавказ, под видом отпуска для поправления здоровья, но с надеждою попасть в один из действующих отрядов. Отъезд Головина был назначен на 2 марта. Горемыкин торопил меня возвратиться до этого времени в Петербург, чтобы лично переговорить со мною о разных служебных и частных вопросах. Он продолжал уговаривать меня принять оставленную им должность старшего адъютанта в Гвардейском генеральном штабе.

Пробыв в своей семье почти целый месяц, вполне оправившись и телом, и духом, я выехал из Москвы 18 марта, ровно через год, день в день, по выезде оттуда на Кавказ, а 22 числа прибыл в Петербург, где застал еще и Горемыкина, и Е.А.Головина.

ПРИЛОЖЕНИЯ
К ВОСПОМИНАНИЯМ О КАВКАЗЕ
за 1839—1840 годы

Пояснение приложенной карты А

О набегах и хищничествах кавказских горцев

ПОЯСНЕНИЕ ПРИЛОЖЕННОЙ КАРТЫ А

К воспоминаниям моим о Кавказе за 1839 год приложена общая карта под литерою А, с тою целью, чтобы наглядно изобразить тогдашнее административное устройство края и положение русской власти в разных его частях. В ту эпоху сравнительно недавнего еще распространения русских владений новыми приобретениями от Персии и Турции, по трактатам Туркменчайскому 1828 года[87] и Адрианопольскому 1829-го[88], административное устройство Закавказья находилось, можно сказать, в зачаточном состоянии. По мере присоединения вновь завоеванных областей, установлялось в них временное управление в самых разнообразных формах; а на северной стороне Кавказского хребта, при шаткости горского населения, положение русской власти подвергалось частым изменениям. Чрез это карта Кавказа того времени представляла такую пестроту, о которой невозможно составить себе понятие по новейшим картам. Вот почему и счел я нелишним на означенной карте А изобразить положение русской власти в разных частях края условными цветами, значение которых указано на самой карте. Но указание это необходимо дополнить некоторыми пояснениями.

Высшая власть во всем Кавказском крае сосредоточивалась в лице командира Отдельного Кавказского корпуса, носившего также и звание главноуправляющего гражданскою частью в Грузии, Кавказской и Армянской областях. Местопребывание его в Тифлисе.

Корпусному командиру были подчинены: 1) командующий войсками Кавказской линии и Черномории, он же — и начальник Кавказской области; 2) начальник Черноморской береговой линии и 3) командующий войсками в Северном Дагестане.

Северный Кавказ. Обширная равнина между Азовским и Каспийским морями, от границ Донского казачьего войска и Астраханской губернии до Кубани и Терека, заключала в себе: прилежащие к Азовскому морю земли Черноморского казачьего войска и область Кавказскую. Передовая полоса этой последней области занята была линейным казачьим войском. Земли казачьи имели различное протяжение в глубину области, местопребывание главного начальника области Кавказской и Черномории — Ставрополь.

Обширная область Кавказская делилась на четыре уезда: Ставропольский*, Пятигорский, Моздокский и Кизлярский. В уездах введено было гражданское управление, но с некоторыми отступлениями от общеустановленного положения, применительно к особенностям местным. Все четыре уездных го-

*Уезд этот почему-то назывался "округом".

рода были окружены землями казачьими, не входившими в состав уездов. Значительная часть области была занята магометанским полукочевым населением ногайцев, караногайцев, туркмен и калмыков. Население это оставалось в своем первобытном состоянии, управлялось по своим народным обычаям, под надзором русских приставов, а в высшей инстанции состояло в ведении Министерства государственных имуществ.

Как Черноморское, так и линейное казачьи войска управлялись своими атаманами. В 1839 году должности эти занимали генерал-лейтенант Завадовский и генерал-майор Рудзевич. Местопребыванием их управлений были Екатеринодар и Ставрополь. В Черноморском войске конные полки и пешие батальоны комплектовались таким же порядком, как в войске Донском; в линейном же войске — полки (исключительно конные) имели постоянный состав, в определенных территориальных границах, и были расположены в следующем порядке (начиная от границы Черноморского войска): Кавказский, Кубанский, Ставропольский, Хоперский, Волжский, Горский, Моздокский, Гребенский и Кизлярский. Каждый полк нес службу в своем участке кордонной линии; нижнее течение Кубани составляло участок Черноморских казаков.

В военном отношении Кавказская линия и лежащее впереди ее пространство, обитаемое туземными племенами, делились на несколько отделов. В каждом отделе на начальствующего генерала возложены были распоряжения по охранению линии, меры к удержанию в повиновении покорного или мирного туземного населения и военные действия против враждебных племен. Для исполнения таких обязанностей начальнику отдела подчинены были расположенные в его районе регулярные войска и казачьи полки*.

Отдел Черноморской кордонной линии, как уже сказано, состоял в ведении атамана Черноморского казачьего войска. Из закубанского населения, в пределах означенного отдела, считались мирными только ближайшие к Кубани аулы бжедухов и гатюкойцев, а также ближайшая к устьям Кубани часть натухайцев (Натхо-Куадж), которые впрочем включены были в район Черноморской береговой линии. Затем все остальное, многочисленное и воинственное население обоих склонов горного хребта (шапсуги и абадзехи) принадлежало к числу наиболее враждебных нам племен.

Правый фланг Кавказской линии простирался по Кубани от границы Черноморского войска до Каменного моста в верховьях Кубани (близ укрепления Хумаринского), на протяжении около 300 верст. Кордонная линия в пределах этого отдела была охраняема четырьмя полками Кавказского линейного казачьего войска: Кубанским, Кавказским, Ставропольским и Хоперским.

* Войска и казаки подчинялись начальнику отдела только по их службе и участию в военных действиях; по внутреннему же устройству и хозяйству регулярные полки входили в состав дивизий, а казаки оставались в ведении своих атаманов.

ЧЕРНОЕ МОРЕ
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
КАРТА
АДМИНИСТРАТИВНАГО ДѢЛЕНІЯ
КАВКАЗСКАГО КРАЯ
въ 1859 г.

АСТРАХАНСКАЯ ГУБ.
ОБЛАСТЬ
Владикавказъ
ЕЛИЗАВЕТПОЛЬСКОЙ
ШАМШАДИЛЬ
ШИРВАНСКАЯ
ПРОВ.
КАРАБАХСКАЯ
ПРОВ.
ПАШАЛ.
ПЕРСІЯ
КАСПІЙСКОЕ
МОРЕ

Местопребывание начальника правого фланга было в крепости Прочноокопской*. В 1839 году должность эту занимал генерал-лейтенант Засс, о котором было уже упоминаемо в моих воспоминаниях.

За Кубанью, в пределах правого фланга, простирается обширная равнина до подошв гор. Часть ее между Кубанью и Большой Лабой, совершенно открытая,. занята была редким населением покорных нагайцев; западнее же Большой Лабы отроги гор приближаются к Кубани, местность становится лесистее и население, принадлежащее к племени адыге (которое собственно и называется у нас черкесами**, было не только непокорно русской власти, но большею частью враждебно; в особенности абадзехи, о которых уже упомянуто выше. В самых же горах, по верховьям рек, вытекающих из главного Кавказского хребта, западнее Кубани, гнездилось население абазинское, подразделенное на разные мелкие общества или роды***, а верховья Кубани занимали карачаевцы, некогда подчинявшиеся кабардинцам и давно уже (с 1822 г.) признававшие себя покорными России.

В двадцатых годах (при генерале Эмануэле) возведено было за Кубанью несколько укреплений, в видах обеспечения линий от беспокойного туземного населения; но большая часть этих укреплений была упразднена в тридцатых годах (генералом Вельяминовым), и к 1839 году оставались за Кубанью только три: Георгиевское — на Урупе, верстах в 25 от Прочного Окопа; Вознесенское**** — на реке Чамлык, верстах в 30 впереди Георгиевского, и Ярсаконское — на реке Большом Земчуке, впереди станицы Беломечетской, верстах в 10 от Кубани. В 1839 году прибавилось еще четвертое — на правом берегу Большой Лабы, верстах в 16 западнее Вознесенского, названное сначала Аржипским, а потом переименованное в Зассовское. Все эти укрепления, по своим размерам и слабой профили, не могли иметь никакого значения и даже не были безопасны от нападения горцев.

Центр Кавказской линии имел небольшое протяжение: по кордону от Верхней Кубани (у Хумаринского укрепления) до впадения Малки в Терек — около 180 верст. Протяжение это занято было двумя линейными казачьими полками — Волжским и Горским.

Местопребывание начальника центра — Нальчик, главный пункт Большой Кабарды. Пост этот занимал в 1839 году генерал-лейтенант князь Голицын.

Центр Кавказской линии был самою мирною и спокойною частью ее. Впереди кордонной линии входили в пределы центра только Большая Кабарда

* После 1839 года крепость эта была упразднена, так же как и другие, существовавшие при некоторых казачьих станицах укрепления.

** Непосредственно за Лабой население это известно под разными местными названиями: кемюргои, мохош, бесленои и др.

*** На наших картах значились: бракаевцы (или баракаи), баг, шахгиреи, там, кизыл-баши, беглые кабардинцы, башилбан, басхох и другие. Но все эти наименования не имеют значения этнографического и некоторые, как например, беглые кабардинцы, едва ли даже известны туземцам.

**** На некоторых картах показывалось под наименованием "Новодонского".

и соседние с нею к югу небольшие горские общества: Чегем, Балкар и Дигор. Было время, когда кабардинский народ господствовал на обширном пространстве по обеим сторонам Кубани, Малки и Терека, от хребта Кавказского до Егорлыка и Маныча, а к востоку граничил с кумыками. До сих пор сохранились в названных горских обществах следы прежней зависимости их от кабардинцев. Как известно, народ этот исповедывал христианскую веру и с давних времен был в сношениях с Москвою; а при Иоанне Грозном принял добровольно подданство Царю, который вступил в брак с княжною Черкесскою (т.е. Кабардинскою). Но появление турок на Кавказе нанесло удар господству кабардинцев, совратило их в мусульманство и прервало надолго сношения их с Россиею. В конце XVIII века (1771 г.) прислана была к Императрице Екатерине II кабардинская депутация с просьбою об отмене постройки крепости в Моздоке и водворения там казаков. Домогательство это, конечно, не было уважено, а вслед за тем, в 1774 году, по миру Кучук-Кайнарджийскому, Порта признала Кабарду подвластною России. В начале XIX столетия страну эту постигло страшное бедствие; чума, свирепствовавшая несколько лет сряду, истребила значительную часть населения. В 1812 году Кабарда снова принесла присягу русскому правительству; но чрез десять лет (в 1822 г.) вспыхнуло восстание, которое пришлось усмирить оружием. С тех пор покорность Кабарды не была нарушаема. Русским правительством дано ей самоуправление, основанное на народном быте и обычаях, под руководством русских местных начальников. Для поддержания же в крае спокойствия и порядка приняты такие меры, что кабардинцы как наиболее цивилизованные и развитые из всего туземного населения Кавказа не могли не понять, как было бы с их стороны неразумно и бесцельно всякое проявление непокорности пред русскою силою.

Обеспечение спокойствия в центре Кавказской линии имело особенную важность потому, что здесь пролегает главный путь сообщения России с Закавказьем. Собственно чрез Кабарду пролегает только часть Военно-Грузинской дороги, от Малки до речки Дурдур, на протяжении около 60 верст. Далее она входит в район Владикавказского округа.

Владикавказский округ представлял как бы передовой отдел центра Кавказской линии, разросшийся из первоначального скромного управления Владикавказского коменданта. Начальником округа в 1839 году был полковник (а вскоре потом генерал-майор) Нестеров. Округ был весьма не обширный. В пределах его пролегала Военно-Грузинская дорога от речки Дурдур до ущелья Дарьяльского, на протяжении 66 верст. Дорога охранялась Малороссийским казачьим полком, только что переселенным сюда и положившим начало будущим двум Владикавказским полкам линейного казачьего войска. В описываемое время малороссийские казаки занимали посты вдоль всей дороги, но еще не были вполне поселены; только что отводились для них участки земли узкою полосою по обеим сторонам дороги.

В округ Владикавказский входила большая часть осетинского населения (алагирцы, куртатинцы, тагаурцы) и ингушевского (назрановцы, карабулаки, галашевцы, галгаи, джераховцы, кисты). Все это население признавалось покорным и управлялось по народному обычаю под надзором русских приставов.

Левый фланг Кавказской линии простирался по кордонной линии, т.е. по течению Терека, на 260 верст, заключая в себе участки трех линейных казачьих полков: Моздокского, Гребенского и Кизлярского. За Тереком район отдела простирался до Андийского хребта (ветви главного Кавказского хребта, отделяющейся от горы Барбало в северо-восточном направлении) и до низовий реки Сулака. Местопребывание начальника левого фланга было в крепости Грозной, на реке Сунже. Должность эту занимал в 1839 году генерал-майор Клюки-фон-Клугенау; но по случаю предпринятой тогда экспедиции генералу Клугенау было поручено начальство в Северном Дагестане, а начальником левого фланга был назначен генерал-майор Пулло.

Из туземного населения за Тереком признавались вполне покорными Малая Кабарда, кумыки и ближайшие чеченские аулы по правому берегу Терека и по обоим берегам Сунжи. Малая Кабарда всегда держала себя заодно с Большою Кабардою; здесь в особенности преобладал аристократический строй; очень значительная часть пространства Малой Кабарды закреплена была на правах собственности за влиятельною фамилиею князей Бековичей-Черкасских. То же аристократическое начало господствовало у кумыков, занимающих открытую равнину между низовьями Терека и Сулака. Принадлежа к числу наиболее культурного туземного населения, кумыки признали себя подвластными Московскому Царству еще в царствование Федора Иоанновича и Бориса Годунова; но в течение последующего времени неоднократно приходилось русским войскам усмирять восстания и беспорядки среди кумыков. В XIX столетии они составляли самую спокойную и покорную часть кавказского населения.

Чеченские аулы по Тереку и Сунже состояли под надзором русских приставов и ближайших военных начальников, обложены были легкою податью (по 1 рублю с дыма) и несли некоторые повинности натурою, в том числе содержание постов вдоль Сунжи. Вынужденная покорность и спокойствие этих аулов, конечно, не препятствовали им поддерживать сношения со своими за-сунжанскими соплеменниками.

Среди мирного населения левого фланга существовали в 1839 году четыре укрепленных пункта, построенных еще Ермоловым в начале двадцатых годов; крепости Грозная и Внезапная, укрепления Амир-Аджи-юрт (прикрывающее переправу чрез Терек) и Горячеводское. Кроме Внезапной, прочие три укрепления, не исключая и Грозной, представляли такую ничтожную силу обороны, что не могли считаться обеспеченными даже от открытого нападения горцев*.

* Подтверждением тому служит ночное нападение горцев на Амир-Аджи-юрт в 1825 году. Укрепление это было взято, и весь гарнизон истреблен. Возведенное после того на том же месте новое укрепление было немногим лучше прежнего.

За исключением указанных чеченских аулов на Тереке и Сунже, вся остальная Чечня была в тридцатых и сороковых годах под властью Шамиля и относилась к русским крайне враждебно. Даже соседние с кумыками небольшие общества ауховцев, качкалыковцев, мичиковцев, по временам выдававшие себя за мирных и даже обложенные податью, наравне с сунжанскими аулами сбросили с себя личину и стали явно в ряды наших врагов.

Вся лесистая равнина за Сунжею до Черных (т.е. лесистых) гор делилась рекою Гойтою, притоком Сунжи, на Малую Чечню и Большую. Собственно на этом только пространстве и происходили в те времена наши так называемые экспедиции. Отряды наши, под предлогом наказания тех или других аулов за враждебные действия, вторгались в доступные местности, преимущественно в зимнее время, разоряли страну, рубили просеки в лесах и уходили без всякого положительного результата, оставляя за собою раздраженное, озлобленное население. Таково было и предпринятое генералом Пулло, в зиму с 1839-го на 1840 год, движение вдоль плоскости Чеченской; при этом забирались от аулов аманаты, ружья*, скот, как будто для того, чтобы еще более ожесточить и без того враждебное нам население.

Таков был наш образ действий в ближайшей к линии плоской части Чечни. Горная полоса была тогда еще недоступна для нас. Самое сильное чеченское население в горах — ичкеринцы — занимало верхние долины Баса, Хулхулау, Аксая, Яман-су, Ярык-су. К западу от Ичкерии, в суровых котловинах обоих Аргунов (Шаро-Аргун и Чанты-Аргун), обитало население кистинского племени: шатойцы, шубузы, чарбили и другие небольшие общины, обособленные самою природою от всех соседей и вполне нам чуждые.

Таким образом, на всем протяжении Северного Кавказа, за исключением лишь центральной части, только ближайшая к кордонной линии часть туземного населения могла признаваться покорною и подчинялась русскому военному начальству. Остальное население, не только горное, но и на лесистых равнинах, было враждебно нам. Принимаемые русским начальством военные меры носили характер оборонительный; главною целью их было обеспечение линии и сообщений с Закавказьем. Если и предпринимались наступательные действия, то они имели значение временного наказания той или другой части непокорного населения, не оставляли по себе никаких положительных следов и нисколько не способствовали утверждению в крае русского владычества.

К линии Кавказской примыкали: с запада — Черноморская береговая линия, с востока — Дагестан.

*Отбиралось только по одному ружью с каждых 10 саклей. Могло ли это принести нам какую-нибудь пользу?

Черноморская береговая линия, только что устроенная в тридцатых годах, состояла из ряда отдельных малых укреплений на самом берегу моря, на протяжении около 280 верст от устья Кубани до границы Абхазии у Гагр. Местопребывание начальника Черноморской береговой линии и его управление находилось в Керчи, т.е. вне пределов Кавказа. Должность эту занимал генерал-лейтенант Раевский.

По Адрианопольскому мирному договору 1829 года Турция отказалась от своих прав на восточный берег Черного моря; но прибрежное горское население: шапсуги, убыхи, джигеты и прочие мелкие нагорные общества воспротивились признанию над собою владычества России и упорно отстаивали свою независимость. Турки и другие наши европейские враги, под предлогом торговли с горцами, возбуждали их к сопротивлению, снабжали их оружием и порохом. С целью прекращения этих вредных для нас сношений, учреждено было вдоль берега крейсерство и устроена Черноморская береговая линая, состоявшая из следующих 13 укреплений:

Джемитейское — на косе Кизылташского залива при устье Кубани.

Анапа — прежняя турецкая крепость, взятая князем Меншиковым в 1829 году.

Новороссийск — также бывшая турецкая крепость Суджук-кале, в глубине Цемесской бухты.

Геленджик — на берегу бухты того же названия.

Новотроицкое — при заливе Пшад.

Михайловское — при устье Вулана.

Тенгинское — при устье Шапсуго.

Вельяминовское — при устье Туапсе.

Лазарево — при устье Псезуапе.

Головинское — при устье Шахе.

Навагинское — при устье Сочи.

Св.Духа — при устье Мдзимпты (близ мыса Адлер), и наконец Гагры — преграждающее проход между морем и крутым обрывом горной ветви, замыкающей Абхазию с севера.

За исключением Анапы, Новороссийска и Гагр, все прочие укрепления были расположены при устьях горных речек, стекающих с главного хребта Кавказского, в стране, населенной враждебными нам горцами и без всякого другого сообщения, кроме морского; а потому гарнизоны укреплений оставались большую часть года совершенно изолированными, а при климатических условиях местности подвергались чрезвычайно сильной болезненности и смертности. Возложенное на Черноморский флот крейсерство оказывалось мало действительным: парусные военные суда держались обыкновенно в таком расстоянии от берега, особенно в свежую погоду, что турецкие кочермы, легко ускользая от крейсера, безнаказанно сообщались с горцами, тогда как гарни-

зоны наших укреплений, отрезанные от всего остального мира, были в постоянной блокаде. Во многих пунктах над укреплениями господствовали высоты ближе ружейного выстрела, выходить наружу было небезопасно на самое близкое расстояние. К тому же и в отношении фортификационном, укрепления имели такую слабую оборону, что можно было ежеминутно опасаться нападения горских скопищ, что вскоре и осуществилось: с февраля 1840 года начался разгром жалкой Черноморской береговой линии; первые нападения были произведены так неожиданно и быстро, что три укрепления: Лазарево, Вельяминовское и Михайловское одно за другим были истреблены с гарнизонами своими, прежде чем можно было подать помощь десантными войсками.

Дагестан (в переводе "Горная страна"), как уже сказано, отделялся от района левого фланга Кавказской линии водораздельным хребтом Андийским и рекою Сулаком, образуемою из соединения всех четырех горных рек, известных у нас под названием Койсу (Андийского, Аварского, Кара-Койсу, Казы-кумыкского). Однако ж к Дагестану причислялось и Салатау (салатавцы), хотя это племя находится на левой стороне Сулака и на северном склоне Андийского хребта. Южную границу Дагестана с Закавказским краем составляет главный (водораздельный) Кавказский хребет.

Внутренним Дагестаном (или нагорным по преимуществу) принято у нас называть собственно суровую котловину, заключающую в себе долины всех четырех названных выше Койсу. Эта часть Дагестана населена почти исключительно лезгинским племенем, резко отличающимся от всех других обитателей Кавказа и наружными чертами, и языком, и нравственными свойствами. Прибрежная же полоса Дагестана (собственно Прикаспийский край) гораздо менее гористая, более доступная, заселилась смесью разных народов: лезгин, аравитян, персиян, татар и других. Все последовательно сменявшиеся здесь завоеватели оставили по себе более или менее заметные до сих пор следы.

В той же прибрежной полосе Дагестана положено было основание и русского владычества ранее, чем в других частях гор. Не говоря о сношениях владетелей Дагестана с русскими царями в XVI и XVII столетиях*, вспомним поход Петра Великого, имевший результатом завоевание всего прибрежья Дагестана. Хотя завоевания эти были возвращены Персии в царствование Императрицы Анны Иоанновны (1735 г.), однако ж в конце XVIII столетия и в начале XIX-го окончательно утвердилось владычество России во всей прибрежной полосе Дагестана[89].

В ту эпоху, к которой относятся мои воспоминания, Дагестан не составлял цельной административной единицы и состоял из многих мелких ханств или

---

*В 1638 году царская грамота владетелю кумыкскому и тарковскому Сурхай-Мирзе, принявшему подданство России.

вольных обществ, из которых некоторые считались покорными русской власти, а другие непокорными и фанатически преданными мюридизму.

В Северном Дагестане покорными можно было тогда признавать владение шамхала Тарковского, ханства Мехтулинское и Аварское, которые управлялись по своим народным обычаям, под надзором русских приставов и под главным заведыванием командующего войсками в Северном Дагестане, имевшего пребывание в Темир-Хан-Шуре, на равнине Тарковской. Местоприбыванием же названных владетелей были: шамхала Тарковского — Кафыр-кумык, хана Мехтулинского — Дженгутай, хана Аварского — Хунзах.

В числе покорных считались также салатавцы и койсубулинцы; но я должен исключить их из этой категории, ввиду их открытой враждебности в 1839 году. Только немногие из койсубулинских аулов не подчинялись власти имама; прочие были в числе самых горячих, фанатичных его приверженцев.

В Среднем Дагестане — город Дербент, прежняя сильная крепость персидская, два раза взятая с боя русскими войсками (в 1722 г. Петром Великим и в 1796 г. генералом Зубовым) и окончательно присоединенная к России в 1813 году по Гюлистанскому договору с Персией, получила от русского правительства городское устройство, под управлением начальника округа Дербентского. В состав этого округа вошли некоторые ближайшие туземные общества (Башлы, Гамри-Озень, Терекеме, Нижний Табасарань), управляемые по народным обычаям, под ведением окружного начальника.

К числу покорного населения Среднего Дагестана, управляемого по народному обычаю, под надзором русских военных приставов, можно причислить два ханства: Казы-Кумыкское и Кюрипское, бывшее владение уцмия Каракайтахского, и вольные общества: Верхний Табасарань, Сюрги, Цудахара, Акуша, Андаляль. Общества эти, так же как и другие, признаваемые покорными или мирными, не всегда были безупречны в своем поведении в отношении русской власти; но случавшиеся в среде их по временам проявления непокорности и своеволия не дают повода к тому, чтобы отнести их к разряду непокорных или враждебных, тем более, что в тот год, к которому относятся мои заметки, названные общества держались совершенно спокойно.

Затем все остальные, не поименованные общества внутреннего или нагорного Дагестана, должны быть отнесены к категории непокорных и более или менее враждебных нам. Перечислю их в порядке занимаемых ими местностей, по долинам рек, под теми наименованиями, под которыми они были нам известны, не ручаясь впрочем за правильность этих названий, иногда крайне искажаемых в нашем русском переложении*.

* Привожу эти названия в том соображении, что они уже не показываются на новых картах Кавказа, а потому со временем не легко будет следить за ходом дел в Дагестане в эпоху окончательного утверждения русского владычества в том крае.

В долине Андийского Койсу, следуя от низовий реки к верховьям, обитали: Койсубу, Гумбет, Анди, Киаляль (Карата тоже), Ункратль, Тиндаль, Богос, Дидо (в самой верхней котловине, примыкающей к водораздельному хребту).

В долине Аварского Койсу — соседний с Аварским ханством, Хидатль; выше по долине — Анкратль.

В долине Кара-Койсу — Карах, Мукратль, Тхесерух.

Наконец, в числе непокорных показаны на карте обитающие в самых верховьях Самура четыре малые общества: Рутуль, Ахты, Алтыпара и Докузпара; здесь русская власть была восстановлена в 1839 году Дагестанским отрядом, под личным начальством корпусного командира генерала Головина. Результатом этой экспедиции было возведение здесь нового укрепления Ахты.

Самая южная часть Прикаспийского края, то есть треугольное пространство между морским берегом и пониженною оконечностью главного хребта Кавказского, южнее Самура, составляла бывшее ханство Кубинское, присоединенное к России по Гюлистанскому миру с Персией в 1813 году под названием провинции Кубинской. Но эта часть Прикаспийского края входила уже, в административном отношении, в состав Закавказья.

Закавказье представляло в описываемую эпоху нестройное соединение поступивших добровольно в подданство России двух царств: Грузинского и Имеретинского, с разноплеменными и разнородными владениями и областями, отторгнутыми от Персии и Турции. *Царство Грузинское*, состоявшее из Карталинии (от которой произошло и самое название грузин картвеланами), Кахетии и Сомхетии, получило гражданское управление, во главе которого поставлен был командир Отдельного Кавказского корпуса; при нем учреждено "Верховное грузинское правительство", заключавшее в себе три "Экспедиции" (или отделения): исполнительное, казенное и судебное, так что в нем сосредоточены были функции губернского правления, казенной палаты, гражданского и уголовного суда. Потом Грузия была разделена на пять уездов: Тифлисский, Душетский, Горийский, Телавский и Сигнахский; в которых введено управление по образцу русского уездного управления, но с значительными отступлениями от существовавшего в Империи общего Положения, применительно к местным особенностям края. Постановлено было применять в делах гражданских прежние законы царя Вахтанга, а в делах уголовных руководствоваться узаконениями Империи.

Вскоре по занятии Грузии русскими войсками, присоединены были к ней вновь завоеванные от Персии территории: часть прежнего ханства Ганжинского (завоеванного князем Цициановым в 1803 г.), под названием округа Елизаветпольского, "дистанции" Борчалинская, Бамбикская, Шурагельская, Казахская и Шамшадильская, в которых, однако ж, не было введено гражданское управление наравне с существовавшими уездами. Этим округам, названным почему-то "дистанциями", дано было упрощенное, привычное народу полуазиатское управление, под единоличным заведыванием окружных на-

чальников или приставов. Такое же устройство дано и "Горскому округу", образованному из прежних подвластых Грузинскому царству осетинских племен: пшавов, тушин и хевсур.

Царство Имеретинское, освобожденное русскими войсками от турецкого владычества еще ранее занятия ими Грузии*, поступило формально в подданство России только в 1804 году и получило русское управление еще гораздо позже. Только что присягнувший торжественно Царь Саломон II нарушил присягу, войдя в соглашение с турками, вследствие чего, в 1810 году, русские войска под начальством генерала Тормасова вступили в Имеретию, овладели Кутаисом; арестованный Царь Саломон отправлен в Тифлис, а затем введено в Имеретии русское гражданское управление по образцу уже существовавшего в Грузии, с разделением на 4 округа (вместо уездов).

Гурия, некогда входившая в состав единоплеменной с нею Имеретии, избавилась вместе с нею от турецкого гнета, поступила в 1804 году под покровительство России, но осталась под управлением своего владетельного рода князей Гурьель. Окончательно присоединена к России только в 1829 году, по Адрианопольскому договору, и получила такое же управление, какое было введено в Имеретии.

Лежащая к западу от Имеретии и одноплеменная с нею *Мингрелия* освобождена была от турецкого владычества по Кучук-Кайнарджийскому договору 1774 года, владетель ее, князь Григорий Дадиан, принял подданство России в 1803 году; но ему оставлены были владетельные права под "покровительством" России.

Точно также и *Абхазия*, добровольно принявшая подданство России в 1810 году, осталась под управлением своих владетелей из княжеского рода Шервашидзе. Тогдашний владетель Сефер-бей принял даже христианство, которое не совсем еще было искоренено в Абхазии совращением народа в исламизм.

В непосредственном соседстве с Мингрелией и Абхазией, к северу, разветвления главного хребта Кавказского образуют две обширные котловины, чрезвычайно недоступные: *Сванетию* и *Цебельду*. Первая в особенности, отличаясь как суровостью природы, так и дикостью населения, разделялась на две части: западная половина называлась княжескою или Дадиановскою, подвластна была княжеской фамилии из рода мингрельских владетелей; восточная — вольная, не признавала ничьей власти. Цебельда представляла страну гораздо менее суровую и дикую, чем Сванетия, менее изолированную от всего остального мира, была в близких соотношениях с Абхазией. Тем не менее,

---

*Еще при царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче Имеретия обращалась к ним с просьбами о защите против турок, но в те времена Россия находилась не в таком положении, чтобы действительно оказать материальную помощь отдаленной единоверной стране, и не могла спасти ее от разгрома турецкого в 1691 году. Только в царствование Екатерины II, в 1772 году, появились в Имеретии русские войска, под начальством генерала Тотлебена; а по Кучук-Кайнарджийскому миру 1774 г. Имеретия и Гурия освобождены от турок[90].

Цебельда, так же как и Сванетия, отнесены на приложенной карте к одной категории — непокорных частей края, собственно в том соображении, что в описываемое время в обе эти нагорные страны не ступала еще нога русского солдата.

Перейду к восточной равнинной половине Закавказского края, к бывшим ханствам персидским, присоединенным к России по Гюлистанскому договору 1813 года: Карабахскому, Щекинскому, Ширванскому, Бакинскому, Кубинскому и Талышинскому[91]. Все эти ханства переименованы у нас почему-то в "провинции" и до сего были известны под общим названием "Мусульманских провинций". Обширные эти области не получили гражданского устройства и оставались под единоличным управлением окружных начальников или приставов, большей частию из военных, действовавших сообразно с привычными азиатскому народу обычаями и нравами.

Такое же управление дано и завоеванному в 1830 году округу Джаро-Белоканскому, населенному смесью лезгин и татар; а лежащее рядом с этим округом небольшое владение султана Элисуйского осталось под управлением своего владетеля, пока он был верен Русскому правительству и не передался Шамилю.

Остается упомянуть о двух недавно присоединенных к России территориях по мирным договорам: Туркманчайскому 1828 года и Адрианопольскому 1829-го: области Армянской, заключавшей в себе бывшие ханства Эриванское и Нахичеванское с округом Ордубатским, и бывшем пашалыке Ахалцыхском. Обе эти территории оставались еще под управлением временных начальников.

В заключение обзора восточной половины Закавказского края упомяну о Лезгинской кордонной линии, устроенной с 1830 года для прикрытия Кахетии от набегов и хищничеств лезгинских шаек с северной стороны главного хребта. Линия эта не занимала особенной территории, а состояла только из ряда постов вдоль подошв гор, с несколькими передовыми укрепленными постами на перевалах, и расположенных в известных пунктах частей войск, служивших резервами кордонной линии. Местопребывание начальника линии и его управления — крепость Закаталы, среди Джаро-Белоканского округа. Линия делилась на две части: правый и левый фланг, между которыми пунктом раздела было укрепление Лагодехи.

О НАБЕГАХ И ХИЩНИЧЕСТВАХ КАВКАЗСКИХ ГОРЦЕВ

В те времена, когда я познакомился впервые с Кавказом, линия Кавказская была еще далеко не обеспечена от хищнических набегов закубанских и затеречных горцев. Сообщение вдоль самой линии было небезопасно; в ночное время оно совсем прекращалось. Шайки хищников нередко прорывались сквозь кордон и появлялись внутри Кавказской области, в окрестностях Георгиевска, минеральных вод, даже селений на Куме и Калаусе. За Кубанью же, Малкою и Тереком проезд был возможен не иначе, как под охраною более или менее сильного конвоя, так же как и по Военно-Грузинской дороге между Екатериноградскою станицею (на реке Малке) и Владикавказом. Только незадолго до описываемой эпохи началось водворение на этой дороге малороссийских казаков и устройство линии постов, что дало возможность отменить конвоирование проезжих*.

Интенсивность горских набегов и степень причиняемых ими беспокойств мирному населению края в тридцатых и сороковых годах, конечно, были уже не те, что в начале столетия или в ермоловские времена. С тех пор значительно увеличилось и число расположенных в крае регулярных войск, и возросло казачье население, и возведено несколько передовых укрепленных пунктов впереди кордонной линии, да и самая служба на кордоне упорядочена. Пройдут еще годы, десятки лет, — и прежние дерзкие набеги хищников совсем прекратятся, страна успокоится, прежняя опасность позабудется и новые поколения не будут даже иметь понятия о том, что для предшествовавших поколений составляло злобу дня. Вот почему считаю нелишним дополнить мои воспоминания о проведенном годе на Кавказе несколькими заметками о том, как в былое время совершались набеги кавказских горцев и какое значение имели они в тогдашней жизни края.

Набеги горцев бывают двух родов: или мелкими шайками, даже одиночными хищниками, или крупными скопищами. Первые имеют целью исключительно грабеж проезжих или работающих на полях поселян, угон скота и лошадей, вообще воровскую добычу. Такого рода нападения часто сопровождаются убийствами, в случае встреченного сопротивления; иногда же уводом людей, которых горцы держат в плену, в надежде получения выкупа, а пока пользуются их работою на положении рабов. Другого же рода набеги — мно-

*Отмена конвоирования последовала в 1837 году, после проезда Императора Николая I.

гочисленными скопищами предпринимаются или с тою же целью грабежа и угона скота, только в более широких размерах и с более значительным риском, или же для внезапного нападения на какую-нибудь небольшую отдельную команду войск, иногда чтобы помешать рубке леса или другой работе наших войск, вырезать пост, поджечь поселок и т.п. Бывали случаи и нападений на казачьи станицы, на укрепления и даже крепости. Таковы были, например, нападения: на Кизляр еще в прошлом столетии (1785), под предводительством знаменитого Ших-Мансура, на укрепления Амир-Аджи-Юрт (правом берегу Терека) и Герзель-аул (на Кумыкской плоскости) в 1825 году; нападения Казы-мулы в 1830 и 1831 годах на крепости Бурную и Внезапную и вторично на Кизляр*. Впрочем, приводимые примеры не могут уже причисляться к разряду набегов хищнических; это были предприятия боевые, эпизоды вековой борьбы кавказских горцев за свою независимость. Те же набеги, о которых здесь идет речь, и которые иногда предпринимаются горцами с хищническими целями, хотя и значительными силами, отличаются существенно от набегов мелких шаек тем, что одни ведутся в готовности к возможной боевой встрече, а другие пускаются лишь на такие предприятия, при которых нельзя ожидать вооруженного сопротивления.

Хищнический набег мелкой шайки не требует долгих приготовлений; предпринимается часто экспромтом, одним, двум удальцами.

Большими же скопищами набег задумывается и приготовляется заблаговременно, с намеченным заранее планом. Какой-нибудь известный в народе вожак собирает первоначально несколько надежных приверженцев своих, чрез посредство которых созывает на сборный пункт всех удальцов, желающих принять участие в предприятии. И вот стекаются с окрестностей охотники до наживы и до рискованных приключений; для них готово пристанище у кунаков ближайших от сборного пункта аулов. Сборище таким образом быстро растет и готовится по возможности скрыто, в глубокой тайне. Случается, однако, что слух о сборище доходит чрез лазутчиков до сведения русских властей на линии или в передовых укреплениях, но слух этот не всегда принимается с доверием, а к тому же остается загадкою куда и каким путем направится сборище. Не ведают того и сами участники предпринимаемого набега; это тайна вожака, который высматривает пути, собирает сведения о расположении наших войск и бдительности казачьих постов. Но раз решена вожаком цель и выбран путь, мгновенно скопище стягивается на сборном пункте и устремляется со всевозможною быстротою по намеченному пути. Искусство вожака состоит в том, чтобы исполнить набег совершенно скрыто и нанести удар не-

---

*Привожу здесь только те случаи, которые относятся ко временам, предшествующим 1839 году. В позднейшие же годы подобных случаев было еще более: вспомним погром, нанесенный горцами в начале 1840 года нашим укреплениям Черноморской береговой линии, а в 1843—1844 г. в Дагестане; нападение лезгин в 1848 году на укрепление Ахты в Южном Дагестане.

ожиданно. Для этого приходится обыкновенно сделать с крайнею быстротою дальний пробег, преимущественно глухими дорогами, минуя населенные пункты, так чтобы невидимо подойти к какому-нибудь закрытому месту, где можно приостановиться на короткое время, дать передышку коням, и оттуда со свежими силами, разом перенестись к своей цели и нанести удар в удобный для того момент, например в ночную пору, или при густом тумане. Самое нападение всегда бывает очень непродолжительно. Удалось или нет с первого же раза достигнуть цели, во всяком случае скопище не медлит и старается уйти прежде, чем может быть настигнуто подходящими с разных сторон войсками или казачьими резервами. Для отступления горцы всегда выбирают другой путь, не тот, по которому налетели; при этом прибегают иногда к хитростям (демонстрация), чтобы ввести в заблуждение наши войска насчет пути отступления. В случае удачного набега, угон скота и захват всякой вообще добычи замедляет и затрудняет отступление, в особенности когда приходится в тылу переправа чрез реку вброд или вплавь. Здесь-то всего чаще и случается нашим войскам и казакам настигнуть уходящих хищников, отбить у них добычу и нанести им поражение. Во всяком случае скопище, обремененное ли добычею, или потерпев урон, торопится добраться до каких-либо мест, недоступных для преследования русских войск. Тут оно останавливается для отдыха, дележа добычи и затем расходится по домам.

Представленная картина горского набега ясно показывает, что успех предприятия как мелкой шайки, так и крупного скопища обусловливается двумя факторами: качеством коня и внезапностями нападения.

Для дальнего и быстрого пробега необходимо специальное подготовление коня. У горцев ведется свой особенный способ *тренирования* или *подъярования*, по казачьему выражению. Месяца за два до набега начинают сильно откармливать коня и, когда он разжиреет, постепенно уменьшают корм, ежедневно ставят в воду по брюхо животного и делают проездки, все усиливая дальность и быстроту, пока не спадет совсем жир и не отвердеют мясистые части. Таким образом, конь доводится до того, что может в один летний день вынести пробег до 150 верст. Такое подготовление коня составляет главное занятие и заботу каждого горского джигита, принимающего участие в набегах. Никогда не решится он пуститься в рискованное предприятие на молодом, невыдержанном коне, зная, что от качества коня зависит не только успех предприятия, но и самая жизнь удальца. Для большей же уверенности в удачном совершении набега, как вперед, так и обратно, горцы часто пускаются в путь о двуконь, то есть с запасным конем, который пригодится и под вьюк для подъема добычи в случае успеха.

В заботе о возможном облегчении коня, горец, пускаясь в набег, не берет с собою никакого груза. Продовольствие рассчитывает он найти у кунаков в попутных аулах; приютить и прокормить приезжего есть коренной долг горского гостеприимства. В тех же случаях, когда избирается путь глухими мес-

тами на дальнее расстояние, или когда почему-либо признается нужным избегать жилых мест, горцу достаточно захватить с собою несколько пригоршней проса или несколько чуреков дня на два, на три. Также и корм для коня чаще добывается у попутных кунаков. Для прокормления же коней большого ско пища, при движении в течение нескольких дней, приходиться прибегать к подножному корму, и вот почему подобные набеги предпринимаются преимущественно в осеннее или весеннее время года, а не в летнее, когда трава выгорела, и не в зимнее, когда поверхность земли покрыта снегом.

Другое еще неудобство летнего времени для набегов есть половодье в реках. Когда нельзя переходить вброд, горская шайка или скопище должны переправляться вплавь чрез самые быстрые потоки, что замедляет движение; в особенности, крайне невыгодно при обратном уходе с добычею и даже опасно в случае погони. Зимнее время иногда выбирается для набега именно ввиду более легкого перехода чрез большие реки по льду.

Набеги хищнические в собственном смысле слова привычны преимущественно туземным племенам закубанским, известным у нас под общим наименованием "черкесов", и затеречным, то есть чеченским. В этих племенах хищнические набеги составляют любимое занятие, род спорта молодежи, князей и беков (там, где существует аристократический склад), узденей и вообще людей вольных, то есть того класса населения, который проводит всю жизнь в праздности, предоставляя домашние заботы женщинам, а тяжелые работы земледельческие низшему классу "ясырей" и рабам, т.е. пленным. Праздные молодцы скучают дома, чувствуют потребность деятельности, любят рыскать, ищут сильных ощущений, а вместе с тем, не прочь и поживится добычею на счет гяуров*. Только удальством, рискованными боевыми подвигами приобретаются у горцев почет и уважение.

Высшим почетом пользуются те из удальцов, которым удавалось выказать большую способность и опытность в набегах и хищничествах. Такие становятся вожаками шаек или скопищ. Для успеха предприятия необходимое условие — полное доверие к вожаку со стороны всех участников, беспрекословное подчинение его решениям. На вожаке лежит вся ответственность за успех и неудачу предприятия.

Хищническим набегам горцев на Кавказскую линию и на Военно-Грузинскую дорогу (между Екатериноградом и Владикавказом) весьма

* Мелкие хищничества и одиночные нападения на линии, особенно за Тереком производятся также абреками. Под этим названием известны в среде туземного населения такие отчаянные злодеи, которые, по каким-либо личным побуждениям, чаще всего из опасения кровомщения, покидают свой аул, свою семью, отрекаются от всех прежних связей и дают обет постоянно скитаться и злодействовать. Такие отверженцы держат местное население в постоянной тревоге, а когда представится случай, еще охотнее злодействуют над русскими. Многие из завзятых абреков нападают совершенно открыто, даже намеренно выдавая себя каким-либо наружным отличительным как например, красным башлыком, отчего и произошло наименование "кызыл-баш", т.е. красная голова.

благоприятствует характер местности за Кубанью, Малкою и Тереком. Под прикрытием лесистой полосы, шайка незаметно пробирается почти вплоть к кордонной линии и, высмотрев где легче прорваться между казачьими постами, выжидает ночного времени, чтобы неожиданно напасть на добычу.

Совсем иного рода характер местности в Дагестане. За исключением самой северной части Шамхальской плоскости и лесистых гор Салатавии, на всем остальном пространстве Прикаспийского края, крутые, обрывистые, каменистые горы не допускают простора в выборе путей для набегов; бесплодная поверхность горных террас не представляет условий для коневодства. Наездничество и рыскание мелкими шайками не в нравах лезгинского племени. Враждебные нам предприятия лезгин носят совсем иной характер: они собираются крупными скопищами, большею частию пеших людей, дерутся с упорством, как при нападении, так и при обороне. С давних времен лезгины предпринимали нападения как большими скопищами, так и мелкими хищническими шайками, на южный склон хребта Кавказского, безлошадно грабили и опустошали долину Алазани, роскошную страну Кахетии, вследствие чего русским правительством признано было необходимым устроить вдоль подошв горного, водораздельного хребта кордонную линию, названную "Лезгинской", а на перевалах хребта возвести передовые наблюдательные башни. Расположенные на этой линии войска с добавлением туземных милиций не всегда успевали предохранять мирное население от погрома, наносимого по временам внезапными нападениями лезгинских скопищ.

Вообще, охранение края или дороги на значительном протяжении против такого рода враждебных предприятий, каковы обычные набеги кавказских горцев, дело нелегкое; оно, можно сказать, непосильно регулярным войскам. В подтверждение того история дает много примеров. Знаменитейший полководец нашего века Бонапарт не мог справиться в Египте с мамелюками; в Испании целые армии Франции не могли одолеть гверильясов. И действительно, есть ли возможность войскам угоняться за подвижными, летучими шайками, которым всюду открыт путь, которые могут всюду появляться внезапно, и мгновенно исчезать из глаз. Такому врагу единственный способ противодействия представляет вооруженное народонаселение, сплоченное военной организацией.

Такую силу охраны представляет наше казачество. С давних времен южные пределы Русской земли подвергались вторжениям то одних, то других беспокойных, неосевшихся соседних народностей, пока не создались сами собою на границах вольные казачьи поселения. На необозримых степях между низовьями Дона и Волги кочевали нагайцы, туркмены, калмыки, и свободно разгуливали удальцы из вольных племен, обитавших на северном склоне Кавказского хребта, известных нашим предкам под условными названиями черкесов, кабардинцев и других. Первый отпор встретили эти шайки от казаков

донских и волжских, благодаря которым граница Московского Царства начала постепенно выдвигаться вперед и достигла к концу XVII века низовий Терека. Поселившиеся здесь казаки в царствование Петра I временно даже заняли предгория за Тереком, под именем казаков гребенских (от "гребень" — т.е. хребет). Население казачье разрасталось присоединением вновь прибывавших переселенцев, и в течение XVIII века протянулось постепенно вверх по Тереку и Малке, а далее сухим рубежом по предгориям Эльбруса, перекинулось на Кубань и получило наименование *Кавказского линейного казачьего войска*. На низовьях же Кубани поселены в царствование Екатерины II бывшие запорожцы, образовавшие особое *Черноморское казачье войско*. Таким образом, к началу XIX столетия образовалась сплошная полоса казачьего населения, от моря до моря, на протяжении около 900 верст. В тридцатых же годах, как уже сказано, основалось еще новое казачье поселение на пути сообщения линии с Закавказьем от станицы Екатериноградской до крепости Владикавказ.

На всем означенном протяжении линии казаки селились довольно крупными станицами, в расстоянии между одной и другой от 15 до 20 верст. Станица обносится оградою из двойного ряда плетней, между которыми промежуток заполняется землею, а спереди вкапывается ров. На углах ограды большею частию ставится по одному орудию, в выдающемся вперед помещении, вроде бастиона. Над воротами, запираемыми на ночь, устраивается вышка для караульного. Почти всегда в средине станицы церковь и площадь, на которой в случае тревоги сбирается резерв.

В промежутках между станицами, чрез каждые 5—7 верст устраиваются наблюдательные посты, состоящие из небольшого навеса для казаков и лошадей и дворика, обнесенных плетнем и с вышкой, на которой поочередно один из казаков зорко наблюдает за видимым во все стороны пространством. На самом открытом месте близ поста поставлен шест с привязанным к верхушке его пучком соломы, который зажигается для подания сигнала в случае тревоги. Число казаков на посту различно, смотря по расстояниям и степени опасности.

В тех местностях, где требуется особенная осторожность, как например, если в промежутках между постами имеются тропинки, или удобные броды на реке, принимается на ночь дополнительная мера — скрыто располагаются *секреты*.

Служба на кордонной линии всецело лежит на казаках. В случае нападения или прорыва шайки, по данному на постах сигналу, поспешно вызываются станичные резервы, которые иногда стягиваются с нескольких станиц к угрожаемому пункту. Но по дальности расстояний, станичные резервы редко успевают помешать нападению; чаще приходится нагонять хищников при отступлении их, чтобы по крайней мере отбить захваченную ими добычу, или перерезать шайке путь отступления.

В охранении линии от хищнических набегов регулярные войска не принимаются в расчет. Число расположенных на линии войск слишком ничтожно сравнительно с протяжением ее — как выше замечено до 900 верст. В старое время было еще менее. Сами горцы, имея всегда точные сведения о местах расположения наших войск, конечно, избегают таких мест, за исключением разве особых случаев, когда самая цель предприятия заключается в нападении врасплох на какую-нибудь отдельно расположенную слабую команду, или на транспорт, неосторожно направленный под малочисленным прикрытием, или наконец в угоне войскового табуна, недостаточно охраняемого на пастьбе, и т.п.

Охранению линии от набегов приносят несомненную пользу передовые укрепления, возведенные в некотором расстоянии впереди кордона. Горцы для набега на линию не решаются выбрать путь ближе известного расстояния от нашего укрепления. Еще опаснее было бы для них отступление по такому пути, который может быть перерезан высланными из укрепления войсками. К тому же, в известном районе от укреплений хищники лишены возможности рассчитывать на услуги своих кунаков. В таких видах и были возведены Ермоловым существовавшие в 1839 году передовые крепости и укрепления: Грозная в 1818 году, Внезапная в 1819 году, Горячеводское укрепление в 1820. Для охранения же Военно-Грузинской дороги между Екатериноградскою станицею и крепостью Владикавказом были в то же время построены укрепления: Назрановское — с восточной стороны и Нальчикское — с западной.

Близкое соседство с беспокойным и воинственным населением северного склона Кавказского хребта послужило превосходною школою для воспитания кавказского казачества. Хотя линейное войско, как уже было замечено, образовалось не сразу, а постепенным, в течение целого столетия, приливом новых переселенцев из разных мест, однако ж условия жизни казака на линии способствовали скорому слиянию самых разнородных элементов в одно сплоченное целое, и таким образом выработался совершенно особый тип кавказского линейного казака — замечательно смышленого, ловкого, беззаветно отважного, удалого наездника. Всегда готовый к кровавой схватке с врагом, линейный казак старается не уступать в удальстве и отваге горскому джигиту, и замечательно, что вместе с тем берет его в образец себе, по крайней мере во внешнем виде, в покрое одежды, снаряжении, оружье, даже в некоторых мелочах домашней обстановки*. Не то в Черноморском казачьем войске: потомки знаменитых запорожцев приспособились по-своему к требованиям службы на линии, оставшись теми же истыми хохлами, какими были их предки на Днепре.

Надобно, однако ж, сознаться, что при всех достоинствах линейного казака, он все-таки не может во всем сравняться с горским джигитом в индивидуальном

---

*В некоторых из старейших полков надтеречных казаки роднились с азиатскими своими соседями. Так в Червленной станице явно замечается примесь азиатской крови.

боевом состязании. На стороне последнего преимущество и в отношении коня, специально приготовленного к дальнему и неимоверно быстрому пробегу, и в оружии, считающемся родовою драгоценностью, переходящею из поколения в поколение, а в особенности в полной свободе действий и нравственном возбуждении. Горец проводит всю жизнь свою в приготовлении коня, рыскает куда глаза глядят в погоне за добычей. Казак, напротив того, не только воин, но и земледелец, несет служебные обязанности, подчинен начальству и озабочен охранением станицы, хаты и семьи от ежеминутно возможной опасности. Здесь вполне высказывается общепризнанное преимущество нападения пред обороной. Горца влечет надежда на добычу, желание прославиться своим удальством, казак же исполняет только свою служебную обязанность охранителя.

Еще важное преимущество на стороне горцев заключается в том, что они в своих набегах действуют дружно, под руководством известного вожака, достигшего своими многократными успехами полного доверия со стороны всех добровольно участвующих в предприятии. Вожак ведет шайку по заранее обдуманному плану к намеченной цели и с полным знанием местности. Казакам же, в случае тревоги, приходится большею частию маячиться малыми командами, без определенного плана, в недоумении, где искать врага. Пока дело разъяснится, пока получится от начальства какое-либо распоряжение, пройдет так много времени, что почти никогда не удается помешать врагу достигнуть своей цели, и остается только придумывать как бы настигнуть его при отступлении.

Здесь надобно заметить, что успешность горских набегов, особенно мелких хищничеств значительно облегчается собственною нашею русскою беспечностью и привычкой пренебрегать установляемыми административными мерами. Так, например, постановление, чтобы в известных местностях поселяне на полевые работы выходили с оружием и держались по возможности скученно — почти нигде не соблюдается. В местах, где полагается проезжать не иначе, как с конвоем или с так называемыми "оказиями" — путники часто пускаются одиноко "на-авось". Весьма невыгодное условие в отношении спокойствия в крае то, что в пределах Кавказской области, то есть позади кордонной линии, большие степные пространства заселены кочевниками: нагайцами, туркменами и другими, а в некоторых частях находятся аулы мирных туземцев, как например, Бабуковский под самым Георгиевском. Постановление, чтобы мирные горцы ездили по области с особым билетом и приближаясь к селению или станице, снимали с себя оружие, остается только на бумаге, да и может ли оно соблюдаться азиатцем, считающим за бесчестье снять с себя оружие. Самое единообразие одежды горцев и линейных казаков открывает широкое поле к недоразумениям и подвохам: хищники свободно пробираются под видом мирных обывателей области или казаков, да и сами мирные туземцы не совсем безгрешны в случающихся хищнических проделках.

Так, бабуковцы пользовались весьма дурною славою и часто подавали повод к жалобам на них со стороны русского населения области. Так и на Военно-Грузинской дороге, пролегающей по Большой Кабарде, стране, признаваемой с давних времен покорною, хищнические шайки, пробирающиеся из затеречных и закубанских мест, часто пользуются содействием самих кабардинцев.

По окончании Турецкой войны 1828—1829 годов, Императору Николаю I пришла мысль воспользоваться тогдашним усиленным составом войск на Кавказе, чтобы предпринять решительные действия против горских племен и положить конец затянувшейся на многие десятки лет войне в том крае. Фельдмаршалом Паскевичем представлено было полное предположение вторжения в горы многими колоннами, или отрядами; потребовано было мнение от тогдашнего начальника Кавказской линии, дельного и опытного генерала Вельяминова, который представил серьезные возражения на проект фельдмаршала. Возникла продолжительная переписка, прошло много времени, и задуманное Императором намерение осталось неосуществленным. Но сохранилась в архивах весьма любопытная коллекция документов, в которых высказывается, как в те времена (т.е. в тридцатых годах) смотрели на положение дел в крае. Мало знакомые с Кавказом (к числу которых принадлежали и граф Паскевич, и сам Император) считали возможным покорение горского населения вторжением нескольких отрядов в глубь гор; в глазах же знатока Северного Кавказа (генерала Вельяминова) водворение русской власти в среде горского населения ставилось не целью военных действий, а только вспомогательным средством для лучшего охранения линии.

И тот и другой взгляд на предстоявшую нам на Кавказе трудную задачу изменились в позднейшее время, в сороковых, особенно же в пятидесятых годах. Но в записках генерала Вельяминова 1832 и 1833 годов сохранилось много любопытных подробностей и указаний относительно тяжелой службы казаков и войск на Кавказской линии в былое время[92].

В ПРОМЕЖУТКЕ ДВУХ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВОВАНИЙ 1840

Возвратившись в Петербург 22 марта, я нашел брата Николая совсем больным: бледный, исхудалый, обвязанный и закутанный, сидел он безвыходно дома; но завален был делами служебными и работами для разных изданий. Несмотря на свои усиленные занятия, он хандрил по-прежнему. Приезд мой обрадовал его и несколько оживил.

Первым делом моим в Петербурге было — повидаться с Горемыкиным, чтобы разъяснить положение дел. От него узнал я, что с предстоявшим вскоре отъездом его на Кавказ, в 6-месячный отпуск, место старшего адъютанта в штабе оставлено за ним, и что на время его отсутствия, исправление этой должности возлагается на меня.

Начальство приняло меня весьма благосклонно. По приказанию генерала Веймарна, я немедленно же вступил в должность начальника 2-го отделения Гвардейского генерального штаба. Верховую лошадь приобрел от Горемыкина (за 450 рублей). В нашем штабе нашел я некоторые новые перемены сверх тех, которые произошли в течение 1839 года, и о которых было уже мною упомянуто. В начале 1840 года выбыли двое из старших капитанов: Хоминский и Адеркас; первый, по расстроенному здоровью, должен был оставаться продолжительное время в заграничном отпуску и потому перечислен в Генеральный Штаб подполковником, второй — вышел совсем в отставку (впоследствии он поступил на службу в Министерство государственных имуществ, по части межевания и кадастра). Капитан Голынский давно уже хворал и видя, что в Гвардейском генеральном штабе дальнейший путь ему закрыт, хлопотал о перемене службы*. Из числа младших товарищей, юный Жерве уже был переведен в Гвардейский генеральный штаб (помимо Военной Академии); вновь причислен к этому штабу из последнего выпуска Академии подпоручик Лейб-Егерского полка Лермонтов; на Кавказ командирован Баумгартен.

Как уже было сказано, я застал еще в Петербурге генерала Головина, пред самым его выездом. Он принял меня любезно и выразил сожаление о том, что предполагавшийся переход мой на Кавказ не состоялся. Горемыкин выехал из Петербурга несколько дней спустя после выезда Евгения Александровича Головина, с которым съехался в Москве и продолжал уже вместе с ним путешествие до Николаева и далее морем к Кавказским берегам. Пере-

* Далее в автографе зачеркнуто: имелось в виду место дежурного штаб-офицера в штабе 6-го пехотного корпуса; однако ж, предположение это не состоялось, и Голынский оставался еще некоторое время, хотя весьма неохотно на прежнем своем месте старшего адъютанта (1-го отделения) (*прим. публ.*).

писка моя с Горемыкиным поддерживалась по-прежнему весьма исправно. Он писал мне, что в продолжение долгого путешествия в одной карете с Е.А.Головиным, имел случай ближе узнать его и оценить высокие качества его ума и души. В последующих письмах Горемыкин сообщал мне сведения о событиях на Кавказе после моего отъезда из этого края, судьбы которого сделались уже близкими моему сердцу.

Первое время по возвращении в Петербург проводил я частью в штабе за новою должностью, частью в разъездах с визитами официальными и неофициальными. В том числе, конечно, посетил я дядю графа Киселева, у которого нашел и младшего его брата Николая Дмитриевича Киселева, только что приехавшего из Лондона. После увольнения бывшего посла нашего в Лондоне графа Поццо-ди-Борго, пост этот оставался некоторое время не замещенным и посольством заведывал Н.Д.Киселев в звании Chargé d'áffaires *; но в конце 1839 года, по случаю усложнений на Востоке, прислан был в Лондон с особым поручением барон Бруннов, который потом и остался там послом, а Н.Д.Киселев переведен прежним званием советника посольства в Париж, где послом был уже давно почтенный ветеран Отечественной войны граф фон дер Пален. Пока решался вопрос об этих перемещениях в нашем дипломатическом корпусе, Н.Д.Киселев воспользовался отпуском, чтобы побывать на родине, после трехлетнего отсутствия. Он прожил около месяца в Петербурге у старшего своего брата графа Павла Дмитриевича, а в половине мая посетил Москву, где редкие появления его составляли радостное в семье событие. Особенно старушка мать, Прасковья Петровна Киселева, после перенесенной тяжкой болезни, можно сказать, ожила при одной вести о приезде младшего ее сына. Семья Полторацких нарочно приехала из Твери на свидание с ним. Пробыв в Москве неделю, наш дипломат возвратился в Петербург и в конце мая отправился за границу на воды. В то же время и граф Павел Дмитриевич так же уехал за границу чрез Варшаву, где находился в то время Государь, и затем пользовался водами в Карлсбаде.

Сергей Дмитриевич Киселев в этом году приобрел небольшое подмосковное имение, которое назвал Елизаветино, по имени своей жены; он был весь погружен в заботы об устройстве своего нового летнего местопребывания. Бабушка Киселева и Нееловы опять провели лето на даче в Петровском парке.

Сестра моя Авдулина с мужем своим оставались еще в Москве. В новоприобретенном петербургском доме (на Английской набережной) производились переделки и приспособления к приему молодой четы; а потому выезд из Москвы откладывался до того времени года, когда можно было прямо переселиться на дачу (в Новой Деревне) и там выждать окончания работ в городском доме. Между тем в половине апреля скончался дед моего зятя в своем владимирском имении. По этому случаю Сергей Алексеевич Авдулин

* поверенного в делах (*пер. с фр.*).

ездил во Владимир, провел около двух недель со своими тетками; а на время его отсутствия сестра переселилась в отцовский дом. 28 мая Авдулины выехали из Москвы; на пути навестили в Тверской губернии родственные семьи Полторацких и Манзе и прибыли в начале июня на дачу в Новую Деревню.

С отъездом их из Москвы отец остался в грустном одиночестве. Мы с братом Николаем не раз поднимали вопрос о переселении его в Петербург с нашими меньшими братьями; но немыслимо было отцу покинуть то служебное положение, которое обеспечивало хотя бы в некоторой мере существование его и семьи, а вместе с тем доставляло пищу его деятельности, тогда как в Петербурге было бы не легко найти ему подходящее служебное положение.

Вскоре по приезде Авдулиных на петербургскую дачу, я должен был переселиться в Красное Село на время лагерного сбора, и тогда брат Николай, чтобы не оставаться снова в своем грустном одиночестве, также переехал на дачу к сестре. Здесь на чистом воздухе, в семейной обстановке, нашел он более выгодные условия, чтобы восстановить здоровье и разогнать хандру.

Пред наступлением лагерного времени начальник штаба Гвардейского корпуса генерал-лейтенант Веймарн (Петр Федорович) уехал в отпуск за границу; должность его исправлял младший брат его Иван Федорович; обязанности обер-квартирмейстера были возложены на полковника Фролова, за отсутствием полковника барона Ливена, находившегося в заграничной командировке. Капитан Теслев, лечившийся уже в прошлом году за границей, должен был снова взять продолжительный заграничный отпуск для лечения. Таким образом состав нашего штаба в этом году был малочисленный.

12 июня мы переместились в Красное Село. Я продолжал исправлять должность старшего адъютанта; но вместе с тем выезжал на учения и наравне с товарищами участвовал на маневрах. Лагерный сбор прошел благополучно. К 1 августа возвратился я в Петербург и свободное время от штабных занятий проводил у сестры на даче.

Служебные занятия в гвардейском штабе, так же как и вся жизнь петербургская, были мне не по сердцу, казались крайне бесцветными, бессодержательными, после годичного моего пребывания на Кавказе. Почти с первых же дней по приезде в Петербург овладело мною какое-то тяжелое чувство неудовольства самим собою и всею обстановкою. После моих прежних увещаний и проповедей брату Николаю и товарищу Горемыкину по поводу их жалоб на хандру, я сам начал поддаваться тому же безотчетному недугу. Видно, такова уже эндемическая болезнь петербургская. Отец в своих письмах давал мне разумные советы не поддаваться черным мыслям и довольствоваться тем положением, в которое поставила меня судьба; высказывал мысль, что лучше быть оптимистом и при всех невзгодах в жизни утешаться надеждами на будущее, чем пессимистом, ищущим во всем повода к мрачному

настроению. В этом отношении ставил он самого себя в пример. Но самые разумные доводы не излечивают той психической болезни, которая называется ипохондрией, а в просторечии — хандрою. Как ни старался я усердно заниматься своими новыми обязанностями по службе, не мог устранить сравнения их с прежнею деятельностью своею на Кавказе. В то время, как отец мой радовался тому, что предположение мое о переходе на Кавказ не состоялось, я, с своей стороны, все еще не покидал окончательно мечты о возвращении в тот край. В таком смысле я даже высказался в письме от 22 апреля полковнику Норденстаму, который в ответе своем (17 мая) писал: "Приезжайте, все будут от души рады вашему приезду, в том числе я первый душевно желал бы послужить с вами, лестно иметь такого подчиненного, как вы, и приятно иметь вас товарищем"[93].

Пока желания мои оставались только платоническою мечтою, я не переставал размышлять о кавказских делах и приступил к изложению своих мыслей относительно образа действий в том крае. Независимо от этой обширной работы, составил (в мае месяце) краткую записку по тому же предмету, собственно для товарищей, которые заинтересовались моими рассказами и суждениями о кавказских делах. В записке этой изложена была сущность моего взгляда. Исходною точкою — была та мысль, что принятая в то время система раздробления наших сил по всему обширному пространству края малыми частями, во множестве ничтожных укреплений и постов, большею частию даже не вполне обеспеченных от нападения непокорных горцев, ослабляла нас и не только не вела к положительным результатам, но даже представляла опасность при всяком неблагоприятном обороте дел. Предпринимаемые же по временам большие экспедиции в горы, стоившие огромных жертв, также не могли вести к *покорению* края; даже после успешных действий, отряд должен возвратиться из трудно доступных горных трущоб, оставляя за собою еще более озлобленное и враждебное население. По моему мнению, следовало изменить самую задачу нашу, поставив ближайшею целью действий не *покорение* горского населения, а занятие в крае такого положения, которое давало бы нам возможность *держать в повиновении* по крайней мере ближайшее, более доступное нам туземное население, стараясь затем исподволь умиротворить остальные, менее доступные племена. Для достижения такой цели предполагалось распределить наши силы более сосредоточенно, группировать их в некоторых значительных пунктах, откуда подвижные колонны могли бы во всякое время действовать в известном районе для поддержания в нем порядка и спокойствия. Стоя твердою ногою в среде доступного нам туземного населения, дав ему притом разумное, правосудное управление, мы получили бы возможность, даже не прибегая к оружию, постепенно привлечь к себе и более отдаленные, недоступные горские племена влиянием нравственным, выгодами торговли и промышленности. К записке моей была приложена карта с изображением примерного

распределения районов действия предположенных штаб-квартир, с расчетом требуемого числа и состава войск[94].

Записка моя в первое время имела общую судьбу всех подобных частных мнений и проектов относительно действий наших на Кавказе, то есть осталась без практических последствий. Впрочем, я и не придавал ей официального значения; давал прочесть только немногим лицам, относившимся с участием к делам кавказским, и потом отложил в портфель. Последовавшие события на Кавказе не замедлили подтвердить высказанные мною опасения; но вместе с тем дали делам такой оборот, что в течение многих лет нечего было и помышлять о введении какой-либо рациональной системы в наших действиях. Только гораздо в позднейшие времена, самою силою вещей, осуществились отчасти те основные мысли, о которых я мечтал в 1840 году; но уже при иных обстоятельствах и с несравненно большими средствами.

Вскоре после моего выезда из Ставрополя, в феврале и марте, когда корпусный командир находился еще в Петербурге, произошли на Кавказе неожиданные и весьма прискорбные события: на Черноморской береговой линии скопища горцев напали внезапно на наши укрепления, овладели тремя из них: фортом Лазаревым (только что возведенным в 1839 г.), Вельяминовским и Михайловским, разрушили их и истребили гарнизоны, а затем овладели еще фортом Николаевским на сообщении береговой линии с Кубанью. В закубанском крае утвердилась власть Магомет-Амина, а на левом фланге Кавказской линии, последствием нашей кровопролитной экспедиции к Ахульго и зимнего движения генерала Пулло по Чечне для сбора податей, было — не предполагавшееся падение Шамиля, а напротив того, усиление его и общее восстание всех чеченцев, не исключая даже и тех племен, которые давно уже считались мирными: карабулаков, галашевцев и других. Аулы над-сунженские, чрез которые еще так недавно проезжал я с небольшим конвоем из местных жителей, ушли со своих мест; Чиркей и все селения салатавские открыто передались Шамилю; опасность угрожала владениям шамхала, Кумыкской равнине и самой линии.

По Высочайше утвержденному на 1840 год плану действий, полагалось предпринять экспедиции несколькими отрядами: на Черноморской береговой линии произвести высадки, опять под начальством генерала Раевского, для восстановления взятых и уничтоженных горцами фортов, а также для улучшения обороны прочих пунктов линии. На правом фланге Кавказской линии, отряду генерал-лейтенанта Засса предназначено было приступить к устройству Лабинской линии и наказать племена, участвовавшие в недавних нападениях на наши укрепления. На левом же фланге линии сильный отряд генерал-лейтенанта Галафеева назначался для возведения укреплений: одного — в Герзель-ауле (у подножия Качкалыковского хребта), для прикрытия Кумыкской равнины, а другого — при Чиркее; но вследствие изменившегося положения дел, отряду

этому пришлось в продолжение всего лета и осени только охранять то одну, то другую часть края от дерзких и, к сожалению, удачных набегов Шамиля.

Генерал Головин в начале мая прибыл в Феодосию, в то самое время, когда десантные войска уже готовы были к посадке на суда. Для действий на береговой линии назначена была 15-я пехотная дивизия, при содействии всех средств Черноморского флота. 10 мая произведена почти беспрепятственно первая высадка при устье Туапсе, в присутствии корпусного командира, а 22 числа — другая при устье Псезуапе; в обоих пунктах восстановлены прежние форты: Вельяминовский и Лазарев. Генерал Головин, осмотрев некоторые другие пункты береговой линии, проехал в Тифлис. Постоянно сопровождавший его Горемыкин описывал мне печальное положение виденных им укреплений. Он писал, что путешествие принесло заметную пользу его здоровью; но что хандра, от которой он убежал из Петербурга, возвратилась к нему с прибытием в Тифлис, где он жил без дела, ожидая с нетерпением от гвардейского начальства разрешения принять участие в военных действиях которого-либо из отрядов на линии. Он прислал мне докладную записку по этому предмету и письмо для передачи генералу Веймарну; в то же время пришло и письмо самого генерала Головина[95]. Горемыкин имел сильное желание принять хоть раз в жизни участие в военных действиях, считая это необходимым как для дальнейшего его служебного поприща, так и, в особенности, по званию преподавателя тактики в Военной Академии. Такие побуждения казались вполне законными и похвальными, даже и в том случае, если б за ними скрывались в некоторой мере виды честолюбия. Однако ж, при всем благосклонном расположении начальства к Горемыкину, на просьбу его последовал решительный отказ со стороны Великого Князя Михаила Павловича, что глубоко огорчило бедного моего друга. Он покорился смиренно своей судьбе, провел часть лета в Пятигорске, а в августе уехал с Кавказа; на пути останавливался на несколько дней в Москве (где виделся с моим отцом) и потом до истечения срока отпуска, то есть до 1 октября, прожил в имении отца своего, в Боровичском уезде Новгородской губернии. Эта жизнь в глуши, в бездействии, не могла, конечно, способствовать излечению от преследовавшей его хандры. Во всех письмах ко мне он не переставал жаловаться на свое мрачное настроение.

Имея пред своими глазами пример моего товарища Горемыкина, а также и брата Николая, я чувствовал, что и мне не миновать такой же печальной участи, оставаясь долго в тлетворной петербургской атмосфере. Чтобы не дать развиться психическому недугу, я находил необходимым прервать его крутою мерою — переменою самих условий жизни, вырваться хотя бы на время из Петербурга. Мне пришла мысль — просить о продолжительном отпуске за границу. Замысел был смелый: известно, как неблагосклонно смотрела в то время высшая власть на заграничные поездки; они допускались не

иначе, как с Высочайшего соизволения; особенно редко разрешались военным офицерам. Но я позволял себе надеяться на исключительную в отношении ко мне снисходительность начальства, во внимание к расстроенному моему здоровью, вследствие выдержанных в прошлом году трудов, раны и болезни. Путешествие за границу казалось мне лучшим средством для достижения двойной цели: исцеления немощей как телесных, так и душевных. Только оно могло дать моим мыслям новое направление; оно вместе с тем открывало для моей любознательности новый, широкий горизонт. Наглядное ознакомление с Европою несомненно обещало большую пользу для моего развития.

Об этом плане своем я сообщил отцу вскоре после окончания наших красносельских мытарств; но ответ его был не совсем ободрительный: он выражал сомнение в согласии начальства на продолжительный отпуск за границу, опасение невыгодных последствий для моего служебного положения; наконец — недоумение насчет денежных средств, потребных для задуманного путешествия. Однако ж, я нашел возможность преодолеть все эти затруднения: со стороны финансовой я рассчитывал на получение платы за прежние мои работы для разных изданий, на сумму, вырученную от продажи верховой лошади, которую Горемыкин пожелал получить обратно за уплаченную мною цену; затем на пособие, ежегодно выдаваемое офицерам нашего штаба после лагерного сбора и т.д. Что касается до других предполагаемых затруднений, именно со стороны начальства, то я возлагал надежды на благосклонное ко мне отношение генерала Веймарна (Ивана Федоровича). Все дело заключалось в получении медицинского свидетельства от тогдашнего главного военно-медицинского инспектора барона Вилье. Когда явился я к нему и объяснил мои недуги, старик в первую минуту жестоко озадачил меня, объявив, что для исцеления моего никакой надобности в заграничной поездке не видит; однако ж, потом смиловался и выдал мне желанное свидетельство в том, что здоровье мое потребовало провести осень и зиму в теплом климате, а с наступлением лета пользоваться Аахенскими или другими минеральными водами, по усмотрению местных врачей. С этим свидетельством в руках обратился я к генералу Веймарну, со стороны которого не встретил никаких возражений; он тем охотнее согласился на мою просьбу, что и сам собирался ехать со своею семьею за границу. Приказом 19 сентября я уволен в 10-месячный заграничный отпуск, притом с получением за это время содержания и с выдачею заимообразно 1500 рублей из особого "вспомогательного офицерского капитала" гвардейского штаба на шестилетний срок.

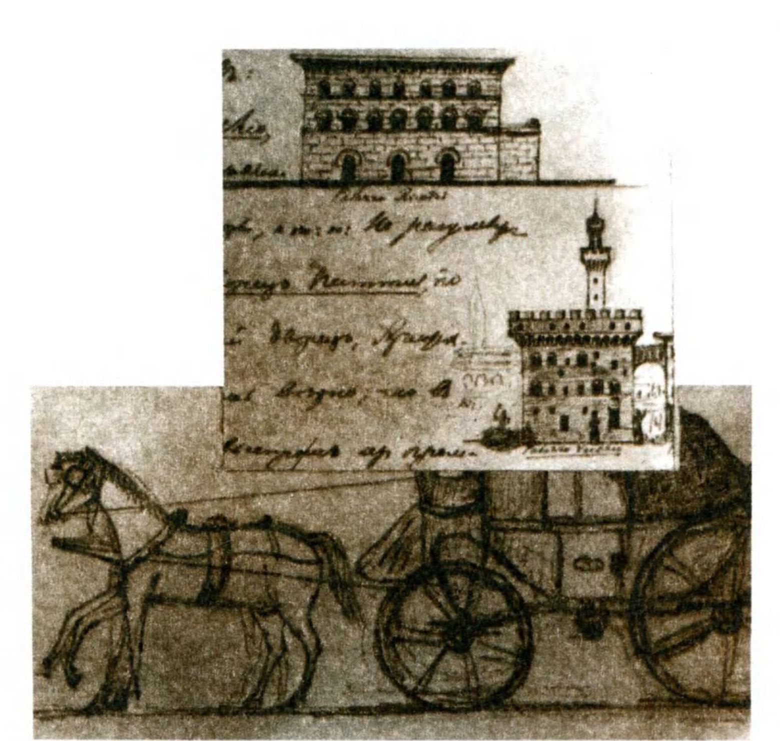
Узнав о таком удачном обороте дела, отец мой, в письме от 13 сентября, выразил сожаление о том, что в предшествовавших своих письмах напрасно отклонял меня от моего плана; он даже нашел возможным, совершенно для меня неожиданно, прислать мне 1000 рублей в подкрепление моих денежных

средств на путешествие. Таким образом, с финансовой стороны я считал себя совершенно обеспеченным.

Начальство мое, разрешая мне просимый отпуск, поставило однако же условием, чтобы до отъезда своего я отбыл осенние маневры, предстоявшие еще в исходе сентября. По расписанию офицеров Гвардейского генерального штаба я назначен был старшим офицером в отряд Великого Князя Наследника Цесаревича (Александра Николаевича), которому по плану маневров предназначалось наступать от Петербурга к Царскому Селу и Павловску. Погода в то время была отвратительная, какая бывает обыкновенно в Петербурге в глубокую осень. После беспрерывного дождя в первые два дня, в ночь пред третьим, последним днем маневров, когда отряд наш уже подступил к Царскому Селу, температура понизилась ниже точки замерзания, и мы, промокшие до костей, вдруг обледенели. Наступившее затем утро было ясное и морозное. Отряд Наследника Цесаревича стройно и бодро повел атаку на Царское Село, и здесь у самых ворот Царского местопребывания маневр был прекращен. Государь остался весьма доволен, и я с своей стороны получил личное изъявление благодарности от моего временного Августейшего начальника. Это был второй случай (после выпускного экзамена в Военной Академии), что я удостоился внимания будущего Императора Александра II.

На другой же день по окончании маневра, я распростился с начальством, родными, товарищами, а 28 сентября покинул Петербург.

Книга 3
1840–1843



ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ГРАНИЦУ
1840—1841

Германия

Италия

Франция

Англия

Бельгия и Голландия

На Рейне

Швейцария и Северная Италия

Придунайские страны

Возвращение восвояси

На распутье
1841—1843

ГЕРМАНИЯ

В 3 часа пополудни 28 сентября отчалил от Английской набережной пароход, доставивший меня в Кронштадт, где я пересел на большой, заграничный пароход "Наследник", ходивший еженедельно между Кронштадтом и Травемюнде (близ Любека). В ночь снялись мы с якоря. В первый день плавание наше по гладкой водной поверхности, в прекрасную погоду, было весьма приятно, хотя немногочисленное общество на пароходе было совсем не занимательно. Со второго же дня началась качка, которая постепенно все усиливалась, и на третий день море уже так расколыхалось, что почти все пассажиры, кроме только двух англичан, не показывались более на палубе. Мне в первый раз довелось испытать то отвратительное состояние, которое называется морскою болезнью; я давал себе зарок никогда впредь не предпринимать морских путешествий, зарок, который забывается с первым шагом на твердую землю.

Мучительное наше плавание длилось ровно четверо суток. Только в полночь со 2-го на 3 октября (старый стиль), к общей радости пассажиров, пароход причалил к берегу у Травемюнде. Едва начало светать, я поспешил сойти с парохода, чтобы скорее взглянуть на первый лежавший на моем пути немецкий городок. Быстро обошел я немногие его пустынные улицы, еще погруженные в глубокий сон. Несмотря на то, скромный этот городок, оживающий только во время съезда на морские купания, произвел на меня приятное впечатление и показался мне очень "gemüthlich"*. Да и могло ли быть иначе? В отечестве своем оставил я глубокую осень, дождь, перемежавшийся со снегом и морозом, слякоть, оголенные деревья; здесь нахожу густую листву на окаймляющих набережную липах и каштанах, везде чистоту, опрятность. Возвратившись на пароход, я с нетерпением ожидал экипажей, которые должны были доставить пассажиров в Любек, отстоящий от Травемюнде всего на 2 мили (14 верст). Экипажи эти были — простые, запряженные парою крупных лошадей фуры, с подвешенными сидениями. В такой экипаж уселся я с тремя другими спутниками и доехал не спеша до Любека к 10 часам утра. Переезд этот, в прекрасную погоду, показался мне приятною прогулкою; по дороге все удивляло меня своею новизною: и опрятность в деревнях, и общий вид довольства, и добропорядочность обывателей в их одежде, в их повозках и лошадях, и тщательная обработка полей, и отличные дороги, и т.д., и т.д. На каждом шагу бросалось в глаза что-нибудь, возбуждавшее во мне грустные сравнения с родиной. С первого шага на германскую почву понял я, насколько наша бедная Россия еще отстала от Западной Европы, и задавал себе вопрос:

*уютный (*пер. с нем.*).

если подобная мысль возникла при виде такой части Германии, которая считается наименее одаренною от природы, то чего же могу ожидать в других странах Европы, пользующихся наиболее выгодными условиями естественными?]

Первые испытанные мною впечатления в то утро были до того сильны, что в моем дневнике путешествия посвящено было двухчасовому переезду из Травемюнде в Любек 12 страниц мелкого письма in folio. Впрочем, и во все продолжение своих странствований я вел дневник с педантическою отчетливостью, занося в него мельчайшие подробности всего, что удавалось мне видеть и узнавать в это первое мое знакомство с Европой[96].

После Травемюнде, конечно, еще более произвел на меня впечатление Любек — первый виденный мною немецкий город, сохранивший старинный, средневековый облик*. Осмотрев собор, некоторые другие церкви, ратушу, базар и отобедав за общим столом в гостинице "Fünf Thürme"**, я отправился вечером того же дня далее, в Гамбург, с теми же тремя пассажирами парохода, с которыми ехал до Любека. Вчетвером наняли мы крытую коляску (т.е. с фордеком), на

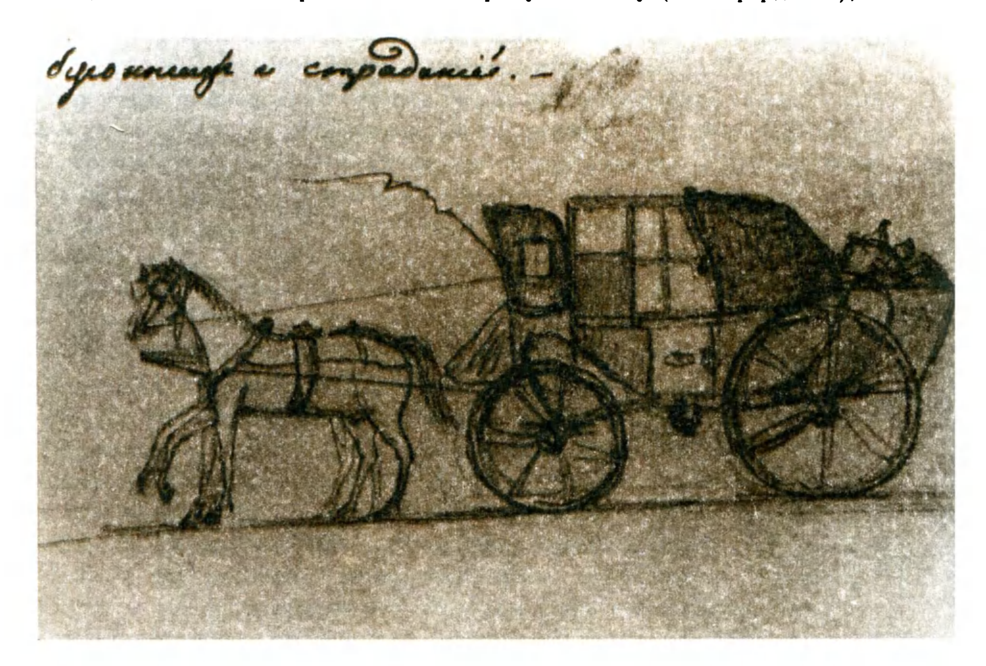


Рисунок из путевого дневника. Германия

---

* Далее в автографе зачеркнуто: хотя нечто похожее видел я в Нарве (других городов нашего Прибалтийского края еще не случалось мне видеть), однако ж Любек поразил меня своею официальностью (*прим. публ.*).

** "Пять башен" (*пер. с нем.*).

Рисунок из путевого дневника. Германия

паре лошадей. Всю ночь тащились в тесном нашем экипаже по плохой дороге (в датских владениях), с беспрестанными остановками, то для уплаты шоссейного сбора (там, где было шоссе), то на таможенных заставах, то у шинков, которых не пропускал наш возница. Добрались мы до Гамбурга (10 миль = 70 верст) в 9-м часу утра 4/16 октября.

Несмотря на дождливую погоду, можно было с первого взгляда заметить, что Гамбург — не чета Любеку. И тогда уже некоторая часть его имела характер города нового, с прямыми широкими улицами, большими красивыми домами, прекрасными скверами и бульварами. Я остановился в "Hôtel de St. Pétersbourg" и в то же утро пошел отыскивать некоего Herr Andre Matthiesen, к которому имел рекомендательное письмо. Это был молодой человек, переселившийся в Гамбург из России и хорошо говоривший по-русски. Я нашел в нем весьма любезного собеседника и полезного проводника; он помог мне в заказе штатского платья и в разных мелких покупках. С его же помощью я скоро ознакомился с городом; он объяснял мне устройство правления вольного города, его войск и народной гвардии, его нравы и развлечения.

Гамбург славился удобствами жизни, нестрогою нравственностью и прихотливою кухнею. В течение проведенных там шести дней я имел довольно времени для наблюдения, бродя среди гуляющих по Юнгферштиху, или заглядывая в "Alster-Halle" и другие подобные же "Halle", как в городе, так и за городом, где большинство обывателей вольного города проводит вечера за кружками пива; заглянул и в датское предместье Альтону; испробовал тонкие обеды в Hôtel de Paris, в Hôtel du Belveder; был в опере, даже на "разводе" гамбургских войск; видел процессию — "Fakelzug", по случаю празднования годовщины Лейпцигского сражения[97], и присутствовал раз на публичном бале в увеселительном заведении "Peter-Arens". На одном из публичных гуляний случилось мне видеть две современные знаменитости Германии: Гейне и Гуцкова. Вообще Гамбург показался мне очень оживленным центром торгового и финансового мира.

9/21 октября, справив окончательно все свои закупки и заказы*, вечером выехал я из Гамбурга в почтовой карете (Schnell Post), вместе с новым моим знакомым Матисеном и с одним из прежних петербургских спутников Криницыным. Огромная карета, запряженная четверкою лошадей цугом, с 8-ю пассажирами (не считая кучера), грузным багажом и почтою, совершала замечательно исправно рейсы между Гамбургом и Берлином, на расстоянии 40 миль (280 верст) в 33 часа, со включением продолжительной остановки на прусской таможне. Я занял место в переднем открытом купе рядом с почтальоном и, несмотря на ненастную погоду, остался вполне доволен удобством переезда. 11/23 числа, часов в 6 утра, въехали мы Бранденбургскими триумфальными воротами в столицу Прусского королевства. Мне казалось, будто я въезжаю в Петербург; побелевшие крыши домов от выпавшего ночью снежка еще более напоминали мне родину. Однако ж, лишь только вошел в гостиницу (Hôtel de Russie), где нашел порядок, опрятность, всякие удобства, я почувствовал, что нахожусь в благоустроенной Германии.

В то же утро явился я к нашему посланнику барону Мейендорфу и к военному агенту генералу Мансурову. Насколько первый принял меня сухо, настолько же второй — любезно. По совету их, я расписался у берлинского генерал-губернатора барона Мюфлинга и у коменданта, а затем, по полученному в посольстве указанию, пошел отыскивать проживавших в Берлине наших двух артиллерийских офицеров: Крыжановского** и Лаврова, которые, по заведенному тогда порядку, были командированы за границу для усовершенствования в военных науках. Встреча с этими земляками была, конечно, весьма для меня приятна; в течение шести дней, проведенных мною в Берлине, мы беспрестанно сходились и проводили время в товарищеской беседе. С ними

* В Гамбурге я был удивлен замечательною дешевизной всех предметов.

** Николай Андреевич, будущий генерал-адъютант и оренбургский генерал-губернатор.

ходил я обедать в рестораны, а по вечерам в театр, в оперу или на французские пьесы. Представления начинались в 6 часов и обязательно прекращались прежде 9-ти, так что вечер заканчивался обыкновенно в каком-либо из многочисленных "Káffeehaus" или "Halle". Раз приглашен я был на обед к посланнику: этот обед с чопорною хозяйкою и некоторыми из принадлежавших к посольству молодых дипломатов навел на меня тоску. Почти во все пребывание мое в Берлине погода стояла осенняя, холодная, часто дождливая — точь-в-точь петербургская. Несмотря на то, каждый день осматривал я добросовестно все городские достопримечательности: музей, кунсткамеру (в королевском дворце), арсенал, собрание моделей крепостей и городов, ездил в Потсдам по железной дороге, которая опять напоминала мне нашу Царскосельскую. Берлин в то время только что отпраздновал коронацию нового Короля Фридриха-Вильгельма IV, так что я застал еще на некоторых площадях и улицах следы бывших торжеств; но в городе уже водворились обычная тишина и безжизненность, которые в особенности были мне заметны по сравнению с кипучею жизнью Гамбурга.

В Берлине не удалось мне видеть прусские войска в строю. Встречавшиеся одиночные солдаты напоминали наших кантонистов. Что касается офицеров, то они, при всей своей смешной чопорности, натянутости, педантизме, отличались и тогда, по словам моих соотечественников, примерною добросовестностью в службе и основательною подготовкою к своему ремеслу. В этом отношении сравнение их с нашими молодыми офицерами, к сожалению, было не в нашу пользу*.

Из числа чинов Русского посольства в Берлине, познакомился я на обеде у посланника с первым секретарем Озеровым, который вручил мне лежавшее в канцелярии письмо на мое имя. Оно оказалось от моего товарища Теслева, который лечился в водолечебном заведении в Бопарде на Рейне, близ Кобленца. Узнав из писем петербургских товарищей наших о моем отъезде за границу, он писал мне (2/14 октября), что желал бы съехаться со мною и вместе провести зиму в Италии. Это было уже вторичное его послание: первое, от 14/26 сентября, где-то застряло и дошло до меня только позже в Вене. Само собою разумеется, что я весьма обрадовался полученной вести от хорошего товарища и поспешил отозваться сочувственно на его привет, предложив ему съехаться нам в Вене или в Мюнхене.

16/28 октября, распростившись с посланником, с генералом Мансуровым и моими приятелями-артиллеристами, выехал я из Берлина в 8 часов вечера в почтовой карете ("Schnell Post") в Лейпциг, куда прибыл в 2 часа пополудни следующего дня, и немедленно пошел осматривать город. Центральная часть его, окруженная бульварами, имеет характер старых немецких городов; это общий

---

*Далее в автографе зачеркнуто: невольно зарождалось сомнение: могла ли бы наша армия, при тогдашнем личном составе, успешно выдержать состязание с немецкими войсками? (*прим. публ.*).

Костюмы немецких студентов

европейский склад книжной торговли. Множество книжных лавок и типографий придает этой части города специальную физиономию. В одной из бывших крепостных башен устроена обсерватория, с которой мне показали в телескоп все поле сражения 1813 года; смотритель обсерватории, очевидец знаменитого боя, рассказывал подробно весь ход его. Вдали ясно виден Люцен с его готическими башнями — также классический пункт военной истории[98]. Затем пошел я за город, осматривал берега речки Эльстер, знаменитый мост, чрез который отступала разбитая армия Наполеона, и то место, где утонул князь Понятовский. У самого моста поставлен ему памятник и тут же, в небольшом домике, хранятся разные предметы, напоминающие о польском генерале — племяннике любимца Екатерины II, возведенного ею на Польский престол.

От Лейпцига до Дрездена существовала уже железная дорога, на протяжении 12 $^1/_2$ миль (около 87 верст). Чтобы лучше осмотреть местность на пути, я взял место 3-го класса, то есть на открытой платформе. Погода была прекрасная, очень теплая; я мог вдоволь любоваться живописным, густонаселенным краем, исправностью и порядком службы на железной дороге. Выехав из Лейпцига в 6 часов утра (18/30 октября) я был уже в 9 $^1/_2$ часов в Дрездене. С первого же взгляда небольшой этот город произвел на меня самое приятное впечатление. Остановился я в самом центре города, на Alt-Markt*, в Hôtel d'Europe, и в то же утро поспешил отыскать жившего в Дрездене, по болезни, товарища моего по артиллерии Чарыкова. Узнав, к крайнему сожалению, что он уже выехал в Италию, я горевал, что мне придется провести несколько дней в полном одиночестве в незнакомом немецком городе. Зато как возрадовался я на другой лень, когда, посетив нашего посланника Шредера и советника посольства Рихтера, узнал от них, что в Дрездене проживает бывший профессор князь Николай Сергеевич Голицын**. Конечно, я не замедлил отыскать его, оба мы очень обрадовались неожиданной встрече; он познакомил меня с милою, доброю его женою, и во все время моего пребывания в Дрездене виделись мы ежедневно. Особенно было мне приятно проводить у них вечера: сидя за круглым столом, около самовара, я мог воображать себя на родине. Еще проживал в Дрездене прежний мой начальник — генерал-адъютант С.П.Сумароков; но мне не удалось с ним видеться, по причине его болезни.

В Дрездене, так же как и во всех городах, где останавливался, я осматривал добросовестно все достопримечательности: и знаменитую картинную галерею, и музей, известный под именем "Grüne Gewölbe"*** и арсенал в Цвингере и прочее. Везде за вход установленная плата, довольно накладная для кармана одиночного туриста; поэтому заведен был такой порядок, что Lohn-Diener**** собирал по несколько любопытных и водил их целыми группами. Такая совместная прогулка с неизвестными спутниками доставила мне случай сойтись с одним русским — уланским офицером Вальтером, с которым потом мы предпринимали вместе и некоторые экскурсии за город.

Вообще Дрезден показался мне городом приятным, как по местоположению, так и по образу жизни, тихому и патриархальному. День начинался уже с 7 или 8 часов утра; обед за общим столом в гостинице — в 1 час дня; начало театральных и всяких других представлений — в 6, даже в 5 часов, а

---

* Старом рынке (*пер. с нем.*).

** Князь Голицын еще в сентябре 1838 года заступил место генерала барона Медема на кафедре стратегии и военной истории, тогда же адъюнктом по этой кафедре поступил капитан Модест Ив<анович> Богданович. Князь Голицын, по расстроенному здоровью, получил отпуск за границу в октябре 1839 года; но выехал из Петербурга только в январе 1840 года.

*** "Зеленый свод" (*пер. с нем.*).

**** проводник (*пер. с нем.*).

в 10 часов вечера весь город уже покоился безмятежным сном. В воскресный день спокойный и тихий город оживляется, все население выползает на улицу и наполняет разные Kaffee Haus и Halle, преимущественно загородные. Подобных заведений очень много, в особенности по берегам живописной Эльбы. Я полюбопытствовал заглянуть в некоторые из них: в воскресение, после обеда, отправился пешком за город в толпе горожан, направлявшихся в одно из значительнейших заведений такого рода, верстах в 3-х от города, известное под именем прежнего владельца "Findletter". Войдя в огромную залу, едва я мог разглядеть в густом облаке дыма сидевших за бесчисленными столами посетителей с кружками пива или чашками кофе. Такие же столики расставлены были и на террасе, с которой можно любоваться живописным видом долины Эльбы. Много было семейных групп, даже с детьми; все чинно и спокойно; на всех лицах читалось чувство довольства.

В то же воскресенье утром прослушал я, вместе с князем Голицыным, обедню в придворной католической церкви. Это было нечто более похожее на концерт, чем на богослужение: полный оркестр аккомпанировал пение превосходного хора, в котором, однако же, дискантные голоса кастратов производили не совсем приятное впечатление. Публика была рассажена, как в концертном зале, а в королевской трибуне (или ложе) сидела вся семья королевская. При Дворе Саксонском соблюдался весь старинный, напыщенный этикет; громадные желтые кареты придворные запряжены четверкою цугом, с тремя лакеями на запятках в светло-гороховой ливрее, треугольных шляпах и напудренных париках. В вечернее время впереди экипажа едет верховой с факелом.

В тот же день после обедни имел я случай видеть пред дворцом смену караула от гвардейского пехотного полка, составленного из рослых и красивых людей, в затейливом наряде: красных мундирах с желтыми отворотами, такими же воротниками, в голубых панталонах, огромных меховых шапках и с амуницией из светлой, натурального цвета кожи.

В один из последних дней моего пребывания в Дрездене, утром, отправился я с Вальтером за город пешком, чтобы осмотреть поле сражения 1813 года[99]. Исходив местность, имевшую наиболее значения в бою, мы взошли на возвышение, на котором сооружен памятник генералу Моро, убитому тут на глазах Императора Александра I. С этого пункта открывается обширный и живописный вид на всю окрестность Дрездена.

Остается упомянуть о посещении оперы во временном тесном и плохом помещении придворного театра. Новое обширное здание театра, хотя уже отстроенное, не было еще отделано внутри.

Пользуясь стоявшею превосходною погодою, я предпринял опять вместе с Вальтером поездку в так называемую Саксонскую Швейцарию. Подрядили мы для этого коляску парой, проводника (Lohn Diener) и выехали из Дрездена рано утром 23 октября (4 ноября) по дороге вдоль Эльбы до Пильница —

летнего местопребывания королевского семейства. Бросив беглый взгляд на тамошний дворец, мы продолжали путь влево от Эльбы до деревни Uttewalde, где оставили экипажа, и с увлечением пустились пешком странствовать по причудливой гористой местности, изрытой глубокими оврагами, пропастями, трещинами, между фантастическими силуэтами обрывистых вершин известковых гор. Взятый нами опытный проводник был мастер своего дела: в течение двух дней мы с ним исходили все эти трущобы; взбирались на все "points de vue"*, откуда туристы любуются живописными видами, восхитительными даже для того, кто видал уже немало чудесного в горах Кавказских. Саксонская Швейцария, конечно, не имеет ничего общего с большими горами альпийского характера; стоит только с любой из ее вершин окинуть глазом эту своеобразную страну, чтобы заключить, что вся обширная котловина Богемии некогда составляла большое внутреннее озеро, из которого воды, веками просачиваясь сквозь известковые горы, промыли себе путь к морю и образовали нынешние Эльбские ворота, избороздив всю прилегающую к ним местность справа и слева в виде колоссальных рытвин.

В Саксонской Швейцарии, так же как и в других замечательных местностях культурной Европы, турист находит все желаемые удобства и облегчения для осмотра края сравнительно в короткое время и без значительных издержек: на всех points de vue устроены площадки с перилами, скамейками, вблизи чистенькие домики, где можно отдохнуть и напитаться; трудные места дороги обделаны в виде ступеней, а где можно, проложены дороги и для колесной езды. Кажется, что употреблены все искусственные средства для того, чтобы привлечь большую массу туристов, имена которых заносятся в книги, или увековечиваются на скалах, скамьях и т.д.

В первый день, начав наше пешеходное странствование с глубокого оврага Utterwalde, мы поднялись на вершину Bastei, откуда открывается один из лучших видов во все стороны, а вблизи торчат на обоих берегах Эльбы два громадные утеса Кенигштейн и Лилиенштейн, как два сторожа Эльбских ворот. На Бастеи нашли мы весьма комфортабельный приют и сытный обед. Затем спустились в другой, не менее первого глубокий овраг Rathewalde, и чрез городок Hohnstein опять поднялись на возвышенную точку Brand, с которой спустились в овраг Lachst. Здесь нашли свой экипаж, выехавший туда кружным путем. Утомленные целым днем хождения по горам, мы рады были доехать спокойно по берегу Эльбы до городка Шандау, где и остались на ночлег.

На второй день странствования, выехали мы до свету по Керницкому ущелью (Kernitz) и, отъехав верст восемь, снова пустились пешком в самые трущобы. Начав с причудливой скалы Kuhstall, поднялись не без труда на вершины малого и большого Винтерберга, с которых спустились к другой скале Prebischthor — не менее странной формы, чем Kuhstall. По весьма кру-

* Здесь: "точки обозрения" (*пер. с фр.*).

тому спуску сошли наконец к самому берегу Эльбы у Hernickretschen, где сели в лодку и, спустившись по реке до Шандау, вышли на левый берег реки, насупротив этого местечка. Там уже ждал наш экипаж, в котором доехали до Кенигштейна. Крепость эта считалась тогда недоступною цитаделью Саксонии; в ней предполагалось, в случае войны, хранить все государственные драгоценности и архивы. Действительно, она замечательно сильна как по местности, так и по фортификационным сооружениям. Верхняя площадка горы высится в виде отвесной со всех сторон скалы, на которую ведет одна только крутая апарель, обстреливаемая перекрестным огнем в несколько ярусов. Мы доехали в экипаже до подошвы верхней скалистой части горы, а далее должны были взбираться пешком. В самую крепость впустили нас по предъявлении билета, полученного из Военного министерства, но все-таки показали нам далеко не все, что хотели бы видеть*.

Был уже 5-й час вечера, когда мы спустились с крепости и сели в экипаж для возвращения в Дрезден. Эти два дня странствования по Саксонской Швейцарии оставили в моей памяти много приятных впечатлений и заняли в моем дневнике целых 36 страниц in folio.

25 октября (6 ноября) выехал я из Дрездена в Прагу. В почтовой карете нашел я одного только спутника, который, к большому моему удовольствию, оказался русским: это был Измаил Иванович Срезневский, уже тогда известный как ученый-славист[100]. Встреча с ним дала мне случай многое узнать о тогдашнем стремлении чешских ученых к возрождению чешской литературы и национальности; о противодействии австрийского правительства, смотревшего ревниво и недоверчиво на возникавшие связи чехов с Россией. Скоро и мне довелось видеть притеснительные порядки австрийской администрации, начиная с таможни, которая подвергла строжайшему осмотру чемодан Срезневского; имевшиеся у него книги и бумаги были запломбированы для предъявления в пражскую цензуру. Расставшись с саксонскою просторною каретою и желтым почтальоном в огромных ботфортах, мы пересели в тесную австрийскую карету, набитую битком пассажирами. Наступившая темнота помешала мне видеть самые любопытные для меня местности нашего пути — поле Кульмского сражения[101], Теплиц, крепость Терезиенштадт и прочее.

Въехав в Прагу в 8 часов утра 26 октября (7 ноября), мы с Срезневским остановились вместе в гостинице "Zum schwarzen Ross", и в то же утро отправились в Национальный музей, к знаменитому Ганке, с которым Срезневский уже был знаком. Чешский ученый принял нас очень любезно, говорил с нами по-русски совершенно свободно и затем повел нас по залам музея, показывая с любовью библиографические редкости: в заключение подарил мне экземпляр только что изданного им сборника чешских песен. Тут же в

* Далее в автографе зачеркнуто: Крепость эта так заинтересовала меня, что все виденное мною было занесено в дневник на целых 9 страницах (*прим. публ.*).

музее встретил я и Шафарика, с которым, однако ж, не мог говорить по-русски. Впоследствии он сам приходил к нам и поручил мне отвезти его письмо к Струве — советнику посольства нашего в Вене.

В Праге провел я три дня, почти неразлучно с Срезневским. Он водил меня по городу, показывал все достопримечательности и лучшие виды. С ним же слушал я Немецкую оперу (давали "Гугенотов", переделанных согласно условиям австрийской цензуры в "Gibellinen in Risa"); в другой вечер мы оба, вместе с Ганкою, были в Национальном чешском театре, в котором давали Раупахову драму в переводе — "Robert Dàbel". С таким чичероне, как Срезневский, мне было вдвойне занимательно осматривать остатки старины в столице Чехии. Прага не только любопытна по историческим воспоминаниям, но и живописна, со своим Кремлем (Градчином), высящимся над всем городом, с множеством церквей, башен, старинных зданий. Впрочем, город не оживлен, пуст; на всяком шагу встречаются монахи, статуи святых, распятия; все носит внешние признаки господства католицизма и иезуитов.

28 октября (9 ноября), после обеда, выехал я из Праги в Post-Eilwagen* по дороге в Вену. Переезд этот, продолжавшийся полтора суток (две ночи) дал мне случай заметить, насколько тамошний край отстал в культурном отношении от Северной Германии. Несмотря на живописную волнистую местность, все здесь напоминало мне нашу матушку Россию: и плохая дорога, и плохое устройство почты, и плохие лошаденки в плохой сбруе, и неряшество почтальонов, и грязные деревеньки с низенькими домишками, и т.д. Женский костюм также очень напоминал мне наших русских баб. Все виденное на этом переезде навело меня на грустные сравнения славянской расы с немецкою.

30 октября (11 ноября), в 6 часов утра, дилижанс наш остановился у Венской заставы, где уже толпился народ и стояло много повозок в ожидании пропуска. Здесь все привозимое в город подвергалось строгому досмотру; от пассажиров отбирались паспорта; каждый приезжай *обязывался* в течение первых суток явиться лично в полицейское управление для получения особого билета на жительство (Aufenthalts-Scheine); притом паспорта иностранцев предъявлялись в подлежащее посольство для визирования и удерживались в полиции до выезда из Вены. Эти полицейские и таможенные формальности в Австрии были чрезвычайно неприятны для путешествующих: кроме большой траты времени, приходилось везде давать взятки бесчисленным чиновникам и смотрителям, большею частью оборванным и грязным. По приезде в Вену я остановился в центре городам в гостинице "Zum weissen Wolfe", и все утро провозился в полиции и таможне. Раздраженный всеми мытарствами австрийской администрации, я был вдобавок разочарован в своей надежде найти в канцелярии Русского посольства письма из России. Вот уже целый месяц прошел с моего выезда из Петербурга, и с тех пор никаких известий от своих.

* почтовый дилижанс (*пер. с нем.*).

Чиновники посольства, к которым я обратился, приняли меня очень сухо, как будто какого-то назойливого просителя, и с трудом я мог получить сведения о проживавших в Вене соотечественниках. В показанном мне списке не оказалось ни одного знакомого имени, и мне сделалось невыразимо грустно очутиться в полном одиночестве, среди большого города, где я намеревался пробыть несколько долее, чем в других городах. На меня нашла такая тоска, что я готов уже был отказаться от дальнейшего путешествия и возвратиться восвояси. Вечером, чтобы развлечься, пошел я в театр у Каринтийских ворот, и встретив там одного из пассажиров парохода "Наследник", американца, обрадовался даже ему, как будто давнишнему знакомому. Он также рад был найти компаньона для прогулок по незнакомому городу; так же как и я, он не говорил по-немецки.

Однако ж на следующий день, придя на почту, нашел я письмо Теслева, который извещал меня из Бопарда, что съедется со мною в Мюнхене с тем, чтобы вместе путешествовать по Италии. Известие это значительно ободрило меня: итак, я обеспечен на предстоявшее мне странствование от грустного одиночества. Затем в Русском посольстве, за невозможностью представиться самому послу Татищеву, я познакомился с советником посольства Струве, передал ему письмо Шафарика и узнал, что в тот же день отправлялся курьер в Петербург. С радостью воспользовался я случаем для пересылки обоих писем брату Николаю и товарищу Голынскому.

Прожив в Вене девять дней, я все-таки не дождался никаких известий от своих. В грустном расположении духа, бродил я по городу, осматривал его достопримечательности: картинную галерею в Бельведере, любопытный анатомический музей в Медико-хирургической академии, некоторые церкви, как то: Собор Св.Стефана, Августинскую с знаменитым надгробным памятником работы Кановы, Капуцинскую со склепом Императорской фамилии. В хорошие дни гулял в Пратере, или по бастионам бывших укреплений, обращенных в бульвар; по вечерам же посещал театры, преимущественно оперу. Венская опера была великолепна; и здесь попал я опять на "Гугенотов" (под псевдонимом "Die Welfen und Gibellinen"); слушал "Пуритан", "Ballnacht", "Оберона" и другие. Имея в виду вторично быть в Вене на обратном пути в отечество, я не очень гнался за полнотою осмотра всех достопримечательностей австрийской столицы. Притом я уже пришел к убеждению в невозможности и даже бесполезности педантического обзора всего указанного в путеводителях; а что касается картинных и других художественных галерей, то для сознательного осмотра их я чувствовал себя недостаточно подготовленным и потому предположил предварительно ознакомиться, хотя бы поверхностно, с историей искусства в самой колыбели его, во время предстоявшей мне зимовки в Италии.

В качестве туриста, я не упустил случая, в воскресный день утром, пробраться в толпе любопытных в императорский дворец (Burg), чтобы взглянуть

на обычную процессию "выхода" Императорской фамилии из внутренних покоев в дворцовую церковь. Процессия эта происходила каждое воскресение, в присутствии публики, со всею торжественностью, подобно нашим царским "выходам" в большие праздники. Тут увидел я вблизи самого Императора Фердинанда IV — тщедушного старичка, шедшего с опушенными глазами, а за ним — всех членов его семейства и главных сановников Австрии, в числе которых показали мне тогдашнюю европейскую знаменитость — Метерниха.

Церемония "выхода" доставила мне также случай видеть австрийские военные мундиры. В те времена австрийские военные (генералы и офицеры) не носили военной формы вне службы; поэтому на улице редко можно было встретить мундир. Впрочем, нельзя не признать, что существовавшая тогда устарелая форма обмундирования австрийских войск была крайне безобразна, за исключением венгерских гусар. В прочих родах оружия сохранялся старинный покрой одежды, самых некрасивых цветов: серого, коричневого, с отложными воротниками, уродливыми киверами, в виде шляп лакейских. В австрийской армии сохранялись еще трости, которые у солдат привешивались сбоку. К сожалению, мне случалось встречать только одиночных солдат и ни разу не удалось видеть какую-либо часть в строю.

Меня, как истого туриста, преимущественно интересовала в путешествии общая физиономия посещаемых городов и стран. В этом отношении столица Австрии показалась мне своеобразною, не похожею на города германские: в массе населения ее замечается оригинальная смесь разных национальностей и языков, с некоторым оттенком восточным. На улицах, на гульбищах, в разных общественных заведениях — гораздо более оживления и подвижности, чем в немецких городах. Вена и тогда славилась веселою жизнью. По вечерам, особенно в праздничные дни, повсюду слышалась музыка, вальсы в бесчисленных заведениях для разгульной публики. В лучших из заведений этого рода толпа посетителей наслаждалась оркестрами Страуса и Ланнера.

Но вся веселость венская не могла рассеять моей тоски, и я рад был наконец покинуть австрийскую столицу, чтобы поспеть в Мюнхен к условленному с Теслевым сроку. 6/18 ноября в 7 часов вечера выехал я в Eil-post * до Зальцбурга, куда приехал на другой день в 7 часов утра. В числе спутников моих был французский консул в Сербии Кодрик, занимательный и приятный собеседник. Мы сговорились с ним остановиться в Зальцбурге на один день, чтобы вместе осмотреть город. К сожалению, стоявшая до тех пор теплая, прекрасная погода сменилась здесь пасмурною и дождливою. Несмотря на то, мы с ним обошли весь город, расположенный на гористой и живописной местности и сохранивший еще остатки окружавших его старинных крепостных стен. Верхние части окружающих гор были уже покрыты снегом. Вечером пошли мы в театр и слушали "Норму".

---

* Здесь: в почтовой карете (*пер. с нем.*).

На другой день, 9/21 числа (воскресенье), продолжили мы путь в Мюнхен, а так как в тот день не было отправления почтовой кареты, то мы наняли извощика (Landkutscher), который взялся довезти нас до Мюнхена в полтора суток с остановкою для ночлега. Погода уже наступила зимняя; поля покрылись тонким слоем снега. Этот вид напомнил мне родину; а возвышавшийся слева хребет гор переносил воображение мое на дальнюю окраину ее, в чудную страну, где странствовал я ровно год перед тем. Но встречавшиеся на пути деревеньки, костюм жителей, царствовавший везде спокойный, мирный строй жизни — все это наводило на сравнения, невыгодные для патриотического самолюбия, хотя эта часть Германии заметно уступала северной в культурном отношении. В близком расстоянии от Зальцбурга переехали мы границу Австрии с Баварией. Таможня Союза (Zollverein)[102] оказалась гораздо снисходительнее австрийской. Подвигаясь очень медленно, мы переночевали в местечке Fratersheim, в плохом трактире, и должны были на другой день встать

Костел в окрестностях Зальцбурга

до свету, чтобы поспеть в Мюнхен к 2 часам, как было условлено с нашим возницею. В этот день погода была уже довольно морозная; но дорога грязная, так что дотащились мы до Мюнхена только к 4 часам пополудни и остановились, согласно условию с Теслевым, в гостинице "Zum goldenen Hirsch".

С радостью узнал я, что мой товарищ приехал уже накануне. Свидание наше было самое сердечное. Не менее, чем я, тосковал он в одиночестве, и мы положили отныне не расставаться в наших странствованиях на чужбине.

В Мюнхене прожили мы девять дней — долее чем намеревались, по той причине, что почтовая карета отсюда в Италию отправлялась не каждый день, и нам пришлось из-за этого пробыть два дня лишних. Погода была переменчивая: иные дни дождливые, вперемешку со снегом, другие — ясные с морозом. Всякое утро бродили мы по улицам, заходили в галереи, музеи, в церкви, а по вечерам бывали в театре, преимущественно в опере; раз слушали концерт Тальберга. Мы застали Мюнхен в тот период, когда Король Людовик I на-

Трактирщица

ходился в самом пароксизме его архитектурной и художественной мании. Целые новые улицы застраивались громадными и великолепными зданиями. Куда ни обернуться, везде произведения знаменитых современных архитекторов германских: Кленца (строителя Петербургского Эрмитажа), Гертнера (Gärtner), Ольмюллера (Ohlmuller), с фресками Корнелиуса. Лично для меня Мюнхен представлялся в высшей степени любопытным, потому что я имел с молодых лет пристрастие к архитектуре и строительной части. С жадностью, с наслаждением всматривался я в фасады новых зданий: пинакотеки, глиптотеки, библиотеки, королевского дворца, университета, некоторых церквей, особенно капеллы всех святых (Allerheiligen Hof-Capelle), "Pfarkirche", в предместии Ау и проч.; любовался художественною отделкою внутреннею этих построек. Первоначально меня поразили новизна и разнообразие стиля мюнхенских построек и еще более пестрота красок, не только во внутренней от-

Баварский праздничный костюм

Великая Княжна Мария Николаевна

делке, но и в наружных украшениях; впоследствии же, когда и насмотрелся вдоволь на архитектурные произведения в разных странах и разных эпох, мой взгляд на мюнхенские постройки несколько изменился. Я заметил, что в них почти все, казавшееся мне прежде новым и оригинальным, было подражание, копировка; пестрота же и яркость красок в архитектуре с самого начала не нравились мне. Тем не менее многое из виденного мною в Мюнхене оставило во мне впечатление, как, например, внутренняя отделка глиптотеки и церкви всех Святых.

В то время, когда я видел Мюнхен, много было построек еще недоконченных, много только что начатых. Между некоторыми из новых зданий оставались обширные не застроенные еще пустыри. Впрочем не одни только вновь проложенные прямые, широкие улицы были пусты и малолюдны; также

и в узких искривленных улицах старого города не замечалось оживления; особенно мало было экипажей. Быть может, такое впечатление произвел на меня Мюнхен после Вены. Не случилось нам в Мюнхене посетить ни одного из тех заведений, где по вечерам городская публика ищет развлечения. В одном из "Halle", куда мы заглянули, нашли только пьющих обильно пиво в густом облаке дыма, в обстановке довольно неопрятной. Правда, что тогдашнее осеннее время года было самое неприглядное. Опера Мюнхенская не выдерживала сравнения с Венскою, несмотря на то, что сам Король был покровителем искусств. Мне случилось видеть его в ложе на нескольких представлениях; всего же ближе я мог его разглядеть в концерте Тальберга: в антрактах он ходил по зале и беседовал с дамами. Это был маленький, тщедушный человек, с усами и барбишкой, в некрасивой военной форме, с маленькими (обер-офицерскими) эполетами. В среде королевского семейства находилась и русская Великая Княгиня Мария Николаевна с красивым своим мужем Герцогом Максимильяном Лейхтенбергским.

Само собою разумеется, что при всех прогулках по городу и осмотре его достопримечательностей, я имел постоянно спутником товарища моего Теслева. Из числа проведенных нами в Мюнхене девяти дней, мы посвятили один (14/26 ноября) на поездку в Аугсбург. Между этими обоими городами Баварии уже существовала железная дорога; но еще в таком несовершенном виде, что на переезд 8 миль (56 верст) употреблялось $3\,^1/_2$ часа с остановкою на половине пути для пропуска встречного поезда. Аугсбург славился только своими историческими воспоминаниями; однако ж остатки старины сохранялись не слишком заботливо; а потому из всего нам показанного в этом городе, самым любопытным нашли мы типографию и редакцию аугсбургской "Всеобщей газеты"[103]. К 6 часам вечера мы уже возвратились в Мюнхен.

19 ноября (1 декабря) во 2-м часу дня выехали мы оттуда в Инсбрук. В почтовой карете была чрезмерная теснота, и вообще баварская почта показалась нам еще менее благоустроенною, чем австрийская. По мере приближения к горам местность все более принимала зимний вид. Переехав австрийскую границу и отделавшись довольно благополучно от таможенного досмотра, мы переместились в более просторную австрийскую карету, и перевалив чрез хребет гор в живописную долину Инна, прибыли в Инсбрук ровно чрез сутки по выезде из Мюнхена. После зимы на горах, мы опять попали в сырую, дождливую, настоящую осеннюю погоду. Несмотря на то, немедленно по приезде, пошли ходить по городу, живописно расположенному по обоим берегам Инна, между высокими, покрытыми снегом горами.

В Инсбруке мы пробыли одни сутки. Кроме нескольких церквей и других остатков старины, здесь ничего не было такого, что побуждало бы нас продлить наше пребывание. Поэтому на другой день, 21 ноября (3 декабря), после обеда, мы отправились далее в Верону, в австрийской же почтовой ка-

рете. Хотя уже в то время проложено было прекрасное шоссе поперек всего Тироля чрез перевал Бреннер, однако ж тяжелая почтовая карета поднималась крайне медленно. На горах опять нашли мы зимнюю погоду — ясную, морозную, со снегом. В ночное время месяц освещал живописную местность Тироля. В числе наших спутников оказался один русский — Циммерман, живший почти постоянно в Италии. Перевалив чрез Бреннер, спустились мы на рассвете, 22 ноября (4 декабря), к австрийской крепости и городу Бриксен (в долине Адижа, или Эчи), а к обеденному времени — в Ботцен, и постепенно перешли от суровой северной природы к южной, от снега к виноградникам, от немецкого населения к итальянскому. Местечко Лавис, куда мы прибыли под вечер, уже наглядно показывало, что здесь рубеж Итальянского Тироля. Проездом чрез Триент мы воспользовались остановкою почтовой кареты, чтобы взглянуть на этот исторический город, насколько было возможно при лунном освещении. Дома с аркадами во всю длину некоторых улиц придавали Триенту характер итальянского города; собор показался нам громадным и затейливой архитектуры. Столько же носит на себе типичный итальянский характер и город Ровередо, чрез который проехали мы около 10 часов вечера. Здесь уже нашли оливковые деревья, шелковицу и всю обстановку жизни по образцу итальянскому. Близ Ровередо Адиж прорывается чрез узкое горное ущелье, образующее как бы ворота на границе между южным Тиролем и равниною Северной Италии.

На рассвете, 23 ноября (5 декабря), въехали мы в Верону. Досадно было, что нам пришлось проехать в ночное время ту местность, которая нас особенно интересовала, по историческим воспоминаниям о происходивших здесь в разные эпохи классических военных действиях.

ИТАЛИЯ

Вот я наконец в Италии, куда давно уже стремились мои мечты. Я был в неописанном восторге, когда, несмотря на зимнее время, почувствовал в воздухе и во всем окружавшем меня обаяние южной природы; отрадно было увидеть и в населении типичные черты южного человека. Как ни убеждает разум в преимуществах рассудительности, аккуратности и трудолюбия германской расы над страстностью, беспорядочностью и беспечностью расы романской, все-таки для нашего славянского чувства симпатичнее живой, одушевленный, добродушный итальянец, чем тяжелый, флегматичный, сдержанный тевтон.

В Вероне остановились мы в почтовой гостинице, далеко не лучшей, зато ближайшей от почты. В нетерпеливом ожидании видеть впервые итальянский город, мы начали уже с 8 часов утра наши странствования. Лишь только вышли на улицу, у меня разбежались глаза: все вокруг меня было совершенно ново и любопытно. Мы должны были очень торопиться, чтобы успеть в один день осмотреть все замечательное. В Вероне сохранилось много остатков древности: огромный амфитеатр, другой подземный, высеченный в скале, римские стены и арки; затем многие церкви средневековые, в форме базилик, с большим числом произведений знаменитых художников. Для меня было любопытно увидеть постройки романского стиля, которому подражания видел так недавно в новых постройках мюнхенских. Само собою разумеется, что мы не преминули посетить и то место, где показывают туристам могилы Ромео и Джульетты, посреди прозаического огорода, причем проводник угощает заученным рассказом о трагическом конце интересных любовников. Показывали нам также и дом фамилии Капулети, грязный, закопченый, служащий ныне постоялым двором.

Верона интересовала меня и как военный пункт. В то время еще производилась постройка фортов, которые должны были превратить этот город в обширный укрепленный лагерь. Верона, в связи с крепостями Мантуей, Пескиерой и Леньяно, считалась главным опорным пунктом австрийской армии в Ломбардии и оплотом австрийского владычества во всей Северной Италии. Много времени потратили мы, чтобы обойти хотя часть непрерывной ограды, окружающей город на обоих берегах Адижа, а затем взобраться на высоты левого берега реки для осмотра (конечно, только снаружи) некоторых из передовых башен, возведенных по образцу так называемых Максимильяновских, которым тогда придавалось большое значение. Мне не удалось видеть эти башни в Линцском лагере[104], а потому

было интересно увидеть их здесь. В дневнике своем, описывая веронские постройки, я выразил некоторые сомнения на счет силы этих сооружений и самой цели устройства в Вероне укрепленного лагеря. 25 лет позже события показали, что знаменитый "стратегический четвероугольник" австрийцев не помог им удержаться в Ломбарда — Венецианском королевстве. Владычество их, поддерживаемое строгим военным положением и придирчивым шпионством, лежало тяжелым гнетом над итальянским населением, не скрывавшим глубокой своей ненависти к властителям[105].

Верона не отличалась оживлением и веселостью; напротив того, замечалось что-то мрачное, угрюмое. Несмотря на то, и здесь уже проявлялись отличительные черты южной жизни, открытой, уличной, особенно по вечерам, когда улицы и площади освещаются бесчисленными светильниками разного рода у каждого лавочника, каждой торговки, каждого ремесленника. В холодное время года горожане выходят на улицу греться солнечными лучами. С непривычки мы, северные люди, сетуем на холод в здешних домах и вообще на недостаток комфорта. В этом отношении, конечно, и лучшие гостиницы в Италии в описываемое время доставляли очень мало удобств путешественнику, избалованному хорошими гостиницами в больших городах Германии.

24 ноября (6 декабря), с рассветом, выехали мы из Вероны с "vetturino"*, который взялся довезти нас в крытой коляске до Мантуи (около 50 верст) в пять часов времени, за 10 лир (около 9 франков). Страна, по которой мы проезжали, представляла непрерывный сад фруктовых деревьев и виноградников. Можно было забыть, что время года было зимнее. Около полудня въехали мы в Мантую — одну из сильнейших европейских крепостей, кругом которой вся местность может быть наводнена. Здесь более, чем где-либо, испытали мы тяжелую процедуру австрийских полицейских порядков с паспортами. Осмотрев в несколько часов город и общий вид укреплений (насколько это возможно для туриста), мы в тот же вечер продолжали наше путешествие с "курьером": так называлась в Италии почтовая карета, в которой вместе с почтою перевозились и пассажиры. Переправившись ночью чрез реку По на пароме, мы проехали на рассвете, 25 ноября (7 декабря), Модену, а в 9 часов утра — границу Папских владений в Castelfranco. Здесь встретили мы неожиданно задержку под тем предлогом, что наши паспорта не были визированы Папским нунцием в Мюнхене. Несмотря на все наши протесты, мы должны были остаться на пограничной станции и послать наши паспорта с нарочным в Болонью, для получения от тамошних властей дозволения на въезд в Папские владения. До Болоньи было около 25 верст; понятно, с каким нетерпением ожидали мы в грязном трактире возвращения нашего посланного и как досадовали на всю Папскую администрацию, причинившую нам и потерю времени, и лишние издержки. Около 3 часов пополудни наконец

* извозчик (пер. с итал.).

получили ожидаемое позволение и в наемном экипаже доехали благополучно до Болоньи к 6 часам вечера.

Здесь остановились мы в гостинице "Трех мавров", где нашли нашего прежнего спутника Циммермана. На другой день, 26 ноября (8 декабря) осмотрели город, который можно почти весь обойти не сходя из-под аркад, устроенных по обеим сторонам улиц. Из достопримечательностей Болоньи прежде всего, конечно, взглянули мы на знаменитые наклоненные башни и на массивный Собор, в котором астроном Касини провел на полу направление меридиана, входили в картинные галереи, осматривали остатки старинных построек, которые, однако же, не слишком уважаются и зачастую утилизируются для современных потребностей жизни. Сетуя на такое кощунство, мы, однако же, должны были отдать справедливость и современному прекрасному устройству кладбища (Campo Santo) за городом: это обширное четвероугольное пространство, замкнутое со всех сторон аркадами, под которыми в нишах стены помещаются памятники лежащих тут покойников.

В тот же день, в 11 часов вечера, отправились мы далее в плохом и тесном дилижансе, ежедневно перевозившем путешественников между Болоньею и Флоренцией. Этот переезд в 130 верст совершался в 16 часов. Во всю ночь тяжелая карета, запряженная четвернею цугом, с добавкой иногда волов в передний унос, еле тащилась по крутому подъему Аппенинов. На счастье наше, погода была прекрасная, и месяц освещал покрытую снегом горную местность. В 8 часов утра (27 ноября/9 декабря) переехали мы тосканскую границу; здесь опять строгий осмотр; таможенный и полицейский; зато отсюда мы уже покатились быстрее по хорошему шоссе, непрерывно спускавшемуся с гор в долину Арно. По мере спуска, становилось все теплее; снова появилась южная растительность: кипарисы, виноград, в садах розы, — и к 7 часам вечера въехали во Флоренцию.

Здесь предположили мы прожить недели три, чтобы отдохнуть от непрерывного 9-дневного путешествия и не торопясь ознакомиться со всеми тамошними сокровищами искусства. И тогда Флоренция славилась приятною жизнью, дешевизной, умеренным климатом, а потому служила для иностранцев таким же сборным пунктом в Италии, каким Дрезден был в Германии. Проживало там и много русских; но мы не искали знакомств, чтобы не отвлекаться от прямой цели нашего путешествия. Видались только с моим товарищем по артиллерии Чарыковым, который, однако же, вскоре уехал в Неаполь, где мы и сговорились с ним опять съехаться. Русского посланника при Тосканском Дворе не было в то время во Флоренции: будучи вместе с тем и представителем России при Ватикане, он имел постоянное пребывание в Риме.

Поселившись в одной из недорогих гостиниц "alla fontana"*, мы в течение всех трех недель нашего пребывания во Флоренции каждый день неутомимо

* "у фонтана" (*пер. с итал.*).

и добросовестно осматривали все, что заслуживало внимания; целые утра проводили в галереях "gli Ufficii" и в "Palazzo Pitti" (соединенных между собою длинным коридором, переходящим над домами нескольких кварталов и чрез реку Арно по старому мосту — ponte vecchio); заходили в церкви, замечательные картинами и ваяниями великих художников; были мы и в мастерской мозаики, в Accademia della arti*. Еще мало сведущий в истории искусства, я начинал, однако ж, входить во вкус и с наслаждением останавливался пред некоторыми знаменитыми произведениями живописи. Но более всего попрежнему возбуждали мое внимание произведения архитектуры. Мне нравился серьезный, несколько даже суровый стиль средневековых дворцов или замков флорентинских. Не раз останавливался я пред фасадом Palazzo Pitti, сравнивая его с виденным прежде слабым ему подражанием в Мюнхене. Любовался я прелестною Campanilla**, так резко отделявшеюся от фасада самого Собора, который оставался еще не облицованным***.

Флоренция показалась мне более живописным городом, чем все виденные мною до сих пор итальянские города. Несмотря на зимнее время, все население жило на улице; в общественном саду Boboli и в загородном парке Caseino всегда находил я много гуляющих среди вечнозеленой растительности. В Caseino можно было видеть в известные часы дня все высшее общество Флоренции. Здесь же встречал я великогерцогскую семью. В крошечном государстве Тосканском соблюдались еще при Дворе все традиции старинного этикета и напыщенная обстановка, напомнившая мне виденный мною в Дрездене Саксонский Двор.

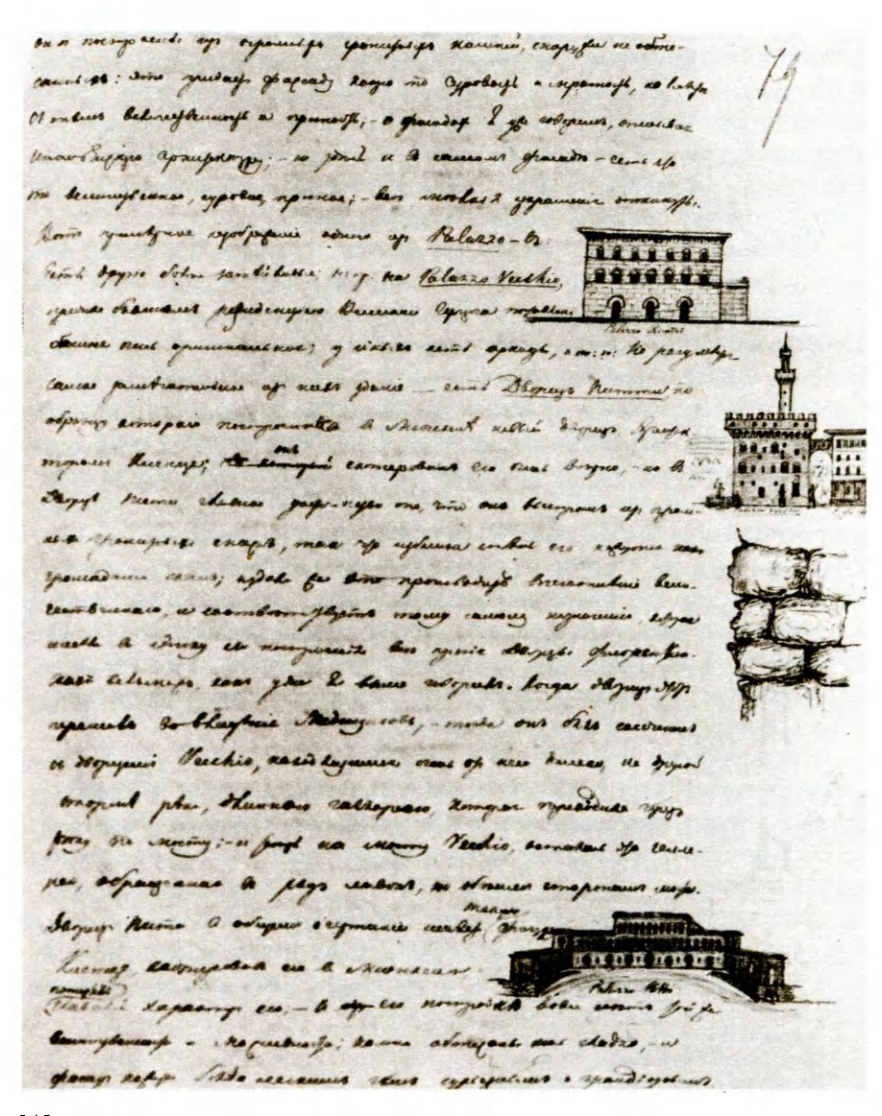
Праздник Рождества Христова (13/25 декабря) в Италии встречается, как у нас Светлое Воскресение, ночным богослужением. Мы полюбопытствовали зайти на эту службу в церковь Святой Анунциаты, где собиралось обыкновенно высшее общество; зная набожность и ханжество итальянцев, мы были весьма удивлены полным отсутствием в церкви благочиния: оркестр играл пьесы, мало подходящие к божественной службе; в толпе говор, движение, детские крики, даже лай собачий; по сторонам алтаря поставлены часовые с ружьями, в головных своих уборах.

Со второго дня рождественских праздников (т.е. карнавала) открылись театры, которых было тогда до восьми: лучшим из них был "Pergola", где давались оперные представления; в других — комедии, фарсы, народные сцены и проч. В больших театрах в течение всего сезона ставилось не более трех опер, повторявшихся много раз. Большей частью труппа набиралась временно и случайно; обстановка далеко не такая блестящая, как в больших театрах Германии, Франции и других стран. Впрочем, для итальянца театр есть только место привычного провождения вечера. Благодаря чрезвычайной дешевизне,

* Академия искусств (*пер. с итал.*).
** колокольней (*пер. с итал.*).
*** Он отделан только в текущем 1887 году.

театр доступен всем классам населения и потому почти всегда полон. Мы также пользовались этим удовольствием почти каждый день.

Во Флоренции я был обрадован первыми письмами из России. С самого отъезда из Петербурга, то есть почти в течение трех месяцев, я не имел никаких известий из дому. Оказалось, что письма на мое имя еще от октября месяца были адресованы в Рим, где и лежали, пока я не догадался вытребовать их оттуда.



Из Флоренции дальнейший наш путь предположен был на Ливорно и оттуда морем прямо в Неаполь, минуя Рим, где мы рассчитывали быть позже, ко времени обычных карнавальских увеселений. Согласно такому плану 18/30 декабря, рано утром выехали мы из Флоренции в наемном экипаже (vetturino) по весьма живописной, цветущей долине Арно, и к 7 часам вечера прибыли в Ливорно. В ожидании отхода срочного парохода в Неаполь, мы

должны были пробыть здесь четыре дня — слишком много для такого города, исключительно портового и торгового. В то время Ливорно был porto-franco, что придавало ему большое оживление. В населении его были перемешаны разные национальности. Гавань, защищенная старинными фортами, была наполнена кораблями. Но для туриста не было в Ливорно никаких развлечений. Только накануне нового года (иностранного) нам случилось быть зрителями

торжества, справляемого обыкновенно вечером этого дня во всей Италии. По главной городской улице проследовала пестрая процессия в собор, где происходило богослужение с музыкою и проповедью; затем процессия возвращалась с факелами, в сопровождении многочисленной толпы, которая теснилась и галдела в улицах до глубокой ночи. Такое же движение в улицах продолжалось и во весь день новогодия, с криками и пением, при звоне коло-

колов. Погода была прекрасная. Корабли в гавани расцветились пестрыми флагами.

Наконец 22 декабря (3 января), вечером, отплыли мы из Ливорно на пароходе "Леопольд II". Как назло нам, погода переменилась; поднялся свежий ветер, а в ночь выдержали мы настоящую бурю. Волны буквально скачивали палубу парохода, почти все пассажиры лежали в бесчувственном состоянии. Сам капитан парохода, как впоследствии сознался, находил положение наше критическим, и хотя к полудню следующего дня мы были уже в виду Чивита-Веккии, однако ж, не было возможности войти в гавань, и мы должны были лавировать, пока не утихла буря. Только в 3 часа пополудни удалось капитану войти в гавань, где решился он переждать погоду. Таким образом, нам пришлось, помимо нашего желания, высадиться в Чивита-Веккии, и не оправившись еще от морской болезни, возиться с Папскою полицией и таможнею.

Чивита-Веккия — ничтожный приморский городок, в котором едва нашли помещение съехавшиеся неожиданно пассажиры нескольких спасавшихся от бури пароходов. Здесь все носило на себе отпечаток Папского режима: ветхость и запущенность в гавани и укреплениях; безжизненность и нищенство в городе. Любопытного не было ничего; в четверть часа можно было обойти весь город вдоль и поперек. Поэтому мы скучали и досадовали; даже готовы были отказаться от дальнейшего морского плавания и ехать сухим путем. Так прожили мы двое суток и встретили наше русское Рождество. Только в самый день этого праздника, 25 декабря (6 января), с утра увидели с радостью, что море успокоилось, и в полдень пароход вышел из гавани.

Шли мы так близко вдоль берега, что я, сидя на палубе, не терял его из виду, стараясь по возможности устранить возвращение морской болезни. Тучи не позволили нам видеть купол Св.Петра, который, как говорили, бывает виден в ясную погоду. К ночи небо прояснилось, и море осветилось месяцем; но вместе с тем опять поднялся ветер, и снова началась порядочная качка. К счастью, не долго пришлось нам томиться: на рассвете 26 декабря (7 января) мы уже были в виду Неаполя. Выйдя скорее на палубу, я с восторгом увидел пред собою очаровательный залив Неаполитанский, с дышащим Везувием и прелестными силуэтами островов Капри, Исхиа и Прочида. По мере того как пароход приближался к берегу и открывалась панорама самого города, раскинутого амфитеатром в глубине залива, все более картина эта приковывала к себе мои глаза, и я позабыл о морской болезни прежде еще, чем сошел с парохода.

Прошло более часа в исполнении разных формальностей, полицейских, таможенных и карантинных. Получив наконец, при помощи нескольких "buona-mana"* разрешительный билет на прожитие в Неаполе, мы с невыра-

---

*Так в тексте; правильно: bonamano — чаевых (*пер. с итал.*).

зимою радостью спустились в лодку, причалили к пристани, и оттуда доехали в карете до гостиницы "Hôtel du commerce" француза m-er Martin. В Неаполе намеревались мы прожить около месяца, чтобы вдоволь насладиться ожидавшими нас в этом дивном уголке Европы прелестями природы, искусства и жизни. Этот месяц оставил в моей памяти неизгладимые впечатления.

Описывать и перечислять все, что удалось мне видеть, чем восхищаться и любоваться в Неаполе и его окрестностях, конечно, было бы неуместно в настоящем рассказе: в путевом дневнике моем уделено было на это до 84 страниц. Было бы напрасною работою повторять то, что было уже столько раз описываемо более искусным пером и сделалось уже почти общеизвестным. Ограничусь лишь теми воспоминаниями, которые касаются до меня лично.

В гостинице, где мы первоначально остановились, нашли мы опять нашего приятеля Чарыкова. По его совету, мы решились на другой день по приезде покинуть гостиницу и поселились в уютной квартире, найденной нами на набережной Santa Lucia, где пред нашими глазами постоянно рисовался весь залив. Явившись к нашему посланнику графу Гурьеву, мы с радостью узнали в посольстве, что в Неаполе находился наш уважаемый начальник генерал Веймарн (Иван Федорович). Конечно, мы немедленно явились к нему и были приняты с распростертыми объятиями. Он познакомил нас с доброю и любезною своею женою Елизаветою Максимовною (урожденною Лидерс) и с малолетнею их дочерью Ольгою. Мы сблизились с ними очень скоро; виделись ежедневно, часто соединялись для совместных прогулок или поездок за город.

Обыкновенно все утро мы бродили по городу, осматривали галереи, музеи, церкви, или выезжали в окрестности. Обедали большею частью втроем (Теслев, Чарыков и я) в недорогом ресторане Hôtel de Milan, а вечера проводили в одном из многочисленных театров или сходились у Веймарнов на чашку русского чая.

Из достопримечательностей города более всех занял нас музей Palazzo degli studii или иначе Museo Burbonico (по-нынешнему, Museo nationale): это одно из богатейших в Европе хранилищ драгоценных произведений искусства и разнообразных остатков древности. Мы употребили на осмотр его несколько утров*. Затем любопытны древние катакомбы, вырытые в несколько ярусов под горою Capo di monte. По части архитектуры нечего было искать в Неаполе: я не нашел ни одного здания, которое само по себе обращало бы на себя внимание, или по своей древности, или по своему стилю. Но красота города заключается в общей группировке построек на чрезвычайно живописной местности. В этом отношении может соперничать с Неаполем разве только Константинополь с Босфором. Сколько ни живи на берегах Неаполитанского залива, никогда не налюбуешься досыта на эту дивную картину.

---

*Так в тексте (*прим. публ.*).

Неаполь есть один из самых оживленных городов Европы. Улицы и площади его кишат народом с утра до ночи. Вся жизнь населения тут на глазах, под открытым небом. Куда ни придешь, везде встречаешь столько своеобразного, как ни в каком другом пункте Европы. Среди отвратительной грязи, зловония, нищеты — сколько сюжетов для артиста. Но чтобы составить себе понятие о классическом неаполитанском "lazzarone"*, надобно побывать на Santa Lucia, или на Mercato (рынок), на Margellina. Во многом Неаполь напомнил мне Тифлис с его базаром.

Чтобы видеть "чистую публику" Неаполя, надобно идти в известные часы дня на Villa Reale (ныне Villa nationale) — род бульвара на берегу моря, или на главную роскошную улицу "Toledo". Высшее общество имел я случай видеть на бале у посланника графа Гурьева. Раза два получал я пригласительные билеты на еженедельные балы в так называемой "Accademia reale di musica e ballo"; на этих балах часто бывала и королевская фамилия; но я не воспользовался приглашениями, не желая облекаться в установленную бальную форму (в башмаках).

Короля и членов его семейства случалось мне видеть в театре и встречать на улице. Фердинанд IV был в то время человеком средних лет, довольно полный, с бурбонским типом лица, густыми бакенбардами. Мы слышали, что он человек добрый, но слабохарактерный, легко подчинявшийся чужому влиянию. Семейство королевское было очень многочисленно. При Дворе соблюдался строгий этикет, и часто справлялись разные торжества и церемонии с большою пышностью. Нам случилось быть свидетелями такого празднества в день именин Короля, 12 января (31 декабря).

Король Фердинанд IV, как нам говорили, любил заниматься военною частью и много сделал для устройства своего войска, которое до него было в большом упадке. Еженедельно, по четвергам, Король лично производил смотры и учения войскам на "военном поле" (Campo d'Egine). Мне случалось видеть эти упражнения. Войска неаполитанские, комплектуемые вербовкою, состояли из рослых и красивых людей; обмундированы были хорошо, по образцу французских, хотя несколько пестро и затейливо; но строевое образование и выправка были еще очень слабы, особенно в кавалерии и артиллерии. В отношении отправления службы, неаполитанские войска были немногим лучше Папских. Мне случалось видеть, что даже в теплую сравнительно погоду, лишь только начинал накрапывать дождь или поднимался ветер, часовые укрывались в свои будки, составив ружья и закутав лица платками (cache-nez). Несмотря на все заботы Короля, все-таки более надежною частью армии считались прежние наемные швейцарские полки.

Жизнь в Неаполе отличалась необыкновенною дешевизною. Приведу для примера, что мы платили за обед из 5 блюд с фруктами и вином всего

* нищий (*пер. с итал.*).

3 карлина, то есть около 1 рубля ассигнациями или около 35 копеек на серебро. В лучших гостиницах обед стоил вдвое. Извощикам в городе полагалась таксою плата по 3 карлина за час. За поездку в Помпею (верст 25) и обратно, в коляске парой платили около 2 $^{1}/_{2}$ пиастров, т.е. 3 рубля серебром. Впрочем надобно добавить что при такой дешевизне иностранец нигде не подвергался большему риску быть обворованным при малейшей неосторожности или легковерии.

В театрах также плата за места была чрезвычайно умеренная. Мы могли пользоваться этим удовольствием весьма часто. Преимущественно посещали S.Carlo, считавшийся одним из самых больших театров в Европе. В нем давались представления превосходною оперною труппою, и нам удалось слышать три оперы: "Sapho", "Il bravo" и "Весталку". Раз случилось мне видеть театр S.Carlo во всем блеске, освещенным a giorno*, по случаю дня рождения Короля. В двух других театрах: "Fondo" и "Nuovo" также давались оперы, преимущественно комические и буфо. Из числа же второстепенных театров, в двух: "Carlino" и "Fenice" давались фарсы и представления для народа. В этих театрах появлялись на сцене случайные актеры из обывателей, и нередко попадались между ними весьма талантливые, разыгрывавшие чрезвычайно естественно сцены из близкой им действительной жизни. Поэтому посещение таких театров доставляло случай знакомиться с нравами и жизнью народа. Кроме того были в то время временные народные театры, устроенные в разных частях города по случаю карнавала, вроде наших балаганов на святках и масленице.

Окрестности Неаполя не менее замечательны, чем самый город. Все берега и острова, окаймляющее залив Неаполитанский, не только живописны, но и любопытны в геологическом отношении. По крайней мере, для меня было весьма занимательно видеть эту вулканическую местность, где на каждом шагу представляются проявления подземных сил природы. Поездки за город большею частью предпринимали мы большим обществом: Веймарны, Теслев, Чарыков и я. Таким образом, поездки эти обходились нам очень дешево. Мы подробно осмотрели все замечательные местности, в одну сторону, к западу — до мыса Мизенского (Miseno), в другую, к востоку — до Сорренто. Из всего виденного нами, конечно, самым любопытным был Везувий, с погребенными у подошвы его древними городами — Помпея и Геркуланум. Нам удалось подняться на вершину Везувия в прекрасный, ясный и теплый день, так что мы могли не только видеть самый кратер вулкана, но и насладиться открывающеюся с этой высоты обширною панорамою. День 5/17 января, когда мы совершили это любопытное восхождение, памятен мне и по особому, лично для меня счастливому обстоятельству: на вершине Везувия я в первый раз встретил ту, которая впоследствии сделалась подругой моей жизни. В одно время с нами путешествовала по Италии г-жа Poncet, вдова генерал-

* как днем (*пер. с итал.*).

лейтенанта, бывшего еще в 1814 году начальником штаба в корпусе графа Воронцова и умершего от чумы в Турецкую войну 1828—1829 годов. Вдову его сопровождала молоденькая дочь ее, которая с первой же встречи произвела на меня небывалое еще в моей жизни впечатление. Елизавета Максимовна Веймарн познакомила меня с новыми нашими спутницами, и с того времени мы виделись часто, иногда вместе странствовали, что доставляло мне случай все более сближаться с будущею моею женою. Таким образом, от случайной встречи на Везувии зависела вся моя счастливая будущность.

С большим сожалением покинул я Неаполь. 23 января (3 февраля) в 6 часов утра выехал я вместе с Веймарнами и Теслевым в четвероместном экипаже, запряженном четверкою хороших лошадей; vetturino обязался (писанным контрактом) доставить нас в Рим (около 280 верст) в 2 $^1/_2$ суток, с уплатою ему за все путешествие, со включением помещения на ночлегах, продовольствия и всех других мелких расходов, 60 римских пиастров, что составляло по тогдашнему курсу 285 рублей ассигнациями, или на серебро около 81 рубля, так что на долю каждого из пассажиров приходилось по 20 рублей. Хороший vetturino обыкновенно исполнял свои обязательства исправно, избавляя путешественников от всяких лишних расходов и мошеннических вымогательств, которым иностранец неизбежно подвергался бы в пути. Для меня переезд из Неаполя в Рим, в таком симпатичном обществе, был весьма приятной прогулкой. В первый день наш путь пролегал по живописной местности недалеко от морского берега через Капую до приморского местечка Mola, близ крепости Гаэты. Здесь остановились мы для ночлега в гостинице на самом берегу моря; с террасы ее открывался восхитительный вид на море, освещенное луной; ночь была теплая, тихая; воздух пропитан запахом померанцевых и апельсиновых деревьев. Ночлег этот оставил в моей памяти неизгладимое впечатление.

На второй день путешествия, с переездом границы Папских владений, все изменяется. Первое жалкое местечко Ferracina и тогда не совсем еще потеряло печальную славу притона разбойников; селения бедны и пусты; дорога в плохом состоянии; местность низменная, плоская. В особенности жалкий вид представляли Помптинские болота (Paludi Pontini), через которые дорога проложена прямой линией на протяжении 45 верст. Проехав эту необитаемую страну, остановились мы на второй ночлег в деревеньке Cisterna, откуда на следующий день выехали еще до рассвета. Постепенно местность становилась все более разнообразной, оживленной, даже живописной. Пользуясь остановкой в Альбано для корма лошадей, мы пошли осмотреть окрестности и с высоты горы увидели под ногами Альбанское озеро, на берегу его — Папский летний дворец Castel Gandolfo, а вдали уже блестел великолепный купол Святого Петра. Проехав пустынную Campagna di Roma, где ничего другого не видно, кроме разбросанных кое-где развалин древних водопроводов и неко-

торых зданий, мы наконец въехали около 7 часов вечера 24 января (5 февраля) в "вечный город".

В Риме предположено было нами прожить, так же как и в Неаполе, целый месяц. Здесь требовалась от нас не менее, чем там, неутомимая деятельность, чтобы ознакомиться с бесчисленными сокровищами искусства и замечательными остатками древности. Мы с Теслевым поместились очень удобно в лучшей части города, близ Piazza di Spanga (via Babuina), в квартире приисканной для нас находившимся в то время в Риме капитаном Генерального Штаба бароном Тизенгаузеном. По близости оттуда поселились и Веймарны, с которыми мы почти не разлучались во все наше пребывание в Риме. Несколько позже прибыла в Рим и m-me Poncet с ее дочерью: они также принимали нередко участие в наших прогулках по Риму. Барон и баронесса Тизенгаузен на первое время приняли на себя роль наших путеводителей и тем избавили нас от ненасытных наемных чичероне. Таким образом мы проводили все время в приятном обществе и очень сблизились между собой. Каждое утро употреблялось на осмотр достопримечательностей; потом обедали большей частью вдвоем с Теслевым в ресторане "Bertini", более известном под фирмой "Lepri", где обыкновенно сходились наши русские художники. С некоторыми из них мы вели знакомство: с Марковым, Вигандом и другими. Вечера проводили то у Веймарнов, то у m-me Poncet; а иногда я оставался дома, чтобы после утомительного дня иметь сколько-нибудь времени для внесения в дневник своих впечатлений и заметок. Только раз провел я вечер в опере в театре "Apollo", лучшем из римских театров, и то лишь по приглашению в ложу m-me Poncet. Еще один вечер случилось мне присутствовать на публичном чтении Гоголя, который тогда только что начинал приобретать известность; он читал своего "Ревизора" в зале князя Волконского с благотворительной целью — в пользу одного бедного русского художника.

В первое же утро нашего пребывания в Риме начали мы свои экскурсии с храма Святого Петра и случайно попали на торжество: в этот день праздновалась годовщина вступления на престол Папы Григория XVI, который сам служил в Сикстинской капелле. Тут собрались все высшие сановники римские, духовные и светские. Нам, простым туристам, конечно, не было доступа в самую капеллу; став в толпу, под колоннадой базилики, мы имели возможность наблюдать всю пышную обстановку Римского Двора, пестрые средневековые костюмы придворных и войска. Мы видели в самой близи проходивших мимо нас высоких лиц, в числе которых бывшую Королеву Испанскую Марию Христину и бывшего Короля Португальского Дона Мигуэля: и Королева и Король, лишившись своих престолов, поселились под крылом Святейшего Отца. По окончании церемонии мы обратили все внимание на саму базилику. Как внешний вид этой колоссальной постройки, так и внутренняя отделка ее до того поразили меня своим величием и роскошью,

что виденное мной в это утро оставалось потом целый день в глазах у меня, а ночью грезилось мне во сне.

Однако ж, было бы досадно признаться, что мы были в Риме и не видели Папы. Видеть его случилось нам впоследствии, именно 29 января — в одной из боковых капелл базилики Святого Петра, на панихиде по прежнему Папе Пию VIII, а в другой раз — 12 февраля, в первый день великого поста, в Сикстинской капелле, где Папа сам совершал священослужение, в богатом своем облачении и со всей торжественностью. При входе его в капеллу, ему предшествовали алебардисты в их причудливом одеянии и придворные чины; при появлении самого же Папы все присутствовавшие подгибали колени, а он давал направо и налево благословения. Папа Григорий XVI был еще бодрый старик; но лицом весьма невзрачный, с уродливым красным носом. Во время служения он восседал под балдахином, держа руки на бархатных подушках. По окончании богослужения, Святейший Отец опять прошел мимо нас с прежней торжественностью.

Само собой разумеется, что в первое посещение базилики Св.Петра я мог только окинуть общим взглядом это дивное сооружение; но потом приходил много раз осматривать его в деталях. С удивлением всматривался я в пропорциональность его размеров, в роскошные материалы строительные, в художественную мозаичную отделку всех внутренних стен; спускался в подземелья и взбирался на купол, с вершины которого любовался обширной панорамой от моря до Аппенинских гор; влезал даже в шар, поддерживающий крест и видел там надпись, увековечившую посещение Наследника Царевича Александра Николаевича в 1839 году так же как и несколько ниже, надпись о посещении купола другим Наследником Русского Престола — Павлом Петровичем.

При всем благоговении своем к величию и красотам знаменитой базилики, я осмелился, однако же, в своем путевом дневнике высказаться несколько критически о главном фасаде здания как относительно стиля, так и общего очертания, которое не гармонирует с великолепным куполом и скрывает его от глаз зрителя, подходящего к переднему фасаду храма. Недостатки этого фасада скрадываются лишь благодаря общей роскошной обстановке всей площади, с колоннадами, обелиском, фонтанами и проч.

Еще позволил я себе сетовать на то, что громадное и не совсем стройное здание Ва́тикана как бы давит, стесняет базилику. Но само по себе здание это импонирует своей массивностью, существенно же важно и драгоценно внутреннее его содержание: хранящиеся в нем неоценимые сокровища искусства. Галереи и коллекции Ватикана открывались для публики только два раза в неделю, и то лишь с двух до четырех часов пополудни. Мы, конечно, не пропускали ни одного из этих дней, и каждый раз обходили ту или иную часть. Некоторые, особенно замечательные отделы посещали в несколько приемов.

Рим богаче всех других центров искусства замечательными произведениями живописи и ваяния. Множество их заключается в разных церквях, в старинных Palazzo, в загородных виллах. Мы добросовестно посещали все эти хранилища; два раза осматривали музей Капитолия; любовались виллами Panfili, Albana (или Borghese), Mattei (принадлежавшей князю мира Годою, жившему еще тогда в Риме). Обилие художественных сокровищ в Риме до того громадно, что осматривать все в короткое время становится под конец утомительным. Несмотря на то, мы так вошли во вкус, что не тяготились посещать и мастерские некоторых наших современных художников, работавших в Риме: Бруни (писавшего свою большую картину поклонения змею), Маркова (работавшего над картиной Колизея), Скотти, Виганда и других. На одной выставке новых картин видели мы, между прочим, некоторые из первых произведений Айвазовского.

Рядом с художеством, чрезвычайно занимала нас и древность. По крайней мере, для меня древний Рим казался еще интереснее, чем художественные его коллекции. С наслаждением бродил я целые утра по отдаленным частям "вечного города", не пропуская ни одной руины. Прогулки эти были для меня наглядным повторением древней истории. Но мне резали глаза встречавшиеся на каждом шагу сопоставления величия и красот уцелевших обломков древности с безвкусием и ничтожеством заслонивших эти остатки новых зданий. Досадно было смотреть на жалкие постройки, занимавшие древний Капитолий, на переделку Пантеона и некоторых других древних храмов в христианские церкви, на приспособления некоторых древних общественных зданий к потребностям современной обыденной жизни; видеть, например, чудесные древние колонны с роскошными капителями или изящные фронтоны, карнизы, аттики — прилепленные к безобразным жилым домам; проходить грязными закоулками или огородами, чтобы добраться до какой-нибудь исторической достопримечательности.

Из древних руин, конечно, более всех производит впечатление Колизей. Мы бывали в нем не раз. Между прочим, в один из последних дней перед выездом из Рима поехали мы туда большим обществом вечером, чтобы видеть громадную арену при лунном свете. Картина действительно внушительная.

Не перечисляя всех виденных мной замечательных предметов и живописных видов, упомяну только о поездке в Тиволи (31 января), о прогулках на Monte Pincio, куда мы направлялись обыкновенно в часы, оставшиеся свободными в нашем расписании дня; наконец, об уличных увеселениях карнавала, проходивших с 1 по 11 февраля ежедневно, кроме воскресных дней и пятницы. На все это время для нашего общества нанят был балкон на Corso, куда мы собирались в дни гуляния с двух часов пополудни и оставались до того момента, когда под вечер, по данному сигналу, вся толпа беснующегося народа должна очистить улицу. И наше общество, заразившись общим увлечением веселых

итальянцев, принимало горячее участие в безумной перестрелке цветами и мукой (confetti,drajet) с двигавшимися по Corso маскированными группами; а затем следила с напряженным вниманием за бегом лошадей, пускаемых вдоль Corso от Piazza del popollo до Piazza di Venezia, где происходила с известной торжественностью выдача сенаторами приза хозяину первой прискакавшей лошади.

В первый день карнавала я полюбопытствовал посмотреть на старинную церемонию открытия карнавальных увеселений. Церемония эта установлена с того времени (XV столетия), когда еврейское население Рима было освобождено, за известную ежегодную плату, от лежавшей на нем прежде позорной обязанности потешать римлян в карнавал бегом взапуски по Corso; с того же времени и введено взамен двуногих бегунов пускать по Corso четвероногих. Вот в память этой-то милости, оказанной евреям римским Сенатом, и происходит ежегодно, в день открытия карнавальных потех, торжественный прием Сенатом в здании Капитолия, в виду толпы народа, еврейской депутации, подносящей благодарственный адрес и определенную денежную сумму выкупа. Не знаю, продолжают ли и доныне исполнять этот дикий обряд.

Не менее странен и конец карнавальных увеселений, так называемое "погребение" карнавала. В последний день беснования на Corso продолжаются долее обычного часа, до вечерней темноты, когда в толпе, на улице, так же как и на балконах и в окнах домов, появляются бесчисленные огоньки — moccoletti; тогда начинается смешная забава взаимного друг у друга гашения свечей; каждый употребляет всякие ухищрения для защиты своего огонька и для тушения соседнего. Проделки эти, разумеется, сопровождаются смехом, криками, фарсами разного рода, столь заразительными, что не одни итальянцы, но и самые флегматические иностранцы предаются с увлечением этой наивной забаве. После всей уличной суматохи окончательным заключением карнавала служит festino, т.е. маскарад в театре.

Зато какая противоположность последнему бешеному дню карнавала следующий, первый день великого поста. Улицы, кипевшие вчера жизнью, теперь пусты; везде тишина; в церквях идет служба. Под стать этой угрюмой обстановке переменилась и погода: весь день шел дождь. Туристы мало-помалу начали разъезжаться. В числе их и наше общество собиралось покинуть Рим. Прежде всех, 14 февраля, выехали барон и баронесса Тизенгаузен; за ними намеревался и я ехать, вместе с Веймарнами и Теслевым; но мы должны были отложить отъезд на несколько дней, по случаю болезни Теслева и ребенка у Веймарнов. Эти последние дни пребывания в Риме, сверх положенного срока, проводил я без определенной программы, in dolce far niente*, участвовал в прогулках в дамском обществе; вечера проводил то у Веймарнов, то у m-me

* в сладостном ничегонеделании (*пер. с итал.*).

Poncet. К этому времени я весьма сблизился с ними, и должен покаяться — в первый раз в жизни почувствовал сердечное влечение; душевное мое спокойствие было поколеблено новым знакомством с молодой девушкой. Мне было жутко, покидая Рим, расстаться с ней, и чем ближе подходил срок этой разлуки, тем больше чувствовал я возвращение прежней хандры, от которой, казалось, излечило меня путешествие. Приходила мне мысль, что безрассудно поддаюсь влечению к девушке, с которой, по всем вероятностям, никогда больше не встречусь. Вот почему иногда я даже уклонялся от слишком частых встреч с ней, и отказываясь от приятного общества, бродил один по отдаленным улицам Рима.

Видя, что надежды на скорое выздоровление Теслева и ребенка у Веймарнов не сбылись, и не желая совсем расстроить свой план путешествия, я решился покориться своей судьбе и продолжать путь в печальном одиночестве. Утром 24 февраля (старого стиля) взял я билет на выезд с "курьером" во Флоренцию вечером следующего дня. Прийдя проститься с Веймарнами, я узнал, к большой досаде, что они также решили выехать во Флоренцию на другой же день, но только утром, с vetturino. Таким образом, судьба сыграла над нами неприятную шутку: вместо того, чтобы проехать вместе до Флоренции, как желали, пришлось нам ехать в один и тот же день врозь.

В день выезда, 25 февраля, провел я последнее утро с m-me Poncet и ее милой дочкой, в прогулках на Monte Pincio и на выставке картин. С грустью простился я с ними; однако же, при самом прощании мне подана была надежда на возобновление нашего знакомства в Петербурге. Мне сделалось как-то легче на душе, когда вечером я занял свое место в курьерской карете и выехал из этого дивного Рима, который доставил мне такие неизгладимые воспоминания. С Теслевым сговорились мы съехаться в Париже.

В Италии путешествие с "курьером", хотя и считалось самым быстрым способом передвижения, было, однако же, не слишком поспешное. Расстояние в 300 верст от Рима до Флоренции проехали мы в полтора суток. На пути лежал только один замечательный город—Сиена, с великолепным собором, облицованным мрамором; но проезжая вечером, я не смог отчетливо разглядеть фасад. Вообще вся дорога пролегала по стране довольно пустынной и худо обработанной. Однако же, в пределах Тосканских все-таки заметно гораздо больше культуры и благоустройства, чем в Папских владениях, а по мере приближения к самой Флоренции и страна принимает гораздо более оживленный вид.

Прибыв во Флоренцию рано утром 27 февраля (11 марта), я остановился в "Pension Suisse", где нашел барона и баронессу Тизенгаузен и провел с ними весь день. Утром ездили верхом кругом города, любуясь живописными видами; вечером слушали оперу "Lucrezia Borgia", а на другой день, 28 числа, рано

утром, выехал я с vetturino по дороге, отчасти уже мне знакомой, в Пизу. Осмотрев здесь все замечательности: наклоненную башню, собор, baptistero*, Campo Santo, я предпринял дальнейшую поездку по "Ривьере" (Riviera di Levante) с vetturino, который обязался довезти меня в легкой коляске в одиночку до Сарзаны. Таким образом, я имел возможность насладиться вдоволь этим прелестным путем: останавливался на каждом живописном пункте, по временам шел пешком, пока мой возница кормил лошадь или поднимался в гору шагом. Несколько раз приходилось останавливаться и для таможенного досмотра на границах мелких владений: Лукки, Модены, Пармы. Переночевав в Массе, я на другой день (2/14 марта) проехал через Каррару, мимо знаменитых мраморных каменоломен, выдержал еще раз таможенный осмотр на границе Сардинского Королевства, и в 10-м часу утра уже был в Сарзане. Отсюда "курьер" отправлялся в Геную ежедневно в полдень. В ожидании часа отъезда, я успел побродить по улицам чистенького городка, который показался мне очень оживленным, вероятно, по случаю воскресного дня. На пути из Сарзаны до Генуи я был в особенности пленен живописным местоположением Специи: это один из тех очаровательных видов, которые остаются в памяти на целую жизнь. Дорога наша была очень тяжелая: то следовала вдоль самого берега морского, то поднималась на высоты там, где горы упираются в море крутыми обрывами. Я пользовался всяким случаем, чтобы вылезать из тесной, тяжело нагруженной кареты и шел пешком, любуясь видами: влево — на море, вправо — на горы.

На рассвете, 3/15 марта, при спуске с горы, открылся прекрасный вид на Геную. Здесь остановился я в гостинице Croce di Malta и, не теряя минуты, побежал осматривать город и его окрестности. После посещения некоторых замечательных зданий и галерей внутри города, я успел в тот же день сделать огромную загородную прогулку. Генуя расположена амфитеатром по скатам высот, огибающих полукругом город и залив. По всему протяжению этих высот возведены были в недавнее время укрепления для защиты города с сухого пути в виде фортов, соединенных непрерывной оградой. Кроме того, еще отдельные форты выдвинуты были вперед на командующие высоты. Укрепления эти, построенные по принятой в то время системе каменных оборонительных казарм и башен, точно так же интересовали меня, как виденные прежде укрепления Вероны. Не имев разрешения на вход во внутрь фортов, я должен был ограничиться наброском на клочке бумаги только общего, так сказать, схематического начертания всей линии обороны. Мне не приходило и на мысль скрывать такие невинные заметки для моего дневника от сопровождающего меня вожатого (guide) и только позже смекнул, как поступил неосторожно. По возвращении с прогулки в гостиницу, лишь только я, переодев-

* баптистерий, крещальня (*пер. с итал.*).

шись вышел из своего номера к обеду, сделанный мной набросок исчез с моего стола и я должен был виденное мной занести в свой дневник на память.

В Генуе, так же как и в других городах Италии, туристам показывали много старых церквей и Palazzo с картинными галереями, статуями, великолепными мраморными лестницами и вестибюлями, с колоннадами, аркадами и проч.; но все эти остатки старины дают лишь слабое понятие о прежнем величии Генуи во времена цветущего периода республики. Уже в описываемую эпоху город заметно обновлялся и принимал характер нового города, притом портового, коммерческого. Я счел достаточным посвятить ему два дня, и вечером 4/16 марта выехал в дилижансе в Турин.

Перевалив через Аппенины, ехал я по равнинам Пьемонта, через знаменитые в военной истории поля сражения при Нови и Маренго[106], и к ночи 5/17 числа прибыл в Турин, где опять остановился на два дня. Столица Королевства Сардинского представляла мало занимательного для туриста после всех виденных чудес в Неаполе, Риме, Флоренции. Турин почти уже и не имеет физиономии итальянских городов; это город новой постройки, правильно расположенный, с прямыми улицами, широкими и однообразными, обширными площадями. Тут нечем любоваться: ни древностями, ни сокровищами искусства, ни архитектурой зданий, ни живописными видами. Турин показался мне мертвым городом, полуитальянским и полуфранцузским. В двухдневное мое там пребывание я успел, кроме осмотра города и немногих его достопримечательностей, познакомиться с одним итальянским инженером майором Порро, директором Топографического института при Пьемонтском Главном штабе. Майор Порро — изобретатель особого способа съемки посредством придуманного им оптического инструмента для определения с достаточной степенью точности расстояний от точки стояния до каждой видимой с нее точки окружающей местности*. Еще в Петербурге слышал я об этом способе съемки и предположил познакомиться с ним в проезде через Турин. Майор Порро принял меня любезно; не только объяснил мне подробно изобретение, но водил по механическому заведению, изготовляющему под его руководством инструменты для топографических съемок. Я мечтал о том, чтобы по возвращении в Россию ввести у нас способ майора Порро, казавшийся мне особенно полезным в гористых местностях: на Кавказе и в других наших отдаленных окраинах. Однако ж, эти предположения мои остались без последствия и мне даже неизвестно — вошел ли означенный способ съемки в употребление в самом Пьемонте.

7/19 марта после обеда выехал я из Турина в почтовой карете; в течение ночи перевалил через Mont Cenis, а к утру следующего дня спустился к первому савойскому городку Lanslebourg. Переезд этот через высокий снеговой

---

* Сущность этого нового способа съемки состояла в том, чтобы место каждой топографической точки определять не засечкой с двух известных уже пунктов, а с одного пункта полярными координатами.

хребет Альпов, частью на колесах, частью на полозьях, был для меня весьма интересен; если б тогда кто-нибудь сказал, что через несколько десятков лет мне придется переезжать через этот же грозный хребет в спокойном вагоне железной дороги, то, конечно, я принял бы это за несбыточную фантазию a la Jules Verne*. При спуске с хребта узкой долиной речки Арк (Arc) обратил особенное внимание мое сооруженный в последнее время пьемонтским правительством форт Esseillon, или Bramante, для преграждения пути из Франции в Пьемонт. Любопытно было видеть и жалкое население Савои. В 8 часов вечера (8/20 марта) прибыли мы в Шамбери, где была остановка на целый час по случаю перемены кареты (та, в которой я ехал из Турина, продолжала путь в Женеву). Шамбери показался мне, при газовом освещении, красивым и благоустроенным городом. Продолжая путь в огромной и крайне нагруженной карете, мы дотащились ночью до французской границы в Pont de Beauvoisin.

* в стиле Жюль Верна (*пер. с фр.*).

ФРАНЦИЯ

На границе Франции, в Pont de Beauvoisin, дилижанс наш подвергся продолжительному и беспощадному таможенному осмотру, после которого всех пассажиров повели, как водят арестантов, к commissaire de police* для проверки паспортов. Было часа 4 утра, еще совсем темно. Комиссар не дал себе труда выйти к пассажирам, а принял нас в своей комнате, не вставая с постели в ночном колпаке. Поочередно оглядев каждого из нас с ног до головы, он отобрал наши паспорта для отправления их в Париж, а нам выдал временные билеты на проезд и пребывание в пределах Франции. Таковы были в те времена порядки французской администрации и нравы французских чиновников.

Отделавшись наконец от всех скучных и неприятных формальностей, мы рады были усесться снова в почтовую карету, хотя она оказалась битком набитая пассажирами. Но радость наша была преждевременна: лишь отъехали мы одну станцию от границы, и вот опять остановка, вторичный "контрольный" осмотр багажа. Только к четырем часам пополудни дотащились мы до Лиона и здесь, у въезда в город, в третий раз наш дилижанс подвергся осмотру городского octroi**. В Лионе остался я до утра следующего дня, чтобы бросить общий взгляд на этот город, считающийся первым во Франции после Парижа. До позднего вечера бродил я по красивым лионским улицам, освещенным газом и чрезвычайно оживленным***.

Выехав из Лиона утром 10/22 марта, в дилижансе (Messageries générales Lafitte et Caillard)****, я ехал до Парижа двое суток с половиной. Несмотря на такую медленность езды и на грустный вид страны, незадолго перед тем испытавшей бедствие наводнения (нередкого в долине Роны), мне было почему-то особенно любо все, что видел и слышал на пути: небольшие города, деревеньки, постоялые дворы, говор обывателей — все замечал я с каким-то сочувствием, хотя в то же время и не мог не сознавать, насколько этот край уступал в культурном отношении некоторым уже виденным мной странам (Германии и Северной Италии). По мере приближения к Парижу все более усиливалось мое нетерпеливое ожидание увидеть этот "новый Вавилон". Наконец вечером, 12/24 марта, тяжелый наш дилижанс, после небольшой остановки у Парижской заставы, покатил по улицам, ярко освященным газом и кипевшим жизнью.

---

* комиссару полиции (*пер. с фр.*).

** Здесь: контролера (*пер. с фр.*).

*** Далее в автографе зачеркнуто: По этому обращику я мог уже предварительно составить себе физиономию самого Парижа (*прим. публ.*).

**** Почтовый двор Лафитт и Кайар (*пер. с фр.*).

Париж был тогда некоторым образом запрещенным плодом для русских, особенно для молодежи; правительство наше смотрело косо на посещавших столицу Франции, и несмотря на то, всегда можно было там найти немало соотечественников*. И я, подобно другим, увлекся желанием видеть главный центр европейской цивилизации, но отнюдь не из легкомысленного стремления к наслаждениям и удовольствиям парижской жизни. Париж лежал на прямом пути моем из Италии к Аахенским минеральным водам, куда посылали наши эскулапы. Возможно ли было объехать такой пункт, который сулил столько разнообразных материалов для моей любознательности. В предположенном мной маршруте уделено было на Париж целых шесть недель. При ограниченности моих денежных средств я должен был соблюдать строгую бережливость в расходах, не позволяя себе ничего прихотливого. Поэтому поместился я в одной маленькой гостинице: "Hôtel de Flandre et d'Espagne", в улице Notre Dame des victoires, также очень скромной, хотя и в центральной части города, близ самой Биржи. Хозяин гостиницы m-r Lemarchand торговал зеркалами; семейство его состояло из жены и взрослой дочери, а вся прислуга — из старика — portier**, всегда сидевшего в своей стеклянной клетке (loge)***, да служанки, поспевавшей на все работы как в номерах гостиницы, так и на самих хозяев. Добродушная эта семья выказывала мне радушное участие и ухаживала за мной во время болезни, когда я схватил простуду и должен был несколько дней безвыходно оставаться в своей комнате. Единственная в гостинице служанка успевала и мне приносить обед, ею же самой состряпанный для хозяев.

Первые две недели в Париже провел я почти в полном одиночестве. Затем посетил я дядю Николая Дмитриевича Киселева, состоявшего советником посольства, и представился самому послу графу Палену. С дядей я виделся только изредка; но при посольстве состоял в качестве военного агента полковник Генерального Штаба Борис Григорьевич Глинка****, несколько знакомый мне по его родному брату Николаю Григорьевичу, товарищу моему по Военной Академии. Борис Григорьевич любезно предложил мне быть моим руководителем на первых моих шагах в Париже. Еще оказался у меня знакомый и даже родственник — Алексей Степанович Мельгунов, богатый москвич, женатый на моей тетке княжне Урусовой (дочери князя Александра Петровича, родного брата моей бабушки Прасковьи Петровны Киселевой). Оба они, и муж, и жена, любезно приглашали меня к себе и на прогулки; но это были такие личности, с которыми виделся я только изредка. Вообще я не искал за границей общества соотечественников, даже избегал их, дабы сво-

* Далее в автографе зачеркнуто: хотя и далеко не в таком множестве, как в позднейшие времена (*прим. публ.*).

** портье, швейцара (*пер. с фр.*).

*** швейцарская (*пер. с фр.*).

**** Впоследствии Глинка-Маврин, генерал-адъютант, член Военного Совета.

бодно располагать временем, не связывая себя светскими обязанностями. Только раз случилось мне видеть большую часть русской колонии в Париже в церкви посольства, куда завлек меня А.С.Мельгунов в вечерню страстной пятницы.

24 марта (5 апреля), в первый день страстной недели, я был обрадован приездом Теслева с бароном и баронессой Тизенгаузен. С этого времени мы уже почти не разлучались; всякий день, по составленному заранее расписанию, мы совершали вчетвером экскурсии по городу и окрестностям; осматривали все, что представлялось замечательного; вместе обедали, большей частию в одном из дешевых ресторанов в Palais-Royal, где за 2 франка имели порядочный обед из 5 блюд с вином, фруктами и чашкой кофе. Как уже сказано, мы должны были всячески сокращать наши расходы. Только два раза я позволил себе, в виде исключения и более из любопытства, отобедать с А.С.Мельгуновым в знаменитых "Rocher de Cancal" и "Frères provenceaux". По вечерам посещали мы театры, о которых, впрочем, речь впереди.

Тогдашний Париж немного уступал во внешней красоте настоящему; можно сказать, что преимущество Парижа в этом отношении, сравнительно с другими столицами, было в те времена еще заметнее, чем теперь, потому что все другие большие города Европы тогда еще и не помышляли о тех колоссальных перестройках, которые впоследствии преобразили и обновили их в подражание Парижу. Даже Вена и Берлин были сравнительно небольшими городами, по пространству и числу жителей. В Вене только что начинали застраиваться так называемые предместья (Vorstadt). Ни один город не мог равняться с Парижем в оживленности; нигде не видно было такого движения, столько роскошных экипажей на улицах и общественных гуляниях; нигде не было такого разнообразия в развлечениях всякого рода. Все нововведения в общественной и частной жизни, все моды исходили из столицы Франции.

Как ни велики были ожидания, с которыми я приехал в Париж, однако ж все, что представилось в действительности моим глазам, превзошло эти ожидания. С первых моих прогулок по городу на всяком шагу я восхищался благоустройством его, великолепными зданиями, улицами и площадями, бульварами, скверами, общественными садами и парками. Благоприятствовала мне большей частью прекрасная весенняя погода; деревья покрывались свежей листвой. Прогулки по Тюльерийскому саду, в Булонском лесу, в Елисейских полях, в Jardin des plantes*, в саду Люксембургского дворца — доставляли в свободные часы дня истинное наслаждение. Во все шесть недель моего пребывания в Париже случилось только несколько дней дождливых; но и в такие дни можно было с удовольствием гулять под колоннадами Palais-Royal, принимавшими при вечернем освещении оживленный вид.

---

* Ботанический сад (*пер. с фр.*).

Только в Париже могло быть изобретено выражение "flaner"*, только там можно проводить целые дни на улице и находить на каждом шагу развлечения. Однако ж, что касается до меня и до моих спутников, то "фланировать" в собственном смысле слова нам приходилось немного, разве только случайно, урывками; большая же часть дня у нас проходила в систематическом осмотре намеченных в нашей программе исторических и художественных достопримечательностей: несколько раз ходили мы по галереям Лувра, посетили Люксембургский дворец, Palais-Royal, Conservatoire des arts et métiers, École des beaux arts, Hôtel de Cluny (богатую коллекцию старины); осматривали Дом Инвалидов с гробницей Наполеона I (которая в то время еще не была установлена в центре церкви под куполом), фабрику Гобеленов, Гренельский артезианский колодезь, кладбище Père Lachaise и проч.

В первые три дня страстной недели происходили знаменитые Promenades de Longchamps**, заменившие в новейшие времена существовавший некогда обычай предпринимать в эти дни загородные паломничества (pelerinages). На этих гуляниях видели мы весь парижский "beau monde"***, тут обыкновенно появляются щегольские экипажи и лошади, первые весенние моды. Страстная неделя не прерывает театральных и всяких других представлений. Религиозное благочестие парижан в эти дни ограничивается лишь тем, что по утрам можно найти в церквях несколько более молящихся, чем обыкновенно, но и то преимущественно старух; а в некоторые из церквей известная публика собирается слушать какого-нибудь проповедника, славящегося красноречием, по большей части крайне аффектированным, театральным.

В Светлое Воскресенье 30 марта (11 апреля) мне было как-то особенно грустно встречать этот праздник вдали от родины и семьи; невольно мысли переносились назад, вспоминалась покойная мать, с кончиной которой как бы распался наш семейный кружок, и мне уже ни разу не приходилось встречать Светлое Воскресенье в родной семье. Чтобы не оставаться все утро в одиночестве, в грустных размышлениях, я отправился вместе со своими спутниками к обедне в протестантскую церковь, где выслушал длинную проповедь, от которой многие благочестивые дамы прослезились.

В числе наиболее интересовавших меня предметов были Палаты. При первом посещении Палаты депутатов (17/29 марта) слушал я с напряженным вниманием прения по законопроекту о литературной собственности, восхищался красноречием Ламартина, который был докладчиком комиссии (rapporteur), и возражавших ему Villemain, Gustave de Beaumont и других. Во второй раз (31 марта/12 апреля) случилось мне присутствовать на прениях той же Палаты по предмету дополнительных на 1841 год кредиторов. В этот

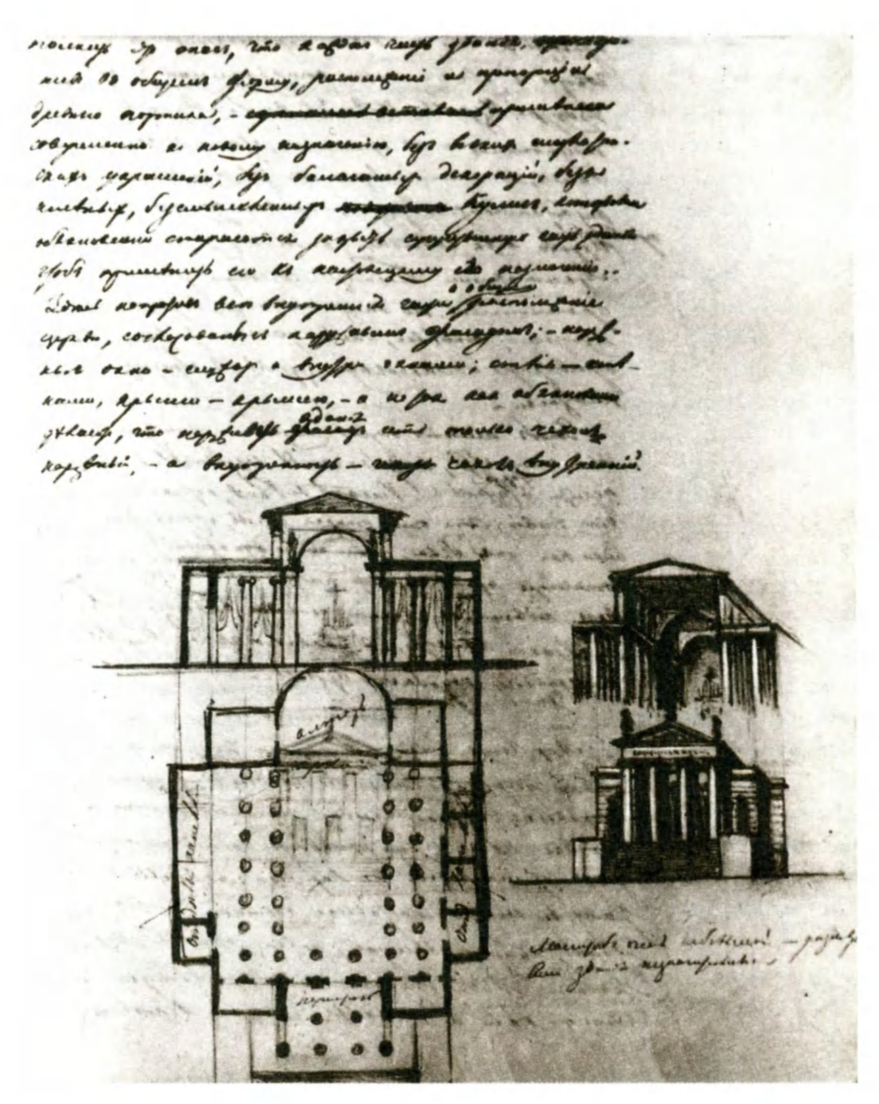
---

* прогуливаться, фланировать (*пер. с фр.*).

** Гуляния на Лоншан (*пер. с фр.*).

*** "высший свет" (*пер. с фр.*).

раз главными бойцами на трибуне были: Гизо, Тьер, Берье, Келлерман (duc de Valmy, докладчик комиссии)[107]. Оба эти заседания произвели на меня большое впечатление. У нас ораторское искусство было тогда еще менее известно, чем теперь; поэтому меня поразили речи таких даровитых ораторов, как названные мной выше, особенно же ответные речи, произносимые экспромтом. Однако ж, я находил у французских ораторов один, довольно общий недостаток — многословие, так сказать, размазанность. Менее всех заслуживал



этого упрека Гизо, речи которого зато отличались докторальным тоном; они были похожи на профессорские лекции. Напротив того, у Ламартина речи были до крайности цветисты и изысканы. Нужны большой навык и находчивость для ведения горячих прений в Палате, где речь оратора беспрестанно перебивается возгласами из среды депутатов и нередко обращается в личную перебранку. Меня удивило во французской Палате отсутствие внешних форм приличия и достоинства, так сказать — бесцеремонность, с которой держат себя депутаты, часто вынуждавшие председателя унимать слишком беспокойных, как школьников.

Упрека этого нельзя сделать Палате пэров, в которой соблюдались совершенная чинность и спокойствие; зато в этой Палате большинство составляли беловласые старцы, мало увлекавшиеся спорами и зачастую читавшие по заготовленным тетрадкам. Мне удалось быть в Палате пэров 18/30 марта при обсуждении предположенных (и уже отчасти начатых) укреплений Парижа. Главное участие в прениях принимали: Meunier, в качестве докладчика (rapporteur de la commission), старый генерал Fleury, легитимист маркиз Dreux de Brezé и другие. Эти прения были для меня интересны более по специальному значению предмета, чем в отношении ораторского искусства; но и здесь можно было пожалеть о длинноте речей. Один только министр внутренних дел Duchatel бойко и толково ответил экспромтом на заготовленные речи противников проекта. В числе пэров находился герцог Орлеанский.

Не менее были любопытны для меня заседания французских судебных учреждений. 21 апреля (3 мая) просидел я более четырех часов в Cours d'assises*, где разбиралось несколько неважных дел, и вынес полное убеждение в превосходстве гласного и устного суда над нашим письменным, закрытым судопроизводством. В дневнике моем за этот день высказывалось мнение, что при всех слабых сторонах французского судопроизводства с адвокатами и присяжными (jury), эта форма наиболее ограждает тяжущихся по гражданским делам и подсудимых при уголовных как от намеренной, так и от случайной несправедливости в решении дела. Вместе с тем записано было, что если замечалась и во французских судах некоторая медленность в ходе дел, то она объяснялась не формой судопроизводства, а чрезмерным обилием дел, подлежащих разбору каждого из судебных учреждений. Полицейский суд (poblice correctionnelle) не навлекал на себя того же упрека; подлежащие его разбору дела решались с замечательной быстротой[108].

По военной части мне удалось видеть только учения пехоты и присутствовать 22 апреля (4 мая) на королевском смотре новосформированных десяти стрелковых батальонов (bataillons des chasseurs de Vincennes)** которым при этом были даны знамена. Насколько я мог заключить из этих немногих

*уголовном суде (*пер. с фр.*).

**батальон Венсенских стрелков (*пер. с фр.*).

наблюдений, мне показалось, что вообще во французской пехоте не было той “выправки”, которую привыкли мы видеть в нашей и прусской армиях; особенно новобранцы на первых порах мешковаты и неуклюжи. В строю не требовалось педантического равнения и точности. Солдаты при офицерах держали себя непринужденно, даже слишком развязано. Трудно судить, в какой мере отсутствие наружной дисциплины и стройности вознаграждалось свойственными французскому солдату смышленостью и одушевлением. Новые стрелковые батальоны (которые видел я и в самом месте расположения их, в бараках между Венсеном и Ромянвилем) резко отличались от линейной пехоты

Солдат егерского батальона

и формой и выправкой, в особенности же вооружением. У них впервые появились винтовки или штуцера, то есть ружья à balles forcées*. Вообще Франция первая обратила тогда внимание на усовершенствование огнестрельного оружия. Увидев Венсенских стрелков, я подумал: как было бы желательно заимствовать нам у французов это нововведение, в особенности для кавказских войск. Впрочем полковник Глинка уже не раз обращал внимание нашего Военного министерства на производимые во Франции усовершенствования в оружии и стрельбе.

Из всех армий европейских французская имела в то время, если не самую красивую, то самую удобную обмундировку; особенно щеголевата была форма артиллерийская, также конной национальной гвардии. Венсенские же стрелки получили обмундировку совершенно нового покроя: это был первый пример замены в регулярных войсках куцых мундиров длиннополыми наподобие наших казакинов. Удобство и благообразие этой формы бросались в глаза сравнительно с короткими мундирами и красными шароварами французской линейной пехоты. У французов всегда была, как говорится, военная жилка; каждый "bourgeois"** кичится своим мундиром национального гвардейца. Меня часто забавляло видеть на улице, с каким самодовольством какой-нибудь щеголеватый Garde national à cheval*** бренчал своими шпорами и волочил со стуком свою саблю по тротуару; с какой важностью пузатый лавочник, облекшись в свою военную форму и став на часы, принимал воинственную осанку.

Перейду теперь к удовольствиям и развлечениям Парижа.

Я уже сказал, что довольно часто посещал театры. Тогда в Париже была лучшая в Европе итальянская оперная труппа, дававшая представления в театре Odéon; в прежнем же большом театре Итальянской оперы, только что перестроенном после пожара, давались представления Opéra-Comique. В итальянской труппе блистали такие знаменитости как: Рубини, Лаблаш, Тамбурини, m-me Grisi и другие. Мне случилось слышать их в "Отелло" и "Норме". К сожалению, эта блестящая труппа оставалась в Париже только до 1 апреля, потом перешла в Лондон. Впрочем, не меньшее наслаждение доставляла и французская "Большая" Опера в театре "Académie de musique": представления эти отличались великолепием постановки и многочисленностью труппы, в которой выдавались в особенности m-r Déprez и m-me Dorus-Gras. Я слышал их в "Вильгельм-Телле", "Роберте", "Дон-Жуане", "Жидовке". В Opéra-Comique, где отличилась m-elle Damoreau-Cinti, слышал я "Les deux Reines", "Près aux clercs", "Le domino noir".

Затем в "Théatre français" любовался я мастерской игрой m-elle Rachel в классических трагедиях: "Cinna", "Andromaque", "Marie Stuart". В том же

* с усиленными пулями (*пер. с фр.*).

** "буржуа" (*пер. с фр.*).

*** конный национальный гвардеец (*пер. с фр.*).

"Théatre français" давались и представления la haute comedie*. Мне случилось быть на одном из последних выходов на сцену знаменитой m-elle Mars, которая, несмотря на свои 65 лет, играла еще роль кокетки в известной комедии Казимира Делавинья: "L'École des vieillards". В Théatre du Palais Royal давались легкие пьесы и фарсы; здесь отличалась m-elle Dejazet. В этом театре мне случилось быть на представлении пьесы: "La maîtresse de langues", взятой из русского быта; это была как обыкновенно карикатура на русские нравы, возбудившая во мне не столько досаду на невежество французских писателей и недоброжелательство их к России, сколько горькое сознание в том, что действительное состояние России и наша отсталость от Европы подают повод к таким невыгодным для нас изображениям русской жизни.

Остается еще упомянуть о театре "Gymnase dramatique", где видел я Bouffé в двух пьесах: "Le gamin de Paris" (производивший фурор в Петербурге) и "Le père Turlututu"; еще о "Théatre du vaudeville", где славился комик Arnal. Наконец полюбопытствовал я зайти в "Cirque Olympique", где давались пантомимные и акробатические представления, — мало интересные.

Кроме театров, Париж доставляет путешественнику и другие разнообразные развлечения. Я уже говорил о больших гуляниях на Longchamps; о Jardin des plantes, где можно с удовольствием провести целое утро; о многих других публичных садах. Как добросовестные туристы мы с Теслевым полюбопытствовали заглянуть и в некоторые увеселительные заведения для низшего слоя парижского населения как в городе, так и в предместьях: Belleville и Romainville, где по воскресеньям собирается масса горожан и до упада танцует в роще под открытым небом. Какая разница между этими сборищами во Франции и Германии. Тяжелый, неуклюжий немец не умеет веселиться с таким увлечением, как француз.

Не ограничиваясь прогулками в ближайших окрестностях Парижа, ездили мы и в другие загородные места: в St.Denis, Neuilly, St.Germain, St.Cloud, Sevres, Версаль. В St.Denis не уцелело ничего от старины; все до корней истреблено революцией и то, что теперь нам показывали, ни что иное, как новейшее воспроизведение исторических воспоминаний монархической Франции. В Нёльи не могли мы видеть королевского загородного дворца, в котором королевское семейство имело в то время пребывание. Прочие знатные места посещаются только ради красивого местоположения на берегах Сены. В Версали мы были два раза; тогда вели туда уже две железные дороги по обеим сторонам реки (rive gauche и rive droite)**. В первую поездку (12/24 апреля) мы не могли видеть Версальского парка во всем его праздничном убранстве и занялись преимущественно внутренним осмотром дворца, обращенного в обширный музей картин, портретов и ваяний, увековечивающих достопамят-

---

* высокой комедии (*пер. с фр.*).

** левому и правому берегу (*пер. с фр.*).

ные события и деятелей французской истории. Здесь видели мы много новейших в этом роде произведений Вернэ (Horace Vernet), Штейбена, Шефера и других современных художников. В другой раз посетили мы Версаль 27 апреля (9 мая), в день большого народного гуляния, когда пущены были все большие фонтаны (les grandes eaux). По этому случаю на обеих железных дорогах отправлялись через каждые полчаса битком набитые поезда, так что трудно было доставать места. В парке Версальском набралась густая масса народа, среди которой катались в открытых экипажах королевская фамилия, за исключением самого Короля Луи-Филиппа, который избегал показываться в толпе. Версальское гуляние и великолепные фонтаны не произвели на нас особого впечатления после нашего Петергофа, которому Версаль послужил в свое время образцом.

19 апреля (1 мая) праздновался в Париже день именин Короля Луи-Филиппа. Устроено было на Елисейских полях народное гуляние, с балаганными представлениями, качелями и другими забавами, точь-в-точь как бывает у нас на масленице или Рождестве. Громадные толпы народа теснились целый день и до поздней ночи в Тюльерийском саду, на бульварах; а вечером город был иллюминован, и в нескольких местах пущен фейерверк. Мы бродили в толпе для наблюдения настроения народа; день прошел спокойно и благополучно — к полному удовольствию властей. На другой день, 20 апреля (2 мая), такие же народные увеселения повторились по случаю крестин графа Парижского. С утра толпы народа устремились к Notre Dame, где происходил обряд в присутствии королевской фамилии, придворных лиц и властей; позже и в особенности вечером, Тюльерийский сад, прилежащие к нему улицы, площади и набережные опять наполнились толпами народа, так что трудно было пробраться в сад. Несмотря на принятые полицией усиленные меры наблюдения, Король и в этот день не решился ехать открыто по тем улицам, по которым народ ожидал проезда его в соборную церковь, а проехал туда окольными путями, что вызвало в толпе ропот, насмешки, неприличные крики и арестование нескольких крикунов. Только вечером Король вышел на одну минуту на балкон Тюльерийского дворца и показался толпе, теснившейся за решеткою, отделяющею дворец от сада; раздалось несколько голосов: "Vive le roi"*, но большинство даже не приподняло шляп, а вслед за тем, по настойчивому требованию толпы, оркестр музыки, игравший на эстраде, должен был два раза исполнить Марсельезу. Шаткое положение власти во Франции заставляло правительство (министерство Гизо) принимать самые энергичные полицейские меры: войска вступали в караул с заряженными ружьями; на каждом шагу расставлены часовые; по улицам то и дело сновали патрули; с утра до ночи слышен барабан.

---

* "Да здравствует король" (*пер. с фр.*).

Назначенный нами срок пребывания в Париже истекал. Предположив выехать оттуда в Кале и далее, через канал в Англию, я должен был 24 апреля (6 мая) лично явиться в полицейскую префектуру, чтобы предъявить выданный мне билет на жилье в Париже и заменить его новым видом, по которому я мог получить обратно свой русский паспорт только в Кале при выезде из пределов Франции. Как ни стеснительны были такие паспортные формальности, однако же, я должен заявить, что в префектуре не пришлось мне ни дожидаться долго, ни подвергаться тем мытарствам и прижимкам, которые были так обычны в наших русских присутственных местах. Я получил желаемое без малейшего промедления.

28 апреля (10 мая), в 4 часа дня, выехал я из Парижа в дилижансе (Messagerie Royal)* вместе с Теслевым и Тизенгаузенами. Ровно через сутки 29 апреля (11 мая) мы были в Кале, где должны были переночевать в ожидании часа прилива морского и отхода парохода в Дувр. К сожалению, нам пришлось расстаться на время с бароном и баронессой Тизенгаузен, которые потеряли в дороге свой вид и должны были, для получения нового из Парижа, прождать в Кале целые сутки.

Во втором часу ночи нас разбудили и полусонных повели на пароходную пристань, где, перед самой посадкой на пароход, каждый из отъезжавших получал лично свой паспорт от полицейского комиссара. Еще до света снялись мы с якоря. Море было спокойно; но густой утренний туман охватил нас холодом и сыростью. Переправа продолжалась около трех часов, и когда рассвело, мы увидели перед собой белую полосу берега Альбиона. К 7 часам утра 30 апреля (12 мая) пароход наш причалил к набережной Дувра.

---

*Королевский почтовый двор (*пер. с фр.*).

АНГЛИЯ

Немедленно по прибытии в Дувр пассажиры парохода сошли на берег без всяких полицейских формальностей; никто и не спросил наших паспортов; но багаж наш был отвезен в таможню и осмотрен очень быстро. После сытного завтрака (lunch) в гостинице, мы выехали из Дувра около 8 $^1/_2$ часов утра в почтовой карете (Mail-coach), и к 4 часам пополудни были уже в Лондоне, проехав, таким образом, около 110 верст в 7 $^1/_2$ часов (то есть по 14 $^3/_4$ верст в час), с уплатой за переднее место на империале по 20 шиллингов, т.е. около 6 рублей на серебро.

Этот переезд из Дувра в Лондон произвел на меня глубокое впечатление, которое могу сравнить только с испытанным мной в первый день по высадке на берег Германии или позже, при спуске с Альпов в Италию.Так же, как тогда, я был поражен резким во всем различием между двумя соседними странами, разобщенными только трехчасовым плаванием. Все, что увидел я сразу в этот первый день вступления моего на британскую почву, носило на себе совершенно особый, исключительный характер; все было для меня ново и занимательно, начиная с почтовой кареты, в которой мы ехали. Для нас, русских, привыкших видеть в нашем "мочальном царстве" повсюду грязь, лохмотья, неряшество, казалось совершенно необыкновенным щегольское устройство королевской почты: прекрасная карета, запряженная четвернею отличных, одинаковой масти лошадей, цугом, с блестящей сбруей, с кучером, одетым в чистый фрак с цилиндром на голове и в белых перчатках, с почтальоном в красной форменной одежде, перевозила ежедневно почту и до 12 пассажиров. На каждых семи верстах лошади заменялись свежими; перепряжка исполнялась почти мгновенно, так что кучер не сходил с козел. Только раз на всем пути мы имели остановку на несколько минут для завтрака, заранее приготовленного. Все время ехали мы по превосходному шоссе, как бы среди прекрасного парка: ни одного клочка земли пустопорожнего или запущенного; везде отлично обработанные поля или ярко-зеленые луга, расчищенные рощи. Первые понятия об особом характере городов в Англии получил я, проезжая через Кентербери, в котором сохранилось много старинных готических зданий и великолепный собор в норманском стиле. Несмотря на угрюмый вид большей части построек в Англии, из темного кирпича, закопченных каменоугольным дымом, несмотря на пустоту в улицах, на серьезные, сосредоточенные физиономии обывателей, все носит на себе отпечаток довольства, благоустройства и высокой культуры.

По мере приближения к Лондону, все более замечались густота населения, торговое и промышленное движение. Города, через которые мы проезжали: Чатам, Рочестер и Гревезенд при устьи Темзы, Дартфорд, Вулич, Грин-

вич, Дептфорд — вдоль правого берега той же реки, почти сливались один с другим, составляя как бы одно громадное предместье Лондона. Везде кипела необычайная деятельность; везде дымились высокие трубы фабрик. Целый лес мачт на Темзе обозначал главный торговый путь к столице Великобритании. Таким образом, мы въехали в самый Лондон почти незаметно.

Дороговизна жизни в Англии побудила нас крайне сократить продолжительность пребывания нашего в Лондоне и отказаться от всяких поездок во внутрь страны. Мы решили оставаться там только девять дней, — что, конечно, было слишком мало даже для самого поверхностного ознакомления с таким громадным и своеобразным городом; но что делать, необходимо было соразмерить свои желания с имевшимися средствами. В тех же видах остановились мы в рекомендованной нам недорогой гостинице (George and Vulture) среди City в улице Cornhill street. Гостиница эта, как оказалось, посещалась преимущественно торговым людом и особенно иностранными приезжими купцами. Несмотря на то, в ней не нашлось ни одного человека, который понимал бы другие языки, кроме английского; а мы с Теслевым не говорили на этом языке, что ставило нас часто в положение крайне затруднительное, особенно в первый день, до приезда баронессы Тизенгаузен, которая одна из нас четверых говорила по-английски. Однако ж, и во все время пребывания нашего в Лондоне мы не могли обходиться без наемного провожатого (лон-лакея), который получал по 6 шиллингов в день. Вообще в Англии путешествующий иностранец не находит такой предупредительной услужливости, как на континенте. Выбранное нами пристанище в самом центре Лондона оказалось не только не комфортабельным, но и неудобным для нас во многих отношениях. Отсюда нам приходилось почти ежедневно тратить много времени на переезды в омнибусах по бесконечным улицам. Расстояния в Лондоне так велики, что переезд с одного края города до другого требует до двух-трех часов.

Дорожа коротким временем предположенного пребывания в Лондоне, мы должны были целые дни бродить по городу, не теряя ни минуты для отдыха. Выйдя утром из гостиницы, мы уже не возвращались домой до самой ночи, обедали там, где приходилось попутно, в какой-нибудь таверне; однако ж, позволили себе раза два посетить Верри (Verrey) — знаменитый ресторан на Regent-street. Только благодаря нашей неутомимой подвижности и любознательности, успели мы ознакомиться с внешним видом обширного города, осмотреть главные его достопримечательности и побывать в лучших местах его окрестностей. Чтобы видеть что-нибудь в Англии, нужно иметь, кроме шиллингов в кармане, еще рекомендательные письма или входные билеты. В этом отношении помогли нам генеральный консул наш Бенкгаузен и секретарь посольства Берг, с которыми мы познакомились в первый же день по приезде в Лондон. Они снабдили нас письмами к директорам разных учреждений, более или менее для нас интересных.

При обзоре общей физиономии Лондона, прежде всего бросаются в глаза резкие противоположности между разными частями города: серьезный, даже сумрачный вид деловой и торговой центральной части — City, и рядом — великолепие, роскошь, многолюдство, оживление фешенебельной части — Вест-Энда; с другой же стороны — ужасающая нищета Ирландского квартала; мертвая тишина пустынных широких улиц отдаленных северных кварталов, и кипучая деятельность фабрик и заводов на восточных окраинах, в доках по берегам Темзы; почти постоянный туман и мгла, пропитанный каменноугольным дымом воздух, темный цвет закопченных домов — и вместе с тем яркая зелень в прекрасных парках и скверах.

Как страстный любитель архитектуры я смотрел с удовольствием на множество величественных зданий новой постройки, преимущественно в Вест-Энде; вообще они отличаются солидностью и грандиозностью. Но более восхищался я некоторыми остатками старинных готических построек. В особенности произвела на меня впечатление внутренность Вестминстерского аббатства. Здание же дворца Вестминстерского в то время еще только перестраивалось после бывшего пожара. Собор Св.Павла не производит особенного эффекта после римской базилики Св.Петра: роскошная внутренняя отделка составляет резкую противоположность с белыми, голыми стенами Св.Павла.

Лондон богат замечательными хранилищами произведений искусств и промышленности. Мы успели осмотреть главнейшие из них: National Gallery, Adelaide Gallery, British Museum, Politechnical Institution. Из всех этих учреждений наиболее заинтересовало меня последнее: в нем ежедневно масса посетителей знакомится наглядно со всеми отраслями современной техники и слушает с живой любознательностью читаемые в особых залах популярные лекции о разных предметах положительных знаний. Признаюсь, я смотрел с завистью на такое полезное учреждение и мечтал о том, как было бы благотворно нечто подобное у нас, при низком уровне технического образования в промышленном и торговом классах.

В числе виденных мной в Лондоне любопытнейших предметов назову Лондонскую "башню" (Tower) — мрачный и суровый памятник средневековой истории Великобритании, и тоннель под Темзой — современный образчик смелой предприимчивости европейского человека. В то время не была еще окончена работа спусков в тоннель на обеих берегах реки, а потому можно было спускаться только пешком. Упомяну еще в числе замечательностей Лондона об Английском банке и Ньюгетской тюрьме, в которых можно полюбоваться образцовым благоустройством и порядком. Примером же колоссальных размеров промышленных заведений в Англии послужил нам осмотренный подробно пивоваренный завод Барклая и Перкенса.

Чрезвычайно полюбопытствовал я увидеть английский парламент. Тогда обе палаты имели временные помещения в уцелевшей от пожара части Вест-

минстерского здания. Меня удивила крайняя простота и даже бедность этих помещений. В особенности зала Нижней палаты была похожа на временный барак. После грандиозной обстановки французских палат и оживленных заседаний их, английские показались мне чрезвычайно скромными и вялыми. Правда, что и самые предметы тех прений, при которых случилось мне присутствовать, не представляли ничего замечательного. Притом в английских палатах не бывает многочисленной публики, которая, по ограниченности места на хорах, допускается только в ограниченном числе по билетам. Небрежная одежда членов парламента, сидевших большей частью в шляпах на голове и в самых непринужденных позах, придавала заседанию вид как бы домашнего совещания и составляла странную противоположность напудренным парикам и средневековому покрою мантий, в которые облечены были председатели и секретари. Члены беспрестанно входили и выходили; много мест оставалось не занятыми. Иные члены приезжают в парламент верхом в соответствующем одеянии. В том числе случилось мне видеть у подъезда парламента знаменитого герцога Велингтона, который показался мне еще весьма бодрым для своих лет (ему было около 73 лет).

После заседаний палат осматривал я громадную залу Westminster hall и заходил в соседние с ней помещения, где происходили заседания суда. Судьи важно сидели в напудренных париках и мантиях; разбирательство дел происходило спокойно, чинно; но внешняя обстановка и здесь была весьма простая и незатейливая.

О лондонском обществе, конечно, я не мог сделать никаких наблюдений. В качестве туриста, мне случилось видеть тамошний high life* в Hyde Park, где ежедневно между 4 и 7 часами дня собиралась масса избранной публики. Глаза разбегались от множества роскошных экипажей, кровных верховых лошадей, щегольских нарядов дам. Видел также высшую публику и в Королевском театре, где в то время давались представления той же Итальянской оперной труппы, которую перед тем слышал я в Париже. Навыворот общепринятого на континенте обычая в лондонском театре места в партере по своей высокой цене (по 3 гинеи за кресло) доступны только для людей весьма состоятельных; для посетителей партера обязателен наряд, принятый на вечерах и балах: мужчины являются во фраках и белых галстуках, женщины — в открытых платьях, осыпанные бриллиантами. Мы, скромные туристы, достали себе места в ложе и с удовольствием прослушали оперу Доницетти "Straniera". Это был единственный вечер, посвященный нами театру.

Кроме того, имели мы два случая видеть высшую аристократию и Королевский Двор в торжественной обстановке. В первый день осмотра города 1/13 мая попали мы в собор Св.Павла на торжественную службу с превосходной музыкой в пользу бедных вдов и сирот; при этом присутствовали в парадных мундирах высшие сановники и в числе их Принц Альберт супруг Королевы,

---

* высший свет (*пер. с англ.*).

которая не приехала по нездоровью. В другой раз, 9/21 мая, в последний день пребывания нашего в Лондоне, происходило празднование именин Королевы Виктории: мы заняли место в толпе народа, теснившегося с утра на улицах, по которым следовал парадный поезд Королевы из Букингемского дворца в С.-Джемский, где она принимала поздравления. Здесь снова поражали нас роскошь и щегольство экипажей и лошадей. В главе и в хвосте кортежа следовало по взводу великолепной конной гвардии королевской (Horse guards). Сколько мог я тогда заметить, толпа держала себя холодно и равнодушно. Вечером была иллюминация; лучшие части города были залиты огнями.

В воскресные дни, как известно, Лондон как будто замирает: улицы пусты, лавки, магазины, общественные учреждения заперты, всякая деятельность прерывается. Поэтому мы избрали один из воскресных дней, 4/16 мая, для загородной поездки в Ричмонд. Доехав туда в омнибусе, далее поднялись по Темзе на лодке до Hempton court, где среди прекрасного парка находится дворец в готическом стиле. Загородная эта прогулка после нескольких дней, проведенных в осмотре разных музеев и галерей, в бегании по городским улицам между закопченных стен, была для нас приятным отдыхом среди зелени на чистом воздухе. В этом отношении окрестности Лондона прелестны. Понятно, что в воскресные дни туда спасается большая часть горожан от городской пустоты и скуки. Ежеминутно отходят по разным направлениям омнибусы и поезда железных дорог, набитые битком пассажирами. Те благочестивые лондонцы, которые в этот день не смеют показаться на городских улицах, проводят время очень весело в загородных кофейных домах и тавернах.

Другую, не менее приятную поездку предприняли мы 5/17 мая в Виндзор по железной дороге, ведущей в Бристоль (Great Westrailway). С любопытством осматривали мы замечательный Виндзорский замок и готические строения известной коллегии в городе Итоне (Eton); гуляли по живописному парку и к обеду вернулись в Лондон по той же железной дороге.

В противоположную, восточную, сторону от Лондона также ездили мы два раза: 3/15 мая — в Гринвич по железной дороге, устроенной на арках поверх городских кварталов Сутварка (Southwark). В Гринвиче осматривали мы астрономическую обсерваторию и громадный дом Инвалидов. 7/19 числа ездили в Вулич на пароходе по Темзе, и тут имели случай видеть кипучую торговую деятельность Лондонского порта. Темза может быть сравнима с самой многолюдной и оживленной городской улицей. Получив разрешение от военного министра, мы осматривали в Вуличе знаменитые технические учреждения военного и морского ведомств; показывали нам далеко не все, что было желательно видеть; но и то, что показывали, поражало громадностью размеров. Из Вулича обратно проехали на пароходе до станции железной дороги Blackwall railway, по которой и проезжали путь до Лондона. На этой дороге поезда двигаются без паровоза, а посредством цепи, приводимой в

движение неподвижными паровыми машинами, установленными на обеих конечных станциях. Рельсы этой дороги (также как и на упомянутой Гринвической) проложены на арках поверх целых кварталов города.

9/21 мая после последнего утомительного дня странствований по Лондону выехали мы вечером опять в почтовой карете (Mail coach) обратно в Дувр. Теслев

Страница из путевого дневника. Англия

и я взяли по-прежнему два передних места на империале; а барон и баронесса Тизенгаузен сели внутрь кареты. Всю ночь ехали мы, едва удерживаясь от одолевавшего нас сна. В 7 часов утра (10/22 мая) прибыли в Дувр и часа через два отплыли на пароходе в Кале. При выезде нашем из Англии никто не полюбопытствовал спросить у нас паспорта, ни осматривать наши пожитки.

Признаться, я покинул берега Альбиона не только без сожаления, но даже почти с удовольствием: десятидневное пребывание в этой своеобразной стране было уже слишком тяжело, утомительно и к тому же накладно для тощего кармана. Тем не менее я был рад, что заглянул, хотя и на короткое время, в этот совершенно особый уголок мира. Англия во всем отличается от других стран континентальной Европы. Прежде всего она поражает путешественника колоссальностью во всем: и в постройках, большей частью массивных и тяжелых, и в технических сооружениях, и в промышленных или торговых предприятиях, и в накопленных капиталах, и в роскоши состоятельных классов. Куда ни обернешься, везде кипит жизнь, напряженная деятельность; работают бесчисленные фабрики и заводы. Для предприимчивости Джон-буля не существует пределов. В этом отношении Англия произвела на меня такое впечатление, что в одном письме своем И.Ф.Веймарну 30 мая (11 июня) я выразил, что при тогдашнем положении Европы угрозой для политического ее равновесия может быть одна Англия.

Другая отличительная черта этой страны есть высокая степень общественного благоустройства и благосостояния. Это в полном смысле слова передовая страна европейской культуры. Государственный механизм отрегулирован с замечательной исправностью; порядок и спокойствие охраняются превосходно полицией; частная жизнь обставлена всеми удобствами. Само выражение comfort есть произведение чисто английское.

Многому, очень многому приходится нам, русским, позавидовать в Англии; но едва ли в чем-либо могли бы мы подражать англичанам, или что-либо заимствовать от них. Характер английского народа, практичного, положительного, энергичного, расчетливого составляет слишком резкую противоположность нашей русской и вообще славянской натуре. Существующее в Великобритании поразительное сопоставление колоссальных богатств рядом с крайней нищетой, надменной, эгоистичной аристократии родовой и финансовой, с бедствующим, униженным пролетариатом — претит русскому чувству. Вот почему Лондон не привлекает нас, как Париж, Рим, Неаполь; вот почему мы относимся сочувственнее к французу, итальянцу, чем к британцу или тевтону.

БЕЛЬГИЯ И ГОЛЛАНДИЯ

Довольные возвращением на континент, мы перенесли терпеливо французские стеснительные формальности, полицейские и таможенные, и немедленно выехали из Кале, по-прежнему вчетвером, в наемной карете, взятой до Остенде. Мы торопились переехать французскую границу засветло, потому что выезд из Франции был сопряжен с такими же стеснениями и формальностями, как и приезд. Напротив того, на бельгийской таможне нас пропустили без всякой проволочки и мы доехали в тот же день до местечка Ферне (Veurne), где остановились на ночлег. На другой день (11/23 мая), встав рано утром и проехав через бельгийскую крепость Ньюпорт, мы были уже к 10 часам утра в Остенде. День был воскресный; богомольные фламандцы выходили из церквей в своих оригинальных костюмах. Население здесь более подходит к голландскому, чем к французскому. В ожидании часа отхода поезда железной дороги в Брюссель, мы осмотрели городок, морские его купания, и выехав в 3 часа пополудни, прибыли к 7 $^1/_2$ часам вечера в столицу юного Королевства Бельгийского.

Для осмотра Брюсселя достаточно было одного дня: город не обширен и мало заключал в себе замечательного. В старом городе мы осмотрели соборную церковь Св.Михаила и Св.Гудулы и ратушу — прекрасные образцы готической архитектуры. Новый же город в верхней части, еще только что отстраивался. Здесь на каждом шагу заметно было подражание Парижу. Но если некоторые брюссельские улицы и могли напоминать парижские, то разве только в миниатюре. Весь Брюссель мог быть приравнен лишь к второстепенным городам Франции. Музей Брюссельский (Palais des arts et de l'industrie) не заключал в себе ничего выдающегося. Полюбопытствовали мы зайти в так называемый "Palas de la nation", то есть в здание Палат, и нашли, что помещение Нижней палаты было совершенно сколком с парижской палаты депутатов; Верхняя же палата, по своему расположению, более напоминала английскую палату лордов. Закончив в тот же день (12/24 мая) осмотр города, мы отправились в следующий день в наемной коляске на поле Ватерлооского сражения[109]; внимательно осмотрели его на всем протяжении и для лучшего обзора всей местности влезали на высокий холм, на вершине которого, на том самом месте, где ранен был Принц Оранский, воздвигнут голландский памятник в виде бронзового льва.

14/26 мая отправились мы из Брюсселя по железной дороге в Антверпен, который еще не был тогда главным укрепленным пунктом Бельгии. Мы ограничились осмотром музея и некоторых старинных готических зданий: собора и ратуши, и к вечеру прибыли по железной же дороге в Люттих, знаменитый

своими оружейными заводами. Остановились мы случайно в той же гостинице, где проживал русский артиллерийский полковник Игнатьев*, командированный нашим правительством по случаю заказа в Люттихе штуцеров по французскому образцу для вооружения вновь сформированных у нас стрелковых батальонов. Конечно, мы познакомились с нашим соотечественником и, благодаря ему, осмотрели как новый казенный оружейный завод, так и некоторые из частных мастерских, разбросанных в большом числе не только в городе, но и по окрестным деревням. Употребив на это все утро 15/27 числа, мы в тот же вечер отправились далее в наемной карете, переехали Прусскую границу и только в первом часу ночи добрались до Аахена, где едва добились помещения в гостинице "Rheinische Hof".

По первоначальному плану моего путешествия, Аахен был конечной целью его; здесь, по совету петербургских и берлинских эскулапов, я должен был обрести исцеление моих недугов. На этом основании условлено было мной с моими корреспондентами, чтобы письма ко мне после известного срока адресовались в Аахен. Конечно, первым моим делом по приезде туда** было зайти на почту, где и нашел я письмо от отца; оно тем более меня обрадовало, что уже давно не имел я известий с родины. Затем осмотрел я во всей подробности заведение минеральных вод. Осмотр этот укрепил во мне возникшие уже ранее сомнения относительно действительной пользы предписанного мне лечения горячими серными ваннами. В этом отношении повлияли на меня настойчивые убеждения моего товарища Теслева, который давно уже предостерегал меня от вредных последствий подобного лечения и, наоборот, восхвалял испытанное им на себе благотворное действие гидропатии, то есть лечения чистой, холодной водой. По уверению его, лечение это представляет ту важную выгоду, что предохраняет тело и на будущее время от чувствительности к простуде. В самом Аахене я окончательно поддался этим внушениям и, вопреки советам врачей, решился испробовать водяное лечение в Боппарде на Рейне, где Теслев лечился уже два года сряду.

Итак, мы сговорились с ним провести вместе недель шесть на Рейне в водолечебном заведении Мариенберг (близ Боппарда); а до начатия курса предпринял еще поездку по Голландии. По окончании же лечения, план наш состоял в том, чтобы подняться по Рейну в Швейцарию, оттуда спуститься в Северную Италию и через Венецию и Вену возвратиться в отечество. Для осуществления такого плана необходимо было продлить наш отпуск, и потому испрошена была мной трехмесячная отсрочка (по 28 октября).

В Аахене пробыли мы всего один день и успели видеть главнейшие достопримечательности этого исторического города. Собор Аахенский — чрез-

* Впоследствии был полным генералом, инспектором наших оружейных заводов и, наконец, членом Артиллерийского Комитета.

** в автографе на полях приписка: 16/28 мая (*прим. публ.*).

вычайно оригинальная постройка; часть его, как уверяют, сохранившаяся со времен Карла Великого, заключает в себе гробницу этого Императора и много других остатков той отдаленной эпохи. Также замечательна ратуша, готической архитектуры, с огромной залой. Под вечер выехали мы из Аахена в наемной карете, проехали через прусскую крепость Юлих и к 4 часам ночи прибыли в Кельн. Несмотря на живописную местность и прекрасный вечер, переезд этот показался мне несносным, благодаря мучившей меня зубной боли.

В Кельне расстались мы с бароном и баронессой Тизенгаузен, которые отправились на пароходе вверх по Рейну в Майнц; мы же с Теслевым в 7 часов утра отплыли в противоположную сторону вниз по течению Рейна. Река эта в низовьях течет в низменных, почти плоских берегах; на пути нашем замечательно было только видеть множество встречавшихся судов, по которым можно было судить о размере торгового движения в этой части Рейна. Миновав Дюссельдорф и Везель, пароход наш остановился у пристани на границе Пруссии с Голландией. Таможенные и паспортные формальности задержали нас на целый час, и затем вошли мы в левый рукав Рейна — Ваал, а в 7 часов вечера остановились для ночлега у Нимвегена. Мы успели еще засветло пройтись по городу, потом наслаждались прекрасным вечером в городском саду и возвратились к ночи на пароход. Нимвеген был первый голландский город, где мы имели случай подметить некоторые особенные черты: необыкновенную опрятность домов и улиц, добродушные, цветущие лица обитателей, оригинальные костюмы, в особенности женщин, и т.д.

На другой день 18/30 мая, продолжали мы путь по Ваалу, который становился все шире и даже разливался на большое пространство, образуя множество островов. Здесь уже чувствительно действие морского прилива и отлива, так что пароход наш попал было на мель, и простояв около часа, потом был снесен с нее приливом. Около полудня пароход остановился у Дордрехта, а потом вошел в боковой рукав реки, соединяющий Ваал с правым, главным рукавом Рейна — Леком. Во 2-м часу дня вышли мы на берег в Роттердаме.

Это первый город Голландии после Амстердама, по своей обширности, населенности и торговле. Здесь уже можно составить себе полное понятие о типичном характере голландского города с лабиринтом каналов, взамен улиц, с аллеями густых деревьев по берегам, с опрятными домами из разноцветного кирпича, с высокими черепичными крышами. Во многом голландские города и деревни напоминают английские, но здесь все мельче в размерах и как-то уютнее*.

Переночевав в Роттердаме, мы на следующий день (19/31 мая) рано утром отправились в дилижансе до Дельфта, а далее на барке (treschuyten) по каналу до Гааги. Путь по каналу был весьма приятен и занимателен; мы

* Далее в автографе зачеркнуто: Всматриваясь в старомодные местные костюмы, в нравы и обычаи голландцев, я встречал некоторые черты, напоминавшие кое-что пересаженное к нам Петром Великим и отчасти сохранившееся до сих пор преимущественно в нашем купеческом сословии (*прим. публ.*).

любовались благоустройством, довольством и своеобразной прелестью страны, где все создано исключительно трудолюбием, предприимчивостью и смышленостью человека. Голландия так не похожа на всякую другую страну, представляет столько своеобразного, что я едва успевал уловить все те черты, которые бросались в глаза в течение каждого дня. Это как бы совершенно новый мир.

В Гаагу (по-голландски S'gravenhage) прибыли мы около полудня, поместились в лучшей гостинице "Hôtel du vieux Doelen" и немедленно же пустились осматривать город, а под вечер пошли пешком в Scheveningen — место купания на морском берегу. По случаю праздничного дня, на пути нашем встречались толпы гулявших, в нарядных одеждах, пешком и в экипажах. Сам город мало оживлен и вовсе не похож на европейскую столицу. Он так же опрятен, как и другие города голландские*. Главная замечательность Гааги — музей, в котором заключаются превосходные произведения первостепенных художников Голландии и Италии, и богатая коллекция самых разнообразных редкостей. На другой день утром обошли мы прекрасный и обширный парк, среди которого находится загородный Королевский дворец Huys in Boosch, заключавший в себе ценные произведения искусства.

В полдень того же дня (20 мая/1 июня) выехали мы из Гааги в дилижансе, через Лейден в Гаарлем. Путь наш пролегал по местности столь же низменной, пересеченной во всех направлениях каналами и плотинами, и столь же обработанной, как та, которую уже видели мы в прежние наши переезды; везде опрятность, благоустройство, довольство. Лейден нашли мы в праздничном убранстве и необычайном оживлении, по случаю переезда Короля. Дорога наша шла на значительном протяжении по плотине, пересекающей Гаарлемское озеро. Здесь мы видели начало работ, предпринятых для осушения обширного этого водного пространства. В самом Гаарлеме, знаменитом своим цветоводством, заходили мы в некоторые сады, производящие огромную торговлю гиацинтами, тюльпанами и другими цветами. Другая замечательность Гаарлема — превосходный орган в церкви S.Bavo. В 8 часов вечера сели мы в поезд железной дороги и в полчаса доехали до Амстердама. Дорога эта вся проложена на сваях или на плотинах, между озером Гаарлемским и морским заливом Э (Het Y).

В Амстердаме мы остановились на два дня в гостинице "Hôtel des Pays bas". Несмотря на поздний час, мы немедленно же по приезду прошлись по главным улицам: "Nieuwe Dyx" и "Kalver Straat", которые напомнили нам лучшие оживленнейшие улицы других европейских столиц. По всему протяжению их непрерывный ряд роскошных магазинов, ярко освещенных газом; толпы народа двигались взад и вперед. Но когда на другой день с утра пусти-

* Далее в автографе зачеркнуто: но сравнительно здесь более новых построек в современном стиле архитектурном (*прим. публ.*).

лись мы осматривать город при дневном свете, то вынесли из нашего обзора совсем другое впечатление, чем при первой вечерней прогулке. Начав наше наблюдение с Королевского дворца — старого, массивного здания, мы взошли на самую вершину его башни, откуда город представился нам, как на плане, весь пересеченный каналами (Gracht) и обрамленный в виде полукружия бульварами, разведенными на бывших крепостных валах. Невольно припоминался наш Царь Петр, который несомненно взял этот город за образец при разбивке плана своей новой столицы на берегах Невы. После дворца, ратуши и некоторых церквей, осмотрели мы музей и картинную галерею, богатую в особенности образцовыми произведениями голландской школы. Затем прошли к докам, которые объехали в лодке. Масса стоявших тут кораблей всех наций напоминала лондонские доки, конечно, в уменьшенном размере, и давала мерку все

Рисунок из путевого дневника. Голландия

еще громадного торгового значения Амстердама. Прогулка наша закончилась зоологическим садом.

Обойдя таким образом почти весь город, мы уже могли составить себе заключение об общей его физиономии. Хотя по своему расположению и образу построек Амстердам и представлял общие всем голландским городам типичные черты, однако ж он расходится с ними в том именно, что в них всего симпатичнее: вместо замечательной опрятности, свежести, благодушия, которыми мы восхищались до сих пор в Голландии, в Амстердаме, напротив того, поразили нас нечистота и смрад от скученности населения и стоячих вод в каналах. Амстердам естественно получил свойства всех портовых и торговых городов. Занимаемое им пространство, замкнутое линией прежних укреплений, сделалось несоразмерным с числом его жителей. Заметно вдобавок в его населении значительная примесь еврейского элемента.

После осмотра города предприняли мы на другой день, 22 мая (3 июня), поездку в Северную Голландию (Nord Holland). Эта поездка была в высшей степени занимательна и поучительна; она дала нам понятие о необыкновенно высокой и своеобразной культуре этой страны, отвоеванной у моря трудом человека. Весь полуостров, отделяющий большой залив Зюйдер-Зее от открытого моря, состоит из так называемых "польдеров", то есть небольших, огражденных плотинами участков, дно которых ниже морского уровня, так что вода, в них накапливающаяся, выкачивается посредством ветряных мельниц. Низменная поверхность этих участков покрыта густыми кормовыми травами, дающими обильный корм для скота — главного богатства и промысла здешнего населения. Повсюду видны небольшие деревеньки и местечки, поражающие своей изумительной чистотой, даже в сравнении с другими местностями той же Голландии. Не видевши этой страны собственными глазами, трудно представить себе до чего доведена эта голландская чистоплотность. Небольшие деревянные домики, с высокими черепичными крышами, с прозрачными (иногда цветными) стеклами в окнах, построены с такой же тщательностью, с какой строятся корабли, и снаружи окрашены масляными красками. И внутри дома — комнаты похожи на каюты корабля. Каждую неделю стены обмываются не только внутри, но и снаружи; полы покрыты циновками. Парадный фасад дома всегда выходит на чистую улицу, вымощенную мелкими камешками в виде узорчатой мозаики, и посыпанной белым песком. Улицы эти большей частью открыты только для пешеходов; ни повозки, ни лошади, ни скотина не допускаются на чистую улицу, обычное движение производится по задним дорогам, на которые выходят ворота внутренних дворов, обстроенных конюшнями, сараями, помещениями для скота и для всяких других хозяйственных надобностей. И все эти помещения содержатся до такой степени опрятно, что в летнее время, когда скот и лошади на подножном корму, сами хозяева переселяются в опустелые стойла. При каждом

домике непременно цветник, выходящий на чистую улицу, а на задней стороне усадьбы — огород.

Чтобы осмотреть хотя бы малую частицу этой диковинной страны, мы потратили весь день 22 мая (3 июня). Переехав в лодке через пролив Э, проплыли еще некоторое расстояние по замечательному каналу, по которому морские суда идут от Гельдера (северной оконечности полуострова) прямо к Амстердаму, во избежание бурного плавания по Зюйдер-Зее. Выйдя на берег у одного из шлюзов (устройство которых при этом случае удалось мне подробно осмотреть), мы тут наняли экипаж для объезда замечательнейших пунктов Северной Голландии, именно: через деревни Buiksloot, Broek, Monnikendam, Edam, Purmerend и Zaandam (Саардам)*. Из всех этих пунктов более продолжительное время посвятили мы селению Брек и Саардаму. Первое может быть названо идеальным обращиком северо-голландского селения. Мы входили в дома некоторых из знакомых нашему проводнику поселян, осматривали хозяйственные их помещения и были поражены педантически-опрятным содержанием домов. Парадная комната в каждом доме, так же как и парадный вход с улицы, открываются только в торжественные моменты жизни семьи. Нам рассказывали, что при посещении Голландии Наследником Цесаревичем Александром Николаевичем в сопровождении В.А. Жуковского только в виде особенной почести хозяин дома отворил для него парадный вход. Осмотр нескольких домов показал нам, что вообще поселяне в этом крае пользуются высокой степенью довольства, хотя и весьма скромно.

Не менее было для нас занимательно посещение Саардама, где сохранились живые следы пребывания великого преобразователя России. Отличительной чертой наружного вида Саардама служит бесчисленное множество ветряных мельниц, которых впрочем много во всей Голландии; это главный (по крайней мере в описываемое время) двигатель всей промышленной деятельности страны. Саардам уже тогда перестал быть местом судостроения; достопамятные верфи, на которых наш царь учился кораблестроению, давно уже не существовали; но домик, служивший ему обиталищем, сохраняется бережливо. С благоговением осматривали мы все подробности этой исторической святыни и вписали свои имена в книгу посетителей (чуть ли не двадцатый том in folio).

Возвратившись в Амстердам около 9 часов вечера, мы на другой день, 23 мая (4 июня), утром выехали оттуда в дилижансе через Утрехт в Арнгейм. В Утрехте застали мы еще свежие следы вчерашнего торжественного приема Короля, а в Арнгейме попали в самый день его приезда. Толпы народа теснились в иллюминованных улицах маленького городка; в особенности же на площади перед дворцом, где происходил бал. Около 11 часов на главной улице появился сам Король; в парадном мундире проехал он верхом с многочислен-

*Так принято у нас называть это достопамятное местечко, но правильное его название Зандам.

ной свитой, с музыкой и эскортом кавалерии. Обыкновенно флегматичное население одушевилось, встречало Короля восторженными криками и песнями. Военные мундиры в Голландии были в ту эпоху весьма сходные с русскими. Выехав таким образом за городские ворота, Король сел в дорожный экипаж и отправился в дальнейший путь, при тех же восторженных криках толпы. Невольно приходило мне на мысль сравнение виденного мной в этот день настроения народа перед новым Королем Вильгельмом II (только что вступившим на престол) с тем, что случилось мне видеть несколько прежде в Париже и Лондоне в дни именин Короля Луи-Филиппа и Королевы Виктории.

С выездом из Арнгейма утром 24 мая (5 июня) закончилась наша семидневная поездка по Голландии. Короткое это время, конечно, едва достаточно было для того, чтобы ознакомиться лишь с общей физиономией страны; но своеобразные ее черты бросаются в глаза с первого же взгляда. Даже после Англии я был поражен в Голландии высокой степенью ее благоустройства и благосостояния, необыкновенным трудолюбием, настойчивостью и практическим смыслом народа, умевшего при самых неблагоприятных условиях природы достигнуть замечательного довольства, развить в обширных размерах промышленность и торговлю. Голландцы со своим добродушием и веселостью, со своими здоровыми, румяными лицами, разумностью в своем домашнем быту показались мне народом весьма симпатичным.

От самого Арнгейма ехали мы вдоль правого берега Рейна в прусском дилижансе. Переехав через границу Пруссии, остановились у городка Эмерик для прописки паспортов и таможенного осмотра, а к вечеру прибыли в Дюссельдорф. Утро следующего дня посвятили на осмотр этого города; посетили "Академию художеств", где большей частью собраны произведения новейших немецких художников так называемой Дюссельдорфской школы, основанной Шадовым. Как нижний, старый город, так и верхний, новый, показались нам пустынными и неоживленными, чему способствовала, быть может, и дождливая погода. Вечером того же дня мы доехали опять в дилижансе до Кельна, где провели весь следующий день 26 мая (7 июня). После педантической опрятности, к которой наш глаз привык в Голландии, немецкие города показались нам грязными и мрачными. Особенно произвел на нас такое впечатление Кельн. Темная масса громадного готического собора, стоявшего тогда в недоконченном виде, как бы давила весь город своей тяжестью; зато с вершины его башни (другая оставалась недостроенной) открылся нам очень обширный вид во все стороны. В Кельне уцелели еще некоторые древности даже римских времен; картинная его галерея показалась нам мало замечательной после всех виденных уже нами громадных сокровищ искусства. Более же интересовали меня новые фортификационные сооружения, которые в то время не были еще докончены. Сохранившиеся кругом всего города старинные каменные стены были обращены в непрерывную ограду, прикрытую спереди

земляными насыпями, фланкируемую каменными капонирами и равелинами. На правой стороне Рейна также укреплено местечко Дейц, соединенное с Кельном длинным плавучим мостом. Укрепления Кельна принадлежали к числу первых применений новой системы фортификации, основанной на каменных сводчатых постройках, но я осматривал эти укрепления не очень внимательно, рассчитывая иметь вскоре случай увидеть в Кобленце более значительные работы современных германских инженеров.

От Кельна до Кобленца проехали мы на пароходе утром 27 мая (8 июня). На этом пути, начиная от Бонна, оба берега Рейна постепенно возвышаются и принимают характер гористый. На каждом изгибе реки, за каждой выдающейся скалой открывается новый живописный вид, со множеством живописных развалин старинных рыцарских замков. В Кобленце мы вовсе не останавливались, в том соображении, что успеем побывать там на досуге в продолжение предстоящего нам долгого пребывания в водолечебном заведении близ Боппарда, в каких-нибудь трех милях от Кобленца. Утомленные непрерывным в течение целого месяца странствованием, мы торопились добраться скорее до главной цели нашего путешествия и доехали туда еще засветло в дилижансе.

НА РЕЙНЕ

С самого выезда из Парижа в течение ровно месяца мы с Теслевым находились в непрерывном движении, без единого дня отдыха. Перед нашими глазами промелькнуло столько новых предметов, местностей, личностей, что внимание наше от продолжительного напряжения начало притупляться. Мы оба чувствовали крайнее утомление, не только физическое, но и нравственное. Утомление это уже отзывалось на моем здоровье: кроме мучившей меня по временам зубной боли, возобновились в последнее время и прежние мои желудочные расстройства. Пора было отдохнуть и приступить к предположенному лечению, ради которого предпринято было все мое продолжительное странствование.

Водолечебное заведение "Мариенберг" занимало обширное строение старинного монастыря на уступе горы, у подошвы которой, на левом берегу Рейна, находится городок Боппард. Здание составляло двухэтажный квадрат; вдоль всех четырех фасов его тянулся широкий коридор, из которого открывались бесчисленные входы в отдельные комнаты, служившие помещением пациентов. В нижнем этаже находились: большая столовая, ванны и хозяйственные помещения. При заведении был довольно обширный сад, простиравшийся по скату горы.

Директор заведения доктор Schmitz принял меня любезно и, расспросив о моих недугах, объявил, что для полного излечения моего необходимо пробыть на его попечении недель шесть; затем отвел мне комнату во втором этаже, рядом с помещением Теслева, который был уже на ноге старого знакомца дома. Доктор вручил мне печатное наставление с подробным указанием установленного в заведении порядка и принятых правил лечения. Со следующего же дня (28 мая/9 июня) я был подвергнут всем тяжким истязаниям гидропатии. С рассветом будит меня неумолимый прислужник, безмолвно сбрасывает с меня одеяло, завертывает всего с руками и ногами в мокрую простыню, закутывает в несколько фланелевых одеял и, уподобив таким образом египетской мумии, заставляет лежать более часа неподвижно, не позволяя заснуть и только давая по временам глоток холодной воды. В таком беспомощном положении остается пациент до тех пор, пока не выступит из всех пор обильный пот. Тогда прислужник поднимает мумию, становит на ноги, раскрыв только снизу оболочки ступней настолько, сколько необходимо для передвижения едва заметной перестановкой ног; надев на них туфли, сводит в таком положении по лестнице в помещение ванны. Тут на самом краю небольшого бассейна мгновенно сбрасываются все оболочки, и пациент погружается на несколько секунд в холодную родниковую воду, температурой не выше 8° Р.

Этой операцией начинался каждый день, и затем до самого вечера следовал целый ряд других способов истязания: то душами, то ваннами разного рода с непрестанным вливанием воды во внутрь себя. В промежутках между разновидными гидравлическими упражнениями пациенты обязаны согреваться движением, безостановочно гулять по саду, а в ненастную погоду — по коридорам громадного здания. Два раза в день все общество собирается в столовой к обеду и ужину; водяные упражнения и беспрерывные прогулки придают большой аппетит; но средства для утоления его весьма скудные.

Общество наше было довольно многочисленно — до сотни лиц обоего пола; в том числе, конечно, преобладала немецкая национальность; но было несколько голландцев и французов; из русских же нашли мы одного соотечественника — барона Шепинга. Вообще общество было мало занимательно, и на всех лицах выражалась смертная скука. Лично для меня, жизнь в Мариенберге казалось невыносимой после того обилия разнообразнейших впечатлений, к которому я привык во время непрерывных <моих> странствований. К тому же в первое время я не замечал улучшения в моем здоровье; напротив того желудочные боли усилились, а зубная боль не давала покоя по ночам. Я решил съездить в Кобленц к зубному врачу, который разом вырвал у меня два зуба и пломбировал третий. Последствием этой решительной меры были на целую неделю и более страшные невралгии. Погода в течение большей части июня была дождливая и сырая. При таких условиях вполне понятно, что прежняя моя немощь — хандра — снова овладела мной в сильнейшей степени. Я часто уходил далеко в горы, и по целым часам бродил в одиночестве.

Сам Боппард — ничтожный, скучный городок; но его окрестности очень живописны; на вершинах гор везде видны развалины старинных замков. К началу июля погода разгулялась, а с ней поправилось и мое здоровье. В среде нашего общества началось некоторое сближение; по воскресным дням, когда пациентам давали некоторый отдых от ежедневных пыток водой, предпринимались поездки группами; parties de plaisir*. В некоторых из этих поездок и я принимал участие. Раз ездили мы в Эмс, где нашли многолюдный съезд самой фешенебельной публики, оживление, роскошь, музыку, рулетку, всякого рода развлечения — одним словом — резкую противоположность привычной нам безжизненной тишины Мариенберга. На возвратном пути осматривали мы величественный замок Штольценфельс, который в то время только что восстанавливался из развалин для жительства прусской королевской четы. В другой раз присоединился я к группе из четырех дам и четырех мужчин, предпринявши поездку в St.Goar — местечко, расположенное на левом берегу Рейна, верстах в 12 выше Боппарда. Оттуда вздумали мы переправиться на маленькой лодке на противоположный берег, к деревеньке Goarshaus. В то время, как мы были на середине реки, вдруг налетел страшный шквал, кото-

---

*увеселительные прогулки (*пер. с фр.*).

рый, как потом оказалось, причинил много бедствий как на воде, так и по берегам: вырваны с корнями большие деревья, снесены крыши домов, потонуло несколько судов. Мы также подвергались большой опасности, тем более, что наперерез нашей лодке несся по течению пароход. Однако ж, нам удалось причалить благополучно к берегу. Несмотря на сильный ветер, который чуть не сбивал с ног, я отправился с некоторыми из путников и с одной из спутниц в так называемую "Швейцарскую долину", составляющую собственно цель нашей поездки; прочие оставались в деревне Goarshaus, и когда буря стихла, все мы переправились обратно в St.Goar и оттуда возвратились сухопутно в Мариенберг.

В Кобленц ездил я два раза: сперва с Теслевым, а вторично с бароном Шепингом. Главной целью этих поездок было, конечно, ознакомиться с новыми фортификационными постройками, обратившими этот пункт в первоклассную крепость. Я имел рекомендательное письмо к служащему в крепостном управлении инженерному капитану, который принял нас учтиво и даже вызвался провожать нас для обзора крепости; однако ж, он показал нам только то, что каждый приезжий мог сам видеть, никого не спрашивая. Впрочем, он повел нас в одну из жилых оборонительных казарм, чтобы похвастаться порядком и чистотой. Обойдя часть главного крепостного вала, состоящего из многочисленных капонирных фронтов, мы всходили на высоты, занятые сильными передовыми фортами. Из них один, на правой стороне реки Мозель, назван фортом "Император Александр I"; другой — на левой стороне той же реки — фортом "Император Франц". Оба форта состояли из каменных, сводчатых построек и могли служить образчиком тогдашней "новой" системы фортификации. Еще любопытнее было для меня видеть крепость Эренбрейтштейн, защищающую Кобленц с правого берега Рейна, и считающуюся вполне неприступной. По крайней мере, два форта ее, возвышающиеся над крутыми, почти отвесными скалами, напоминали в отношении своей неприступности крепость Кенигштейн (в Саксонии); третий фронт, замыкающий с севера треугольное очертание крепости и доступный только по узкому гребню высоты, был усилен всеми средствами новейшей фортификации. Эренбрейтштейн, по своему господствующему положению, обстреливал долины Рейна и Мозеля и сам город Кобленц. В то время крепость Кобленцская считалась последним словом инженерного искусства.

Во время моего пребывания в Боппарде получил я несколько писем от генерала Веймарна, с которым был в переписке с тех самых пор, как мы расстались в Риме. Оттуда он проехал через Флоренцию и Болонью в Венецию, где жена и дочь его прожили некоторое время у своего родственника, русского генерального консула Фрейганга, тогда как сам генерал Веймарн объезжал Северную Италию; затем они отправились в Вену, откуда по совету тамошних врачей переехали в Ишль на полный курс лечения. Из Ишля генерал Веймарн

сообщил мне свой план дальнейшего путешествия и пригласил меня снова съехаться с ним для совместного странствования по Швейцарии. К сожалению, план этот оказался не исполним; срок моего водяного лечения оканчивался только 8/20 июля, когда Веймарны уже рассчитывали, по окончании своего объезда Швейцарии, спуститься по Рейну в Голландию, соблазненные моим восторженным описанием этой страны. Елизавета Максимовна Веймарн предполагала воспользоваться этой поездкой, чтобы дополнить свое лечение морскими купаниями в Схевенингене или Остенде. По маршруту, сообщенному мне генералом Веймарном, я рассчитывал, что могу съехаться с ним в Майнце. Я не хотел оставаться ни одного лишнего дня в Боппарде и выехал оттуда 9/21 числа один, без товарища моего Теслева, который должен был отложить свой выезд в ожидании приезда туда каких-то родственниц.

До Бибериха ехал я на пароходе с двумя соотечественниками, приезжавшими в Боппард навестить своего товарища и земляка Теслева: капитан Генерального Штаба Фиант и Розен. Вместе с ними любовался я живописными берегами Рейна с их развалинами замков на вершинах скал. Особенно восхищался замком Rheinfels и местоположением Обер-Везеля и Бингена. В Биберихе (где дворец Герцога Нассауского) распростился я со своими спутниками, вышел на берег и оттуда проехал в дилижансе до Висбадена — красивого, чистенького городка, похожего на все другие немецкие Curort, куда съезжается во множестве избранная публика всех национальностей не столько для лечения, сколько для развлечения. Вечером того же дня я переехал по железной дороге во Франкфурт.

Весь следующий день, 10/22 июля, употребил я на осмотр этого древнего имперского города, местопребывание германского Федерального Сейма и вместе с тем центра общеевропейской финансовой силы еврейства. Во Франкфурте замечательны некоторые старинные постройки, как, например, ратуша, с окружающими ее домами; в городской библиотеке показывают редкие первопечатные книги и рукописи некоторых знаменитых писателей; в картинной галерее хранится несколько замечательных произведений старой немецкой школы. В наружном своем виде Франкфурт в те времена не производил впечатление богатого, торгового города; он отличался каким-то мрачным, неоживленным характером и в этом отношении не выдерживал никакого сравнения с другим немецким центром финансового и торгового мира, тоже вольным имперским городом — Гамбургом.

Вечером того же дня (10/22 июля) выехал я из Франкфурта в дилижансе и, не останавливаясь в Дармштадте, прибыл в 5 часов утра 11/23 числа в Гейдельберг. После короткого отдыха обошел я весь город; всходил, разумеется, на развалины древнего замка, видел и знаменитую бочку громадных размеров и, отобедав в гостинице, переехал по железной дороге в Мангейм — небольшой чистенький городок с прямыми, широкими улицами, большей частью пустынными

и безжизненными. На пристани, откуда отходил пароход, совершенно неожиданно встретил я Веймарнов. Само собой разумеется, что встреча эта была обоюдной радостью; вместе доехали мы на пароходе до Майнца, не заметив как пробежало время переезда.

В Майнце едва нашли мы помещение в гостинице "Les trois couronnes". Для осмотра города и его укреплений достаточно было несколько часов; но я провел там полных три дня собственно для того, чтобы воспользоваться приятным обществом Веймарнов и вместе с тем дождаться Теслева. В это же время съехались в Майнце: родственник Веймарнов князь Барклай де Толе, бывший спутник мой на Рейне капитан Фиант и берлинские мои знакомые артиллеристы Крыжановский и Лавров. Таким образом, мы провели три дня в довольно большом обществе; на досуге ездили два раза в Висбаден. Утром 15/27 числа, к сожалению, я должен был проститься с любезной четой Веймарнов и вдвоем с Теслевым отправиться опять в Мангейм, на этот раз берегом в дилижансе. От Мангейма же продолжали мы путь на пароходе уже в ночное время, о чем мы не жалели, так как здесь берега Рейна не представляют ничего замечательного. По мелководью реки, пароход наш сел на мель, и все пассажиры должны были пересесть на другой, меньшего размера пароход, шедший нам навстречу. На пересадку ушло немало времени; и не без труда разместились на нем многочисленные пассажиры. Часть их вышла вскоре на берег в Iffizheim — ближайшей от Бадена пристани. В том числе вышли и мы с Теслевым; с трудом достали простую крестьянскую тележку и кое-как добрались до Бадена к 4 часам дня.

Из всех виденных мной лечебных мест (Curort) Баден оставил в моей памяти самое приятное впечатление, в особенности своим живописным месторасположением. Утром 17/29 числа выехали мы оттуда в наемном экипаже до Келя, где оставили свой багаж и проехали налегке через французскую границу, чтобы только взглянуть на Страсбург и полюбоваться его великолепным собором. Нас пропустили, не спросив даже паспортов. Во избежание обратного переезда через границу в позднее время, мы остались переночевать в Страсбурге и, пользуясь вечерним досугом, зашли в театр, где имели случай видеть m-elle George в драме Виктора Гюго "Лукреция Борджиа". Грустно было смотреть на эту руину былой знаменитости. Осмотрев город и все замечательное в нем, мы возвратились пешком в Кель и оттуда в почтовой карете доехали до Фрейбурга — одного из самых живописных пунктов Шварцвальда при выходе из так называемой Адской долины (Hôllenthal). Утром 19/31 июля осмотрели город, великолепный его готический собор, всходили на окрестные высоты, и в полдень отправились в наемном экипаже через означенную горную долину в Шафгаузен. На пути переночевали в одной деревеньке, а на другой день 20 июля (1 августа) к 9 часам утра спустились к знаменитому Шафгаузенскому водопаду. Осмотрев его с разных точек зрения и отобедав в городе,

в тот же день проехали далее по левому (Швейцарскому) берегу Рейна до Констанца.

Утро 21 июля (2 августа) употребили мы на осмотр города и его замечательностей: Констанц вполне сохранил физиономию средневекового германского города. Нам показывали старинную залу, где происходил Констанцский собор и где хранятся некоторые любопытные предметы той эпохи. Весьма оригинален длинный крытый мост, соединяющий две части города, разделенные естественным каналом, которым воды Рейна переливаются из большого или верхнего Боденского озера в нижнее (Unter See). От Констанца начались наши странствования по Швейцарии.

ШВЕЙЦАРИЯ И СЕВЕРНАЯ ИТАЛИЯ

21 июля (2 августа) после обеда отплыли мы из Констанца на пароходе в Роршах, на противоположной оконечности Боденского озера, и оттуда в дилижансе доехали еще засветло в С.Галлен. Переночевав здесь на другой день 22 июля (3 августа) продолжали путь по весьма гористой местности до местечка Schmerikon, на реке Линте, соединяющей озеро Валленштадтское с Цюрихским. После весьма медленной езды в тяжелом дилижансе нам приятно было перейти на стоявший у пристани в Шмериконе легкий пароход, который перевез нас по Цюрихскому озеру в Цюрих.

Как все швейцарские города, Цюрих сам по себе не представлял ничего замечательного, кроме разве показываемой в городской библиотеке модели некоторой части Альпов. Постройки в швейцарских городах большей частью старые, неуклюжие, улицы узкие, искривленные. Но Цюрих и его окрестности интересовали меня по историческим воспоминаниям о неудачном для русских войск сражении 1799 года[110], и потому утром 23 июля (4 августа) я обошел с любопытством окрестные высоты. Притом мы должны были здесь снарядиться к предстоящему странствованию по швейцарским горам.

Странствование это — давнишний предмет моих мечтаний — рассчитано было на 15 дней, в течение которых мы предположили обозреть большую часть альпийской страны. В первый день, 24 июля (5 августа), проехали в дилижансе от Цюриха до Цугского озера и вдоль восточного берега через Цуг и Арт до деревеньки Гольдау, лежащей у подошвы горы Риги. Деревенька эта замечательна тем, что в начале нынешнего столетия была завалена обломками обрушившейся горы Rossberg. В Гольдау ежедневно собираются десятки и сотни туристов и туристок для восхождения на гору Риги, с вершины которой любуются обширной панорамой при заходе и восходе солнца. По примеру других и я облегся здесь в общепринятое одеяние альпийских пешеходов: холщевое платье, соломенную шляпу, толстые с подковами башмаки и взял в руку длинную альпийскую палку. Вместе с другими спутниками и мы с Теслевым поплелись на гору по довольно отлогой дороге; но на половине пути, наскучив медленным шествием в этой веренице туристов, я ушел один вперед и развлеченный чудесными видами, все более открывавшимися по мере подъема на гору, сбился с дороги, забрел в какие-то пустынные кручи, где не было ни тропы, ни живой души. Время приближалось к закату солнца. Пробираясь наобум по направлению звука колокольчиков пасшейся скотины, я уже помышлял о печальной перспективе ночлега в одиночестве в этой пустыне на круче горы, как вдруг, подняв голову, увидел над обрывом группу людей с

биноклями и зонтиками. Это была та именно платформа на вершине горы (Kulm), которая служит местом сбора туристов и обсерваториею. Ободренный близостью своей цели, я вскарабкался прямо на эту площадку со стороны противоположной обычному доступу, к великому удивлению находившейся уже там публики. Спутники же мои дошли туда получасом позже меня.

Вид с горы был действительно грандиозен, и на счастье наше, облака, застилавшие уже несколько дней горизонт, вдруг рассеялись; мы видели ясно обширное пространство, окаймленное Юрой, Шварцвальдом и снеговыми горами главного Альпийского хребта*. Можно было рассмотреть в бинокль поверхность озер Невшательского и Боденского. Все глаза были прикованы к западу по направлению спускавшегося величественно за видимый горизонт дневного светила.

С закатом солнца нас обдало вдруг холодом; со дна долин поднимались клубы тумана. Все туристы спешили укрыться в тесный домик, стоявший близ вершины горы — единственный приют для путешественников. Кое-как переночевав здесь в тесноте, все мы еще до света были уже на ногах, чтобы видеть восхождение солнца. В этот момент видоизменения в освещении гор едва ли еще не эффектнее, чем при закате. И тут нам посчастливилось видеть эту картину во всей красоте. Вполне удовлетворенные, мы спустились с горы по крутой дорожке к стороне Люцернского озера (или "четырех кантонов", "Vierwaldstetter"). У деревеньки Wegis сели на пароход и переехали по озеру в Люцерн.

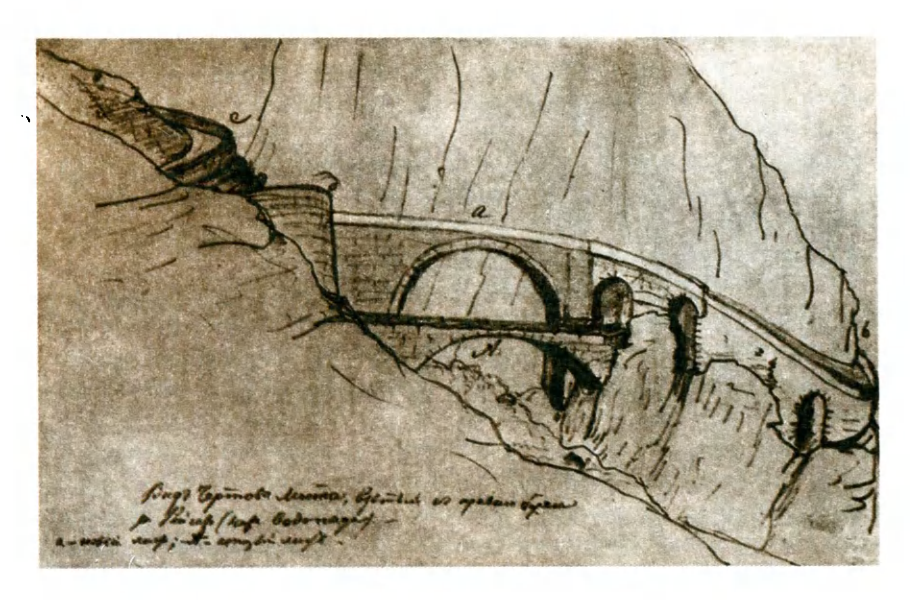
Здесь пробыли всего два часа; успели осмотреть находящийся поблизости города, на самом берегу озера, знаменитый памятник (спящего льва) работы Торвальдсена, и в два часа пополудни опять уже были на пароходе, на котором отправились к самой южной оконечности озера — к деревеньке Fluelen. Во время нашего пути по озеру случилось нам видеть великолепную картину сильной грозы с проливным дождем на воде среди гор; но туча пронеслась быстро; солнце снова осветило зеленоватую поверхность озера и замыкающие его со всех сторон причудливые выступы гигантских гор.

Переночевав в деревеньке Fluelen, мы на другой день, 26 июля (7 августа), рано утром отправились в таратайке вверх по долине Рейсы до Андермата. Переезд этот был для меня чрезвычайно занимателен; на каждом шагу я вспоминал ущелье Терека от Владикавказа до Крестовой горы и делал любопытные сравнения топографического и геологического строения первоклассных горных хребтов Альпийского и Кавказского. Вместе с тем любопытно было проследить на местах эпизоды знаменитого суворовского перехода через Сен-Готард. В некоторых пунктах, как например, у Чертова моста и Урзернской дыры (Urseren Loch), я выходил из экипажа, высматривал местность с разных

* Замечу однако, что с Риги видны только ближайшие высокие горы, заслоняющие почти весь главный снеговой хребет за исключением лишь вершины Шрекгорна.

сторон и наскоро набрасывал кроки. Конечно, я не предвидел тогда, что через десяток лет придется мне работать над историей войны 1799 года. Вид Рейсы в верхних частях ее течения, где она образует целый ряд огромных водопадов, где дорога (недавно только проложенная) извивается по ребрам почти отвесных гор, перебрасываясь беспрестанно с одного берега реки на другой каменными мостами — глубоко врезался в моей памяти и много облегчил мне впоследствии уразумение дивных подвигов русского войска.

В Андермате покинули мы свой экипаж и пошли пешком. Оставив влево большую колесную дорогу на Сен-Готард, мы взяли вправо, вверх по каменистой и голой долине Urseren Thal. Несмотря на значительную высоту местности, в долине было тепло; но замыкавшие ее горы с обеих сторон были наполовину покрыты снегом. Пройдя верст десять, остановились переночевать в маленькой деревушке Realp, с монастырем капуцинов, у которых нашли удобный приют. На другой день, 27 июля (8 августа), рано утром продолжали пешеходное странствование по возвышенной горной стране: перешли через перевал Фурку, отделяющий истоки Рейсы от истоков Роны. На самом перевале приостановились, чтобы отдохнуть и полюбоваться обширным видом на открывшиеся вершины Бернских и Вальтелинских Альпов. Тут же встретились мы с группой ученых-путешественников, собравшихся с инструментами для наблюдений на окрестных вершинах. С седловины Фурки спустились мы в верховья Ронской долины (Вальтелин) и обошли подножие обширного лед-



"Вид Чертова моста, взятый с правого берега р.Рейсы"

ника (глетчера), из которого эта река берет начало. Тут в первый раз удалось мне видеть настоящий ледник. На Кавказе не случалось мне быть в тех частях гор, где имеются глетчеры; да в то время такие местности и не были еще доступны, так что наши ученые даже сомневались в существовании ледников на Кавказе. По крайней мере, я лично слышал это мнение от нашего известного академика Бера. С любопытством прошел я по твердой снеговой поверхности в то время, когда полуденное солнце пекло так сильно, что я сбросил с себя верхнее платье. Спустившись к самому месту выхода Роны из-под снеговой массы, мы отдохнули часа два в маленькой гостинице, построенной в виде швейцарского chalet*, подкрепили свои силы завтраком и затем снова двинулись в путь. По крутой и каменистой тропе взобрались мы на Гримзель — перевал, отделяющий истоки Роны от истоков Аара. С этого перевала увидели под ногами узкое и мрачное ущелье Ober Hassli, а прямо перед собой — покрытую снегом громадную массу Шрекгорна и новый глетчер, из которого берет начало река Аар. Спускаясь на дно ущелья Hassli, мы могли наглядно убедиться в том, что оно также было некогда вместилищем громадного ледника, который вековым своим движением совершенно отполировал гранитные бока ущелья. На дне его в самых верховьях у озерца нашли приют в таком же маленьком chalet, какое видели в верховьях Роны. После утомительного перехода через два тяжелых горных перевала приятно было найти все желательные для путника удобства: и обед, и постель, и даже ванну. К вечеру набралось сюда еще несколько туристов, так что маленькая гостиница была переполнена.

Утром следующего дня 28 июля (9 августа) пошли мы по долине реки Аара. Река эта в верхних частях своего течения несется почти беспрерывными водопадами. Главный из них — Напдеск — есть один из самых великолепных во всей Швейцарии. Несколько далее вышли из дикого и каменистого ущелья в более открытую и населенную долину, по которой дошли уже без затруднения до Мейрингена, сделав в этот день более 25 верст по каменистым горам. Переночевав в одной из гостиниц Мейрингена, отправились мы на другой день (29 июля/10 августа) смотреть Рейхенбахский водопад; затем доехали в крытой линейке до Бриенца, откуда на пароходе переехали по Бриенцскому озеру к знаменитому Гисбахскому водопаду и осмотрели его в обществе нескольких французских дам, с которыми уже прежде встречались на пути. Дождливая с утра погода прояснилась; солнце осветило живописные берега Бриенцского озера, и к вечеру мы прибыли на пароходе к Интерлакену.

Почти все пространство между двумя озерами, Бриенцским и Тунским, представляло ряд гостиниц, пансионов, ресторанов, вилл; все наполнено было туристами всех национальностей, но, как везде, преимущественно англичанами. Самый Интерлакен более походил на какой-нибудь космополитичный

*шале (*пер. с фр.*).

сборный пункт вроде модных курортов, чем на швейцарский городок. Переночевав в одной из бесчисленных гостиниц Интерлакена, предприняли мы 30 июля (11 августа) странствование к подножию гор, возвышающихся с южной стороны озер колоссальною массою снеговых вершин (Yungfrau, Mönch, Eiger, Finsteraarhorn, Schreckhorn, Wetterhorn). До Lauterbrunen доехали мы в экипаже; оттуда взобрались пешком на гору Wengern Olp — один из уступов Юнгфрау и Эйгера. На пути нашем находился огромный ледник Гриндельвальдский и замечательный водопад Staubach. Прогулка эта была очень утомительна, зато весьма занимательна и поучительна. Спустившись с гор, мы поспели к 4 часам на пароход, который перевез нас по Тунскому озеру к живописному городку Thun.

Здесь переночевали в Hôtel Bellevue, а на другой день 31 июля (12 августа) доехали в дилижансе до Берна, где нашли наши чемоданы, отправленные туда прямо из Цюриха. В Берне провели мы весь день, хотя довольно было и нескольких часов для осмотра города и всех его достопримечательностей, со включением конечно и медведей, которых город содержал по старой традиции (известно, что изображение медведя есть герб Берна). 1/13 августа проехали в наемном экипаже во Фрейбург, где дивились смелой постройке висячего моста, переброшенного чрез широкий и глубокий овраг; слушали знаменитый орган в соборе и затем продолжали путь до Лозаны. На следующий день (2/14 августа) утром спустились к берегу Женевского озера (Лемана), к Уши и сели на пароход, делающий рейсы кругом всего озера. В течение дня обозрели все протяжение живописных его берегов и в 6 часов вечера прибыли в Женеву. Город этот показался мне весьма симпатичным, оживленным и совершенно французским. Прибрежная часть его и в те времена уже приняла вид нового благоустроенного города, с прямыми, чистыми улицами, со всею обстановкою больших европейских городов.

3/15 августа, в воскресный день, утром, по случаю проливного дождя, оставались мы в городе, заходили в мастерские некоторых часовщиков, а после обеда, когда погода разгулялась, ездили смотреть знаменитый приют Вольтера Fernay. На другой день, 4/16 числа, предприняли поездку в долину Chamouny и к подошве Mont Blanc. Долина эта, входящая уже в пределы Савои, т.е. Королевства Сардинского, принадлежит к числу тех Альпийских дорог, которые, можно сказать, истоптаны туристами. Поэтому, прибыв около 8 часов вечера в деревеньку Шамуни, на высоте нескольких тысяч футов над уровнем океана, в диком горном ущелье, мы нашли тут несколько маленьких, но комфортабельных гостиниц, переполненных путешественниками. Как все прочие, мы переночевали в одном из этих благодетельных приютов с тем, чтобы с рассветом следующего дня (5/17 августа) предпринять восхождение на знаменитый ледник Mer de glace. К нашему счастью, после двух дождливых дней, в это утро небо совершенно очистилось от туч, и мы ясно увидели снеговые

массы Монблана, постепенно освещаемые восходящим солнцем. Вооружившись длинною альпийскою палкою с железным наконечником, я испытал все трудности и опасности восхождения на горные ледники. Mer de glace есть обширнейший из всех альпийских глетчеров; рядом с ним спускаются по другим впадинам того же северного склона Монблана Glacier d'Argentière, Glacier des Bossons и другие меньшие. Пробираясь по ледяной поверхности, часто перескакивая чрез громадные трещины, поднялся я сначала на скалы Montenvert и далее добрался до другой выдающейся из ледяной массы скалы, называемой "le jardin" *, отсюда начал спускаться обратно к нижнему краю ледника, где в ледяной толще образуется род пещеры, из которой вытекает речка Арва (впадающая в Рону у самой Женевы).

Несмотря на усталость, я решился, после небольшого отдыха и обеда в гостинице, еще взглянуть на другой глетчер: Glacier des Bossons, менее обширный, чем Mer de glace, но представляющий весьма замечательную поверхность, в виде бесчисленных ледяных пирамидальных игл, в самых причудливых и часто меняющихся формах. Осмотрев эту игру природы с одной из скал, на краю ледника, я возвратился в гостиницу уже с наступлением темноты; но на возвратном пути имел еще случай любоваться видом вершин Монблана, освещенных закатившимся уже солнцем (Alpen Glühn).

Вторично переночевали мы в Шамуни и утром 6/18 числа пошли пешком вверх по долине мимо ледника d'Argentière на перевал Téte noire; оставив вправо Col de Balme, направились чрез гору Forelas и спустились к местечку Мартиньи, лежащему в долине верхней Роны. Переход этот, на протяжении верст 30 или 35 по крутым горам, был очень утомителен; но это был и последний в нашем пешеходном странствовании по Альпам. С высоты горы Forelas нам открылся грандиозный вид на долину верхней Роны, обставленную с обоих ее боков снеговыми гигантами: с юга — Вальтелинскими Альпами (Mont Rosa), с севера — Оберландскими (Gemmi, les Diablerets). В Мартиньи мы переночевали в плохой гостинице в ожидании прохода дилижанса, который утром следующего дня (7/19 числа) проходил чрез это местечко. В нем проехали мы вверх по долине Роны мимо живописных местечек Сион и Leux до Брига, где дилижанс остановился на ночь.

Выехав оттуда еще до рассвета (8/20 числа), мы поднялись на Симплонский перевал по отлично проложенному шоссе; но далее, в пределах Пьемонта, дорога была так повреждена с 1839 года горным обвалом, что приходилось пересаживаться из тяжелого швейцарского дилижанса в более легкую итальянскую карету. По недостатку в ней мест, мы с Теслевым ехали в простой, открытой тележке, что дало нам возможность лучше видеть местность на пути. По мере того, как спускались с Симплонского перевала в долину речки Vedro (приток реки Toce), все более веяло южною природою; после холода на горах,

* сад (*пер. с фр.*).

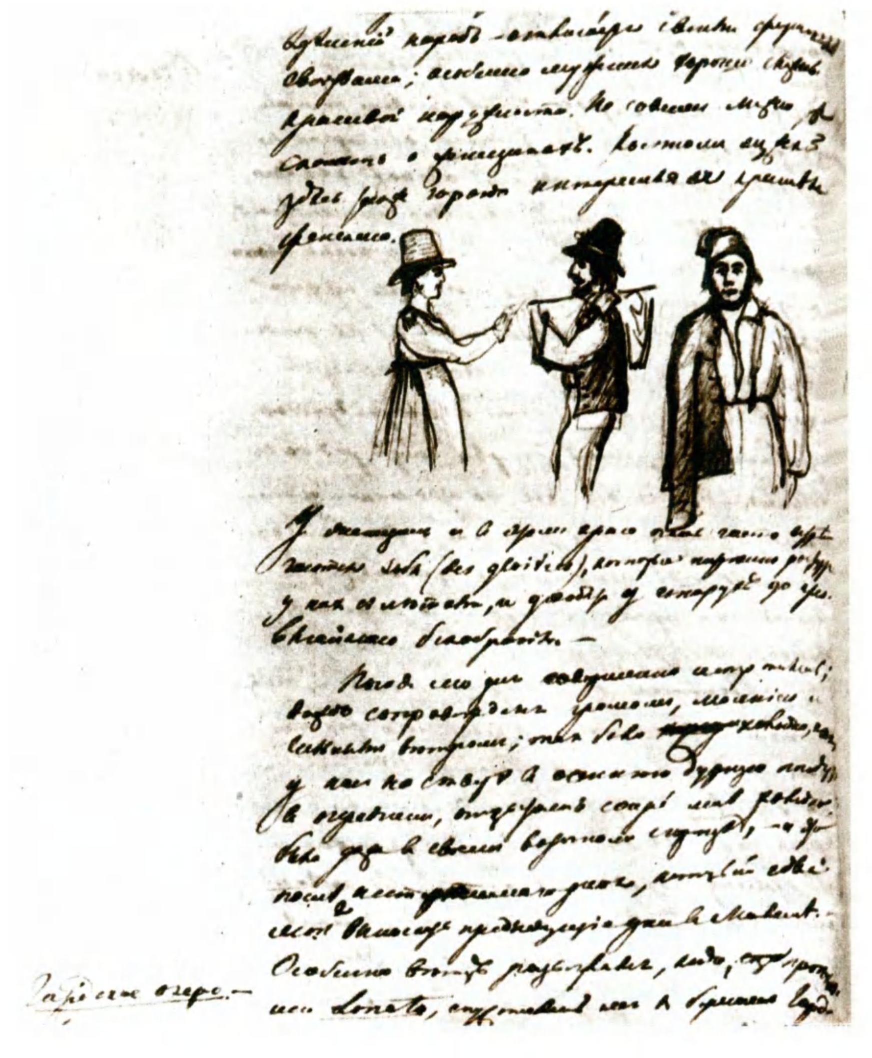
постепенно переходили мы в теплую атмосферу; небо становилось синее, а затем на дне долины появилась и другая растительность, виноградники; в деревеньках каменные дома заменили фахверковые хаты; вместо кретинов с уродливыми зобами, встречавшихся в горах Савои и Вальтелина, увидели физиономии красивого южного типа. К 4 часам дня приехали в Domo-d'Ossola, где узнали с удивлением, что далее дилижанс отходит только в 3 часа ночи, так что нам пришлось потерять напрасно 11 часов времени в маленьком городке, в котором не было ничего замечательного. Таковы были порядки Пьемонтского почтового управления.

Зато каково было наше восхищение, когда утром следующего дня (9/21 числа), спустившись по долине реки Точе (Toce) к берегу озера Lago Maggiore, увидели мы пред собою синеватую его поверхность (резко отличавшуюся от зеленоватых озер Швейцарии), окруженную грациозными контурами береговых гор, усеянных деревеньками, отдельными домами, монастырями, развалинами, а далее, вблизи от берега, прелестные острова Боромейские (Isola bella и Isola madre). В местечке Arona опять остановка и пересадка в другой экипаж; отсюда шел австрийский дилижанс до Sesto Calende, на южной оконечности озера. Здесь снова часовая остановка для таможенного досмотра и паспортных формальностей. Благодаря всем этим задержкам и медленности езды, мы дотащились до Милана только к 8 часам вечера, когда уже совсем стемнело.

В Милане остановились мы в гостинице Reichmann и посвятили два дня (10/22, 11/23 числа) осмотру этого главного пункта Австрийской администрации в Ломбардии. Это был самый благоустроенный и опрятный город в Италии, и хотя австрийское владычество лежало тяжелым гнетом на населении, Милан отличался своим оживлением и приятною жизнью. К тому же первый день нашего там пребывания был воскресный; на улицах, в общественном саду, в кофейных домах — везде было много народа, везде раздавались звуки музыки. В этот день мы ограничились только обзором внешнего вида города. Из построек его наибольшее впечатление производит великолепный собор, в котором мы застали церковную службу; затем любопытна арена — постройка новых времен, возведенная по образцу древних римских ристалищ; заслуживают также внимания некоторые старинные церкви, в том числе особенно S.Ambrosio. Вечером были мы в опере в громадном театре della Scala, с которым мог соперничать по обширности только неаполитанский S.Carlo. Во второй день, кроме учения австрийских войск на плацу, видели вторично и во всей подробности внутренность собора, влезали на самый верх его; затем осматривали две замечательные коллекции: картинную галерею и библиотеку в Palazzo Brera и Амброзианскую библиотеку. В послеобеденное время ездили по железной дороге в Монцу, смотрели тамошний дворец и собор, в котором хранится знаменитая Ломбардская железная корона; но редкость эта

показывается только с особого разрешения высшего начальства и притом с известным церковным обрядом.

12/24 августа ездили мы из Милана в Чертозу (Certosa, Chartreuse, т.е. Картезианский монастырь) близ Павии. Это замечательная и хорошо сохранившаяся старинная постройка, необыкновенно красивая, с роскошною внутреннею отделкою. На другой же день (13/25 числа) совсем оставили



Страница из путевого дневника. Северная Италия

Милан и направились в Венецию. На всем нашем пути, пролегавшем вдоль подошв горных отрогов Альпийских, снова любовались мы плодородною и обработанною равниною Ломбардии. В течение 36 часов проехали чрез пять больших, весьма красивых и замечательных исторических городов: Бергамо, Брешиа, Верона, Виченца, Падуа, не считая крепости Пескиера, лежащей при истоке реки Минчио из Гардского озера. Вообще в Северной Италии бросается в глаза большое число красивых городов и местечек в самом близком друг от друга расстоянии. Даже и деревни в этом крае имеют вид маленьких городов, с мощеными улицами, каменными домами и оживленным населением. Путь этот интересовал меня и в отношении военно-историческом; почти каждое местечко, чрез которое нам приходилось проезжать, напоминает какой-либо факт из классических кампаний Наполеона[111].

Утром 14/26 августа в местечке Mestre оставили мы дилижанс, продолжавший путь в Триест, и пересели в гондолу, в которой доплыли по каналу до Венеции. Здесь остановились близ почты на Большом канале (Canal grande) в гостинице "Белого льва". Первое впечатление при въезде в Венецию было далеко не восторженное: погода серая, моросил дождь; плыли мы по грязным и зловонным каналам, окаймленным старыми, серыми, запущенными домами с развешанным тряпьем; везде пусто, мертво. Пресловутая Venezia la bella* казалась городом, покинутым жителями вследствие наводнения. Но после короткого отдыха и обеда в гостинице, когда небо очистилось от черных туч, вышел я побродить по узким закоулкам города и очутился на площадке пред собором Св.Марка, — тогда я пришел в совершенное восхищение. Весь вечер провел я на этой площадке и не мог наглядеться на все окружавшее меня: собор, дворец Дожей, колокольня, колонна с крылатым львом, аркады кругом площадки, вид на лагуны и на острова — все это вместе составляло такую гармоничную картину, что не хотелось оторвать от нее глаза. Постепенно площадка наполнялась народом; когда стемнело и зажглись огоньки, осветились магазины и кофейные дома под аркадами, раздались звуки музыки и пение — тогда я увидел, что, несмотря на австрийский гнет и на присутствие австрийских мундиров, Венеция не совсем еще мертва.

Пробыли мы в Венеции пять дней; осматривали подробно все, что сохранилось от времен ее былого величия. Собор Св.Марка и старый дворец Дожей посетили мы не один раз; заходили во многие церкви и старые Palazzo: везде находили в изобилии произведения знаменитых мастеров Венецианской школы. В особенности богатое собрание их в так называемой Academia della bella arti. Старый венецианский арсенал, может быть, обширнейший в свете, отлично обстроенный, нашли пустым и в бездействии; в нем стоило только видеть хранилище старого оружия и моделей старых судов. В один из последних дней нашего пребывания в Венеции предприняли мы дальнюю поездку

*красавица Венеция (*пер. с итал.*).

по лагунам к Porto Malamocco, чтобы видеть некоторые из укреплений, прикрывающих подступы к Венеции с моря, а также сохранившиеся еще в некоторых местах остатки колоссальных каменных сооружений (Murazzi), которыми в старину ограждались от морских волн берега продолговатых островов или кос (lidi), отделяющих лагуны от моря. Вообще Венеция оставила во мне такое впечатление, какое производит обветшалое и запущенное роскошное жилище умершего богача.

19/31 августа, вечером, отправились мы на пароходе в Триест. Прибыв туда утром следующего дня, мы должны были там остаться несколько долее, чем предполагали, чтобы получить места в дилижансе для дальнейшего переезда в Вену. Хотя Триест сделался важнейшим портом Австрии, куда перетянулась вся торговля из Венеции, однако ж город сам по себе не представлял ничего замечательного. В одно утро мы успели обойти и новый приморский город с прямыми улицами, чистыми зданиями, множеством нарядных магазинов, торговых заведений и старый город на скате высот, с кривыми, узкими улицами; поднимались даже на высоты, занятые оборонительными постройками. Вечер провели среди многочисленной публики, наслаждавшейся пред кофейными домами на набережной видом моря, освещенного луною.

20 августа (1 сентября), после полудня, выехали мы в почтовой карете (Brief Post Wagen) на Лайбах, Марбург, Грец, Брюк, и чрез гору Simering на третий день (23 августа/4 сентября), рано утром прибыли в Вену.

ПРИДУНАЙСКИЕ СТРАНЫ

Вот я снова в Вене, чрез 9 $^{1}/_{2}$ месяцев после первого моего там пребывания. Вторичное это посещение имело главною целью забрать оставленную там часть моего багажа, именно военную форму, необходимую мне только для возвращения восвояси. Поэтому я должен был остановиться и в прежней гостинице: "Zum weissen Wolf", где означенный багаж хранился. Притом первоначальный мой план путешествия был соображен с предположением о возвращении в Россию, в случае возможности, чрез Константинополь. По ближайшему расчету остававшегося времени до срока отпуска и денежных средств, оказалось невозможным осуществить мою мечту; я решился из Вены спуститься по Дунаю и возвратиться чрез Бухарест, Яссы и Одессу. По приезде в Вену, узнал я, что пароход, делавший рейсы по Дунаю чрез каждые две недели, отходил из Вены как раз на другой же день, т.е. 24 августа (5 сентября). Известие это чрезвычайно расстраивало мои планы, так как мне было необходимо пробыть в Вене по крайней мере дня два или три для заказа портному недостававшей мне части военной одежды. Оставалось одно средство: выехать из Вены на почтовых двумя днями позже отхода парохода, в надежде застать его в Пеште, где он останавливался на целый день. Так и решен был мой маршрут. Что же касается до моего спутника Теслева, то он намеревался возвратиться в Петербург чрез Гамбург, Копенгаген и Стокгольм, а потому в Вене приходилось нам разлучиться.

Двухдневною остановкою своею в столице Австрии я воспользовался, чтобы пополнить знакомство с этим городом. Так, не успел я в первое свое посещение Вены осмотреть арсенал, т.е. хранилище замечательного старинного оружия, трофеев и других военных предметов; также счел не лишним съездить в Лаксенбург — Императорский загородный дворец с любопытным рыцарским замком, в котором собрана богатая коллекция всяких предметов средневековой старины; один вечер провел я вместе с Теслевым в Шенбруне, а в другой — слушали мы вместе оркестр Страуса в загородном заведении, известном под названием "Sperl". Таким образом, время пролетело незаметно; заказ мой портному был в точности исполнен к назначенному сроку, и 25 августа (6 сентября) в 2 часа пополудни я выехал из Вены.

До станции Парендорф, на границе Венгрии, ехал я в наемном венском экипаже; далее предполагал ехать на почтовых, по-нашему "на перекладных". На границе венгерской произведен был таможенный осмотр моего багажа и прописка паспорта. Граница эта составляла черту, отделявшую Западную, культурную Европу от Восточной, полуазиатской; я был поражен этим резким переходом. В Парендорфе обступила меня толпа мадьярских поселян, про-

мышлявших извозом и предлагавших мне довезти до Пешта кратчайшею дорогою в 16 часов времени за меньшую плату, чем установленные казенные прогоны. Этот способ езды назывался у немцев Baur Post, точь-в-точь наша езда "на вольных" или "передаточных", с тою только разницею, что здесь в маленькую тележку запрягают по 4 лошади с уносом, и возница гонит немилосердно своих бедных кляч длинным бичом все время вскачь. Я принял предложение и всю ночь летел на перекладной по степной местности, совершенно напоминавшей мне южные наши степи. Местами приходилось скакать даже без дороги, по буеракам и чрез канавы. На станциях, где переменяли лошадей, находил я совершенно такую же обстановку, как в наших малороссийских деревнях. Незнание местного языка несколько затрудняло меня в сношениях с извощиками; однако ж, я должен отдать справедливость венгерским поселянам в том, что они, при своей суровой, полудикой наружности, оказались людьми добродушными и смышленными. Все неудобства этого переезда вознаграждались занимательностью пути. Я рад был видеть этот новый край, не похожий на все остальное, виденное в Западной Европе, народ, сохранявший еще свою оригинальность, ясно выказывавшую его азиатское происхождение. Какой контраст с тем, что за несколько лишь часов оставил я в Вене.

Ровно чрез сутки по выезде оттуда, в 2 часа дня 26 августа (7 сентября) прискакал я в Будапешт прямо к пароходу, стоявшему у левого берега Дуная близ моста, которым соединяются обе половины города. Сдав багаж свой на пароход, я, вместо отдыха, побежал осматривать город, пока еще было светло. По краткости времени я должен был, конечно, ограничиться обзором лишь главных, более нарядных частей, и в памяти моей остался лишь общий, красивый вид с моста на обе стороны Дуная; в особенности же внушительно господствующее положение Буды на правом высоком берегу реки.

В ночь на 27 августа (8 сентября) пароход отчалил от берега. Все плавание мое по Дунаю от Пешта до Журжи продолжалось 6 дней: путь долгий, но в высшей степени для меня занимательный и поучительный. В первый день пароход дошел до Мохача; во второй — до Землина; в оба эти дня останавливался с 9 часов вечера до 4 часов ночи. В числе спутников моих были лица самых разнообразных званий и различных национальностей; слышался говор на языках немецком, мадьярском, славянском, греческом, итальянском. Таким образом, не сходя с парохода, я имел случай многое узнать относительно положения страны и разноплеменного ее населения. В особенности интересовали меня придунайские славяне и "Граничары", т.е. пограничная с Турцией окраина Австрии, еще имевшая тогда военную организацию. Кордонные посты, которые удалось мне видеть по Дунаю и в самом Землине, где я выходил на берег, привели меня к тому заключению, что австрийскую "Военную границу" совершенно неправильно приравнивали к нашему Кавказскому линейному казачьему войску. Сравнительно с последним, Граничары

показались мне плохою милициею. В разговорах с разными встречавшимися славянами постоянно слышал я выражения сочувствия к России; люди развитые высказывали мнение о необходимости единения в литературном языке. Богемский граф Дейм, с которым случилось мне разговориться об австрийском населении, ставил славянские племена в культурном отношении выше мадьяр.

На третий день плавания (29 августа/10 сентября) прошли мы мимо Белграда и его турецкой крепости, затем мимо другой турецкой же крепости Семендрии и, дойдя около 2 часов пополудни до Дренковы, должны были тут остановиться до следующего дня, потому что предстояло нам отсюда небезопасное плавание в маленьких лодках чрез Дунайские пороги, известные под названием "Железных ворот". Течение Дуная стесняется с обеих сторон горами, начиная от Базиаша; но на первых 80 или 90 верстах плавание не представляло никаких затруднений; далее же постепенно русло стесняется в виде узкого ущелья, а в нескольких местах фарватер прерывается скалистым дном, где вода несется с пеною и ревом. Эту часть пути, на протяжении около 80 верст, считалось невозможным проходить на пароходе. Продолжительная остановка у Дренковы дала мне случай снова выйти на берег и осмотреть ближайшее селение Bersaska одного из полков военной границы, валахской национальности. И здесь нашел я много сходства с нашими деревнями южной России, и по внешнему виду, и по народному хозяйству. Поселяне только на службе надевали военную форму; в домашнем же быту ничем не отличались от крестьян соседних стран. Оружие давалось им только на действительной службе; даже кордонную службу отправляли они с дубинками или палками.

В 4 часа ночи на 30 августа (11 сентября) пассажиров парохода рассадили на несколько лодок довольно тесно, с 8 гребцами на каждой. На пути нашем показывали на австрийском берегу в обрыве гор пещеру, называемую "Ветераньевою", в которой во время оно австрийский отряд долго держался против многочисленных турецких войск. Против этого места, как говорили, была некогда протянута железная цепь поперек реки для преграждения плавания враждебным шайкам.

В Оршове лодки наши причалили к берегу, здесь граница Австрии с Валахиею, таможня и карантин. После довольно продолжительных формальностей и осмотра нашего имущества, снова рассадили нас по лодкам; <мы> продолжали путь уже с валахскими гребцами. Построенная на островке Дуная турецкая крепостца Ада-Кале казалась совершенно запущенною, так же как и другие виденные нами турецкие крепости по Дунаю. Тут в первый раз увидели мы турецких солдат: они вовсе не имели воинственного вида; некоторые были даже босые. Около 7 часов вечера наконец достигли мы Кладовы, где принял нас пароход "Панония".

На пароходе этом уже преобладал элемент валахский; я почувствовал себя почти как дома: так сильно еще было тогда в княжествах Дунайских

русское влияние[112]. Весьма многие из валахов говорили по-русски. В числе пассажиров нашли мы на пароходе одного из валахских аристократов, князя Суцо с женою. В разговорах с валахами мне случалось нередко слышать воспоминания о моем дяде графе Павле Дмитриевиче Киселеве; о нем всегда отзывались весьма сочувственно, хотя иногда не обходилось без намеков на его слабость к прекрасному полу.

31 августа густой утренний туман заставил капитана парохода замедлить ход, а по временам и совсем останавливаться. Нам удалось однако же хорошо разглядеть турецкую крепость Виддин и другие пункты возвышенного правого берега Дуная; противоположный валахский берег большею частью плоский. Дунай разливается широко, образуя во многих местах острова. С наступлением темноты пароход остановился среди реки, а на другой день, 1 сентября, мы прошли мимо Рахова, Никополя, Систова, Рущука и остановились на ночь у валахского городка Журжи. Здесь распростился я с моими спутниками и рано утром 2 сентября съехал с парохода на берег.

В дрянном городке Журже долго я прохлопотал с паспортом и багажом, так что выехал оттуда только в 10-м часу, в большой фуре, по-тамошнему "каруце", тройкою. После бывших здесь дождей дорога чрезвычайно грязная; местами везли меня даже полями, в объезд дороги, как бывает и у нас на Руси. Вообще страна произвела на меня первое впечатление грустное: бедные, грязные деревушки из землянок или низеньких хат, оборванное, забитое население, обширные пространства необработанной земли, почтовые станции без всякого строения, без всякого приюта для проезжающего. Почтовые лошади паслись в табуне и сгонялись только по прибытии путешественника на станцию; повозки и упряжь еще хуже наших. Только к 10 часам вечера добрался я до Бухареста и остановился в гостинице "Золотого льва".

День 3 сентября провел я в Бухаресте; познакомился с русским генеральным консулом Дашковым и его семейством; утром ходил по городу, довольно обширному, но ничем не замечательному; обедал у консула, а вечером был на "Киселевском" бульваре, где собирается весь бухарестский "beau monde". В Бухаресте нашел я много еще следов недавней русской оккупации[113]; в гостиницах прислуга понимала по-русски; извощики почти все русские (большею частью из раскольников); войско обмундировано по образцу русской армии. Из разговоров с местными жителями узнал я, что в народе большое неудовольствие на Господаря и бояр, отчасти же и на русское правительство, которому ставилось в упрек, что оно будто бы не обращало внимания на неоднократные жалобы на беззакония Господаря, брало всегда его сторону и поддерживало его. Политика эта, как говорили, подрывала в крае обаяние и нравственное влияние России.

4 сентября, утром, выехал я из Бухареста на почтовых лошадях, в купленной там за бесценок старенькой бричке. Как ни легка была моя повозка, приходилось

впрягать в нее до 6 жалких кляч, по причине невылазной грязи на валахских и молдавских дорогах. Благодаря веревочной сбруе, случалось, что лошади, с сидевшим на них возницею, выскакивали из упряжки и неслись стремглав; а я оставался в бричке без лошадей. Конечно, такая езда не могла быть быстрая; на станциях не находил я никакого убежища от непогоды. Промоченный дождем до костей, под вечер въехал я в Бузео; хотелось согреться чашкою чая и обсушиться. Извощик предлагал везти меня прямо к уездному начальнику (по местному названию — капитану-исправнику), но вследствие моего отказа подвез к какой-то грязной харчевне, где вместо чая подали мне стакан какой-то отвратительной настойки, которую не было возможности проглотить; я вынужден был ограничиться скромною сухою закускою, и переждав сильный дождь в своем неприглядном убежище, пред рассветом снова пустился в путь.

В этот день (5 числа) предстояло мне, в проезд чрез городок Рымник, исполнить довольно странное поручение, данное мне еще на пароходе ехавшею со мною французскою дамою, гувернанткою в доме князя Суцо. В те времена русские офицеры были на счету выгодных женихов для валахских и молдавских барышень; а в доме князя Суцо имелась барышня уже зрелая, для которой желательно было найти "партию". Вот бывшая наставница княжны и придумывает поручить мне лично завезти ей письмо от ее родителей, будто бы очень спешное. Не решившись отказать даме, я должен был остановиться в Рымнике, привести себя несколько в опрятный вид, нанять экипаж и ехать в имение князя Суцо Гребену, верст за 6 от города. Появление незнакомого русского офицера должно было, вероятно, удивить барышню: она приняла от меня письмо, поблагодарила, и после нескольких минут банального разговора я поспешил возвратиться к своей дорожной бричке, не оставив моего сердца на берегах Рымника. Эпизод этот задержал меня на несколько часов, так что было уже почти 7 часов вечера, когда я приехал в Фокшаны на границу Молдавии.

Тут приходилась новая задержка, частью из-за формальностей с паспортом и таможнею, частью потому, что на почтовой станции отказывались везти меня ночью чрез Серет, разлившийся от бывших пред тем сильных дождей. Однако ж, почтовый начальник (опять "капитан") не только уступил моим настояниям, но еще угостил меня ужином, и в 12-м часу ночи я отправился в путь. Но мне пришлось раскаяться в своем упрямстве: Серет действительно выступил из своих низменных берегов и наводнил широкую полосу местности; извощик сбился с дороги и с трудом вывез меня. Протащился я всю ночь и весь следующий день (6 число), и все-таки не удалось мне доехать до Ясс, где я надеялся найти удобный ночлег (от Фокшан до Ясс 170 верст). Я должен был провести ночь в своей бричке на последней станции и только 7 числа, в воскресенье, в 9 часов утра добрался, наконец, до столицы Молдавского княжества.

В Яссах мне казалось, что я уже в русском городе: церкви в византийском стиле, вывески русские, кучера русские, в гостинице ("Петербургской" — весь-

ма плохой), разговоры по-русски. Немедленно по приезде я посетил нашего консула Коцебу, у которого застал молдавского министра внутренних дел ("ворника") Стурдзу. Разумеется, разговор сейчас же зашел о графе Киселеве, о котором Стурдза отзывался с большими похвалами. Русское влияние удержалось в Молдавии еще гораздо более, чем в Валахии; здесь преобладало консервативное направление в лице старых бояр, не так легко поддававшихся либеральным увлечениям, взявшим верх в Бухаресте. В разговоре с консулом и Стурдзой узнал я с прискорбием, что мне придется, может быть, при въезде в Россию выдержать двухнедельный карантин в Скулянах; однако ж, они успокаивали меня надеждою на скорое сокращение этого срока до четырех дней и убеждали меня остаться в Яссах до получения ожидаемого по этому предмету распоряжения. Я принял этот совет, предпочитая несколько лишних дней пребывания в Яссах заточению в карантине.

В первое же утро сделал я визиты министру Стурдзе и начальнику молдавских войск ("милиции") русскому полковнику Мищенко, у которого провел вечер. На другой день был приглашен на обед к консулу и познакомился у него с несколькими русскими; тут же видел некоторых из старых бояр, носивших еще прежнюю национальную одежду и бороду. Вечером консул повез меня в общественный сад, куда съезжается вся ясская знать. В следующий день полковник Мищенко показал мне казармы частей войск ясского гарнизона, учение их и хор военной музыки; все было устроено по русскому образцу. В последнее утро ездил я с некоторыми из новых своих знакомых в загородную виллу Господаря. Таким образом я провел в Яссах четыре дня, не только не скучая, но даже с удовольствием, и на мое счастье 9 числа пришло желанное разрешение о сокращении срока карантинной обсервации. Четыре дня заключения уже не казались мне очень страшными.

10 числа, после завтрака у консула, выехал я из гостеприимных Ясс, и переправившись на пароме чрез Прут, ступил на русский берег. Тут я подвергся всем карантинным формальностям, соблюдавшимся с педантическою точностью, доведенною почти до комизма: даже паспорт отобрали от меня чрез решетку длинными щипцами и подвергли окуриванию; затем раздели меня до наготы, окуривали мои платья и все вещи; наконец, поместили в отдельный номер, дав мне для прислуги особого сторожа; вдобавок приводили меня два раза к присяге. Смотритель карантина Рафалович, вследствие полученной от консула Коцебу рекомендации, обходился со мной очень любезно, присылал мне обед от своего стола и всячески старался облегчить мне скучное одиночество.

По окончании четырехдневного срока, в воскресенье, 14 сентября, выпустили меня из карантина, и в тот же вечер выехал я из Скулян. Ехал я безостановочно на Бельцы, Кишинев, Бендеры и прибыл в Одессу поздно вечером 15 числа. Должен признаться, что возвращение на родину, после

целого года отсутствия, произвело на меня какое-то грустное впечатление. Въезжая в отечество из страны, только что вырванной из-под турецкого гнета, не успевшей еще сбросить с себя азиатской дикости, не замечал я у нас значительного превосходства ни в административном благоустройстве, ни в культуре и благосостоянии населения, такого же смешанного, как и там, такого же бедного и приниженного. Первые встреченные русские солдаты имели такой жалкий вид в своей серой дерюге, что мне больно было вспоминать виденные мною в Западной Европе щеголеватые войска. Каждая тамошняя деревня более походила на город, чем наши города, не исключая даже и некоторых губернских, как, например, Кишинева. Сама пресловутая Одесса в то время казалась только что основанным, новорожденным городом; в ней не было тогда порядочной гостиницы; улицы не мощеные, пыльные; в лучших частях города множество незастроенных пустырей или низкие, безобразные хлебные магазины; население — полуиностранное: греческое, итальянское, еврейское. В театре давала представления итальянская труппа. Вообще город был мало оживлен; только бульвар со статуей герцога Ришелье и великолепным спуском к морю скрашивал общий вид Одессы.

Я должен был прожить в Одессе 4 дня, пока добился выпуска из цензуры бывших при мне книг, отобранных у меня в Скулянах; вместе с тем надобно было дождаться починки расшатавшейся брички, чтобы доехать в ней хотя бы до Киева; наконец, следовало получить подорожную. 19 сентября выехал я из Одессы, прибыл 22 числа в Киев, где провел полтора суток, а затем уже в дилижансе спокойно доехал 30 сентября до Москвы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОСВОЯСИ

В продолжение моих заграничных странствований известия от семьи доходили до меня не часто и чрезвычайно медленно. Первые письма по выезде из Петербурга получил я во Флоренции, в декабре, от отца из Москвы и от брата Николая из Петербурга. Письмо брата (от 25 октября 1840 г.) было очень грустное: с дружескою откровенностью он поведал мне тайну своей сердечной страсти к одной из родственниц Авдулина — Александре Афанасьевне Шишмаревой, которая, по-видимому, отвечала взаимностью; но отец девушки решительно воспротивился отдать свою дочь за 22-летнего неимущего юношу. Все родство также восстало и начало преследовать влюбленного всякими оскорблениями и даже клеветами. В то же время нашелся для богатой невесты более подходящий жених — флигель-адъютант, полковник Преображенского полка Чернышев, с которым и состоялась помолвка. Убитый горем бедный брат мой удалился от общества, впал в полное разочарование и, поверяя мне свою скорбь, выразился, что "в одну неделю постарел на десяток лет". Чрез полтора месяца вновь получил я в Риме письмо (от 15 декабря), в котором он повторял жалобы на свою судьбу. Чтобы несколько успокоить и развлечь его, отец приехал 21 декабря в Петербург с братом Владимиром и прожил там до 4 января. Придумана была для брата Николая служебная командировка в Новгород, Тверь и Москву, под предлогом собрания сведений о бывшем в тот год неурожае и средствах к обеспечению продовольствия народного в тех губерниях. Извещая меня о предстоявшем выезде из Петербурга письмом от 14 января 1841 года, он писал, что "все попытки его рассеяться оставались безуспешными; что так называемый "свет" опротивел ему; что он сделался отчаянным курильщиком"... и проч. "Между окружавшим меня человечеством, — писал он, — я нашел столько злонамеренности, клеветы, неблагодарности, что искал или совершенного отчуждения от всех, или, признаться ли тебе, забвения в обществе пустом и веселом, которое заставляло меня топить горе в роме..." "Не пугайся, — прибавлял он, — пьяницей я не сделаюсь, чему лучшее доказательство, что я нашел в себе довольно силы, чтобы оторваться от этой жизни и искать в перемене места, лиц и занятий пробуждения деятельности"... "В течение последних трех месяцев я доходил до безумия. Если я нашел довольно моральной силы, чтобы противостоять бесчисленным планам своим, то приписываю это воспоминанию о всех вас и о той, которой мы уже лишились, но которая, кажется мне, следит за всеми моими движениями..."[114].

Выехав из Петербурга в половине января, брат останавливался в Новгороде и Твери и прибыл в Москву в то время, когда вся семья была в полном

трауре по случаю недавней кончины бабушки нашей Прасковьи Петровны Киселевой. 74-летняя старушка давно уже хворала и незадолго выдержала тяжкую болезнь, от которой однако ж начала было оправляться; но потом вдруг почувствовала страшное расслабление и 7 января внезапно скончалась совершенно спокойно, как будто уснула. 11 января происходило погребение в Донском монастыре рядом с могилою покойного Дмитрия Ивановича Киселева*. Граф Павел Дмитриевич, всегда относившийся к своей матери с сердечною сыновнею преданностью и почтением, был глубоко огорчен ее смертью. Несколько месяцев спустя, отвечая своему брату Сергею Дмитриевичу на поздравление с полученным 16 апреля орденом Св.Андрея, писал: "Судьбе не угодно было удвоить мое удовольствие сохранением той, которая была бы истинно счастлива сим торжественным доказательством всемилостивейшего внимания к усердному служению моему..."[115].

В Москве брат прожил ровно два месяца (с 24 января по 25 марта), вел жизнь тихую, однообразную; по вечерам ездил с отцом в Английский клуб, где читал газеты, составлявшее почти единственное его развлечение. На каждом шагу воспоминания детства и юношества мало-помалу вытесняли из его головы впечатления недавнего печального прошлого. Он скорбел о том, что не нашел уже в Москве прежнего, так любимого им семейного кружка, "который мы бросили, чтобы кинуться в петербургский омут, и нашего невозвратимого ангела, которого отсутствие я чувствую более, чем когда-либо", — так выразился он в письме ко мне из Москвы от 7 февраля.

Приведу еще из этого же письма не лишенную остроумия и юмора характеристику московской жизни во время масленицы: "Москва все та же, как и прежде; также любит, болтает, ест и дурачится. Все кряхтят, что денег нет, а между тем балаганы кипят народом; еще более театры, или, лучше сказать, пародии на театр; а еще более балы и маскарады. Теперь идет нестерпимая для желудка масленица; блинами объедается стар и млад. По улицам разъезжают франты с бубенчиками; пьяный народ подбирается пьяными же будочниками. Чиновники Комиссии** пропадают без вести на несколько дней и являются домой без плащей и платья. В Английском клубе дуются на тысячи рублей в лото; дамы дуются в преферанс, а все вместе — <в> палки***. Рысаки бегают по Москве-реке, а голодные собаки — по улицам. Театры открыты с утра до ночи, а клубы с ночи до утра. А между тем морозы и доктора морят бездну народа; трауры повсюду. Иверскую возят с одного конца города в другой; помещики сидят без денег, мужики — без хлеба, а лабазники, Кузнецкий мост и чиновники набивают карманы. Вот наша Москва, вот наша масленица"[116].

*Тут же впоследствии погребены и сыновья их: Павел и Николай Дмитриевичи Киселевы. Над всеми четырьмя могилами поставлен общий памятник.

** Подразумевается Комиссия по постройке храма Христа Спасителя, в которой отец наш был членом и управляющим делами.

***Тогдашняя модная игра карточная.

Во время пребывания брата в Москве, отец всячески старался развлекать его, и в письме от 25 марта писал мне, что, по-видимому, он сделался несколько веселее и здоровье его поправилось. По возвращении своем в Петербург, брат представил начальству отчет об исполнении возложенного на него поручения. Отчет этот очень понравился министру, графу Александру Григорьевичу Строгонову, который призвал к себе молодого чиновника, обласкал его и возложил на него новое поручение — дополнить сделанную им работу собранием таких же сведений по части народного продовольствия в Ярославской губернии*. Таким образом, 1 мая брат снова появился в Москве совершенно неожиданно; пробыв там один день, уехал в Ярославль; на возвратном пути опять навестил отца в Москве, а к 14 мая уже возвратился в Петербург. Снова был он принят весьма любезно министром, который остался доволен его работою и сулил ему в награду камер-юнкерское звание; но брат решительно отклонил такую честь и с новою горячностью принялся за работу по возложенному на него составлению проекта Положения о мерах к обеспечению народного продовольствия. Дело было серьезное; оно окончательно отвлекло его мысли от несчастной его сердечной зазнобы и, кажется, он даже совсем разочаровался в предмете своей недавней страсти.

В июне Москву посетила Царская фамилия, по случаю торжественного въезда в первопрестольную столицу новобрачных: наследника Цесаревича Александра Николаевича и Цесаревны Марии Александровны**. Как обыкновенно в подобных случаях, вся Москва оживилась и заволновалась. В числе многих излитых милостей и наград и мой отец получил чин действительного статского советника. Вслед за отъездом Царской фамилии из Москвы, отец переселился на дачу в Петровский парк. Там же проводили лето Нееловы; Сергей же Дмитриевич Киселев жил второе лето в новоприобретенной им подмосковной Елизаветине. Граф Павел Дмитриевич Киселев был летом в разъездах по южным губерниям для ревизии местных управлений государственных имуществ. За несколько дней до моего проезда чрез Кишинев, он выехал оттуда в Каменку, имение фельдмаршала князя Витгенштейна, и возвратился в Петербург только 8 октября.

Отец мой, живя в Петровском парке, жаловался на расстройство здоровья. Продолжавшаяся бесконечная его тяжба с Евдокимовым приняла было благоприятный оборот в Тульской палате, что однако же нисколько не обеспечивало благополучного исхода при дальнейших переходах из одной инстанции в другую. В это же время отец был опечален смертью (26 июля) сестры его и моей тетки Екатерины Михайловны Милютиной, жившей безвыездно в Скопинской деревне и уже 30 лет страдавшей психическою болезнью.

---

* Письмо брата от 26 апреля, полученное мною в Аахене 16/28 мая.

** Обручение происходило в Петербурге 5 и 6 декабря 1840 года, а бракосочетание — 16 апреля 1841 года.

Смерть ее, конечно, была давно ожидаемым исходом болезни; тем не менее отцу было грустно, что ему не удалось в течение нескольких лет навестить несчастную страдалицу.

Остается мне сказать несколько слов о молодой чете Авдулиных. Они вели в Петербурге жизнь светскую; сестра моя, хотя и не совсем еще отделалась от своей прежней институтской застенчивости, однако ж, не избегала уже выездов и развлечений петербургского высшего круга, в который муж ее постарался вовлечь ее. С наступлением лета зять мой затеял было путешествие за границу на продолжительное время; но для этого он считал необходимым запастись очень крупными денежными средствами, которые предполагал заимствовать из управления Яковлевскими заводами, во владении которыми он имел свою долю. Сделка эта не состоялась своевременно и пришлось отказаться от предполагавшегося путешествия, к удовольствию сестры моей, которая постоянно отклоняла мужа от его затеи. Таким образом, Авдулины провели все лето по-прежнему, на своей даче в Новой Деревне.

В начале августа брат, окончив порученную ему министром работу, отправился с нею к графу Строгонову, и тут, к крайнему своему прискорбию, узнал, что он внезапно уехал в Москву вследствии несчастного случая с братом его графом Сергеем Григорьевичем Строгоновым, переломившим себе ногу. Чрез две недели, по возвращении министра в Петербург, брат мой снова явился к нему со своим трудом. Граф Строгонов принял его с прежнею любезностью, как близкого доверенного человека; но в то самое время, когда дело пошло так удачно для моего брата, разнесся слух, что граф Александр Григорьевич по каким-то служебным неприятностям оставляет свой пост. Само собою разумеется, что слух этот очень огорчил брата. В письме от 4 августа он писал мне: "Так я должен буду войти в прежнее положение и тянуть снова лямку, как рядовой... Пожалей о своем брате, которому суждено терпеть беспрерывные насмешки случая. Всегда большая удача в начале и совершенный упадок в конце... Счастье улыбнется так, как не смел и думать, а результата никакого"...

В том же письме брат выражал нетерпеливое ожидание моего возвращения в Петербург: "Нам столько будет переговорить между собою. Оба мы много состарились в этот год: ты — от путешествия, ибо ничто так не открывает нам жизнь и свет, как путешествия; во мне также ты верно найдешь перемену, и физическую, и моральную..."[117]. Письмо это получено мною уже в Москве, почти одновременно с позднейшим письмом от 10 октября, в котором брат сообщал мне, что опасения его сбылись: граф А.Г.Строгонов уехал за границу в продолжительный отпуск. Вместе с тем брат извещал меня о перемене квартиры: из дома Берхмана (на Владимирской, где он поселился только в начале года) он переместился в Стремянную, в дом Скосырева, где мы могли жить вдвоем, уже без прежнего сожителя Н.И.Свечина, который, по каким-то домашним

обстоятельствам, должен был устроиться иначе. В последнем письме своем от 12 октября брат повторял, что ожидает моего возвращения с нетерпением.

В Москве я пробыл три недели, остававшиеся до истечения срока моего отпуска. Радостно было свидание с отцом и младшими братьями после продолжительной разлуки; но скажу так же, как брат Николай, что дом отцовский уже не представлял того маленького семейного мира, в котором бывало, при жизни дорогой нашей матери, находили мы такую душевную отраду. Отец был постоянно занят служебными и своими делами; он заметно опустился физически и морально. Брат Владимир, которому еще не минуло 15 лет, заметно развился, показывал отличные успехи в гимназии, так что перешел уже в 6-й класс и ставился начальством в пример товарищам. Меньшой брат Борис, хотя не показывал таких же блестящих дарований, однако же учился успешно и готовился к поступлению в гимназию под надзором гувернера-немца. Жил в доме еще молодой француз для упражнения обоих мальчиков в разговорном французском языке.

Что касается до нашего родства, некогда столь многочисленного, то оно с каждым годом заметно сокращалось. Дом Киселевых, служивший как бы центром всего родственного кружка, можно сказать, закрылся со смертью доброй и всеми любимой старушки Прасковьи Петровны.

22 октября выехал я из Москвы в дилижансе и 25 числа был в Петербурге, за два дня до срока отпуска.

После 13 месяцев непрерывных странствований по Европе, отдавая себе самому отчет в результатах этого путешествия, начну с финансовой его стороны.

Как ни скромны были мои путевые издержки, они все-таки вышли значительно из нормальной рамки моих обыкновенных финансовых средств. В общем итоге издержано в означенные 13 месяцев 8839 рублей ассигнациями, что составляет на серебро около 2500 рублей. На покрытие этой издержки употреблено, сверх содержания и пособия от казны (2390+2777 рублей ассигнациями), 1900 рублей ассигнациями из сбережений от заработков за прежнее время, 1000 рублей ассигнациями, полученные от отца, и затем только недостававшие 772 рубля ассигнациями: (220 рублей серебром) пришлось дополнить займом, который был уплачен из позднейших заработков. Вот весь финансовый баланс.

Теперь поставлю себе вопрос: чем же выкупались затраченные денежные средства и время? Первоначальная и прямая цель предпринятого путешествия — поправление здоровья — была в известной мере достигнута: я чувствовал облегчение прежних моих расстройств — вследствие ли вынесенного гидропатического лечения, или просто благодаря самому путешествию; но гораздо более важным результатом считаю ту пользу, которую путешествие

принесло мне в отношении нравственном или, так сказать, воспитательном: оно раскрыло предо мною совершенно новый горизонт, указало многие недостатки в моем образовании; возбудило желание распространить свои знания. Еще зимою, в Италии, набросаны были мною заметки на память о том, чем предполагал я заняться по возвращении из-за границы. В число этих занятий входили и политическая экономия, и международное право, и многие вопросы политики, военной администрации, стратегии и т.д. Также намеревался я изучать некоторые части строительного искусства. Виденные мною многочисленные собрания произведений живописи и ваяния познакомили меня с чудесами мира художественного, остававшегося до того времени совершенно мне неведомым. Прежняя же моя любовь архитектуры нашла себе обильную пищу: везде, где удавалось мне побывать, прежде всего внимание мое останавливалось на произведениях зодчества; я старался уяснить себе типичные принадлежности стилей и эпох; путевой мой дневник заключал в себе подробный разбор виденных мною замечательных зданий, и в особой записке изложены общие мысли об основных принципах архитектуры, служивших мне руководящею нитью при оценке достоинств и недостатков каждой упоминаемой постройки[118].

С другой стороны, путешествие открыло мне глаза на действительное состояние России сравнительно с Западною Европою в культурном отношении. Любя искренно свою родину, я глубоко скорбел, видя на каждом шагу насколько мы отстали на пути, указанном Великим Петром. В суждениях иностранцев о нас, под формами снисходительной вежливости, звучало высокомерное признание превосходства цивилизованного европейца над полуобразованным варваром. Когда случалось видеть на сцене, или читать в книге карикатурные изображения русской жизни, меня не столько оскорбляли ложь и преувеличения в этих карикатурах, сколько огорчало сознание, что к таким обидным для нас воззрениям иностранцев подает повод наша действительность. В одном месте моего дневника, где высказывалось сетование по этому предмету, невольно вырвалось у меня такое признание: "С истинным прискорбием пишу эти строки; от души желал бы дожить до того времени, когда все сказанное мною было бы анахронизмом... Желал бы, чтобы поездка моя за границу имела результатом не одно лишь разъяснение истинного состояния России сравнительно с Европою, но дала бы мне со временем возможность сделаться полезным моему отечеству. Счастлив был бы, если б, когда-нибудь осуществились эти мечты мои. Это самая утешительная цель моей службы и самой жизни"[119].

НА РАСПУТЬЕ

Вот я опять в Петербурге, обреченный на однообразное, безжизненное существование, замкнутое в тесные рамки служебного формализма. Поселился я с братом Николаем в новой его квартире, в Стремянной улице, и немедленно явился на службу. Брата нашел я в лучшем расположении духа, чем ожидал: он был очень занят служебными делами; однако ж, находил время развлекаться в маленьком кружке молодых, веселых приятелей. От прежнего его сердечного увлечения, по-видимому, не оставалось следов. Новый министр внутренних дел Лев Алексеевич Перовский относился к нему благосклонно, хотя не успел еще сблизиться с ним. Только в следующем 1842 году брату поручено было вновь учрежденное в Хозяйственном департаменте Министерства внутренних дел "Городское Отделение". С этим назначением служебная деятельность моего брата сосредоточилась на разработке новых положений о городском управлении и хозяйстве.

В Гвардейском генеральном штабе произошли в мое отсутствие значительные перемены. Еще летом, когда я виделся на Рейне с генералом Веймарном, я уже знал о новом его назначении начальником штаба Гренадерского корпуса. По возвращении из-за границы в исходе августа, он переселился в Новгород. Гвардейский генеральный штаб с прискорбием расстался с таким начальником, которого все уважали и любили. Место его занял полковник барон Ливен, только что возвратившийся из командировки в Турцию, вместе с капитаном Старком. Новый наш оберквартирмейстер был человек весьма приятный, обходительный, всеми любимый; но по чрезмерной мягкости характера он вполне поддался влиянию полковника Фролова, который не пользовался ни любовью, ни уважением офицеров, держал себя в отношении к ним пристрастно, а к некоторым явно враждебно, как например к Голынскому, Горемыкину, Волкову, Кузминскому. Голынский (Феликс Фадеевич), хотя и дождался производства в полковники Гвардейского генерального штаба, однако ж, был поставлен в необходимость покинуть службу, частью по расстроенному здоровью, а частью по беспрерывным неприятностям с Фроловым. Он взял отпуск на 6 месяцев, и я уже не застал его в Петербурге. Горемыкин (Федор Иванович), оставив должность старшего адъютанта, искал себе какого-либо нового служебного положения. Таким образом, обоими отделениями штаба управляли уже новые, молодые офицеры, пользовавшиеся покровительством Фролова: первым — выпущенный из Академии в 1840 году и прикомандированный к штабу инженер штабс-капитан Минквиц (Александр Федорович), а вторым — штабс-капитан Лермонтов. Бывший мой товарищ путешествия Теслев

еще не возвратился в Петербург: после того, как мы с ним расстались в Вене, он проехал чрез Дрезден в Гамбург, оттуда на пароходе в Стокгольм и в конце октября прибыл на свою родину, в Финляндию, где прожил до конца января в деревне, в окрестностях Выборга. Он продолжал жаловаться на расстройство здоровья и уже сомневался в возможности продолжать службу в Гвардейском генеральном штабе. Также и штабс-капитан Кузминский (Александр Петрович) собирался уехать в продолжительный отпуск, по расстроенному здоровью: пролечившись все лето у петербургского гидропата Гардера, он решился отправиться к самому отцу гидропатии Присницу в Грейфенберг. Таким образом, из тех товарищей, с которыми я преимущественно был в дружеских отношениях, оставался налицо один Горемыкин. Взамен уже выбывших и отсутствовавших товарищей*, нашел я нескольких вновь прикомандированных молодых офицеров: троих из академического выпуска 1840 года: упомянутого уже штабс-капитана Минквица (инженер), донского казака есаула Попова и путей сообщения поручика Козлянинова (Николая Федоровича); еще одного из последнего выпуска 1841 года штабс-капитана лейб-гвардии Семеновского полка Карцова (Александра Петровича). Кроме того прикомандирован был к штабу, помимо Академии (по примеру Жерве и Кушелева), прямо по выпуске из Пажеского корпуса, прапорщик Преображенского полка граф Гейден (Федор Логгинович). Из этих почти новых товарищей, наиболее симпатичными показались мне Козлянинов, Карцов и граф Гейден.

В "дежурстве" нашего корпусного штаба также произошла перемена: бывший дежурный штаб-офицер полковник Никифоров, который пользовался общим уважением и любовью, произведен в генерал-майоры с назначением генерал-кригс-комиссаром, то есть директором Комиссариатского департамента, на место генерала Храпачева; а дежурным штаб-офицером назначен старший адъютант дежурства капитан Синельников, с переименованием в подполковники.

В зимнее время, как уже было сказано, офицеры Гвардейского генерального штаба почти не несли никаких обязательных занятий**. Только по временам начальство придумывало какую-нибудь работу, чтобы занять досуг офицеров; так, например, некоторые из них принимали участие в составлении новых наставлений войскам по разным частям строевой службы и т.п. Поэтому в зиму 1841—1842 г. я имел много свободного времени. Пользуясь им, приступил я к исполнению намеченной мною еще за границей программы занятий; начал изучать международное право, политическую экономию; много читал, иногда излагал письменно свои размышления и задумывал разные работы. В

* В числе выбывших был прикомандированный к штабу юный прапорщик Преображенского полка Кушелев, неизвестно за что и почему назначенный флигель-адъютантом и откомандированный на Кавказ.

** Далее в автографе зачеркнуто: за исключением редких случаев, как например, расставление войск на зимнем смотру, в залах Зимнего дворца в день Георгиевского праздника и в Крещение и т.п. (*прим. публ.*).

числе таких заметок были, между прочим, мысли о составлении "Истории народов и государств Восточной Европы"; несколько программ для систематического изложения общего курса военных наук, предположение о составлении курса полевой фортификации в связи с тактикой (под заглавием: "Применение полевых инженерных работ к современной тактике") и т.д. Но из всех этих предположений и размышлений, не мог я остановиться ни на одном, чтобы приступить к серьезной разработке. Дело в том, что мне необходимо было по-прежнему искать работы, так сказать, производительной, которая доставляла бы хотя некоторые материальные средства в подспорье к получаемому по службе содержанию, совершенно недостаточному для самой скромной жизни офицера в Петербурге. Подобные работы, попадавшиеся кое-когда случайно, урывками, для каких-нибудь периодических изданий, не составляли верного источника. В этих соображениях, я задумал было взяться за издание при Гвардейском штабе военного журнала и представил начальству в декабре 1841 года проект такого издания с подробным расчетом издержек. Предполагалось, что все расходы мои могли покрыться при 850 подписчиках и что потому можно обойтись без всякой субсидии от казны. Проект мой был одобрен ближайшим начальством и представлен в высшие инстанции; но увы, в январе 1842 года получен от военного министра ответ, что на предположенное издание Высочайшего соизволения не последовало.

Неудача эта не только расстроила мой план и заставила меня искать других средств к обеспечению моего положения, но вместе с тем подтвердила еще раз, что служба при Гвардейском корпусе никогда не даст мне деятельности, соответствующей моим наклонностям и стремлениям. Самая жизнь в Петербурге была не по мне. И что же могло меня к ней привязывать? К "светской" жизни никогда не имел я расположения, а к так называемому "большому свету" (le grand monde) даже питал отвращение до того, что избегал частых посещений моей сестры, чтобы не встречаться в ее доме с личностями несимпатичными. К сожалению, и с братом Николаем, несмотря на дружеские наши отношения и совместное жительство, мы, в сущности, вели жизнь врозь и виделись мало: по утрам он был на службе, а вечера большей частью проводил в своем кружке молодых приятелей, с которыми у меня не было ничего общего. Наконец, и товарищеский мой кружок, как уже сказано, почти распался.

Вообще мой круг знакомства был весьма тесный, если не считать те личности или семьи, с которыми отношения ограничивались редкими, обязательными визитами. Было только три-четыре дома, в которых случалось мне иногда проводить запросто вечера; и странно, что это были все новые знакомые, с которыми случайно сблизился я во время путешествия. Так, Иван Федорович и Елизавета Максимовна Веймарны, приезжая по временам из Новгорода в Петербург, по-прежнему принимали меня весьма дружелюбно и радушно и любили вспоминать о наших странствованиях; также посещал я

князя Ник<олая> Сер<геевича> Голицына[*], видался с бароном и баронессою Тизенгаузен и возобновил знакомство с генеральшею Понсэ, которая, по возвращении из-за границы, поселилась в Галерной улице, в доме моего зятя Авдулина[**]. Она жила с двумя дочерьми, из которых старшею была знакомая мне Наталия Михайловна, а другая — Фредерика (звали ее в семье Дора) — была еще на положении несовершеннолетней. Сын генеральши Понсэ, Евгений Михайлович, служил подпоручиком в Конно-пионерном дивизионе, стоявшем в Задонске, и только изредка приезжал в Петербург в отпуск. Как и прежде, неведомый магнит тянул меня в дом генеральши Понсэ, несмотря на то, что я находил у ней такой круг знакомых, с которым не имел ничего общего. В этом кружке преобладал петербургский немецкий элемент: семьи генералов Шуберта и Зедделера, Фрейганги, Фишеры, Корфы, Геншели, Гюгели (Hügel); были также и некоторые французские имена: граф и графиня Сансэ, Seguin Llobry; наконец, встречался я там и с общими знакомыми: Веймарнами, Тизенгаузенами. У генеральши Понсэ знакомые собирались обыкновенно по средам вечером. Я был в числе ее обычных гостей, так что частые мои посещения, которые не могли быть тайною в доме Авдулиных, начали уже служить предметом шуток, что, конечно, было для меня очень неприятно. Я стал реже посещать дом, в котором слишком частые мои появления могли подать повод к напрасным толкам и пересудам, тогда как в действительности, при тогдашнем моем необеспеченном, беспочвенном положении, нельзя было и мечтать о каких-либо матримониальных видах. Таким образом, мне приходилось постоянно выдерживать тяжкую борьбу со своими собственными впечатлениями и скрывать свои чувства даже от самых близких людей. Чрез это существование мое в Петербурге сделалось еще тяжелее; после целого года путешествий, жизнь петербургская казалась мне бессодержательною, пустою, скучною. Былой недуг нравственный — хандра — возвратился с новою силою.

Только приезд отца в Петербург составил приятный эпизод в моем безотрадном существовании. Он прожил с нами с половины декабря до конца января и должен был спешить возвращением в Москву, по случаю приезда туда, в начале февраля, сестры его Елизаветы Михайловны Якимовой[***].

В течение этой же зимы приехал в Петербург генерал Граббе с полковником Норденстамом. Он привез свой план военных действий на 1842 год и хлопотал, чтобы ему исключительно предоставлены были все распоряжения

---

[*] Князь Н.С.Голицын, по возвращении из-за границы (в апреле 1841 г.) в Петербург усердно принялся снова за прерванную во время отпуска работу по курсу военной истории для Военной Академии. Чтобы скорее довести ее до конца, он даже был освобожден совсем от лекций в Академии; читал их капитан Мод<ест> Ив<анович> Богданович, получивший звание второго профессора стратегии и военной истории.

[**] Дом этот, как и все другие дома Английской набережной, выходил также на Галерную улицу.

[***] В это же время, в феврале 1842 года вышла замуж за некоего Медведева младшая из двух сестер Бакаревых (Мария Алексеевна), воспитанных в доме Киселевых. Старшая, Анна Алексеевна, была за Мельниковым, чиновником Комиссии постройки храма Спасителя.

не только подчиненными ему войсками Кавказской линии и Черномории, но также и отрядами в Северном Дагестане и на Черноморской береговой линии, с устранением всякого вмешательства в военные действия корпусного командира генерала Головина. Положение дел на Кавказе приняло с 1840 года весьма невыгодный для нас оборот: власть Шамиля значительно распространилась; на его сторону передались не только вся Чечня, но и те части Дагестана, которые давно считались покорными. Несмотря на крупные подкрепления; данные нашим силам на Кавказе, военные действия, предпринятые в 1841 году, не поправили дел; напротив того, еще более расстроили наше положение. Личное присутствие генерала Головина в отрядах, собранных для совместных действий против Шамиля со стороны левого фланга линии и Северного Дагестана, обострило давнишний антагонизм между ним и генералом Граббе. Последний тяготился зависимостью от корпусного командира и домогался самостоятельной роли. Эта рознь и неудовольствия между двумя главными начальствующими лицами, разумеется, много вредили успеху наших действий и облегчали предприятия Шамиля, который, не довольствуясь отторжением из-под русской власти горских племен одного за другим, наносил нам удары давно уже небывалыми дерзкими набегами в больших силах на наши линии — до Моздока, Кизляра и Военно-Грузинской дороги. Генерал Головин обвинял в этих неудачах генерала Граббе, который в 1841 году, в самое горячее время военных действий, вдруг распустил Чеченский отряд, даже не предварив о том корпусного командира, и оставался целый месяц в полном бездействии. В декабре 1841 года генерал Головин представил военному министру свой проект действий на 1842 год. План его, в сущности, заключался, как и в предшествовавшие годы, в совместном действии двух сильных отрядов: одного, Дагестанского, под личным начальством его, корпусного командира, и другого, Чеченского, под начальством генерала Граббе; предполагалось, что оба эти отряда будут содействовать друг другу наступательным движением к Андийскому Койсу с противоположных сторон, для упрочения нашего положения в долине этой реки. Но генерал Граббе, приехав лично в Петербург, добился того, что утвержден был его план; корпусный командир устранен от личного командования; на него возложены лишь распоряжения хозяйственные, для доставления генералу Граббе всех материальных средств, какие он признает нужными для успешного ведения военных действий на всем протяжении от Каспийского моря до Черного. Генерал Граббе уехал из Петербурга в полном торжестве; но явно обнаружившиеся несогласия между двумя главными начальствующими на Кавказе лицами, также как и ряд испытанных нами в последние годы неудач, озабочивали Государя. Решено было, что в течение предстоявшего лета сам военный министр князь Чернышев отправится на Кавказ, чтобы исследовать на месте истинное положение дел и представить на Высочайшее решение соображения о необходимых мероприятиях.

Во время пребывания в Петербурге генерала Граббе и полковника Норденстама я, конечно, виделся с ними не раз. Оба они выказывали мне по-прежнему любезное внимание и снова заманивали меня к себе на Кавказ. Как ни печально было тогдашнее положение дел на Кавказе, мне все-таки улыбалась мысль об избавлении от невыносимой для меня петербургской жизни. Но было бы безрассудно и опрометчиво менять службу, не имея в виду никакого определенного, прочного положения на новом пути. Да и сам генерал Граббе, так же как и полковник Норденстам, не иначе разумели мой переход на Кавказ, как на штатное место обер-квартирмейстера войск Кавказской линии и Черномории, то есть на место самого полковника Норденстама, для которого ожидалась вакансия начальника штаба тех же войск. Таким образом, переговоры со мною и не могли вести к какому-либо непосредственному практическому результату; дело шло только о предвидимом случае; но объяснения эти снова пробудили во мне прежние, почти уже заглохшие мечты.

С наступлением лета прервалось на некоторое время монотонное течение моей жизни в Петербурге. Начались обычные разъезды офицеров Генерального Штаба на рекогносцировки пред лагерным сбором; затем, с первых чисел июня, весь штаб наш переселился в Красное Село. В продолжение лагерного сбора я жил в Красном Селе с Ф.И.Горемыкиным и исполнял обязанности дивизионного квартирмейстера 3-й гвардейской пехотной дивизии. Лагерные занятия шли обычным порядком. Во время больших маневров, простиравшихся до Ямбурга, я состоял за старшего офицера Генерального Штаба в отряде генерал-лейтенанта Арбузова и мне удалось заслужить похвалы начальства. Известно, какое значение имели большие маневры в те времена, когда сам Император Николай лично принимал в них живое участие.

В продолжение этого лета сестра с мужем ездила в Москву и прожила около 6 недель (с 22 июня по 1 августа) с отцом, на даче в Петровском парке. Присутствие Авдулиных, разумеется, доставило старику большое удовольствие. Хотя он и жаловался на расстроенное здоровье, однако ж, ездил верхом с дочерью, стараясь всячески доставлять ей развлечения.

По окончании лагерного сбора и возвращении на зимние квартиры, снова предстала предо мною печальная перспектива петербургской жизни в течение долгой осени и зимы. Не имея в виду ничего положительного для материального обеспечения своего существования, я с нетерпением ожидал решения вопроса о перемене служебного моего положения. Но ожидания эти могли сделаться совсем напрасными, вследствие случившихся на Кавказе неожиданных перемен.

В течение лета 1842 года дела в том крае нисколько не улучшились; напротив того, действия генерала Граббе были целым рядом новых неудач. В начале он медлил открытием военных действий и дал возможность Шамилю опрокинуться всеми силами на Южный Дагестан; затем в первых числах июля Чеченский отряд двинулся было к Дарго по долине Аксая, но встретил такой

отпор со стороны чеченцев, что, не достигнув цели, вынужден был отступить с большою потерею и вернулся к Герзель-аулу в то самое время, когда приехал туда военный министр. Таким образом, князь Чернышев имел случай увидеть собственными глазами, в каком расстройстве и упадке духа отряд возвратился из 5-дневного похода. После этой неудачи генерал Граббе перенес свои действия в Дагестан и с отрядом, собранным в Аварии, спустился к Ихали на Андийском Койсу; но и здесь постигла его неудача. Предоставленные в его распоряжение грозные силы обращены были на все остальное время к постройке укреплений. Между тем, и на правом фланге дела приняли также неблагоприятный оборот: мирные племена, обитавшие между Кубанью и Лабою, возбужденные эмиссарами Шамиля, покинули свои жилища и присоединились к враждебному нам закубанскому населению. Такое печальное положение дел не могло не произвести весьма невыгодного впечатления на князя Чернышева, который, разумеется, представил Императору Николаю отчет о своем посещении Кавказа в черных красках. Результатом его поездки было удаление от должностей как генерала Граббе, так и генерала Головина. На их места назначены: корпусным командиром — генерал Нейдгарт, командир 6-го корпуса, а командующим войсками Кавказской линии и Черномории — генерал-лейтенант Гурко, начальник 2-й гвардейской пехотной дивизии. Первый принадлежал в свое время к числу самых дельных и способных офицеров Генерального Штаба; долгое время был начальником штаба Гвардейского корпуса, а затем командиром названного армейского корпуса; считался генералом ученым и опытным. Генерал Гурко (Владимир Осипович) также пользовался репутацией умного и дельного генерала. На них обоих возлагались большие надежды.

Неожиданная эта перемена начальства на Кавказе могла разрушить все мои планы. Но генерал Гурко, пред отъездом на Кавказ, в сентябре, узнал от Ивана Федоровича Веймарна о составленной мною в 1840 году, по возвращении с Кавказа, записке относительно образа действий в том крае[120], пожелал прочесть ее. Потом, возвращая И.Ф.Веймарну мою записку, генерал Гурко писал ему: "Я прочел с особенным удовольствием обозрение нынешнего положения дел на Кавказе*; оно познакомило меня с оными и удвоило во мне желание служить с г.Милютиным. Он, конечно, был бы на Кавказе несравненно полезнее, чем на ваших парадах, и жаль, что способности его и молодые его лета потеряны для настоящей службы; но я надеюсь, что генерал Траскин (начальник штаба войск Кавказской линии) скоро оставит тот край и, что при назначении полковника Норденстама начальником штаба, откроется место для г. Милютина"[121].

При личном со мною свидании, генерал Гурко также наговорил много лестных любезностей и заручился моим согласием на занятие места обер-квартирмейстера, в случае открытия вакансии на эту должность. Получив, таким

---

*Это выражение не совсем верно: положение дел на Кавказе значительно изменилось после написанной мною в 1840 г. записки; но в ней почти предсказывалось то, что случилось в 1841 и 1842 годах.

образом, от нового кавказского начальства положительное подтверждение прежних обещаний, я мог спокойно оставаться в выжидательном положении и кое-как дотянуть свое жалкое существование в Петербурге до желанной перемены службы.

Между тем, в сентябре месяце, мы с братом Николаем должны были опять переменить квартиру и поселились в громадном доме барона Фредрихса на Владимирской. Новое наше помещение было гораздо удобнее и опрятнее всех прежних; но, разумеется, потребовалось и некоторое повышение платы. Как ни трудно было нам изворачиваться с нашими скудными финансами, однако же, удавалось избегнуть долгов.

В том же сентябре, ко времени открытия курса в учебных заведениях, отец мой переехал с дачи в Москву, чтобы определить в гимназию самого младшего из моих братьев Бориса. Он принят был прямо в 3-й класс. В то же время брат Владимир перешел в 7-й (последний) класс и стал первым учеником, получив на экзамене полные баллы из всех предметов. В это время приехал в Москву министр народного просвещения С.С. Уваров; усердно посещая учебные заведения, он присутствовал на экзаменах в гимназии и обласкал брата Владимира. Также прибыл в Москву и граф Павел Дмитриевич Киселев, после объезда северо-восточных губерний; в родственном кружке нашли его на этот раз любезным и благодушным.

Наступившая зима была для меня также несносна, как и предшествовавшая. Я проводил ее в том же кругу знакомых и в том же угрюмом настроении. Возобновились, разумеется, и посещения мои генеральши Понсэ, которая попрежнему принимала меня любезно и радушно. Вопреки собственным своим рассудительным намерениям, я, все больше поддавался непреодолимому влечению. Каждая среда, в которую принуждал я себя пропустить вечер в Галерной, стоила мне чувствительного пожертвования, и во всю следовавшую за тем неделю я ждал с нетерпением новой среды.

В служебной моей обстановке произошла довольно важная перемена. Начальник штаба Гвардейского корпуса генерал Веймарн (Петр Федорович) получил новое назначение — дежурным генералом на место генерала Клейнмихеля, назначенного главноуправляющим путей сообщения и публичных зданий; место же начальника штаба Гвардейского корпуса занял Иван Федорович Веймарн. Перемена эта должна была отозваться и на нашем Гвардейском генеральном штабе, хотя непосредственным начальником нашим оставался тот же добродушный барон Ливен. И действительно, в эту зиму деятельность нашего Гвардейского генерального штаба несколько оживилась: многие из офицеров были привлечены к серьезной работе — составлению воинского устава полевой службы. На мою долю досталась довольно значительная часть этой работы. Составленный проект устава был представлен начальству в начале 1843 года; но рассмотрение его в разных инстанциях и комиссиях затянулось на долгое время. Другая работа, лично на меня возложенная, по инициативе генерала Веймарна, заключалась в

составлении “Руководства для действия пехоты при обороне и атаке лесов, строений, деревень, оврагов и других местных предметов”. При составлении этого руководства положено было ограничить теоретическую часть самым сжатым изложением, в виде уставных статей; но зато разъяснить правила наглядными примерами на планах. Исполненная мною работа эта удостоилась Высочайшего одобрения 20 марта 1843 года, и в том же году отпечатана на казенный счет, в формате продолговатого in 4°, с 7 планами.

И в эту зиму отец провел в Петербурге более двух месяцев: от начала декабря до половины февраля (1843 г.). Дело его с Евдокимовым все еще тянулось в Сенате; за невозможностью прямого решения в пользу Евдокимова, сенатские дельцы приискивали предлог для возвращения дела в низшие инстанции, под видом пополнения справок. Так было и на этот раз: в феврале 1843 года решено Сенатом возвратить дело в Тульскую гражданскую палату, что было новой проволочкой на несколько лет. Отец мой должен был снова обратиться в Комиссию прошений.

В исходе марта наконец осуществились долгие мои ожидания: я получил письмо от полковника Норденстама (от 9 марта), который извещал меня, что, в виду предстоявшего назначения генерала Траскина ставропольским губернатором (на место генерала Сотникова, перемещаемого в Тифлис), генерал Гурко намеревается войти с представлением о назначении его, Норденстама, на место начальника штаба, а меня — обер-квартирмейстером войск Кавказской линии и Черномории, на что и спрашивает моего согласия. При этом генерал Гурко, собственною инициативою, предполагал ходатайствовать об оставлении меня в списках Гвардейского генерального штаба, дабы, не лишить меня права на производство в полковники наравне с моими товарищами. Разумеется, я отвечал немедленно же (письмом от 25 марта); подтвердив данное уже предварительно согласие, выразил я благодарность за оказываемое мне доверие. Генерал Гурко очень торопился привести в исполнение предположенные назначения, желая, чтобы я скорее прибыл к новой должности, до выезда его из Ставрополя в действующий отряд, в котором предполагал он поручить мне заведывание отрядным штабом. Полагаю даже, что представление его обо мне пошло ранее получения моего ответа, так как испрашиваемые назначения Норденстама и меня были уже внесены в Высочайший приказ на Пасху, 11 апреля. При представлении моем генерал-квартирмейстеру генералу Шуберту и потом военному министру князю Чернышеву, и тот, и другой заявили мне, что я должен отправиться к месту нового назначения неотлагательно. Что касается до сохранения за мною права на производство в полковники по Гвардейскому генеральному штабу, то Высочайшее соизволение на это ходатайство последовало только 17 мая.

Таким образом, крутой поворот в моем служебном положении осуществился чрезвычайно быстро. Мне пришлось поспешно снаряжаться в дальний путь и устраивать свои хозяйственные дела в течение нескольких дней. Известие о решении моей судьбы, конечно, было не совсем приятно моему отцу; но он уже

примирился с мыслью об ожидаемой мною перемене службы; он должен был, наконец, признать, что рано или поздно необходимо было мне стать в более самостоятельное служебное положение. Хотя месту обер-квартирмейстера было присвоено весьма скромное содержание (всего 1200 рублей серебром при чине подполковника), однако ж, оно все-таки давало насущные средства жизни и избавляло от тяжелой заботы искать заработков на стороне, вне службы. При всем том, отцу моему тяжело было на старости лет разлучаться со мною, быть может, на несколько лет. В то время Кавказ представлялся далекою, малоизвестною, дикою страною, где на каждом шагу угрожают опасность и смерть. И для меня самого переселение в дальний край, хотя и было давно моим желанием, все-таки сопряжено было с некоторыми пожертвованиями. Мне жаль было удаляться от старика-отца, разлучаться с братом-другом; но, должен признаться, было еще нечто другое, что гораздо более омрачало мое настроение: мне предстояло подавить в себе окончательно то сердечное влечением, с которым я боролся, которое старательно скрывал от всех, и которое тем не менее все больше и больше укоренялось. Правда, мелькала иногда мысль о том, что с переменою служебного положения, я в некоторой мере перестаю быть бобылем, не обеспеченным в насущном хлебе; но вслед за этою мыслью являлась другая: можно ли считать те скромные средства, которые сулило мне новое служебное положение, достаточными для существования семьи? Да к тому же, не будет ли с моей стороны самонадеянностью предполагать, что молодая, прекрасная во всех отношениях девушка решилась бы охотно обречь себя на неприглядную жизнь в отдаленной глуши, вдали от всего ей близкого и привычного? Предположение такого с ее стороны пожертвования не есть ли неосуществимая иллюзия эгоиста?

Нужно ли говорить, с какими чувствами и размышлениями ехал я 19 апреля в Галерную, чтобы проститься с милою семьею, принимавшею меня всегда так любезно и радушно? Это был день рождения Наталии Михайловны, и на вечер собралось многочисленное общество. Собрание было оживленное, но для меня крайне тяжелое; я не мог преодолеть гнетущее меня чувство грусти и был совсем не в духе, вероятно, даже очень нелюбезным гостем. Мне казалось, что и молодая хозяйка, которой праздновался день рождения, была также не совсем в веселом настроении, на лице ее выражалась озабоченность; как-то рассеянно разливала она чай за круглым столом в столовой и отрывисто отвечала сидевшим около нее нарядным дамам. После чая, когда все гости оставили столовую и снова перебрались в гостиную, сама судьба так распорядилась, что я остался с любимою девицею вдвоем в столовой, без свидетелей, — тут, совсем неожиданно, — произошло между нами сердечное объяснение... Какое чудное мгновение — первое взаимное признание в любви! Какое неизъяснимое чувство испытал я, когда она с одушевлением и твердостью объявила, что готова за мною последовать куда бы ни бросила меня судьба и при какой бы ни было обстановке!.. Несколько минут объяснения совершенно перевернули все мое существо; мысли мои помутились; не сон ли это?.. Нет, это счастье наяву, счастье, какого я не смел

надеяться... Нужно ли говорить в каком волнении вышли мы из столовой в гостиную, и с таким нетерпением ожидали, чтобы гости разъехались. Разумеется, я остался последним, и счастливый этот вечер завершился изъявлением вполне сочувственным согласия со стороны матери моей суженой.

Итак, в судьбе моей вдруг совершился неожиданный перелом. Я уже смотрел на жизнь совсем иными глазами, чем прежде; будущее приняло для меня совершенно новый смысл. Это было самое радикальное исцеление от моей хандры. Первым делом моим в тот же вечер было известить отца и просить его благословения. Брат Николай, возвратившись домой поздно вечером, был, конечно, изумлен сообщенным ему неожиданным известием и принял самое сердечное участие в моей радости. На другой же день он поехал познакомиться с моею невестою и ее матерью. То же сделали сестра и ее муж. От отца получил я трогательный ответ (от 24 апреля), в котором вылилась вся его отцовская любовь: "Благословляю тебя от всей полноты чувств и желаю тебе такой же семейной жизни и такого же счастья, какие я имел от покойного моего друга. Ныне день ее именин и я сейчас еду на могилу ее просить тебе и ее благословения"[122]. Вслед за тем, письмом от 26 апреля, он известил меня о своем намерении приехать в Петербург к свадьбе и приложил любезные письма к моей невесте и к ее матери. Также получил я сочувственные поздравительные письма от некоторых родственников*. Только граф Павел Дмитриевич Киселев, видимо, не сочувствовал моей женитьбе и даже высказал брату моему, что я поступаю необдуманно, решаясь жениться без обеспеченного состояния. Такая точка зрения с его стороны нисколько меня не удивила; но обстоятельство это произвело охлаждение во взаимных отношениях между мною и дядею.

По случаю неожиданной моей женитьбы, разумеется, возникала необходимость отложить мой отъезд на Кавказ. Так как начальство очень торопило меня, то я должен был обратиться к генерал-квартирмейстеру с просьбой о разрешении мне отсрочки, и, в то же время известил об этом генерала Гурко и полковника Норденстама (письмами от 21 апреля). Генерал Шуберт, несмотря на свои дружеские отношения к будущей моей теще и почти родственное обращение с моею невестою с самого детства, принял мою просьбу с обычною своею суровостью и согласился дать отсрочку только на 28 дней. Как ни желательно было для всех ускорить свадьбу, однако ж данный мне срок казался слишком коротким для всех обычных приготовлений тем более, что в настоящем случае приходилось снарядить невесту в дальний путь и на житье в отдаленном захолустье. Также и на мою долю предстояло немало хлопот: сделанные прежде распоряжения для переселения моего как холостяка становились теперь совершенно недостаточными для женатого. По невозможности достать что-либо на месте, необходимо было запастись всеми предметами домашнего обза-

---

* Далее в автографе зачеркнуто: тетки Варвары Дмитриевны Полторацкой и ее мужа и дяди Сергея Дмитриевича Киселева (*прим. публ.*).

ведения в Петербурге или Москве. На это, конечно, требовалось и время, и значительные денежные средства. В том и другом отношении отец оказал мне большую помощь, предложив заготовить часть необходимых мне предметов в Москве, уделив из накопившегося у него в доме имущества. Эта помощь его, с добавлением полученного от казны пособия*, дала мне возможность покрыть чрезвычайные расходы переселения.

8 мая отец приехал в Петербург и немедленно же поехал знакомиться с моею невестóю и будущею моею тещею. Он отнесся к ним с сердечною добротою и в короткое время полюбил мою невесту, как родную дочь. Как ни торопились мы приготовлениями к свадьбе, оказалось возможным совершить ее не прежде 23 мая; поэтому я должен был вторично просить генерала Шуберта о продлении данной мне отсрочки еще на неделю. Чем ближе подходил назначенный день, тем более усиливалось мое нетерпение. Венчание было назначено вечером 23 числа в церкви батальона кантонистов (на Мойке, у Поцелуева моста)**. Посаженными отцом и матерью были: у меня — отец мой и сестра, у невесты — генерал Шуберт и ее мать. Приглашенных на свадьбу было немного, особенно с моей стороны***; даже дядю графа Павла Дмитриевича Киселева счел я излишним пригласить****. Обряд совершился не без приключения: среди самого венчания случился со мною обморок (вероятно от бывшей в тот день необыкновенной жары). Подобные обмороки случались со мною нередко, особенно в детстве и юности; они проходили обыкновенно очень скоро и без всяких последствий; но подобный случай во время торжественной обстановки, когда глаза всех присутствующих направлены на жениха и невесту, минутный перерыв богослужения произвел некоторый переполох; особенно испугал сестру мою, наклонную к суеверию и предрассудкам. Однако ж, я пришел в себя очень скоро и церемония закончилась вполне благополучно. После православного венчания в церкви, новобрачные и все присутствовавшие собрались в квартире моей тещи, и здесь совершена церемония по реформатскому обряду. Пастор произнес по-немецки длинную, прочувствованную речь, из которой понял я немного. После подобающего угощения гости разъехались, а нас, новобрачных, посадили вдвоем в карету и отвезли в Новую Деревню, на дачу Авдулиных, предоставленную на два дня в наше пользование.

---

* Выдано было 2 тысячи рублей серебром заимообразно, с рассрочкою уплаты на десять лет.

** Здание внутри двора, где помещалась церковь, передано впоследствии Приготовительному пансиону Николаевского кавалерийского училища, переименованному позже в Николаевский кадетский корпус.

*** Кроме отца, брата и сестры с мужем присутствовали только Н.А.Бибиков, Гельфрейх, Горемыкин и Теслев.

**** На отдельном листке автором написан список лиц, приглашенных тещей: "Веймарн Ив<ан> Фед<орович> с Елизаветой Максимовной; все семейство Шуберт и Зедд<е>лер; Фрейган с женой; Лобри с женой; граф Сансв с женой; Крюковской с женой (рожд. Шуберт); баронесса Корф; барон Гюгель; семья Геншель; полковник Фролов; капитан Фессель (сапер), Батюшков, Тизенгаузен; барон Толь" (ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 8. Ед. хр. 18. Л. 34а) (*прим. публ.*).

Эти два первые дня моей счастливой жизни прошли в утренних визитах, родственных обедах и в окончательных сборах в дорогу. В числе визитов, представил я свою жену и дяде графу Павлу Дмитриевичу Киселеву. Отец на другой же день свадьбы нашей уехал в Москву, чтобы там принять нас, а 26 числа выехали и мы с женою. На пути заехали к Полторацким в их имение (Вельможье) близ Торжка, и провели у них целые сутки. В Москве оставались несколько дней, в отцовском доме; по утрам я возил свою жену знакомить с многочисленным родством; везде находили мы самый радушный прием*. Из Москвы выбрали мы путь чрез Воронеж, с тем, чтобы остановиться в Задонске для свидания с братом жены, Евгением Михайловичем Понсэ. В угоду ему мы должны были заехать в имение генерала Муравьева (Николая Николаевича), впоследствии известного под названием Карского, который был тогда в опале и жил безвыездно в деревне** со своею семьею. Шурин мой желал познакомить нас с ними, полагая тем выразить свою признательность за то радушие, с которым он был принят в этой семье. Мы пробыли у них целые сутки. Сам хозяин был болен, и потому мы пользовались мало его обществом; однако ж, со мною он беседовал довольно долго и показывал с некоторою гордостью свой прекрасный, оригинальный кабинет, представлявший род музея, наполненного дорогим оружием и всякими редкостями. Хозяйка (рожденная Чернышева-Кругликова) и дочери ее были так любезны, что проведенный с ними день был для нас приятным отдыхом.

Путешествие наше от Москвы до Ставрополя было очень медленно. Часто встречались остановки то за недостатком лошадей на станциях, то за дурными дорогами и поломками экипажа. Тем не менее путешествие это было для нас полным блаженством.

Еще в Москве получил я письмо полковника Норденстама от 24 мая: хотя поздравления его с женитьбою сопровождались обычными фразами пожеланий счастья, однако ж, между строками проглядывал намек на то, что моя женитьба несколько расстроила предположения генерала Гурко, который, отправившись 22 мая в отряд на правый фланг, должен был сформировать себе походный штаб уже без моего участия. Полковник Норденстам остался в Ставрополе для ведения текущих дел по управлению Кавказской линией в отсутствие командующего войсками. В том же письме он предварял меня о затруднительности приискания для меня хорошей квартиры; но обещал найти кое-какое помещение на первое время. Подъезжая уже к Ставрополю, на одной из последних станций, нашел я извещение его о приготовленном для меня временном пристанище.

20 июня прибыли мы в Ставрополь.

---

* Дядя Сергей Дмитриевич Киселев и его семья проводили лето в подмосковном имении Елизаветине, где мы и посетили их проездом из Москвы в предстоящий нам дальний путь.

** Село Скорняково, в 30 верстах от Задонска.

КОММЕНТАРИИ

[1] "Милютины лавки" занимали часть территории, на которой расположен Гостинный двор в Петербурге. См.: *Петров Б.Н.* История Санкт-Петербурга с основания города до введения в действие городского управления по учреждениям о губерниях. 1703—1782. СПб. 1885. С. 307; *Богданов И.А.* Гостинный двор. Л. 1988. С. 17. Примеч. 1.
[2] ОР РГБ. Ф. 169 (Милютины). Карт. 84. Ед. хр. 15, 17.
[3] Там же. Ед. хр. 18.
[4] Первоначально (до XVIII в.) переулок назывался Казенной улицей и Ст.Казенным переулком по стоявшему тут казенному полковому двору (складу) Семеновского полка. С 1927 г. Милютинский пер. стал называться ул.Мархлевского (см.: Имена московских улиц. М. 1975. С. 255—256). В 1992 г. улице возвращено название Милютинский переулок.
[5] ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 89. Ед. хр. 21. Л. 4 об.—5.
[6] Письмо Е.Д.Милютиной П.Д.Киселеву от 17 IX 1815 г. ОР РГБ. Ф. 129 (Киселевы). Карт. 17. Ед. хр. 57. Л. 9.
[7] Там же. Карт. 10. Ед. хр. 1. Л. 5.
[8] Письма Е.Д.Милютиной П.Д.Киселеву от 10 IV 1817, 2 VI 1817, 2 и 29 I 1818 гг. Там же. Карт. 17. Ед. хр. 57.
[9] Имеется в виду созыв сейма в Царстве Польском 17 марта 1818 г. после вхождения его в состав Российской империи на основании конституции 1815 г., со статусом конституционной монархии. Открытый лично Александром I, сейм принял ряд представленных правительством законопроектов.
[10] ОР РГБ. Ф. 129. Карт.10. Ед. хр. 69. Л. 1—1об.
[11] См. в письме П.Д.Киселева П.П.Киселевой от 15 VII 1820 г. Там же. Карт. 11. Ед. хр. 16. Л. 3об.
[12] ОР РГБ. Ф. 129. Карт. 10. Ед. хр. 4. Л. 22; карт. 11. Ед. хр. 16. Л. 9об.
[13] ОР РГБ. Ф. 129. Карт. 11. Ед. хр. 16. Л. 16.
[14] Там же. Л. 20-21.
[15] Там же. Л. 22—23 (письмо от 26 I 1822 г.).
[16] Подразумевается восстание декабристов на Сенатской площади.
[17] ОР РГБ. Ф. 129. Карт. 17. Ед. хр. 47. Л. 17об.
[18] Там же. Карт. 11. Ед. хр. 16. Л. 48—49.
[19] Речь идет о восстании чеченцев, ингушей и карабулаков под руководством Бейбулата Таймазова против русских властей. Восстание было подавлено в октябре 1825 г. (см.: Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50-х гг. XIX в. Сб. док. Махачкала. 1959. С. 53—55).
[20] Письмо Е.Д.Милютиной П.Д.Киселеву от 1 XI 1825 г. ОР РГБ. Ф. 129. Карт.17. Ед. хр. 57. Л. 33.
[21] Там же. Карт. 10. Ед. хр. 8. Л. 19об.
[22] Коронация Николая I состоялась после подавления восстания декабристов 22 августа 1826 г. в Москве. Он стал Императором ввиду отсутствия прямых наследников у Александра I и отречения от престола своего старшего брата, Цесаревича Константина Павловича.
[23] Речь идет о русско-иранской войне 1826—1828 гг.
[24] Имеется в виду русско-турецкая война 1828—1829 гг.
[25] ОР РГБ. Ф. 129. Карт.17. Ед. хр. 57. Л. 37.
[26] Там же. Ед. хр. 58. Л. 2.
[27] К.В.Чевкин писал П.Д.Киселеву 7 января 1829 г.: "Дело об зяте вашем г.Милютине препровождено по Высочайшему повелению на рассмотрение г.Министра Финансов с тем, чтобы он доложил Его Величеству о возможности удовлетворить просьбу г.Милютина; при чем пояснено, что Государь принимает в нем участие по родству его с Вами. Ответа от Министра Финансов еще нет, но он уже предварен г.Закревским, как сказывал мне ваш брат Николай, который здесь, весел и здоров и ожидает какого-либо определения к *хорошей* заграничной миссии" (ОР ИРЛИ. Ф. 143. Ед. хр. 80. Л. 1—1об).
[28] ОР РГБ. Ф. 129. Карт.17. Ед. хр. 47. Л. 23—27, 29, 31. В тексте письмо от 2 IV 1829 г. ошибочно датировано 4 апреля.
[29] Там же. Ед. хр. 58. Л. 3—4. В тексте письмо от 20 III 1829 г. ошибочно датировано 26 марта.
[30] Письма А.М. и Е.Д.Милютиных Д.Милютину за 1836 г. не сохранились. 3 письма за 1836—1838 гг. (от 19 III 1836, 28 VI и 24 VII 1838) см. в ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 68. Ед. хр. 74.

[31] ОР РГБ. Ф. 129. Карт. 17. Ед. хр. 58. Л. 9 об.
[32] Адрианопольский мир – мирный договор, заключенный в сентябре 1829 г. между Турцией и Россией в результате успешной для последней войны 1828–1829 гг. По договору к России переходили устье Дуная с островами и значительная часть восточного побережья Черного моря к югу от устья Кубани. Турция должна была признать автономию Молдавии и Валахии, предоставив им право самостоятельного избрания господарей.
[33] См. прим. 30.
[34] Речь идет о Польском восстании 1830–1831 гг.
[35] Письмо П.Д.Киселева Д.А.Милютину от 23 IX 1831 г. ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 65. Ед. хр. 37. Л.1.
[36] См. прим. 30.
[37] ОР РГБ. Ф. 129. Карт. 17. Ед. хр. 58. Л. 20.
[38] Автор перефразирует следующий текст оригинала письма А.Малыгина: "... Место нашего общего с Вами воспитания священно для меня по многим отношениям, ибо, собственно говоря, я обязан ему всем моим образованием; но притом, что в состоянии заменить те незабвенные, ничем не покупаемые в жизни минуты, которые так дешево достались мне в Университетском пансионе? Вот причины, почему совсем не удивительно, если Вы и каждый из наших товарищей столь же дороги для меня, как ближайшие родные..." (ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 68. Ед. хр. 25. Л. 1).
[39] ОР РГБ. Ф. 129. Карт. 17. Ед. хр. 58. Л. 17–20.
[40] Аттестат об окончании Милютиным Благородного пансиона Московского университета от 31 X 1832 г. см. в ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 84. Ед. хр. 37.
[41] Там же. Карт. 77. Ед. хр. 69. Л. 3.
[42] См. прим. 30.
[43] Там же.
[44] Там же.
[45] Николаевская Академия Генерального Штаба была открыта в Санкт-Петербурге в 1832 г. по инициативе генерал-лейтенанта А.И.Хатова и Г.Жомини. Возглавил Академию генерал И.О.Сухозанет. В Академию принимались только офицеры-дворяне. В соответствии с учебным планом в Академии преподавались предметы, обеспечивающие знание основ военного дела в целом и штабной работы в особенности.
[46] См. прим. 30.
[47] См.письма Н.Д.Милютина Д.А.Милютину за 1833–1834 гг. (ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 69. Ед. хр. 1-3).
[48] Там же. Ед. хр. 3. Л. 31об.
[49] Там же. Ед. хр. 4. Л. 4об.
[50] Там же. Л. 5об.
[51] Там же. Л. 11–15 (письмо от 22 VIII 1835 г.).
[52] См. прим. 51.
[53] См. прим. 30.
[54] Гвардейский генеральный штаб был сформирован в августе 1814 г. из числа лучших офицеров квартирмейстерской части, вследствие заслуг последней в Отечественную войну 1812 г. (ПСЗ I). Т. XXXII. № 25628). Упразднен в 1865 г. в связи с преобразованием органов управления армией.
[55] Подразумевается частное Московское училище для колонновожатых, созданное на средства генерала Н.Н.Муравьева. За время своего существования (1815–1823 гг.) училище подготовило 180 штабных офицеров.
[56] ОР РГБ. Ф. 129. Карт. 11. Ед. хр. 18. Л. 15об.
[57] См. прим. 30.
[58] Там же.
[59] V отделение С. Е.И.В.К. было образовано в 1836 г. для руководства реформой управления государственными крестьянами.
[60] Письма Милютина барону Н.В.Медему от февраля-марта 1837 г. и ответные письма Медема см. в ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 53. Ед. хр. 72. Л. 1–7.
[61] Там же. Карт. 69. Ед. хр. 5. Л. 13об., 31.
[62] Там же. Л. 13об–14.
[63] См. прим. 30.
[64] Там же.
[65] Речь идет об издании: *Голицын Н.С.* Всеобщая военная история древних времен. Ч. 1–5. СПб. 1872–76; Всеобщая военная история средних времен. Ч. 1–3. СПб. 1876–78; Всеобщая военная история новых времен. Ч. 1–3. СПб. 1872–74; Всеобщая военная история новейших времен. Ч. 1–2. СПб. 1874–75. Подготовленный Милютиным в 1838 г. очерк о Тридцатилетней войне (1618–1648) в дополненном и переработанном виде составил первую часть "Всеобщей военной истории новых времен".
[66] Имеется в виду изд.: Военная библиотека, с Высочайшего соизволения посвященная российской армии. Изд. И.И.Глазунова. Т. 1–6. СПб. 1838–1840. Т. 1–3 вышли под ред. Н.В.Медема и О.И.Сенковского. В т. 1 (1838) была издана первая часть сделанного Милютиным перевода записок маршала Сен-Сира.
[67] См. прим. 30.
[68] Письмо от 24 VII 1838 г. ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 68. Ед. хр. 74. Л. 5–6.
[69] ОР РГБ. Ф.129. Карт. 17. Ед. хр. 47. Л. 45об.
[70] Там же. Карт. 11. Ед. хр. 10. Л. 22.
[71] Там же. Карт. 15. Ед. хр. 3. Л. 42.
[72] См. прим. 30.
[73] Составленный Милютиным план осады Ахульго см. в ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 12. Ед. хр. 2. Л. 36/а-б; заметки об экспедиции Чеченского отряда есть в дневниках Милю-

тина за май-сентябрь 1839 г. Там же. Карт. 1. Ед. хр. 4—8.
[74] Имеются в виду 1818—1826 гг., когда А.П.Ермолов был командующим Отдельным Кавказским корпусом и главноуправляющим в Грузии. Тогда начался ряд военных операций в Чечне и Дагестане, сопровождавшихся строительством новых крепостей (Грозная, Внезапная, Бурная).
[75] В октябре 1839 г. Милютин представил генералу Е.А.Головину программу задуманного им труда "История русского владычества на Кавказе", рукопись которой хранится в ОР РГБ Ф. 169. Карт. 81. Ед. хр. 1). Сохранились многочисленные подготовительные материалы к труду в виде выписок и заметок по истории народов Кавказа (Там же. Ед. хр. 3—36). В 1853 г. был написан оставшийся неопубликованным "Краткий очерк войн России с Турцией" (Там же. Карт. 82. Ед. хр. 2); полностью замысел Милютина о написании истории Кавказских войн не был осуществлен.
[76] Рукопись составленного Милютиным исторического описаня экспедиции Чеченского отряда не соханилась; можно, однако, предположить, чо она была им использована при напиании позднее очерка "Описание военных действий 1839 г. в Северном Дагестане" (СПб. 1850).
[77] Автограф записки см. в ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 17. Ед. хр. 45.
[78] Там же. Карт. 18. Ед. хр. 8.
[79] См.: *Сорокин А.Ф.* Руководство к расположению и построению временных укреплений на Кавказе. СПб., 1844.
[80] Имеется в виду составленная Милютиным в 1840 г. записка "Замечания на проект генерал-майора Халанского о преобразовании всей Кавказской области в Казачье войско" (ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 18. Ед. хр.16).
[81] Речь идет об открытии 26 августа 1839 г., в Бородинскую годовщину, Памятника Отечественной войны, в виде стилизованной колокольни, на бывшей батарее Раевского; одновременно у подножия монумента был перезахоронен прах П.И.Багратиона. Первый камень в фундамент памятника был заложен 23 июля 1837 г., в год 25-летия Бородинского сражения, будущим Императором Александром II. Монумент был открыт торжественно, с участием 120 тысяч войск, 400 человек духовенства и всей царской семьи. Подробное описание памятника см. в кн.: Бородинское поле сражения. Его прошлое и настоящее. Альбом. М. 1912. С. 22—24. Рис. 4; о судьбе монумента см.: *Сироткин В.Г., Козлов В.Т.* Традиции Бородина: память и памятники. М. 1989. С. 35, 41—44.
[82] Письмо Н.А.Милютина от 24 II 1839 г. см. в ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 69. Ед. хр. 6. Л. 3 об.
[83] Цит. отрывок из письма Н.А.Милютина от 10 VIII 1839 г. Там же. Л. 20 об.
[84] Его же письмо от 6 IX 1839 г. Там же. Л. 29.
[85] Там же. Ед. хр. 7. Л. 7.
[86] Там же. Л. 2.
[87] По Туркманчайскому мирному договору, заключенному 10 февраля 1828 г. между Ираном и Россией, к последней отошла территория Восточной Армении (ханства Ереванское и Нахичеванское).
[88] Адрианопольский мирный договор, заключенный 2 сентября 1829 г. между Россией и Турцией, завершил присоединение к России основной территории Закавказья. Россия приобрела береговую полосу от Анапы до Поти и Ахалцикскую область.
[89] Приморский Дагестан был окончательно присоединен к России по Гюлистанскому договору 1813 г. между Россией и Ираном, завершившим русско-иранскую войну 1804—1813 гг. По договору Россия также получила исключительное право иметь на Каспийском море военный флот.
[90] Одна из статей Кючук-Кайнарджийского мирного договора отменяла выплату Имеретией и Гурией дани Турции.
[91] По Гюлистанскому мирному договору к России, кроме перечисленных Милютиным территорий, отошли ханства Ганджинское, Дербентское, Восточная Грузия.
[92] См. записку (с примечаниями) Милютина "О мнениях и предположениях генерала А.А.Вельяминова 1832—1833 гг.", составленную им в Ставрополе в январе 1845 г. (ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 19. Ед. хр. 6). Основные идеи известной записки Вельяминова 1833 г. изложены в статье о нем в изд.: Военная энциклопедия. СПб. 1911. Т. 5. С. 292.
[93] Письмо Милютина к И.И.Норденстаму от 22 IV 1840 г. в архиве Милютиных отсутствует; ответное письмо Норденстама от 17 V 1840 г. см. в ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 71. Ед. хр. 53. Л. 2.
[94] Записку Милютина о Кавказе см. там же. Карт. 18. Ед. хр. 13.
[95] Речь идет о письме Ф.И.Горемыкина из Тифлиса от 10 VI 1840 г. (Там же. Карт. 62. Ед. хр. 15. Л. 1—10). К письму приложены: рапорт Горемыкина к И.Ф.Веймарну от 11 VI 1840 г. и письмо к нему же от 12 VI 1840 г. с ходатайством о прикомандировании его на два месяца остающегося отпуска к одному из военных отрядов, действующих против горцев (там же. Л. 11—12, 24); отношение генерала Е.А.Головина к И.Ф.Веймарну от 13 VI 1840 г. с поддержкой ходатайства Горемыкина (Там же. Л. 26).
[96] Милютин путешествовал по Западной Европе 13 месяцев (в 1840—1841 гг.), по-

сетив Германию, Италию, Францию, Бельгию, Голландию, Австрию, Швейцарию и Дунайские княжества. Его путевые дневники составляют семь тетрадей большого формата на русском языке, с подробными записями, сопровождающимися рисунками и набросками видов местности, костюмов и пр. Оригиналы дневников хранятся в ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 1 Ед. хр. 14 (Германия и Австрия), 15—17 (Италия); Карт. 2. Ед. хр. 1 (Италия), Ед. хр. 2 (Франция, Англия, Бельгия, Голландия), Ед. хр. 3 (Рейн, Швейцария, Северная Италия, Австрия). Дневники полностью не издавались. Отрывки из английского дневника за 12—22 мая 1841 г. опубл. Н.А.Ерофеевым в сб.: Проблемы британской истории. М. 1974. С. 186—217.

[97] Сражение под Лейпцигом между армией Наполеона и войсками союзников (Росси, Пруссии, Австрии и Швеции) произошло16—19 октября 1813 г. Закончилось разгромом французской армии.

[98] При Люцене 20 апреля 1813 г. произошло сражение между армией Наполеона и русско-прусскими войсками, закончившееся поражением последних; в результате ошибок союзного командования русско-прусские войска были вынуждены отступить за Эльбу, уступив Наполеону Дрезден.

[99] Имеется в виду Дрезденское сражение 14—15 августа 1813 г. между союзной (русской, австрийской, прусской) армией и армией Наполеона. Закончилось победой французов.

[100] И.И.Срезневский в 1839 г. выехал за границу, где провел почти три года, изучая во время путешествия по Чехии, Моравии, Силезии, Черногории, Венгрии местные говоры и собирая славянский фольклор.

[101] Сражение под Кульмом (селение в Чехии) между французским корпусом генерала Вандама и армией союзников (России, Австрии, Пруссии) произошло 17—18 апреля 1813 г. и закончилось победой союзников.

[102] Имеется в виду Германский Союз, образованный по решению Венского конгресса 1815 г. Кроме Австрийской империи в него входило 38 германских государств, в том числе Бавария.

[103] "Всеобщая газета" или "Аугсбургский журнал" (Allgemeine Zeitung) издавалась в Аугсбурге в 1810—1882 гг., в типографии Иоганна Фридриха Котты; это была одна из самых популярных ежедневных немецких газет консервативного направления.

[104] Максимилиановые башни — система отдельных укрепленных башен особой конструкции, изобретенных Максимилианом, эрцгерцогом Австрийским, и примененных впервые при укреплении им города Линца (Верхняя Австрия). Подробно о Линцском укрепленном лагере см.: Военно-энциклопедический лексикон. Изд. 2-е. СПб. 1855. Т. 8. С. 230—231.

[105] Ломбардия и владения бывшей Венецианской республики, а также герцогства Тосканское, Моденское и Пармское были присоединены к Австрийской империи по решению Венского конгресса 1815 г.; система политического управления в империи, в том числе итальянских владениях, получила по имени всесильного канцлера название "системы Меттерниха". В 1820—21 гг. австрийские войска вмешались в дела Неаполитанского королевства, подавив восстание в Неаполе и Пьемонте.

[106] Сражение при Нови (Северная Италия) между армией Наполеона и коалицией (Россия, Англия, Австрия, Турция, Неаполитанское королевство) произошло 15 августа 1799 г.; закончилось поражением для французских войск благодаря наступательной операции русской армии под командованием А.В.Суворова. Сражение при Маренго (в Ломбардии) между французскими и австрийскими войсками произошло 14 июня 1800 г. и закончилось победой Наполеона.

[107] В своем дневнике за 17/29 марта 1841 г. Милютин дает более обстоятельную оценку слушаний во французском парламенте: "... Слушая эти дебаты, я получил следующее понятие о Камере депутатов и вообще о представительном образе суждения о делах; в этом способе много хорошего; чтоб добиться истины, сотни голов открыто, публично обсуждают всякое предложение; и сотни языков могут толковать, возражая, опровергая и представляя предмет со всех точек зрения. Но мне кажется, что тут есть один главный недостаток: чтоб выиграть в этих дебатах, чтоб взять верх, надобно быть более актером, чем человеком основательным; для этого более всего надобно иметь навык к парламентному красноречию, смелость, присутствие духа, умение говорить импровизируя; человек же с самыми здравыми суждениями, превосходными мнениями будет всегда молчать, если он не имеет этого навыка и, так сказать, искусства парламентного оратора..." (Ф. 169. Карт. 2. Ед. хр. 2. Л. 15).

[108] Мнение Милютина о французском судопроизводстве существенно дополняет следующая запись в дневнике: "... Нельзя, кстати, и оспаривать, что этот образ судопроизводства несравненно лучше нашего; может быть, и в нем найдутся некоторые недостатки, злоупотребления, но есть ли что-нибудь в мире совершенное; по крайней мере, тут приняты все меры, зависящие от законодателя, для устранения пристрастия, кривизны, притеснений и неправоты: суд происходит публично, следственно,

судья, дорожа общим мнением, не смеет решиться на какую-нибудь несправедливость; адвокаты <...> свободно говорят все, что можно за и против обвиняемых; они смело противуречат мнениям и предложениям главного прокурора и самого председателя; когда все доводы и обстоятельства выслушаны, когда все лица, замешанные в деле, сведены и сличены, когда адвокаты один после другого представили все дело с разных точек зрения, решение предоставляется присяжным, которые для совещания переходят в другую комнату и выходят из нее объявить публично свое заключение. Может ли быть судопроизводство проще, естественнее и понятнее..." (Там же. Л. 32).

[109] Сражение при Ватерлоо между армией Наполеона и англо-прусскими войсками под командованием Веллингтона и Блюхера состоялось 18 июня 1815 г. Потерпев в нем поражение, Наполеон вынужден был вновь отречься от престола.

[110] Подразумевается разгром под Цюрихом 15 сентября 1799 г. французскими войсками русского корпуса генерала А.М.Римского-Корсакова.

[111] Речь идет о ряде победных сражений армии Наполеона в Северной Италии в 1796—1797 гг.: при Лоди, Кастильоне, Бассано, Аркаде, Риволи.

[112] Упрочение русского влияния в Дунайских княжествах относится к 1828—1834 гг. Деятельность графа П.Д.Киселева, бывшего в то время полномочным председателем Диванов Молдовы и Валахии, содействовала их экономическому и культурному развитию (подробнее об этом см.: *Заблоцкий-Десятовский А.П.* Граф П.Д.Киселев и его время. СПб. 1882. Т. I. С. 334—391).

[113] Имеется в виду пребывание русских войск в Молдове и Валахии в 1828—1834 гг., в связи с русско-турецкой войной 1828—1829 гг. и последующими реформами в княжествах.

[114] ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 69. Ед. хр. 8. Л. 2 об.

[115] Письмо от 3 V 1841 г. см. там же. Ф. 129. Карт. 11. Ед. хр. 11. Л. 5.

[116] Там же. Ф. 169. Карт. 69. Ед. хр. 8. Л. 7—7 об.

[117] Там же. Л. 10об.

[118] Имеется в виду записка под названием: "Некоторые мысли об архитектуре как изящном искусстве", написанная в 1841 г.; черновой автограф ее см. там же. Карт. 80. Ед. хр. 6.

[119] См. прим. 96.

[120] См. прим. 94.

[121] Письмо В.И.Гурко от 5 IX 1842 г. см. в ОР РГБ. Ф. 169. Карт. 62. Ед. хр. 58. Л. 1.

[122] Письмо А.М.Милютина от 24 IV 1843 г. не сохранилось.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

губ. — губерния
д. — деревня
креп. — крепость
мест. — местечко
о. — остров
обл. — область
оз. — озеро
окр. — округ
п-ов. — полуостров
р. — река
с. — село, селение
ст. — станица
у. — уезд
укр. — укрепление

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

30 ноября 1911 года был редкий, вернее даже единственный день в жизни Императорской Николаевской Военной Академии; в этот день исполнилось 75 лет со дня окончания академического курса ее славным питомцем графом Дмитрием Алексеевичем Милютиным. 75 лет! Какой редкий юбилей в жизни не только отдельного человека, но и целого учреждения. Для принесения поздравления своему почетному президенту была командирована от Академии в Симеиз, на южный берег Крыма, где скромно проживал фельдмаршал, особая депутация, состоявшая из начальника Академии, генерал-лейтенанта Щербачева, и двух ординарных профессоров генерал-майора Християни и полковника Байова. Депутация была принята графом Д.А. Милютиным в самый день юбилея 30-го ноября в 4 часа дня.

Не успела депутация войти в небольшую гостиную, не успела осмотреться, как из двери кабинета быстрою, бодрою походкою, без палки, немного лишь согнувшись, вышел граф. С замечательно приветливою улыбкою, с редким радушием пожал он руки членам депутации, извинившись за свой костюм, состоявший из тужурки старого александровского покроя, т.е. длинного, двубортного полупальто с отложным воротником и с клапаном сзади, и сказав, что надевание мундира или сюртука для него очень затруднительно. Как бы оправдываясь, он говорил, что считает представителей Академии за своих родных, близких, почему и позволил себе выйти в тужурке. Депутация была поражена его внешним видом: бодрый, веселый, с быстрыми движениями, с светлым, ясным взглядом своих необыкновенно добрых глаз, он казался стариком лет 70—75, не более, т.е. лет на 20 моложе действительного своего возраста.

Посадив депутацию против себя, он снова извинившись, что по старости лет не может стоять, просил прочитать адрес сидя. Слушая его с большим вниманием, он, видимо, волновался, часто одобрительно кивал головой, быстро проводя рукою по лицу при особенно лестных для него словах адреса. По окончании чтения граф встал и, горячо пожимая руки членам депутации, благодарил в самых искренних выражениях, говоря, что заслуги его адресом преувеличены, что он далеко не заслуживает столь лестной оценки его деятельности. Граф почти целый час беседовал с депутацией, затрагивая самые различные вопросы. Нужно было видеть с каким чувством, с какой любовью говорил он об Академии; говорил, что значение Академии столь велико, что на нее нельзя жалеть денег, и что при нашем колоссальном современном военном бюджете средства для необходимого расширения Академии всегда должны найтись. Ввиду громадных требований, предъявляемых ныне к научной подготовке офицеров Генерального Штаба, граф высказывал мысль о трудности и, вернее, даже невозможности уложить преподавание обширных академических курсов в два года, о крайней необходимости по причине сего создания третьего теоретического курса, то есть о расширении академического преподавания на 4 года. Говорил граф и о преподавании своего родного предмета — военной статистики, которую он читал еще в середине прошлого века, которую он, по всей справедливости, создал, и которой был затем самым блестящим представителем. Будучи, кроме всего, выдающимся историком, он затронул вопрос и о значении и о препода-

вании военной истории и истории военного искусства, этих основных предметов академического преподавания. Высказав затем свой взгляд на многие текущие вопросы, Дмитрий Алексеевич вспоминал имена деятелей как своего, так и позднейшего времени, выказав удивительную, свежую память.

Несколько раз члены депутации делали попытки встать, дабы не очень утомить гостеприимного хозяина, но всякий раз граф начинал говорить с еще большим оживлением, как бы не желая прощаться с депутацией. Наконец, после почти часовой аудиенции граф нехотя отпустил депутацию, но перед окончательным прощанием, как бы предчувствуя свою близкую кончину, он ввел депутацию в свой кабинет, остановился у письменного стола, еще раз высказал искреннюю благодарность за привет, и сказал в заключение, что ввиду того внимания, которое неизменно оказывала ему Академия, выразившегося и в этот раз в приезде депутации из далекого Петербурга, он хотел бы, чтобы связь его с Академией была еще прочнее, чтобы связь эта не была нарушена даже его смертью. Для осуществления такого пожелания он просил бы принять в стены Академии его библиотеку, его скромный, небольшой архив, прибавив, что его дочери — его наследницы — знают о таковой его воле.

"Мне очень бы хотелось, сказал граф Дмитрий Алексеевич, чтобы после моей смерти приехал кто-нибудь из профессоров Академии помочь дочерям моим в разборе библиотеки и архива, и взял бы в Академию, на память об ее почетном президенте, все то, чего у нее нет, все то, что признано будет для Академии полезным и интересным".

Граф сильно волновался, говорил стоя, и на прощание еще раз в самых трогательных словах высказывал свою искреннюю благодарность за приезд, за привет, изложенный в столь лестных для него выражениях.

Членов депутации поразили ясность ума графа, его правильные взгляды как на давно прошедшие, так и на настоящие события, его интерес положительно ко всем явлениям современной жизни, его необыкновенная память, позволявшая ему так здраво говорить и судить как о лицах и делах давно прошедших, так и о событиях ближайшей нам эпохи. По всем вопросам Дмитрий Алексеевич составил свое мнение, высказываемое им ясно, точно, кратко, определенно, как высказывал он его всегда в лучшие годы своей жизни, во времена своей кипучей государственной деятельности.

В виду той обстановки, при которой было высказано графом его пожелание о передаче Академии после его смерти всей обширной библиотеки, всего архива, и всего того, что окажется для Академии полезным и интересным, депутация решила не оглашать этого до смерти Дмитрия Алексеевича. К сожалению,— возможность поделиться с товарищами рассказом о щедром даре Академии явилась слишком скоро, слишком неожиданно, так как почти ровно через два месяца после поездки депутации в Симеиз пришло печальное известие о кончине графа Дмитрия Алексеевича и его супруги.

Для участия во всех церемониях по перевезению тела почившего фельдмаршала из Крыма в Москву и по погребению в Москве была командирована депутация от Императорской Николаевской Военной Академии в составе начальника Академии генерал-лейтенанта Щербачева и трех ординарных профессоров генерал-майоров Христиани и Байова и полковника Юнакова. Депутация прибыла в Симеиз как раз в то время, когда печальная процессия с телом графа Дмитрия Алексеевича следовала из Симеизского его дома в Алупкинскую церковь, где была отслужена торжественная всенощная, во время которой депутация возложила венок от Академии на гроб своего почившего

почетного президента. После всенощной депутация была приглашена дочерьми графа к ужину, перед которым ей было предложено хотя бы в общих чертах познакомиться с пожеланиями покойного, выраженными в нескольких письмах на имя детей. По прочтении этих документов члены депутации утвердились в своем убеждении, что вся обширная библиотека, весь архив, интереснейшие, конечно, "Воспоминания" и "Дневник" графа должны быть переданы Академии, как и говорил о том сам покойный академической депутации 30 ноября 1911 года. Беглое знакомство с пожеланиями покойного закончилось заявлением наследниц-дочерей Дмитрия Алексеевича, что воля отца им известна и священна, почему они и окажут Академии полное содействие в получении ею всего завещанного. Тогда же было примерно определено и время наиболее удобное для дочерей покойного, когда комиссия из профессоров Академии могла бы прибыть в Симеиз для разбора библиотеки и архива графа Дмитрия Алексеевича, для упаковки их, и для отправки из Симеиза в Петербург в Академию.

Согласно сказанному, комиссия под председательством начальника Академии генерал-лейтенанта Щербачева в составе трех ординарных профессоров, генерал-майоров Христиани и Байова и полковника Юнакова, прибыла в Крым 6 марта 1912 года, была помещена новыми хозяевами Симеиза, дочерьми усопшего фельдмаршала, в самом доме графа, и окружена такою лаской и вниманием любезных и гостеприимных хозяек, что работа пошла успешно и быстро, и скоро весь огромный книжный материал, весь архив графа были разобраны, упакованы и приготовлены к отправке из благодатного Крыма в далекий, холодный Петербург.

Кабинет-библиотека графа Милютина помещался в первом этаже дома, два окна его выходили на террасу, с которой открывался чудный вид на Черное море, на весь Симеиз, на красивые, причудливые скалы "Диву" и "Монаха". Одна дверь вела в небольшую гостиную, а другая — в крошечную спальню Дмитрия Алексеевича, тоже всю сплошь заставленную книгами. Все стены кабинета были обращены в открытые шкафы, причем полками заполнены были даже все простенки как над дверями кабинета, так и под подоконниками. Книги на полках стояли в два и даже в три ряда, но каждый задний ряд настолько возвышался над передним, что можно было свободно читать вытесненные на корешках названия книг во всех рядах каждой полки. Все было в замечательном, образцовом порядке. В передней части кабинета, ближе к окнам, посреди комнаты, стоял большой, простой, без всяких вычурностей письменный стол графа с многими выдвигавшимися во все стороны ящиками. Глаз поражала масса всевозможных, самых разнокалиберных луп, которые лежали как на самом столе, так и в его многочисленных ящиках, что объясняется, конечно, тем, что по мере ослабления зрения граф заводил все новые и новые лупы, будучи в состоянии в последние два года своей жизни читать и писать не иначе, как с помощью очень сильных луп. Простая чернильница, чудный барометр, несколько линеек, большой ассортимент различных карандашей, перьев и очень хороший портрет покойного сына, бывшего курского губернатора, в довольно скромной рамке — вот и все убранство этого заветного стола, на котором писались "Воспоминания" и "Дневник" графа — эти замечательные, полные захватывающего интереса мемуары Дмитрия Алексеевича. Посреди же кабинета, вправо от письменного стола помещалась низкая оттоманка — тахта, на которой любил отдыхать граф, читая газеты и различные журналы. В глубине кабинета помещалась большая этажерка для раскладывания географических карт, атласов, планов, которых у

графа была целая куча. На верхней полке этажерки стоял портрет бывшего Императора Николая II, а в простенке между двух окон витрина с величайшей, можно сказать святыней графа Дмитрия Алексеевича, именно с артиллерийским мундиром Императора Александра II. Мундир этот (1-ой гвардейской артиллерийской бригады), отлично сохранившийся, даже с довольно свежим еще шитьем, был подарен графу Императором Александром III на память о том, кому граф служил так честно, так самоотверженно. Над витриной, в единственном не заполненном книжными полками простенке, висел прекрасный портрет Царя Освободителя, и под ним исполненный в красках вид его кабинета в Зимнем дворце, того самого кабинета, в котором покойный граф Дмитрий Алексеевич привык в продолжение многих лет своей выдающейся службы делать доклады Государю, благосклонно выслушивавшему их с неизменным вниманием и доверием.

Всюду царили строгость, редкий порядок, педантичная аккуратность. На этажерке же стоял особый ящик с карточным каталогом. Каталог составлялся самим графом Дмитрием Алексеевичем при деятельной помощи его замечательной, неутомимой сотрудницы-дочери, графини Ольги Дмитриевны, которая с чувством особенной любви и уважения, с чувством, можно сказать, прямотаки благоговения относилась к кабинету-библиотеке своего знаменитого родителя.

Дверь в глубине кабинета вела в спальню графа, комнату очень небольшую, снизу доверху уставленную тоже книгами; в углу стояла самая скромная, довольно короткая и узкая, покрытая белым покрывалом кровать графа, и около кровати — большое кресло, а в узком простенке между двух окон — небольшой письменный столик, за которым покойный фельдмаршал тоже часто и много работал, и перед которым, равно как и около кровати, висели портреты как близких его родственников и друзей, так и некоторых из его, видимо, наиболее любимых сослуживцев и подчиненных. На столе стояла самая простая чернильница, небольшая керосиновая лампа, старинный подсвечник в четыре свечи под абажуром и лежали опять-таки многочисленные лупы, карандаши и перья. В углу, противоположном кровати, на особой подставке висела большая карта Европейской России, которая скрывала от посторонних взоров помещавшийся за ней крайне небольшой, простой, неокрашенный, деревянный столик со стоявшими на нем кувшинами для воды, лоханкой, одним-двумя стаканами, мыльницей и самым скромным ассортиментом туалетных принадлежностей. Около умывальника за той же картою висело на стене пальто и две тужурки старого, александровского покроя. Несколько групп в довольно роскошных рамках, преподнесенных 121-м пехотным Пензенским полком своему шефу и Военно-юридическою Академией своему почетному президенту, дополняли убранство этой маленькой спальни, в которой тихо отошел в вечность великий старец, после почти вековой, столь плодотворно прожитой им, земной жизни.

Приезд комиссии в Симеиз начался с детального ознакомления с пожеланиями, с оставшимися по этому вопросу бумагами покойного, с которыми члены комиссии в дни печальных январских церемоний по перевезению и погребению тела графа познакомились лишь бегло. Подробное изучение всех оставшихся документов привело к окончательному заключению, что вся библиотека, весь архив завещаны графом Дмитрием Алексеевичем Академии, которой предоставлено также и право издания, по соглашению с дочерьми графа, его в высшей степени интересных мемуаров, разделенных как бы на два больших отдела, из

коих отдел первый назван самим графом "Воспоминаниями", а отдел второй — "Дневником". "Воспоминания" обнимают период времени с детства Дмитрия Алексеевича до начала 1873 года, а "Дневник" — время с 1873 по 1899 год включительно.

Библиотека графа оказалась чрезвычайно обширной, заключающей в себе примерно до 15000 томов самых различных изданий, начиная с скромных, недорогих, маленьких книжечек и кончая роскошными изданиями, составляющими в настоящее время библиографическую редкость и имеющими, следовательно, громадную ценность. Основанием обширной библиотеки покойного послужила библиотека известного государственного деятеля графа Павла Дмитриевича Киселева, приходившегося родным дядей графу Дмитрию Алексеевичу, мать которого была родной сестрой Павла Дмитриевича Киселева. По смерти Киселева весьма ценная библиотека его перешла в руки графа Милютина.

Самым богатым отделом библиотеки оказался отдел исторический и военно-исторический, составлявший примерно несколько более половины всей библиотеки и заключавший в себе много сочинений редкой ценности, давно исчезнувших с книжного рынка и составляющих в наше время библиографическую редкость. Отдел военно-статистический и географический не менее замечателен. Каких только интересных изданий, каких редких, каких ценных карт и планов в нем не было!

И все это было расставлено в удивительном порядке, в строгой системе, так что разбор библиотеки не представил положительно никакой трудности. В военно-статистическом отделе нашлось полное издание знаменитого сочинения Дмитрия Алексеевича, его "Первых опытов военной статистики" 1847 года, не имеющегося в настоящее время в продаже даже у заграничных букинистов. Затем в библиотеке нашлись академические записки Милютина, как профессора, его лекции по военной статистике, записки редкой ценности, никогда не печатавшиеся и в Академии не имевшиеся.

Беллетристике было отведено тоже свое место в библиотеке; этот отдел оставлен комиссией почти полностью для учреждаемой в Симеизе санатории, как того и желал покойный. Наконец, нельзя не упомянуть длинного ряда дорогих энциклопедий, различных справочных, периодических, крайне интересных энциклопедических изданий редкой опять-таки ценности, и стройного ряда книг богатейшего отдела путешествий, с несметным количеством дорогих гравюр, картин, фотографий.

Другим отделом наследства графа является его "архив", конечно, не менее интересный, чем его обширная библиотека. Нужно удивляться, что человек чуть ли не с 20-летнего возраста сохранял не только почти всю служебную, но и частную переписку, как бы предчувствуя, что каждая его строка явится достоянием истории, каждая записочка будет оценена потомством. Архив сгруппирован по периодам, причем в каждом периоде, документы разделены, с своей стороны, на несколько отделов, как-то: отдел служебный, отдел официальный, отдел частной переписки, отдел частных телеграмм и т.под. Какое несметное сокровище для оценки покойного, как человека и как государственного деятеля, представляет собой этот удивительно интересный архив! В нем сосредоточено громадное количество докладных записок Дмитрия Алексеевича Императору Александру II по должности военного министра. Как просто сносились между собой эти две крупные исторические личности! С каким доверием, с какою любовью писал всесильный Монарх своему скромному министру, и с какой редкой

простотой и откровенностью докладывал поэтому последний своему Императору,— чистосердечно сознавая нередко и свои неизбежные в таком крупном деле ошибки.

Наряду с перепиской с Императором Александром II находится и довольно обширная и крайне интересная переписка с Наследником Цесаревичем, будущим Императором Александром III, а также со всеми почти Великими Князьями и Княгинями и со многими современными ему сановниками.

Архив представляет собой выдающийся исторический интерес и весь целиком будет напечатан во всеобщее сведение после окончания издания "Воспоминаний" и "Дневника".

Громадный интерес сосредоточивается около так называемых "Мемуаров" Милютина. Создалась даже легенда, что граф Дмитрий Алексеевич занят был писанием истории царствования Императора Александра II, или, как передавали многие, будто бы сам граф говорил не раз, что "я пишу историю царствования моего Императора". Никакой истории Милютин не писал, и по очень простой причине, что писать историю, не имея под руками архивного материала, невозможно, всякое такое писание будет не "историей", а только лишь "мемуарами, воспоминаниями". Таковых "Мемуаров" и осталось после смерти графа 32 тома. Под большим письменным столом его редкого кабинета стояли два ящика, в одном из которых был уложен черновой экземпляр "Воспоминаний" и "Дневника", писанный рукой самого графа и полный различных исправлений и добавлений, а в другом — экземпляр чистовой, переписанный под его непосредственным наблюдением, им самим исправленный и вполне подготовленный к печати. Для удостоверения подлинности этого второго, чистового экземпляра, он подписан всеми тремя оставшимися в живых дочерьми покойного — княгиней Елизаветой Дмитриевной Шаховской, графиней Ольгой Дмитриевной Милютиной и княгиней Надеждой Дмитриевной Долгорукой.

Согласно воле Дмитрия Алексеевича право издания его "Воспоминаний" и "Дневника" принадлежит Императорской Николаевской Военной Академии, ныне Всероссийской Академии Генерального Штаба. По поводу печатания "Воспоминаний" и "Дневника" графом выражено было лишь одно категорическое требование, чтобы мемуары его ни в коем случае не переиначивались, не переделывались, все же то, что по цензурным правилам оказалось бы для печати неудобным, выпускалось бы целиком, целыми периодами.

К концу 1912 года все имущество графа Дмитрия Алексеевича было окончательно водворено в стенах Академии, причем в одной из зал Академии, именованной "музеем графа Милютина", было сосредоточено все: и его богатейшая библиотека, размещенная по шкафам в том по возможности порядке, как она стояла у Дмитрия Алексеевича в Симеизе, и все его бесчисленные регалии, возглавляемые фельдмаршальским жезлом, и его письменный стол, и почти вся обстановка его Симеизского кабинета, расставленная опять-таки по возможности в том порядке, как она стояла в далеком Крыму, и наконец, все те предметы обычного домашнего обихода, которые дочерям его угодно было любезно передать Академии.

Таким образом к началу 1913 года часть завещания покойного почетного президента Академии была выполнена, оставалось осуществить следующую часть его — приступить к изданию сначала "Воспоминаний" и "Дневника", а затем и архива и всех вообще переданных в Академию документов. Печатание мемуаров не было ограничено покойным никаким сроком, дочери же Дмитрия

Алексеевича не раз выражали свое желание, чтобы мемуары их отца были напечатаны возможно скорее, что вполне совпадало и с намерениями Академии, которая рассчитывала изданием "Воспоминаний" рассеять те неблагоприятные для памяти Дмитрия Алексеевича инсинуации, которые по совершенно непонятным для Академии побуждениям плелись в последнее перед войной время некоторым сортом печати вокруг светлого имени Милютина.

С другой стороны, приходилось подумать и о цензуре, и не столько о цензуре общей, как о цензуре Министерства Двора, цензуре придворной, иногда очень строгой и беспощадной. Граф Дмитрий Алексеевич был слишком близок ко Двору, слишком любим и уважаем Императором Александром II, который считал его не только министром, но и своим человеком, которому известны были не только дела Государственные, но и дела Царской семьи, по которым Император не раз советовался со своим любимым министром. Вот причина, почему избежать придворной цензуры не представлялось никакой возможности, а цензура эта могла наложить свое беспощадное veto именно на наиболее интересные части мемуаров, касающиеся например Русско-Турецкой войны 1877—1878 годов, первых месяцев царствования Императора Александра III, и т.под. Вновь назначенный в начале 1913 года начальником Академии генерал-лейтенант Николай Николаевич Янушкевич принял горячо к сердцу все это дело и направил все старания к тому, чтобы, при невозможности совершенно избежать придворной цензуры, вызвать с ее стороны наиболее благожелательное к печатанию мемуаров отношение, особенно в виду того категорического требования, которое было выражено покойным — не выбрасывать из его рукописей отдельных слов, фраз и страниц, а если выпускать что-либо по требованию цензуры, то выпускать целыми главами, целыми периодами. Таким образом, в случае чрезмерной строгости цензуры, могла явиться обидная необходимость исключения из мемуаров при их печатании уже не отдельных мелочей, не деталей, а именно целых отделов, целых исторических эпох.

Наконец весной 1914 года старания Николая Николаевича Янушкевича увенчались довольно значительным успехом. В конце лета 1914 года предполагалось Высочайшее путешествие в Крым, в Ливадию, где Государь Император, пользуясь относительным досугом, любил читать, и действительно много читал, что доставляло ему, в связи с чудной природой южного берега Крыма, значительный отдых от многосложных, серьезнейших государственных дел. Пользуясь личным знакомством и хорошими отношениями с многими лицами ближайшей Государевой свиты, постоянными спутниками Его Величества в путешествиях, Николаю Николаевичу Янушкевичу удалось получить от них обещание заинтересовать Его Величество в этом деле, поближе познакомить Государя Императора с завещанием графа Дмитрия Алексеевича, с его "Воспоминаниями" и "Дневником", и получить согласие Государя лично прочесть во время пребывания в Ливадии некоторые отделы как "Воспоминаний", так и "Дневника", по выбору или его собственному, или начальника Академии.

Таким образом являлась не только надежда, но почти уверенность, что Государь Император, прочтя наиболее интересующие его отделы, разрешит печатать мемуары уже без вмешательства придворной цензуры. В таковом милостивом разрешении Его Величества вряд ли приходилось сомневаться, с одной стороны, ввиду крайне снисходительного, терпимого отношения Государя к чужим мыслям, к чужим мнениям, и с другой — по причине редко беспристрастного, правдивого, спокойного изложения автора. Правда, одна правда, снис-

хождение к людям, к недостаткам и ошибкам других, уважение к чужому мнению, к чужой работе, и обратно, строгое отношение к себе, к своим поступкам, сознание громадной ответственности перед историей и потомством — вот чем проникнута была вся деятельность Дмитрия Алексеевича и чем пропитаны и все его мемуары.

Между тем Академия, не выжидая разрешения вопроса о цензуре, приступила к печатанию 1-ой книги "Воспоминаний", заключающей период времени с 1816 по 1838 год включительно (годы детства и юности, в гвардейской артиллерии, в Военной Академии, в Гвардейском генеральном штабе). К лету 1914 года книга эта и была напечатана.

Но вот наступил роковой июль месяц 1914 года, когда вспыхнула сначала европейская, а затем и мировая война, нарушившая конечно все течение обыденной, нормальной жизни. Путешествие Государя Императора в Крым не состоялось, деятельность Академии прервалась, и почти весь ее личный состав выбыл из Петербурга на театр военных действий, получив назначения в действующей армии. Печатание "Воспоминаний" тоже само собой должно было временно прекратиться.

Только поздней осенью 1916 года восстановилась, и то лишь частично, деятельность Академии, открылись сокращенные ускоренные курсы, которые пришлось заканчивать спешно в вихре вспыхнувшей в конце февраля месяца 1917 года революции. Наконец, октябрьский переворот 1917 года нарушил окончательно всякую тень правильной жизни государства, и, в связи с движением противника по направлению к столице, заставил ускорить разрешение вопроса об эвакуации Академии из Петрограда. Весной 1918 года последовала первая эвакуация в Екатеринбург, а в конце лета — вторая дальнейшая эвакуация из Екатеринбурга в Томск, когда приходилось думать уже не о печатании "Воспоминаний" и "Дневника" графа Милютина, а о спасении их, о благополучной перевозке сначала в столицу Урала, а затем и в центр умственной жизни Сибири. Академия счастлива тем, что драгоценные исторические мемуары ее покойного почетного президента доставлены в Томск в целости и полной неприкосновенности, и хранятся ныне во временном помещении Академии в Томске в "Доме Науки".

Осенью 1918 года, когда окончательно выяснился вопрос, что дальнейшей эвакуации Академии в ближайшем будущем не предвидится, что Академия основалась в Томске довольно прочно, на более или менее продолжительное время, в условиях относительного спокойствия и безопасности, возникла мысль и о возможности и необходимости возобновить печатание "Воспоминаний" графа Дмитрия Алексеевича, для издания коих вихрем революции создалось одно крайне выгодное условие отсутствие цензуры как общей, так и в особенности придворной. Конференция Академии в заседании 16/29 октября 1918 года в Томске в "Доме Науки" постановила приступить ныне же к печатанию "Воспоминаний" и "Дневника" графа Дмитрия Алексеевича Милютина, возложив все работы по редактированию и изданию их на члена конференции заслуженного ординарного профессора Генерального Штаба генерал-лейтенанта Христиани.

Генерал-лейтенант *Христиани*

Томск.
Ноябрь 1918 года.

ОТ РЕДАКТОРА

Занимая в Академии кафедру военной статистики, которую, по всей справедливости, создал граф Дмитрий Алексеевич Милютин и блестящим представителем которой он был в продолжение 11 лет, и будучи членом депутаций, ездивших в ноябре 1911 и в январе 1912 года в Симеиз, как о том изложено в предисловии, а также членом комиссии по разбору драгоценной библиотеки и архива почившего нашего почетного президента, я проникся к этой замечательно светлой личности особенным уважением, граничащим с любовью к памяти этого редкого, скромного, но вместе с тем знаменитого человека, участника почти всех великих реформ славного царствования Царя Освободителя Александра II. Поэтому я со всею готовностью принял возложенное на меня конференциею Академии почетное поручение по редактированию и изданию "Воспоминаний" и "Дневника" графа Дмитрия Алексеевича Милютина, полных самого жгучего, самого захватывающего исторического интереса.

Работа в значительной степени облегчается тем, что в настоящее время является возможность печатать мемуары Дмитрия Алексеевича полностью, без каких-либо пропусков, а тем более исправлений, не боясь строгой, и нередко весьма пристрастной цензуры, и памятуя лишь пожелание, требование, завет покойного ничего не исправлять, не переиначивать, не вычеркивать по мелочам, а если нужно, по цензурным правилам, то выпускать целыми периодами, целыми главами. Ныне редактор не сталкивается с печальною необходимостью производить досадные купюры, а имеет возможность печатать все целиком, сохраняя в полной неприкосновенности все детали, все мелочи рукописи.

Повторяю, что будут приложены все старания к возможно быстрому и успешному при современных трудных условиях типографского дела печатанию сначала "Воспоминаний", а затем и "Дневника" покойного фельдмаршала.

Все мемуары графа Милютина состоят из 32 книг, причем первые 20 книг называются "Воспоминаниями" и заключают период времени от детства Дмитрия Алексеевича до начала 1873 года, т.е. несколько более полустолетия (57 лет), а последние 12, названные "Дневником", доведены автором до 1 января 1900 года. "Воспоминания" и "Дневник" резко различаются по характеру изложения. Первые заключаются в систематическом изложении событий, которые группируются по их внутреннему смыслу, по важности, по значению, с подведением итогов, заключений, выводов после каждого отдела, каждого более или менее значительного периода времени; "Дневник" же заключает обыкновенную запись событий в строго хронологическом порядке, причем, конечно, событиям более интересным, более важным отводится и соответственно более обширное место.

Все 32 книги мемуаров предположено свести в 10 больших томов таким образом, чтобы, не перегружая особенно ни одного тома, придать каждому совершенно законченный характер. 20 книг "Воспоминаний" предположено свести в 7 томов, по 400—600 страниц в каждом томе, и 12 книг "Дневника" в 3 тома, по 500—600 страниц в каждом. Таким образом все мемуары сведутся в 10 томов, всего примерно 5000 больших печатных страниц.

Содержание каждого тома предполагается следующее:

Том I (книги 1,2 и 3 "Воспоминаний") — детство, юность, начало службы, прохождение академического курса, служба в Гвардейском Генеральном штабе, первое пребывание на Кавказе в 1839—1840 годах), путешествие за границу в 1840—1841 годах*.

Том II (книги 4,5 и 6 "Воспоминаний") — второе пребывание на Кавказе в 1843—45 годах, служба в военно-учебном ведомстве в 1845—1853 годах, три года войны 1853—1856 годов.

Том III (книги 7 и 8 "Воспоминаний") — третье пребывание на Кавказе в 1856—1860 годах.

Том IV (книги 9**, 10 и 11 "Воспоминаний") — период времени 1860—1861—1862 годов.

Том V (книги 12, 13 и 14 "Воспоминаний") — период времени 1863—1864 годов.

Том VI (книги 15, 16 и 17 "Воспоминаний") — период времени 1865—1866—1867 годов.

Том VII (книги 18, 19 и 20 "Воспоминаний") — период времени с 1868 до начала 1873 года.

Том VIII (книги 1, 2, 3 и 4 "Дневника") — период времени с 1873 по 1878 год включительно.

Том IX (книги 5, 6, 7 и 8 "Дневника") — период времени с 1879 по 1888 год включительно.

Том X (книги 9, 10, 11 и 12 "Дневника") — период времени с 1889 по 1899 год включительно***).

Как видно, "Воспоминания" и "Дневник" графа Милютина обнимают громадный период времени, с 1816 по 1900 год, т.е. почти целиком весь 19 век, являясь драгоценным историческим материалом для истории как этого века вообще, так и царствования Императора Александра II в особенности.

Генерал-лейтенант *Христиани*

Томск.
ноябрь 1918 года.

---

* Эта часть фактически доведена до 1843 г., ее последний параграф "На распутье. 1841—1843 гг." (*ред. Л.Г.Захарова*).

** В заголовке книги 9 значится: "20 лет во главе Военного министерства" (*ред. Л.Г.Захарова*).

*** В бумагах Д.А.Милютина есть его собственные предположения о распределении по томам в случае публикации рукописи. Он намечал два варианта: в 12-ти томах или в более объемных 8-ми томах. ОР РГБ. Ф.169. Карт. 87. Ед. хр. 15. Л. 11—12 (*ред. Л.Г.Захарова*).

INTRODUCTION

D.A.MILIUTIN'S VIEWS ON RUSSIA AND REFORM

The recollections of General Field Marshall Count Dmitrii Alekseevich Miliutin (1816–1912) are a rare source for the student of Russian history for, when taken together with the diary which he kept from 1873 to 1899, they cover more than three quarters of the nineteenth century. Even more important, Miliutin was one of the very few of the men closely involved in planning the Great Reforms of the 1860s who left substantial accounts about his views of the reform era, for most of Russia's reformers at that time were too occupied with affairs of state to record their impressions of the events in which they participated. Because of the pressures of day-to-day events even Miliutin who was perhaps more conscious than most mid nineteenth century reformers of the need to record his views for posterity did not keep a diary regularly during the first forty years of his service career, including the first twelve of his twenty years as Minister of War. As he noted in the introduction to his memoirs:

> There were times in the course of my life when I contemplated keeping a diary in order to remember everything that was somewhat noteworthy to which I happened to be an observer or in which I was myself a participant. But I managed to accomplish this undertaking only... at odd moments... such as, for example, during my first journey abroad in my youth (in 1840 and 1841), and during military campaigns in the Caucasus. After a short-lived attempt I abandoned this work for lack of time[1].

Miliutin only began to keep a diary on a regular basis beginning in April 1873 the published portions of which provide us with an invaluable commentary on Russian state affairs during the last years of the reign of Alexander II, when Miliutin was at the peak of his influence[2].

It is one of the ironies of history that the men who were most closely involved in preparing the Great Reforms not only neglected to keep diaries or daily records but that they also did not usually enjoy lengthy periods of retirement in which to compile memoirs. Just to name a few, D.A Miliutin's younger brother, N.A.Miliutin suffered a paralysing stroke while still on active service and was unable to write any sort of memoir accounts before his death at the age of forty three. A.P.Zablotskii-Desiatovskii, another official who was instrumental in drafting the emancipation of 1861, devoted the last few years of his life to compiling a biography of Count P.D.Kiselev, his benefactor and patron in the state service, but left little account of his own life, career, and views[3]. To be sure, Ia.A.Solov'ev and P.P.Semenov-Tian-Shanskii both left memoirs relating to the reform period in Russian history, but both focus heavily upon the preparations for the emancipation of 1861, and are far less satisfactory as reflections of their author's attitudes toward the decades from 1840–1880 as a whole[4]. Only A.V.Golovnin, Minister of Public Instruction from 1861–1866 and a close confidant of the Grand Duke Konstantin Nikolaevich, left memoirs from this period which are in any way comparable to those of D.A.Miliutin and, unfortunately not even a portion of Golovnin's memoirs have been published[5]. The same applies in general to the lengthy diary of Grand Duke Konstantin

Nikolaevich himself, a member of the Imperial family who was deeply involved in reform era politics often on the side of modernization and reform[6].

Dmitrii Miliutin was an exception to this situation and fortunately so. After he resigned from active state service in mid-1881 he enjoyed a refinement of more than thirty years on his estate in the Crimea before his death at the age of ninety-five. And, with his usual industry, he devoted much of the last three decades of his life to compiling extensive memoirs and arranging a vast collection of personal papers which comprised something over 50,000 manuscript sheets[7]. Indeed, Miliutin's personal papers presently housed in the Manuscript Section of Moscow's Lenin Library, are quite probably the most extensive left by any Russian statesman of the nineteenth century.

Given the paucity of diary and memoir literature left by men involved in planing the Great Reforms, one regrets that the complete text of Miliutin's extensive recollections has not yet appeared in print. The only published version, the one reprinted in this volume, includes the first three of some twenty manuscript volumes which Miliutin wrote between 1881 and 1892. The unpublished portions of these memoirs discuss Miliutin's life in St.Petersburg during the years 1845 to 1856 his activities as Chief of Staff of Prince A.I.Bariatinskii's Caucasus Corps frost 1856–1859 and, most important, his first twelve years as Minister of War, during which he planned and began to implement the reaching reforms of Russia's army which culminated in the decree of January 1, 1874.

Yet although they deal with less dramatic even than the unpublished volumes, the first three books Miliutin's memoirs are of considerable scholarly and historical value, and for a number of important reasons. These portions of Miliutin's recollections provide a detailed description of the youth and education of a particular type of Russia statesman who, although rare in the first half of the nineteenth century, became somewhat more common in the second half. Such an individual relied upon success in the state service (either civil, military or a combination of the two) in order to regain the social status and economic security to his family had lost during the first part of the nineteenth century. Miliutin's recollections provide an intimate view of the daily life of such a family which in the course of approximately three decades, decline from being comfortably wealthy to the point where it lost its serfs, estates, and factories was reduced living in rented rooms in an unfashionable section of Moscow, and was forced to depend upon the charity of more affluent relatives in order to obtain the necessities of life.

Beyond his portrayal of daily life in an impoverished noble family, Miliutin also supplies a valuable account of life in the Boarding School for Sons of Nobility at Moscow University during the late 1820s and early 1830s. Although he was only a day student at the Boarding School, and thus was less a part of student life than was his younger brother Nikolai, for example he still describes at considerable length the school's facilities, his fellow students, and the quality of instruction that they received. Equally important, Miliutin detailed his own reactions to his school environment and thus shows how a sensitive and serious student reacted to one of Russia's elite educational institutions during the reign of Nicholas I.

The reign of Nicholas I brought an increasing emphasis upon militarism in Russia, for the army not only had an emotional appeal for the Emperor, but he also

regarded it as embodying the most desirable form of social and political organization. As Nicholas himself once wrote:

> Here (in the army — *B.L.*) there is order... All things flow logically one from the other. No one commands here without first learning to obey. No one rises above anyone else except through a clearly-defined system. Everything is subordinated to a single, defined goal and everything has its precise designations. That is why I shall always hold the title of soldier in high esteem. I regard all human life as being nothing more than service because everyone must serve[8].

As a young man who entered military service when the Nicholas "system" was at its strongest, Miliutin provides a perceptive commentary about the impact of this militarism upon those who served in the Russian army. In 1833, he moved from the relative security and comfort of the classroom to the more rigid and rude life of a junior artillery officer, a milieu which he found far from ideal for training an efficient and combat-ready army. Indeed, more than two-hundred pages of Miliutin's recollections are devoted to descriptions of his life as a junior officer and to an enumeration of the shortcomings of the Russian army on parade in St.Petersburg and in combat in the Caucasus. Miliutin was particularly appalled by the rigid and robot-like methods used to train private soldiers and officers in the Russian army, and he stated his views about this most bluntly of all, perhaps, in the travel diary that he kept on his thirteen-month journey to Western Europe in 1840—1841. After having met army officers from the West and having seen something of western armies, Miliutin compared his Russian counterparts to them in bitter words:

> Our officers are educated absolutely like parrots. Until their promotion (to officer rank — *B.L.*) they are kept in a cage and they shout to them incessantly: "Polly, left turn", and Polly repeats, "Left turn!"; "Polly, present arms!" and Polly repeats... When Polly reaches the point where he has learned firmly all these commands by heart... they then give him epaulettes...[9].

The contrast in Miliutin's view of Russian and western officers becomes all the more striking if one remembers that on the same sheet of his diary, he described Prussian officers in decidedly more positive terms. He wrote:

> Officers here (in Prussia — *B.L.*) are... not ignorant of those things relevant to their profession; at home it is the opposite: among a thousand young men you find... only two or three who actively study military science[10].

The last quarter of Miliutin's published recollections is devoted to a lengthy description of his first journey to western Europe in 1840—1841 and to his life in St. Petersburg in 1841—1843 as an officer on the Guards General Staff. Perhaps no other Russian memoir dealing with the 1830s and 1840s portrays so vividly the reactions of a patriotic young Russian relatively welleducated by St.Petersburg and Moscow standards, to conditions in western Europe. Russians of that period usually tended either to reject the West,[11] or to embrace it enthusiastically, condemning everything at home as backward and undesirable by comparison[12]. Miliutin therefore was unusual in that he preserved a more balanced view. Throughout his European travels he was "deeply grieved seeing at every step how very much... (Russia — *B.L.*) had fallen behind on the path established by Peter the Great".[13] But, although clearly aware of Russia's deficiencies in comparison to the more advanced West, Miliutin sought to find ways in which the accomplishments of the West could be turned to

Russia's advantage rather than condemn his homeland for its backwardness. After noting how backward Russia appeared in comparison to western Europe, he confided his personal aspirations to his travel diary:

> I write these lines with genuine sorrow; from the depths of my soul I would wish to live until the time when everything that I have said would be an anachronism... I would wish that my journey abroad would have as a result not only my better understanding of the true condition of Russia in comparison with Europe, but that, with time, it would give me the opportunity to be of use to my country. I would be happy if, at some point, these dreams of mine would come true... This is the most comforting purpose of my service and of my life itself[14].

This balanced view of the West in relation to Russia would be the cornerstone of Miliutin's reform work during the next four decades until his retirement from his post as Minister of War in 1881. For he believed deeply in the need for reform in Russia, but insisted that it should not involve violent upheavals, because such revolutions, to his mind, could only have destructive consequences. As early as 1840 Miliutin's views on violent revolutions were already very clear when, at one point during his journey through Europe he wrote:

> Every revolution, which breathes fanaticism, a violent revolution, a mass revolution, does not lead to an improvement of society because it only destroys and creates nothing new. Where there is blind fanaticism and the power of a mindless crowd, there is no prudence, and, without such prudence, it is scarcely possible to achieve success in civic improvement[15].

But even though Miliutin rejected revolution in favour of more moderate and gradual reform as the acceptable method for bringing about social change in Russia, neither course was acceptable to Russian statesmen during the late 1840s and early 1850s. As a result, Miliutin withdrew from active reform efforts and, particularly during the years between the revolutions of 1848 and the outbreak of the Crimean War, devoted himself primarily to statistical studies and to writing military history[16]. Only after the death of Nicholas I and the accession of the young Emperor Alexander II did Miliutin again turn to a reformist path.

Once the Crimean War ended in 1856 Miliutin actively urged Russia onto the path of reform as did a number of "enlightened" bureaucrats with whom he was closely associated[17]. But, like his friends in the civil service Miliutin insisted that reforms must be conceived and implemented within the framework of autocracy. Only an absolute ruler aided by progressive and able advisers, could in his view transcend the narrower class interests of the Russian nobility and work for the welfare of the Empire as a whole. Miliutin summed up his views on reform in the broadest sense in the mid-1860s:

> Reforms among us can be produced only by the supreme power... In our opinion there are two fundamental, essential conditions... (which are – *B.L.*) the *sine qua non* without which every political theory in application to Russia ought to be considered worthless. The first is the unity and integrity of the state; the second is the equality of all its members. For the first condition a strong central power and a decisive predominance of the Russian element (in all areas of the Empire – *B.L.*) are necessary... For the second condition, it is essential to cast away all outdated, outlived privileges, to take leave, once and for all, of the

rights of one social group (*soslovie*) over another... But a strong central power precludes neither personal freedom of (a state's citizens — *B.L.*) nor does it preclude self-government; neither does the predominance of the Russian element mean the oppression and destruction of other nationalities. Rather, it means the elimination of ancient privileges...[18].

These were the principles which guided Miliutin in his reform efforts during his twenty-year tenure as Minister of War from 1861—1881. He would insist that the integrity of autocracy and the Russian Empire be preserved at all costs, and would insist with like firmness that all groups within the Empire owed equal service to the state a view which he would make a reality in the reform law of January 1, 1874, which introduced universal military service in Russia.

Given the broad impact of his work as Minister of War, Miliutin is probably best remembered as a military reformer and rightly so. When he assumed his duties as Minister of War in 1861 Russia had a large unwieldy, ruinously expensive standing army composed of illiterate peasant conscripts and officered by noblemen who were often ill-suited for the responsibilities of military command[19]. It was an army which, until not long before Miliutin became Minister, had been trained primarily for the parade ground rather than for combat, and by methods so ruthless and injurious that, when Miliutin was a young officer, more than half of the army was usually hospitalized at some point in any given year because of the damage done to soldiers' internal organs by the strenuous daily parade drill required of them[20]. During his two decades as Minister of War Miliutin remodeled Russia's land forces into a smaller standing army, equipped with modern weapons, in which all Russians were obliged to serve if called to the colours regardless of the class or social group to which they belonged. Of particular importance, Miliutin's new army though much smaller, could be expanded rapidly in time of war through a vast reserve system, and the inadequacy of the Empire's elementary school system was somewhat offset by the rudimentary educational programmes which Miliutin introduced in the army for those soldiers who were illiterate then they entered its ranks[21].

What Miliutin began in 1861 was a Herculean task, made even more difficult by continual attacks upon his reform proposals by the Empire's conservative aristocratic officer corps, who saw his programme as yet another attack upon their already undermined privileged status. Yet Miliutin carried out much of his programme, and the extent of his success was clearly evident when, less than three years after he had drafted the final decree for his reform programme, his new army was given its first mobilization order. As a result of his efforts, on the eve of war with the Ottoman Empire in late 1876, the Russian army mobilized some 224 000 reserves in all areas of the Empire except the Transcaucasus region within fifteen days; six weeks after the order had been given, a full twenty eight divisions and five brigades had reached the theatre of military operations itself[22].

Miliutin was in some sense unique among the reformers of the 1860s, for no other statesman or administrator was entrusted both with planning and implementing reform programmed under Alexander II. In other areas of Russian life, the 1860s saw major reforms as well, but, in all cases, their implementation was entrusted to men far more conservative than those who had planned them. That Miliutin held the Emperor's confidence to a greater degree than did other reformers of the 1860s was of course a major reason that he was able to oversee the implementation of his own far-reaching reform plans. Perhaps the reason that he

was able to establish such a relationship with the Emperor was that in a broader sense, he was more of a statesman than were many of his reform-minded colleagues, among whom numbered some of Russia's most prominent "enlightened" bureaucrats. To be sure, he was not as dynamic a figure as was his younger brother Nikolai Miliutin, for example, but he was more careful and thorough proceeded gradually and cautiously, and planned his reforms at every step of the way. Dmitrii Miliutin's reforms in the Russian army were the product of years of service and careful thought, while some of the "enlightened" bureaucrats, who were entrusted with planning state reform in the 1860s, were relative novices at dealing with the specific problems which they were called upon to solve. Again, Miliutin's younger brother is a case in point, for Nikolai Miliutin knew comparatively little about the serf question in Russia when he assumed a dominant role on the Editing Commissions in 1859[23].

Dmitrii Miliutin, then, was considerably better prepared to carry out the reforms which he planned than were many of his reformist colleagues. But most important of all, he appears to have perceived what underlay the political manoeuvring of Alexander II better than most other reformers of the 1860s. Although it tried his patience to the breaking point at times, Miliutin seems to have realized that the Emperor's refusal to give credence only to pro-reform opinion among his advisers did not mean that Alexander II lacked commitment to the cause of reform. Rather, Alexander, in the tradition of nineteenth century Russian autocrats, was seeking to act as a mediating force between force between those who called for change and those who demanded that the old order be preserved as far as possible, and this was a tactics which he used throughout the reform era in order to balance the conservative and progressive forces in Russian society and to preserve the supremacy of his autocratic power[24]. As a result, Miliutin was for the Emperor far more than another minister and Alexander II frequently sought Miliutin's opinions on a host of state problems relating to both domestic and foreign policy questions. In keeping with his careful and thorough nature, Miliutin pressed upon the Emperor a generally moderate foreign policy and opposed the Turkish War of 1877–1878. In internal affairs, however, he continued to insist that all of Russia's society and institutions must be brought into line with the administrative and social order established by the Great Reforms. Miliutin thus argued for further reform along the lines begun in the 1860s so that Russia's momentum toward modernization would not be lost.

By 1879, Miliutin was at the peak of his influence, but he looked to the future with a sense of hopelessness and foreboding. He confided his fears and apprehensions to his diary at a time when he was perhaps the leading statesman in the Empire:

> It is impossible not to recognize that our entire state structure demands fundamental reforms from top to bottom... Everything ought to be given new forms in agreement with the Great Reforms carried cut in the 1860s. It is lamentable indeed that such a colossal work cannot be taken on by our present-day statesmen, who are not in a condition to raise themselves above the point of view of a chief of police... The higher administration is frightened by the audacious appearances of socialist propaganda during recent years, and thinks only of defensive police measures, instead of acting against the very root of the evil itself[25].

Indeed, it was over the question of dealing with revolutionary violence in Russia that Miliutin's fall from favour came about. On February 8, 1880, three days after the terrorists of the People's will had destroyed a dining room in the Winter Palace

with dynamite, Alexander II summoned a special session of his closest advisers to discuss how the revolutionary menace could best be met. Miliutin continued to advocate a moderate course. In doing so, he came into direct conflict with the Grand Duke Aleksandr Aleksandrovich, the future Alexander III, who demanded that state authorities should he given dictatorial powers in dealing with the terrorists. In the discussions which followed, the Grand Duke's views carried the day, and the decline of Miliutin's influence in Russian state affairs began at that point[26]. Just over a year later, Alexander II fell before the terrorists' bombs and Miliutin's loss of power quickly followed. Although he continued at his post for several months later, Miliutin finally went into retirement late in May 1881, and almost immediately withdrew from life in Russia's capital to his estate in the Crimea.

Of the men who had drafted the Great Reforms, Miliutin stayed at his post the longest and was probably the most successful in seeing to it that the spirit as well as the letter of the law was preserved when his reforms were put into practice. The extent of his contribution to Russia has yet to be fully evaluated, however, because Miliutin still awaits his biographer. For the moment, one must agree with the summation offered by professor Forrest Niller in his study of Miliutin's military reforms: "Dmitrii Miliutin stood among the greatest statesmen of the Russian Empire".[27]

Bruce Lincoln
Northern Illinois University

NOTES

[1] *D.A.Miliutin*, Vospominaniia general-fel'dmarshla grafa Dmitriia Alekseevicha Miliutina (Tomsk, 1919, I, p.XXI).
[2] The volumes of Miliutin's diary covering the years 1873 to 1882 have been published under the editorship of P.A.Zaionchkovskii; Dnevnik D.A.Miliutina, 4 vols (Moscow, 1947–1950). These can be compared with P.A.Valuev, Dnevnik P.A.Valueva, Ministra vnutrennikh del, 2 vols (Moscow, 1961), which provides a more conservative view of state politics during Alexander II's reign.
[3] See *A.P.Zablotskii-Desiatovskii*, Graf P.D.Kiselev i ego vremia, 4 vols (St.Petersburg, 1882). This study does include one especially important document from Zablotskii-Desiatovskii's pen, however, which is published as "O krepostnom sostoianii v Rossii" (written in 1841), in vol. IV. pp.271–339.
[4] See *Ia.A.Solov'ev*, "Zapiski Senatora Ia.A.Solov'eva o krest'ianskom dele" Russkaia starina, XXVII (1880), XXX–XXXI (1881), XXXIII–XXXIX, XXXVI (1882), XXXVII (1883), XLI (1884); and *P.P.Semenov-Tian-Shanskii*, Memuary, vols I, III, IV (Petrograd, 1915–1917).
[5] A.V.Golovnin's complete memoirs, "Zapiski A.V.Golovnina, 1821–1871 gg", in 7 mss. volumes, are located in Tsentral'nyi gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv SSSR v Leningrade (hereafter TsGIAL), fond 851, opis' 1, dela № 3–9. A partial copy is to be found in Gcsudarstvennaia Publichnaia Biblioleka im. M.E.Saltykova-Shedrina (hereafter GPB), fond 208, dela № 1–2. For a discussion of some of Golovnin's views about the reform era in Russia, see my article "Reform and reaction in Russia, A.V.Golovnin's Critique of the 1860s," in Cahiers du monde russe et sovietique, 1975.
[6] For a brief discussion of the Grand Duke Konstantin Nikolaevich's diary, and the citation to all forty-six manuscript volumes, see my article "Some Archival Sources on the Mid-Nineteenth Century Russian Bureaucracy", in Cahiers du monde russe et sovietique, XIII, № 4 (1972), pp.584–589. Some brief excerpts of this diary are published in "Iz dnevnika vel. kn. Konstantina Nikolaevicha," Krasni arkhiv, X (1925), pp.217–260.
[7] A brief discussion of this collection can be found in *P.A.Zaionchkovskii*, "Arkhiv P.A.Miliutina," Voprosy istorii, № 5–6 (1946).

[8] *A.E.Presniakov*, Apogei samoderzhaviia: Nikolai I (Leningrad, 1925), p.14. English translation by J.C.Zacek: Emperor Nicholas I of Russia – The Apogee of Autarchy, 1825–1855 (Gulf Breeze, 1974). See also my book Nicholas I, (Bloomington, 1978).
[9] *P.A.Zaionchkovskii*, "D.A.Miliutin: biograficheskii ocherk", Dnevnik D.A.Miliutina (Moscow, 1947), I, p.26.
[10] *E.W.Brooks*, D.A.Miliutin: Life and Activity to 1856 (Unpublished PhD dissertation, Stanford University, 1970), pp.87–88.
[11] *S.F.Starr*, Decentralization and Self-Government it Russia, 1830–1870 (Princeton, 1972), p.49.
[12] For an example of this sort of attitude see *Ivan Golovine*, Russia under the Autocrat Nicholas the First (New York, 1970), pp.VI–XI. The Marquis de Custine mentions this sort of behaviour in his travel account and discusses it at some length; *Marquis de Custine*, Russia, trans. from the French (Cincinnati, 1856), pp.5-6. Even the Grand Duke Mikhail Pavlovich, Nicholas I's younger brother, at least to some extent shared a part of this attitude which de Custine described, that of being carefree upon leaving Russia and becoming gloomy when it was time to return. See *A.E.Presniakov*, Apogei samoderzhaviia, p.87.
[13] *D.A.Miliutin* Vospominaniia, p.414.
[14] Ibid., p.415.
[15] *P.A.Zaionchkovskii*, "D.A.Miliutin: biograficheskii ocherk" p.21.
[16] During these years Miliutin produced two works of major significance, both of which won the prestigious Demidov prize. The first of these, a twovolume study entitled Pervye opyty voennoi statistiki (St.Petersburg, 1847–1848) won the prize in 1848. Miliutin's istoriia voiny Rossii s Frantsieiu v tsarstvovanie Imperatora Pavla I v 1799 godu, 5 vols (St.Petersburg, 1852–1853), won the prize in 1853.
[17] For a discussion of these "enlightened" bureaucrats see my articles: "Russian's "Enlightened" Bureaucrats and Problems of State Reform, 1848–1856", Cahiers du monde russe et sovietique, XII, № 4. (1971), pp.410–421; "The Genesis of "Enlightened" Bureaucrats in Russia, 1825-1855," Jahlbücher für Geschichte Osteuropas, XX, № 3 (1972), pp.321–330; "Daily life in the MidNineteenth Century St.Petersburg Bureaucracy," forthcoming in Oxford Slavonic Papers, IX (1976), and, especially, Nikolai Miliutin. An Enlightened Russian Bureaucrat of the 19th Century, Newtonville, Mass., 1977.
[18] *P.A.Zaionchkovskii*, "D.A.Miliutin: biograficheskii ocherk", p.32.
[19] For a useful survey of the Russian army under Nicholas I, see *J.S.Curtiss*, The Russian Army under Nicholas I 1825–1855 (Durham, 1965).
[20] *N.Kutuzov*, "Sostoianie gosudarstva v 1841 godu," Russkaia starina, № 9 (1898), p.524
[21] The classic treatment of Miliutin's military reforms is *P.A.Zaionchkovskii*, Voennye reformy 1860–1870 godov v Rossii (Moscow, 1952). A useful, though by no means definitive, survey in English is *F.A.Miller*, Dmitrii Miliutin and the Reform Era in Russia (Nashville, 1968).
[22] *P.A.Zaionchkovskii*, "D.A.Miliutin: biograficheskii ocherk", p.48.
[23]-For a discussion of this problem see my article "The Circle of the Grand Duchess Yelena Pavlova, 1847–1861," The Slavonic and East European Review, XLVIII, № 112 (1970), pp.373–387.
[24] For one source of Alexander's ideas about the function of the autocrat as a mediating force see *M.M.Speranskii*, "O zakonakh. Besedy grafa M.M.Speranskago s Ego Imperatorskim Vysochestvom Gosudarem Naslednikom Tsesarevichem Velikim Knyazem Aleksandrom Nikolaevichem, s 12 oktiabria 1835 po 10 aprelia 1836 goda," Sbornik Imperatorskago Russkago Istoricheskago Obshchestva, XX (1880), pp.366–371. One instance in which Miliutin's patience nearly gave out in dealing with this sort of Imperial political manoeuvring occurred in March 1873 when a special commission was discussing Miliutin's proposals for an all-class army. Only after Alexander summoned Miliutin to a special audience on the morning of March 11h was the War Minister's temper soothed. See *P.A.Zaionchkovskii* "D.A.Miliutin: biograficheskii ocherk," p.41–42.
[25] *P.A.Zaionchkovskii*, "D.A.Miliutin: biograficheskii ocherk", p.56.
[26] Ibid, pp.60–61
[27] *F.A.Miller*, Dmitrii Miliutin and the Reform Era in Russia, p.230.

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВЗГЛЯДЫ Д.А.МИЛЮТИНА НА РОССИЮ И РЕФОРМЫ

Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина (1816—1912) представляют собой редкий источник информации для тех, кто изучает русскую историю, поскольку, взятые вместе с дневником, который он вел с 1873 по 1899 годы, они охватывают более трех четвертей девятнадцатого века. Не менее важен тот факт, что Милютин был одним из немногих людей, тесно связанных с реформаторской деятельностью 1860-х годов, оставивших подробные записи о своих взглядах на эпоху Великих реформ, т. к. большинство русских реформаторов того периода было слишком занято государственными делами, чтобы записывать свои впечатления о событиях, в которых они участвовали. Даже Милютин, который, наверное, больше чем другие реформаторы XIX века сознавал, как важно записывать свои взгляды для потомства, не вел регулярный дневник в течение первых сорока лет своей службы (включая первые двенадцать лет на посту военного министра) ввиду чрезвычайной занятости. Во введении к своим мемуарам он отмечал: "Не раз в течение моей жизни замышлял я вести дневник для сохранения в памяти всего сколько-нибудь замечательного, чему приходилось мне быть свидетелем, или в чем я сам был участником. Но затею эту мне удавалось осуществить только... при некоторых особых обстоятельствах, как например, во время первого моего путешествия за границу в молодые лета (в 1840 и 1841 гг.); также во время военных экспедиций на Кавказе. После непродолжительного опыта я бросал работу за недосугом..."[1].

Милютин стал регулярно вести дневник только начиная с апреля 1873 г., опубликованные части этого дневника дают ценнейший комментарий по вопросам государственного устройства России в течение последних лет царствования Александра II, в период, который был наивысшей точкой карьеры Милютина[2].

Одной из насмешек истории является тот факт, что люди, наиболее тесно вовлеченные в подготовку Великих реформ, не только не вели дневников и ежедневных записей, но они также, как правило, не использовали длительные периоды, проведенные в отставке, для составления мемуаров. Только несколько примеров: младший брат Д.А.Милютина Н.А.Милютин перенес паралич, все еще находясь на государственной службе, и был не в состоянии написать каких бы то ни было воспоминаний до самой своей смерти в возрасте пятидесяти трех лет. А.П.Заблоцкий-Десятовский, еще один государственный чиновник, деятельно участвовавший в разработке отмены крепостного права, посвятил последние годы своей жизни работе над биографией своего благодетеля и начальника по государственной службе графа П.Д.Киселева, но почти ничего не оставил о своей собственной жизни, карьере, взглядах[3]. Я.А.Соловьев и П.П.Семенов-Тянь-Шанский оставили воспоминания, относящиеся к периоду реформ, но оба главным образом сосредоточились на подготовке реформы 1861 г., и их мемуары почти не отражают личных взглядов авторов на период с 1840 по 1880 в целом[4]. Только А.В.Головнин, министр народного просвещения в 1861—1866 и доверенное лицо Великого Князя Константина Николаевича, оставил воспоминания об этом периоде, которые в какой-то степени могут быть сравнимы с мемуарами Д.А.Милютина, и которые, к сожалению, остались полностью неопубликованными[5]. То же самое относится к обстоятельному днев-

нику самого Великого Князя Константина Николаевича, члена Императорской семьи, вовлеченного в политику периода реформ и как правило находившегося на стороне модернизации и перемен[6].

К счастью, Дмитрий Милютин в этой ситуации был исключением. Уйдя в отставку в середине 1881 г., Милютин более 30-ти лет провел в своем поместье в Крыму, до самой своей смерти в возрасте девяноста пяти лет. Со свойственной ему работоспособностью он посвятил последние три десятилетия своей жизни составлению обширных мемуаров и приведению в порядок огромной коллекции личных бумаг, которая составила более 50 000 рукописных бумаг[7]. В самом деле, личные бумаги Милютина, находящиеся в настоящий момент в Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им.В.И.Ленина*, вполне вероятно, являются наиболее обширным собранием такого рода, оставленным кем бы то ни было из русских государственных деятелей XIX века.

В связи со скудностью дневниковой и мемуарной литературы, оставленной людьми, вовлеченными в подготовку Великих реформ, очень жаль, что полный текст воспоминаний Милютина до сих пор не опубликован. Единственная часть, вышедшая в печати и переиздаваемая в этом томе, включает первые три из двадцати рукописных томов, написанных Милютиным между 1881 и 1892 годами. Неопубликованная часть этих мемуаров касается жизни Милютина в Санкт-Петербурге (1845—1856), его деятельности в штабе кавказских войск в 1856—1859 годах, и, самое главное, первых 12 лет на посту военного министра, в течение которых он разработал и начал воплощать в жизнь реформы русской армии, кульминацией которых явился Устав от 1 января 1874 г.

Первые три книги мемуаров Милютина, хотя и касаются менее значительных событий, чем неопубликованные тома, представляют огромную научную и историческую ценность по ряду причин. Эта часть Воспоминаний Милютина дает подробное описание юности и школьных лет определенного типа русского государственного деятеля, который, хотя и редко встречается в первой половине XIX века, становится более обычным явлением во второй половине. Такой человек, добиваясь успеха на государственной службе (гражданской и военной), стремится восстановить тот социальный статус и экономическую независимость, которые были утрачены его семьей в начале XIX века. Воспоминания Милютина дают нам возможность взглянуть изнутри на повседневную жизнь такой семьи, экономическое состояние которой на протяжении примерно трех десятилетий приходило в упадок, продвигаясь от богатства к моменту, когда она потеряла своих крепостных, поместья и фабрики, была вынуждена переехать в меблированные комнаты в нефешенебельный район Москвы и зависеть от милости богатых родственников.

Помимо изображения повседневной жизни обедневшей дворянской семьи Милютин также дает нам ценный материал о жизни в пансионе для дворянских детей при Московском университете с конца 1820-х до начала 1830-х годов. Хотя он был только студентом в пансионе и, таким образом, меньше участвовал в студенческой жизни, чем, например, его младший брат Николай, он достаточно подробно рассказывает о своей жизни в школе, своих друзьях и учебном процессе. Не менее важно то, что Милютин подробно описывает свое собственное отношение к тому, что его окружало в школе, и, таким образом, показывает как впечатлительный серьезный студент реагировал на одно из самых элитарных учебных заведений эпохи Николая I.

* Ныне Российская Государственная библиотека

Царствование Николая I было ознаменовано все возраставшим значением милитаризма в России, поскольку армия не только эмоционально привлекала императора, но он также видел в ней воплощение наиболее желаемой им формы социальной и политической организации. Как писал сам Николай I: "Здесь (в армии — *Б.Линкольн*) порядок... Все вытекает одно из другого, никто не приказывает, прежде чем сам не научится повиноваться; никто без законного основания не становится впереди другого; все подчиняется одной определенной цели, все имеет свое назначение: потому-то мне так хорошо среди людей и потому всегда буду держать в почете звание солдата. Я смотрю на всю человеческую жизнь только как на службу, так как каждый служит"[8].

Милютин, поступивший на военную службу в юности, когда николаевская система была наиболее крепкой, дает интересные комментарии о влиянии системы милитаризма на тех, кто служил в русской армии. В 1833 году он покинул относительную безопасность и комфорт классной комнаты для суровой и грубой жизни младшего офицера артиллерии, среды, которая оказалась далека от идеальной для подготовки действенной и боеспособной армии. В самом деле, более двухсот страниц воспоминаний Милютина посвящены описанию его жизни в чине младшего офицера и перечислению недостатков русской армии как на параде в Санкт-Петербурге, так и в битве на Кавказе. Особенно отталкивающее впечатление произвели на Милютина грубые направленные на механическое заучивание методы, используемые для тренировки рядовых и офицеров русской армии: наиболее резко он высказал свои взгляды об этом в путевых заметках, которые он вел во время своей тринадцатимесячной поездки по Западной Европе в 1840—1841 гг. После встречи с некоторыми западными армейскими офицерами и знакомства с рядом положений западной армии, Милютин в горьких словах сравнивает своих русских коллег с западными: "Наши офицеры обучаются совершенно как попугаи, до производства их они содержатся в клетке и беспрестанно толкуют им "Попка, — налево кругом!", и Попка повторяет "налево кругом!", "Попка, на караул!" и Попка повторяет это... Когда Попка достигает до того, что твердо заучит все эти слова... ему надевают эполеты"[9].

Контраст в оценках Милютиным русской и западной армий становится еще более сильным, если мы вспомним, что на той же странице своего дневника он описывает прусских офицеров в несомненно более позитивных выражениях. Он пишет: "Офицеры здесь (в Пруссии — *Б.Линкольн*)... хорошо разбираются в вопросах, связанных с их профессией; дома все наоборот: среди тысячи молодых людей найдется... только два или три, активно изучающих военное искусство[10].

Последняя четверть опубликованных воспоминаний Милютина посвящена подробному описанию его первой поездки в Западную Европу в 1840—1841 гг. и его службе в Санкт-Петербурге в качестве офицера Гвардейского генерального штаба в 1841—1843 годах. Возможно, нет других подобного рода Воспоминаний, относящихся к 1830-м и 1840-м годам, столь определенно отражающих реакцию молодого, патриотически настроенного русского, получившего хорошее по петербургским и московским стандартам образование, на ситуацию в Западной Европе. Русские в этот период имели тенденцию или полностью отвергать Запад[11], или с энтузиазмом приветствовать его, проклиная все дома как отсталое и недостойное сравнения[12]. Милютин представляется исключением, поскольку его взгляды являются попыткой сбалансировать две эти крайности. Во время своего европейского путешествия он "глубоко скорбел, видя на каждом шагу

насколько мы отстали на пути, указанном Великим Петром"[13]. Но, хотя и ясно представляя недостатки России в сравнении с более развитым Западом, Милютин скорее стремился найти пути, на которых достижения Запада могут быть использованы для блага России, чем проклинать свою родину за ее отсталость. Отметив, насколько отсталой оказалась Россия в сравнении с Западной Европой, Милютин в своих Воспоминаниях признается о своих личных стремлениях: "С истинным прискорбием пишу эти строки, от души желал бы дожить до того времени, когда все сказанное мною было бы анахронизмом... Желал бы, чтобы поездка моя за границу имела результатом не одно лишь разъяснение мне истинного состояния России сравнительно с Европою, но дала бы мне со временем возможность сделаться полезным моему отечеству. Счастлив был бы, если б когда-нибудь осуществились эти мечты мои... Это самая утешительная цель моей службы и самой жизни"[14].

Эта сбалансированная точка зрения на Россию и Запад станет краеугольным камнем реформаторской политики Милютина в течение последующих трех десятилетий вплоть до его отставки с поста военного министра в 1881 году. Ибо он был глубоко убежден в необходимости реформ в России, но настаивал, что они должны проходить без сильных потрясений, поскольку всякие революционные перевороты, по его мнению, могли иметь только разрушительные последствия. Еще в 1840 году Милютин вполне четко определил свое отношение к революциям, когда во время путешествия по Европе он писал: "...всякая революция, которая дышит фанатизмом, революция насильственная, народная, не ведет к улучшению общества, потому что она только разрушает, ничего вновь не создавая. Где слепой фанатизм и сила бессмысленной толпы, там нет благоразумия, а без благоразумия едва ли можно сделать успех в общественном благоустройстве..."[15].

Однако, хотя Милютин и отвергал революционный путь в пользу умеренных и постепенных реформ как единственно приемлемого способа осуществления социальных изменений в России, ни один из этих методов был невозможен для русского государственного деятеля в конце 1840-х и начале 1850-х годов. В результате Милютин был вынужден отказаться от активной реформаторской деятельности, и, особенно в период между революциями 1848 года и началом Крымской войны, почти полностью посвятил себя статистическим исследованиям и написанию военной истории[16]. Только после смерти Николая I и восшествия на престол Александра II Милютин обращается к реформаторской деятельности.

Сразу после окончания Крымской войны в 1856 г. Милютин, так же как и ряд других "просвещенных" чиновников, с которыми он был тесно связан[17], начал активно направлять Россию на путь реформ. Но так же как и его товарищи по государственной службе, Милютин настаивал на том, что реформы должны быть подготовлены и осуществлены в рамках самодержавной системы правления. Только абсолютный монарх, поддерживаемый прогрессивно настроенными и деятельными советниками, мог, по его мнению, выйти за рамки узко классовых дворянских интересов и действовать во благо Империи в целом. В середине 1860-х годов Милютин следующим образом суммировал свои взгляды на реформы в широком смысле: "Реформа у нас может быть произведена только властью... По нашему, есть два условия главные, существенные: Sine qua non — без которых всякая политическая теория в применении к России должна считаться несостоятельной: 1-ое — единство и целость государства, 2-ое — рав-

ноправность членов его. Для первого условия нужно: сильная власть и решительное преобладание русских элементов (во всех областях Империи — *Б.Линкольн*). Для второго условия необходимо откинуть все устаревшие, отжившие привилегии, проститься навсегда с правами одной касты над другой... Но сильная власть не исключает ни личной свободы граждан, ни самоуправления; но преобладание русского элемента не означает угнетения и истребления других народностей; но устранение старинных привилегий..."[18].

Таковы были основные принципы, которыми Милютин руководствовался в течение 20 лет на посту военного министра с 1861—1881 гг. Он всегда настаивал на том, что самодержавие и Российская империя должны быть сохранены любой ценой, и с не меньшей твердостью всегда утверждал, что все социальные группы в Империи должны в равной мере служить государству, идея, которую он осуществил в реформе 1 января 1874, вводившей всеобщую воинскую повинность в России.

Благодаря огромному значению деятельности Милютина на посту военного министра, он широко известен, и справедливо, как военный реформатор. Когда он принял полномочия военного министра в 1861 году, в России была большая, громоздкая, разорительно дорогая постоянная армия, состоящая из неграмотных крестьян-призывников и офицеров-дворян, которые часто совершенно не подходили для обязанностей военного командира[19]. Это была армия, которая незадолго до того как Милютин стал министром, предназначалась в основном для парадов и смотров, а не для военных действий, и пользовалась такими безжалостными и суровыми методами, что в тот период, когда Милютин был молодым офицером, больше чем половина солдатского состава в то или иное время находилась на излечении по поводу травм, полученных в результате напряженной ежедневной подготовки к парадам[20]. В течение двух десятилетий на посту военного министра Милютин превратил сухопутные войска в постоянную армию, меньшую по размерам, оснащенную современным оружием, армию, в которой все население, независимо от классовой и социальной принадлежности, в случае мобилизации было обязано идти служить. Особенно важно, что армия, реформированная Милютиным, хотя и была меньше по размерам, благодаря огромному резерву, могла быть очень быстро увеличена в случае войны, а проблема начального образования была в какой-то мере решена элементарными образовательными программами, которые Милютин ввел в армии для неграмотных солдат[21].

То, что Милютин начал в 1861 г., было подвигом Геракла, который был особенно труден из-за непрерывных нападок на проект его реформы консервативно настроенных офицеров-аристократов, которые видели в его программе еще одну попытку подорвать их привилегии. Несмотря на это Милютину удалось осуществить большую часть своей программы и успех его реформ стал особенно очевиден, когда менее чем через три года после того как проект его реформы был завершен, была объявлена мобилизация новой армии. В результате проведенных им преобразований накануне войны с Оттоманской империей в конце 1876 года в русскую армию в течение 15 дней было мобилизовано 224 тысячи солдат запаса со всех концов Империи, кроме Закавказья, а через шесть недель после того как был отдан приказ, 28 дивизий и 5 бригад прибыли к театру военных действий[22].

Милютин был в некотором роде уникальной фигурой среди реформаторов 60-х годов, так как при Александре II ни одному другому государственному

деятелю не было доверено и разработать реформу и провести ее в жизнь. Во всех других сферах русской жизни, где в 60-х годах были также проведены крупные реформы, во всех случаях их осуществление было поручено людям гораздо более консервативным, чем те, кто их разрабатывали. То что Милютин пользовался большим доверием Императора, чем другие реформаторы 60-х годов, позволило ему лично довести до конца свои реформы. Возможной причиной такого отношения к нему Императора было то, что он в большей степени был подлинным государственным деятелем, чем многие его коллеги-реформаторы, среди которых было много "просвещенных" чиновников. Действительно, он не был такой активной фигурой как, например, его брат Николай, но зато он был более осторожен и аккуратен, действовал медленно, но верно, и разрабатывал свою реформу подробно, шаг за шагом. Реформы русской армии, разработанные Дмитрием Милютиным, были результатом многолетней службы и долгих раздумий, в то время как некоторые "просвещенные" чиновники, которым была доверена разработка государственных реформ в 1860-х годах, были относительными новичками в тех специальных вопросах, которые они были призваны решить. И снова брат Милютина является хорошим примером, так как Николай Милютин довольно мало знал о проблемах крепостного права в России, занимая ведущее положение в Редакционных комиссиях в 1859 году[23].

Дмитрий Милютин таким образом оказался гораздо лучше подготовленным к выполнению разработанных им реформ, чем большинство его коллег-реформаторов. Но самое главное, он лучше, чем все остальные, понял мотивы политических маневров Александра II. Хотя временами он терял терпение, Милютин, по-видимому, понимал, что отказ Императора поддерживать только проreформистские настроения среди своих советников отнюдь не означал, что Александр II не был предан делу реформ. Скорее Александр II в традициях русского самодержавия XIX века старался действовать как примиряющая сила между теми, кто требовал перемен и теми, кто хотел сохранить старый порядок насколько это возможно. Он пользовался этой тактикой в течение всего периода реформ для того чтобы уравновесить консервативные и прогрессивные силы русского общества и сохранить доминирующую роль самодержавной власти[24]. В результате Милютин значил для Императора гораздо больше, чем любой другой министр, и Александр II часто спрашивал его мнение по многим государственным вопросам, относящимся и к внутренней и к внешней политике. В соответствии со своим осторожным и обстоятельным характером Милютин постоянно рекомендовал Императору придерживаться умеренной внешней политики и возражал против турецкой войны 1877—1878 гг. Однако во внутренних делах он продолжал настаивать на том, что русское общество и все государственные учреждения должны быть приведены в "соответствие с административной и общественной системой, установленной Великими реформами. Милютин таким образом боролся за продолжение реформ, начатых в 60-х годах, чтобы движение России в сторону модернизации не было остановлено".

К 1879 году Милютин был в апогее своей карьеры, однако он смотрел в будущее без надежды и с дурными предчувствиями. В своем дневнике он делится своими страхами и тяжелыми раздумьями в тот период, когда он был ведущим государственным деятелем Империи: "нельзя не признать, что все наше государственное устройство требует коренной реформы снизу доверху... все должно б получить новые формы, согласованные с Великими реформами, совершенными в 60-х годах. К крайнему прискорбию, такая колоссальная работа

не по плечам теперешним нашим государственным деятелям, которые не в состоянии подняться выше точки зрения полицмейстера или даже городового. Высшее правительство запугано дерзкими проявлениями социалистической пропаганды за последние годы и думает только об охранительных, полицейских мерах, вместо того, чтобы действовать против самого корня зла."[25]. Опала Милютина была связана с проблемой революционного насилия в России. 8 февраля 1880 года через три дня после того, как народовольцы взорвали динамитом столовую в Зимнем дворце, Александр II собрал специальное заседание своих ближайших советников, чтобы обсудить с ними способы борьбы с революционной угрозой. Милютин продолжал ратовать за умеренную политику. Таким образом он вошел в прямой конфликт с Великим Князем Александром Александровичем, будущим Александром III, который требовал чрезвычайных мер по отношению к террористам. В последующих обсуждениях возобладала точка зрения Великого Князя и, таким образом, с этого момента начало ослабевать влияние Милютина на государственные дела России[26]. Всего лишь через год Александр II пал от руки террориста, а вслед за этим Милютин очень быстро потерял всякую власть. Хотя Милютин продолжал оставаться на своем посту в течение нескольких месяцев, он в конце концов ушел в отставку в мае 1881 года и почти сразу покинул столицу и переехал в свое имение в Крыму. Из всех людей, кто разрабатывал Великие реформы, Милютин дольше всего оставался на своем посту и наиболее успешно следил за выполнением духа и буквы закона при проведении своих реформ в жизнь. Его вклад в дело России до сих пор не оценен полностью, так как Милютин все еще ждет своего биографа. Нельзя не согласиться с мнением профессора Форреста Миллера, высказанным в его работе о военной реформе Милютина: "Дмитрий Милютин — один из величайших деятелей русской империи"[27].

Брюс Линкольн
Университет Северного Иллинойса

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Милютин Д.А.* Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. Томск. 1919. Т. I. С.XXI.

[2] Дневник Милютина за 1873—1882 гг. был опубликован под редакцией П.А.Зайончковского: Дневник Д.А.Милютина, в 4-х томах. М. 1947-1950.

[3] *Заболоцкий-Десятовский А.П.* Граф П.Д.Киселев и его время, в 4-х томах. СПб. 1882.

[4] *Соловьев Я.А.* Записки сенатора Я.А.Соловьева о крепостном деле // Русская Старина.XXVII (1880), XXX—XXXI (1881), XXXIII—XXXIV, XXXVI (1882), XXXVII (1883); XLI (1884) и *П.П.Семенов-Тянь-Шанский.* Мемуары. Тома I, III, IV. Птг. 1915—1917.

[5] Полностью мемуары А.В.Головнина: "Записки А.В.Головнина 1821—1871 гг.", в 7-ми рукописных томах, находятся в Центральном государственном историческом архиве СССР в Ленинграде (ЦГИАЛ) (ныне РГИА). Ф. 851. Оп. 1. Д. 1—2. О взглядах Головнина на эпоху реформ в России смотри мою статью: "Реформы и реакция в России" // Cahiers du monde russe et sovietique. 1975.

[6] О дневнике Великого Князя Константина Николаевича смотри мою статью: "Некоторые архивные источники о русской бюрократии середины XIX в." // Cahiers du monde russe et sovietique. XIII. №4 (1972). P. 584—589. Отрывки из его дневника были опубликованы: "Из дневника Вел.Кн. Константина Николаевича" // "Красный архив". X (1925). С. 217—260.

[7] Краткие сведения об этой коллекции можно найти в статье П.А.Зайончковского: "Архив Д.А.Милютина" // "Вопросы истории". 1946. № 5–6.
[8] *Пресняков А.Е.* Апогей самодержавия: Николай I. Л. 1925. С. 14.
[9] *Зайончковский П.А.* "Д.А.Милютин. Биографический очерк" // Дневник Д.А.Милютина Т. I. М. 1947. С. 27.
[10] *Brooks E.W.* D.A.Miliutin: Life and Activity to 1856 (Unpublished PhD dissertation, Stanford University. M. 1970. P. 87–88.
[11] *Starr S.F.* Decentralization and Self-Government in Russia, 1830–1870. Princeton. 1972. P. 49.
[12] Как пример такого рода отношения см. *Иван Головин*: "Россия при самодержце Николае Первом". Нью-Йорк. 1970. С. VI–XI. Маркиз де Кюстин упоминает о подобного роде поведении и довольно подробно его обсуждает. Даже Великий Князь Михаил Павлович, младший брат Николая I, до некоторой степени разделяет подобные взгляды (см.: А.*Е.Пресняков*. "Апогей самодержавия". С. 87).
[13] *Милютин Д.А.* Воспоминания. С. 414.
[14] Там же. С. 415.
[15] *Зайончковский П.А.* Д.А.Милютин. Биографический очерк. С. 21.
[16] В течение этих лет Милютин написал две значительные работы, обе получившие довольно престижную премию Демидова. Первая из них, двухтомный труд, озаглавленный "Первые опыты военной статистки" (СПб. 1847–1848), получила премию в 1848 г. Милютинская "История войны России с Францией в царствование императора Павла I в 1779 году" в 5-ти томах (СПб. 1852–1853) получила премию в 1853 г.
[17] О "просвещенной" бюрократии смотри мои статьи: "Russia's 'Enlightened' Bureaucrats and Problems of State Reform, 1848–1856" // Cahiers du monde russe et sovietique,. XXI. № 4 (1971). P. 410–421; "The Genesis of an 'Enlightened' Bureuacrats in Russia, 1825–1855" // Jahrbucher fur Geshcichte Osteuropas. XX. № 3 (1972). P. 321–330; "Daily Life in the Mid-Nineteenth Century St.Petersburg Bureaucracy" // Oxford Slavonic Papers. IX (1976), и, особенно, книгу: Nikolai Miliutin. An Enlightened Russian Bureaucrat of the 19th Century. Newtonville, Mass. 1977; (позже вышли еще две книги Б.Линкольна: In the vanguard of Reform. Russia's Enlightened Bureaucrats, 1825–1861. Northern Illinois University Press. 1982; The Great Reforms. Autocracy, Bureaucracy and the Politics of Change in Imperial Russia. Northern Illinois University Press. 1990. – *Ред. Л.Захарова).*
[18] *Зайончковский П.А.* Д.А.Милютин. Биографический очерк. С. 32.
[19] О русской армии в эпоху Николая I см.: *Curtiss J.S.* The Russian Army under Nicholas I, 1825–1855. Durham. 1865.
[20] *Кутузов Н.* Состояние государства в 1841 году // Русская Старина. 1898. № 9. С. 524.
[21] Классический анализ военной реформы Милютина дан в книге *П.А.Зайончковского* "Военные реформы 1860–1870 годов в России". М. 1952.
[22] *П.А.Зайончковский.* Д.А.Милютин. Биографический очерк. С. 48.
[23] По этому вопросу смотри мою статью: "The Circle of the Grand Duchess Yelena Pavlovna, 1847–1861" // The Slavonic and East European Rewiew. XLVIII. № 112 (1970). P. 373–387.
[24] В качестве одного из источников идей Александра II о миротворческой роли самодержца см.: *М.М.Сперанский.* О законах. Беседы графа М.М.Сперанского с Его Императорским Высочеством Государем Наследником Цесаревичем Великим Князем Александром Николаевичем, с 12 октября 1835 по 10 апреля 1836 года // Сб. РИО XX (1880). С. 366–371. Однажды Милютин почти потерял терпение, столкнувшись с подобного рода политикой Императора, это произошло в марте 1873 года, когда специальная комиссия обсуждала предложение Милютина о всесословности армии. Только после особой аудиенции, которую Император дал Милютину утром 11 марта, военный министр успокоился. См.: *Зайончковский П.А.* Д.А.Милютин. Биографический очерк. С. 41–42.
[25] *Зайончковский П.А.* Д.А.Милютин. Биографический очерк. С. 56.
[26] Там же. С. 60–61.
[27] *Miller F.A.* Dmitrii Miliutin and the Reform in Russia. P. 230.

Перевод *А.В.Павловской*

СОДЕРЖАНИЕ

Милютин Д.А.

М 60 Воспоминания. 1816—1843. — М.: Студия «ТРИТЭ» — «Российский Архив». 1997. 495 с.; ил.

ISBN 5-86566-014-4

Воспоминания военного историка, профессора, генерала, военного министра Александра II охватывают период с 1816 по 1843 г. Читатель попадает в мир столичной жизни — московского студенчества и петербургской военной среды, по дорогам и бездорожью России на юг, на Северный Кавказ, где шла борьба с Шамилем. Одновременно с николаевской Россией читатель найдет в книге яркое и образное описание европейских стран, которые посетил Милютин во время своего тринадцатимесячного путешествия в 1840—1841 гг.

Воспоминания Д. А. Милютина публикуются без каких-либо сокращений. Издание богато иллюстрировано современными портретами, гравюрами, рисунками самого автора, картами.

Издание снабжено научно-справочным аппаратом.

Книга рассчитана как на специалистов-историков, так и на широкий круг читателей.

ББК 63.3 (2) 47

Дмитрий Алексеевич
Милютин

ВОСПОМИНАНИЯ
1816—1843

Студия «ТРИТЭ»
творческо-производственное объединение
Никиты Михалкова

Редакторы *Т.Е. Павлова, В.И.Сахаров, В.В.Шибаева*
Технический редактор *М.В. Суханова*
Корректор *Н.А. Несмеева*

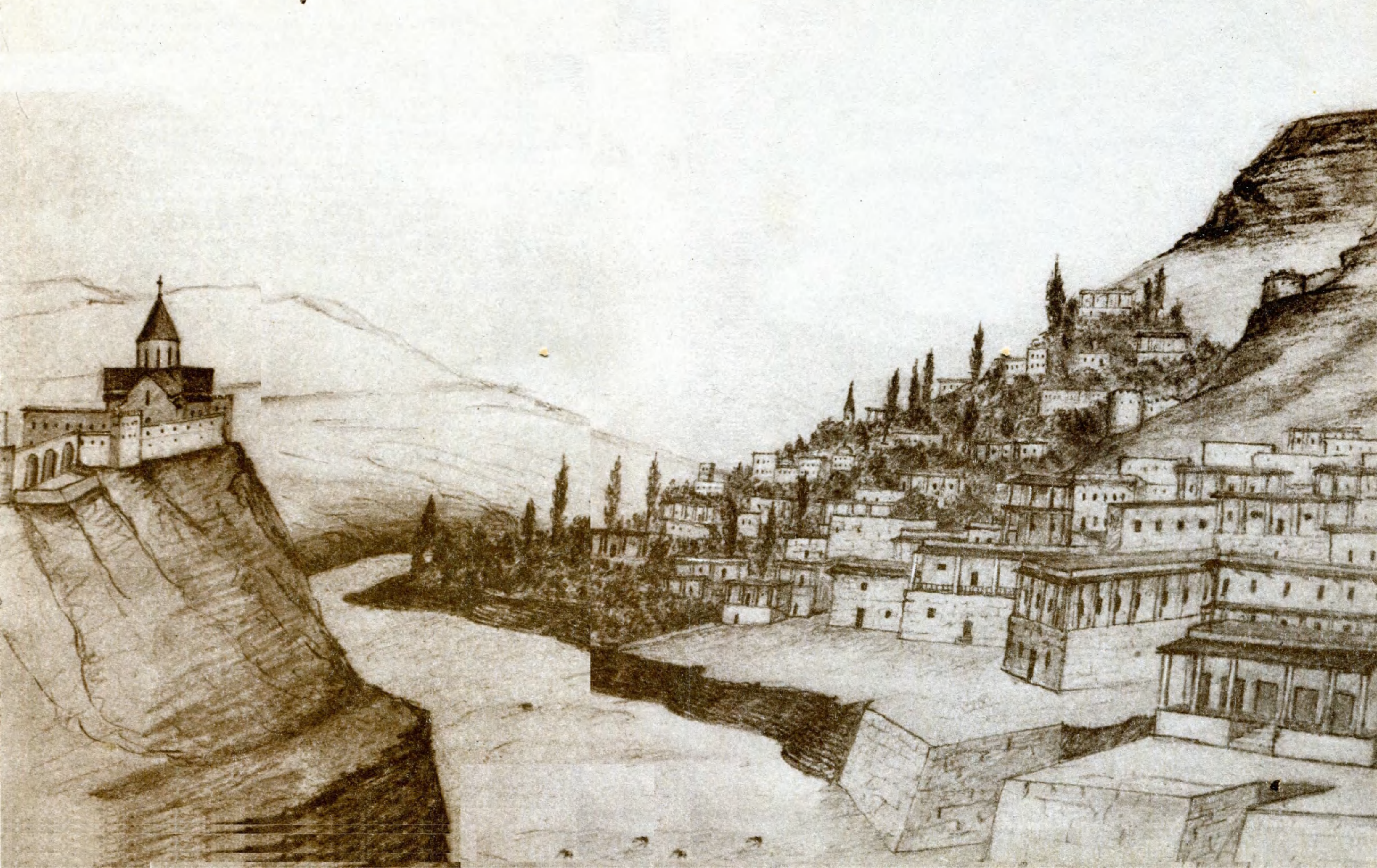
Издат. лицензия ЛР № 064800 от 21.10.1996 г.

Подп. к печати 19.12.96. Формат 60x90 $^1/_{16}$
Гарнитура "Академическая". Печать офсетная. Усл. печ. л. 31
Тираж 3000 экз. Изд. № 14. Заказ № 802.

Издательский отдел «Российский Архив» ТПО «ТРИТЭ»
103001, Москва, Мал. Козихинский пер., 11

ИИЦ «САМПО», Москва, ул. Щепкина, 8

Видъ азiатской части Тифлиса, с Тифлиса, со стороны моста на Куръ



Д.А.Милютин
ВОСПОМИНАНИЯ